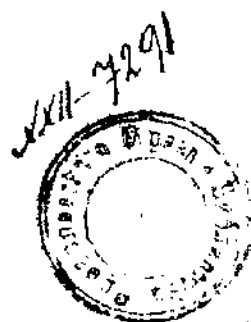


ГЕНКИН

ПО ТЮРЬМАМ

И

ЭТАПАМ



ПЕТЕРБУРГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922

Р. В. Ц. Петербург.

Гиз. № 808. Отпечатано 10.000 экз.

Первая Государственная Типография, Гатчинская, 26.



2007084959

Севастопольское восстание.

Революционная пропаганда среди севастопольских матросов началась давно. Одно время среди них с успехом работали соц.-револ., но, начиная с лета 1904 г. с.-р., как-то ступевались, и самой влиятельной группой являлись соц.-дем., почти исключительно меньшевики. Зимой 1904 г. в связи с разгромом комитета Крымского Союза (аресты Кипена, Кузнецова и других) в Севастополь были направлены из Одессы свежие силы, и вскоре работа снова закипела. В своей деятельности Комитет организации опирался на небольшую, но энергичную группу матросов, возглавляемую *товарищем Дмитрием* — так звали машиниста Ан. Волошинова, бывшего рабочего из Донецкого бассейна. Причисленный к команде строившегося тогда крейсера «Очаков» Волошинов был откомандирован за паровыми котлами в Сормовский завод, откуда он вернулся вполне распропагандированным соц.-демократом.

Человек серьезный и положительный, Волошинов не любил много и цветисто говорить, но зато все, о чем он говорил и что делал, выходило у него продуманно и солидно. Под внешней суровостью он скрывал горячее сердце и чуткую душу. Неутомимый, но осторожный агитатор и организатор, Волошинов пользовался большим авторитетом и уважением среди матросов. Знакомством с «*товарищем Дмитрием*» гордился любой матрос.

Волошину удалось организовать ряд кружков из матросов, и при их помощи он устраивал в балках за городом небольшие летучки и массовки. По его же предложению и настоянию матросы стали посылать обширные корреспонденции, печатавшиеся в Женевской «Искре» и «Соц.-Демокр.». Нелегальная типография Крымского Союза, поставленная в Симферополе супругами Фальковскими и наборщиком М. Генкиным, выпускала десятки тысяч прокламаций по вопросам, связанным с войной, с событиями 9 января и т. п.

Восьмилетний срок службы, гнет казарменной дисциплины, возмутительное игнорирование элементарных человеческих прав солдата и

матр^{ов}а (напр., у входа в городской съезд красовалась надпись: «ниж^{ней}шим чинам и собакам вход воспрещается»), всестороннее обкрадывание, тяжелые работы на военных судах—с одной стороны, и относительно большой процент городских рабочих, наличие среди матросов приверженцев рационалистических сект (молочан, адвентистов и т. п.), наконец, общие условия: война, события 9-го января, волны забастовок—все это создавало подходящую почву для революционной работы.

Из «штатских» лиц среди матросов работали: одесит по фамилии Портной, впоследствии арестованный на загородном собрании, молоденькая курсистка из Мелитополя—замечательная ораторша, затем «товарищ Ольга», как звали только-что окончившую гимназию дочь местного ремесленника Генриэту Мешман, и «товарищ Константин». На редкость преданный делам организации, живший исключительно интересами революции, зпюющий марксист, полукосет и подвижник «тов. Константин» и столь же красивая, сколь отважная, «тов. Ольга», были постоянными завсегдатаями всех матросских собраний и массовок. При их помощи группа матросов с Волошиновым во главе молча и сосредоточенно делала свое дело.

* * *

...Летом Черноморская эскадра обыкновенно отправлялась в плавание для практических занятий. Собиралась она у небольшого островка Тендер и затем посещала почти все порты Черного моря. Пред началом этой кампании—кстати, самой страшной поры для матросской команды—Крымский Союз соц.-дем. выпустил специальную прокламацию, составленную почти-что самими матросами. На состоявшемся заседании «руководящего центра», незадолго до этого организованного Волошиновым и Генриэтой, решено было использовать предстоящую кампанию в целях агитации и пропаганды. Приступили к налаживанию связей с организациями тех городов, где эскадра будет останавливаться. Матросы предлагали даже комитету откомандировать на все время плавания специального агитатора из штатских—они обещали устроить его на одном из броненосцев. В перспективе улыбался план поднятия восстания во всем флоте, когда распропагандированная во время плавания эскадра вернется назад в Севастополь. Главные надежды возлагались на броненосец «Екатерина Вторая», на котором больше всего было сознательных.

Однако, вышло совсем по-иному. Восстание вспыхнуло не в конце плавания, а в начале, и не на «Екатерине Второй», а на броненосце «Потемкин, князь Таврический», и не с ведома матросского «руководящего центра», а без него и помимо него.

Почти вся эскадра оставалась еще в Севастополе, когда «Потемкин», вышедший первым, бросил якорь у острова Тендер. Достаточно было малейшего повода—говядина оказалась тухлой—чтобы накопившееся все время недовольство команды вылилось в форму бунта. Между командой и офицерами возникает спор и перебранка. Командир судна, самоход Голиков, врач Смирнов, вахтенный офицер Ловенцов и старший офицер Гиляровский, словно толкаемые злым роком, целым рядом бестактных и наглых выходов вооружают против себя матросскую массу. Наиболее горячие из матросов хватаются за винтовки, убивают и бросают в море названных выше офицеров. Так началось знаменитое восстание на броненосце «Потемкин».

Повстанцы движутся к Одессе, где и это время происходят массовые забастовки, с арестами рабочих, стычками их с полицией и солдатами, убийствами стачечников и т. п. К молу с броненосца подъезжает шлюпка с трупом убитого Вакуличука, на берегу воздвигается специальная палатка, в груди застреленного матроса прикрепляется воззвание матросов «господам одесситам». Место это становится сборным пунктом для митингов. Всеобщим небывалым возбуждением сейчас же пользуются одесские революционные организации, и одна из них, соц.-демократическая, посылает на «Потемкин» двух своих представителей: Кирилла и Фельдмана, которым суждено было сыграть крупнейшую роль в последующих событиях.

А события эти развиваются с быстротой урагана.

Адмирал Чухнин высылает против «Потемкина» целую эскадру. «Потемкин» стремительно врывается в середину ее, своей смелостью вызывает дезорганизацию среди сторонников правительства и без единого выстрела получает подкрепление в виде присоединения к нему броненосца «Георгий Победоносец». Правительственная эскадра торопливо удирает назад в Севастополь. Но вот верх на «Георгий Победоносец» одерживает противореволюционное течение, и «Георгий Победоносец» при первом же подходящем случае пользуется царившей на «Потемкине» анархией и отстает от него. Сам «Потемкин», видя безнадежность (мнимую безнадежность) своего положения, окончательно теряется и без серьезных на то оснований решает поскорее удалиться в Румынию ¹⁾.

Пока на «Потемкине» развертывались с необычайной быстротой упомянутые события, Комитет Крымского Союза тоже пережил немало волнений. Чувствовалось совершенное бессилие, невозможность руково-

¹⁾ Все эти события обстоятельно изложены в книге Кирилла «Одннадцатый день на «Потемкине». СПб. 1907 г.

дичи событиями и влиять на них в сторону, благоприятную для развития революции. Необходимо было, чтобы «Потемкин» высадил в Одессе десант, внес разложение в ряды гарнизона и вооружил рабочих. Необходимо было, чтоб, взяв инициативу в свои руки, он своей активностью вывел остальную эскадру из состояния хотя несомненного, но бездеятельного сочувствия; необходимо было снестись с социалистическими организациями Черноморского побережья, особенно с Кавказом, необходимо было...

Но сил и возможностей было у вас мало. События развивались слишком быстро, кусочки этих событий нельзя было связать между собой.

Из членов Комитета Крымского Союза литератор В. А. Могилевский был в это время в отъезде, С. М. Гурвич сидел в тюрьме, я был прикован к тайной типографии и связан секретарскими и многими другими обязанностями, оставались более или менее свободными только два члена Комитета: Шехтер («Петр Иванович»), старый партийный работник из харьковских студентов, и «тов. Касьян», как звали высокого одноглазого инженера-химика. Оба они то и дело ездили курьерским из Симферополя в Севастополь, пытались что-нибудь сделать, но тщетно. Хотя Касьяну, переодетому в матросский костюм, и удалось проникнуть в казарму, но полнейшая неосведомленность относительно судьбы «Потемкина», разоружение команды «Екатерины II», своей горячностью и несвоевременной ссорой с офицерами, несомненно повредившей общему делу; трагическая неудача с «Прутом», тщетно искавшим «Потемкина» по Черному морю и в конце-концов сдавшимся на милость Чухинца; измена «Георгия Победоносца» — все это заразило унынием даже наиболее сознательную часть флота.

Попытки заграничных соц. дем. организаций, особенно связанной с нами женеvской «Искры», оказать воздействие на поведение «Потемкина», само собою разумеется, еще меньше могли рассчитывать на успех. О том, что потемкинцев ожидал в Румынии специально командированный туда «Искрой» меньшевик Х. Раковский, мы узнали лишь впоследствии. Обширные же циркулярные послания «Искры» с различными наставлениями и советами получены были (и то не потемкинцами, а нами, членами Комитета, заседавшими в Симферополе) лишь тогда, когда с мятежным броненосцем уже все было окончено.

Крах восстания, крах, завершившийся к тому же казнями и осуждениями в каторгу нескольких десятков матросов, приостановил на время работу среди военных. Однако, самый факт потемкинского выступления, это вмешательство «нижних чинов» в политическую борьбу, страх, обуявший начальство пред возможностями новых попыток этого рода, наконец, героическое поведение посланного захватить «Потем-

хина» адмирала Кригера, испугавшегося со всей своей эскадрой одного броненосца,—все это не могло не произвести огромное впечатление на матросов и отчасти на солдат.

С другой стороны, грандиозные неудачи парского правительства в войне с Японией, такие катастрофы, как поражение при Цусиме, все разрастающееся революционное настроение среди рабочих и т. д. и т. п. не могло не затронуть и военную массу.

* * *

Как это ни странно, но до лета 1905 г. руководящие организации социалистов относительно мало внимания уделяли работе среди военных. Лишь после потемкинского восстания, соц.-демократические центры в Женеве и Киеве обратили, наконец, должное внимание на пропаганду среди матросов, и в том же Крым послано было несколько дельных товарищей.

Двое из них—пожилой ветеринарный врач *«товарищ Кирилл»* и другой—одесский студент, *«товарищ Кондрат»*, оба приехавшие к нам из Парижа, остались работать в Севастополе. Кондрату удалось вскоре восстановить прервавшиеся было старые связи с матросами и завести новые связи с санерами, артиллеристами и солдатами Брестского и Белостокского полков. Снова налажилось распространение прокламаций и брошюр. На окраине города, в Татарской слободке, у Кондрата имелась специальная явочная квартира. Часто, переодевшись в матросский или солдатский костюм, он устраивал собрания и массовки. Работа подвигалась, относительно говоря, довольно успешно.

Приближался октябрь 1905 г. Поток радикальной и социалистической литературы, наводивший всю Россию с осени, проникал и в казарму, проникал даже без содействия социалистических организаций. Если кто-нибудь из матросов или солдат уходил из казармы в город, то устраивалась складчина, по пятакам и гривенникам собирали пару-другую рублей и покупали издания «Молота», «Колокола», «Буревестника», а также последние номера газет — народнического «Сына Отечества» и полу-марксистской «Нашей Жизни». Все это читалось и комментировалось совершенно открыто. Нередко в споры солдат между собой вмешивались и господа офицеры, причем бывало и так, что обе стороны, увлекшись словопрепиями, забывали и про чинопочитание и про далекое расстояние, отделяющее «его высочородие» от простого «нижнего чина». При этом из таких словесных сличек господа офицеры не всегда уходили победителями.

18 октября, на другой день после «дарования» конституции, в Севастополе состоялась большая демонстрация. Огромная толпа со

знаменами и оркестром музыки подошла к тюрьме, где продолжали еще сидеть политические. По приказу начальника тюрьмы Светловского тюремный караул дал залп в толпу, и несколько человек пало замертво. Для трех состоялись похороны убитых. На кладбище, переполненном публикой, произносились речи. Небольшую, но прочувствованную речь, обошедшую затем все газеты, произнес морской лейтенант П. П. Шмидт. После этого в городе пошли митинги за митингами.

Севастополь напоминал в эти дни не маленький городишко, а какую-нибудь столицу Европы во время избирательной горячки. Выпознанные из подполья организации с.-р. и с.-д. развивали необычайную деятельность. Митинги устраивались в городском саду, в летнем театре, в рабочих слободах, а то и просто на огромной барже, перевозившей рабочих из судостроительного завода на другой берег.

В движении этом наряду со старой деятельницей революции «т. в. Инной» (так звали Инну Смидович) и молодежкой «тов. Ольгой» выделялись и качества ораторов и организаторов еще Андрей Тихтер, совсем юный и очень талантливый соц.-дем., умерший потом от чахотки в Ростовской тюрьме, и особенно Наташа Вольская. После того, как «тов. Наташа», проработав долгое время в подполье, удачно провела в Севастополе несколько всеобщих забастовок, она сделалась самой популярной личностью в городе.

Замечательнее всего было то, что на митингах все чаще стали появляться фигуры матросов и солдат, сперва в качестве слушателей, жадно ловивших каждое слово, а потом и в качестве ораторов, выступавших с не совсем выхощенными, но горячими и искренними речами. Начальство, разумеется, не на шутку нахмурилось. Пошли запрещения и репрессии. Нахмурились и «нижние чины», которым, как уже упоминалось, запрещалось даже просто посещать сквер, не то что участвовать на митингах, которые происходили там. Тогда матросы стали устраивать свои собрания отдельно, но совершенно открыто, возле казарм.

Растерянность властей, как центральных, так и местных, была в это время так велика, что Чухнин долго не знал, как быть: по-отечески ли улыбаться или по-начальственному наказывать. Больше того: чтоб удержать матросов от носщения митингов доводами беспартийности и нейтральности армии и флота, самому адмиралу пришлось устраивать митинги же...

В начале ноября в Севастополе сформировался новый руководящий центр соц.-демокр. военной организации. Кроме военных (среди них особенно выделялся потемкинский матрос Сиротенко), в этот центр вошли и двое штатских: Николай Конторович — один из первых организаторов работы среди военных в Севастополе, прослуживший в тюрьме

с 1902 г. по 1905 г.,—и случайно приехавший в Севастополь старый партийный работник Иван Вороницын.

На пятницу 11 ноября на площади между зданиями матросских экипажей и Брестскими казармами назначен был митинг. «В гости» к военным пришли и рабочие судостроительного завода в количестве несколько тысяч человек. Чухнин, очевидно, решил, что уговариваниям и увещаниям должен быть положен конец. По его приказанию собрана была сборная боевая рота из матросов и солдат Белостокского полка. Командовали ею одновременно контр-адмирал Писаревский и пехотный капитан Штейн. Выстроив роту, Писаревский счел нужным напомнить ей о долге, присяге на верность царю и пр. Тут же он поставил своим подчиненным на вид необходимость пустить в ход огнестрельное оружие, если только крамольники и бунтовщики не разойдутся сразу.

— А если на митинге будут наши братья, то что же, и в них стрелять?—раздался чей-то голос из рядов сборной роты.

Вопрос этот задал матрос Петров.

— Разумеется!—твердо ответил контр-адмирал:—в них придется стрелять!..

— Ага, раз так, так вот же тебе, дракон!—и Петров, встав на одно колено, взял винтовку на изготовку и сделал два выстрела: первым он ранил контр-адмирала Писаревского, а вторым убил наповал капитана Штейна.

Произошло это совершенно неожиданно. Поднялась суматоха. Петрова арестовали. Часть матросов, находившаяся в это время в экипажах, с криками: «Восстание, восстание!.. Смерть драконам!»—хотела было броситься с оружием в Морское Собрание, переполненное, как обыкновенно, офицерами, но прибывавшая из города Наташа Вольская удержала их от этих намерений. По ее предложению немедленно избран был временный Совет Депутатов. Петрова освободили из-под ареста и назначили дежурным по дивизии. Пылавших под руку офицеров обезоруживали и арестовывали.

Для тактики руководителей движения крайне характерно, что, когда на происходивший в это время митинг прибежал матрос с известием об убийстве Штейна и ранении Писаревского, говоривший в это время Вороницын старался *ослабить* впечатление от выстрела Петрова. Вороницын именно боялся, что подобные «эксцессы» и «чрезмерный боевизм» могут нарушить «естественное и планомерное» нарастание событий, могут вызвать развязку до того времени, что сила, «организованная и приведенная в стройную систему сила» будет на стороне матросов и солдат. Приблизительно таких же взглядов придерживались и другие руководители, в том числе и из среды самих матросов.

Резко отрицательное отношение соц.-демократов к (практиковался тогда соц.-рев.) террору и заговорщической тактике; гипертрофированный, односторонний «реализм», рассматривающий сквозь лупу все отрицательные моменты процесса «развития» и вызывающее настроение неуверенности и паники; затем страх пред стихийностью массы, пред порывистостью толпы, страх пред свойственными ей «крайностями» с одной стороны, и блестящий результат «мирной» и «бескровной» октябрьской (1905 г.) забастовки—с другой, в обстоятельствах этих и следует искать главную причину того, что лидеры восстания, а за ними и вся масса военных нарочно избегала тогда специфически военных методов действия.

— Мы мирным путем... мы не революционеры!—приходилось мне слышать от тех самых матросов, которые, сами того не ведая, делали самое, что ни на есть революционное дело. Попытки с.-р., особенно одного старика-эмигранта из Парижа, вмешаться в организацию восстания и придать ему более боевой и наступательный характер, кончались для них скандалами: матросы не слушать их не хотели, с.-р. уходили освиштанymi...

Выбранный на-спех Совет Депутатов оказался неспособным. Произошли перевыборы. Самими матросами и солдатами, безо всякого участия посторонних, были выработаны требования, которые должны были быть предъявлены чрез адмирала Чухнина центральному правительству. Среди этих требований (около 12 пунктов) на первом месте стояли пункты чисто профессионального характера, вроде сокращения срока службы, увеличения жалования, уничтожения института деппиков, вежливого обращения, неограниченного права гражданства вне служебных занятий и т. д. В конце этой декларации имелись требования: земли крестьянам, восьмичасового рабочего дня для рабочих и немедленного созыва Учредительного Собрания.

Чтобы поднять настроение и привлечь к восстанию остальные части гарнизона, решено было устроить 12 ноября демонстрацию. На это ушло много времени в хлопот. В разгар обсуждения этого предприятия прибегают некоторые сознательные артиллеристы и спрашивают:

— Как нам быть с крепостными орудиями: заклепать их, или же арестовывать офицеров и оставлять при пушках?

Вопрос чрезвычайной важности. Но депутаты были настолько заняты другими делами, что не обратили на артиллеристов никакого внимания, от них отделались общими фразами.

В субботу утром матросы высыпали из экипажей и соединились с солдатами Брестского полка—среди последних давно уже вели агитацию солдаты Кириленштейн, Могилевский, Михайловский и др. Все

были без оружия. Случайно подвернувшись карета, в которой сидели комендант крепости Неклюев и начальник дивизии Седелъников. Обоим генералов отвели в казармы и посадили в карцер.

К демонстрантам присоединились портовые рабочие с большим красным знаменем, много городских ремесленников и частной публики. Впереди шел морской оркестр. Шествие было хорошо организовано. Пройдя Екатерининскую улицу, демонстранты двинулись на Новосильцевскую площадь, где стояли солдаты Белостокского полка. Оркестр заиграл *«Боже, царя храни»* (таковы были традиции и стремление перецеполять самих себя в лояльность!), белостоки взяли на караул. Речь ораторов солдаты выслушали очень охотно, но присутствие начальства мешало им последовать призывам — перейти к матросам. Командир полка воспользовался замешательством и послещил увести своих солдат подальше на Балаклавскую дорогу. Демонстранты же, правда, в весьма образцовом порядке, повернули назад.

Как только солдаты Брестского полка вернулись с демонстрации к себе в казарму, командир их, полковник Думбадзе, немедленно и насильем увел их, несмотря на зиму, в лагерь, имея в виду изъять их из сферы соприкосновения с матросами. В лагерь был экстренно вызван православный священник, который после соответствующей речи одного из офицеров, произнес соответствующую случаю проповедь. Солдат угостили водкой и бубликами.

По поводу ареста генералов Неклюева и Седелъникова в Совет Депутатов прибежало несколько патристически настроенных солдат артиллеристов и потребовало освобождения «их» генералов: они усмотрели оскорбление матросами чести их полка в том, что господ генералов обезоружили и посадили на время в карцер. После непродолжительных прений благодушный Совет Депутатов освободил обоих генералов, несмотря на то, что те не согласились даже дать на словах обещание не предпринимать враждебных действий против повстанцев. Через несколько дней генерал Неклюев, в качестве коменданта Севастопольской крепости, энергично подавлял восстание...

* * *

Между тем, на крейсере «Очаков» имели место следующие события, теснейшим образом связанные с именем лейтенанта Шмидта. Еще в октябре, когда хоронили убитых возле тюрьмы демонстрантов, П. И. Шмидт произнес речь, произведшую огромное впечатление на слушателей и сделавшуюся известной всей России. Речь эта заканчивалась эффектным призывом:

— Клянемся, что не успокоимся, пока не добьемся политической свободы!.. Клянемся, что не успокоимся, пока не добьемся созыва Учредительного Собрания!..

При этих словах многотысячная толпа, наполнявшая кладбище, в воодушевления и с энтузиазмом поднимала вверх руки и выкрикивала с восторгом:

— Клянемся!.. Клянемся!..

Речь эта обошла все газеты, а приказ адмирала Чухнина арестовать лейтенанта Шмидта сделал имя его еще более популярным. Сидя на гауптвахте, Шмидт опубликовал в газете «Русь» письмо, в котором он излагал свое политическое credo.

В 1905 г., когда (как это вообще бывает в эпоху общественного подъема), все, что было в стране прогрессивного, совершенно бессознательно приняло радикальный оттенок, как бы спешило принять окраску в направлении к красному цвету, — когда обыватель становился либералом, либерал — радикалом, а радикал — почти социалистом, в это время и Шмидт считал себя соц.-револ. Из официальной программы этой партии он отвергал только террор. В то время, когда партия с.-р. представляла собою конгломерат элементов, впоследствии мало общего между собою имевших, Шмидту легко было, при том совершенно искренно, считать себя с.-ром.

Припоминая, однако, ряд его речей и других публичных выступлений, в частности, его поведение на суде, я думаю, что пред нами был человек, в своем социально-политическом радикализме навряд ли далеко ушедшей от типичного «трудовика», каким такой «трудовик» был впоследствии в период деятельности трех Государственных Дум. Не знаю, до чего эволюционировала бы социально-политическая мысль лейтенанта Шмидта, не потерпел бы Чухнин казнить его, но некоторые элементы его неустоявшегося и неуспешного окончательно определиться мировоззрения, внушали сомнение в своей глубине. Между прочим, Шмидту, по-моему, не чужд был также и следующий пережиток славянофильства в духе Достоевского: монарх. мол, занимает, или может занимать, внеклассовое или сверхклассовое положение, из чего вытекает задача — устроить то бюрократическое средостение, которое отделяет царя от народа...

Политическая платформа Шмидта в то время очень напоминала по своей расплывчатости платформу радикально-интеллигентского, отнюдь не социалистического политико-профессионального «Союза Союзом». Эффектность событий, участием которых история сделала лейтенанта Шмидта, его мученическая смерть, окружили этого человека ореолом, который как бы затрудняет

пока более объективную и спокойную оценку его, как политического деятеля.

... Настроение матросов на крейсере «Очаков» делалось все более и более возбужденным, команда собиралась переехать в Одессу, офицеров и присоединиться к восстанию на берегу. Группа матросов, безо всяких предисловий, отправилась к Шмидту на квартиру и после долгой беседы предложила ему взять на себя командование крейсером. На этот раз Шмидт отказался.

Вместе со своими собеседниками — матросами Шмидт отправился на заседание Совета Депутатов. Председательствовавший Вороничин предоставил ему слово, и Шмидт произнес речь, смысл которой варьировался им в ряде речей, произнесенных еще до этого на митингах, а именно:

— Не надо никакого вооруженного восстания: это не только лишне, но и вредно; единственное средство добиться политической свободы, улучшить положение крестьян, рабочих и матросов с солдатами — это новая всеобщая всероссийская политическая забастовка; провести ее может только Союз Союзов; сделанное севастопольскими матросами большое значение не имеет. Надо приостановить начатое здесь и подождать, пока *Союз Союзов нажмет из Москвы кнопку*, — вся Россия тогда забастует, жизнь на мгн. задрожит, самодержавие окончательно отступит, и тогда требования народа, в том числе и требования повстанцев, найдут свое осуществление...

Речь эта, да еще сказанная таким почтенным и авторитетным деятелем, матросам поразила и обескуражила. Шмидту возразил Вороничин. Разбив некоторые его предпосылки, он с успехом доказал, что восставшим матросам остается один только путь — продолжать начатое дело, не отступая, а, наоборот, стягивая в стихийно начавшееся движение остальные части флота и гарнизона. В этом же смысле высказывались и остальные депутаты, в том числе и матросы с «Очакова». Они, между прочим, указывали, что сам Шмидт своими речами и выступлениями вызвал движение, о ненужности которого он теперь говорит. Они очень настойчиво и убедительно предлагают ему прийти к ним на корабль и взять на себя командование красным крейсером.

После некоторого колебания, Шмидт согласился. Матросы переехали весь командный состав, выбрали из своей среды комитет, возглавляемый Шмидтом. Ему деятельно помогали в этом два одесских студента, Пятин и Машеев, и харьковский рабочий — портной Лукин, с самого начала движения каким-то образом очутившиеся на «Очакове».

Движение захватило и саперов. Пропаганда, которую после потемкинских событий ловко повел среди них «тов. Кондрат», общее возбуждение, охватившее всех и вся, да ряд обстоятельств местного бытового характера привели к тому, что саперы очень скоро присоединились к восставшим на берегу матросам. Не малую роль, как впрочем и во всем этом движении, сыграло то обстоятельство, что начальство, заведенное канцелярщиной и тупым равнодушием к судьбе «нижнего чина», очень медлило с отпуском домой матросов и солдат, уже копчивших срок службы и вышедших в запас. Значение имело еще и то обстоятельство, что, как среди матросов, так и среди саперов, очень много квалифицированных рабочих — качество, которым не может похвастаться крестьянская пехота, в большинстве случаев остававшаяся верной правительству.

Когда представители матросов явились к саперам с предложением присоединяться, те с радостью согласились и послали в Совет Депутатов несколько человек. Среди них выделялись: солдат из агрономов Назаренко и старший унтер-офицер, бывший железнодорожный машинист, *Максим Барышев*.

Способный и впечатлительный, все время чего-то искавший, прямо страдавший от массы вопросов и противоречий, шевелившихся в его талантливой голове, Барышев, за отсутствием подходящих людей и книг, долго блуждал в потемках. О социалистах он впервые узнал на военной службе, но не от пропагандистов, а от одного из поручиков, оригинальной и сильной натуры, крайнего реакционера и фанатичного монархиста. Офицер этот сумел внушить темпераментному и страстному Барышеву такую ненависть к социалистам, что попалось ему в то время какой-нибудь «внутренний враг», он растерзал бы его на месте. Зато, когда жизнь и люди показали ему, где именно эти внутренние враги народа обретаются, он с пылом новообращенного сделался ревностным социалистом.

Искренний и правдивый человек, чудесный товарищ, к тому же еще вроде начальства — Барышев пользовался большим влиянием среди саперов. Когда приехавший к ним 13-го утром генерал Колосов в длинной речи пытался удержать их от присоединения к матросам, Барышев ответил ему краткой, но убедительной речью, закончив ее неожиданной для генерала командой:

— Налево! Кругом, марш!

По этой команде солдаты, как стояли вооруженные винтовками и запасными патронами, повернули к берегу и, переехав на пликах бухты, поднялись по длинной каменной лестнице наверх к матросам. Из экипажей выбежали депутаты, явились музыканты, посыпались

приветствия, матросы обнимали и целовали сиявших от восторга сатиров. Впереди них шел с шашкой наголо старший унтер-офицер Барышев, стройный красавец с длинными хохлатыми усами. На лице его были написаны серьезность и тревога. Осторожный и скептический ум Барышева не поддавался первому впечатлению, и, проработав день в качестве депутата, он сразу же усмотрел множество дефектов, которых пока-что другие не замечали.

Из броненосцев к восставшим первым примкнул «Потемкин», в свое время доставленный из Румынии, отремонтированный и по приказу царя переименованный в «Святого Пантелеймона». Однако, имя святого подвижника церкви, заменившее имя грешного фаворита, не спасло команду броненосца от крамольных идей. Более того, «Пантелеймон» являлся местом ссылки, куда морское начальство торопилось сплавлять мало-мальски подозрительных в политическом отношении матросов. Таким образом, на бывшем «Потемкине» очутилось много сознательных революционеров.

Когда на берегу падали волны, броненосец удостоился посещения самого адмирала Чухнина. Выстроив команду, он произнес речь, в которой очень неостро отзывался о революционерах, как о ставленниках жидов и проч. Но не успев он кончить, как из строя выскочил матрос Сиротенко и в краткой речи разбил адмирала по всем пунктам. Растерявшись, Чухнин попробовал было возразить Сиротенко, но в середине речи вдруг расчувствовался и... заплакал. Факт: этот черствый и жестокий старик, старый слуга престола и отечества, гроза черноморского флота, человек с огромными полномочиями и привилегиями, заплакал самым искренним образом, видя крушение того, с чем он в течение многих десятилетий так крепко сжился.

Однако, как человек решительный и с выдержкой, Чухнин сейчас же пришел в себя и неожиданно властным голосом закричал:

— Арестовать Сиротенко!

Но едва кто-то из многочисленной свиты, окружавшей Чухнина, устремился к Сиротенко, как команда, возбужденная и взволнованная, в свою очередь закричала:

— Не трогать Сиротенко!.. Долой драконов!

Начальству с Чухниным во главе оставалось только ретироваться и поскорее съехать на берег. Однако, враги народа, имея за собой многовековой опыт, даже в припадке отчаяния редко теряют самообладание. Так, оставляя «Потемкин», Чухнин все же *распорядился убрать подальше и спрятать ударники от могучих орудий, имевшихся на этом сильном броненосце...*

Матросы же, обрадовавшись тому, что их коллега Сиротенко так блестяще победил грозного адмирала, забыли про одну мелочь: арестовать Чухнина со всей его свитой. Чухнин благополучно удалился в свой дворец, окружил себя казаками-эскадронцами и оттуда руководил потом усмирением восставших...

* * *

После того, как командиры Врестского и Белостокского полков так ловко вывели из города своих солдат, движение концентрировалось на судах.

Крейсер «Очаков» окончательно очутился в руках повстанцев. Все его офицеры были или спущены на берег и отправлены домой или заперты на крейсере же, в качестве заложников. Лейтенант Шмидт, еще вчера бывший против восстания, энергично принялся за работу и первым делом послал царю телеграмму с требованием созыва Учредительного Собрания.

К «Очакову» сравнительно скоро присоединились и внут.-миноносец «Свярелый» и три померных миноносца. На остальных судах начальство все еще не выпускало власти из своих рук, а сами матросы пока активно своего сочувствия к восстанию не проявляли.

К несчастью, на «Путемкине» не было единодушия среди команды. Верх брала то одна партия, то другая, в связи с чем на броненосце поднимался то красный, то георгиевский флаг. Остальные мелкие суда во всем подражали «Путемкину», которого они просто боялись, как крупнейшей боевой единицы.

С целью поднять настроение эскадры, Шмидт перешел на миноносец «Свярелый» и объехал всю эскадру. Останавливаясь перед каждым судном, он произносил агитационную речь, лейтмотивом которой было:

— Товарищи, мы поднимаемся за правое дело!.. За нами Бог, царь и весь русский народ!.. Армия тоже присоединилась к нам, присоединитесь же и вы!..

Вероятно слова эти представляли лишь агитационный прием, правда, весьма сомнительный в такой обстановке. Неприятно ли сам Шмидт серьезно думал, что Бог и царь одобряют вооруженное восстание против самодержавия¹⁾.

С некоторых судов в ответ на речи Шмидта раздавалась грубая брань, главным образом, со стороны офицерства, конечно. Особенно отличался реакционностью броненосец «Ростислав» Не только высший,

¹⁾ Содержание этих речей Шмидта я перелаю со слов моего сопроцессника матроса Штригунова, сопровождавшего Шмидта на «Свярелом». То же самое подтверждали и другие матросы, сидевшие со мной в Шпенсальбургской крепости.

но низший состав его выделялся своей враждебностью к тому, что творилось на берегу и на «Очакове».

Объехав все суда, Шмидт на «Свирином» же подошел к порту, освободил всех содержавшихся под арестом на пловучей тюрьме, затем освободил всех арестованных на «Пруте».

В течение утра 15 ноября вооруженные команды из дивизии продолжали занимать мелкие суда. Во время обеда группа вооруженных повстанцев на шлюпках подошла к «Пантелеймону» и св-зла на «Очаков» оставшихся там офицеров. Когда же после долгих поисков удалось наконец отыскать ударники от Потемкинских орудий, линкованию не было конца.

— Ура!.. Наша взяла!! — с криком вбежал во двор дивизии Контарович, большая черная борода и тонкое интеллигентное лицо которого мало гармонировало с матросским костюмом, который он, конспирации ради, успел натянуть на себя. — Наша взяла!! Победа!! Ура!..

После обеда суда, стоявшие вдоль восточного берега южной бухты, стали одно за другим поднимать красные флаги.

Но не дремали и враги. Генерал Кульбарс — главнокомандующий войсками одесского военного округа, энергичный и умный черносотенец, генерал Меллер-Закомельский — начальник 8-го армейского корпуса, тугой, бездарный, но смелый и примолинейный солдафон, отличавшийся потом при усмирении волнений в Сибири и Прибалтийском крае, в конце концов адмирал Чухнин — сочли нужным оставить позицию наблюдателей.

Из разных городов были вызваны пехотные части, приходившие в Севастополь, благодаря продолжавшейся жел.-дор. забастовке, пешком. Из Симферополя прибыл батальон Литовского полка, из Феодосии — Виленский полк, пришли еще пехотные части из Одессы, Павлограда и других мест. Солдаты эти поверили офицерам и искренно шли усмирять матросов и жидов, которые восстали против наяр. грабят мол. мартвое население, насилуют женщин, совершают поджоги, и т. д. и т. п.

В начале 4-го часа 15 ноября началось усмирение. Тогда Чухнин и другие имели точные сведения от предателей и шпионов, то ли они сами догадались, в чем дело, но факт тот, что *когда мимо канонерки «Терек» проходили шлюпки с ударниками от потемкинских пушек, по ним был выстрел с «Трица» зигли.* В тот же момент боевые орудия, точно по сигналу, стали обстреливать суда, стоявшие в южной бухте. Дав был залп и по зданию эскандера.

В ответ на это Шмидт поднимает на «Очакове» сигнал: «Имею много пленных офицеров, считаю их заложниками». (Еще до этого он объявлял, что за насилие со стороны правительственных войск он будет вешать офицеров). Выстрелами из орудий была потоплена одна

шлюпка с повстанцами. «Очаков» открывает тогда ответный огонь. Но крепостные орудия с северной стороны и орудия с судов, оставшихся верными правительству, этого только и ждали. Десятки снарядов полетели со всех сторон в «Очаков». Крейсер подвергся долгой и ожесточенной бомбардировке.

Увидя это, контр-миноносец «Свириный», на котором находились Сиротенко и Вороницын, стремительно пошел в атаку, но сильный огонь с крейсера «Память Меркурия», «Капитан Сакен» и особенно с броненосца «Ростислав» немедленно вывел его из строя. Многие бросились в воду, остальных подобрала команда с «Ростислава». Вороницын, которого командир судна хотел было немедленно расстрелять, остался в живых, судьба же Сиротенко так и осталась в подробностях невыясненной. Спустя несколько дней труп его прибыл к берегу, как утверждали очевидцы, в мешке... Очевидно, его расстреляли, всушили в мешок и бросили в море.

Еще до своего выбытия из строя «Свириный» хотел было взорвать минный транспорт «Буг», стоявший в Южной бухте. На «Буге» было триста боевых мин и огромное количество пироксилина. Взрыв этот погубил бы значительную часть города, повлек бы массу жертв, и «Свириный», сообразив это, отказался от своего намерения.

Что касается «Очакова», то, едва сделав шесть выстрелов, он поднял белый флаг. На крейсере начался пожар. Матросы побросались в воду. В них стреляли, их пускали ко дну, — больше того, даже в тех, кто благополучно добирался до берега, делались выстрелы.

Шмидт пытался скрыться за ялик, но был задержан.

Матросские казармы, находившиеся на горе, в которых засело тысячи полторы повстанцев и десятки два нас, «штатских», тоже не остались без внимания усмирителей: с Малахова Кургана, с Исторического бульвара и из полевых батарей в нас палили с 4 часов 15 ноября до самого утра 16-го.

В первый момент все оцепило: до того оно было неожиданно и непопотно. Когда же стрельба усилилась, все разбрелось кто куда — одни назад в экипажи, а другие через задний двор и забор подальше от места восстания. Всюду паника, суета. Никто и не думает обороняться. Тогда дежурный по дивизии, матрос Крошка, нагнувшись на лоб фуражку и греми саблею офицерской саблей, вскочил в 28-й экипаж, выхватил «Наган», сделал выстрел в воздух и со специфической пятиэтажной и рифмованной матросской руганью выгнал всех на двор. Быстро выстроил всех и заявив, что немедленно же пристреляет всякого, кто будет трусить и не пойдет против драконов, Крошка стал отдавать приказания.

Но вся беда была в том, что у повстанцев до смешного мало было оружия: загниотизированные возможностью, на манер октябрьской забастовки рабочих, добиться всего «*мирным путем*», матросы не запаслись своевременно даже средствами обороны. Во дворе валялись десятки ящиков с новыми револьверами, но не было пуль к ним. Из артиллерийского склада успели притащить днем, так, на всякий случай, чтоб обезоружить врага, множество ящиков с пулями, но не хватало винтовок. Пробовали приладить к окну пару пулеметов, но долго бегали по экипажам и искали пулеметчиков, а когда их нашли, то оказалось, что шикарные, совершенно новенькие пулеметы припашены были почти без лент... Отдельные смельчаки, выбрав подходящие позиции из окон второго этажа, замечательно ловко действовали из винтовок, но какое это могло иметь значение!..

Вдруг огромное пушечное ядро ударилось о стену 31-го экипажа. Другое ядро, пушечное в догонку за первым, пробило часть стены 28-го экипажа и повредило трубы от водопровода. Вода стала заливать казарму.

Во время этой суматохи я растерял всех своих сотрудников. Некоторые еще до этого ушли из казармы, я же вместе с студентом Соловейчиком, переодетыми в матросские костюмы, стали на-спех составлять информационный бюллетень. Однако, выстрелы заставили нас, а также другого с.-д., очутившегося среди повстанцев, литейщика Антона Мазина, спуститься во двор. Здесь мы и потеряли друг друга.

Ошеломленный всем происходившим, я машинально прислонился к стене и с каким-то странным любопытством стал смотреть, как пронесшееся высоко над гол вой ядро ударилось о стенку 31-го экипажа. От грохота орудий, стрельбы патками из винтовок, отвратительного сухого треска пулеметов, от звона стекол и вой нескольких собак, метавшихся, словно угорелые, по двору, можно было оглохнуть.

— Товарищ, что вы стоите!.. прячьтесь!.. Бегите за нами! — раздались голоса выбежавших из дивизии матросов, и я, вслед за ними бросился, точнее, кубарем вкатился в какой-то погреб. Там было уже полно. На ящиках, бочках, на полках и скамьях, в самых неудобных позах, стояли, сидели и лежали матросы и саперы. Все были загниотизированы ужасным грохотом, доносившимся снаружи. Все молчали, тяжело переводя дыхание. Я воспользовался ближайшей пятиминутной паузой, выбежал во двор и бегом устремился в здание дивизии, где обыкновенно заседал Совет Депутатов. Я хотел узнать, в чем дело? Что предполагается делать дальше? Почему молчит «Потемкин»? Где все руководители и куда девалась вся наша публика?

В дивизии никого не было. На столах и полу валялись груды прокламаций, масса изорванной бумаги. Встретил Ант. Мазина, и мы оба направились к одному из экипажей. Было темно. Только прожекторы с броненосцев то и дело прорезали своими лучами эту темноту, помогая пехоте и артиллерии обстреливать повстанцев. Треск пулеметов, смешивавшийся с залпами из ружей, не прекращался. В одном из экипажей, защищенном от выстрелов соседними зданиями, лежали на койках матросы и, как ни в чем не бывало, покуривали, пускали по адресу *драконов* и *масалок*, т.е. офицеров и пехотинцев, всевозможные любезности, передразнивая грохот орудий и трескотню пулеметов.

В одном из помещений мы наконец нашли тех, кого искали. Члены Совета сидели в маленькой комнатенке и ожесточенно, словно впереворот, дымили папиросами. Лица у всех бледные и чем-то озаренные. Наиболее спокойными казались матрос Кассасимов, огромнейшего роста, необычайно широкоплечий хитро, на редкость хладнокровный и уравновешенный, — и другой матрос, Кудымовский. Все депутаты уверены были, что утром их непременно расстреляют. Конторович, который любил во всем некоторую праздничность и парадность, предлагал, как только начнет рассветать, выйти к умиротелям и заявить им:

— Мы сдаемся... Вы победили, но правда за нами!..

Большинство депутатов, в том числе и Н. Д. Конторович, имели возможность скрыться еще в самом начале стрельбы, но они сознательно не сделали этого, опасаясь, что это произведет дурное впечатление на рязовых участников восстания. Впоследствии все они были приговорены к смертной казни, но помилованы сменявшим Чухнина адмиралом Скрыдловым: расстрел заменен был бессрочной и двадцатилетней каторгой

К пяти часам утра начался форменный штурм матросских казарм. Действовали по всем правилам науки. Работали и пулеметы, и пушки, и винтовки. Долго-долго в ушах стоял такой отчаянный шум, что пришлось заткнуть их носовым платком. Целых сорок минут продолжалась эта аская музыка. Наконец, к нам ворвались офицеры с револьверами в руках, бледные и встревоженные опасением, не устроили ли матросы какую-нибудь хитрую засаду... Рядом с офицерами кучи солдат-умиротеля, злых и угрюмых. Арестовали нас 1600 человек. С «Очакова» и других судов взято было человек 400.

Из женщин, участниц и руководительниц восстания (в первой его стадии) никого арестовать не удалось, как бы охотились за ними. Правда, Генриэта Мешман все-таки потом попала на одном рабочем собрании и долго сидела в севастопольской же тюрьме, но начальство и не догадывалось, что это и есть «товарищ Ольга». Откуда-то из Новороссийска или из Новочеркасска привезли по этапу на уличение молоденькую женщину-врача Нестерову, в которой заподозрили не то Нагашу Вольскую, не то Инну Смидович, но оказалось, что ретивое начальство ошиблось...

.....

Восстание было подавлено. *Пехотинец* усмирил *матроса* и сапера. *Мужик*, темный и забитый, робкий и покорный мужик, победил строптивого и дерзкого *пролетария*-горожанина. Чернокошенный *офицер*, располагавший великодушием, столетиями выработанной системой подавления, победил *размочинца*-интеллигента, не успевшего еще отделаться от схоластических и сентиментальных представлений об искусстве революции. Смелый и быстрый натиск адмиралов и генералов разрушил замыслы слишком уже медлительных и слишком уж много мудривших тогда революционеров соц.-демократов

.....

Летом 1906 г. судили «очаковцев». Лейтенанта Шмидта, матросов Антоновку, Частинку и Гладкова расстреляли.

Осенью судили часть повстанцев с Кассасимовым и Кудимовским во главе. Трех приговорили к расстрелу, но по настоянию либерального адмирала Скрыдлова казнь была заменена 20-ти летней каторгой. Когда матросов из этой группы законовали в пожные кандалы, они, полные буйной энергии и протеста, не давались, вступили в побоище с солдатами; многие из них были при этом ранены. В Сибирь на каторгу они ехали, как триумфаторы, распевая революционные песни, устраивая на станциях импровизированные митинги из окон арестантских вагонов; рабочие и обывательская публика встречали их с демонстрациями, устраивая на станциях сборы денег и провизии. То было перед самым началом заседаний Первой Государственной Думы.

Наша группа сидела под судом ровно год. Отчасти произошло это вследствие того, что севастопольская соц.-дем. организация, рассчитывая на близость нового восстания и желая отдалить начало суда, поручила руководителю военной организации «товарищу Николаю» организовать похищение судебных материалов. Группа вооруженных меньшевиков ворвалась ночью в здание суда, связала сторожа, похитила

и сожгла 8 томов, огромнейших пудовых томов судебных материалов. Властям пришлось снаряжать новое следствие.

Судил нас военный суд. Прокурором был по-своему умный и бездушный бюрократ капитан Ронжун, тот самый, который добивался и добился казни Шмидта во время суда над «очаковцами». Большинство из нас бойкотировало суд. В нашем отсутствии проходил допрос свидетелей. Суд длился около недели. Мы явились, точнее, нас привезли только для выслушания приговора.

Мы, человек 20 штатских, а также матрос с «Потемкина» Захар Циома и солдат Брестского полка Яков Киршенштейн, сидели в это время в полутемных карцерах при дивизии, куда нас, штатских, доставили за несколько дней до начала суда на пароходике из гражданской тюрьмы.

Из видных участников восстания к расстрелу приговорены были: матрос Циома, «штатские» Вороницын и Конторович и сапер Максим Барышев. Матрос Симоненко и солдат Киршенштейн получили бессрочную, на каковую адмирал Скрыдлов через две недели после приговора заменил и смертный приговор упомянутой выше четверки. В день объявления приговора всех нас заковали в ножные кандалы. Захар Циома, узнав, что его должны расстрелять, пустился в присядку, подпевая в такт звону пеньей:

— За свободу!... За революцию!... За народ!...

Впрочем, все мы были убеждены, что чрез месяц—другой *народ* восстанет снова, на этот раз *по настоящему*, и освободит нас от тюрьмы и от кандалов. Поэтому приговор мы выслушали довольно равнодушно, даже с прибаутками и шутками.

Трем осужденным на каторгу (всего по всем трем процессам—человек 200) было несколько молодых людей (вроде наборщика Александра Вовченко и учащегося Бориса Берга) абсолютно невинных и к восстанию никакого отношения не имевших.

Из полутемных карцеров нас перевели в Морской Арестный Дом.

Однажды ночью тюрьма эта была оцеплена множеством солдат. Солдатами же был усеян путь от тюрьмы до вокзала. Больше того: по всему железнодорожному пути от вокзала до Бахчисарая расставлены были патрули. Местность, прилегающая к Морскому Арестному Дому и вокзалу, была объявлена на осадном положении.

То отправляли нас на каторгу.

К каждому из нас приставлено было по два солдата, вооруженных винтовками. Вороницын же, Циома, Барышев, Конторович, Симоненко и Киршенштейн удостоились особой чести: их отправили на вокзал каждого в особой карете, с двумя вооруженными браунингами солдатами внутри кареты и четырьмя верховыми казаками снаружи.

Оказывается, ходили слухи, что рабочие и матросы собираются освободить нас, и высшее начальство не на шутку перепугалось.

До суда и первое время после него каждый из нас был убежден, что на каторге он пробудет месяц-два, ну, полгода. Вышло немножко иначе. Лично я просидел в тюрьмах без перерыва с 1905 по 1913 г.г., других освободила лишь февральская революция 1917 г. Многие же так и не увидели свободы, не выдержав царской каторги....

Могины их, сиротливые арестантские могилы, разбросаны там и сям по лицу земли Русской....

Из Севастополя меня отправили было в Москву, но тут же со станции Московского вокзала переслали в Смоленск. За Смоленским централом последовала Шлиссельбургская крепость, потом Вологодский централ, потом Псковский, потом Орловский централ. В течение этих десяти лет мне пришлось побывать и в десятках полутюре других тюрем, главным образом, пересыльных.

О виденном и пережитом постараюсь рассказать ниже....

В Севастопольской тюрьме.

Было это в 1906 г., в памятный 1906 г., когда вдруг и все кипело и бурлило, когда власти потеряли голову, когда вся жизнь вышла из прежних берегов. В это время в нашей Севастопольской тюрьме арестантам жилось недурно.

Правда, всюду царил немощная теснота, и в камере, рассчитанной на 12 человек, помещалось более 30; грязь, пыль, паутина, клопы, вши,—все это делало наши жилища проклятыми до омерзения; клозеты — в этом же помещении готовился и кипиток — походили на зловонные клоаки; коридоры были темные, воздух затхлый, отовсюду разило таким ароматом, что с неприявки голова кружилась; пища была сквернее скверного, — на хлеб и на обед отпускалось всего восемь копеек в сутки на арестанта... Ужина вовсе не было.

Все это правда. Но зато с воли можно было получать какие угодно передачи, высшее и низшее начальство нас прямо побаивалось, а градоначальник, капитан Рогуля, добродушный хохол, человек простой и уступчивый, разрешил нам днем переходить из камеры в камеру и выходить на прогулку, когда нам вздумается.

И у политиков, и у уголовных имелись превосходные связи с волей. У всех никогда не переводились наличные деньги, у уголовных были водка и курты, у нас же всегда имелась свежая и нелегальная литература, прокламации — и даже револьверы. По инициативе и благодаря энергии нашего выборного старосты с.-р. Якова Сосновского у нас издавался даже тюремный журнал, печатавшийся в тюрьме же на гектографе; по своей содержательности, внешнему виду и величественным рисункам он мог бы смело выходить и на воле.

Среди надзирателей было много «блатных», а один из старших, Мурсалимов, находился даже на жаловании у наших политиков. Не мало было и таких надзирателей, что оказывали политикам услуги не за деньги, а по сочувствию.

Со всем этим странным образом сочетались одно время и такие дикие вещи, как стрельба часовых по обнам, как только в них пока-

жется голова арестанта... И это не ночью, а именно днем. До того причудливо смешивалось у нас в это переходное время старое с новым «нижегородское» с «французским».

Несколько арестантов было таким образом убито наповал, а однажды был ранен в лицо наш староста Як. Сосновский. Он стоял у окна, не замечая, что внизу во дворе находится караульный офицер, пожилой человек с выхоленным аристократическим лицом и г орцевской ленточкой в петлице. Заметив у окна Сосновского, он крикнул часовому:

— Ты чего смотришь?..

Часовой немедленно приложил винтовку и выстрелил. Пуля попала в прут решетки и рикошетом ударилась об лицо Сосновского. К счастью, дело окончилось престой царяпиной, но сам Сосновский до того растерялся от неожиданности, что несколько минут подряд кричал со стоном:

— Ох, за что меня убили!.. За что меня убили!.. Один из заключенных был убит накануне своего освобождения. Ему вздумалось повесить на решетке вымытый им платок, и он был за это застрелен наповал. За каждого убитого арестанта солдат получал от начальства по три рубля. Все зависело от офицера или от старшего по караулу, из солдат же. Иные из них прямо катривляли на нас своих подчиненных.

Но зато внутри тюрьмы, особенно когда начальника Светловского заменил Анисимов, человек добрый и слабохарактерный, Севастопольская тюрьма обратилась в «анархическую» республику.

Чтобы не затруднять надзирателей, каждый из нас имел самостоятельную отмычку от своей камеры.

На прогулку мы выходили большими группами, заводили всевозможные игры и песни. Любители пения сформировали настоящий хор и в одной из одиночек устраивали свои спевки. Одно время мы по целым дням не сходили с окон, перекидывались с вольной публикой, посредством резиновых рогаток перебрасывали им записки, размахивали красными флажками. Однажды, после того, как мы из наших окон провожали оглушительным свистом проходившую мимо тюрьмы похоронную процессию (хоронили жандармского офицера, убитого с-р.), градоначальник хотел было заколотить окна деревянными щитами, но дальше утроб дело не пошло. То же было, когда хоронили отца наш го старосты: мы все заторопились на окна, размахивали флажками и громко провели революционный похоронный марш. Публика, провожавшая покойника, остановилась и долго нас приветствовала; среди участников похоронной процессии был и сам Сосновский, — градоначальник Рогов разрешил ему на честное слово присутствовать на похоронах; Сосновский сдержал слово и вернулся в тюрьму, хотя его ожидала каторга.

Уголовные, которые почти все сидели в общих камерах, тоже чувствовали себя не дурно: картежная игра шла у них днем и ночью, любовницы и знакомые перебрасывали им через стенку тряпки с завернутыми в них деньгами.

Понятно, что при таких порядках глупо было бы не думать о побеге. И действительно, за один 1906 год у нас их было не меньше шести-семи.

Тюрьма помещалась за городом на холмистом возвышении. Наружный караул состоял не из вадипрателей, а из солдат Брестского и Белостокского полков, часовые дежурили внутри двора, расхаживая себе вдоль стен и поглядывая на окна. Бежать обычным манером через окно да через стенку было довольно рискованно, поэтому мысли арестантов работали в другом направлении.

Первым бежал при мне уголовный Андрей Луцкан.

Это был молодой человек, лет 23 — 24, профессиональный вор, только далеко не шаблонного типа. Немного болтает он по-французски, когда это ему нужно, бросает хулиганский жаргон и выражается настоящим книжным языком, уснащенным иностранными словечками, вообще умеет выводить на себя лоск и манеры светского человека. За ним числится множество краж и мошенничеств. Попадался он часто, но умея пускать пыль в глаза, то кротил из себя невинного человека, то строил из себя жертву патологической наследственности, ловко симулируя свою невменяемость.

Свои кражи Луцкан обставлял совсем на особый манер. Так, в последнее время он проливал в Ялте, расхаживал в мундире мичмана, посещал балы и вечера, знакомился с барыньками, приезжавшими в Крым не столько ради его климата, сколько ради его проволонников, — и напрадую флиртовал с ними. Набив себе руку по этой части, Луцкан — парень пригожий — ловко вытягивал их в любовные интриги, выбирая себе жертвы побогаче. Когда же дело доходило до прозаического конца поэтического начала, или, если угодно, до поэтического конца прозаического начала, Луцкан ночью обрадывал ту или иную из своих избранниц. Приличия ради и опасаясь скандала — ведь все это народ благовоспитанный — приезжие купчихи и чиновницы не доносили полиции о своих потерях...

С нами, политическими, Луцкан старался быть в хороших отношениях. Подойдет бывало к нам, стадоко улыбаясь, шутливо пошарождается и начнет «умную» беседу, перескакивая с предмета на предмет, не договаривая и не дослушивая.

Не то, спекулируя на чью-нибудь озабоченность, начнет пространно уврачать, что он анархист, и при этом так заиграется и засыплет вас таким обилием книжного вздора, что вам делается неловко за него

самого. Но его это мало смущает, и с обезоруживающей наглостью он смотрит вам прямо в глаза. Дорожка знакомством с политиками, он, тем не менее, не прочь бы и обкрадывать нас; так, сидя в одиночке, он как-то забрал в камеру к одному из наших и стибрил у него серебряную дощечку.

Луцкан был азартный картежник, пылкий и невыдержанный. Как человек с мелкой душенкой, вздорным характером, болтливым языком, он был презираем серьезными и солидными ворами.

Сидя в тюрьме Луцкан имел у себя на руках несколько бриллиантов. Падкие на деньги надзиратели выменивали ему на воле бриллианты на золото и бумажки, и при этом порядком наживались. С их-то помощью Луцкан и затеял побег.

Сидя в одиночке, он смастерил себе подходящий солдатский мундир и фуражку, достал с воли накладную бороду и усы и обзавелся острым кинжалом.

Подкупленный им заранее надзиратель пропустил его из одиночки в коридор, и оттуда в контору.

Там за столом сидел караульный офицер. Луцкан как ни в чем не бывало, подходит к нему с рапортом:

— Ваше благородие. Честь имею доложить, что дежурный по караулам приехал на пролетке к воротам тюрьмы и требует ваше благородие к себе...

План у Луцкана был вот какой: вместе с офицером выйти за ворота, а там убежать от него, заколов его кинжалом.

Но дело у него не вытанцовалось. Старший надзиратель, не то случайно находившийся при этом, не то заранее уведомленный о замыслах Луцкана, задержал его на месте. Едва он по всей форме, становясь во фронт и держа руку под козырек, отравортовал все, что нужно, как старший надзиратель выхватил шашку и, дернув его за бороду, прикнул:

— Луцкан, это ты...

Луцкана сейчас же заковали в ножные кандалы и посадили на неделю в темный карцер. Но Луцкан и не думал унывать. Гуляя один по двору, он с бахвальством рассказывал сидящим на окопах арестантам о своем приключении. А когда по двору проходил начальник, он ему кричал вслед громким голосом, так, чтобы все слышали и удивлялись его развязности:

— Ваше благородие. Я скоро опять убегу. На этот раз уж не задержите... Даю вам слово джентльмена, что убегу...

Некоторое время Луцкана держали в одиночке, а потом перевели в общую камеру, где он скоро проиграл в карты все свои алмазы.

деньги и вещи Осенью его и сопроцессника его—Бойко, судили. Дали им каторгу. Но, должно быть, им так-таки и удалось бежать из тюрьмы, потому что один мой знакомый встретил их впоследствии в Петербурге в какой-то странной компании, не то рабочих, не то молодых интеллигентов, которым они выдавали себя за апархистов.

* * *

Несколько более несчастливое другое арестанту, тоже из профессиональных воров. Фамилия его была Кошкин. Этот старый, лет под сорок, рецидивист, был весь без остатка пропитан духом уголовщины, т.е. был человек испорченный и развращенный, алчный и холодно-жесток. Не знающий удержки в своих прихотях, он принадлежал к той категории преступников, об исправлении которых могут говорить только люди, поверхностно судящие о тех, с кем они имеют дело.

Правда, как и большинство уголовных, Кошкин, когда это нужно было, умел держать себя в руках и принимать какие угодно мины, но в его отношениях к политикам проглядывала люгая и слепая ненависть. Во-первых, они виноваты в том, что своими забастовками да революциями вызвали усиленную бдительность полиции и озлобили судей. Прежде, до всех этих экспроприаций «работать» воров было куда легче теперешнего,—говаривал он, отчаянно ругаясь.—Теперь без шпайера даже на мелкую кражу не выходи, а ежели влопаешься и нападут при тебе несчастный револьвершник или фомку, так и см три, что угодишь под военный суд, а от него уже меньше каторги и не жди. Еще спасибо скажешь, если не вздернут...

Как и многие другие из его братии, Кошкин точил еще зубы на политиков за преследования, которым они подвергали воров в тех городах, где на время становились хозяевами положения. Воров, даже в данный момент неповинных в краже и ограблении, арестовывали и убивали. Легенд и рассказов на эту тему ходит среди уголовных множество. Кой-какие основания эти рассказы имеют в действительности. До болезненности чуткие ко всему, что так или иначе затрагивает интересы их сословия, готовые отомстить до десятого поколения за малейшее посягательство на их свободу, люди, подобные Кошкину, с удовольствием затеяли бы и теперь поножевщину с политиками, если бы только это сошло им даром.

Своей наружностью Кошкин наверно заинтересовал бы криминалиста из сторонников учения о врожденном преступнике. Череп у него узкий и длинный, огромная нижняя челюсть не в меру выдвинута вперед, крупные и желтоватые зубы, длинные, как у лошади, как-то расположены у него криво, а редкие, щетинистые усы, да остро-острые

спиватые глаза, смотрящие всегда злобно и недружелюбно, торчком бегающие с предмета на предмет, дополняют его внешнее обличье.

Не знаю, каков Кошкин по части своей воровской профессии, но на побег он прямо мастер. Комбинации и проекты его почти всегда отличались остроумием и находчивостью. Так, однажды он ушел из тюрьмы, будучи вывезен в тачке с мусором, — и это в сопровождении ничего не подозревавшего надзирателя. В другой раз его вынесли в мешке с костями прямо из кухни: мясо для ар-стантского котла покупалось у нас в виде бычачьих голов и кости продавались одному скупщику в изрядном количестве.

На этот раз Кошкин бежал так:

Спил он из серого арестантского одеяла шинель, в общем, походившую на солдатскую; таким же манером изготовил фуражку, пришил к ней кокарду и окрасил околыш ее в синий цвет. Спускаясь однажды со всей камерой на прогулку, он спрятал шинель и фуражку на пролете лестницы — и сделал это так ловко, что надзиратель, которому его приятели нарочно заговаривали в это время зубы, равно ничего не заметил. Сделав несколько кругов по двору, Кошкин, под предлогом головной боли, попросился обратно в камеру. Надзиратель, вовсе не догадываясь о замысле Кошкина, открыл ему дверь, посмотрел, как он поднимается на второй этаж, и запер дверь.

Кошкин, вместо того, чтоб подняться вверх, моментально напялил на себя импровизированную солдатскую шинель и фуражку, всунул в обшлаг рукава бумажный панет и смело направился в глухой и полутемный коридор первого этажа. У нас в тюрьме часто бывало, что солдаты из караульного помещения, находящегося в самом дальнем дворе за больницей, вместо того, чтобы пройти несколько прогулочных дворов и лишь затем попасть на улицу, пробирались туда вот этим полутемным коридором.

Надзиратель, стоящий в коридоре возле высокой железной решетчатой калитки, заметив храбро идущего солдата с пакетом в руках, принял его за караульного и немедленно пропустил. То же самое сделал и подворотный надзиратель, стоящий у наружной калитки. Роль свою Кошкин разыграл молодецки: фуражку надел на бекрень, а подойдя к самой решетке повел себя несколько неуверенно, оглядываясь по сторонам, как будто он молодой солдатик, впервые привидший с караулом и не знающий еще расположения всех ходов и выходов.

— Сюда, сюда, служивый! — прищамкал ему старик Доброскоков, стоявший у калитки. Кошкин очутился на свободе.

Остальные арестанты, его сокамерники, тоже повели себя артистически. Нисколько не волнуясь, не подавая в виду, что здесь что-то

произошло, они преспокойно вернулись в камеру, а входя в нее, так ловко переходили с места на место, что запутали счет и надзиратель насчитал 17 человек вернувшихся с прогулки, хотя их в действительности было только 16. Выяснилось это лишь на вечерней поверке.

Эти уголовные порою показывают себя гениями по части конспирации. Приемы и уловки у них до того обдуманны и дальновидны, в них проглядывает такое тонкое знание психологии надзирателей, вообще всякого, кого они собираются провести за нос, что только человек с опытным глазом заметит в их затеях что-то неладное. Если, например, им нужно отвлечь внимание дежурного в то время, как другие переплывают решетку или меняют железные заклепки от кандалов на свинцовые—они начинают петь, плясать, а иной раз, если это для чего-нибудь нужно, сознательно затевают драку и проч. в этом роде.

Но зато все эти качества: и серьезность, и дальновидность, и расчетливость сразу пропадают, как только такой беглец выскочит на волю. В тюрьме он чахнет и тоскует, а почувял свежий воздух—и сейчас же снесит напиться и покурить, если только нет какой-нибудь «работы», требующей немедленного исполнения. Скука и однообразие тюремной жизни настоятельно требует решительной и яркой перемены. Быть может, такой арестант чувствует, что ближайшая перспектива для него—это все та же тюрьма. Отсюда эта лихорадочная жажда угарного веселья: хоть день, да мой...

Так было и с нашим Кошкиным. Через несколько дней после столь удачного побега он был арестован в публичном доме. И это в том же Севастополе...

Его тоже посадили в карцер и на время заковали в кандалы, но Кошкин несколько не думал предаваться отчаянию. Вскорости он стал носиться с новым планом побега: он проектировал сломать стену камеры, расположенной рядом с тюремной церковью, оттуда пробраться в одиночку, где имелись подкупные надзиратели, а там уже придумать что-нибудь для новой экскурсии на волю.

* * *

Еще более солидным и основательным вором показал себя некий Яropicкий. Он много лет оперировал в крупных городах, побывал в некоторых столицах Европы. Теперь он сидел за кражу шкапулки с бриллиантами. Высокий, худощавый, с очень подвижным нерышым лицом и проницательными черными глазами, Яropicкий своими сдержанными, полными достоинства и выдержки манерами внушал невольное к себе уважение. Говорил он мало, но всегда деловито и обдуманно. Как человек дипломатичный, он со всеми был приятлив и любезен. Надзира-

тели считали его образцом лояльности, скромности и деловитости. В конце концов, он добился того, что его назначили кухонным старостой и разрешили расхаживать по двору без сопровождения надзирателя. Зная, с кем он имеет дело, Яроцкий пахидил также шуточные и хитрые словечки и по адресу караульных солдат, стоявших на посту в тюремном дворе.

План побега у него давно уже созрел. Сообщниками он выбрал себе еще двух уголовных, которых ожидали арестантские роги. Один из них, разбойник Донеко, был огромного роста с богатырской грудью, весь сотканный из упругих мускулов, матрос, бежавший с военной службы. Страстный, но удивительно выдержанный и сосредоточенный картежник, он выиграл у своих около трех сот рублей и на эти денешки решил покутить на славу. Он давно уже рвался на волю. От одной из своих любовниц он получил подходящие для его профессии указания и заранее воспарился духом при мысли о предстоящих ему перспективах. Другим сообщником Яроцкого был Сережа Лукашевич, как звали одного молодявого ва нид, благообразного, аккуратного и чисто одетого, с медлительной и округленной речью и полутанцующей походкой вора. Тюремная обстановка смертельно ему надоела и, выпрашивая (впрочем без всякой назойливости и унижения) у меня цветную рубашку (сам он был во всем арестантском), он дал мне «честное и благородное слово», что в тюрьму больше не попадетя. Однажды Яроцкий вместе с тоже работавшими на кухне Донеко и Лукашевичем, с помощью заранее приготовленной отмычки, подошел к кладовой с корзиной в руках, открыл дверь и там остался. Время они нарочно выбрали такое, когда караульному солдату предстояло через несколько минут сменитья. Надзирателя при этом не было, а часовой, уже привыкший к тому, что Яроцкий свободно расхаживал по двору, и не думал даже останавливать его. В корзине той лежало вольное платье. Взобравшись на кули с мукой, Яроцкий с приятелями быстро разобрали часть черепичной крыши и спустились во дворик надзирательского помещения, откуда чрез ворота они втроем и вышли прямо на улицу.

Когда же кухонный надзиратель, полагая, что они еще у себя в камере, пошел за ними, выяснилось, что их там вовсе нет, так как они, мол, давно отправились на кухню. Бросились на дзор, стали расспрашивать часового—и тут-то все выяснилось: разобранный часть крыши и арестантские брюки красноречиво говорили обо всем, что случилось. Бросились за ними в погоню, но куда там,—от их пятаков давно и след простыл.

Через некоторое время таким же приблизительно манером пытались уйти два отчаянных вора—Айвазон и Шевченко.

Айвазов, невысокого роста, с железным здоровьем, черный и волосатый, угрюмый и молчаливый, очень редко улыбающийся человек, сразу останавливал на себе чужое внимание. Лицо его с крепким ртом, плотно сжатыми губами, густыми и нахмуренными бровями, пронизывающими и смотрящими на всех как-то сверху и вбок глазами, твердая и размеренная походка—все это изобличало в нем человека с сильной волей, упрямого, жестокого и чувственного. Мне кажется, что когда Айвазов кого-нибудь грабил или убивал, то достаточно было одного взгляда его черных с матовым блеском глаз и рычания его глухого с басовыми переливчатыми нотами голоса, чтобы сразу обезоружить жертву. На воле у него было несколько любовниц, сильно и искренно к нему привязанных и ревновавших его друг к другу. Удивляюсь, как это женщины могут любить и ласкать такого волка.

Прятель Айвазова, рецидивист Шевченко, был плотный и коренастый маравихер, с светло-голубыми, отепленными длинными ресницами глазами, смотрящими как-то сентиментально и плутовато жульнически; они так и шныряли во все стороны и никогда не глядели на человека прямо и открыто. Весь он был какой-то рыхлый и распычатый, с вялой, чуть залинающейся речью и вертлявой походкой. Этот мазурник и выжита всегда улыбался, напевал скабрзные арестантские песенки и мастерски ругался многоэтажной матерной бранью.

Севастопольская тюрьма была тогда настолько переполнена, дел у начальства было такое множество, что оба они без труда попали в повара на кухню. Последовать примеру Яроцкого и Доненко было теперь рискованно. Тогда они придумали другой выход. Улучив время, когда надзиратель, нахлебавшись арестантских щей, завалился спать, они вышли во двор и приставили к сараю, что возле стены, длинную доску. Сделали они это делом самым развязным образом, прямо на виду у солдата. Часовой вначале недоумел и насторожился, но когда Айвазов и Шевченко, как ни в чем не бывало, вернулись назад в кухню, он успокоился.

Заметив, что доска осталась на месте, Айвазов и Шевченко начали возиться с какой-то бочкой в эле сарая, а когда часового, прохаживавшийся по длинному двору, повернул к ним спиной, они быстро приставили доску к стене, словно обезьяны вскарабкались на нее и со стремительной быстротой во всю прыть выскочили на волю. Повернувшись назад и заметив исчезновение двух арестантов, солдат дал тревогу. Засвищали, засуетились, вызвали весь свободный караул, и несколько надзирателей бросились за беглецами. Настигли их только далеко от тюрьмы по Балаклавской дороге. Их немного поколотили, притащили назад в тюрьму и заковали.

Я как раз тогда находился в конторе. Айвазов был неузнаваем: лицо его покрылось пятнами, глаза сверкали жгучим огнем, зубы стиснуты, весь он был какой-то напряженный. Так и казалось, что вот-вот он вскочит, ринется на стоявшего тут же солдата и словно волк растерзает его своими белыми и крепкими зубами. Шевченко же то вертелся, как вьюн, тяжело сопя и мигая своими плутоватыми глазами, то торопливо и сбивчато жамовался, что солдаты каблули ему в шею и натербили бока.

* * *

Все эти побеги происходили среди белого дня на виду у надзирателей и военного караула. Начальство наше всполошилось, собралось и порешило, что главная причина обретається в самой стене, чрез которую убегали, так что, если поднять ее аршина на полтора выше, да еще натывать в нее обломки бутылочного стекла, то арестанты и бежать не сумеют. Так и сделали. Но вот как бы в насмешку над этим изобретением администрации, в скорости после этого совершенно было два новых побега, из которых один блестяще удался.

Героями первого из этих побегов были: упоминавшийся выше сотрудник Луцкана, молоденький и красивенький Бойко, парнишка смысленый и гибкий как кошка, и некий Александров.

Последний был одним из самых серьезных воров, совершавший кражи, только лишь тщательно обдуманные и обследованные. На вид он был некрасив: сутулый, с темным скуластым лицом, лишенным растительности, и жесткими, прямыми как у лошади черными волосами. И только пристальный и сосредоточенный взгляд его больших и похожих на маслины глаз, да полуироническая и недоверчивая улыбка, никогда не сходившая с его губ,—говорили об его уме и наблюдательности. Держался он всегда в тени, никогда не заводил скандалов с арестантами или с начальством. С Александровым мне приходилось лежать рядом в тюремной больнице, и только благодаря этому обстоятельству я успел поближе узнать этого тихого и скрытного человека.

Сам он круглый сирота, матери совсем не помнит. Единственная сестра его, обольщенная еще в девушках одним мичманом и прогнанная со службы за свою внебрачную беременность, утопила рожденного ею ребенка и ушла в проститутки. На воровское поприще Александров вступил еще 14-летним мальчишкой, начав с покраж фруктов на Севастопольском базаре, похищения кошельков у торговки и т. д. В тюрьму он попал за то, что вместе с одним приятелем — ровесником забрался в шляпный магазин и стибрил штук 30 каракулевых шапок. В тюрьме ребята обратили внимание на его природные способности, и вот, с течением времени, из него вышел опытный и серьезный вор.

Специализировался он на обкрадывании богатых квартир и ювелирных магазинов.

Безотрадное детство, раннее знакомство с людским бездушием и бессердечием, наконец влияние тюрьмы и профессии, выработали в нем какой-то пришибленный, до-нельзя суженный взгляд на жизнь. Все, ну, решительно *все человечество* делится им на два класса: на людей, которых можно обворовать и ограбить, и на таких, которые исполняют эту миссию. По его глубокому убеждению, деление это никогда и ни под каким видом не исчезнет. Это чуть ли не закон природы. Сколько бы мир ни существовал,—все равно воры будут. Тот же, кто не ворует, поступает так или потому, что он богат, или потому, что он настолько труслив, что боится ввязаться за такое дело, или же наконец, потому просто, что он непроходимый, ни о чем не думающий дурак, который тянет лямку и перебивается с хлеба на квас.

Мы с ним часто беседовали на подобные темы. Мои размагольствования о социализме, о возможности наступления таких порядков, когда кражи и ограбления потеряют всякий смысл, так как каждый человек будет иметь все, что ему нужно, Александров слушал с презрительной усмешкой, прищуриваясь одним глазом и измеряя меня с ног до головы. Его пронырчески искривленные губы как бы говорили:

— Или ты сам наивный чудак и простофиля, что веришь в подобные бредни, или же меня за дурака припимаешь... Так вот я и поверю в эти сказки...

Во всех людях, кроме, конечно, своей братии, Александров видит врагов, по отношению к которым все дозволено. Мужчина, женщина, ребенок, старик,—все равно,—раз только они поменяют его «работу» то и душа из них воп...

— Даром убивать их не стану, на какой мне это хрен понадобится...—комментировал Александров свои мысли,—но если грозит засынка, то беспрерывно прищиплю, ужокошу... Потому, *меня кто пожалеет?*..

Его мечта, как и мечта многих воров — это совершить одну какую-нибудь крупную кражу и бросить свою несчастную профессию, практику которую, непременно сгниешь в тюрьме. Впрочем, сила привычки, характер компании, с которой он водится, и мотовство, неизбежно связанное с воровским ремеслом, властно мешали бы ему оставить теперешнюю карьеру, даже и в том случае, если бы мечта о крупной краже и осуществилась бы.

Так вот, Александров вместе с Войко и задумали теперь бежать. С кухней дело уже провалено было, уйти из камеры было трудно, поэтому они остановили свой выбор на больнице. Наш фельдшер Игнат Петрович, весьма поблажившийся способных на всякие штуки арестан-

тов, немедленно взял их в больницу «на поправку», как только они (не вместе, а врозь) попросили его об этом. Устроились они в одной и той же палате. Доктор пациентов больницы почти никогда не осматривал, так что вполне здоровым Бойко и Александрову опасаться с этой стороны было нечего.

Дело происходило летом. Под предлогом жары и пахостея москитов они убедили фельдшера устроить на окна ситцевые шторы. Москиты тут были, конечно, неприятели: Бойко и Александрову нужно было, чтобы часовой, стоящий на большом прогулочном дворе, куда выходили окна больницы, ничего не видел бы из того, что они станут делать у себя в палате.

Наши дежурные надзиратели были люди хорошие, т.-е. не те, чтобы они были посвящены в затею Бойко и Александрова.—нет, совсем нет,—но к арестантам относились мягко, не придирались к ним за чем не следили. Чтобы окончательно отвлечь их внимание, кто-нибудь из остальных уголовных затягивал в коридоре или на дворе, где прогуливались больные, какую-нибудь длинную и смешную историю и прочее в этом роде.

Свое дело Бойко и Александров сделали вот как: связав простыней пару досок из больничной кровати, они приставили их к высокой печке, вскарабкались на самый верх, проборазил потолок, а потом начали добираться и до чердака. План у них был такой: выбраться через чердак на крышу больничного здания, спуститься с нее на простенок, отделяющий больничный двор от женского двора, соединяющийся с длинной наружной оградой, идущей вокруг всей тюрьмы,—и с этой стены спрыгнуть на улицу.

Нужные им операции они делали днем: днем надзиратель никогда не заходил сам в палаты, проверяя число больных чрез дверное окошечко, а часовому, стоящему на дворе, ничего не было видно, так как в нужное время окна были закрыты шторами. Перед вечерней проверкой пробитая в потолке дыра заклеивалась листом белой бумаги, а во время проверки лампу ставили так и выстраивались таким манером, что на весь угол палаты вместе с верхушкой печки падала густая тень.

Раза два, когда Светловский или его помощник, казалось, вот-вот обернется лицом к району операций, кто-нибудь из наших героев ловко заговорит с ним на какую-нибудь тему и, пользуясь привилегией больного, присядет якобы от бессонницы на кровать, отвлекая этим начальника в нужную для беглецов сторону. Невольный свидетель всего этого, а с трудом сдерживал себя, чтоб не разразиться смехом от комедии, так ловко и выдержанно разыгрываемой арестантами.

Едва начальство выходило из палаты, как тот же Бойко высовывал ему вслед язык, или, положив кисть левой руки на вытянутую и слегка согнутую правую руку, пускал ему в догоню:

— Х... маме твоей...

Наконец, работа была почти кончена. Оставалось только пробраться ряд черепиц из крыши,—а там уже недалеко и до вольной-волюшки. Раньше, когда поперечный простенок, разделяющий два двора, был гораздо ниже наружной стены и крыши, беглецам очень трудно было бы спуститься на него. Но предусмотрительное начальство позаботилось поднять этот простенок до нужной Бойко и Александрову высоты. Как будто в их же интересах администрация распорядилась утыкать прежде покатым и конусообразный верх стены обломками толстого бутылочного стекла. Таким образом, обмотав руки и ноги тряпками, наши беглецы могли бы гораздо легче, чем по гладкой и цементированной стенке, пробраться на наружную ограду.

Бежать они думали ночью. Но неожиданно все дело засыпалось.

У нас в тюрьме сидел некий Гордеев, высокий, толстый, с жирным, маслянистым лицом, упругими щеками и маленькими заплаканными глазами. Ходил он ухальцем, робко и боязливо оглядываясь по сторонам, словно чего-то опасался. Арестован он был по делу о краже, совершенной у посетителя публичного дома, в котором Гордеев служил «выпивалой», т.-е. как мне объясняли, блюстителем порядка, специально напущен для укрощения не в меру разбушевавшихся и объявлявших от вина и глупбы арендаторов дешевого женского тела. Постоянными завсегдатаями домов терпимости являются также и профессиональные воры. С одним из них Гордеев как-то подрался, доставленный в участок, вор этот был узнав сыщиком,—и вот теперь, когда сам Гордеев попал в тюрьму, ему и влетело за это на орехи. Вскоре после его прибытия к нам несколько уголовных настыли его в клозете, воткнули ему в рот платок и отдубасили кулаками.

Как скрывающегося, «лягавого», начальник должен был изолировать Гордеева и обеспечить ему неприкосновенность, но одиночки все были не только занаты, но и переполнены, да к тому же судьба такой шпаны, как Гордеев, мало трогала начальство. Попробовал Гордеев перебраться как-нибудь в больницу, но фельдшер и не думал принять его. Тогда этот несчастный парий пустился на следующий фортель: вскрыв на ногах и на лице кожу, он впустил туда раствор мыла, смешанный с керосином. Через несколько дней он до того распух, что ноги его обратились в тубы, глаза—в узенькие щелочки, а нос прямо утопнул между раздувшимися щеками. Фельдшеру пришлось разрезать в больницу. Там он жил в маленькой палатке вместе с больничным

служителем. Травимый и преследуемый ворами Гордеев давно уже горел жадной мечтой. И действительно, он в долгу не остался. Узнав как-то от служителя, что Бойко, тот самый Бойко, который первый тогда ударил его в лицо, готовится бежать, он донес об этом в контору.

Заденью предполагавшегося побега, в больницу прибежал начальник с помощником и старшими, направился прямо в нужную палату, сорвал с окна шторы и, указывая рукой на потолок над печкой, громко крикнул:

— А это что такое?.. Бежать!! Обыскать всех!..

Бойко и Александрова сейчас же вывели в коридор, разделы и в одном белье отвели в подвальный этаж одиночного корпуса, где помещались темные и вонючие карцера.

Что стало потом с Гордеевым—не знаю. Но навряд ли он умрет своей смертью. Где-нибудь его да настигнут и пришьют.

* * *

Все эти побегы делались уголовными арестантами, но и политики наши тоже не дремали.

Соц.-дем. Вороницын и Конторович, сидевшие по делу о Севастопольском восстании, ожидали выселения: нелегальный Кабанов, как говорил, бывший офицер, очень интересный и талантливый человек, ожидал того же: он был виднейшим деятелем местной соц.-демокр. военной организации и во время ареста отстреливался от преследовавшего его патруля солдат; сидел еще матрос Родионов, с.-р., террорист, скрывавший свое имя и ожидавший долгосрочную каторгу; кандидатов на каторгу было еще человек пятнадцать,—так что было кому думать и мечтать о побеге. Планы—и не простых, а тонких, и не просто тонких, а тончайших, было у всех множество. Обсуждались эти планы долго, тщательно, всесторонне и с различных точек зрения. При этом, во внимание принимались различные обстоятельства и препятствия. Все было предусмотрено. А так как во всяком деле необходимы стройность и согласованность, то из столицы был выписан товарищ, который специально и занялся этим делом. Через некоторое время его сменил другой организатор, другого—третий. На один только предварительные расходы по устройству побега ушла масса денег и энергии.

Один из старших надзирателей, упоминавшийся выше Мурсалимов, бывший городовый, крещеный татарин, за рубль серебром продавший Магомета и, подобно всем выкрестам, готовый за два рубля продать и Христа, а за три целковых—все свое начальство, состоял на жаловании у одного из наших. За 15 рублей в месяц, которые он получал регулярно, Мурсалимов исполнял обязанности почтальона и передавал нам с воли не только «есивы» и газеты, но даже и револю-

веры. У начальства он был на хорошем счету, как человек лживый, угодливый, толковый и распорядительный. Были и другие надзиратели, за деньги готовые сделать все, что угодно. Один из них, драмой и ворчливый старикашка, ретиво исполнявший «долг и присягу», т.-е. придиравшийся к арестантам и не дававший им покою, однажды махнул на все рукой и сам предложил свои услуги для нелегальных сношений.

Еще более ценными являлись связи с солдатами, переходившими в тюрьму на караул. В 1906 г. сочувствие социалистам было разлитое в воздухе. С помощью военной организации можно было на соответствующие посты и в соответствующие часы ставить вполне своих людей, т.-е. солдат, входивших в военную организацию. Среди них попадались даже давнишние члены социалистических партий, соглашавшиеся бежать вместе с арестантами.

Кроме всего этого, у наших были теперь и свои извозчики, конспиративные квартиры, паспорта, илки, конфеты с опиумом и т. д.

По одному из имевшихся планов должен был бежать первым Вороницын. Против тюрьмы в одной частной квартире засели организаторы побега. На третьем этаже одиночного корпуса сидел свой товарищ, который по получении с воли условленного сигнала должен был в свою очередь немедленно сигнализировать Вороницыну, прохаживавшемуся на прогулке по двору возле конторы. В этот же момент Мурзалевскому предстояло посредством поддельного ключа открыть снаружи калитку, которая вела во двор, выходивший прямо на улицу и некогда не затворявшийся. У калитки изнутри стояли подворотный надзиратель и часовой. Получив сигнал, Вороницын должен был устремиться к выходу, устранив, а в случае надобности и стреляя в надзирателя и часового. На улице были свои лошади.

У самого Вороницына смелости и решительности было больше, чем достаточно, тем не менее несколько подобных попыток кончались ничем. Один раз все уже было готово. Но вот к калитке подошла какая-то баба и с улицы был подан спешный сигнал: отставить. В другой раз помешали проезжавшие по улице возы с поклажей и т. д.

Когда перенесли второй организатор, решено было перенести дело в больницу. Вороницын и Конторович поместились в одной палате. Один из больничных надзирателей, сочувствовавший с.-р., согласился во всем им содействовать. Решено было, что ночью он сам откроет им дверь и даст связать себя, так что выйдет так, будто он играл одну лишь страдательную роль. Нашелся и солдат, интеллигентный молодой человек, который в самое удобное ночное время стоял, точнее, нарочно был поставлен на самом удобном для побега посту. Он должен был скрыться вместе с ними.

Но тут опять начался микроскопический анализ всякого рода обстоятельств. Прошло два-три месяца, и множество подходящих случаев было пропущено.

Помощником начальника состоял у нас тогда один молодой человек, которому в наказание за его сиверный характер и безправственное поведение сифилитические бациллы изгрызли три четверти носа. С целью получить повышение по службе, помощник этот взял да и довес градоначальнику, что, мол, политические собираются сделать побег из больницы. И как это он пронюхал, не обладал органом обоняния!.. Градоначальник капитан Ротуля назначил для освидетельствования пациентов тюремной больницы особую комиссию из нескольких врачей.

Конторович, как бывший провизор городской больницы, был со всеми ими хорошо знаком. Пришли эти эскуданы к нам в больницу, надели белые фартуки, поболтали, покурив, бросая в нашу сторону сочувственные взгляды, и затем стали составлять протокол. Решив, очевидно, что с медицинской точки зрения пребывание на воле гораздо полезнее для человека, чем пребывание в тюрьме, и, что, следовательно, намерение арестантов бежать ничего айти-гигиенического в себе не заключает, они написали бумагу, из коей как-будто выходило, что уже одно слово «больница» говорит за то, что находящиеся в ней суть больные...

Одним словом, все мы признаны были больными и оставлены в той же палате, на прежнем положении. Сколько именно врачи эти получили за свою консультацию от градоначальства, я не знаю, но нам она обошлась в десяток ципирок фабрики Месаксудн. Замедливший к нам потом фельдшер Игнат Петрович (впоследствии мы ему дали за соучастие рублей десять) весело потирал руки и вместе с нами покатывался со смеху от этой консультации. Нам же безносый доносчик так и остался «с носом»...

Почти до самой осени Вороницын и Конторович оставались в больнице, готовясь не сегодня-завтра уйти через стенку. Но с приездом нового организатора они снова перебрались в одиночный корпус. Там давно уже разрабатывались планы общего, массового побега. У некоторых были переилены решетки, среди солдат из караула имелись свои люди. Один из руководителей с.-д. военной организации, «товарищ Николай», игравший видную роль в декабрьских событиях в Харькове, человек с редким мужеством и отвагой, готов был даже сам перелезть через тюремную ограду и помочь делу изнутри. Из проектов массового побега отмечу предложение самого караула, который взялся перебить ночью тюремное начальство и выпустить всех политических.

Но дальше слов и обещаний, дальше обсуждения планов, разработки шифров, паролей и пр. дело не шло.

Между тем, из той же тюремной больницы и той же осенью 1906 г., без помощи подкупных надзирателей, сочувствующих солдат, извозчиков, даже без денег и конфет с опиумом, бежал среди белого дня один уголовный арестант. Это был Бориска Ключарев, когда-то учившийся в реальном училище, сын домовладельца, до последней степени развращенный и дикий вор-рецидивист. Бежал он необычайно просто и без мудрствований.

Был теплый день. Небо было высокое и глубокое, легкие тучки медленно бродили где-то там наверху, поминутно меняя свои формы и очертания. В воздухе пахло цветами. Сидеть в палатах было душно, и все, кто только мог, высыпали на двор. Сообщники Бориски Ключарева, утонченные мастера по части конспираций, вынесли с собою какой-то фокусный приборчик из медной проволоки: требовалось снять кольцо, ловко и запутанно вдеть в ряд других колец. К кучке арестантов, с артистическим умением спланировавших свою глубокую заинтересованность, подошел также и дежурный надзиратель, а вслед за ним, любопытства ради, и сам часовой с выптовкой. Арестанты нарочно расселись поближе к воротам, расположенным в глубине двора и ведущим в прогулочный двор общего корпуса.

Сам Ключарев, разумеется, тоже вышел на прогулку, но когда остальные громко и суетливо заспорили между собой о том, как снимать фокус с колец, он незаметно отстал от общей группы и пригнулся в углу двора, именно у того самого простенка, ведущего во двор караульного помещения, которым думали воспользоваться однажды Бойко и Александров.

Служитель, из арестантов же, остался в больнице и оттуда, пользуясь отсутствием надзирателя и часового, высунул Ключареву чрез решетчатое окно пару досок, которую он вытащил из-под своей кровати, предварительно связав их простыней. Ключарев моментально приставил доску к стенке и, не взирая на бутылочные осколки, весьма благополучно перебрался через ограду. Чтобы не засыпать служителя, другой из его сообщников, находившийся во дворе и зорко за всем наблюдавший, тоже своевременно отделался от кучки, все еще возмущенной с ним же вынесенным фокусом, и всунул доски обратно в коридор: служитель моментально положил их к себе на койку.

Когда начальство спохватилось, Бориска был уже далеко-далеко от тюрьмы.

Все же политики, которых ожидала каторга, так и пошли на каторгу. Из старых арестантов один только Кабанов успел бежать во время взрыва тюремной ограды, но это было уже года через два.

Смоленский централ.

Зимой 1906 г., когда мы, группа каторжан, прибыли из Севастополя в Смоленский централ, режим здесь представлял собою смесь безалаберности с пережитками «настоящей» каторги.

Было это накануне созыва Второй Государственной Думы, и тюремное начальство с нами, политическими, очень считалось. И инспектор Краинский, слабохарактерный либерал, человек робкий и неуверенный, боявшийся арестантов не меньше, чем высшего своего начальства, и начальник тюрьмы Вихорев, пожилой человек с большой черной бородой, умным с лукавой улыбкой лицом, с тихими кошачьи-хитрыми манерами, и все помощники его, и старшие и простые надзиратели,—словам, вся администрация чувствовала себя выбитой из колеи, никак не могла взять по отношению нас твердый тон.

Свидания давались нам со всеми, кто бы ни приходил к нам с воли; выписка продуктов была неограниченная, и рассчитывались мы наличными деньгами, которые при нас же открыто находились; получение с воли книг, переписка со знакомыми—во всем этом никто не чинил нам никаких препятствий. Большие услуги оказывал нам и тюремный священник отец Дьяконов, мягкий и непритязательный человек, исполнявший наши поручения в магазины. Хорош был и доктор, очень мало похожий на «классический» тип тюремного врача. О надзирателях и говорить нечего: за двугривенный они с большой охотой исполняли роль почтальонов и курьеров.

Кандалы мы носили больше для фасона: тяжелой трехпудовой чугуявой парашкой, что всегда стояла в уборной, мы сплющивали свои обручи и как только проходила понерка, сейчас же сбрасывали их. Надзиратели отлично все видели и понимали, а высшее начальство делало вид, что ничего не знает.

В наш ловий, только что преобразованный из арестантских рот, централ, стапы из других тюрем приходили довольно часто. Всех вновь прибывавших полагалось размещать по категориям, отделяя бывших солдат и матросов от штатских, бессрочных от срочных и малосрочных. Пользуясь, однако, царящей безалаберностью, многие из нас оставались подолгу в тех камерах и с теми товарищами, где и с кем находились их лучше было по целому ряду своих собственных соображений. Прошло много времени, прежде чем начальству удалось окончательно разбить каторжан по группам и срокам.

Присылали к нам каторжани со всех концов России. Много их было из Польши и Прибалтийского края. Большинство из последних были фабричные рабочие, которые во многом выгодно отличались от своих русских собратьев: сразу видна была школа европейского фабричного пролетаря.

В сравнении с тем, что творилось на каторге в последующие годы, в Смоленском центре в это именно время (зимой 1906—1907 г.г.) нам жилось, относительно говоря, недурно. Но если иметь в виду, что в тех общих тюрьмах, где каждый из нас сидел до перевода сюда, жилось еще вольготней, то понятно, что многое нас здесь весьма раздражало. Отрицательных сторон было немало. Достаточно упомянуть об антисанитарной обстановке и плохом питании. Всюду грязь, масса вшей и клопов. Пища—мутная водичка с капустой и кусочками бычьих ушей и губ. Хлеб до того сырой, что наша, например, камера просто-на-просто продавала его целиком надзирателям, которые тут же расплачивались с нами по две коп. за фунт.

Но что особенно нас раздражало—это необходимость носить старое и грязное, отвратительно выстиранное арестантское белье. От арестантских рубаш и портьок, часто вышивших и запаханных подозрительными пятнами, у многих появлялись прыщи и чирьи.

Инспектор Крапский и начальник Вихорев делали вид, что они нам сочувствуют и сами не понимают, почему, в самом деле, нам запрещают носить собственное белье, которое зря валяется тут же в цейхгаузах.

— Вот что, господа,—предлагали они,—пишите в Главное Тюремное Управление. Мы поддержим... За одно уж укажите, что баня и прачечная нигде не годятся. Пусть дадут ассигновку на срочный ремонт...

Многие из нас, а главным образом группа севастопольских матросов, отличавшаяся своей оппозиционностью и боевым настроем, вполне основательно усматривали в этих либеральных фразах стремление начальства увильнуть, выиграть время.

Однажды после бани камера, в которой сидел замученный впоследствии в Орловском центре матрос Николай Симоненко, отказалась надеть казенное арестантское белье.

— Выдайте наше собственное,—кричали они:—зачем ему гнить в цейхгаузе!...

Надев на голое тело брюки и башмаки, они вернулись из бани в камеру и тотчас же подняли агитацию за присоединение к ним остальных. Недовольства накопилось у всех вдоволь. Как-никак, но строго регламентированный режим, кандалы, 15—20 минутные прогулки, оторванность от родных, отвратительная пища, грязь, неуют,—все это

не могло не нервировать. Бодрости и свежего настроения у всех было еще достаточно, каждый, кто имел даже бессрочную, лишь начинал свою карьеру каторжанина, время было полное радужных перспектив, а начальство своим трусливым и лицемерным гуманничаньем только подливало масло в огонь.

В ответ на предложение камеры Симоненко к протесту присоединилась сначала одна, потом другая — третья камера и наконец вся тюрьма с ее 400—500 арестантами.

Вскоре руководство, если можно так выразиться, «движением» перешло в нашу камеру, где сидело много интеллигентов, главным образом соц.-демократов (Воропьянин, Конторович, Ждановский, рижанин Ст. Захаров, Рубинштейн и др.). Мы уже расслали во все камеры своего рода циркуляры, инструкции, формулировки требований.

Споспешить со всей публикой нам было очень легко. Дело в том, что двери камер были у нас не глухие, а решетчатые, так что при выходе и возвращении с прогулки, с оправки и т. п. мы, пользуясь всеобщим попустительством высшего и низшего начальства, беспрепятственно подходили к этим решеткам и невозбранно передавали и получали записки. Более конспиративную почту мы передавали чрез деревянные вентиляционные трубы, которые поднимались с первого этажа на крышу, и в которые обыкновенно ночью вставлялись вытяжные рукава от парашек. При помощи почти легально водившихся у нас ножей мы до того расширили входные отверстия в эти трубы, что могли свободно передавать из этажа в этаж даже целые пачки книг.

Так то и начался наш непродолжительный, но в свое время нашумевший «голый бунт».

Камера, почти вся населенная одесскими анархистами, не только сбросила с себя арестантское белье, но и выбросила на коридор также и арестантские бушлаты и казенные одеяла. Из чувства солидарности и из боязни прослыть оппортунистами и примиренцами, остальные политики последовали их примеру. Через пару дней в коридорах образовались целые горы арестантской одежды. Ходили все почти нагишом, если не считать суконных брюк, надетых прямо на голое тело. Находились и такие, что расхаживали по камере просто в костюме Адама до его грехопадения... В таком же упрощенном костюме, подерживая руками железные кандалы на голых ногах, выстраивались они на утренних и вечерних поверках — зрелище весьма оригинальное...

Разумеется, раз начав борьбу, мы не ограничились одним только требованием замены арестантского белья собственным. К этому первоначальному требованию, сыгравшему лишь роль повода, мы прибавили ряд других требований.

К политикам присоединились и уголовные, предлагавшие устроить *настоящую волюнку* и начать с бития стекол и обозоружения надзирателей. Для уголовных, еще больше, чем для нас, чувствителен был новый режим. В прежнее не столь отдаленное еще время, когда камеры были открыты от поверки до поверки, когда арестанты — *майбандишки* (мелкие торговцы и арендаторы своего рода игровых клубов — бойко торговали всякими товарами, сузиали деньгами картежников, когда в тюрьме не переводилась водка, когда тюремные аристократы — захватчики бандитского типа, так-наз. «Иваны» держали в своих руках тюремных плебеев — арестантскую шпанку, когда взаперти — в камерах и тюремной ограде находилось лишь меньшинство арестантов, а большинство как-никак, а где-нибудь работало, — словом, в до-революционной каторге, населению ее, особенно руководящим наиболее активным элементом ее, жилось совсем, совсем не так, как сейчас.

Неудивительно, что на этот раз уголовная братия пошла за политиками.

О присоединении к голому бунту анархистов и экспроприаторов я уже упомянул выше. Из анархистов нашелся один только интеллигент, молодой еврей, который выпустил специальное воззвание против нашего бунта. Воззвание озаглавлено было так: *«О типах приспосаблиющихся и типах принципиальных»*. Анархист этот именно доказывал, что требование тех или иных изменений режима означает молчаливое признание самого режима, всей системы, в которой хотят изменить лишь отдельные детали ее. Принципиально будет, раз невозможно сразу сбросить весь режим, относиться к тем или иным притеснениям с молчаливым презрением...

Эта философия никого, однако, не убедила, и даже сам автор ее, из чувства товарищеской солидарности не только участвовал в нашей волюнке, но выступал даже в качестве парламентаря при переговорах с начальством.

Вся эта «история» происходила в декабре—январе. На дворе стояли трескучие морозы, в камерах было ужасно холодно, кожа на теле поспела, делалась вся в пупырышках, словно гусиная. Особенно скверно было ночью: спали мы полуголые на брезентовых койках без всякой подстилки, без одеял...

Начальство ошеломяло. Оно никак не ожидало такого разrimанда. Больше всего выводило его из себя то обстоятельство, что заключенные вели себя внешне спокойно, не подавая никакого повода к наказанию карцером или к вмешательству вооруженной силы.

Инспектор Краинский, повидимому искренно огорченный видом полуголых и дрожащих от холода арестантов, пробовал уговаривать

нас «бросить эту затею», сулил всякого рода обещания, расковал даже в ночь на Рождество некоторых интеллигентов, которых он считал «зачинщиками», думая побудить их этим к примирительным шагам,—но ничего из этого не вышло.

— Это не демонстрация, а борьба!—эффектно ответил ему бессрочный Конторович, когда Крайневский, придя к нам на Рождестве, после своей речи расплакался.

Накануне 9 января из камеры, в которой сидел влиятельный соц.-демократ Карл Грюнштейн, поступило предложение ознаменовать этот день всеобщей голодовкой, пением революционных песен, устройством маленьких митингов в камерах и т. п. Предложение это было весьма кстати, кстати хотя бы потому, что за последние дни настроение среди большинства заключенных стало заметно падать: всех нервировало молчание и неуступчивость начальства, многие начинали приходить в отчаяние от непривычных и, казалось, бесперспективных физических страданий. Все искали какого-нибудь выхода. Предложение об ознаменовании годовщины кровавого воскресенья было принято с восторгом. Одни только уголовные и анархисты не пожелали примкнуть к этой однодневной голодовке-протесту.

— Довольно с нас поповских постов!—писали анархисты в своем заявлении.

В день 9 января вышел и первый номер тюремного журнала—довольно объемистой тетради с весьма разнообразными материалами: статьями, стихами, рисунками и пр.

С утра во всех камерах стало раздаваться пение революционных песен. Прозносились речи. Некоторые смастерили красные флажки; иные заманивали в камеры через форточки голубей, привязывали к хвостам их красные ленточки и соответственные записочки и выпускали их на волю. Это вызвало всеобщий восторг. Пение продолжалось до позднего вечера.

Начальство было совсем ошеломлено,—ничего подобного оно ни до этого, ни вероятно после этого, не видело. Оно не на шутку всполошилось и еще более энергично стало просить Главное Тюремное Управление положить конец «бесчинству» арестантов. Наконец из Петербурга прибыло распоряжение: перевести в другую тюрьму главных зачинщиков «бунта».

Одиннадцатого января 1907 г. нас — Ждановского, Вороничина, Конторовича и меня—неожиданно вызвали в контору и объявили, что через 10 минут нас отправляют на этап... В конторе находились уже «лидеры» других камер — анархист Лев Гершкович и севастопольский солдат, бойкий и речистый Як. Киршенштейн. Коимой уже поджидал нас.

— Куда нас отправляют?!.. Почему так поспешно?!—спрашивали мы.

Начальник, его помощник и конвойный офицер отговаривались незнанием.

Второных нас почти не обыскивали. С особым удовольствием и демонстративными подчеркиваниями мы напялили на себя наше собственное белье, принесенное из цейхгауза. Из четырех бессрочных, трое, как были без кандалов, так и проделали без них весь путь.

Наше внезапное исчезновение удручающе повлияло на оставшихся. Тюрьма притихла и насторожилась. Но никогда не унывающий матрос Симоненко, а также его сопропесенник, тоже бессрочник, севастопольский сапер Максим Варышев, рабочий Антон Мазин и др., чтоб поднять настроение, подошли к решетчатым дверям своей камеры и громко запели на весь коридор:

— Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою...

Пение моментально подхватили другие камеры. Через несколько минут вся тюрьма огласилась пением революционных гимнов и песен. Когда мы, шесть человек, сопровождаемые чуть ли не 30 конвойными, выходили из ворот тюрьмы, в некоторых камерах 2 и 3 этажей, выходивших на улицу, раскрылись окна и из них полетели целые снопы горячей бумаги: это устроили иллюминацию в честь нашей отправки.

Однако, изъятие «зачинщиков» несколько не укротило остальных бунтовщиков. Чтоб справиться с ними, Главному Тюремному Управлению пришлось вызвать из Пскова знаменитого впоследствии усмирителя полковника Черленюковского. Крайнский и Вихорев были смещены, централ объявлен на военном положении, несколько сот человек подвергнуты были карцерному режиму, несколько сот других посажено в необитаемый подвальный этаж тюрьмы.

Бунтовщики были, наконец, усмирены, начальство одержало победу...

...В специальном вагоне, вне всякой очереди, с соблюдением строжайшей конспирации, не говоря никому, куда нас ведут, доставили нас поздней ночью в Петербург. На вокзале нас уже ожидали специальные арестантские кареты. На каждого из нас приходилось по три конвойных. Окруженные коными городскими, кареты эти бешеным галопом доставили нас в Выборгскую одиночную тюрьму.

В скором времени Смоленский централ, точнее крамольные абorigены его, были раскассированы по другим тюрьмам вплоть до сибирских.

«Годный бунт» был убит.

Шлиссельбургский централ.

В Выборгской тюрьме переночевали мы в светлых карцерах-одиночках в подвальном этаже. Рано утром, в таких же каретах-ковчугах, как и накануне, все с такими же таинственными предосторожностями, закованные не только в ножные, но и в ручные кандалы, да еще скованные за руки по два человека вместе, мы были доставлены на какой-то вокзальчик.

К вечеру мы очутились у какого-то замерзшего озера. Была вьюга, снежная пыль била нам в лицо, задевая глаза и уши. Полузамерзшие, в развевающихся от ветра арестантских халатах, звонко позвякивая кандалами, часто спотыкаясь, падая и увлекая за собой прикованного товарища, повукаемые руганью конвойных, с обнаженными палками сопровождавших наш маленький кортеж, прошли мы версты полторы по льду озера. Бушевавший на просторе ветер с каким-то остервенением толкал нас из стороны в сторону. Впереди обрисовались силуэты какого-то здания, не то каланчи, не то церкви.

Усталые и разбитые, мы добрались наконец до какой-то стены, над ветхими воротами которой красовался столь же зетхий деревянный герб с неувядающей надписью деревянными же буквами:

«Государева (тюрьма)».

То была Шлиссельбургская крепость....

Приехали, точнее, привели нас сюда 13 января 1907 г. Администрация тюрьмы, извещенная об этом телеграммой из Петербурга, заранее приготовилась к приему «бунтовщиков». Когда, пройдя очень длинный и низкий сводчатый коридор, мы вошли в маленькую комнату с сенями, здесь уже стояли выстроившиеся человек десять надзирателей — все в новых мундирах и шинелях и в полном вооружении. Смотрели они на нас хмуро и неприязненно. После амнистии 1905 г., освободившей из Шлиссельбургской крепости старых цардовольцев и молодых соц.-рев. (Гершуня, Карповича и др.), мы были первые политики, вновь появившиеся в этой тюрьме. По лицу и манерам над-

зрителей видно было, что они не нашли еще надлежащий тон в обращении с нами.

Минут через 15 появился какой-то мужчина лет 35, белообрый, с нерусским акцентом. По его весьма потертому синему сюртуку, весьма засаленной форменной фуражке и заплатам сапогам, мы приняли его за какого-нибудь младшего помощника. Оказалось, что это был сам начальник пшиссельбургской каторжной тюрьмы В. И. Зимберг. После обычного опроса с заглядыванием в наши постатейные списки, он обратился к нам со следующим приветствием:

— Вот что... Вас прислали сюда из Смоленска, где вы вели себя очень плохо... очень плохо... Имейте же в виду, что у меня здесь будет строго... Я имею приказ, *в случае чего* применять... — Зимберг слегка запнулся и, отведя взгляд на носки своих сапог, закончил скороговоркой: — применять телесное наказание... Так и знайте!

Фраза эта показалась нам тогда до того странной и нелепой, что мы все улыбнулись и ничего не ответили.

Написав что-то на бумаге и передав ее одному из надзирателей, он на немецком языке пригласил к себе на обед сопровождавшего нас конвойного офицера и вместе с ним ушел. Одного за другим, с утомительными промежутками в 15—20 минут, казавшимися нам долгими часами, нас стали вызывать и куда-то уводить.

Пройдя длинный узкий двор, я очутился в одно-этажном красном здании, где в присутствии двух седых стариков-надзирателей переоделся в новое пахнущее кислым запахом овчины и дерюги арестантское обмундирование. Один из надзирателей, суровый старик, рекомендовал себя бывшим жандармом Сидоровым, прослужившим в Пшиссельбургской и Петропавловской крепостях около 20 лет. Впоследствии он рассказывал нам любопытные вещи про смерть Нечаева, про Николая Морозова, Фигнера, Гершуни, про казнь Ульянова и других.

Из всей вашей шестерки, переведенной сюда из Смоленска в связи с «голым бунтом», начальник почему-то выделил Вороницына, поместив его в старую маленькую и дрянную тюрьму в другом изолированном дворе, в так-называемый «сарай», нас же пятерых перевели в одиночный, специально для народоуольцев построенный корпус, в котором было сорок одиночек.

Рассадили нас в разных концах. Типично кругом — и на острове, и на дворе, и особенно в нашем корпусе была такая, что отдаленные шумы надзирателей и их тихое-тихое перешептывание отдавались в ушах болезненным отзвуком, а ляг бандалов, раздававшийся из какой-нибудь отдаленной одиночки, производил такое впечатление, как будто вблизи прогуливалось с полсотни кандалников. Меня водворили

в одиночку, в которой лет пятнадцать подряд томился известный народоводец Герман Лопатин.

На следующий день, как раз после того, как были сняты дактилоскопические снимки с моих пальцев, ко мне в одиночку вошел, в сопровождении чуть ли не десятка надзирателей, начальник тюрьмы. Обменявшись несколькими незначительными словами, он прочитал касающиеся нас правила, только что присланные ему из Петербурга.. Выписка продуктов на собственные деньги, точно так же как и свидания с родными — гласила инструкция — не подвергались никаким ограничениям. То же и относительно книг. Что касается переписки, то в первый месяц сидения нам разрешается послать на волю одно письмо, во второй — два, в третий — три, а в дальнейшем — по одному письму в неделю. Как видно, правила довольно либеральные. Однако, спустя несколько дней, Зимберг познакомил нас с совсем другими правилами, выработанными для нас Главным Тюремным Управлением и легшими в основу этого ряда правил для всех остальных каторжных тюрем.

Расходовать на питание из собственных средств можно было только 4 р. 20 к. в месяц, из них 1 р. 20 к. на куренье и письменные принадлежности; книги дозволялось читать только строго-научного и религиозного содержания, причем одновременно нельзя иметь при себе более двух книг; переписка — и то лишь с ближайшими родственниками — ограничивалась одним листком бумаги малого формата в месяц; стрижка волос обязательна; за серьезные проступки — наказание розгами до ста ударов в один прием.

Эти два последних пункта говорили много. Не говори уже о порке розгами, но даже в такой ничтожной мелочи, как обязательная стрижка волос, сказались желания деятелей Главного Тюремного Управления лишний раз задеть, оскорбить, унижить политического врага, связанного и закованного. Тенденция эта сказывалась и во многом другом. Так, например, наезжавшие к нам часто руководители тюремного ведомства, вроде главных инспекторов Самовтоского и барона Мирбаха, милостиво разрешили нам пользоваться носовыми платками, строго-настрога наказали начальнику следить за тем, чтобы платки эти были без красных каемок... Не менее характерно и то, что надзирателям под страхом наказания *приказано* было обращаться с нами обязательно на «ты».

При всем том, в сравнении с тем, что творилось в крепости же впоследствии, в первые месяцы жилось нам, относительно говоря, сносно.

Тюрьма мало-по-малу стала наполняться заключенными. Мы пятеро были первыми (после народовольцев) обитателями этого корпуса. Через месяц из Смоленска прибыло еще десятка два «бунтов-

ликов». Затем, из Петербурга перевели к нам с.-р. Друганова, за ними с.-р. Кругликова, террористов Колосовского и Яковлева. Еще до этого привезли также группу анархистов-безначальцев. Попало к нам и несколько матросов из кронштадтских повстанцев. Было еще трое уголовных, ограбивших и зарезавших старика-священника.

В первое время, как я уже говорил, кое-в-чем жилось нам недурно. Прогулка и баня были общие. Обед и виняток разносили мы сами. Утренняя проверка делалась через форточку, и, вместо вставая во фронт, достаточно было, лежа на койке, показать только голову. Днем койки не замыкались. О наручниках мы здесь и не знали. Больше того: очень многие из нас ухищрялись так сплюсывать (при посредстве двух камней) обручи от напдаков, что ночью легко было снять их с ног и спрятать под одеялом.

Благодаря тому, что до своего назначения в Шлиссельбург Энгберг служил в Петербургской одиночной тюрьме, многие из наших каторжан были с ним знакомы еще до каторги. Это обстоятельство, а еще больше назначение к нам в качестве помощника начальника князя Гурамова, высокого, полного, с царственными манерами человека, столь же недалекого, сколь доброго, услужливого и мягкосердечного,—обстоятельства эти способствовали тому, что долгое время отношения наши с начальством были весьма миролюбивы. Конечно, главную роль здесь играло то, что время было особенное: заседала Вторая Государственная Дума; возглавляемая Столыпиным реакция предпочитала показывать свой лисий хвост и прятать свои волчьи зубы; революционное возбуждение в стране далеко не улеглось еще, и момент раслабы с нами—пленниками самодержавия—не наступил еще.

Как общее правило, тюремный режим—это отражение того, что творится на воле. Политическая погода делает тюремную погоду. Поэтому, чем дальше, тем больше отношения наши с начальством стали портиться. Правда, помимо причин общего свойства, некоторую роль сыграло здесь и «поведение» таких неукротимых бунтарей, как анархист Битбеев (см. очерк «Анархисты»), трагически кончивший дни свои севастьяпольский матрос Симоненко (см. очерк «Арестантская вольница») и особенно с.-р. Иван Цедзинский.

Это была яркая колоритная фигура. Типичный заводской рабочий, замешанный в революционном движении еще во время знаменитой стачки 1896 г., имевший связи с деятелями «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Цедзинский много скитался по различным городам, бочевал с завода на завод, часто терпел жестокую нужду и лишения, подвергался преследованиям и административным высылкам. Все это еще больше озлобило его и без того желчную натуру. Высокий, худой,

с бескровным серо-желтого землистого цвета лицом, с зеленоватыми маленькими сверлящими глазами, длинным сухим носом и жидкими усиками—таким встает предо мною образ этого неугомонного, неуживчивого человека.

В 1905 г., работая в с.-р.-овской организации и возвращаясь однажды домой с какого-то собрания, Цедзинский заметил за собой слежку. Все его попытки скрыться ни к чему не привели, липки не отставали от него ни на секунду. Раздраженный этим преследованием, Цедзинский вдруг остановился, выхватил револьвер и, уснащая свою речь обычной для него словесностью, выстрелил в воздух. Его задержали, до полусмерти избили, изрубив палками спину и голову, отравили в тюремную больницу, потом перевели в тюрьму, судили, приговорили к смертной казни и, спустя неделю после приговора, заменили повешение бессрочной каторгой.

В Штиссельбурге Цедзинского посадили в старую одноэтажную тюрьму («сарай»). Он постоянно *волянил*, множество раз объявлял голодовки, ссорился с начальством и особенно со старшим надзирателем. Последнего он почему-то особенно возненавидел. Находясь уже в нашем одиночном корпусе, Цедзинский не упускал случая показать свое к нему презрение.

На этой почве у нас разыгралась целая «история».

Как-то Цедзинскому понадобилось написать письмо домой. Минув старшего надзирателя, он обратился за бумагой и конвертом непосредственно к начальнику. Усмотрев в этом маленькую демонстрацию Зимберг ярочно отказал, заявив ему:

— Обратитесь через старшего,—на то он и поставлен здесь...

Цедзинский упорствовал, но и Зимберг решил не уступать. Нашла коса на камень. Несколько дней подряд шли дипломатические переговоры. Наконец, Цедзинский заявил начальству:

— Если завтра к 12 часам мне не принесут в камеру бумагу и конверт, я выйду из повиновения...

Князь Гуратов, помощник начальника, пожелал уладить готовившуюся «историю» и долго разговаривал Цедзинского не начинать волянки. Тот не соглашался.

Настал срок ультиматума. Пробило 12 часов, Цедзинский подходит к ватку и, крикнув на весь коридор:

— Товарищи, я выхожу из повиновения!.. — открывает у себя в одиночке водопроводный кран (в нашем корпусе в каждой одиночке был подопроход) и сам садится на койку, поджав по-турецки ноги. Через полчаса вся его одиночка на несколько вершков уже была залита водой. Сам Цедзинский продолжает сидеть себе на

койке, пускает сделанные им из бумаги кораблики и кричит во весь голос:

— Товарищи, я уже вышел из повиновения!..

Эмберг после долгого раздумья решил наказать Цедзинского. Зная, что шутки с ним плохи, он вызвал из города конвойных солдат, окружил со всех сторон наш одиночный корпус и, подойдя к одиночке Цедзинского, предложил ему добровольно отправиться в карцер. Тот, конечно, отказался. Его стали брать силой. Пока его тащили по коридору, из всех одиночек раздавался громкий и мерный стук кулаками и медными кувшинами в двери,—то все мы протестовали против столь неслыханного тогда явления: политического осмелились потащить в карцер...

Вместе с Цедзинским потащили в карцер матроса Филиппа Калашникова и анархиста Краснобродского—у них что-то произошло с представленными к одиночкам конвойными.

Настоящих карцером у нас тогда еще не было, и всем трем пришлось провести сутки в каком-то сарае, помещавшемся в одной из угловых башен крепости, а остальные шесть суток — в большой, пустой тогда еще камере—в «зверинце» (так назывался у нас корпус с общими камерами и сплошными решетками вместо дверей).

Пока они отбывали свой недельный карцер, у нас, оставшихся, шли горячие споры о формах протеста. Одни предлагали бойкот начальства, другие голодовку. Ссорились, нервничали. Ограничились тем, что мы не стали подметать коридоры,—операция, которую мы обыкновенно проделывали два раза в день—утром и после обеда.

Когда же по возвращении товарищей из карцера, мы узнали, что Краснобродского помыл наш толстый дежурный дядька, мы единогласно объявили ему бойкот, ни за чем к нему не обращались, не выходили при нем на прогулку, даже не раздавали и не принимали обед и ужин, когда он дежурил.

Через неделю начальник убрал этого надзирателя из одиночного корпуса, а того старшего, из-за конфликта с которым Цедзинского и возникла вся эта «история», Эмберг вовсе откомандировал из Шлиссельбургской крепости, назначив вместо него менее толкового и грамотного, но зато более покладистого и мягкого в отношении арестантов Прохорова.

Происходило все это в последние дни заседаний Второй Государственной Думы. Несомненно, что имей эта история место год или даже несколько месяцев спустя, и господа тюремщики не вели бы себя так робко и уступливо.

* * *

Бодрые и свежие, с традициями, принесенными с воли, мы масевку 1907 г. отпраздновали так: раздобыли где-то красную ленту, изрезали ее на маленькие полоски, пришили их к своим буплатам и с пением марсельезы возвращались с прогулки в камеры. Начальство ничего на это не сказала.

Совершенно иначе отнеслось оно к новой «истории», которая имела место в январе 1908 г.

В ночь под Новый Год многие из нас чувствовали себя как-то особенно нервно. В мозгу стучали воспоминания о воле, казавшейся столь далекой. На сердце тоска одиночества, неприятный осадок от невзгод каторжного прозябания с его недоеданием и ничегонеделанием (у нас тогда не было никаких работ), тюремными дрызгами, ссорами.

Вышло как-то так, что в день Нового Года накопившееся раздражение прорвалось и совершенно неожиданно вылилось в форме маленькой демонстрации. Первая прогулка, в которой участвовал и Николай Симоненко, вернулась в камеры с пением марсельезы.

Надзиратели засуетились, позвали старшего, тот побежал за инструкциями в контору, откуда вернулся с наказом: молчать и поглядывать. Вторая прогулка тоже устроила концерт; так же поступили и следующие прогулки. Старший надзиратель стоял у входа в корпус и молча присматривался к отдельным каторжанам. Потом выяснилось, что Зимберг нарочно не препятствовал развитию этой «демонстрации», чтоб получить повод для репрессий.

Он давно уже ждал такого случая. В это время место убитого соц.-рев. Рогозинниковой начальника Главного Тюремного Управления Максимовского занял известный деятель реакции Курлов. Режим во всех тюрьмах сразу изменился к худшему. Тот администратор, у которого арестантам жилось посквернее, считался наилучшим. Зимберг и решил, что теперь настало время и ему обратить на себя внимание высшего начальства.

В тот же день после обеда, спустя несколько часов после прогулки, наш уединенный одиночный корпус окружен был плотной цепью городских конвойных, а сам Зимберг в сопровождении конвойного офицера и целой пучки надзирателей обошел камеры наиболее «провинившихся» каторжан, объявляя каждому из них:

— За нарушение порядка и дисциплины вы наказываетесь на две недели лишением книг, переписки и выписки продуктов...

Наказание это поразило нас своей неожиданностью. До сих пор, если не считать инцидента с Цедзинским, никто из нас не знал еще,

что такое репрессия в этом смысле слова. На следующий же день на прогулке появились соответствующие записки-воззвания. В негодующих словах товарищи призывались к общему протесту. Решено было, на зло начальству, проделать эксперимент с канцелярскими революционными песнями вторично. С этого началось, а кончилось тем, что почти все обитатели нашего корпуса, т. е. почти все обитатели всей Шлиссельбургской крепости, были переведены на карцерное положение. Из одиночек было убрано и вытащено все, что только можно было убрать и вытащить: посуда, матрацы, одеяла и т. п. Нам было объявлено, что в течение месяца все мы лишены будем прогулок, книг, выпски, переписки и свиданий. Горячая пища и кипяток будут выдаваться лишь один раз в четыре дня. Шесть человек из нас были при этом переведены в пустовавший тогда еще общий корпус, так-называемый зверинец.

Вначале мы, признаться, онеменили, и первые два дня прошли в гробовом молчании. Но едва мы пришли в себя, как веселье, какое-то буйное беспашабное веселье, забило фонтаном. У нас пошла невероятная кутерьма. Началось с громких на весь коридор переговоров из разных одиночек. Потом стали хором распевать песни, сперва, как полагается, революционные, а затем и иные. Некоторые, знавшие арии и отрывки из опер, концертировали соло. Фил. Калашников во весь свой огромный голос распевал малороссийские песни, которых он знал множество. Он же сочинил длинейшее стихотворение, осмеивавшее всю эту историю. Когда кому-нибудь надоело музицировать, он начинал стучать в дверь. Иные умудрялись играть друг с другом в шахматы, выкрикивая на весь коридор расположение и наименование фигур. Кто громко насвистывает, а кто и пляшет, позванивая кандалами. Такой кавардак продолжался у нас недели две.

Нас решительно никуда не выпускали. Обед и кипяток (когда он «полагался» для карцерных) раздавали нам сами надзиратели. На площадке лестницы второго этажа Зимберг устроил форменный бивуак—навалил там солому, расставил пирамидами берданки и ружья. Сам он, и особенно его помощник князь Гурамов, по несколько раз в день заходили в корпус осведомиться о положении вещей. Но едва кто-нибудь из нас заидит их, как немедленно же по всей тюрьме несетя:

— Ти-и-ше, товарищи, начальство идет!..

На приглашение «тише!» следовало нечто оглушительное: кто, вложив пальцы в рот, поднимает отчаянный свист, кто мастерски ржет, подражая лошади, кто поет петухом, кто блеет по-овечьи, а кто просто гогочет во-всю. Концерт этот сопровождается стуком в двери,

выбиванием дробы по медным тарелкам (если на этот день приходился обед). От такого тарарама в ушах стоял адский шум и звон. Разумеется, наши начальственные «гости» спешили ретироваться.

Предложение одного из нас читать экспромтом вслух рефераты было принято с большой охотой. Таким образом, были прочитаны рефераты о годовщине 9 января, о милитаризме, о происхождении религии, но скоро и это приелось. Особенно скверно чувствовали себя курящие — табаку ни у кого не было, а припрятанного чаю хватало не надолго, да и не все могли курить его.

Чтоб легче было переговариваться, некоторые повывили патками от швабр стеклянные глазки, прикрывавшие дверные вольчки. Но начальник перехитрил нас: к железным крышечкам, прикрывавшим глазки снаружи, он привязал тяжелые и длинные деревянные колоды, что затрудняло открывание этих крышечек изнутри; при попытке обить самые крышечки поднимался оглушительный стук тяжелых колод об обитые железом двери.

На третьей неделе такого карцерного сидения кто-то предложил объявить голодовку — верный признак усталости и безнадежности. Но охотников на это мало тогда нашлось, да и смысла в такой голодовке никакого не было. Последняя неделя прошла сравнительно тихо и спокойно.

По окончании карцерного срока, режим в тюрьме стал еще строже. Прогулку сократили до 15 минут. Передачи книг и продуктов из одиночки в одиночку запрещены были. Многих долго-долго не расковыливали, несмотря на истечение законного кандалного срока. Придирались ко всякой мелочи, даже к тому, что один неграмотный рабочий, желая научиться писать и зная, что в камерах иметь чернила строго запрещается¹⁾, употреблял вместо чернил слабительное лекарство «каскара-саграда», а вместо стального пера смастерил себе голубиное перо.

Вдобавок Петербургское Губернское Тюремное Управление (точнее, советник по тюремным делам г. Блике) прислало распоряжение, в котором больше бабьего желания поднести шпильку, чем серьезного смысла. Именю: начальству приказано было пзять из тюремной библиотеки какую бы то ни было беллетристику... Крамольными объявлены были и Пушкин, и Гоголь, и Тургенев и даже книжечка пона Сильвестра «Домострой». Когда с.-р. Кругликов установил прочные сношения с волей,

¹⁾ В большинстве тюрем запрещено иметь в камерах чернила и перья, — в случае нахождения их наказывают карцером, а то и розгами; зато в других тюрьмах (напр., в одиночках московских Бутырок, где я сидел зимою 1911 г.) чернила разрешаются, но запрещаются карандаши.

то в числе нелегалщины, вроде парижского «Голос Соц.-Дем.», венской «Правды» и с.-р-овского «Знамени Труда» — была и книжечка Гамсуна «Пал», с разными предосторожностями ходившая у нас по рукам...

* * *

В шлессельбургской одиночке я находился два с половиной года (с января 1907 г. по июль 1909 г.). За все это время мы почти не были связаны с товарищами из других корпусов, которые кстати стали заселяться лишь с лета 1908 г. И если к нам долетали какие-нибудь вести, то лишь об отдельных лицах, вроде доктора Петрова, осужденного по делу соц.-дем. военной организации, человека необычайно популярного среди каторжан, благодаря беспрерывной, на редкость буйной и неукротимой войне, которую он вел с тюремной администрацией.

Между тем второй и третий корпус шлессельбургской крепости жили своей жизнью, полной тревожений, борьбы, карцеров, порок розгами. Грошевые заработки, отвратительная пища, бесчеловечные грубости и издевательства, наказывание карцером за нежелание кричать при встречах с начальством «здравия желаю, ваше высокоблагородие», отвратительные выходы тюремщиков (вроде зверя Индранова), словом, порядки, весьма напоминавшие *сизалинские*, привели к тому, что весной 1909 г. группа политических, объединившихся в «Союз борьбы», предприняла «выступление» в виде голодовки и словесных заявлений против наиболее ярких безобразий тюремного режима.

Самого Зимберга в это время не было — он уехал в экскурсию за границу. Заменявший его князь Гурамов, человек мягкий, но бестолковый и трусливый, с перепугу посадил человека сто в карцер. По всей тюрьме опять пошла волынка. Все выпло из колен, а заместитель начальника, не зная, как снова наладить «нормальный», так сказать, быт каторги, истерически упражнялся в репрессиях.

Наконец начальник Главного Тюремного Управления Хрулев разрубил гордиев узел. Получив список 80—90 человек, отличавшихся крайним поведением, он приказал их перевести из Шлессельбурга в Вологду.

К этапу из 90 человек из общего корпуса присоединено было также несколько человек из нашего одиночного корпуса. В числе их был и я. В жаркий июньский день, переселенный в грязную и почему-то оуювную рвань, задыхаясь от жары, полный думами о предстоящих новых мытарствах, я оставил Шлессельбургскую крепость.

I.

Вологодский централ.

...Назонец обыск кончился, и всех нас распределили по разным камерам,—бессрочных отдельно, долго-и малосрочных—тоже. Как и во всех тюрьмах старого устройства, камеры здесь такие же неуютные, грязные, воздух в них такой же затхлый и провонявший; по обеим сторонам—брезентовые койки, грязные и засаленные, посредине деревянный стол со скамейками, на которые ночью опускаются койки; в углу около печки большая и высокая из котельного железа парашка. а напротив, в другом углу прибита в стене деревянная, засиженная мухами и поблекшая икона с дубочно-алюповатым изображением Николая Чудотворца. Свету здесь очень мало: как раз пред нашими приходом, когда арестантские роты обращены были в каторжную тюрьму, окна были наполовину заложены камнями и зацементированы.

Со многими из молк сожителей я успел познакомиться еще по пути, во время этапа. Из них в нашей камере наиболее популярным и влиятельным был Глотилин,—«обратник», бежавший с поселения и вторично осужденный в каторгу. Худощавый, сухой, с редкими волосами, пунцово-красным носом и гнусавым голосом, вертлявый и вежливый спорщик. Глотилин пользовался славой патентованного волышника, постоянно воевавшего с тюремным начальством. Сидеть в тюрьме ему оставалось недолго, обычной скидки он и так лишен был, как и большинство «настоящих» уголовных, он смертельно ненавидел тюремную администрацию,—вот он и досаждал ей всяческими способами.

По степени влияния шел за ним Петушенко, серьезный и угрюмый человек с маленькими, исподлобья и недоверчиво смотрящими черными глазами. Служил он во Владивостоке матросом, убил оскорбленного его офицера, успел скрыться, но был выдан своей «марухой», как называют временных жен, которыми обзаводятся многие матросы и солдаты. Из каторги он бежал посредством подкупа и благополучно добрался до столицы, где тут он неожиданно встретился со старым

приятелем, который оказался членом «Союза активной борьбы с революцией». Выданный им полиции Петушенко был арестован и к прежнему сроку получил прибавку в восемь лет каторги.

Харень он толковый и наблюдательный, но как-то дустяково-мелочно-наблюдательный. Он метко и верно усмотрит в человеке десяток малевьшх минусов, но не заметит в нем самого существенного и характерного. Особенно ненавидел он интеллигенцию, и с языка его часто срывались озлобленные, ядовитые реплики. На воле он активно не входил ни в одну из революционных организаций, но больше всего он сочувствует анархистам; социал-демократию Петушенко приравнивает к кадетам, а социал-революционерам готов еще предоставить право на существование, если только они почаще будут убивать министров и экспроприировать казначейства и банки.

С Петушенко в приятельских отношениях был Архипов, высокий гвардеец, приговоренный к каторге в связи с делом социал-демократической фракции Второй Государственной Думы. Среди солдат его роты шла агитация за подачу петиции, в связи с чем к ним на собрания и митинги приходили думские депутаты и партийные ораторы. Сам Архипов из торговых служащих, человек мало развитой, в программах почти не разбирается, зато своим прямым и откровенным характером, своей прирожденной деликатностью и тактом, своим добродушием и миролюбием он легко завоевывал себе общие симпатии.

Рядом с ним помещался Махович, маленький, рыжеватый варшавянин с быстрой-быстрой походкой и плутоватыми глазами. По профессии он сапожник, но давно уже промышляет воровством. Делал он это сознательно и обдуманно: он любил кутить с проститутками и играть в карты, а сапожничая много не наживешь. По целым дням Махович только то и делал, что расхаживал по камере, заводил споры и ссоры, а когда бывал в хорошем настроении, насвистывал краковяк и пускался в пляс, ухарски размахивая одной рукой и мелко семеня закованными в кандалы ногами.

Это беспшабно-придирчивое и веселое настроение часто сменялось у него печальным и грустным. Для этого достаточно было, чтоб он посмотрел на свою правую руку, на которой весьма искусно был вытатуирован вензель с надписью: «Эмилиа»,—так звали его покойную возлюбленную. В одну из интимных бесед со мною Махович поведал мне ее печальную историю: она была честная девушка, искренно его любила, помогала ему, когда он попадал в тюрьму, и незадолго до его последнего ареста умерла во время родов, заразившись от него сифилисом.

Чувство привязанности и раскаяния в отношении покойной Эмилиа было, кажется, единственным благородным чувством, на какое Махович

был еще способен. Во всем остальном это был материалист самого будничного направления. Так, увидев у меня толстый словарь и узнав, что он стоит восемь рублей, Махович не мог удержаться от восклицания:

— Восемь рублей!... Пся крив!.. Сколько баранок и колбасы можно купить на эти деньги!.. Восемь рублей!..

По своему характеру на Архипова походил рабочий Алексеев, синеглазый блондин, который вместе с его соседом по койке Гавриловым привлекался по делу социал-демократической военной организации (процесс паженера Малоземова и нескольких военных врачей). Флегматичный и тяжелый на подъем, Алексеев, хотя и примыкал ко всем тюремным протестам, но всегда оставался в тени, зато Гаврилов много месяцев томился в Шлиссельбургских камерах, куда его сажали за отказ кричать при входе начальства: «Здравия желаю, ваше высочайше-благородие!»

Еще в арестантском вагоне меня заинтересовал социал-революционер из семинаристов, Предьяков, невысокий, склонный к округлению и похожий на провинциального кучника. Вместе с Гоцем, Яковлевым и Павловым он получил каторгу за участие в покушении на полковника Римана—одного из усмирителей московского декабрьского восстания,—Предьяков играл тут роль пивовоза. Очень простой и легко сходящийся на короткую ногу с разношерстной арестантской публикой, он не прочь был с уголовными и в карты поиграть и по матушке ругнуться. Отвлеченных вопросов, разных там социологий и философий Предьяков органически не выносил, книг на подобные темы не любил и в руки брать, а если, бывало, услышит в камере разговор на какую-нибудь теоретическую тему, то сейчас же иронически зафыркает, перемигнется с кем-нибудь, махнет рукою и уйдет в сторону.

Самую лучшую койку в нашей камере—недалеко от окна и подальше от парашки—занимал высокий и здоровенный латыш Шмаузен, бывший народный учитель, поступивший потом в железнодорожные чиновники. За участие в Туккумском восстании он получил четыре года каторги. Но если прибалтийский военный суд, имевший своим председателем генерала Кошелева, дал ему вместо обычной бессрочной каторги такой маленький срок, то это значит, что другой суд, в другое время и в другом месте, не только освободил бы его, но и извинился бы за причиненное беспокойство.

Шмаузен считает себя социал-демократом, но ничего не имеет и против социал-революционеров, готов голосовать и за кадетов, а на худой конец и за правящего октябриста.

— Лишь бы партия за прогресс стояла... Ведь лучше что-нибудь, чем ничего,—аргументировал он.

Деловитый и уравновешенный, Шмаузен всегда предпочитал жить с тюремным начальством в ладу, но никогда не отказывался от арестантских выступлений, понимая, что общественное мнение много значит в тюрьме. К арестантской мелкоте, особенно к уголовным из случайных преступников, он относился с безразличностью и презрением.

Удивительно еще умение Шмаузена распоряжаться своими чувствами. На воле у него осталась невеста, на которой он непременно женился бы, не попади он на каторгу. Но ведь неизвестно еще, что с ним будет впоследствии, поэтому он в один прием покончил со всеми своими любовными эмоциями, без всяких терзаний, без борьбы и колебаний ликвидировал свои прежние отношения и даже прекратил с невестой переписку.

— Ничего-о!—говаривал он,—она немного погорюет—известно: баба!—и найдет себе другого мужа... Ну, а я—я тоже не останусь в Сибири без жены...

Коротко и просто.

По одному делу с Шмаузенем и на один с ним срок осужден был его земляк, молоденький Лурвинь, круглый и толстый юноша с воднисто-голубыми глазами. Склад мышления, жизненные привычки, все его симпатии и антипатии что ни на есть типично мелкобуржуазные, так и отдает от них бытом зажиточного прибалтийского фермера, но это несколько не мешает Лурвиню «становиться на точку зрения революционного пролетариата». На мой вопрос: какой он партии?—Лурвинь ответил:

— Эс-дек... И, конечно, ле-вый эс-дек...

— Большевик?—переспросил я, улыбувшись той гордости и значительности, с какой этот умеренный и аккуратный всегда и во всем юноша произнес слово: «*конечно*».

— Ну да!—подтвердил он.—У нас все эс-деки—большевики.

Рядом со мной была койка некоего Камнева, осужденного на десять лет каторги по делу так-назыв. «Активной Дружины соц.-револ.». Дружина эта, возникшая осенью 1906 г., замышляла и организовывала ряд крупнейших террористических актов и ограблений. Между прочим, ею готовился взрыв Петербургской Охранки,—в каковом предприятии участвовало также два старых агента Охранного Отделения, вполне искренно примкнувших в это время к соц.-револ. Дела у «Активной Дружины» предстояли грандиозные, но провокации и ряд арестов, сопровождавшихся, встать, отчаянными сопротивлениями, стрельбой, убийствами полицейских, и даже самоубийствами арестуемых,—расстроили все планы террористов.

Сам Камнев—человек несколько эксцентричный, с несомненно маньякальными наклонностями. По специальности он электротехник и обладает недюжинными изобретательскими способностями.

В камере нашей сидело еще несколько человек, осужденных кто за грабежи, кто за поджог, кто за изготовление фальшивых рублей, один был даже за изнасилование собственной сестры. Однако не успел я еще поближе познакомиться и сойтись с ними, как у нас в тюрьме пошла волынка, которая и закончилась раскассированием всей нашей публики.

* * *

Первое столкновение началось еще в день приема. Каждый из нас, тщательно обысканный и осмотренный (надзиратели заставляли даже раздеться до-нага и нагибаться), подходил с тючком казенных вещей к принимавшему этап белобрысому помощнику, который сверял физиономию арестанта с имеющимися в деле фотографическими карточками. Задавая обычные вопросы, помощник этот обращался с нами на «ты».

— Пожалуйста, повежливее!—огрызнулся мы, привыкшие в Шлиссельбурге к несколько иному обращению.

— Что?!. «Повежливее»?.. Этого-того...—недоумевалоше возражал помощник Меркурьев,—а ты забыл, что ты арестант?..

Утром, когда началась раздача кипятку, мы узнали, что принесенные нами с собою чайники, стаканы, зубные щетки, расчески, а также и мыло останутся в кейхгаузе и не будут нам выданы на руки.

— Почему так?—удивляемся мы.

— А потому, что по уставу каторжанам иметь частную собственность не полагается,—ответили нам. При этом в камеру внесли большой медный чайник и десятка полтора медных кружек. Когда пьешь из них—обжигаешь себе губы, если кипяток горячий, не то жди, пока он остынет; к тому же, чтоб кружки не ржавели и не зеленели, их надо после каждого употребления чистить кирпичом.

— Но как же без мыла обойтись?—спрашиваем мы.

— А вот, когда в баню пойдете, вам и казенное мыло выдадут... своего мыла не полагается.

Бава здесь бывает один раз в десять дней, а с этапа мы пришли грязные, запыленные...

— Ну, и централ!—ахали мы.

Идем обеда. Припосят постную бурду. Ужин еще хуже. День был скоромный. Справляемся, в чем дело, — оказывается, что в виду поста мы в течение всего июля месяца будем сидеть на такой пище. Мы начинаем роптать: в других центрах большие посты или совсем

не соблюдаются, или же постная пища выдается с промежутками в одну-две недели; здешний же порядок тем более неуместен, что среди каторжан много латышей и поляков, для которых соблюдение православных обрядов вовсе не обязательно. Тут же узнаем еще, что выписка на собственные деньги тоже будет исключительно постная: в течение всего месяца в тюрьму будут пропускаться одни лишь семедки да побла.

Это еще больше всех озлобило. Стали рядить да обсуждать, как быть дальше. Происходило это летом 1909 г.

Снести посредством записок и перестукивания с другими камерами, выработать общие требования и наметить план действия—было не трудно. Началось с экстремного и массового вызова начальника. В тот же день он явился к нам в сопровождении второго своего помощника, Андреева. Подполковник Татаров был высокий, пастный, с мяснатым лицом старик. Дав ближайшему арестанту подержать свою палку, которую он всегда носил в руках, и вытирая платком свое золотое ленивое, Татаров начал тихим, добродушным голосом:

— Ну, господа, что ж... читал я ваши требования... Конечно, там много справедливого, что и говорить!.. Даю вам слово: все, что смогу,—сделаю... Книжки, переписка, свидания, снятие кандалов, свидка со сроку, — во всем этом я стеснять вас не буду... Не хотите, чтоб надзиратель кричал «смирно», когда я выхожу, — ну и не надо... Увеличить прогулку? — и это сделаю... Что же до постной пищи, то, ей-Богу, я сам хлопотал, чтоб ее отменяли... писал и в Петербург: не отменяют!.. Что поделаешь!.. То же и с выпиской на собственные деньги: мясного и молочного нельзя!.. То же и со стаканами и мылом: не могу разрешить! Пишите прошения. Я поддержу.

Еще раз просмотрев по бумажке перечень наших требований, Татаров шумно вздохнул, поднялся со стула, сказал: «Так-с, значит, господа» — и вышел.

Едва за ним закрылась дверь, у нас сейчас же пошла критика передразнивание его слов, копирование его манер и жестов. Гло-тилкин и Петушенко, при одобрительных репликах большинства, решили, что в словах Татарова нет ни слова правды, что он нам очки втирает, облупошить и обманулить хочет, что, как и все начальники, он сволочь, и т. д.

Решено было постной пищи не принимать. К такому же решению пришли и остальные камеры. Приносят обед и ужин—мы их и в камеру не берем даже. Еще хорошо, что хлеб здесь был на редкость хороший, не будь этого—пришлось бы совсем плохо.

Дня чрез два приехал советник губернского правления, заведывавший тюрьмами, — инспекции тогда у нас еще не было. Это был паралитик, весь высохший, с темным законченным лицом, вялыми щеками и болезненно снервавшими злыми глазами. Ходил он на костылях, так что один из надзирателей всюду носил за ним стул. Нас уверяли, что он-то и был главным вдохновителем всех этих вздорных распоряжений. От него же, между прочим, исходило и приказание не выдавать лекарств в камеры: каждый день в корпус приходил фельдшер с целым ящиком медикаментов, вызывал в коридор больных, и если кому вужно было, то тут же на месте давал выпить микстуру, пользуясь для этого единственным продолговатым стаканчиком.

С некоторыми из арестантов советник объяснялся лично. Уговаривал, ворчал, грозил — ничто не помогало. Мы продолжали вести прежнюю жизнь.

Как раз в это время наш централ посетил врачебный инспектор главного тюремного управления, объезжавший ряд тюрем с целью ревизии их санитарного состояния. В сопровождении целой свиты зашел он и к нам в камеру.

— Ну как, господа: клопиков есть? — начал он с места в карьер веселым голосом, слегка улыбаясь своими молодыми черными глазами.

— Есть-то есть, но дело не в клопах, а вот в чем, — начали мы рассказывать ему о нашем житье-бытье. — Почему нас морят постной пищей?.. Мы не святые и вовсе не намерены спастись!.. На каком основании нам не выдают собственных стаканов?.. Где это видано, чтоб каторжанам запрещено было выписывать мыло?.. — вопрошали мы с негодованием.

— Слышал, слышал, господа!.. Но все это — особ-статья! — ответил нам врач-ревизор. — Значит, клопиков нет?!. Ну и хорошо!.

Посетил он, разумеется, и больницу. То, что палаты были совершенно переполнены; что ночью больных в клозет не выпускали, а заставляли пользоваться насквозь прогнившей чугунной парашкой; что тяжело больных, особенно чахоточных, даже и тех, кто находился в последних стадиях болезни, не расковывали, и они так и умирали в кандалах, — это и многое другое его мало интересовало. Зато он, не стесняясь больных, сделал строгий выговор нашему доктору и фельдшеру, по тому поводу, что больничные койки не были снабжены жестяными табличками, на которых обыкновенно отмечается род болезни, температура, фамилия больного и т. п.

— Не зная температуры больного, — пояснил врачебный инспектор причину своего гнева, — я не знаю, может ли он встать, когда вложу...

На следующий день он устроил совещание с начальником и советником относительно предъявленных нами требований, вызвав также по одному делегату от каждой камеры. Первым делом он обратился к нам с маленькой речью, в которой вполне убедительно доказал, что с гигиенической точки зрения разнообразие в питании в высшей степени полезно для организма, что в постной пище много необходимых веществ, так рыба (кстати: по пятницам и средам нам давали суп с разваренными хвостиками от маленьких светков) содержит много фосфору, а в горохе много белковины...

— Мой совет, господа,—закончил он,—примите пищу, а насчет всего остального последует особое распоряжение... стаканы и мыло вам выдадут... Затем, я скоро вернусь в столицу и постараюсь отстоять ваши интересы...

Мы ушли от него с обещанием подумать. Между тем в камерах, где нас поджидали с нетерпением и встретили с пытливыми вопросами и восклицаниями, настроение было весьма боевое. О примирении никто и слышать не хотел. Решено было от постной пищи попрежнему отказываться, но в то же время воздерживаться от всего, что могло бы повлечь репрессии. Однако неопределенность положения в каком мы находились, вскоре стала тяготить нас, бездействие стало порядком нервировать. Начали поговаривать о чем-нибудь более решительном, о чем-нибудь таком, что заставляло бы начальство пойти на уступки.

— Надо выйти из повиновения!—кричал Глотилин.—Тоже революционеры, так и так их мать!—возмущался он выпендательской позицией, которую отстаивали многие политические.

Но вот в соседней с нами камере зацели «Марсельезу». Наши немедленно раскрыли окна и тоже зацели, третья камера тоже не отстала, а когда звуки гимна дошли до бессрочных, они тотчас же стали громко подтягивать:

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Иди на врага, люд голодный!..

Надзиратели всполошились. Прибежали помощники, начальники, но, едва последний затеял переговоры с нашими соседями, как с противоположной стороны грянуло:

Вышли мы все из народа,

Дети семьи трудовой,

Братский союз и свобода,

Вот наш девиз боевой!..

Татаров, в тюремной практике которого никогда еще не было подобных происшествий, не на шутку перепугался. Он немедленно протелефонировал обо всем губернскому советнику, тот сейчас же изложил дело губернатору в таком виде, что последний распорядился ввести в тюрьму солдат для усмирения *бунта*.

Волнение и арестантов и начальства еще более усилилось после следующего происшествия. У окна одной из камер стоял молодой каторжанин Богданов и громко распевал «Марсельезу». Надзиратель, рассказывавший по двору, несколько раз приказывал ему отойти от окна, но вошедший в азарт Богданов, парень строптивый и неугомонный, только обругал его. В это время мимо окон проходил старший помощник Меркурьев.

— Что же молчишь! — закричал он на надзирателя. — Этого-того... стреляй!

Тот выстрелил. К счастью, Богданов успел нагнуться, и пуля попала в потолок; прозевай Богданов один момент, он упал бы замертво. Случай этот еще больше распахнул публичку. Пение революционных песен и громкие выкрики вроде: «Пахачи!.. Убийцы» ¹⁾ не прекращались до тех пор, пока из коридора не долетела команда пришедшего с солдатами офицера.

— В чем дело, молодцы? — спросил нас офицер, подойдя к нам вплотную и осторожно подмигнув нам сочувственно одним глазом. Мы стали наперерыв рассказывать ему, а кронштадтский матрос Ватажник, молчаливый и угрюмый человек, любивший по временам принимать эффектные позы, обнажил грудь и, наседа на ошешившего офицера, стал кричать:

— Нате!.. Стреляйте, драконы!.. Колите! Мы не боимся! Нас тут и так с голоду уморят!..

— Ну, нечего растабарывать! — прервал его подошедший начальник. — Выходи по одному в коридор. Что столпились, как бараны!.. Вальт их!

В камеру вошло человек десять надзирателей и принялись таскать нас вон из нашего помещения. Под конвоем солдат, глядевших на нас хмуро и озлобленно, нас отвели в одиночный корпус, далеко еще не законченный ремонт. Рассадили нас по два человека, причем я попал в одну камеру с Пшаузенем. Все мы попрежнему продолжали отказываться от обеда и ужина.

¹⁾ Стрелявший надзиратель потом извинился перед арестантами, просил прощенья за свой поступок. Действительно он оказался добрым человеком и впоследствии был уволен за то, что передавал из камеры в камеру записки, доставляя карцерным табак и т. п.

На прогулку нас не выпускали, и ничего нет удивительного, что с утра до вечера у нас стоял невообразимый шум и грохот: начались громкие перекрикивания из камеры в камеру, распевание песен; кто барабанит в дверь, кто гогочет или ржет, кто мяукает или лает. К этой невыносимой и ушираздирающей какофонии присоединился еще, шутки ради, и сам пидыратель, замечательно ловко бляевший по-овечьи: мэ-э... мэ-э-э...

Сидевший со мною Цимаузен недоброжелательно пощипывал головой; такой образ действий политиков казался ему слишком уж несолидным. Как несправимый примиренец, он, вообще, был против подобных выступлений. Это меня удивило, тем более, что в общей камере он, наоборот, стоял за немедленный и насколько возможно более шумный протест, а во время пения «Марсельезы» громче всех выводил припев гимна. Это противоречие он объяснял следующим образом: по его наблюдениям, чем дольше затягивается арестантская повинка, тем больше осложнений можно ожидать в дальнейшем. По тому, чтобы отделаться дешево, надо и скорее разрядить накопившееся раздражение, и при этом так, чтоб самому не выдаться в глазах начальства.

На положении полунаказанных мы находились ровно семь суток. За это время лишь одна из нас попал в темный карцер, зато другой — матрос Ватажников — был выпорот розгами: на вечерней поверке, когда старший Глушицкий стал осматривать его кандалы, Ватажников нарочно сел на корточки; старший хотел было приподнять его с пола и сделал это, разумеется, не особенно деликатно, — возмущенный Ватажников тут же закатил ему пощечину.

От всех этих передраг, тревожилок, полуголодного прозябания я заболел и был переведен в больницу. Представляла она собою небольшое деревянное здание, наверху — цейхгауз и аптека, а внизу — палаты и кухня. В палатах ужасная духота и теснота, — первое, впрочем, больше по вине самих арестантов, с которыми при одитея воевать из-за форточек и окон: цакурят и валяют вонючей махоркой и боятся — лето! — отарить окна. Умывались все в маленькой комнатке прямо над жестяной ванной, над той самой, в которой купаются больные, в том числе и заразные...

Пища — очень хорошая, зато само лечение было обставлено из рук вон плохо. Всей больницей заведывал фельдшер, человек недурной, но к больным арестантам относившийся невнимательно, считая всех их поголовно симулянтами. Пример в этом показывал ему доктор, седой старик, от которого всегда пахло водкой. В больницу он являлся раз в неделю, и если его обыкновенно инфра-красный нос принимал ультра-фиолетовый оттенок, то это означало, что наш, в сущности, весьма

В нам доброжелательный эскулап порядочно заложил сегодня за галстук. В такие дни он первым делом отправлял назад в корпус тех, кого он считал выздоровевшим, точнее — всех тех, кто понадеялся ему на глаза. Поэтому выходило так, что иной здоровенный парень, если не симулянт, то страдавший чем-нибудь второстепенным, оставался в больнице, а истощенный и малокровный, а то и туберкулезный каторжанин отсылался доктором назад в общую камеру.

Из больницы меня перевели в одиночку.

Одиночные камеры совсем недавно перестроены были из мастерских и занимали весь нижний этаж неб льшого кирпичного здания. Всюду сырость и полумрак, по стенам струится вода, по деревянному полу ползают мокрины. Окно высоко отстоит от земли, а форточек совсем нет: чтоб освежить воздух, приходится — даже зимой — открывать всю половину окна. Камера, в которую я попал, выходила окнами на болотистое место, неподалеку от которого за стеной рос маленький лесок, так что солнца почти никогда не увидишь.

Меблировка одиночки более чем убога. Столик и скамейка сделаны из тонкого железа, а покрашены они до того сырьем, что от сырости краска совсем съезла и весь столик покрыт довольно толстым слоем ржавчины. В каждой одиночке помещалось у нас по два-три, а то и по четыре человека, из которых только один спал на койке, а остальные — прямо на полу.

Но всему этому, почти у самого входа в одиночный корпус устроена была центральная выгребная яма, причем нечистоты извлекались не насосами, а ледрами, привязанными к длинной оглобле, на другом конце которой привешивался огромный камень. Во время чистки ямы поднимались невероятный смрад и вонь. Этакое гигиеническое устройство наших одиночек тем более удивительно, что перестроены они были пред самым нашим приходом, следовательно, сослались на старинную архитектуру не приходится. Одно из двух, — или ассенировка была в данном случае слишком мала, или же карманы и аппетиты у подрядчика и начальства были слишком велики. Но и в том и другом случае страдательным лицом является наш брат-каторжанин.

Одиночный корпус скоро заполнился. Сырос на одиночки всегда большой, и многим приходилось ждать целые месяцы в положении кандидатов. Кроме группы бесрочных, пришедши с нами из Шляксельбурга, туда перебралась часть политических из общей камеры, не поладившая между собою на почве обычных в тюрьме мелких драг и смешных в глазах вольного человека, но крайне многочисленных, затяжных, до невероятия раздутых и треплющих перны недо-разумений.

Хотя после первого же знакомства с начальником наши многоопытные «обратники» решили, что он просто прохвост и сволочь, но на самом деле подполковник Татаров был человек добрый и мягкосердечный, правда, также и бесхарактерный и слабовольный. Надзиратели тоже были простые и незлобивые, в худшем случае — патриархально-грубоватые, в них незаметно было того хулиганского подчеркивания своей власти, того паглого и тугого самодурства, которым отличаются надзиратели других тюрем.

О старшем помощнике начальника Меркурьеве, которого все ненавидели за его враждебное и злобное к нам отношение, я говорю подробнее в другом месте.

Совсем в другом роде был второй помощник, П. В. Андреев, заведывавший у нас так-называемой полицейской частью. Когда-то он учился в реальном училище, дома у него была сносная библиотечка, себя он считал либералом. На этом основании он пропускал нам книги даже явно крамольного содержания, свежие ММ журналов, разрешал вести переписку не только с ближайшими и законными родственниками, но с кем угодно. Он же взял на себя посредничество по доставке книг из городской библиотеки, покупал для нас целые ассортименты иллюстрированных открыток и т. п. При нем можно было вести регулярную переписку даже с арестантами из других камер: записки открыто передавались ему во время проверки, он их просматривал, штемпелевал, а отделенный Шелашов разносил их адресатам. По настоянию Андреева, Татаров разрешал каторжанам разных корпусов и камер свидания между собою, а на Пасхе и Рождестве можно было ходить друг к другу в гости и проводить время вместе от проверки до проверки.

Был у нас и третий помощник, как говорили, граф по происхождению. Молодой, с тонкой талией, девичьим профилем, — он был прозван арестантами «курсишкой». У нас он заведывал кухней. Глухой и огравиченный, он был еще до крайности высокомерен и даже не возмущался в ответ надзирателям, когда они становились во фронт, отдавал ему честь. Впоследствии этот бездарный, малообразованный и недалекий богач оставил попечение об арестантской баланде и, в качестве земского начальника, принялся просвещать и благодетельствовать страшно нуждающихся в его попечении крестьян.

Из лиц, прикосновенных к вачальству, заслуживают пару слов наши священники и дьякон. Отец Н. Сумароков, худелький старичок, был человек сердечный, искренний и приятный в обращении. Когда он, бывало, заходил к арестантам в камеры, надзиратели целовали ему руку, но в то же время следили, чтоб он не сказал или не передал арестанту чего-либо такого, что «не полагается». Такова уж особен-

ность наших тюремных порядков, что хорошее с гнусным как-то мирно уживается рядом. Что же касается о. Сумарокова, то такое ничем не прикрываемое шпионство было тем более неуместно, что при всем своем милосердии он никогда и ни за что не ропсал на какие-нибудь негалавные услуги.

Не таков был наш дьякон, высокий, толстый, с широким румяным лицом, бородатый, всегда одетый в зеленую рясу с цветным, из ковровой материи, поясом. Но простоте душевной он приносил нам газеты и отправлял на волю письма. Делал он это совершенно безвозмездно, пока его не выдал дерзковый служитель из арестантов ж.е. Меркурьев, получив донос, призвал к себе дьякона, обещал ему соблюдение тайны и выманил несколько писем, только-что переданных ему. В результате дьякон был немедленно уволен со службы (он занимал также пост писаря) и предан суду.

В общем, при Татарове у нас жилось не дурно. Обед и ужин хотя и весьма безвкусны, но зато весьма обильны; хлеб, составляющий главную часть арестантского пайка, большую частью на редкость хороший. На собственные деньги можно было (правда, в одном лишь одиночном корпусе) получать каждый день молоко и больничный обед. Выписка продуктов из лавки была почти неограниченная, что, вкстати, очень нравилось нашим поставщикам, которые, часто меняясь, непрерывно предлагали кому следует все большую и большую взятку. Посылки с ноли и передачи можно было получить сколько угодно и от кого угодно, хотя инструкция Главного Тюремного Управления строго воспрещала это. То же самое было и с чернилами, которые одно время можно было иметь в одиночках. Чтоб облегчить положение бессрочных, особенно политических, Татаров разрешил им снимать ручные кандалы во время оправки, писания писем и уборки камер, а в первое время, под фиктивным предлогом шитья наволочек, наши вечники весь день вплоть до вечерней поверки находились без наручников. В карцер Татаров сажал мало и редко, к розгам почти не прибегал.

И если кто досаждал нам, так это советники губернского правления, заведывавший тюрьмами. Когда начальник представлял к расковке каторжанина, то достаточно было хотя бы однократного сидения в карцере, чтоб такое ходатайство оставалось неудовлетворенным. Этим только и объясняется, что в Вологде многие и многие каторжане, несмотря на истечение законного срока, целыми годами носили ножные кандалы, а иные (напр., Д. Вайнштейн) так и уходили на поселение, не будучи раскованы. Между тем, даже в такой тюрьме, как псковская, в которой свирепствовал печальной памяти «Петрушка» (полков-

ник Петр Черлениковский), арестанты расковыливались в день погечения кандалного срока.

Точно так же, по наущению губернского правления, у нас заведен такой порядок, что, откуда бы арестант ни возвращался в камеру: с прогулки ли, из церкви, или из конторы, его обязательно обыскивали. А после того как каторжанин из солдат Неронов пытался зарезать помощника Меркурьева ¹⁾, всех нас стали тщательно обыскивать также и по выходе из камеры.

* * *

В начале 1910 г. Татаров переведен был куда-то на юг, а на его место, после долгой и упорной конкуренции среди целого ряда претендентов на тепленькое казенное местечко, назначен был ставленник вологодского губернатора, уездный исправник Воронеж. В виду его совершенного незнакомства с тюремным делом, ему дали продолжительную командировку в Петербург, Москву и Цитиссельбург, где он на практике изучал порядки управления каторжанами.

Огромнейшего роста, невероятной толщины, с козосальным, свисающим в виде полушария животом, с большой, коротко и под машинку остриженной головой, Воронеж удивительно напоминал тургеневского Харлова из «Светлого короля Лира». Только в отличие от громового и оглушительного голоса того толстяка, Воронеж обладал тояньким девичьим дискантом. Своими круглыми на выкате глазами, резким голосом, грубоватыми манерами он производил впечатление человека угрюмого и злорадного, но в сущности это был броткий добряк, только испорченный полицейской службой.

Набравшись духу в тех централах, которые он посетил, Воронеж счел нужным наускать на себя холодность и суровость, стал чаще сажать в карцер и не на какую-нибудь неделю, а на целый месяц, завел внезапные обыски, во всем подтягивал не только арестантов, но и надзирателей. В своем рвении он дошел даже до того, что приказал, на-ряду с приходящими на дежурство надзирателями, обыскивать и тюремного священника, но от о. Сумарокова он получил решительный отпор. Своими притеснениями Воронеж многих (например, двух бессрочных соц.-революционеров Ушакова и Храмова) загнал в чахотку и в могилу.

¹⁾ Неронов был толстолиц по убеждениям, осужденный за участие в выборгском восстании. Когда на него пал жребий убить Меркурьева, он принял яд и пошел в контору сделать свое дело, но в последний момент отдал Меркурьеву нож и в тот же день умер.

Зато Воронеж был большой любитель русской словесности и живописи. Как любитель словесности, он стал сочинять циркуляры, которые расклеивались по всем коридорам и камерам; в одном из них он, например, под угрозой кардера, запрещал записывать в тетрадах «революционные и порнографические песни», делать надписи на иностранных языках и т. п.

А в качестве любителя искусства, Воронеж набрал человек семь маляров, специально освободил ради них несколько одиночек, которые так нужны были неврастеникам и другим больным, и устроил нечто вроде художественного ателье. Тароватый помощник Андреев набирал, где только мог, подходящие открытки с видами, и с них то наши искусники срисовывали копии масляными красками. По заказу Воронца они — разумеется, на казенный счет — изготовили штук 50 деревянных икон, которыми заполнили стены всех помещений конторы, причем свитые отцы походили на настоящих злодеев с вытаращенными глазами, а великомученицы казались уродами с четырехугольными лицами самых невероятных колеров.

Как человек с изысканным вкусом, наш начальник никак не мог примириться с слишком уж неэстетическим видом арестантов, работавших на кухне. По его приказанию, все они были одеты в белые фартуки и в белые, высокие и треугольные колпаки — к немалому конфузу этих пожилых мужиков и к потехе остальных насоржан. Вот и толкуйте об отсутствии реформаторских талантов среди чинов тюремного ведомства!..

Режим при Воронце кое-в-чем, правда, ухудшился, но многое оставалось попрежнему: старшие и младшие надзиратели по традиции относились к нам запросто, посылки и передачи продуктов с воли разрешались попрежнему, а прогулка была даже увеличена, с 30 до 40 минут в сутки. Быть-может, впрочем, что нам жилось бы и хуже, яе будь начальник столь много занят сочинением циркуляров и выращиванием тюремных Репных и Левитанов.

Зато нам совсем круто стало, когда осенью 1910 г. Главное Тюремное Управление учредило в Вологде тюремную инспекцию. Не знаю, была ли в этом серьезная и настоятельная надобность, или же оказалось нужным пристроить не в меру расплодившихся дипломированных кандидатов на вкусный казенный хлеб. Губернским тюремным инспектором назначен был А. Ефимов, переведенный из Харькова.

В нашей мирно и безмятежно протекавшей жизни прибытие его явилось целым событием и вызвало множество толков и предположений тем более, что Ефимов был ученым юристом специалистом и даже, — как говорили, — состоял раньше приват-доцентом. Суетливый помощ-

ник Андреев то и дело бегал к арестантам, сидевшим раньше в харьковских тюрьмах, и расспрашивал их про Ефимова. Узнав от кого-то, что новый инспектор «человек либеральный», он прискочил к нам в одиночку и поделился своими сведениями. Однако чрез несколько дней этот же «либеральный человек» уволил его со службы под тем предлогом, что он, Андреев, выдавал арестантам книги «неодобрительного» содержания. Сделал это Ефимов по доносу Меркурьева.

Вскоре пошли строгости. Надзиратели подтянулись, обращение сделалось грубым и вызывающим, на внешний, казарменно-холуйский этикет стали обращать сугубо внимание, прижимая стали распристрастяться и на такие мелочи, как запрещенные выписывать гильзы, или запрещенно держать в камере чай и сахар в кулках, приносимых поставщиком-лавочником, и т. п. В результате — карцера были постоянно переполнены наказанными. Узнав однажды, что начальник наказал политического Лепнина месячным карцером за то, что он толкнул надзирателя, Ефимов произнес, обращаясь к Лепнину:

— Жаль, жаль, что тебя не выпорол... — и в виде компенсации тут же прибавил ему новые 30 суток карцера.

При всем том мне сдается, что при другой политике Главного Тюремного Управления и этот инспектор вел бы себя иначе. Но, верный царю свыше: не распускай, жми, подтягивай, муштруй... — он и муштровал и подтягивал.

Выразилось это, между прочим, и в эпидемии обысков, которые устраивались внезапно в разные сроки и с особыми предосторожностями. Вдруг, днем, а то неожиданно утром или поздно вечером в коридоре раздается чей-то таинственный шопот, слышатся заглушенные шаги, дверь много открывается, и на пороге выписывается фигура дежурного помощника. Моментально в камеру вваливается с полдюжины надзирателей, тебя раздевают чуть ли не до-гола, тщательно обыскивают и выводят в коридор. Дверь снова закрывается, и оставшиеся там начинают рыться в вещах, в книгах, заглядывать в парашку, во все закоулки. Минут через двадцать тебя впускают обратно, а там полнейший хаос и разгром, все разбросано, разворочено. Не было буквально ни одного случая, чтоб начальство нашло что-нибудь серьезно-предосудительное; чаще всего трофеями являлись кусок желтой клеветной бумаги, кулек из-под сахара, обыкновеннейшее перо и прочее в этом роде.

Вскоре инспектор принялся и за библиотеку, точнее — за собственные книги заключенных. Конфискованы были не только книги и брошюры по общественным вопросам, но и сочинения Гёккеля, повести Горького, все до единого сборники «Знания», стихотворения П. Я.,

все, что у нас имелось из Короленко; из журналов он изыскал не только старые МЭ «Современного Мира», «Русского Богатства», но и миролюбивский «Журнал для всех» за девятилетние годы. В крамольные произведения попали даже сочинения Л. Андреева и все альманахи «Шиповника». Во всем этом видна была какая-то озлобленность и мстительность, можно было подумать, что забракованные Ефимовым авторы были его личными врагами.

Тюремная библиотека сама по себе была довольно жалка в количественном и качественном отношении: много лубочных романов в стиле сочинений Ксавье-де-Монтенена и много богословских брошюр и журналов, из которых не один десяток листов пошел на цыгарки для уголовных. Физической работы в то время в нашем центре было мало, занято было в мастерских не больше одной трети всего числа каторжан, спрос на хорошую книгу был огромный, даже со стороны уголовных, — а тут наш ученый юрист запретил еще пользоваться книгами друг друга. В самом деле, какое ему дело до того, что помимо всего прочего, книга в тюрьме сокращает поводы к спорам, ссорам, дракам, игре в карты и т. п.

Любопытно, что этот же Ефимов в это же самое время разрешил бывшему студенту Сигорскому («студенту» — его не плембею, а благородному) получать на свиданиях какие угодно книги из городской библиотеки, а другому студенту Пумианскому, в котором он тоже признал человека не из черной кости, он предложил пользоваться его, инспектора, домашней библиотекой, в которой, действительно, было много ценных сочинений юриспруденции.

Вскорости инспектор перестал являться к нам так часто. Непосредственно пмечь с нами дело он предоставил своему помощнику. Это был человек лет под 50, маленький, полноватый, с толстыми губами, всегда шиткарно одетый и надушенный. До сих пор он к тюремному делу не имел никакого отношения и в помощники инспектора попал совсем из другого ведомства. Несмотря на свои годы, он был юрок и егозлив. Своими частыми и назойливыми посещениями (иногда даже поздно ночью) он возбудил к себе ненависть администрации еще больше, чем арестантов. Вскуду он совался, подолгу останавливался на самых мелочах, поднимал скандал, если оказжется, что кто-нибудь из заключенных израсходовал на выннску продуктов сумму, превышающую 4 р. 20 к. — официальная норма — в месяц. Сделав открытие вроде этого, он начнет громко пробирать и отчитывать помощника начальника, тот вытянется в струнку и заикающимся голосом стирается оправдаться. Потом, как бы равноштом, все эти придирки падают на наши головы.

Когда этот помощник инспектора являлся в тюрьму, то сам делал проварку арестантов; при этом, обходя выстроившуюся шеренгу, он тыкал пальцем в грудь и грозно приговаривал: «раз, два, три»... Входя в камеру, он кричал: «здорово, арестанты!»; беседуя с политическими, демонстративно и с подчеркиванием обращается к ним на «ты», а то вдруг начнет шпынять начальство за то, что пуговицы на арестантских бушлатах пришиты у кого на правой стороне, а у кого — на левой. Любил он во всем порядок.

Напуганное Ефимовым и этим его помощником начальство стало прижимать своих подчиненных, а надзиратели обрушивались на пас: бушлат должен быть всегда застегнут на все пуговицы; лампу ставить на стол нельзя; после вечернего звонка читать книгу не полагается; в перерыв надо молиться, а не перешептываться с соседом; разговаривая с начальством, надо становиться во фронт и при входе его кричать: «здравия желаю»; на прогулке можно ходить только парамп, — и так далее, и тому подобное.

Как это и подобает подобному администратору, помощник инспектора был свирепым юдофобом. Беседуя с каким-нибудь политическим и сердито гримасничая, если тот ответит ему не совсем холуйски и подобострастно, он неожиданно спросит:

— Гм!.. Не из евреев ли ты? — и если окажется, что тот принадлежит к племени, хотя и избранному богом, но не санкционированному черносотенцами, помощник инспектора сразу прерывает разговор, круто поворачивается к нему спиной и с ужимками и вприпрыжку ударает поскорее из камеры. Плетущаяся вслед за ним свита из начальника, его помощников, старших и отделенных в недоумении пожимает плечами и чешет себе затылки.

Впрочем, справедливость требует сказать, что помощник Ефимова не всегда настроен был так серьезно и деловито. Часто он втягивался в шумные и крикливые, совершенно посторонние и едва ли уместные для его престижа разговоры и споры с каторжанами. Зайдет он, например, в певческую камеру и заставит пронести ему церковную каптату. Услышав, что один арестант поет нильтом, он недоуменно спрашивает:

— Взрослый детина, — а ахт?!.. Разве может мужчина превратиться в женщину, а?.. Слыханное ли это дело?..

— В тюрьме может... — отвечает ему кто-то из уголовных, понимая его намек.

— Может, ты говоришь?.. А как, как это?.. Расскажи, голубчик, расскажи! — ввязывается он, к общему конфузу, в непристойную беседу. Глаза его сверкают, нижняя губа дрожит и оттопыривается, весь он трясется...

* * *

Как читатель, быть-может, помнит, еще в июле 1909 г. у нас вспыхнуло волнение, главным образом из-за постной пищи. Дело кончилось призывом солдат, и все осталось по-старому. Во всех последующих постах всегда находились группы каторжан, которые в виде протеста не принимали постного. Однажды, кажется, в Филиппов пост, все до единого арестанты (человек 500) отказались от обеда и ужина. Начальство всполошилось, пскакало с докладом к губернатору и вернулось с приказанием: не обращать внимания на протесты заключенных. Это очень расстраивало и озлобляло каторжан. Заходила даже речь о демонстративном массовом переходе из православия в лютеранство, лишь бы досадить нашему не в меру религиозному начальству.

Теперь предстоял рождественский пост. Как раз в это время работавшие в мастерских были завалены заказами в связи с устраивавшейся в городе выставкой. Человек 70 — 80 заранее решили, что, если и на этот раз обед будет постный, особенно, если он будет очень уж скверный, то всем отказаться от работы.

Так и случилось: как будто нарочно обед вышел отвратительный — просто мутная водичка с разваренными сытками. Даже обратил Иванова, являвшийся с начальством и всячески демонстрировавший свою покорность — даже он выплеснул еду в покойную бочку и громко, на весь коридор, выругался:

— Порядочная свинья, и та не станет есть эту херовину!..

На другой день то же самое. Тогда человек 60 мастеровых отказались идти на работу, требуя, чтоб в течение предстоящих шести недель пища выдавалась не постная, а обыкновенная. 17 и 18 ноября они оставались в камерах. Приходил к ним начальник, уговаривал, но те не сдавались. Преезжал и инспектор, делал то же самое, но с таким же успехом. Тогда он 19 числа послал телеграмму в Главное Тюремное Управление, изложил причину забастовки и просил указания, как быть дальше. Казалось бы, чего проще: уравнивать вологодский центр с другими каторжными тюрьмами, где постная пища выдавалась во время поста с промежутками в одну-две недели. Но помп-хуйте!.. Уступить каторжанам!.. Они, лишенные всех прав, дерзают еще бастовать!!! Потакать крамольникам!!!.. И вот из Петербурга летит ответ от Хрулева: требования арестантов оставить без последствий, а забастовку подавить во что бы то ни стало.

Между тем к отказу от постной пищи присоединилось еще человек 75. Получив ответную телеграмму, Ефимов ходил с нею по всем

замерам, давал ее читать каждому желающему, снова уговаривал принять обед, обещая разрешить скромную выпивку и посылки с мясными продуктами. Вступая с арестантами в беседы и споры, инспектор очень нервничал.

— Знайте, что у меня для вас пули припасены! — грозился он, распалился все больше и больше.

20 ноября на утренней поверке Меркурьев ходил по камерам со списком бастующих и тут же требовал от мастеровых немедленного выхода на работу. Видя, что успех начатой забастовки становится все более сомнительным, многие сдались и отправились в мастерские. Анархист Воротилов из 15-й камеры тоже было собрался идти на работу. Когда он с чайником, хлебом и ложкой в руках вышел в коридор и увидел, что там никого из арестантов нет, он хотел вернуться назад в камеру, но стоявший при этом Меркурьев приказал взять его силой. Надзиратели привязали тащить Воротилова и делали это, должно-быть, не совсем нежно. Воротилов, парень нервный и легко возбуждающийся, поднял крик:

— Товарищи!.. Быть!.. Убивают!.. Товарищи!..

Услышав это, 17-я камера начала стучать в двери. Все были возбуждены и расстроены. Вслед за 17-й подняла стук 13-я камера, а за нею, словно желая как-нибудь разрядить накопившуюся злобу и недовольство, забарабанили в двери еще и 11-я, и 12-я, а потом и 8-я камеры. Надзиратели струхнули и удрали кто куда, а Меркурьев выхватил револьвер и принялся флажировать по пустому коридору. Между тем стук прекратился. Но никто, решительно никто из начальства не поторопился объяснить запертым, измученным, взволнованным и ничего не знающим людям, что Воротилова никто не бил.

Тогда обстрелция снова возобновилась. Стук передался со второго этажа на третий, где к протесту присоединились 1-я, 4-я и 5-я камеры. Стучали кулаками, били скамейками, да так основательно, что оббитые железом двери оказались потом поврежденными, а в 12-й камере дверь отошла даже на несколько вершков и порог отлетел в сторону.

Разумеется, в тюрьму сейчас же приваляли иновектор и вице-губернатор — старик с розовым лицом, бритыми усами, удивительно похожий на гоголевских героев. Зашли они в восьмую камеру, наиболее отличившуюся в этой обстрелции. Поговорив несколько минут, они вышли. На пороге вице-губернатор и говорит инспектору:

— Что же, делайте, как лучше...

Ефимов решил, что самое лучшее, что можно сделать с изголодавшимися и изнервничавшимися каторжанами, ожесточенными всем, что им пришлось пережить, — это выпороть их розгами... Не знаю, вып-

та ли это наш ученый юрист из имевшихся у него сочинений Беккариа, Говарда, Фейербаха и фон-Листа, но факт тот, что в это же утро у нас началась экзекуция. Конечно, если бы элементарные по своей справедливости требования мастеровых были удовлетворены, или — на худой конец — если бы в самом начале обструкции администрации не струсил и растолковала арестантам, что кричал Воротилов больше оттого, что был возбужден и расстроен, — не было бы того, что было потом. Но ведь на то и начальство, чтоб карать, а не предупреждать...

В тюрьму приведены были стражники, надзирателей вооружили винтовками, потом прибыл офицер с полуротой солдат. По приказанию Ефимова раздобыли побольше розог, нагнали в баню целую кучу надзирателей, пригласили туда же доктора и фельдшера, — и пошло...

Заходит старший Глушицкий в одну камеру и, не объясняя, в чем дело, кричит:

— Выходи пять человек...

Стоявшие поближе к дверям выходят в коридор, оттуда их под усиленным конвоем ведут в предбанник, подвергают моментальному осмотру, насильно раздевают, полуголых раскладывают спиной вверх на козлы и начинают сечь. Выпоров эту пятерку, таким же конспиративным манером забирают другую, потом третью и т. д. При экзекуции обязательно присутствует кто-нибудь из помощников начальства. Пороли те же дежурные надзиратели, только меняясь по очереди.

Больше всех усердствовали двое дядек. Из них Лопатин, невысокий, рябчатый мужик с серыми колючими глазами, хровический алкоголик, постоянно находившийся при конторе, состоял членом «союза русского народа» и арестантов, особенно политических, ненавидел вполне искренно и глубоко. И раньше еще, когда надо было кого-нибудь пороть, функцию эту исполнял именно этот молчаливый и злобно настроенный Лопатин. На этот раз главным его помощником был Синюшин, молодой детина с толстыми румяными щеками, искривленным ртом и тупыми, ровно ничего не говорящими водянисто-голубыми глазами. На все и на всех он смотрел, глуповато улыбаясь. К каторжанам он относился совершенно безразлично и даже позволял им маленькие вольности. Синюшин мог бы перевешать сотню людей, все отдавая себе в этом никакого отчета, — стояло бы только начальству распорядиться об этом.

Приговоренных к наказанию было человек 130 — 150. К чести доктора Баженова нужно сказать, что он хотя и присутствовал при экзекуции, но пользовался малейшим поводом, чтоб избавить арестантов от этого мучительного позора. В первый день выпорото было человек 60.

а потом еще 20 — 30. Всех, признанных доктором больными, Ефимов велел посадить на месяц карцерного положения. В настоящих темных карцерах для всех их не хватило места, и часть наказанных разместили в особой камере и в одиночках, напихав по 5 — 6 человек в каждую одиночку...

На порку арестанты шли без всякого сопротивления. Сначала они вовсе не знали, куда и зачем их ведут, но даже потом, когда все выяснилось, они ложились под розги безропотно и вкорюно. И только один Виктор Ковалев, молодой гвардейский казак, осужденный вместе со студентом Салотинским по делу с.-д. фракции второй думы, не пожелал дать себя сечь. Как только сидевших в околотке стали выводить в баню, Ковалев немедленно принял припасенный им яд — опиум, который имелся у некоторых каторжан. К доктору его привели в таком ужасном состоянии, что тот распорядился сейчас же отнести его в больницу.

Однако самое возмутительное, самое вопиющее, даже самое гнусное во всей этой истории было то, что *пороли всех без разбору, и правых и виноватых*. Дело в том, что в каждой камере в обструкции участвовало лишь ничтожное меньшинство заключенных, между тем как наказаны были все находившиеся там. Так, например, в одиннадцатой камере в дверь стучало всего два арестанта, а к розгам приговорили всех *восемнадцать*... То же приблизительно происходило и в других камерах. Пороли и молодых и старых, и уголовных и политических, и рабочих и интеллигентов. Всего наказано было розгами около 100 чел. Из числа невинно выпоротых припоминаю старика Феркеля, сосланного в каторгу за то, что в Екатеринославе у его квартиранта нашли тайную типографию, — поляка Вербу, человека лет за 45, осужденного по политическому делу, и несколько старых хохлов — аграрников со смешными фамилиями, вроде «Иван Мойкорыто», «Кузьма, мальчик» и т. п.

Среди невинно наказанных (а их было гораздо больше половины) был также и один дегенерат. Ростом с карлика, с огромной головой и миниатюрными детскими ножками, то тихий и молчаливый, как рыба, то свирепый и разъяренный, как зверь, с некой у рта отчаянными гримасами выражающей малейшее свое внутреннее чувство, он Бог бесть какими судьбами угодил в каторгу за убийство. Уже одним своим внешним явно-патологическим видом он не мог не обратить на себя внимание. Но, должно-быть, вид врови и стоны истязаемых оглушили не только тюремную администрацию, но и тюремного доктора...

Впрочем, не менее оглушены были и сами арестанты, иначе не ложились бы под розги без объяснений и протестов те, которые не

только сами не участвовали в обструкции, но мешали в этом другим... А молоденький анархист Крамарж, узнав, что выпороты его сопросессник Вайтман и некоторые приятели, сам стал рваться под розги, хотя не был даже приговорен к ним. Доктор насилу удержал его от этого. Упомянутый выше старик Верба, должно-быть, совсем рехнулся: вернувшись после порки назад в камеру, он вдруг пустился в пляс, приплясывая в такт своим ножными кандалами...

Жутко!..

Из тех больных, которым розги заменены были месячным карцером, несколько человек в виде протеста не встало на утренней поверке. Мерзурьев тотчас же распорядился выпороть их. Один из них, учитель Андрулайтис, ни за что не хотел ложиться добровольно, сопротивлялся, метался во все стороны, вступал в схватки с надзирателями, кусал им руки, несколько раз со стонами и криками вырывался, но в конце концов был укрощен. На него навалилась целая ватага остереженных и распавшихся его сопротивлением надзирателей, и если остальным давали по 30—50 розог, то Андрулайтиса пороли без счета. На 75-м ударе он потерял сознание, но его еще долго истязали. Со скамейки его сняли совершенно истерзанного.

Камера, в которой находились певчие, весьма деятельно участвовала в обструкции. Регентом церковного хора был один с.-р. из народных учителей, там же сидели и максималист Кишкель, здоровенный ткач, человек смелый и отзывчивый, с.-д. Бороваков, инженер, осужденный по делу петербургской военной организации, и другие. Все они тоже ожидали порки, но начальник Воронец, записывая с Ефимовым обструкционистов, сознательно миновал певческую камеру: может-быть, оттого, что сочувствовал им, а может, оттого, что опасался каких-нибудь неприятных осложнений. Зато была целком выпороты камера, которую посетил вице-губернатор. Анархист Шмидт, который так уже устроен, что не может не будировать и не протестовать, начал с ним объясняться, указывая, что начальство само виновато во всем происшедшем.

— Все равно... нечего рассуждать... — прервала его вице-губернатор. — Во время поста будет только постная пища... не заводить же отдельную кухню... Вы живете в православном государстве...

— Ну, тогда мы работать не будем!.. — отвечали ему хором православные обитатели этой камеры.

— Ах, так! Ну, тогда мы пороть будем!.. Порогы!.. Порогы!..

Неизвестно, относились ли слова вице-губернатора к будущему, говорил ли он вообще, так сказать «принципиально», или же имел в виду «текущий момент». Но в таких делах местное начальство

всегда предпочитает переусердствовать, чем недоусердствовать: воспользовавшись создавшейся «ситуацией», оно и приказало выпороть всех 18 человек, живших в этой камере....

Подобный же инцидент разыгрался в 20-й камере. В обструкцию она тоже не участвовала, только потребовала для объяснений губернатора. Вместо губернатора явился инспектор.

— Для чего вам губернатор?—спрашивает он.

— Жаловаться!...—отвечает ему анархист из социал-демократов, талантливый юноша Пославский.

— Жаловаться?? На кого же?—удивляется Ефимов.

— На вас! На вас!—крикнул ему Пославский, все более возбуждаясь и волнуясь.—Подождите, отольются волку овечьи слезки...

Инспектор задрожал от негодования и закричал, обращаясь к начальнику:

— Выпороть... Выпороть их!.. Всех их выпороть!..

Евгений Пославский, когда его отвели для экзекуции, не давал себя освидетельствовать; когда доктор спросил его, не болен ли он чем-нибудь, он ответил:

— С интеллигентом, помогающим палачам, и разговаривать не желаю...

Все-таки странно, как это Баженов не освободил от наказания этого молодого студента, даже на вид такого больного и истощенного.

От экзекуции уделен одиночный корпус, совершенно изолированный от общего и находившийся в другом дворе. Тем не менее *вся тюрьма*, даже мужички ротские, работавшие на кухне и ни к каким протестам никогда не имевшие ни малейшего касательства,—вся тюрьма лишена была на месяц переписки и свиданий. Те же мастеровые, что участвовали в забастовке, если только они уже кончали свой кандалный срок, были закованы запово.

Отношение к вам вачальства тоже изменилось после этого, сделалось еще более грубым и предирчивым. Многим надзирателям, которые участвовали в порке, было неловко и стыдно смотреть нам в глаза, но, по странному капризу, они все свое недовольство вымещали на нас, как будто мы виноваты в том, что нужда горькая да совесть гиблая заставили их делать глупость.

* * *

Приблизительно в это же время—в ноябре 1910 г.—в далекой и заброшенной Зерентуйской тюрьме произошло нечто подобное же: выпороты были политические Сломанский и Петров; в виде протеста Маслов, Одинцов и Пухальский порезали себе вены, а Михайлов,

Кунай и известный террорист, убивший министра фон-Плене, Егор Сазонов отразились морфием. Это массовое покушение на самоубийство, совпавшее с Вологодской «историей», не могло не обратить на себя внимания общества и печати. В газеты полетели корреспонденции, возобновилась учащаяся молодежь (в столице устроена была даже форменная демонстрация), в Государственную Думу внесен был запрос.

Высшие тюремные власти не могли не вмешаться. К нам в централ приехал помощник начальника Главного Тюремного Управления М. Боровитинов, — красивый, статный мужчина лет под 40. Во время вечерней проверки он обходил камеры и подробно расспрашивал всех, пожелавших сделать ему заявления и указания. Учиненную Ефимовым порку он признал вполне законной и уместной, по поводу же невинно наказанных он не сказал ни слова, только вежливо пожал плечами и перевел разговор на другую тему. Правда, он велел сейчас же освободить из карпера всех, кого доктор освободил от порки.

Следствием приезда к нам Боровитинова было назначение ревизии под руководством прокурора московской судебной палаты. По указанию нашего же начальства были вызваны в контору и допрошены некоторые из наказанных. Допрашивавший их товарищ прокурора ничуть не скрывал своего к ним враждебного отношения, был груб и заносчив, тыкал, — до тех пор, по крайней мере, пока социал-революционер Русаков резко не оборвал его, отказавшись дать показания, если он не будет вежлив. Должно-быть, высшее начальство имело в виду создать какое-нибудь дело и посадить на скамью подсудимых именно тех, кто пострадал от Ефимова. Однако не трудно было сообразить, что судебное разбирательство такого дела, хотя бы и при закрытых дверях, не могло быть в интересах самого же начальства.

Вся эта «ревизия» кончилась ничем. Положение каторжан еще более ухудшилось, инспектор и его помощник остались на месте, упрочив только свою репутацию энергичных администраторов. Для того же, чтоб успокоить так-пазываемое «общественное мнение», был уволен с должности начальник тюрьмы Воронеж, все время бывший против экзекуции и игравший только роль исполнителя приказаний Ефимова. Вслед за ним удален был и доктор Баженов, который, хотя и присутствовал при порке, но определенно выразил свое к ней отвращение. Заменивший его доктор Шнейдер оказался человеком более «подходящим».

Вместо Воронца временным начальником назначен был Меркурьев, которого потом сменили другие администраторы. Большинство политических разослано было в другие централы, главным образом в Ярославский. В числе шести человек, высланных в первую голову, был

и я. В Вологде пошли новые порядки, но личным свидетелем происшедших перемен мне быть уже не пришлось.

Месяца через четыре после этого, когда я находился уже в Псковском центре, по всей тюрьме с молниеносной быстротой распространилось известие: на Ефимова произведено покушение. В театре, во время представления, в него стреляла какая-то молодая девушка. Инспектор был тяжело ранен, таинственная же мстительница удачно скрылась...

II.

По этапу.

... Было это в январе 1911 г. Не успел я еще отдохнуть от десятидневного карцера, как меня неожиданно вызвали в контору и объявили, что сегодня же я пойду на этап. Стоявший при этом старший Глушицкий тут же заковал меня в кожаные кандалы и велел приготовиться в путь-дорогу.

Я недоумевал, что бы все это значило. Но, вспомнив тактику Главного Тюремного Управления, я сообразил, что это меня высылают в связи с бывшей у нас недавно «историей». И действительно, чтоб устранить дальнейшие трения между арестантами и начальством, Главное Тюремное Управление расформировало почти всех политических из нашего Вологодского централа. При этом шесть человек, по мнению администрации, наиболее опасных, разослано было в первую голову по шести каторжным тюрьмам.

Вместе со мною шли: В. Шмидт, Хрулев, Паслов, Русаков и Ворстников.

Первый из них, смелый и неутомимый протестант, анархист, никогда ни с чем не мирившийся, часто выступал у нас в Вологде с заявлениями и жалобами, раза два сидел в темном карцере (после этого он сидел в карцере еще раз 20, в общем более 200 суток...), но время массовой экзекуции тоже был наказан, — все это и создало ему репутацию неисправимого смутьяна и крамольника.

Хрулев, кронштадтский артиллерист, осужденный на 20 лет каторги за участие в восстании 1906 г., был высокий, худощавый блондин, выходец из богатой семьи мещан-землеладельцев, человек малоразвитой и скромный. Характер у него покладистый и уступчивый, вел он себя тихо и незаметно. С родными он порвал всякие сношения, сидел без всякой материальной поддержки и теперь кротко и бесшумно, ни на кого не сердясь и никого не проклиная, медленно угасал от схваченной им за каторге чахотки.

Когда в день экзекуции начальство для чего-то нагрянуло с обыском в певческую камеру, в которой находился Хрулев, с ним сделался припадок: он набросился на помощника Меркурьева, затопал ногами и стал кричать на надзирателей, называя их палачами и злодеями. После этого он упал в глубокий обморок. Как ни строг и неадекватно был наш старший помощник, он все же распорядился отправить его не в карцер, а в больницу. После этого Хрулев попал в список агитаторов и теперь переводился в каторжное отделение при московских Бутырках.

Не больше вник лежало и на Иване Паслове, старом воре-рецидивисте, обрызгом детине с большим оспенным лицом, толстыми отвислыми губами и маленькими, серыми, смотрящими угрюмо и неприветливо глазами. Осужден он был на бессрочную каторгу за участие в убийстве и ограблении священника в Костроме. С нашим начальством он жил в ладу, и начальник Татаров разрешил ему, бессрочному, работать вместе с другими в сапожной мастерской. Занимаясь он шитьем суконных туфель, и на этой почве у него часто происходили недоразумения со старшим надзирателем Волковым, угодливым, лживым и взорванным индианцуком питедантского типа. Паслов часто надоедал конторщикам и помощникам своими выкладками и требованиями квитанций.

Когда же заведывание тюрьмой перешло на время к Меркурьеву, человеку глуповатому и сразу растерявшемуся от сознания своей власти, Паслову пришлось пострадать за эти свои надоедания. Вызвав его как-то в контору и поругавшись с ним, Меркурьев приказал Глушицкому выпороть его розгами, а чтобы избавить себя от возможных жалоб, он включил и Паслова в число «зачинщиков»; Главное же Тюремное Управление, для которого донесения местных начальств — святая истина, распорядилось теперь перенести его в Орловский централ. С нами Паслов шел в ножных и ручных кандалах.

Зато вполне «заслужил» свою высылку Кузьма Русаков, высокий, с аристократической выправкой и важными манерами писарь генерального штаба. Вместе с Гуменским, Карташевой и другими социал-революционерами-террористами из «Северного Летучего отряда боевой организации» он был выдан немцам Римшей и посажен в Петропавловскую крепость. Судился он по процессу Фельдмана и др. и был приговорен к 15 годам каторги: группа эта, между прочим, готовила покушение на военного министра Редигера.

Русаков недурно рисует красками, великолепен рассказчик и декламатор, и, как человек, хотя отчасти и страдающий манией величия, но в общем веселый и превосходный товарищ, пользовался большой популярностью среди арестантов всех категорий. Этому способствовало еще и то, что с начальством он всегда был в контрах и

часто с ним перебранивался. Однажды, летом 1910 года, приехавшие из города жандармы сделали у него в камере обыск: его подозревали (вполне основательно) в намерении бежать из одиночного корпуса. Затем, зимою, во время обструкции, которая и вызвала массовую порку, Русаков был одним из энергичнейших протестантов, за что и поплатился... Теперь он шел на исправление в Ярославскую каторжную тюрьму.

Вместе с нами был и главный герой всей этой «истории» — Воротилов, высокий и плечистый хохол из Киева, конторщик по профессии, анархист-коммунист по убеждениям, осужденный в каторгу за ограбление. Когда, по приказанию инспектора Ефимова, надзиратели стали силой таскать каторжан, которые, впредь до замены постной пищи на скоромную, не желали идти на работу, кто-то из стражи схватил и Воротилова. Нервный и возбужденный Воротилов закричал: «Товарищи, бьют», — что и послужило поводом к обструкции. Сам он, как больной, был освобожден доктором Важенковым от наказания розгами. Но потом Меркурьев *без всякого ближайшего повода* велел все-таки выпороть его. Послав про него соответствующий отзыв, Меркурьев добился перевода его из Вологодского центра в Смоленский.

Что касается меня, то, как находившийся в одиночке, я к обструкции не мог иметь отношения. Но за мной числились другие прегрешения: во-первых, в Вологду я пришел с плохими отзывами из Смоленского и Шлиссельбургского централов; во-вторых, у меня частенько бывали пререкания с Меркурьевым, который всегда уходил посрамленный; в-третьих, в руки начальства попали писанные моей рукой анкетный листок и корреспонденция на волю — бу, а корреспондентов наших тюремные администраторы любят не больше и не меньше, чем любили их гоголевские городничие. Попав в категорию опасных агитаторов, я получил перевод в Исковский централ, где владычествовал печальной памяти «Петрушка». Дурные аттестации, имевшиеся в наших статейных списках, не могли не отразиться на нашем положении в новых тюрьмах каждый раз, когда поднимался вопрос о снятии вандалов, о переезде в разряд исправляющихся и т. д.

Кроме нашей шестерки, в один с нами этап попало также несколько человек, которых заменили каторгу обычной сидкой. Всех нас отвезли под конвоем в губернскую тюрьму.

* * *

Шмидта, Русакова и меня посадили в одну одиночку. Много тюрем я прошел и до и после этого, приходилось побывать и в разного типа одиночках, но такой отвратительной ямы я еще ни разу не встречал.

Находится эта камера в левом углу верхнего коридора. Двери в ней двойные, на расстоянии полутора аршин одна от другой. Пол цементный, весь пзрытый и пзбитый. Стены грязные и потемневшие. Как раз против дверей прибита к стене толстая железная доска, а немного пониже с обеих сторон — две другие железные доски, поменьше и поуже, — это и есть стол с двумя скамейками. Возле дверей направо — маленькое и высокое от пола оконце с подслеповатыми и синевато-мутными стеклами. Все время — даже днем — в камере царит бледный сумрак. Дело было зимой, стояли большие морозы, но миниатюрная форточка никак не прикрывалась. Свозь разбитые и неуклюже заплатаанные стекла дул ветер. Под окном в камере висели длинные ледяные сосульки — когда топтали, все это таяло, и тогда по стене змеились зеленоватые струйки воды, а на полу образовывались грязные лужицы.

Когда окопательно стемнело, к нам в камеру внесли малюсенькую лампочку с узеньким стеклом. Вставили ее в запирающийся на влюч и прибитый высоко к стене фонарь из густой проволочной сетки. Через эту плетеную сетку падал какой-то расплывчатый, серо-матовый и мертвенный свет, отражавшийся на полу и на стенах странно-причудливыми тенями и фигурами. Разобрать что-нибудь печатное трудно было даже стоя вблизи фонаря, железный же столик и скамейки находились в противоположном углу камеры.

Но что больше всего оскверняло вид нашего помещения, делало воздух нестерпимым и возмущало примитивнейшее чувство эстетики, — это парашка. Везде и всюду ода бывает переносная, глиняная или железная. Здесь же она была устроена на особом вызвишении, к которому вьдут две ступеньки; прямо под парашкой — выгребная яма... Этот ничем не огороженный и ничем не прикрытый, первобытно устроенный клозет, вместе со ступеньками, занимающий значительную часть свободного пространства камеры, делал ее похожей скорее на дрянное отхожее место, чем на жилое помещение. Правда, предназначалось оно не для настоящих людей, а всего лишь для арестантов, но, ей-Богу, если строивший тюрьму архитектор не жарится теперь в аду на горячих углях, если черти не кормят его расклеванными булыжниками и не поят кипящей смолой, то — нет на свете справедливости, нет возмездия за грехи против ближнего своего...

В камере нас было трое, но коек для спанья всего две, и притом без каких бы то ни было постельных принадлежностей: ни мешка с соломой, ни подушки, ни одеяла. На наши просьбы об этом никто не обратил ни малейшего внимания. Пришлось устраиваться по-иному. Рукавов, как самый длинный из нас, занял одну целую койку, а я и

Шмидт расположились на другой, свернувшись в клубок и держа головы врозь, а ноги к ногам. В камере стоял настоящий мороз, и нам пришлось напялить на себя этапные полушубки и халаты, а под голову подложить сумки с книгами и шапки с наушниками.

К нашему величайшему удовольствию, нас меньше чем через неделю перевели в пересыльную тюрьму, откуда уже мы пошли прямо на вокзал. В просторной, почти до всю ширину занятой деревянными нарами комнате, чистой и опрятной, нас распределили по маршрутам и стали по очереди вызывать идущих в Москву, Смоленск, Ярославль и Орел. Группа чахоточных и больных, затем Шмидт и я шли на Петербург, откуда уже каждый из нас должны были уйти на место назначения.

Обыск прошел хорошо. Коввойный офицер, пожилой человек с интеллигентным лицом, как-то грустно на нас поглядывал. Вместо того, чтобы швырять вещам, выбрасывать всякую мелочь, придираться к пустякам и грубить, — словом, вместо того, чтобы вести себя так, как вообще ведут себя козвойные, — последние говорили нам «вы», обращались вежливо, а пересматривая вещи и книги и осматривая кандалы, делали это как-то демонстративно-небрежно: дескать, мы с офицером не такие, чтобы придираться к политическим и относиться к вам по-собачьи...

Все это нас тем более удивило, что обыкновенно даже хорошие козвойные в присутствии начальства грубят, орут и изощряются в усердии.



Из ехавших с нами каторжан латыш Балтия был интересен во многих отношениях. Выделялся он уже одной своей фигурой: высокий, крепкий, как дуб, с густыми, седыми волосами. Когда-то в молодости он был народным учителем, но потом занялся земледелием и мало-помалу пошел в гору. Мельница и пашня приносят ему до 2 тысяч рублей чистого дохода; оба сына его учатся в гимназии.

Во время аграрной революции 1905 года Балтия, хотя и участвовал в тогдашних событиях, но, как человек солидный и уравновешенный, уговаривал повстанцев держаться мирного пути, не раздражать правительство чрезмерными требованиями, — вообще, он старался удержать своих земляков от того, что он называет экспессами. Тем не менее, когда русское правительство, столь чувствительное к интересам немецких помещиков, наслало на латышских крестьян своих казаков и драгун, когда карательные экспедиции принялись за разрушение крестьянских усадеб и за массовые расстрелы, — в число опальных попал и Балтия. Его чуть-было не расстреляли на месте, и спасли

его не столько показания крестьян, сколько предстательство кой-кого из честных баронов.

Впоследствии, когда власти передали суду уцелевших повстанцев, Балтин был приговорен к повешению, замененному бессрочной каторгой. Подсудимых было более 80 человек, следствие отличалось тенденциозной поспешностью, необходимость устрашить крамольников ни на минуту не упускалась из виду победителями, а входить в тонкости у военного суда не было возможности, — вот лояльный Балтин и попал в бессрочные каторжники.

Если я не ошибаюсь, Балтин очень типичен для целой категории латышей, встречавшихся мне на каторге на-ряду с представителями другой категории, — людей отчаянных и смелых, забитых головушек по темпераменту и коммунистов по житейским склонностям.

Балтин — человек умеренный, трезвенный и инстинктивно неавидит все, что напоминает широкие горизонты и перспективы. Людям ему подобные всегда предпочитают держаться задач и возможностей лишь сегодняшнего дня и часа. Балтин культурен и развит и блюдет свою честь и достоинство. Однако это не мешает ему быть покладистым и гнуться перед тем, кого он должен бояться или кого он может использовать. Зато по отношению к тому, кто для него безразличен в смысле утилитарном, или кого он считает ниже себя стоящим по имущественному положению или по умственному уровню, Балтин сух и черств, и в лучшем случае пренебрежительно вежлив.

Находясь у нас в Вологде в общей камере, он добился перевода в одиночку, не желая, чтобы начальство смешивало его с беспокойной молодежью, с разными там социалистами и анархистами. И хотя начальство тогда именно этого еще не требовало, он, человек интеллигентный и уже в летах, по собственному почину становился перед ним по-солдатски, кричал: «здравия желаю, ваше высокоблагородие», и вообще проявлял сугубую почтительность. На моем статистическом листке Балтин отметил себя «трудовиком», но навряд ли он левее октябрьста...

Удивительная энергия и прагматизм этого человека: имея перед собою каторгу без срока, он все-таки надеялся, что когда-нибудь, со временем, сплыву ли, сверху ли, но он авось получит амнистию и очутится в Сибири на поселении. Тогда, между прочим, ему, пожалуй, пригодится знание французского языка, как источник заработка. Вот он и принимается за этот язык и аккуратно и педантично, точно школьник, громко на весь коридор разучивает произношение, зубрит слова, достает книжки и берется за переводы, — и все это в надежде и с расчетом на материальную выгоду в отдаленном будущем. Если

бы Балтин убедился, что лет через десять ему выгоднее будет заняться в Сибири изготовлением французской помады, то он и думать не стал бы об изучении французского языка. Да и вообще, оталеченный, теоретический интерес к чему и к кому бы то ни было — понятие для него совершенно чуждое. Указания и советы в своих занятиях он получал от хоего сокамерника, превосходно знавшего французский язык. Обратившись к нему за помощью, Балтин, очевидно, и не представлявший себе безвозмездных услуг даже от товарища, пресерьезно осведомился: какую плату деньгами или натурой тот хочет за свои советы и наставления...

По ходатайству начальника и доктора, Балтину и еще двум старикам-латышам заменили бессрочную каторгу 25-ю годами обычной тюрьмы. Они намеревались, по прибытии в Ригу, подать царю прошение о помиловании, для чего их родные уже заручились обещанием содействия со стороны некоторых влиятельных при дворе остзейских баронов.

Из сопроцессников Балтина любопытен еще был мелкий купец Озолин, говорливый человек с большой лысной и водянисто-голубыми глазами. Охотник до умных разговоров, он, бывало, едва мы с ним выйдем на прогулку, сейчас же начнет бомбардировать меня своими рассуждениями о политике, о финансах, о партиях, о Государственной Думе, о различных случаях в своей жизни и т. п. На статистическом листе он записался социал-демократом. Только социал-демократ он особенный: при более подробном расспросе оказалось, что в осуществление социализма он не верит и видит в нем мало толку: расплодится много лентяев, никто не захочет исполнять тяжелые работы, все набросится на места чиновников и на ученые профессии... Да и вообще, мыслимы ли такие перевороты, которых еще свет не видал!.. К тому же мир уж так устроен, что... ну, и так далее. Что страшного мог совершить этот безобидный старик, чем именно этот «повстанец» заслужил свою бессрочную каторгу — никак не пойму...

Озолин был прост, непритязателен и как бы весь на ладоши, зато не так легко было раскусить другого бессрочника Фридебурга, немца по отцу и латыша по матери. Человек мажоразвитый, он тем не менее обладал удивительным нюхом и даром приспособления. Ему ничего не стоило унижаться, вилить, льстить, пускать пыль в глаза, лгать и хитрить, — если только в перспективе у него материальная выгода.

Работал он в столярной мастерской. И вот он одному из влиятельных политиков изготовит лопаточку для мусора, другому — ножик для хлеба, тому полку для книг, этому — линейку, и все преподнесет сам. Или же поймает голубя, зарежет его, достанет морковки и лука, сварит у себя в мастерской суп и вдруг, веждадаясь вашей просьбы,

а то и вопреки вашему желанию, возьмет и угостит вас, да не просто угостит, а непременно с пожеланием хорошего аппетита. Вы недоумеваете и не знаете, чем заслужили его любезность, но вот он как будто невзначай, так, между прочим, попросит вас выписать ему эмалированный чайник или подарить вот эту немецкую библию, которую он, раздавая бшпатов, как-то заметил у вас на железном столике... На устах у него всегда угодливая улыбочка, здороваются он шумно и торжественно, беспрерывно ухаживает за вами, и только холодный блеск его глаз говорит вам, что при случае он готов обернуть и погубить вас.

Когда надо было, он фрондировал, ругал начальство, кричал и поддакивал, но в то же самое время зорко-зорко следил за тем, чтобы само начальство было с ним отличного мнения, а с глазу на глаз с ним он даже поддерживал свою готовность к «услугам»... Помню, какой скандал поднял Фридеберг, когда, собирая статистику, я отказался записать его большевиком.

Между прочим, работая в тюремной мастерской, он крад казенный лак и продавал его уголовному Паслову, большому алкоголику. Назначенный старшим инструктором, он не только торопил и покрикивал на арестантов, шпионы и доносил обо всем начальству, но и эксплуатировал их к свою личную пользу. Каторжане платили ему крайней ненавистью, и только строгий режим современной каторги, да преобладающее влияние политических, противников физической расправы, сделали то, что уголовные «Иваны» не «прищипли», т.-е. не придушили этого субъекта.

Участие Фридеберга в Туккумском восстании 1905 г. сводилось больше к тому, что он грабил баронские замки и опустошал винные погреба. В обыкновенное время такой человек премпрно и преспокойно тянет свою житейскую канитель, трудится и кое-как наживает, является даже опорой всякого рода «устоев». Но когда забурлит народное движение, когда дело доходит до непосредственных схваток пизов с верхами и людьми вроде Фридеберга улыбается личная выгода, такие шагалы тут как тут и выходят на добычу. Симулируя благородство мыслей и чувства, они примазываются к движению чистому и идейному, грязня и компрометируя его. И лишь когда промесется поток народного волнения, все низкое оседает на дно, становится заметным и поддается анализу. К счастью, типы вроде Фридеберга находятся в меньшинстве, и не они задают тон стихийно-массовым выступлениям.

Военный суд приговорил Фридеберга к бессрочной каторге. Сам же он считал себя осужденным без достаточных оснований, послал множество прошений во множество инстанций и учреждений, выста-

влия свидетелей и лжесвидетелей, несколько раз писал прошения на высочайшее имя о помиловании. В конце-концов, благодаря содействию начальства и, как говорили, госпожи Вороновой, богомольной и влиятельной старухи, посещавшей тюрьмы,—он добился того, что бессрочную каторгу ему заменили простой высылкой на поселение в Сибирь.

Чтоб покончить с ехавшими с нами хатышами, упомяну еще про Живно Фишера, молодого, лет 26-ти человека, тихого и вдумчивого. Активным революционером он никогда не был, но когда узнал, что некто выдал полиции многих социал-демократов и «лесных братьев», повешенных и сосланных в каторгу, он указал на него своим знакомым революционерам. Те проследили предателя и убили его. Одни из истителей были арестованы, отвезенный в Ригу и подвергнутый пытке, он выдал Фишера, что, однако, не спасло его самого от виселицы. Фишер же, в самом убийстве несколько непосредственно не участвовавший, был приговорен к бессрочной каторге. У нас в Вологде он заболел туберкулезом, и теперь без жалости и боли нельзя смотреть на этого живого, еле-еле движущегося, с блуждающим и тоскливым взглядом скелета.

Совсем в другом роде был цыганенок Фриц, молоденький, высокий и стройный парнишка из Прибалтийского края, обладающий феноменальными музыкальными способностями, на-редкость блестящий шахматист, и, вообще, человек очень способный. Фриц, тем не менее, никак не мог научиться читать и писать. Своей непосредственностью, бурной стремительностью и какой-то чисто детской прямолинейностью Фриц был настоящий дикаренок. Когда он затянет какую-нибудь цыганскую песенку или же о чем-нибудь заспорит и рассердится, сверкая своими чудесными темно-карими глазами, а в особенности, когда он, бывало, улыбнется, раскрывая свой маленький рот и обнажая мелкие ровные и белые зубы, то прямо залюбуешься им. Я часто нарочно высказывал пошлости, чтоб заставить его улыбнуться. Так, когда надо было тушить лампу, я предварительно узнавал втихомолку, как это говорится по-латышски, и затем с серьезным лицом кричу ему через всю камеру:

— Фриц, абзеш лампа!..

Он сначала удивится тому, что я вдруг заговорил на чужом для меня языке, всеннет на меня глазами, но потом, поняв, что это я шучу, начинает тихонько посмеиваться, повторяя в кавычках сказанную мною фразу, и со своей прадетской детской улыбкой идет тушить лампу.

Осужден Фриц на 10 лет за участие в каком-то разбойном нападении. Находясь в тюрьме, он заболел чахоткой. Теперь, после замены 10 лет каторги 15-ю годами обыкновенной тюрьмы, он выслан на родину, т.е. переведен в тюрьму того города, к которому он приписан.



Профессиональному вору и рецидивисту Богдановичу, с которым я ехал почти до самого Пскова, придется посвятить отдельную главу.

Выше среднего роста, от природы, должно быть, стройный и гибкий, с густыми и вьющимися волосами, он был бы совсем красавцем, если бы не отсутствие нескольких передних зубов, болезненный цвет лица и какая-то старческая дряхлость, не идущая к этому 25-летнему человеку. Неприятны еще и сразу обращают на себя внимание его беспрестанно бегающие во все стороны и как бы шушающие, блестящие черные глаза.

В тюрьме он сидит уже шестой раз, а воровать начал еще мальчиком. По выходе из тюрьмы, куда он попал впервые за пустячное дело, Богданович специализировался на домашних кражах и на разгроме ювелирных магазинов, — двух отраслях воровского искусства, где больше всего требуется ловкости, смекалки и выдержки. С самого детства у него было непреодолимое отвращение к школе. Сколько его ни били и ни порозни родители и старшие сестры, как его ни сражали, но он все убегал из училища, лезался с уличными мальчишками, участвуя в самых дерзких проказах. Родители Богдановича — зажиточные заводчики, дома у них никогда не было нужды и лишения, остальные дети все «вышли в люди», живут хорошо и спокойно, и только он один кочует по тюрьмам.

И до суда и после него — на каторге я нередко встречал таких вот арестантов, и побужденных к преступности у которых нет как будто ни бедности, ни сиротства, ни беспризорности. Должно быть, причина их уклонения от так-называемого «честного пути» лежит даже не в их природных задатках, которые в данном случае сами по себе нейтральны и при разных обстоятельствах могут вылиться в самые противоположные формы. Скорее всего, дело тут в тех иррациональных и антипедагогических приемах воспитания, в которых проходит жизнь ребенка и подростка.

Это элементарная, но чрезвычайно последствиями первостепенной важности истина, что атмосфера неправды и лицемерия, отсутствие этичности и гармонии во всем, что окружает ребенка дома в семье и на улице, глубочайшим образом отражаются на всем его существо. Если еще прибавить свойственную всякому бойкому и жизнерадостному мальчику потребность в молодечестве, да *те незаметные воздействия, которые оказывают на ум и на воображение подростка уже испорченные сверстники*, то мы, быть может, и найдем причину — точнее: причины тому, что способный и даровитый Богданович сделался

вором. А о том, какую роковую роль в размножении подобного рода преступников играют современные тюрьмы — и говорить не приходится. Крещение в тюремной купели — это для Богдановичей самое роковое событие в их жизни.

Впоследствии Богданович жил беспашанно-весело, но все же путь его карьеры был усыпан далеко не одними розами. Правда, враги у него бывали большею частью удачные, похищаемые вещи он обменивал у блатер-капнов на деньги, покупал себе дорогие костюмы, менял их по нескольку в один сезон, кутил и играл в карты, катался с дорогими проститутками на автомобилях, бросал золотые на чай кельнершам в богатых ресторанах... Не зато сколько раз его в полицию забирали! Сколько раз ему в сыском ребра ломали и зубы выбивали! Он сам приходит в ужас, когда начнет вспоминать свое прошлое.

Родители его, у которых были взрослые дочери-невесты, совершенно от него отказались, чтоб не компрометировать честь семьи, и только одна мать Богдановича тайком приходила к нему в тюрьму и кое-чем помогала. Пробовали было женить его на одной честной девушке, которая ему самому тоже нравилась и за которой давали в приданое хорошо обставленную пивную, но он не мог уже отстать от воровской профессии и воровской компании.

В последний раз Богданович попал в каторгу вместе с двумя другими ворами, — одного из них, искусного механика, я часто встречал возле тюремной кузницы, где он устраивал самодельный граммофон. Забрали их как раз во время разгрома магазина драгоценных вещей. Как рецидивистам, им дали по шести лет арестантских работ. Раздраженные и невдачей своего предприятия и суровостью приговора, они тут же сгоряча разразились целым потоком самой отборной ругани по адресу судей, их матерей, закона, царя, Бога, неры и т. д. За это их судили добавочно и по совокупности приговорили к шести годам каторги.

Попав к нам в Вологду, Богданович стал искать случая вырваться из центра на волю. Однако теперешние тюрьмы, особенно каторжные, так основательно охраняются, что рассчитывать на удачный побег почти не приходится. Но тут ему помогло другое. Наш доктор Шнейдер старался сплавлять из больницы как можно побольше туберкулезных, и Богданович, у которого действительно началась чахотка, немного досимулировал болезнь и добился того, что осматривавшая его комиссия признала необходимым заменить ему шесть лет каторги девятью годами обыкновенного тюремного сидения. Теперь он шел в одну уездную тюрьму, откуда и надеялся дать самому себе амнистию, т.-е. попросту рассчитывал с помощью с воли бежать. Собственно для этой именно цели он и добился замены каторги простой тюрьмой.

Меня очень интересовало, как сам Богдапович смотрит на свой жизненный путь. Но он, очевидно, мало задумывался над этим.

— А чорт его знает! — ответил он, крепко выругавшись при этом. — Должно быть, такой уж родился... Звезда такая!..

Свое прошлое он со злобой осуждает, т.-е. осуждает не то, что обворовывал людей, убивал их (он успел совершить два безнаказанных убийства) и развратничал да картежничал, — нет, осуждает он свое прошлое за то, что зря свою молодость промотал: ему далеко еще до 30-ти лет, а он уже казался с отбитыми в участке легкими, выбитыми зубами, без семьи, всеми брошенный и презираемый... Еще вопрос: удастся ли теперь уйти из той прогнившей тюрьмы, а тут еще чухотка надела, так ее и так...

— Эх, выйти бы теперь на волю, — мечтал он вслух, — сделать парочку хоро-о-ших краж, *заработать* большие деньги и бросить совсем это дело... А то, смотри, еще сгниешь в тюрьме...

* * *

Наконец-то мы прибыли в Петербург. Уже не знаю почему. Но наш арестантский вагон несколько часов стоял на вокзале, так что в тюрьму мы отправились лишь поздно ночью. Это томительное ожидание очень расстраивало.

— Что-то меня ждет в пересылке, а потом в централь? — с тревогой думал я. — Эх, досадно, что и столыцы теперь толком не увидишь...

Собственно говоря, через Петербург я проходил теперь второй раз. Мое первое путешествие относилось еще к 1909 г., когда нас, человек 70, пересылали из Шлиссельбурга в Вологду. Помню, это было летом. Погода стояла чудесная. Небо было синее и глубокое, лишь местами испещренное белыми облачками, а по обеим сторонам Невы тянулся ряд утопающих в зелени дач. Кое-где на террасах и дорожках появляются и исчезают фигуры людей, одетых в вольное, снуют молодые женщины и дети. Вон две девушки, сидевшие, обнявшись, с внятой на коленях, долго смотрят нам вслед; догадавшись по нашим костюмам, кто мы такие, они поднялись и замахали платками. Пароходик, на котором нас перевозили из крепости, шел быстро, бурля и вспешивая воду, а в воде отражались золотые блески июньского солнца. Воздух, насыщенный ароматом деревьев и трав, был неподвижен, и самые тучки, кудрявые и лохматые, казалось, остановились на небе, чтобы посмотреть на нашу каторжную братню.

Кругом было тихо, и только лязг наших кандалов, наша уродливая одежда, наши измученные серо-желтые лица вносили диссонанс в эту идиллию. От простора и свежего воздуха голова кружилась,

а сердце, неутоянное и трепещущее сердце, заняло тоской, когда в мозгу застучало:

— Ведь скоро опять попадешь за решетку...

Помню, как наш пароходик остановился у маленькой пристани. На берегу стояла толпа чернорабочих, баб и мальчишек. Смотрили они на нас взглядом, в котором было больше страха, чем доброжелательности. И лишь один господин в соломенной шляпе и в перелине, не то учитель, не то литератор, подошел к нам поближе и громко крикнул:

— Здравствуйте!.. Здравствуйте, господа!—и, обратившись к глазевшей на нас толпе, он поучительно произнес:—Пред этими людьми шляпки снимать надо!..

— Ну, и снимай, коли хочешь!.. Ишь, нашелся!—ответил ему кто-то грубо.

Стоявшая тут же баба засуетилась, поспешно выпула из-за пазухи клетчатый платок, достала из него монету, перекрестила нас и передала ее конвойному.

Чем ближе подходили мы к центральным улицам, тем больше обращали на себя внимание публики. Звон семидесяти пар кожаных кандалов да дюжины пар наручников; свистки городских, остававшихся пролетки и трамваев и покрякивавших на неповоротливых пешеходов; масса конвойных, которые окружали нас густой цепью и шагали с обнаженными, ярко сверкавшими на солнце палками—все это невольно приковывало взгляды и гипнотизировало прохожих.

Да и один наш аляповатый и опельмованный вид чего стоил!.. Оттого ли, что нас отправили экстренно и неожиданно для самого пачальства, или оттого, что последнее хотело сбыть все завалявшееся в пейхгаузе барахло, но одеты мы были далеко не по сезону,—в серых из толстого сукна бушлатах и брюках и таких же шапках. Вся эта залежалая рвань, со множеством заплат ни на ком из нас не была по мерке: у одного брюки не закрывали даже подкандалников, а у другого они путались в ногах и никак не застегивались...

Июньская жара порядком допирала нас, и все мы бредли, слюсредвигая ноги, мокрые от пота, оглушенные уличным шумом и покрякиваниями конвойных!

— Ровняйся!.. Не выходи из линии!.. В затылок!.. Скорее!.. Не отставай!..—то и дело кричали они, глядя на всех зверем, как это всегда бывает даже с хорошими солдатами, когда они ведут арестантов по городу.

Прохожие впились в нас глазами, полными ужаса и любопытства. Не только с пролеток и омнибусов, но и из окон и балконов свешивались фигуры людей, провожавших нас напряженными и недоуменными взглядами. По правде сказать во взглядах этих очень мало за-

метно было сочувствия, по крайней мере так казалось нам, ждавшим от столичной публики чего-то большего. В одном только месте какой-то господин в пенсне шумно и демонстративно снял шляпу и долго смотрел нам вслед, указывая кому-то на каторжанца, шедшего с пачкой книг. Один молодой человек, по виду конторщик, крикнул нам:

— «Политические?.. Из Шлессельбурга?..» — и сочувственно замахал головой. Стоявшая на балконе горничная пхнула нам пару яблок и серебряную монету. Из одного ресторана, открытые окна которого выходили на улицу, выскочил лакей с салфеткой в руке и, бегая рядом с конвойным, суетливо и что-то объясняя, совал ему рубль, кивнув в нашу сторону. Но конвойный ударом палки опрокинул его наземь и крикнул:

— Не подходите!..

Когда мы свернули на Невский проспект, за нами шествовала уже огромная толпа. Многие, в том числе и два щеголеватых студента, с торчавшими сбоку маленькими позолоченными шапками, и одна высокая барышня с пачкой под мышкой, провожали нас до самого вокзала. Какой-то молодой еврей, торопливо и деловито шагавший по панели, вдруг, точно кто-то толкнул его, остановился, покачал головой, и, очевидно, отвечая какому-то своим собственным мыслям, вдруг крикнул:

— Амнистия!.. Господа, не падайте духом!.. Будет амнистия!.. — Сказав это, он поспешно пошел вперед, то и дело оглядываясь и качая головой.

После продолжительного сиденья взаперти, с жадностью притягиваешься к публике, особенно к женщинам, читаешь вывески, рассматриваешь лица, вслушиваешься в говор толпы, вообще спешешь набраться как можно больше впечатлений; чувствуешь, что злая сеть тюремной решетки скоро-скоро снова отгородит тебя от мира, от жизни, от людей... Пестрая толпа, куда-то лихорадочно спешащая с выражением заботы и тревоги на лицах; женщины, затянутые в модные, должно быть, платья и в уродливых, похожих на опрокинутые горшки, шляпах; парочки, идущие под руки, смешно прижавшись друг к другу, как бы показывая всем свою интимную близость; обрывки оживленных разговоров и неискреннего смеха, порой долетающие до нас, — вся эта егоящая суета производила впечатление чего-то искусственного, нарочито-крикливого и нездорового. По крайней мере, так могло казаться человеку, сразу попавшему из одиночной камеры в поворот улицы столицы.

На этот раз, когда мы зимой 1911 г. шли этаким из Вологды, впечатления от столицы были гораздо скуднее. Лишь поздно ночью мы вышли на платформу вокзала. Едва мы оставили арестантский

вагон, как нас сейчас же окружили конвойные с обнаженными пашками. Каторжане выстроены были впереди, за нами шли простые пересыльные,—разная шпана и кувырчалы. В первом ряду были наши латыши, все высокие, седые, закованные по ногам и рукам.

На перроне публики было мало. Звон кандалов да окрики конвойных привлекли к нам внимание, и из залы первого класса высунилось несколько голов. Прямо нам навстречу шла и большая группа из трех мужчин с бритыми актерскими физиономиями и двух молодых женщин, роскошно одетых и пахнущих духами. Мужчины и одна из женщин—худощавый брюнетка, которая шла, тихонько что-то напевая и чуть-чуть притоптывая ногами,—посмотрели на нас довольно равнодушно и спокойно прошли мимо. Зато другая дама, полная и румяная блондинка, увидав закованных в железо стариков, немного отступила, звонко ахнула и, став в несколько театральную позу, протянула:

— Ах, несча-а-стные!.. Несча-а-стные!..

Вынув из своей муфты обернутый в цветную бумажку апельсин, она прямо подала его стоявшему с краю каторжанину. Прodelала она это так неожиданно и смело, что, когда конвойный замахал на нее пашкой, она уже успела отскочить в сторону. Все мы жадными глазами пожирали эту красивую надушенную женщину...

Двое конвойных зажгли свои факелы. Старший унтер-офицер скомадовал нам, и мы двинулись к тюрьме.

Погода стояла тихая и безветренная. Снег скрипел под ногами, а звон кандалов отдавался гудким эхом в ночной тишине. Каждый из нас полною грудью вдыхал «вольный» воздух и думал свои нелепые думы. Шли мы сосредоточенно-молча, и только частое покашливание наших туберкулезных да сердитое потарапливание конвойных нарушали глухое безмолвие. Уличное движение замерло уже, и прохаживать лишь изредка попадались нам навстречу. Вся эта картина: темная ночь, освещаемая редкими электрическими фонарями и парой факелов, вооруженные с блестящими пашками, толпа арестантов, скованных парами по рукам и торжливо шагающих под аккомпанемент кандалового звона,—производила жуткое впечатление. В встревоженном мозгу мелькали тени настроений и, не доходя до порога сознания, исчезали, оставляя после себя ощущение смутного страха и опасности.

* * *

В пересыльной тюрьме нас принимал дежурный помощник, обрюзглый старик с помятым и морщинистым лицом и с большим красным носом. Тут же заносил наши фамилии в огромнейшую книжицу

По тюрьмам и этапам.

старший надзиратель, плотный толстяк с валенками на ногах. Господин помощник был не в духе и все время ворчал, бранился и рычал.

— Звать как?.. Отчество?.. Губерния?.. На сколько?.. За что?.. Казенные вещи в порядок?.. Сколько их?.. — задавал он машинально вопросы, проверяя наши ответы по бумагам. На последний вопрос не всякий отвечал сразу.

— Ах, сукины сыны! Что же, считать не умеете?.. В первый раз, что ли?.. Отвечай: брюки есть?.. Бушлат?.. Халат?.. Подпубок?.. Валенки?.. Коты?.. Портянки?.. Подкандалники?.. Поджилынки?.. Ремень?.. — ворчал помощник. Из-за этих поджилынков (особых ремешков, в которые вдеваются загибы от кандалных обручей) и возникала недоразумения, — один считал их за особый предмет, а другой причислял к подкандалникам. Наконец приемка кончилась.

— У кого деньги на руках, покупай чего надо! — громко крикнул один из надзирателей. Тут же в приемной стоит большой шкаф с разного рода съестными и бакалейными товарами, которые отпускаются на месте за наличные. Порядок этот избавляет арестантов от необходимости прятать медную и серебряную мелочь и все же оставаться без сахара и табаку, как это бывает в других пересыльных тюрьмах.

Нас ввели в большую раздевальню, где в особых халках навалена была всякая рвань, — дырявые коты, брюки, бушлаты и грязные засаленные шапки. Тут же нам выдали старенькое и с заплатами, но чистое белье, — словом, с ног до головы обмундировали во все местнос. Наши же собственные вещи вместе с этапной одеждой были немедленно отобраны и отнесены в пейхгауз. Порядок этот, очень удобный с точки зрения администрации, введен был начальником петербургской пересылки Аракчеевым.

Не успели мы еще одеться, как нас всех, не спрашивая даже нашего согласия, усадили на скамейку и принялись стричь машинкой. При всех этих операциях присутствовало много надзирателей, от которых только и слышалось:

— Поворачивайся!.. Молчать!.. Не разговаривать!.. Стой смирно!..

Надзиратель, осматривавший мои вещи и книги, тихонько расспрашивал меня: кто мы, откуда, что это за седые старики в наручниках? Но, едва приближался кто-нибудь из начальства, он сейчас же как заорет:

— Тихе!.. Не разговаривать!.. Делай свое дело!..

По узенькому коридорчику, с левой стороны которого шли камеры с решетчатыми дверьми, а по правую тянулась перегородка из плетеной проволоки, мы прошли в самую крайнюю камеру, в которой, в отличие от всех остальных, дверь была не решетчатая, а глухая. Помещение это было рассчитано на 12 человек, но нас загнали туда

20—всем лишним пришлось устраиваться на ночь кому на асфальтовом полу под койками, а кому — на обеденном столе. В отличие от других пересылок, в которых вместо отдельных коек устроены сплошные пары и где о подстилках никто и не думает, здесь спавшим на полу выдали тоненькие тюфячки, а всем приходившим — одеяла, соломенные подушки и даже простыни — роскошь, которой не увидишь даже во многих каторжных централах.

Вообще на гигиеническую обстановку в петербургской пересылке, находящейся в столице и посещаемой не только высшей администрацией, но и знатными иностранцами, обращалось серьезное внимание. Вентиляция хорошая, так что специфически тюремного запаха, от которого голова кружится и дух сдавливает, здесь почти не чувствуешь. Свету много, — окна большие и на низком расстоянии от пола; отопление центральное; асфальтовый пол всегда блестит. В камере же, за перегородкой из волнистого железа, имеется превосходно устроенный клозет, край и раковина для умывания, — удобство, имеющее огромное значение в тюремном быту: тут уже не знаешь ни хронически воняющей парашки, ни выпусканий на оправку по очереди и с большими перерывами.

В заведенных Аракчеевым порядках много смысла и толковости. Так, например, и других тюрьмах, для того, чтобы арестант мог разрезать себе хлеб или селедку, ему приходится обзаводиться нелегальным «перышком», т. е. железной, а то и жестяной полоской; во время обысков вещи эти отбираются, а собственники их наказываются темным карцером (в большинстве тюрем) или розгами (например, во Пскове при Черленковском), или пещадно избиваются (например, в Орле). Здесь же Аракчеев предупреждает всю эту волокиту тем, что на время завтрака, обеда и ужина выдает настоящие металлические ножи, правда, настолько тупые, что при всем желании никого им не зарежешь.

Хлеб здесь такой же сырой, тяжелый и безвкусный, как и в большинстве других мест, зато и обед и ужин, в отношении и качества и количества, гораздо лучше, чем во многих централах, не говоря уже о несчастных пересылках. Объясняется это единственно тем, что тощий арестантский паек попадает здесь прямо в тощий арестантский желудок, не застревая по пути в широких карманах кого-либо из начальства.

В Петербурге мы были простыми пересыльными, но прогулка давалась нам каждый день. Приходил специальный надзиратель, прозванный почему-то «Конем» — белобрысый и угрюмый человек, который и вносил нас подземным ходом на чистый, превосходно вымощенный широкими плитками двор со скамейками для сиденья и с разбитыми посередине клумбами.

Жизнь заключенных здесь строго регламентирована. Ежедневно они выбирают дежурного, фамилия которого отмечается на особой дощечке, прибитой сбоку камеры: он-то и ответствен за чистоту и порядок. После обеда арестанты *обязаны* опускать койки и в течение двух часов отдыхать лежа, непременно лежа, и при том не смея разговаривать между собою. Часа через два после обеда они должны встать, прибрать свои брезентовые койки, а тюфячки с одеялами и подушками свернуть в трубку, и приняться за чаепитие. В восемь часов вечера, как только пройдет поверка и пропоют молитву, все обязаны немедленно укладываться спать, являя права даже перешептываться.

Здесьние надзиратели, начиная с принимавшего нас старшего Некрасова и кончая самым младшим — как общее правило, возмутительно грубы и придирчивы. О тыханьи и говорить нечего, — не только надзиратели и смотрители, но и люди с университетским образованием, вроде инспекторов, обращаются с политическими каторжанами не иначе как на «ты».

— Эй, что там разгулялись! — кричит, например, надзиратель, которому почему-то не нравится, что мы рассказываем по камере. — Вот щетки и трите!.. Да чтобы блестяло!.. Живаго!..

Он подает нам щетки и кусок воску, и мы должны, так себе, без всякой надобности, чуть ли не в четвертый раз за один день приняться за полировку асфальтового пола, выделявая закованными ногами танцевальные штучки. Ковчим работу и сидим, где попало. Но это не нравится другому надзирателю.

— Чего расселись! — кричит он, открыв широкую дверную форточку. — Делать вам, сволочи, нечего!.. Что? Рассуждать!.. Тише!.. Молчать!.. Не разговаривать!.. А это почему платок мокрый? — вдруг заметил он чей-то развешенный на койке платок: мыть что-нибудь в раковине строгойше воспрещается. Начинается ругань, покрикивание, угрозы карцером.

Надзиратели сильно терроризованы Аракчеевым. Во все время своего дежурства они ходят в валенках как по струнке, сосредоточенные и серьезные, словно священнодействуют, и только ищут случая, чтобы засадить кого-нибудь в карцер и этим доказать начальству свою бдительность и неусыпность. Очень самостоятельный, независимый и вольнолюбивый в своих собственных отношениях к высшей администрации, Аракчеев в то же время энергично преследует эти же самые качества в своих подчиненных. Бесконечно строгий к арестантам, он еще строже к надзирателям и немилосердно штрафует их даже там, где почему-либо готов спустить каторжанину.

Так однажды социал-революционер Фельдман уцепился за отдушину над дверью своей одиночки и с кем-то переговаривался. Заметив это, Аракчеев оштрафовал надзирателя на пять рублей, а Фельдману, влиятельному террористу, с которым у него и до этого бывали стычки, не сказал ни слова. Это-то и заставляет дежурных глядеть в оба и усердствовать свыше всякой меры.

Попасть зд сь в темный карцер на хлеб и на воду нет ничего легче: не так начистил пол; разговаривал после поверки; поглядывал через окно на двор; бросил окурки палпросы не туда, куда полагается; ответил на приветствие простым «здравствуйте» вме то холодного «здравия желаю», «не исполнял приказаний», или «сказал грубость надзир телю» (самые неопределенные и растяжимые категории арестантских проступков), не говоря уже о передаче записки в другую камеру или об отправке письма на волю помимо конторы. Хорошо еще, если придется иметь дело со старшим помощником Эбеном, строгим формалистом, но умным, добросовестным администратором-джентльменом; но беда, когда распоряжение о карцере исходит от другого. И если впоследствии выпоротый розгами политический Аристов попал в карцер за то, что возмущился тыканьем надзирателя то другие попадали туда и за более пустячные проступки. Я знал ваторжан (припоминаю, например, максималиста Сафонову, или социал-демократа Ликумса, впоследствии умершего от чахотки), которые за самое короткое время побывали у Аракчеева в карцере десятки раз.

При мне посадили туда Шмидта, который шел со мною из Вологды. Мы стояли в коридоре и поджидали на прогулку еще одного из внешней камеры. Когда он подошел к нам, Шмидт, стоявший перным у решетчатой двери коридора, ве дожидаясь специального приказаия надзирателя, направился к выходу, а вслед за ним и мы остальные.

— Сто-о-й!.. Куда!.. закричал на него «Конь», соорив такую гримасу, будто Шмидт натворил нечто ужасное и неоправданное.— Тебе кто велел, а?.. Это что за самонольство!.. Что? Молчать!..

— Да чего вы кричите, орете? Что я такого сделал?—возражает ему Шмидт.

— А-а, ты еще грубиты!.. Грубиты!.. Хорошо!.. Стань в сторону!..—рассвирепел наш прогулочный дядька. В результате Шмидт просидел в темной вплоть до своего ухода на этап в Шлиссельбург.

Как я уже упоминал, сейчас же после вечерней поверки певчие выходят на корпдор и довольно стройно поют молитву. В это время дежурный помощник и кто-нибудь из старших надзирателей тихо-тихо и быстро-быстро мчатся и летят по всем коридорам и смотрят сверху

решетчатые двери, «хорошо» ли, т.-е. молча, не шевелясь и сосредоточенно ли, стоят арестанты во время этой молитвы. Часам к восьми вечера вся жизнь в тюрьме замирает. Все обязательно ложатся и засыпают, по крайней мере, делают вид, что спят.

Однажды помощник пачальника (мне говорили, что фамилия его барон фон-Штакельберг) заметил через решетку, что какой-то каторжанин лежит с открытыми глазами, между тем как шел уже десятый час вечера.

— Эй, ты, номер такой-то! — кричат помощник, называя номер его койки. Чего не спишь?.. Или в карцер захотел?

— Я давно уже сплю, ваше высокоблагородие, — ответил находчивый арестант, только забыл глаза закрыть... Ей-Богу...

Все остальные хотя и лежали молча и с закрытыми глазами, но еще не спали, — мучительная бессонница явление слишком частое в тюрьме; услышав такой ответ, да еще сказанный серьезным тоном, многие все выдержали и приткнули со смеху. Думали, что на другой день будет «история» с эпизодом в виде «географии», т.-е. в виде путешествия в карцер, но обошлось благополучно, вероятно, сам помощник постеснялся разгласить этот маленький инцидент.

Арестанту, в особенности каторжанину, попавшему к Аракчееву, нужно держать себя на-чеку и строжайше придерживаться всех многочисленных и до точности мелочных распоряжков, им введенных. Благодаря решетчатым дверям, заключенный круглые сутки весь на виду у надзирателя, так что поводов к придиркам и прижамкам более чем достаточно. Не будь этого самодурства и все выдерживающего никакой критики, явно чрезмерного «административного восторга», петербургская пересыльная тюрьма, управляемая Аракчеевым, могла бы считаться одной из лучших: в мое время каторжане зарабатывали там весьма и весьма прилично; обед хороший; выписки продуктов — и в смысле техники и в смысле разнообразия — толково обставлена; медицинская помощь всегда под рукой; в соблюдении чистоты и в некоторых установлениях проглядывает здравый смысл и хоть кой-какое внимание к нуждам арестанта.

Только эта вот нудная казармщина расстраивает нервы и настолько давит, что каждый рад поскорее вырваться отсюда и попасть в соответствующий централ.

* * *

В пересыльных тюрьмах состав публики очень подвижной. Этаны то и дело уходят и приходят, так что товарищи по камере часто меняются. Тут же встречаешь и таких, которых хорошо знал раньше, так же как и впервые знакомишься и с такими, с которыми потом

проводилъ годы в центре или на поселеньи. Среди обитателей пересылки, как и среди пассажиров арестантского вагона, часто попадаются люди весьма интересные в бытовом и психологическом отношении.

Кого только здесь не увидишь!..

Подследственный Кученко — толстый, заморщенный, с впалой грудью и весь истерзанный человек лет 35, вертлявый и разбитной. Он из крестьян Полтавской губ., профессия его портняжесство. Но в селе, где он жил, «больно много шартных развелось», как он сам выражается, так что при случае он промышлял воровством. Находясь раза в тюрьме, он обокрал... тюремный же цейхгауз и при помощи жены сбыл вещи на волю. Про смерть своей жены он мне рассказывал ужасные вещи. Когда она находилась у своих родных где-то в Витебской губ., урядник, заподозревший ее в краже 25 рублей, с целью добиться признания, стал бить ее нагайкой, заставлял поднимать юбки и головой ложиться на землю, затем целую ночь держал ее привязанной к перекладине сарая, а на утро привязал ее, словно лошадь, к своей телеге и в таком виде заставил бежать верст десять. Несчастная не выдержала этих пыток и умерла. Оставшихся после ее смерти двух детей Кученко отдал в приют. Старшая же его дочка ушла в проститутки.

Не помню, за какое именно дело Кученко ждал теперь каторги, но, так как за ним уже числился один побег, он шел теперь в кандалах и попал к нам в каторжную камеру. Сам по себе Кученко человек не дурной, не глупый и отзывчивый; своей добавочной воровской профессии он стыдится, и — думается мне, найди он теперь прочный заработок, мог бы снова стать честным человеком. Но его ждет каторга, — и он человек пропащий и для себя и для других.

Степан Еремин — мужик лет под сорок, неразвитой и безграмотный. Дома он оставил жену и пятерых детей. Со своим новым положением он далеко еще не свыкся, и все, что на нем и вокруг него, кажется ему необыкновенным и неповытным: то он начнет перебирать кольца своих кандалов, качая при этом головой и причмокивая, то с любопытством рассматривает свою арестантскую шапку, как-будто только что увидит ее, то вздыхает и что-то шепчет. Каждое утро Еремин аккуратно молился на икону, а когда он, бывало, зевнет (а зевал он часто и протяжно, встряхиваясь всем телом и закидывая голову), то обязательно рот перекрестит.

Осужден он за убийство во время драки. В компании нескольких соседей Еремин возвращался домой из церкви; был какой-то праздник. Возле церкви была монопелька, и все они порядочно влюхнулись. По дороге он потерял свой кошелек и четверть водки, но с пьяных глаз

ему показалось, будто все это стаял ехавший с ним рядом мужик. Он остановил лошадей и затеял с тем ссору. Вмешались и остальные, и скоро перебранка перешла в драку. Во время этой батални младший брат Еремина Авдрей выхватил нож и стал наносить им удары. В кинжало-копцов предполагаемый похититель штофа водки и кошелька остался лежать тяжело раненым и через неделю помер. Младший Еремия сбежал, а старший предстал пред судом. Мать умершего, из чувства мести и злобы, показывала под присягой, будто за час до смерти сын ее назвал своим убийцей именно Степана, а не Андриюшку. Остальные свидетели, бывшие во время потасовки пьяными, ничего не помнили, уверенным же Степана суд не придал значения и приговорил его к четырем годам каторги.

Подобные истории, только с различными вариациями, мне приходилось и до и после этого выслушивать не от одного десятка каторжан из мужиков. Балтин, к которому Еремия с самого же начала прорвался уважением, выслушав его рассказ, прочел ему несколько длинных нотаций, обещал позаниматься его развитием и обучить грамоте, а обратившись ко мне и к Шмидту, произнес многосмыслительно и укоризненно:

— И с таким-то вародом вы думаете республики добиться!.. Научите его раньше грамоте!.. Сперва народ перевоспитайте, а потом уж за социализм ваш возьмитесь!.. Эх, вы, молодежь, мечтатели!..

До суда Еремия сидел больше года, и за это время его младший брат Андриюшка тоже успел попасть в каторгу, только по другому делу. Это был пустой и глуховатый щеголь. Арестовали его как раз пред призывом на военную службу. Приятели его «жеребники» разгуливали в лабиринтовых сапогах и широких гарусных поясах, кутили и бражничали, у него же не было на это денег. Чтоб раздобыть их, он задумал ограбить какого-то лавочника. Но едва он схватился за денежный ящик, как тот поднял крик и задержал Андриюшку. Его предали военному суду, и теперь он тоже идет в Шлиссельбург, имея перед собою десять лет каторги.

Оба они были молчаливые и неразговорчивые, и если с кем охотно беседовали, то разве с одним только Захаром Гавриковым, высоким и бородатым мужиком с масляными глазами и жирными губами. На воле он не ладил со своей женой, ветреной—по его словам—бабенкой, которая часто заставляла его терпеть лишения, очень тягостные для женатого человека. Однажды он пьяноватый пришел домой, захватив с собою водку, посредством которой он думал смягчить черствое сердце своей супруги. Но в хате он застал одну только дочку, отцом которой он склонен был считать не себя, а земского фельдшера.

Отуманенный страстью и алкоголем, он и полез прямо к девушке. Той удалось высвободиться от него и убежать. Наивная и простая, она рассказала об этом соседним бабам, и те надумали ее донести на отца куда следует. Его забрали, судили и сослали на каторгу. Любопытнее всего то, что сам Гавриков не видит ничего преступного в своей попытке изнасиловать дочку.

— Ведь я ейный кормилец!—оправдывался он в ответ на длинное замечание Балтина.—сколько забот она мне стоила... А денег сколько!.. Потом: ведь выйдет же она замуж... Значит, чужому можно, а мне нельзя!.. Во, какие у нас законы!..

— Нет, брат, нехорошо ты поступил,—возразил ему старший Еремий.—Ведь ты мог бы к настоящей бабе подкатиться...

— А ты зачем на прогулку ходишь?—вдруг озадачил его Гавриков, никогда не любивший признавать себя в чем бы то ни было виновным.

— Как зачем?—ведомственно переспросил Еремий.—Известно зачем: свежий воздух...

— А-а, свежий... Ну, так я тоже захотел свежего, только не воздуха, а кой-чего повкуснее...

Как коренной горожанин, и с большим интересом присматриваясь к этим жителям деревни. В первое время все они держались кучкой и особняком, даже косились на нас, недовольные нашей порывистостью, шумными спорами и многоглаголаньем. Не нравились им и то, что на придирки надзирателей мы отвечали ворчливыми репликами,—это говорило о нашей несолидности.

Обедали и чай пили они тоже как бы отдельно от нас, делая это с хлопотливыми приготовлениями, чинно и степенно. Чай они пили сосредоточенно, громко причмокивая, дуя в блюдечко и откусывая сахар мелкими-мелкими кусочками. Обедали—тоже с чувством и расстановкой, делая после каждого глотка паузы и облизывая с обеих сторон ложку.

Когда пришедший из Шлиссельбурга крестьянин, заразившийся на каторге коммунистическими привычками, пригласил чуть ли не всю камеру отведать его слобных баранок, нашим мужичкам сделалось неловко за свою изолированность, и мало-по-малу они тоже поддались тюремным традициям.

Из всех живших у нас в камере крестьян самый симпатичный был Алешин, шедший теперь из Шлиссельбурга на Амурскую дорогу, где ему предстояло доканчивать каторгу. Он так и не отходил от нашей компании, говорил нам: «товарищи», и даже не врозь был ежесиваться в наши споры и разговоры. О том, за что именно ему дали пять лет каторги, он не любил распространяться, отделяясь

лишь односложными репликами и как-то конфузливо-виновато мигая своими голубыми глазами. Я только и мог узнать, что он батрак, служивший кучером у помещика и осужден за убийство, главную роль в котором играла любовь к барышне, приневавшей к помещику в гости. В Шлассельбург он пришел безграмотным и невежественным, но, сойдясь близко с политическими, научился хорошо читать и писать, прошел всю арифметику и даже взялся за алгебру и геометрию. Чтение и общение с партийными рабочими и интеллигентами сделали его новым человеком, и свое пребывание на каторге он считает настоящим для себя счастьем.

— Несколько лет—это пустыня...—говорил он мне,—а чем я был до каторги?.. Только и делал, что в навозе копался да лошадей чистил... Был как медведь в лесу... Ничего про жизнь не знал, а теперь у меня глаза открыты... Раньше жил как крот в земле, а теперь я вполне сознательный...—повторял Алекин восторженно, варьируя свою мысль на разные лады.

Таких вот простояк, которые перерождались в тюрьме, и из забытых, слепо верящих в разные авторитеты подданных становились почти сознательными гражданами, я встречал и в других централах. Вынужденное совместное пребывание политиков с уголовными — что так настойчиво и упорно проводилось тюремной администрацией—во-в чем имело и положительные результаты. Пожалуй, если бы верхи тюремного ведомства знали, сколько оппозиционных и революционных идей незаметно и исподволь проникало в головы мужичков вроде Алекина, они навряд ли так ретиво смешивали бы в одну кучу каторжан разных категорий.

* * *

За неделю до моего ухода из пересылки к нам пришел новый этап—группа каторжан из Черлигова. Назначены они были в Шлассельбург. За исключением одного старика, осужденного за убийство, все они были совсем зеленая молодежь. Из них особенно запомнился мне Абраха Фейган, стройный еврей с курчавыми волосами и большими черными, слегка выпуклыми глазами.

В своей жизни я редко встречал такого восторженного и быстро приходящего в экстаз человека. Ни о чем, даже о третьестепенных вещах, он не может говорить равнодушно. Так и казалось, что каждое его слово сопровождается у него множеством восклицательных знаков. Подвижной и порывистый, он и минуты не мог усидеть на месте, то и дело кипятился и волновался. Душа его словно соткана была из множества тончайших струн, которые звучали от малейшего сопри-

косновения с окружающей действительностью. Казалось бы, что человек, не первый день сидящий в тюрьме, должен был ко многому отнестись сдержаннее и ровнее, но нужно было видеть, как он вспыхивал когда надзиратель кого-нибудь обругает.

— Товарищи... Это невозможно... Надо протестовать...— выходил из себя Фейгин.

Каторгу (четыре года) Фейгин получил за принадлежность к группе сионистов-социалистов. Романтик он был каких мало. Его идеал—это полное и законченное возрождение еврейской нации, но возрождение непременно на собственной территории. Довольно блуждать в изгнании, вызывая презрение у одних и обидную жалость у других... Пусть гений еврейства — все эти Спаноа, Марксы, Гейне, Антокольские — расцветает у себя дома, а не на чужбине... Пора зажить собственной жизнью... Вот увидели бы тогда, как далеко пошел бы еврей по части социального творчества, научной изобретательности, искусства, литературы...

В изложении Фейгина это было своего рода возрожденное мессианство, окрашенное в цвет модернистского социализма. Возражения и доводы практического свойства прямо коробили его своей будничностью и прозаичностью.

— Ах, зачем это...— говорил он с гримасой страдания.— Пусть только народ захочет... Пусть только еврейская интеллигенция не тратит себя на гоев.. Остальное само приложится...

Когда Фейгин говорил и спорил на эти темы, глаза его становились до того блестящими, что, казалось, они излучают какой-то особенный свет. Восторг и меланхолия, увлечение и скорбь так и светились из его специфически-еврейских глаз.

Сам он выходец из бедной, почти нищей семьи. Когда-то они жили зажиточно, но потом пятого года лишил Фейгина-отца и семью его обеспеченного куса хлеба. Перед своим арестом он должен был—экстерном—сдать экзамен за все восемь классов гимназии, но тюрьма и предстоящая каторга совершенно расстроили его планы. По своему характеру и по отношению к людям—это был идеалист и коммунист, юноша чуткий и услужливый. Его сангвинический темперамент, веселый нрав и бойкая, с блестящими своеобразного остроумия речь непольно к себе привлекали. Когда Фейгин уходил от нас в Шлиссельбург, он со всеми перещеловался, а на глазах у него были слезы.

Остальные черниговцы были осуждены в каторгу по 102-й статье. Одних, принадлежавших к королевской группе с. р., выдал какой-то 16-летний мальчик, а другие, примыкавшие к максималистам, были оговорены неким Бойко. По наущению своей жены этот представитель

их организации донес обо всем в полицию и при этом так запутал самого себя, что угодил потом в бессрочную каторгу.

Арестантский наряд—это неуклюжее серое тряпье, заплятанное и замусленное, кандалы на ногах и круги под глазами—очень старили и безобразили их, но то неумовимо свежее и прелестное, что свойственно одной только молодости, заставляло забыть их внешнюю непривлекательность. Интересно знать, как себя чувствовали судьи.—эти пожилые и серьезные люди и отцы семейств.—когда они награждали 8—12-летней каторгой каждого из этих юнцов. Мне лично было и приятно и больно смотреть на этих напыханных, совершенно нетронутых и неискренних житейской кривдой парнишек. Когда, бывало, говоришь им что-нибудь, они слушают тебя словно оракула, с открытым ртом и без всякой критики...

У нас в пересылке они чувствовали себя великолепно, не взирая даже на окрики и грубости надзирателей. И это потому, что там в Черныгове режим был еще более скверный: пища—отвратительная баландка, камеры переполнены до невозможности, обращение, особенно с политическими из крестьян и рабочих—хулиганское. Здесь же, попав в сносную гигиеническую обстановку и в хорошую компанию, они были веселы, часто шутили и без видимой причины заливались своим молодым, звонким и задористым хохотом. И только двое из этих хохлов не заражались общим настроением: то были рабочий Кузмин и один высокий молодой человек, произведивший впечатление ненормального.

Кузмин имел от роду 26 лет, походил на болезненного мальчика, такой он был маленький, тонкий и шустрый. Его небольшое, овальное, как бы закопченное и с желтоватым оттенком лицо всегда было страдальчески-грустно. Даже когда он изредка улыбнется, то все же по лицу его проходят тени. Вот уж, действительно, одолела человека горькая судьбина!.. Раннее сиротство, жизнь у чужих людей на положении приемыша... Годы ученичества, мытарства по мастерским и заводам... Бступив уже взрослым в рабочий кружок, он был впоследствии выдан организатором их же группы, тем самым Бойко, которого жена толкнула на предательство.

Во времени ареста у Кузмина остались на воле жена и двое детей. Через «сочувствующих» ее удалось пристроить сиделкой в больницу. Но в скорости дети ее, жившие при матери там же, умерли один за другим от тифа, а месяца три спустя скончалась и молоденькая жена Кузмина. Он тогда находился в тюрьме и был близок к помешательству. Он и сейчас считает себя главным виновником их смерти: если бы он, помня о своих семейных обязанностях, держался подальше от революционных организаций,—так рассуждает Кузмин,—то его не

арестовали бы, жене и детям не пришлось бы перебираться в кшатскую больницу, и они остались бы все в живых.

Сам Кузмин теперь окончательно обессилел болезнью—у него хронический катар желудка. Тюремная пища для него неприемлема, долго держать его в больнице не станут, собственных средств у него никаких, а сроку у него ровно 12 лет.

Другой черниговец, по фамилии Антонович, имел одутловатое лицо и глаза, в которых noblesse envalait тот самый огонек, который я имел случай наблюдать в психиатрической больнице у форменных душевнобольных. Целый день, с утра до вечера, за исключением разве послеобеденного отдыха, Антонович слонялся по камере, решительно ни с кем не заговаривая: ходит он себе так, заложив руки за спину и подтянув кандалы, и смотрит вперед себя в одну точку своим зачарованным взглядом. Ничто его не интересовало, и только на еду он набрасывался с изумительной жадностью.

Что его ожидает в дальнейшем? Если он, попав в Шлиссельбург, не начнет разбивать дверей и окон, не будет орать благим матом, вообще не станет вести себя слишком уж эксцентрично, то его в больницу не возьмут, и он так и умрет в тюрьме в тихом умопомешательстве...¹⁾

* * *

Тот самый конвой, который отвез наших черниговцев в Шлиссельбург, привел к нам и пересылку целую группу каторжан, которых я хорошо знал по одиночному корпусу Шлиссельбургской крепости.

Из них Светловский был с ног до головы джентельмен. Стройный, с слегка вьющимися волосами, он обладал мягкими манерами, большой выдержкой и той предупредительностью и все извещающим тактом, которые даются хорошим воспитанием. Со всеми он был в ровных отношениях, и если его порою коробило нахвальство и амфилохонство со стороны товарищей из крестьян и матросов, то это, однако, не мешало ему вместе с ними всегда примыкать ко всяким выступлениям против тюремного начальства.

Студент двух университетов, сторонник идеалистической философии, поклонник Уайльда и декадентов, весьма начитанный и с большой эрудицией по многим вопросам, кроме общественных, совсем слабо разбирающийся в социалистических теориях и направлениях, — Светловский осужден был на бессрочную каторгу за содействие максималистам, стремившимся еще в 1906 г. к немедленной социалистической революции.

¹⁾ Уже по выходе в Сибирь я узнал, что Кузмин умер в Шлиссельбурге через два месяца после нашей встречи в пересылке, а Антонович, будучи отправлен в психиатрическую лечебницу, пробыл там месяцев восемь и тоже скончался.

Будучи, по своим симпатиям и всему складу своей натуры, человеком чуждым революции, особенно крайних ее проявлений. Светловский тем не менее все время — и на суде, где прокурор примеривал к его нежной шелковистой шее пеналовый столыпинский воротник, и в тюрьме на каторге вел себя, как истый революционер, прямолинейный и чуждый компромиссов. Мне всегда казалось, что стимулы к этому Светловский черпал не в побуждениях социально-экономического или даже теоретического свойства (он очень слаб был по части знакомства с социализмом), — а, главным образом, в мотивах, так сказать, эстетического происхождения.

Действовать не так, как он действовал, т. е. оставаться в стороне от революционного движения, в положении безразличного обывателя, или не присоединяться к борьбе против тюремного режима — в качестве «привилегированного» индивидуалиста казалось ему столь же недостойным для *джентльмена*, как и недостойным казалось ему угодливое поведение на суде.

Светловский долго сидел в каземате Петропавловской крепости, на суде он отказался от защитника, был приговорен к смертной казни. У нас в Шлиссельбурге он черз посредство своей матери оказывал всем политическим огромные, в нашем положении, прямо неоценимые услуги, — и все это из того же своеобразного источника побуждений: эстетизма и джентльменства ¹⁾.

Совсем в другом роде, колоритнее и пестрее была фигура другого шлиссельбуржца, с. -ра Кругликова, молодого и коренастого, лет 25 человека с бойкими черными глазами. Живой и энергичный, весельчак и балагур, легко сходившийся за панибрата с людьми самых различных и даже противоположных общественных положений, всюду умеющий проникнуть и везде устроиваться, Кругликов, до того, что подвергся очищающему и облагораживающему влиянию социализма и революции, отдал пыл своей ранней молодости и всю бурность своих чувств и порывов с всем на другом поприще...

Впоследствии, применяв к партии с. -р., он был близок к центральным ее учреждениям, побывал по партийным делам в разных городах, сидел в разных тюрьмах, пока его не привлекли по делу о покушении на Николая II (процесс лейтенанта Никитенко, студ. Спасского, Наумова и друг.), приговорили к восьми годам каторги и сослали к нам в Шлиссельбург.

¹⁾ Спустя много лет, в 1920 г., я узнал, что Светловский, в качестве большевика уже, пал смертью храбрых в войне с наступавшим на Петроград генералом Юденичем.

Воспитавшийся в купеческих кругах Москвы, Кругликов обладал большим даром использовать людей, наступая на кого нахрапом, а на кого действуя исподволь, систематически располагая его в свою пользу. Своими самоуверенными и влущительными манерами, повелительной и беззащитночной речью, он с первого же раза заставлял считаться с собою. У него так и выработалась привычка всюду и везде напускать на себя важность. Это очень импонировало.

В отличие от всех остальных, сидевших в 1906—1909 г.г. в шлиссельбургских одиночках, Кругликов не бойкотировал начальника, а наоборот. Изображая из себя смиренного человека и лояльного арестанта, используя свое знакомство с начальником Зимбергом и свое влияние на его помощника, князя Турамова, которым он прямо попускал и на которого он (арестант...) возлагал различные поручения, используя все это в личных целях, Кругликов в то же время, за спиной начальника, писал ядовитые и полные сарказма корреспонденции в нелегальные газеты, добился для всех нас целого ряда существенных льгот, связывавших нас всех друг с другом.

Больше того. Будучи сторонником «мирных» отношений со всякого рода начальствами и предпочитая открытой борьбе — сложные и замаскированные дипломатические ходы и подходы, Кругликов первый связал нелегальную тюрьму с волей, очень ловко и хитроумно обратил двух надзирателей в своих почтальонов, посылал их с тайными поручениями в Петербург, через их посредство получал для нас всех и наличные деньги, и свежие газеты, и симпатические чернила для тайной переписки через тюремную же контору, и даже толстые книги, считавшиеся у нас нелегальными.

Делечество, окрашенное в цвет витузиазма — таково было основное свойство этого каторжанина. От окружающей его обстановки и от окружающих его людей он извлекал максимум возможного. Так он делал, когда нужно было получить самому устроиться в тюрьму или выбраться из тюрьмы в вольную команду, — так же он делал, когда нужно было осуществить то или иное партийное, вообще революционное, большое или малое, предприятие.

Кругликов был осужден по с.-р.скому делу. При этом, любопытно, что решительный радикализм в вопросах чисто политических (безусловный бойкот Государственной Думы, партизанские выступления, центральный террор и т. д.) он соединял с чисто оппортунистическими взглядами в целом ряде других вопросов, особенно — общего свойства.

Проблемы теории, впрочем, его мало занимали, и в них он, студент-юрист последнего курса, разбирался меньше, чем иной из рабочих, сидевших у нас же в Шлиссельбурге, вроде с.-д. Татарчукова —

Захарова, Гринштейна и др. Зато Кругликов считался хорошим практиком, в том особенном значении, какое придавалось этому термину в подпольный период ¹⁾).

* * *

— Кто на Псков и на Ригу, — с бранью вещей!.. Живо! Не копейсь!... закричал однажды отделенный надзиратель.

У меня сердце закрывало от радости. Я наскоро схватил свои скудные пожитки и вышел в коридор. Снова последовало раздевание до-гола, обыскивание, ощупывание и т. д. Старший, который выдавал репи из цейхгауза оказался удивительно добрым и ласковым, зато дежурный помощник вздумал было притаться к тому, что у меня много собственных книг, хотя книги эти все время лежали в цейхгаузе, а из этой шурмы я уйду совсем. Я уже стал волноваться, но на помощь мне неожиданно пришел конвойный солдатик, молодой, с безбородым загорелым лицом хохляцкого типа. Выбрав момент, он нагнулся и тихонько спросил меня:

— Чи вы политический?

— Да, политический, — ответил я шепотом.

— Ну, так никак вин себе бреше... — сказал он, кивнув головой в сторону его благородия. Почти не просматривая моих вещей и книг, конвойный сам же аккуратно вложил их ко мне в мешок.

Итти мне предстояло не куда-нибудь, а в знаменитый псковский централ, к знаменитому полковнику «Петрушке», но, выбравшись из Араку евской переделки, из этого тесного, светлого, благоустроенного *склена*, я облегченно вздохнул.

¹⁾ Впоследствии, после февральской революции, Кругликов добился очень высокого положения в революционно-административной лестнице. Былой радикализм его обратился в свою противоположность, и среди социалистов он числился на «правом фланге».

Псковский централ.

— Кто в централ, — выходи! — крикнул конвойный унтер-офицер, когда наш этап поравнялся с огромным четырехэтажным с решетчатыми окнами зданием. Подбрав свои кандалы и попавив на свое этакое менное с эмальпровинным чайником, я в сопровождении двух конвойных направился в какой-то узенький переулочек. Оказалось, что туда выходили задние ворота тюрьмы.

— Что-то ждет меня впереди, — не без тревоги думал я, вспоминая все слышанное про порядки, заведение пока вником Петром Чернышевским.

— А как здесь теперь живет? — спросил я у одного из конвойных, бойкого и смешиного парня. — Каков здесь начальник?

— Кто, Петрушка?.. Многоспачительно и весело ответил он. — Ого, брат, он те задаст пфехару. Узнаешь у кого почесать затылок...

— Ну-ну, чего там зря пугать-то. Чего мелешь... — вмешался второй конвойный. — Петрушка начальник хоть и строгий, но справедливый. Ведн себя тихо, и ничего тебе не будет...

В каторге меня принял один лишь старший, высокий, толстый с двойным подбородком и длинными усами, похожий не то на латыш, не то на эстонца. Наскоро задав мне обычные в таких случаях вопросы (имя? фамилия? на сколько?.. кандалы есть?.. коты?..), он велел вывести меня в общий корпус. Спустившись в подземный этаж и пройдя полутемный, с вонючим средневеково-тюремным, т.е. затхло-парашечным воздухом, коридор, я очутился в пустой камере с двойными дверями — наружной глухой и внутренней, представлявшей железную решетку. Два окна, снабженные не только обыкновенной решеткой, но и, как везде здесь, еще густой проволочной сеткой, выходили на узенький прогулочный дворик, где мелькали фигуры каторжан, на левом рукаве у которых были пришиты разноцветные доскутки с какими-то номерами. Как я потом узнал, цвет доскутки определял категорию арестанта: у бессрочных — зеленый, у раскованных — красный, у вольнокомандцев — желтый и т. д.

Минуя через сорок меня вызвали в начальнику, который жил в отдельном здании. У самых дверей его квартиры лежал огромный, похожий на телят, рыжий пес; он как-то мелехоталчески и как бы

с презрением посмотрел на меня и даже не заладил, когда я, перешагнув через него, задел его каблуками. В маленькой прихожей стояло человек шесть арестантов, робких и запуганных. Из кабинета начальника выскочил статный красавец, черноглазый, с пышными усами, должно быть, старший помощник.

— А-а, это те самые!.. закричал он. — Почему вчера на работу не вышли, а?..

— Мороз, ваше благородие!.. Живот болен!.. Невмоготу... — слышалось со стороны каторжан.

— Ага!.. «Живот заболел»!.. Ну, теперь у вас не спереди, а сзади заболит!.. Вот возьму я вам по сорок, и узнаете, как лодырничать!.. — продолжал Слясский, как звали этого старшего помощника.

— Ваше высочордие!.. Извините!.. Заставьте вечно Бога молить, — запелетали причитающим голосом арестанты, должно быть, из случайных уголовных.

В это время меня ввели в кабинет. В небольшой комнате как-то ухитрилось поместиться человек пять помощников и надзирателей; возле меня стояли: с одной стороны, бледно-желтый человек с серыми и без бровей злыми глазами, — это был помощник Суворов, техник-строитель по профессии, а с другой — тонкий голубоглазый, весь ровный и похожий на девушку, помощник Федоров. Сам Черленновский был мал ростом, плешив, с густыми полуседыми усами и умными черными глазами; с губ его почти не сходила тонкая, какая-то злобно-васмешливая улыбка.

Пока он подписывал бумаги, я с любопытством разглядывал обстановку кабинета. Тяжелая пунцовая портьера, роскошная оттоманка; узорчатый ковер на стене с прибитыми на нем старинными ружьями, пинжалами и пистолетами, жардивьеры с пахучими цветами, несколько мандолин и гитар, разбросанных на мягких креслах, — все это говорило о вкусах хозяина, и только я со своим овчинным полушубком, арестантским халатом, огромными кожаными рукавицами, — не подходил к этой обстановке. Неожиданно из боковой комнаты выбежала мпниатюрная совершенно белая собачка и весьма резко принялась прыгать вокруг меня и неистово рвать мою шапку. Стоявший за моей спиной надзиратель хотел было улыбнуться, но, вспомнив, что в присутствии начальника это не полагается, крикнул и стал смотреть куда-то в сторону.

— Ну-с, — сказал Черленновский, окончив подписывать и повернувшись ко мне на круглом вертящемся кресле. — Здравствуй!..

— Здравия желаю, ваше высочоблагородие, — ответил я, слегка запинаясь.

шенно изолированных отделений с клетками же, которые расположены в противоположных концах здания и почему-то назывались «монашьюрами».

Представьте себе комнату в три шага длины и два ширины. Слева к стенке привинчена узенькая железная койка, оба конца которой упираются в переднюю и заднюю стенки камеры; когда койка опущена, между нею и правой стеной остается расстояние ровно в один шаг. Маленький столик, табуреточка, узелковое из ржавой жести ведро прикрывающееся парашечное ведро, служащее также и для умывания — вот и вся мебель этой клетки. Прямо над головой, приблизительно на $\frac{3}{4}$ аршина от поднятой руки, идет горизонтальная из длинных и толстых прутьев решетка, отделяющая клетку от высокого сводчатого потолка. Низенькие боковые стенки соединяются посредством вертикальных прутьев с этой горизонтальной решетчатой перекладиной. Маленькая полурешетчатая дверь сделана из толстого листового железа. Окон совсем нет, и свет попадает только из коридора. Ламп тоже не полагается, так что читать и вообще что бы то ни было делать можно здесь только с часов 9—10 утра до 3—4 полудня. О том, чтобы ходить по этой каморочке, нечего и думать, здесь можно только вертеться на одном месте. Правда, в этом карцере чувствуешь себя свободней.

Назначение этих клеток — изолировать арестантов друг от друга. В действительности же, благодаря решетчатым потолкам, здесь можно переговариваться с любой из 24-х клеток. Надзиратели у нас были хорошие, простые и непритязательные русские люди. Они несколько и ни в чем арестантам не мешали и даже сами передавали из клетки в клетку сахар, книги и т. п.

В первый же час моего прихода сюда меня ошеломили ужасный шум и гам. Один что-то читает вслух, другой поет под аккомпанемент своих кандалов, третий во весь голос спорит о чем-то с каторжанцем, который сидит от него клеток на десять дальше, тот перебивает его и, перебиваемый в свою очередь другим, начинает ругаться, да так громко, что вызывает протест своего соседа, которому кто-то издали диктует арифметическую задачку. Затеваются спор, который сразу переходит на личности, всплывают прежние драки и ссоры, — кутерьма эта вполраз длится до 9 час. вечера, когда, наконец, раздаются последний свисток, и все укладываются спать.

Через несколько дней я познакомился с нашими дежурными дядьками и чуть ли не со всеми своими видными и невидными соседями. Из надзирателей меня особенно заинтересовал Корнев, огромного роста, с большой бородой и громким, зычным голосом. Он всем говорил «ты», но ничего не имел против того, чтобы и арестант ему тыкал. Он

мог целыми часами с большим подъемом и увлечением рассказывать о замысловатых разбойничьих похождениях и воровских проделках. За полтинник наличными он охотно доставлял на волю нелегальные письма, приносил газеты, но в то же время с большим усердием порол каторжан розгами, раз что Черлепковский прикажет ему это.

Познакомился я и с некоторыми бессрочными. Из них Абрам Кучерской, стройный, красивый парень, был когда-то бундосцем, потом пошел на «экс» и теперь тинет свою бесконечную каторжную лямку. Глубокоглазый, с звонким голосом Воробьев был сын богатой помещицы; четыре года каторги он получил за содействие убийству недруга и соперника своего приятеля. Вадимов бежать из тюрьмы, он пустил в ход револьвер, кого-то ранил и заработал себе бессрочную. Кочергин, полноватый стихикот и старый профессиональный разбойник, с энергичным лицом и быстрыми глазами, на дороге в Искон, как был с кожными и ручными карматах, бежал из арестантского вагона на полном ходу поезда, но был настигнут в ближайшем лесу. Вакторов, тиходушный и хилый на вид, смиренный себе и богомольный человек, получил бессрочную за то, что с целью грабежа вырезал целую семью, в том числе и маленьких детей. До каторги он был служащим при анатомическом театре клиники и специализировался на препарировке трупов,—отсюда быть может, то хладнокровие, с которым он рассказывал о своих злодеяниях. Из уголовных я запомнил еще одного пожилого мужика, пухлого и всегда чему-то улыбающегося,—осужден он за убийство родного отца, которого хотел ограбить.

Не знаю, к какой категории принадлежал Метинин—голосу с писклявым старческим лицом и хриплым голосом. Охотливый рабочий, потом действительный социал-демократ большевик, входивший в кружок Алексинского, потом партизан-террорист, потом тайный экспроприатор, потом вульгарный грабитель—он долго сидел под смертным приговором, теперь хандрит и тоскует по воле, ругает социалистов и мечтает о крупном ограблении, которое обеспечило бы ему на всю жизнь. Валпчат он себя «анархизмом-индивидуализмом».

К нам в келью, и почти всегда неподалеку от меня, часто приходили также и тех карцерных, которым на четвертый день сидения полагается свет, горячая нища и прогулка. Побудет такой у нас сутки и потом снова идет на трое суток в темную на хлеб и на воду. В таких случаях я всегда передавал им хлеб, чай и сахар и на этой почве поближе с ними знакомился. Большею частью попадали они в карцер за неисполнение приказаний начальства, за драку, за игру в карты, за ножки и т. п., а один мой случайный сосед, мелкий и развращенный воршика Сервитутов, угодил в карцер за то, что восполь-

зовался письмом своего товарища, воспользовался вопреки правилу, на основании которого каторжанин может посылать домой лишь одно письмо в месяц.

Когда в Пскове по почину с.-д. комитетчика, бывшего студента Фридолина и рижского анархиста Озолина, началась эпидемия подачи прошений на царское имя, Сервитутов сделал то же самое, но обратился не прямо к царю, а в Одесское отделение Союза Русского Народа, которому он до этого оказал какие-то услуги. Черленновский, хотя и большой патриот, однако не дал ходу этому прошению, о чем Сервитутов и рассказывал теперь своему соседу по клетке, некоему Иващенко.

Иващенко — высокий с густой золотистой бородкой и темными кругами под глазами, был несомненный душевно-больной, часто перов- ший всякий вздор или вдруг начинавший для чего-то измерять длину и ширину тех камер и коридоров, в которых он сидел. Однако сам он, кстати сказать, уже раза два побывавший в психиатрической больнице, считал себя лишь лозким симулянтом. По всей вероятности его умственное расстройство было вызвано тем самым чрезвычайно распространенным в тюрьме пороком, о котором говорили у него тем- ные круги под глазами. На эту тему между обоими ворышками прои- ходили длинные собеседования, полные сугубых откровенностей и грязнейших подробностей...

Сервитутов попал в карцер прямо из общей камеры. Передавая какому-то Молоденцеву, сидевшему в другом коридоре, тюремные новости: кого и за что порол, кто кого обыграл, кто на воле засыпался и т. д., — он продолжал:

— И что за арестант теперь пошел: один коммунист, другой индивидуалист, третий... ха-ха (тут Сервитутов употребил пару рифмо- ванных нецензурных сравнений). «А если ты индивидуалист» — приводил он слова кого-то из своей камеры, должно быть, политического, — «значит тебе все равно, и ты можешь стать провокатором»...

То же недовольство арестантами, только недовольство иного рода, выразил и сам Молоденцев.

— Понимаешь, Микитка и сычки поступил, а Ванька Боже мой и Андришка Скок так те вот чем занялись: Танька Кучеряная, знаешь, Андришкина Маруха, — рассказывал Молоденцев своему собе- седнику, — наденет это свое манто да шляпо, намажется, наштукату- рится и пойдет на бульвар гостей замаливать. А сычки ейные только того и ждут. Пока гость охает там у нее и кричит, они и обчилят его как следует, а ежели тот скандал поднимет, то они такие фопари ему подставят, что ему и ночью светло будет... Во какие воры

люди теперь... Дешевый народ стал... Все хочет с почетом делать, с кандабобером...

В самой крайней клетке нашего коридорчика сидел некий Бутенис, никогда ни с кем не заговаривавший и всегда державшийся в стороне. Он даже на прогулку почти никогда не выходил. Несколько раз мне удалось видеть его в бане. Достаточно было посмотреть на его странную и блуждающую улыбку и в особенности на его темные с расширенными зрачками и лихорадочно блестящие глаза, чтоб решить, что перед вами душевно-больной. В одиночке, куда он потом перешел, Бутенис окружил себя молитвенниками, раздобыл несколько икон с лампадами, строгойше соблюдал все посты, но почтам вскакивал с койки и целыми часами простаивал на коленях перед иконой Богородицы. Эта набожность очень импонировала вышней и высшей администрации. Как-то с большим трудом удалось мне разговориться с ним.

— За что вам каторгу дали? — спрашиваю.

Бутенис густо покраснел и, глядя куда-то в сторону, ответил односложно:

— Жену зарубил... ребеночка... и тещу... В воскресенье... пьян был...

Мотивы убийства ему самому неясны. Жену и ребеночка он очень любил, про тещу худого слова сказать не может.

— Так, зверь пробудился... Нашло что-то... Знаете, в каждом человеке зверек такой сидит... — добавил он в виде комментария после долгой паузы.

Глядя на измученное лицо Бутениса, на его согбенную фигуру, на этот убогий арестантский бушлат, я невольно подумал:

— Отчего он в кандалах... Отчего он на каторге, а не в санатории для душевно-больных?

* * *

П. И. Черленювский имел привычку обходить по праздникам заключенных и расслушивать их заявления. Смотря по настроению, он легко удовлетворял всякие просьбы, освобождая от карцеров, или же, наоборот, приказывал выпороть кого-нибудь или посадить в темную. В ближайшее воскресенье он как раз обходил клетки. Я решил попросить перевода в одиночку или в один из «монастырей», где свету немного больше и где можно хоть чем-нибудь позаняться. Как раз начальник кто-то задержал, и выслушал меня его старший помощник Слясский.

— Ну, что там? — крикнул он, подходя вплотную к полуоткрытой двери моей клетки. От него несло каким-то гнилым и скрадным запахом, который заглушался крепкими и вульгарными духами. — Что?.. Перевести?.. Вот новость... Ты просишься туда из-за

первом, другой оттого, что откуда вид на улицу, третий потому, что хочет на баб смотреть...

— Но, согласитесь, господин помощник, что есть разница в...

— Во-первых, я тебе не «господин помощник», а «ваше высококородие» — что?! не знаешь как отвечать?! — а во-вторых, сказано, что не перевожу, и зачем тебе мудрить, голову морочить...

Круто позернувшись и так и не дослушав меня, он ушел.

Однако, когда, в виду ремонта, понадобилось освободить все клетки, сам Петрушка распорядился перевести меня в одиночку. Своим одиночным корпусом Черленювский очень гордился, часто водил туда своих знакомых, особенно дам, причем для большего впечатления, чтобы воздух был всегда чистый — раз-навсегда запретил всем сидящим здесь курить. Действительно, в одиночках всюду ослепительный блеск и чистота. Стены в камерах до самого потолка окрашены светло-розовой масляной краской, а обитые железом двери и полы сверкают своей белизной; окно, сравнительно большое и светлое, находится от пола на расстоянии чуть-чуть выше локтя, причем подоконник не цементированный, а деревянный, и не покатый, а ровный; в каждой одиночке электрический звонок; парашка на турчике постоянно на глазах, а помещается в особом закрывающемся углублении в стене; крашеная полка с медной посудой, выдвинутый ящик для суконок и песку, плевательница с песком, — все это очень похоже на одиночки других тюрем.

Петрушка был большой самодур, но в заведенных им порядках были и такие стороны, которые весьма скрапывали тяжелую в общем обстановку Псковского центра. Обед (за исключением, впрочем, ужина) был густой и обильный, а в день своих именин начальник на свой счет угощал всех арестантов большой порцией мяса. Можно было иметь при себе собственные полотенца, чулки, собственное белье, все это стиралось на казенный счет. От чинов надзора Черленювский требовал вежливого обращения, и достаточно было заключенному, которого надзиратель обругал матерной бранью, пожаловаться на него, как Черленювский непременно оштрафует надзирателя. На Пасхе Черленювский, кстати, хороший музыкант и председатель художественного кружка, устроил спектакль, подобрал превосходный хор и оркестр, — спектакль этот был поставлен только и с большим вкусом, и неребывали на нем почти все 800 арестантов. За редкими исключениями, начальник аккуратно и своевременно расковырял каторжана и давал обычную скидку, тогда как даже администраторы, слышавшие за либералов (вроде, например, вологодского — Татарова или варшавского — Лященко) безжалостно держали в кандалах и лишили скидки (по два

месяца с году), если каторжанин только два за весь срок посидит в карцере.

У нас в Пскове каждая камера сама выбирала старосту, который и представлял ее во всех пужных случаях. Кухня, библиотека, лавка, отчасти и больница находилась в заведывании выборных от арестантов, которые исполняли также и ряд обще-конторских работ. В силу неизбежности, им предоставлено было право свободно ходить по всем камерам и отделениям тюрьмы. Благодаря этому, а также благодаря тому, что наш тюремный священник отец Николай Колиберский был в высшей степени гуманный и услужливый человек, а один из фельдшеров был в высшей степени набожн на деньги, у каторжан почти никогда не прерывались сношения с волею, не переводились газеты, а библиотека беспрерывно обогащалась книгами самого радикального содержания.

Еще важнее было то обстоятельство, что большинство политических, где бы они ни сидели, организованы были в одну коммуну: каждый внесли сколько мог денег, общая сумма делилась между всеми поровну, а вписку уже каждый делал сам от себя, покупал то, что ему лично требуется.

Таким образом, в отношении питания между имущими и немущими не было существенной разницы, и в то же время не было мелочного уравнивания всех по одному ранжиру. Такой порядок имел огромное моральное значение, сплавля всех в одну семью, содействовал выработке коллективистических чувств и настроений. Несомненно, что живя псковские каторжане так, как обыкновенно живут арестанты в других петражах, т.-е. практикую каждый из них мелочной кобасно-табачной индивидуализм или, в лучшем случае, устранившись спи лишь маленькими изолированными группками, жизнь под ярмом Петрушки была бы во сто крат тиротней и невыносимей.

Обслуживание этой стороны каторжного житья-бытья доставляло множество хлопот, приходилось прибегать к разным уловкам, но заведывавшие этим с.-р. М. Фельдман и аптежник П. Арсентьев так умело вели дело, что начальство обо многом и не догадывалось даже.

Положительные и отрицательные стороны псковских порядков как-то странно нерепутывались. Своей репутацией усмирителя и исправителя каторжан Черлениковский дорожил чрезвычайно. Прилагая все усилия к тому, чтобы на волю не проливали сведения о его жестокостях, он в то же время предпочитал не доносить высшему начальству о таких провешествиях, которые могут бросить тень на «его» тюрьму. При этом он не останавливался даже перед скрытием дел, обязательно требовавших судебного расследования. Так, однажды шесть каторжан

пропилили в бане потолок, пробрались на чердак и спустились на скрученных простынях на улицу. Какая-то баба увидела их, подняла крик, проходивший мимо офицер вызвал караул, и все беглецы были тут же задержаны. Передай начальник это дело суду, каждый из беглецов получил бы добавочных 8 — 10 лет каторги, но он ограничился тем, что выпорол их розгами (каждому ровно по сто ударов...); истерзал и искромсал их так, что некоторые тут же падали в обморок, но зато самое дело похерил.

Тюремной инспекции в Искове тогда еще не было, и Черлениновский чувствовал себя полным и неограниченным властелином. Как-то в тюрьму приехал прокурор и, между прочим, распорядился, чтоб бессрочные (согласно закону), были закованы не только в ножны, но и ручные кандалы. Спяты были уже особые, с разрезами по бокам, рубахи и бушлаты (наручни предполагалось сделать с глухими заклепками), но Черлениновский почувствовал себя оскорбленным вмешательством какого-то штатского и распорядился снять со всех бессрочных варучни, — льгота, которой каторжане не пользовались даже в централах с более мягким режимом.

* * *

Порядки эти были бы совсем сносны, не будь Черлениновский самодур и вредостник, любивший во всем строжайшую дисциплину и субординацию. Впрочем, он еще готов был допустить *внутреннее* несогласие с его распоряжениями, но приходил в бешенство, если кто-нибудь выражал это наружно. Философия нашего начальника очень коротка: по обе стороны его персоны идет ряд ступеней подчинения. Сам он должен повиноваться губернатору, потом начальнику Главного Тюремного Управления, потом министру, потом государю, потом Богу. Зато с другой стороны, ему обязаны подчиняться помощники, вадэнратели и арестанты. И без никаких. Подчиняться слепо, без рассуждений.

— В душе ты можешь думать обо мне, что хочешь, — говорил он с.-д. Д. Шилдеру, — но наружно ты предо мной смирайся и знаки почтения оказывай. Вот, например, я стою в церкви... Идет богослужение... Про себя я, быть может, в это время о девочках — хе-хе-хе — думаю, но все, что подается, исполняю, к кресту прикладываюсь, молюсь, как должно... Так вот...

Вообще, отношений, выходящих за пределы слепой дисциплины, Петрушка и не представлял себе.

— Раньше ты беспрекословно исполнял приказания революционного комитета, — утверждал он в одной из своих бесед с максималистом Сафоновым, — но теперь забудь о партии. Теперь ты каторжник,

принадлежить к моей, к моей партии и должен слушаться моих, только моих приказаний.

Будучи одно время заведывающим дисциплинарным батальоном, Черлениовский и в центре до фанатизма привержен был ко всему, что напоминало казарму. Павшее же против всех проявлений арестантского своеволия он считал розги, благо такого рода тенденции весьма поощрялись Главным Тюремным Управлением во времена Щегловитова и третьей Государственной Думы. До этого, напрым., когда Черлениовский усмирал годный бунт смоленских каторжан, он не посмел даже тронуть ни одного арестанта, хотя поволов к этому было с его точки зрения более, чем достаточно.

Первой жертвой его самодурства явились каторжане, пришедшие из Петрограда. Было это в феврале 1909 г. Настроение у всех было бодрое, душевная свежесть и сила сопротивления не успели еще поблекнуть и ослабеть.

Вот входит к ним в камеру Черлениовский в сопровождении многочисленной свиты.

— Здорово!—говорит он.

— Здравствуйте!—отвечают ему все 32 каторжанина, среди которых больше половины было политических.

— Это что за «здравствуйте»?... Нужно отвечать: «здравия желаем, ваше высородие»... Разве вас этому еще не научили? Говорили ли вам об этом?

— Говорили.

— Ну, так вот: «здорово!»

— Здравствуйте!

— Ах, мерзавцы, негодни!—вскричал Петрушка.—Вы посланы сюда на исправление, должны во всем слушаться меня. Я сам прошел такую школу, когда был в кадетском корпусе... Я всегда вел себя образцово, потому и в люди вышел, чина полковника добился... Ну, здорово,—стал он подходить к каждому в отдельности, но и на этот раз ничего не добился. Возбужденный, весь покрасневший от гнева, Черлениовский стал размахивать кулаками и что-то крича вышел из камеры.

На следующий день был праздник. Начальник, иногда как-то совмещавший холодную жестокость с сентиментальным гуманизмом и к тому же любивший произносить речи, снова пришел к каторжанам и, не здороваясь, сказал им:

— Вот что, ребята: я, как христианин, человек милосердный... За то, что вы не отвечаете как следует, надо бы вас выпороть, но ради праздника я вас не трону... Надеюсь, однако, что впредь вы будете слушаться...

Ему никто ничего не ответил. На третий день началась сортировка по категориям.

— Здорово!—твердит свое начальние, входя в камеру.

— Здравствуйте!—твердят свое арестанты.

— Ага, мерзавцы!—сразу перешел на свой обычный тон Черлениковский,—вы все упорствуете. Я, как отец, ласков с вами, а вы озорничаете, дурака валяете. Я теперь должен разместить вас по разным камерам, но, пока вы бунтуете, сделать этого не могу: ведь вы мне всех остальных заразите. Я вас раньше исправить должен...

— Господня начальние,—хотел было ему что-то сказать Сафонов.

— Какой, сукин сын, я тебе «господня начальник!»... Я полковник, меня вся Россия знает, я смоленский бунт усмирал, все начальство меня почитает!.. Я тебе не «господня начальник», а «наше выскородие»... Я вижу, Сафонов, что ты здесь главный зачинщик. Ты, ваверно, связи с заграницей имеешь, думаешь, что я испугаюсь террористов... Но я этого не боюсь, не боюсь!.. За меня все надзиратели оомстят вам... Отомстите?—обратился он к стоящим тут же помощникам и надзирателям.

— Отомстим!.. Отомстим!! — гаркнули те в один голос, хватаясь за кобуры своих револьверов и делая страшные гримасы.

— Ну, так взял его, мерзавца!—крикнул Черлениковский, указывая рукой на Сафонова.—всыпать ему горячих.

Надзиратели хватают Сафонова и тащат его вниз для экзекуции. Остальные каторжане обомлали. Они никак не ожидали такого конца. В одеянии они не знали, что делать.

— Это насилие, насилие!—первым крикнул с.-д. Пылаев из кронштадтских матросов.

— Молчать, мерзавец!—подскочил к нему начальник.

— Сам мерзавец!—не вытерпел Пылаев.

— Что?..—ахнул весь воблудневший Черлениковский.—Взять его!.. Сто... Сто розог... Ну, а ты, Иванов, будешь отвечать как следует — подошел он к одному рабочему, случайно свихнувшемуся на пути уголовщины, но благодаря общению с политиками ставшему снова честным человеком.—Ведь ты, Иванов, не политик, ты мой, ты парень хороший... Скажи, будешь?

— Нет,—отрезал тот.

— А, и ты с ними. Ну, так ты тоже *сто* получишь. Взять его.

Надзиратели потащили и Иванова. Кроме указанных, к ста розгам был приговорен еще с.-р. Гуменский, отказавшийся вовсе разговаривать с Черлениковским. За ним последовали: А. Поддубовский, М. Фельдман, С. Рысс — талантливый студент, умерший потом от

чаютки, Ткаченко, Андреев и др. Всего назначено было к порке 16 человек. Более слабым здоровьем, вроде максималиста Рывкина и с.-д. Фридолина, начальник не трогал, а когда с.-д. Бернштейн упал в обморок, Черлениовский даже стал ласкать его и приговаривать:

— Успокойся, успокойся, голубчик!.. Я тебе ничего не сделаю... Ты ведь не согласен с этими подлецами!..

— Оставьте! оставьте меня!—кричал весь дрожа от нервного потрясения Бернштейн. Потом он вдруг стал распарывать соломенный тюфяк и хотел было поджечь его. Бернштейна с трудом успокоили и отвели в одиночку.

Некоторые из подлежащих порке были предварительно посажены в карцер. Был момент, когда двое из них—Фельдман и Сафонов—видя, что дело принимает угрожающий оборот, решили сдаться и просили начальника дать им возможность повдвигать в этом смысле и на остальных. Но вошедший в азарт Черлениовский не пошел навстречу этому.

В комнате для свиданий он и велел учинить расправу. Каторжан силой раздевали, обнажали, покрывали серым арестантским одеялом в, держа за голову и ноги, секли розгами по голому телу. Некоторые из истязаемых не выдержали и после 15—20 ударов, а некоторые и раньше, кричали:

— Сдаюсь!.. Сдаюсь!..—и их сейчас же отпускали ¹⁾.

* * *

После этого в Псковском центре пошла полоса экзекуций. Вплоть до зимы 1911 года розга свистела во-всю. Бывали периоды, когда пороли каждый день. Ни возраст, ни характер дела, за которое арестант осужден, ни образовательный ценз, ни даже общественное положение,—ничто не останавливало Черлениовского.

И за что, за что только у нас не пороли!

¹⁾ Когда с.-д. фракция третьей Государственной Думы узнала об этой трагической истории, она нашла доступ к потерпевшим и просила их прислать подробный материал для внесения запроса. Но ведь известно, что нашему брату политику, особенно интеллигенту, мало быть просто человеком с непосредственным чувством и простым здравым смыслом. Сбравшись вместе, тщательно с трех или с четырех точек зрения обсудив предложение думских с.-д., каторжане, среди которых преобладали максималисты и с.-р., вынесли резолюцию: материала для запроса не давать.

Мотив? — А вот: принципиальным сторонникам бойкота третьей Думы не к лицу апеллировать к этой же Думе...

В своей просьбе с.-д. фракция получала категорический отказ.

Не исполнил приказания начальства (масса случаев), передал табак в одиночку (случай с Познахирко), сорвал на прогулке цветок (случай с Пестуном), во время проверки расстегнулась пуговица (случай с Андреевым), якобы переговаривался с кем-то через kloзетную трубу (случай с Фридзоном); засыпался с жестянкой, припрятанной для разрезки хлеба; протестовал против пребывания в камере «лятавого», т.-е. предателя (случай с тем же Пылаевым, на этот раз кроме сотни розог наказанным еще дополнительно закованной в кандалы и лишением скидки); жалоба на плохой обед (случай с Бугаевым); нежелание принять от Петрушки пасхальное яйцо (случай с Ник. Ивановым), — да разве перечесть все случаи...

Характерна последняя история.

Однажды в Пасхальную ночь открывается дверь 21-й камеры, и надзиратель кричит:

— Выберите одного, чтоб в церковь пошел, только не политика!

— Эх, пойду я на баб смотреть! — сказал, подмигнув своими раскосыми глазами «Комик», так звали нашего присяжного весельчака и балагура Иванова.

Кончилась заутреня, стали расходиться. Черлениовский похристосовался со всеми помощниками, с их женами и сестрами, в отношении же надзирателей и арестантов ограничился тем, что давал каждому из них по яичку. Вот наш Иванов чинно подходит к аналою, целует крест и идет назад.

— Христос Воскресе! — говорит ему вслед Петрушка, но тот не обращает на это внимания и идет к выходу.

— Иванов, сюда! — возвращает его начальник, — почему не берешь яичко?

— Не хочу. Вы нас порете, а потом яйцами оделяете!..

— Ну, ладно, потом поговорю с тобою!..

На другой день рано утром, едва кончилась проверка, как в камеру входит Черлениовский и обращается прямо к Иванову.

— Ты почему, сукин сын, у меня яйца не взял?.. Ты разговлялся, казенное яйцо ел, а моего и в руки не взял...

— То мне полагается от казны, а от вас лично ничего брать не хочу... Вы меня пороли, издевались, вы мой враг, враг!..

— Ах, прохвост! — прошипел начальник. — Разве я враг твой? Ведь я начальник твой, о тебе же забочусь!.. Твое счастье, что сегодня Пасха, и я не хочу брать греха на душу... Но я тебе припо-мню это!..

Дней через десять, когда 21-я камера совершала прогулку, с будки, стоящей возле деревянного прогулочного мостка, раздалась команда:

— Смирна-а! Шапки долой!

— Это какая камера? — осведомился его высокоблагородие, пристально всматриваясь в каждого арестанта. Увидав Иванова, он вдруг вспомнил:

— Ты что же это на меня косо смотришь?.. На своего начальника надо смотреть прямо... Двадцать пять... крикнул он сопровождавшему его отделенному, и Иванова отвели в баню, «высыпали» 25 розог и посадили в клетку...

У бессрочных, находившихся в одной из общих камер, готовился побег, но двое из них же — профессиональный вор Худинев и случайный экспроприатор Николаев, рыхлый молодой человек с бабьей корпулентней, страдавший припадками, — довели об этом Сласскому. Ничего не найдя у них (перед самым обыском бессрочные успели спрятать пилки и проч. в трубчатые рамы от кося), Сласский на всякий случай посадил некоторых в карцер. Начальник в это время был в отпуску. Приехав в Псков и узнав о таком попустительстве со стороны своего помощника, Черленновский был вне себя от досады. Как-то встретив на прогулке группу малосрочных политиков из одиночного корпуса, Петрушка, желая сорвать на ком-нибудь свой гнев, стал кричать на них:

— Вы что же это, мерзавцы, бежать у меня задумали... (побег вовсе готовился бессрочными арестантами из общего корпуса). Я вам покажу как бежать... Я приструню вас, сокращу...

Заметив среди гуляющих максималиста Малашинина, он велел ему выйти из рядов и тут же в присутствии всех стал распекал его самыми бранными словами. Тогда с.-р. Голубев, всегда такой спокойный и уравновешенный, не выдержал и, подойдя к Черленновскому, говорит ему своим тихим голосом:

— Ваше высокоблагородие, нельзя ли понежливее.

— Что?.. Что ты сказал?.. Фамилия как... А, Голубев... Ладно... Пятьдесят — отчеканил начальник, и Голубева (кстати человека в летах и учителя по профессии) выпороли.

Сидел у вас некий Клементьев, осужденный в каторгу за убийство в припадке ревности. Еще до этого он обнаруживал признаки душевного расстройства. Однажды он пожаловался Петрушке, будто все семь таких-то арестантов хотят его убить. Начальник был как раз в подходящем настроении и, не задумываясь, приказал выпороть всех указанных Клементьевым. Впоследствии выяснилось, что донос на них — выходка мнительного и ненормального человека — сделан совершенно зря. Посетив как-то больницу, где в это время находился Клементьев, Черленновский говорит ему:

— Из-за тебя, мерзавца, я восемь человек невиных наказал...
Смотри, как только выздоровеешь, сейчас же от меня сто получишь...

Угроза эта, перспектива получить сто розог так подействовала на и без того душевно-больного Клемантьева, что он решил предупредить это и в ту же ночь, привязав полотенце к ноге, надся петлю на шею и удавился. Утром нашли его похолодевший труп. Было это 30 сентября 1910 г.

* * *

Тяжелее всех было положение бессрочных. Их не выпускали ни на какие работы, за малейший проступок наказывали строже, чем срочных каторжан. Представьте себе людей, которые сплошь и рядом находились раньше под смертным приговором и которым в будущем предстоит длинный ряд лет, полных тоски, скуки и безрадостного прозябания. Почти все бессрочные сидели у нас в двух больших камерах и так как состав их почти не менялся, то всем приходилось чуть ли не несколько лет подряд сидеть с одними и теми же лицами. Уйти из общей камеры некуда, заняться какой-нибудь работой тоже не дают.

Удивительно то, что между ними все время шли пелады и ссоры, что дразням и сплетням конца не было, что вражда слепая, порой и беспричинная вражда одних к другим расстраивала нервы и без того расстроенных людей. Особенно часто ссорились между собою уголовные с политическими. Главным образом, в тех случаях, когда кто-нибудь из первых пытался возродить традиции бывлой каторги и корчил из себя «Ивана», диктатора и узурпатора целой камеры.

Так в Искове в 20-й камере пробовал «поиманствовать» пенкий Шульц, здоровенный детина, старый вор и разбойник, бежавший с Сахалина и совершивший отвратительное по своему зверству преступление: в Витебске он вместе с другим сахалинцем вырезал целую семью, в том числе цару маленьких детишек. Здесь в камере Шульц забирал себе и своим клепетам самый густой суп, самую жирную кашу, часто перехватывал записки и, как человек мелочно самолюбивый и придирчивый, заводил скандалы со всеми, кому он не нравился. За Шульца в таких случаях вступались другие уголовные бессрочники, особенно зверь-разбойник Викторов, грабитель Слесарев — высокий и могучий красавец со жгучими черными глазами, конокрад Любковский, стократно битый и с поломанными ребрами, а также один бывший с.-р. максималист, окончательно ассимилировавшийся с уголовщиной, молоденький и всегда жадно и анти-интеллигентски настроен-

ный Иванов, тоже питерский мастеровой и однофамилец другого Иванова, прозванного «Комником».

Во главе же камерной оппозиции стояли политический Андреев и один льнувший к политикам вор, славный и хороший малый Горбулев.

Когда и бочке пороху подносят спичку, она взрывается. Так и здесь: достаточно было, чтоб Шульц забрал себе слишком уж большую порцию каши, как долго сдерживаемое против него раздражение буйно взорвалось. Мало-по-малу *и пошла стенка на стенку*. Шульц выхватывает большой нож, бросается с ним на Горбулева, наносит ему несколько ран и первый начинает кричать на весь коридор:

— Караул... Убивают...

На помощь Шульцу подсаживают его соратники:

— Бей их... Вали, ребята—орет Виторков, неуклюже размахивая пожом.

В ответ на это оппозиция начинает швырять в уголовных медными бачками, чайниками, метельниками, аспидными досками и кружками. В это время уголовные из соседней 21-й камеры, чтоб поддержать своих, передают им через потайную дыру несколько ножей. Видя это, оппозиция хватается за скамейки и давая ими утюжить своих недругов, особенно самого Шульца. Топот тяжелых, с круглыми железными гвоздями арестантских котов, звон вандалов, крики и отчаянная матерная брань, стоны и уханье дерущихся, звуки затрепав, туманы, которыми дубасят и косят друг друга разъярившиеся «зачиники», свистки встревоженных надзирателей,—все это слилось в адскую какофонию. На тревогу прибежал сам Петрушка. Распорядившись отвести окровавленных Шульца и Горбулева, а также двух тоже порезанных политиков в больницу, он тут же привазал всех остальных, даже тех, кто умудрился остаться в стороне от побоища, выпороть розгами. Услышав об этом, те двое политиков, сочувствия ради, отказались идти в больницу, и Черленковский распорядился и их—окровавленных и нуждающихся в лечении—тоже выпороть, их даже пороти с большим азартом, чем остальных.

После экзекуции Черленковский хотел было снова посадить всех передравшихся между собою в прежнюю камеру, но Андреев (кстати получивший на этот раз сто розог, главным образом на том основании, что он был на плохом счету у Петрушки) заявил ему:

— Я скорее покончу с собой, но ни за что не буду сидеть с этой публикой...

Тогда начальник перемены свое решение и рассадил всех по клеткам, наказав их вдобавок еще тем, что целый месяц держал на

хлебе и воде, с выдачей горячей пищи и выпуском на прогулку один раз в четыре дня.

Весть о такой расправе, огульной и жестокой, быстро разнеслась по тюрьме и всех возмутила. К этому времени—зимой 1911 г.—тифноз, наведенный псковским режимом, начал проходить, арестанты стали выходить из состояния угнетенной апатии и пассивности. Для группы политиков, настаивавших на необходимости положить конец Петрушкиным порядкам, настала теперь пора действовать.

Всего лишь несколько месяцев тому назад, когда Слясский вышород библиотекаря Николу, очень мало нашлось охотников протестовать против этого, несмотря на то, что Николай пользовался всеобщим уважением и любовью. Теперь же сравнительно легко удалось образовать группу самообороны. По камерам пущены были воззвания о голодовке, как единственном способе добиться перемены к лучшему. При этом шесть человек, у которых на руках был яд, решили, в случае неудачи предстоящей голодовки, отравиться и этим обратить на Псков внимание общества и партий.

Кроме того, во многие газеты удалось тайком переслать ряд корреспонденций, а социалистическим партиям в России и за границей было послано особое заявление, в котором политические каторжане Псковского центра предупреждают о назревающей катастрофе и просят заступничества.

Еще до этого политики, независимо от обще-хозяйственной коммуны, организовались в отдельные партийные группы. Первое место как по своей численности, так и по налаженности организационного аппарата, занимали у нас с.-д., те самые с.-д., которые вначале были в подполье и которых большинство каторжан, с легкой руки максималистов и анархистов, третировало чуть ли не как миролюбивых либералов. С.-д. группа успела даже выпустить один или два номера тюремного журнала.

В подражание социалистам организовались и анархисты. Об этом проведало начальство: в бане и клозете была найдена их переписка между собою. Выпоров совершенно несомнительно заподозренного в одной из записок одесского анархиста Веницкого, Черлениовский явился в камеру к бессрочным и, поздоровавшись, провозгласил:

— Кто из нас революционер, выходи.

Никто не вышел. На повторный вопрос вышло несколько человек.

— Еще кто революционер?

Вышло еще два-три политика.

— Переписать их фамилии,—распорядился начальник.—В случае чего, они первыми отвечают. Пусть они забудут, кем они были раньше. Теперь они все принадлежат к моей партии.

Чтобы пресечь всякую дальнейшую переписку между каторжанами, он велел отобрать тетради и карандаши не только у непосредственно скомпрометированных и не только в тех камерах, в которых они сидели, но у всех 900 с чем-то каторжан, разбросанных по разным корпусам и коридорам.

Это еще больше озлобило арестантов.

23 ноября 1911 г., как бы в ответ на газетные корреспонденции, в Псков приехал сам начальник Главного Тюремного Управления Хрулев. Узнав об этом заранее, арестанты решили использовать это обстоятельство и разоблачить до конца Петрушкины порядки. В сопровождении какого-то подозрительного пажа из охранного отделения Хрулев обходил все камеры и всех внимательно выслушивал. Жалоб накопилось так много, что после обхода Хрулеву пришлось до поздней ночи вызывать к себе каторжан для записи их показаний.

Вводят, наприм., к нему бывшего солдата Лямова, осужденного на 15 лет каторги за дерзкий ответ оскорбившему его офицеру. Черлениовский всегда с особенной злобой относившийся к политическим из военных, сразу не влюбил его, около двух лет держал в клетке и долго не расковыливал.

— За что же, полковник, вы его в кандалах держите, — спрашивает Хрулев: — ведь законный срок давно прошел.

— Ох, ваше превосходительство, самый главный здесь агитатор. Замечен во многих проступках, — отвечает Черлениовский.

— Покажите ка жалобную книгу...

Смотрят, и оказывается, что Лямов ни разу не сидел в карцере и ничего предосудительного за ним не числится. Хрулев пожимает плечами. Не меньше удивляется он, узнав, например, что все находящиеся в больнице, на том только основании, что им выдают по дватри кусочка сахара в день, в отличие от здоровых каторжан, лишены права делать обычную выпивку на собственные средства. Записал он также и жалобы каторжан, сидевших в одиночках, которым, в том числе и сидевшим там по собственному желанию, Петрушка запретил курение табаку. Особенно много советов пришлось ему выслушать от наказанных розгами.

— Ну, что же, — отвечал он многим своей старостинской репликой, — было да сплыло... Дело прошлое, надо простить... простить надо...

Черлениовский никак не ожидал такого потока жалоб, да еще в таких небывало-смелых выражениях — и это от каторжан, всегда трепетавших его, всегда безропотно ложившихся у него под розги. В первые дни после отъезда Хрулева он ходил словно побитый, но постепенно пришел в себя и, как водится, стал искать зачинщиков.

Само собой разумеется, что такой истинно-русский патриот как Черленювский, сразу решил, что обыкновенный русский человек не способен без постороннего наущения и подстрекательства кричать, когда ему больно, и сопротивляться, когда его притесняют. Ясно, что виноваты здесь «иностранцы» и среди них евреи—эти классические, еще со времен Моисея и Пророков, агитаторы и смутьяны. Начальник приказал составить подробный список всех каторжан иудейского вероисповедания, собрал их в один из коридоров общего корпуса и, величественно восседал на стуле, стал допрашивать каждого из них в отдельности. Он думал, на основании подобных бесед, узнать вероятных организаторов и добраться до корня смуты. Каторжан, ответы которых показались ему наиболее значительными, он отмечал на особом листе. Однако, до расправы с ними так и не дошло.

* * *

Региния Хрулева, в сущности, ни на йоту не изменила положения каторжан. Карцеры попрежнему редко пустовали, розги попрежнему редко лежали без применения. Все-таки чувствовалось, что специфически псковский режим пошатнут, что в нем пробита брешь, что перемена к лучшему неизбежна. Сами каторжане получили наглядное представление о том впечатлении, которое может произвести согласованное выступление всей арестантской массы. Долго накопившееся раздражение нашло себе неожиданный исход.

Когда 11-я камера вышла на оправку, максималист Спивак и с.д. Завицкий вдруг, даже не сговорившись специально с другими камерами, стали кричать:

— Да здравствует голодовка!.. Товарищи, присоединяйтесь!.. Подать сюда начальника!..

С этими возгласами они стали подходить к решетчатым дверям камер второго коридора. Разумеется, что Спивака и Завицкого сейчас же отвели к начальнику, ну а этот опять-таки, разумеется, сейчас же прибег к своему универсальному средству: выпорол и посадил в темную на семь суток. Расправившись с ними, Черленювский прибежал в корпус, стал обходить все камеры, всюду произносил речи, заканчивая их так:

— Кто здесь за голодовку, выходи в сторону!..

Таким образом, он сам же осведомлял о происходящем тех, кто этого еще не знал, и невольно послужил посредником в организации общего выступления. Всех примыкавших к голодовке тут же отделили, обыскивали и переводили в отдельную камеру, причем некоторые тут же утомлялись карцера.

— Подожди, кровосийца,—говорит начальнику экспансивный и пылкий Наум Коган, меньшевик, осужденный по делу о динамитной лаборатории в Ростове на-Дону:—ты теперь из нас кровь пьешь, но то же и мы с тобой потом сделаем:

Черлениовский был ошеломлен.

— Что он говорит!—переспрашивает он в изумлении у стоявшего позади него старшего. От неожиданности и волнения Петрушка снял фуражку и стал нервно проводить рукой по лбу.

«Ну и времена настали — говорило его полное недоумения и растерянности лицо.—Или свет вверх дном перевернулся, или я сам распустил этих прохвостов»...

Коган был тотчас же закован в кандалы и отведен в карцер, где он, уж не знаю по какому поводу и для какой цели, разорвал рубашку, привязал доску ее к вентилятору, что помещается внизу возле дверей карцера, и надел петлю на шею. Надзиратель как-то своевременно заметил это, и до самоповешения у Когана не дошло.

Вообще, нужно заметить, что настроение у голодовщиков было отчаянное. Многие решили, в случае неудачи этого выступления, принять яд, и несомненно привели бы в исполнение это страшное решение, продиктованное безысходной тоской и мукой, переносить которые дальше становилось невозможным.

Из восьмисот с лишним каторжан к протесту присоединились около 150—цифра весьма солидная, если иметь в виду как пестрый состав каторги, среди которой преобладают уголовные, так и террористический режим, всех и все придавивший. Требования, выставленные арестантами, были невелики: отмена порки; изоляция лягавых; разрешение выпiski продуктов два раза в месяц, а не один раз в четыре недели; выдача письменных принадлежностей; расковка тех 5—6 политиков, которых заковали вторично без достаточных оснований; наконец, шестой пункт требовал, чтобы одиночные камеры предоставлялись, главным образом, неврастеникам и больным...

Из этих требований пункт относительно лягавых требует пояснения. На арестантском жаргоне «лягавыми» или «сунами» называются те субъекты, которые с целью выслужиться перед начальством, доносят ему обо всем, что творится в камерах: о готовящемся побеге, о спрятанных пилках или игральных картах, о циркулирующих «вшивах» (записках) или о недоброжелательных отзывах про администрацию и т. п. До революции пятого года, когда вся тюрьма жила согласно традициям воровского мира, традициям, свято хранившимся с незапамятных времен, таких «лягавых» просто «пришивали», т. е. убивали или калечили. По понятным соображениям, начальство брало этих «суе» под свое

особое покровительство, держало их отдельно и всячески изолировало, раз что такой «лягавый» засыпался, т.-е. стал уже всем известен. Их обыкновенно держали по одиночкам или же собирали в одну камеру, в так-называемый, «сучий кутек» или «сучий департамент».

Наш же Петрушка, хотя и презиравший всех этих доносчиков, услугами их пользовался не стесняясь, а главное, вовсе и не думал их изолировать. За малейшее посягательство на их неприкосновенность, он нещадно наказывал. Так, когда с.-д. Пылаев, бывший тогда камерным старостой, в самой вежливой и корректной форме, попросил одного лягавого уйти из камеры, Черлениновский, которому предатель этот пожаловался, выпорог Пылаева (сто розог), вторично заковал в кандалы и, кроме того, лишил его обычной скидки. Пребывание в одной камере с заведомыми предателями и шпионами, что может быть тягостнее и мучительнее этого...

Голодовка, между тем, принимала серьезный оборот.

Чтоб одним ударом парализовать столь энергичное выступление арестантов, начальник выбрал из них человек 70 в одну камеру и посадил их на карьерное положение. Из камеры этой вынесены были столы, скамейки, матрацы, соломенные подушки и одеяла, причем оправка должна была производиться не в уборной, а в самой камере.

Поступить так Черлениновский не имел ни малейшего права, так как мирный и спокойный отказ от принятия пищи—не есть преступление или проступок. Впрочем, навью требовать от крепостника и самодура, чтоб он считался с какими-то правами и юридическими нормами. Но именно тем, что Петрушка собрал вместе такую массу протестантов, он сам же создал обстановку, в которой голодовка должна была пройти с наибольшим упорством. Так и было: наиболее отважные и популярные каторжане своим примером поддерживали бодрость в остальных. Голодовка проходила *без воды*—самый мучительный вид голодовки, обстоятельство, которое показывало, что это была не пустая демонстрация, а серьезнейшая борьба. С общего согласия товарищи, отправляющие служебные функции и бывшие нелегальными посредниками, не участвовали в голодовке. Не участвовала в голодовке и часть политиков—одни, страха ради, другие потому, что совершенно не верили в успешность борьбы с Петрушкой. Зато в голодовке применили некоторые из уголовных. Несколько больных, продолжая принимать пищу, заявили о своем сочувствии товарищам, но начальник крикнул им в ответ:

— Таких мерзавцев мне не надо,—и распорядился *перевести их из больницы* в ту самую сборную камеру, где сидели участники голодовки.

Соц.-дем. Усенко, техник, осужденный вместе с Котаном за организацию крупной динамитной лаборатории в Ростове н/Д, был все время против голодовки и даже агитировал против нее. Когда же она фактически началась, он вызвал Черлениовского в слесарную мастерскую, где в то время работал, и в присутствии всех заявил ему о своем присоединении. Петрушка тут же приказал выпороть его и посадить в одиночку.

— Ты, прохвост, должен был заявить об этом мне пачеице, — мотивировал свое распоряжение начальник. — Зачем других смущаешь!..

Несмотря на ужасную, прямо невероятную тесноту (камера, в которую начальник напихал 67 человек, предназначена была для 23...) первый день голодовки прошел удивительно бодро, — шуткам и смеху не было конца. Сами помощники и надзиратели не могли не пропикнуться уважением к стойкости голодовщиков, и поднимали на смех тех из них, кто скоро сдавался.

Однако, и в настроении остальных вскоре произошел перелом. Спать сповалку на совершенно голом полу, недостаток свежего воздуха, отсутствие пищи, — а главное, — жажда, мучительная и изнурительная жажда, которая туманила мозг и с острой болью давала чувствовать зависимость духа от материи, психологии от физиологии — все это нарушило равновесие не одного из протестантов. С затекшими губами, с помутневшими взорами валялись и корчились они на полу. У многих началась рвота, с одним случился сердечный приступ, человек 6—7 других пришлось на руках перенести в больницу. Тюремный священник, по настоянию начальника сменивший отца Николая Колибергского, уволенного за чрезмерно-христианское отношение к арестантам, посетил разметающихся на полу и дрожащих от холода и голода каторжан и спросил:

— Не могу ли я чем-нибудь помочь вам... но только в пределах, дозволенных тюремным уставом, — добавил он, покраснев от смущения.

— Нет, батюшка, обойдется уж без вас, — ответили ему.

Да и чем собственно мог помочь этот молоденький батюшка, который боялся Петрушки не меньше, чем любой арестант.

Кому-то удалось послать несколько заметок в местную «Исковскую Жизнь», газету, все время разоблачавшую непорядки нашего центра. Заметки эти были перепечатаны и в столичных органах. Губернатор Медем откомандировал своего адъютанта, жандармского ротмистра Злобина, который вместе с Петрушкой обходил голодовщиков и подробно обо всем расспрашивал их. Не знаю, по инструкции ли Медема, в общем всегда корректно относившегося к каторжанам, или он это делал сам по себе, но Злобин вполне определенно выражал свое сочув-

ствие протестантам и открыто признавал основательность всех их требований.

— Надо кончать!... — многозначительно заявил он в присутствии всех начальнику, и это обстоятельство больше, чем сама голодовка, побудило нашего твердо-каменного, застывшего в своей тупой и жестокой непоколебимости администратора пойти на уступки.

Он уступил... Грозный и свирепый Петр Иванович Черленювский пригласил к себе Шиндера, Сафонова и еще кого-то из депутатов и дал им «честное слово офицера» в том, что все требования будут удовлетворены. Произошло это на четвертый день голодовки.

Арестанты победили.

* * *

...Это было месяца через три после голодовки. Я в то время находился уже в Орловском центре, куда меня вместе с другими перевели из Пскова *на окончательное исправление*. Однажды на прогулке мне шепотом сообщили, что Черленювский переведен начальником Тверских арестантских рот. Это было несомненно поощрение по службе. Полковник Петрушка мечтал о том, чтобы с почетом дослужиться до генеральского чина и выйти в отставку с репутацией энергичного укротителя крамолы, а тут какая-то шпана, какие-то бесправные и приниженные парии — каторжники расстроили его карьеру, ослабили его на всю Россию и даже побудили высшее начальство убрать его с чересчур видного места.

П. И. Черленювский не выдержал такого удара и вскоре без видимой причины умер.

Не знаю, придется ли ему на том свете отвечать за те страдания и оскорбления, которые он наносил своим ближним здесь на земле... А этих страданий и оскорблений, этой муки и этих слез было в Псковском центре много, ой как много...

В 1912 г. в Псков назначен был новый начальник, пошли новые порядки. Кое в чем стало лучше, кое в чем хуже, но специфически Петрушкин режим отошел в прошлое, канул в вечность вместе со своим творцом.

— Да будет же ему тяжела земля!...

III.

Орловский централ.

Как и большинство наших тюрем, орловская губернская тюрьма тоже помещается на окраине города. Пройдя множество улиц и переулков, мы поднялись на высокую горку и вскоре добрались до тюрьмы. Своим наружным видом—чисто выбеленной оградой, тщательно выметенным двором, разбитыми клумбами, прикрытыми аккуратно сложенными кучами снега—она производит впечатление уюта и порядка. Но кто заглянет внутрь тюрьмы, тот несколько разочаруется.

Нас ввели в глубокое подземелье, где в маленьком, полутемном коридорчике выстроился весь этап,—человек восемьдесят оборванных и измученных пересыльных арестантов. Принимал нас молоденький помощник начальника, одетый в новое форменное пальто и фуражку с огромными полями и миниатюрным козырьком. К удивлению моему он вовсе не строил из себя генеральствующего сановника, как это делает большинство тюремных администраторов и старших надзирателей, которые смотрят на арестанта сверху вниз и говорят не иначе, как междометиями. Несколько не напуская на себя тупую и надутую важность, помощник этот держался просто и даже демократически: в его присутствии уставшие от длинного пути конвойные как ни в чем не бывало расселись на скамьях.

Покончив с бессрочным Досковским, полунинтеллигентным молодым человеком, имевшим за собою большое количество авантюристско-разбойничьих походов, убийств и побегов, помощник вызвал Фольдмана, Арсентьева и меня,—пришли мы с особыми предписаниями. Просмотрев наши «открытые листы», он как-то особенно взглянул на нас, покачал головой и сказал:

— Ох, ребята, и беда же вам будет... Ведь вы в здешний централ, а там... Ну, наверно, знаете... Смотрите, у всех вас плохие отзывы... А это что?—удивился он, прочитав что-то в наших бумагах и просмотрев на наши руки. Оказалось, что московский конвой просмотрел распо-

ряжение Главного Тюремного Управления и держал нас в вагоне без ручных кандалов.

— Ну-с, ладно,—продолжал он, приятно улыбнувшись,—переночуете вы у нас, а завтра утречком и в централ пойдете.

Двое надзирателей принялись грубо ощупывать нас, рыться в наших вещах, бесцеремонно разбрасывая их во все стороны. После обыска нас ввели в пустую, сравнительно большую камеру с низким сводчатым потолком и маленьким окном,—отстояло оно от пола чуть ли не на сажень, а покатыя и цементированная амбразура его была такой дливы, что на ней смело мог бы растянуться взрослый ребенок. Двери этой камеры были двойные: наружная, сделанная из дерева и обитая железом, и другая, представлявшая высокую, до самого потолка, железную решетку. Вся мебельровка этого мрачного и ужасно затхлого помещения состояла из небольшого деревянного столика и узенькой, насквозь провонявшей парашки. О койках и скамейках и помину не было. Судя по многочисленным надписям на всех стенах, здесь содержали одних только пересыльных,—а об этой категории арестантов мало кто заботится.

Утром, после понерки, к нашей решетке подошел дежурный надзиратель, здоровенный и краснощекий крестьянин, по случаю воскресенья увидавший свою грудь георгиевским крестом и несколькими медалями.

— Не падо ли, робята, табачку?—спросил он слащавым голосом.

Оказалось, что страж этот тайком продает этапным махорку, как за наличные, так и за расплату товарам.

— Ну, как там в центре живетесь?—спросил я его, когда он передавал Арсентьеву восьмушку махорки.

— Да что!.. Теперь там жить можно, не то, что прежде... Бьют уже не так, а главное—харчи хоро-о-шие: каша каждый день... Ничего, жить там можно,—успокаивал он нас.

Перед обедом нас вызвал к себе другой помощник, летами постарше того, который принимал нас накануне. Молодой, с густыми черными усами и огненными глазами, он производил приятное впечатление.

— Вот что, господа!—начал он без всяких предисловий.—Смотрел я ваши бумаги... Ой-ой, плохо же вам будет!.. Знаете, какие в центре порядки... Мой совет: типе воды и ниже травы...

— Но леужени правда, что там зря избивают?—спрашивает помощника один из нас.

— Ну-у, зря не зря, это, положим, надо оставить, — поспешно возразил он. — Все зависит от поведения! У нас вот есть здесь такие арестанты, которых мы и за арестантов не считаем... Веди себя как следует! А не то, брат, я и сам могу дать такую взбучку и так отмордасить, что ай-люли-мазина!..

С этими словами он вытянул сжатую в кулак правую руку и, размахнувшись ею по воздуху, ловко повернулся на каблучке сапога. Это у него вышло так мило и грациозно, что вслед за ним и мы все тихо рассмеялись.

— Да-с, так вот-с, господа,—продолжает он, собираясь уходить,—мой совет: смотри за собой, держи себя на-чеку... Здесь, брат, орловский централ...

О том, что в орловской каторжной тюрьме творились невероятные нещи, мы слышали давно уже. Чтоб немного развеселить своих спутников и подбодрить самого себя, я еще до прибытия в Орел пробовал выпутать разделяемые нами опасения.

— Быть-может, все эти рассказы — просто арестантская беллетристика... Да и кроме того, что такое удар в лицо? Простое сотрясение частиц и молекул!.. Есть из-за чего беспокоиться!—тараторил я, хотя у самого меня на сердце кошки скребли...

Часам к двенадцати нам принесли обед — только не в медной чашке, а в жестяной, выкрашенной снаружи и ржавой внутри маленькой доханочке. После обеда нас вызвали в коридор, опять раздели и обыскали и в сопровождении шести надзирателей отправили в централ.

Было это в феврале 1912 г.

* * *

День был прелестный. Легкий морозец румянит щеки, грудь дышала глубоко, как бы спеша набраться побольше «вольного» воздуха. Ветра никакого, солнце светило ярко, а глубокий снег, лежащий кругом большими сутробами, отливал зеленоватыми бликами. Около ворот мы столкнулись с группой надзирателей, только-что сменившихся. Они выходили бучками и с громким, веселым хохотом, шутками, взвизгиваниями бросались снежками. Глядя на этих забавляющихся и шоловящих бородачей, как-то не верилось, что это не есть герои изобений и жестокостей.

В центре нас принял старший Новчелко, маленького роста, толстый, с фельдфебельскими усами и козичко-важной, точно на план-ярjade, походкой; говорил он громким голосом, растягивал слова и оттопыривая нижнюю губу. Новчелко этот, видимо, очень гордился своим званием старшего надзирателя, заведующего тюремным дейхгаузом.

— Раздется догола! — скомандовал он, когда мы очутились в предбаннике.—Все скидывай!.. Живо!

Мы стали торопливо снимать с себя арестантскую одежду. Какой-то арестант молча сложил их в ячу и отодвинул в сторону, а сам старший стал записывать их в особую книгу.

— Это что? — спросил он меня, рассматривая фотографическую карточку, на которой сняты были мои знакомые. — Родные, что ли?

— Да, родные, — ответил я.

— Не «да», а «так точно». Здесь тебя научат, как отвечать. Сволочьи.

Часть моих книг была перевязана ремешком от подкандальника, в сумке же Арсентьева оказался кусочек карандаша.

— Откуда эти вещи?! — крикнул старший. — Не полагается! За это — в карцер! Бродяги, так и так вашу мать — вас, видимо, разбаловали. Зато у нас-то вас уж исправят...

Вся эта канитель с оскорбительными замечаниями и издевательскими вопросами тянулась очень долго. В общем приемка сошла для нас довольно благополучно. Гораздо хуже было бы, если бы нас было много, — тогда нас специально поджидали бы десятки надзирателей — и взбучка была бы неизбежна.

— Сюда пиди! — пригласил нас Новченко, указывая рукой по направлению к сеням. Мы, все еще совершенно голые, вышли в маленький холодный коридорчик. Фельдман, весь трясаясь от холоду, стал голыми ногами не на мокрый от снега асфальтовый пол, а на раскинутое здесь грязное белье.

— Политика!.. Сволочи!.. — заорал на него, весь побагровев, Новченко. — На полу стоять не хочешь?

Затем, выждав паузу и обдавая его взглядом, полным слезы и презрения, он крикнул:

— Руки вверх!.. Рот открой!

То же он скомандовал и нам двоим. Посмотрев под подмышки и заглянув в рот, он величественным и молчаливым жестом указал нам на дверь прачечной. Я ожидал, что он еще станет ковырять пальцем во рту, а также прикажет нагнуться, но на этот раз обошлось без этой процедуры.

В прачечной за дощанками стояли каторжане, бледные и с запуганными лицами; словно немые, они молча стирали арестантское белье; не слышно было обычного в таких случаях смеха, шутки и прибауток. Кое-как оплеснув себя ряжкой теплой воды и одевшись во все эдашнее, напялив наконец на голову грязные и до невероятности засаленные суконные шапки, мы в сопровождении все того же Новченко направились в одиочный корпус, — длинное из красного кирпича трехэтажное здание с полутемными коридорами.

В нескольких шагах от нас старик-лавочник выдавал разложенную кругом выпisku: сахар, баранки, селедки, мыло и т. д. Каторжане то и дело приходили и уходили, делая это молча, на цыпочках, держась возле самой стены и пугливо озираясь по сторонам. Новченко передал

пас отделенному надзирателю, невысокому, худому, с небольшим лицом жидкими усами и маленькими черными глазами. Это был, как я потом узнал, надзиратель Богомолов. Держа одну руку в прямом кармане своих черных в обтяжку брюк, Богомолов быстро подошел и, кривя своими тонкими, бескровными губами, начал расспрашивать:

— Твоя фамилия как?.. А твоя?.. Ты за что осужден?.. А ты? А-а, все политики, значит!.. Ладно.

Вскоре пришел старший надзиратель, гвардейского телосложения щеголь. Глядя нам прямо в глаза, делая серьезное лицо, вихляя и ломаясь, он задал нам те же вопросы, что и принимавший нас помощник, что и Новченко, что и Богомолов. Переменяя позу, Калафута—так звали нашего старшего—обратился к нам с маленькою речью:

— Вот что,—начал он, рассматривая носки своих лакированных сапог и изредка бросая на нас злые и явно недоброжелательные взгляды. — Вот что. Вы приславы сюда за плохое поведение... К нам на исправление... Смотрите жес, ведите себя как следует... Все, что вам прикажет отделенный, исполняйте бес-пре-кослов-но... А не то... А не то, сволочи, вы здесь же издохнете...

Все время я ожидал, что вот-вот нас начнут, наконец, бить. А тут оказывается, дело ограничивается одной только словесностью, без кулачных комментариев. Об этом я шепнул Фельдману, с которым стоял рядом. Но не успел я еще отвернуть от него голову, как ко мне подсканивает Богомолов и со всего размаху ударяет в лицо.

— Ты это чего головой мотаешь, так и так твою мать! Стой как следует!—крикнул он, ударив меня вторично. У меня зазвенело в ушах, от неожиданности голова закружилась, и я совершенно растерялся. Фельдман и Арсентьев сразу побледнели и загляделись мелкой дрожью, зато стоявшие при этом старший Калафута, старик-лавочник и каторжане, ожидавшие выписки, безразлично и вяло посмотрели в нашу сторону.

— Марш по камерам!—крикнул Калафута.

Одночка, в которой я очутился, представляла собою небольшую комнату со сводчатым потолком, высоким окном, железной койкой—трубчатая рама с натянутым брезентом, железным столиком и обычной парашкой. В середине толстой, оббитой железом двери была форточка, а над нею отверстие с конусообразным углублением, прикрытое снаружи железным кружочком. Не успел я еще как следует осмотреться, как открылась дверь и послышалась громкая команда:

— Смирно!..

На пороге показался отделенный. Я отошел в угол. Богомолов, не говоря ни единого слова, берет меня за плечо, ставит посредине камеры неподалеку от железного столба, затем так же молча, словно

обращаясь с неодушевленным предметом, носками сапога сбивает мои ноги вместе и говорит:

— Вот здесь и вот так—руки по швам—ты должен стоять, когда кто-нибудь к тебе заходит... То же и на утренней и вечерней проверке... То же—всякий раз, когда надзиратель посмотрит в глазок... И только, когда проверка пройдет и ты останешься один, или когда глазок закроется, ты можешь сойти с места. Понял?.. Когда к тебе захожу я, или старший, или помощник, или сам господин начальник, и с тобою поздороваются, ты должен отвечать громко и отчетливо: «здравия желаю, господин отделенный», или так: «господин старший», или же: «ваше высокоблагородие»... Только слов не растягивай, а отвечай быстро, вот так: «Здржлав, господин длен», или: «Здржлав, вашесбродь!».. Так запомни же! Стены, подоконник, пол — все должно блестеть, как зеркало... Медная посуда, чтоб горела, как огонь... Нигде чтоб ни пылинки. В парашке и под парашкой — чтоб была чистота и порядок, а не то, так и так твою мать, я тебе задам!.. Одежло складывай вот так, смотри! На все вопросы ты должен отвечать так: «Так точно»... «Никак ват»... «Слушаюсь»... «Чего исполните»... Чтоб не было никаких «да» или «нет». Помни-и!

Сделав маленькую паузу, Богомоллов прибавил:

— Первый месяц ты будешь без книг, без переписки, без выписки. А потом посмотрим: ежели не так поведешь себя, то и розги получишь...

Пока он все это выкладывал, я случайно посмотрел на дверной глазок. Везде в эти волчки вставляются толстые стеклышки, так что услышать, как надзиратель открывает снаружи крышечку глазка, довольно мудро, особенно, если ты чем-нибудь занят. Я и имел глупость задать Богомоллову вопрос в этом смысле. Но вместо того, чтоб указать мне, что адепские волчки без стеклушек, как это я сам заметил впоследствии, — отделенный, не говоря ни слова, ударяет меня в лицо и кричит:

— Так и так твою мать!.. Что за х—ские вопросы ты мне задаешь! Ты слушай, что тебе говорят: когда над-зи-ра-тель по-смот-рит в волчок, ты должен сейчас же стать посреднее и во фронт... И без ниважи!

Тут Богомоллова зачем-то позвали в коридор, и он меня оставил.

В этот день по случаю воскресенья проверка началась рано, часов в пять вечера. Сознание, что до самого утра я буду один и никто ко мне не зайдет, на минуту приподняло мое самочувствие. С огромным наслаждением растянулся я на узенькой и холодной брезентовой койке. Пережитые в этот день впечатления, двукратные побоя, думы и размышления о том, что меня ждет в дальнейшем, все это сильно меня возмывало и расстроило. Долго-долго я не мог заснуть.

* * *

На следующий день, ровно в 4³/₄ ч. утра раздались четыре редких удара в колокол, — то был сигнал, означавший приказание встать. Не успел я еще соскочить с койки, как услышал покрывания надзирателя, обходившего дверные глазки:

— Эй, сво-о-лочь, чего растягиваешься?.. Знонок слышал?.. Чего же не встаешь, так и так твою мать!.. Колера!

Наконец прошла и утренняя поверка. Дежурные стали выпускать арестантов на opravку. Я наскоро прибрал свою камеру и стал прислушиваться к тому, что делается в коридоре. Там царил ужасный шум и гомон. Звон от кандалов, хлопанье с треском открываемых и закрываемых дверей, матерная брань и похабные речлики надзирателей, стоны ваторжан, избиваемых за то, что не так скоро умылся, или за то, что не сразу попал в свою одиночку, — все это сливалось в адскую какофонию. Одновременно с opravкой производилась и раздача хлеба и кипятку, и это еще больше усиливало суматоху и суетню.

Вот с шумом открывается дверь моей камеры, и сам Богомолов кричит своим хрипловатым голосом:

— Выходи-и!..

Я быстро хватаю парашку и выскакиваю в коридор. Там меня уже ждут три человека, среди них и сразу узнаю Арсентьева, шурящего свои близорукие глаза, — очки у него отобрали еще при приемке.

— Шагом марш! Живо! Ну!! — крикнул Богомолов, и все мы что есть силы устремляемся к клозету, стараясь удерживать в равновесии полные парашки.

— Когда тебя выпустят на opravку первым... — начал что-то говорить шагавший за мною отделенный. Чтоб лучше расслышать его слова, я чуть-чуть отогнул назад голову, но тут же несколько сильных ударов связкой ключей по шее заставили меня нагнуться вперед.

— Ты чего отстаешь! — крикнул Богомолов, снова ударяя меня ключами по спине. — Ты глухой, что ли, так и так твою мать!

Вбежав в уборную, двое из нас бросились немедленно опорожнять посуду, а двое других подскочили к умывальнику. Какой-то старик с интеллигентным лицом, в кандалах и со следами от очков на переносице и возле ушей ¹⁾, не мог сразу нащупать стержень от умывального крана. Богомолов, стоявший на пороге уборной и торопивший нас своими понуканиями, с размаху ударил его ключами в спину.

¹⁾ В Орле очки у вновь прибывших отбирались; чтоб получить их обратно из дебригауза, нужно было заручиться специальным разрешением тюремного врача.

— Куда смотришь, косая блядь! — закричал он. — Не видишь, где край?.. Мойся, сволочь!.. Чтоб живо мне!

Не успел я еще провести мокрой рукой по лицу, как услышал новую команду:

— Рончай!.. Бросай!.. Шагом марш!.. Бегом!..

Мы все четверо схватываем парашки и бежим назад в свои одиночки. Об употреблении полотенца и мыла — и говорить нечего. Не только новички, которым в течение первого месяца воспрещалось выписывать что-либо на собственные деньги (это только в Орле так было), но и старожилы не могли в то время думать о такой роскоши, как пользование мылом при утренней оправке, — до того ничтожно было время, которое давалось на уборку.

В камере меня ожидал уже кипяток. Наш одиночный корпус построен был по последнему слову тюремной техники, но кипяток приносился туда из кухни в тех же ушатах, что и щи с кашей, и раздавался по камерам в медных кувшинчиках, так что скоро остывал. К тому же кухонные котлы, должно-быть, вовсе не чистились, и потому вода всегда была мутная от разваренной накали.

Часов в одиннадцать привесли обед — жидкую водичку с капустой и двумя маленькими квадратиками мяса, вырезанными из бычьего уха или губы. Каша, та самая каша, которая привела в восхищение надзирателя из губернской тюрьмы, действительно, давалась каждый день, но в количестве, достаточном, чтоб утолить голод не взрослого человека, а взрослого воробья. По средам и пятницам обед был постный, полагалась рыба, но от нее в бачке оставался один только дух, а материя, согласно законов превращения вещества, оседала в виде золота или бумажек в широким карманах начальства. Ужин — белая или черная кашка из крупы — отпускаясь только устава ради, — питательное значение его немного выше нуля. Два раза в неделю выдавался также квас.

Зато в Орловском центре можно было делать выписку в размере гораздо большем, чем на те 4 р. 20 к., которые Главное Тюремное Управление назначило максимальной нормой. Сверх этого можно было выписывать еще масло и молоко. Эти два обстоятельства, почти неизвестные во многих каторжных тюрьмах с сравнительно сносными порядками, как-то не гармонировали с общим духом орловщины. Справедливости и беспристрастия ради я должен упомянуть еще об одном приятном обстоятельстве: вопреки ясному постановлению Главного Тюремного Управления, у нас в Орле письма писались тогда не один раз в месяц, а раз в две недели, — льгота почти неизвестная в других центрах.

На другой день после обеда снова открылась дверь. Надзиратель крикнул:

— Сми-и-рио!.. — и на пороге появился все тот же отделенный. Я стал посредине одиночки. Богомолов быстрым взглядом осмотрел всю камеру и произнес:

— Здорово!

— Здравия желаю, господин отделенный! — ответил я громко.

Начался осмотр. Отделенный открыл стульчак парашки, провел пальцем по стене, подошел к полке, — везде ни пылинки. Рванул он койку, но и там одеяло было сложено как «подается», т. е. не вдоль, а поперек. По правде сказать, пылинки это у меня совершенно случайно, не то мне досталось бы: многих товарищей, не обративших внимания на это обстоятельство, отделенный угощал дулаками, — припоминаю, например, с.-д-та Я. Д. Якосона, которого он избил плетью за это. Осмотрев мой бушлат, лишь вчера выданный из пейхгауза, Богомолов сказал, указывая на воротник:

— Тут крючок должен быть... Тебе сейчас дадут пуховицу и иголку, и ты пришьешь...

Взяв в руки медные бачек, кувшин и кружку и убедившись, что они вычищены мною достаточно старательно, Богомолов подошел к койке, чтоб посмотреть, как я сложил одеяло, но вспомнив, что он уже сделал это, он с досадой захлопнул ее: выходит, что у меня все в порядке. Но как же уйти, не напомнив мне, где именно я нахожусь.

— Тебя за что сюда прислали? — вдруг спрашивает он меня. На этот вопрос я ему ответил уже вчера.

— Не знаю... сам не знаю, — говорю я. Но тут у меня зазвенело в ушах и в глазах потемнело. Сильным ударом в лицо Богомолов сбросил меня с места.

— Это что за: «не знаю»!.. — «Не могу знать, господин отделенный», — вот как отвечать надо, так и так твою!.. Стань на место! — Сказав это, он еще раз ударил меня и вышел.

Так прошел день второй. День третий был для меня самый памятный и наиболее характерный для здешних порядков. При этом не мешает иметь в виду, что человек я расторопный и проворный. В тюрьме сижу с самой осени 1905 г. и легко усваиваю казарменную премудрость вроде той, что здесь преподается. Будь я менее ловок, мне попадало бы раз в десять больше, как и попадало тем каторжанам, крики и стоны которых раздавались в нашем одиночном корпусе *буквально каждый день с утра до вечера*.

Заходит ко мне старший, а вслед за ним и Богомолов. В руках у Калафута мой арестантский билет.

— Здорово! — кричит он, подходя ко мне почти вплотную.

— Здравия желаю, господин старший!

— Тихо отвечаешь!.. Громче надо!.. Ну: здорово!

Я ответил еще раз, только громче.

— Ты политический? — начал он свои расспросы, проверяя мои ответы по билету. Я подтвердил это.

— За восстание?.. — Но ты ведь не военный был, а штатский?

— Штатский.

— Осужден на сколько? На десять?

— На десять лет.

Калафутто многозначительно посмотрел мне прямо в глаза, смекнув что я сознательно избегаю этих холуйских «так точно», «никак нет». Лицо его перекаосилось. Можно было ожидать какой-нибудь неприятности.

— А сюда тебя из Москвы прислали?

— Так точно, — ответил я, чтоб предупредить несомненно готовившийся удар. Старший улыбнулся и сказал:

— Ну вот... А тебе уже все сказали: как отвечать начальству, насчет чистоты и одежды?

Не успел я ответить ему, как Богомолов дергает меня за шею, грубо шуняет воротник моего бушлата и говорит:

— А крючок отчего не пришит сюда, а? Ведь я говорил тебе, что пришить надо! — С этими словами он ударяет меня в лицо.

— Да я ожидал, что мне дадут крючок и иголку, — пытаюсь я возразить.

— Ожидал?!... А напомнить мне не мог? Ты что за барин такой, так и так твою...

Я молчу, думаю, авось этим кончится.

— Ты чего же молчишь, н? Я кому говорю? — не унимался Богомолов.

— Да я слышу.

— Не: «слышу», а: «слушаюсь, господин отделенный!», — вот как отвечать надо. — С этими словами он снова ударил меня в ухо.

— Ну, «слушаюсь», — говорю я, желая скорее от него отделаться.

— Ты что же это все: «слушаюсь», «слушаюсь», а приказаний не исполняешь!.. Двадцать раз тебе говорить надо? Ты один здесь у меня?!

Тут Богомолов ударил меня в грудь, да с такой силой, что я отлетел в угол.

— Куда пошел?... Стань на место!... Вот сюда! — закричал он, толкая меня в шею. Все это происходило на глазах у Калафутто, равнодушно смотревшего на действия отделенного.

— Ну, ладно, оставьте его... Дайте ему крючек и нитки, пусть зашьет, — сказал, наконец, старший, попорачиваясь к выходу. — Да смейся, чтоб пол был почище! — бросил он, становясь на порог.

При напоминании о поле Богомолов, который вчера не сказал по этому поводу ни слова, встрепенулся. В камере хотя и было очень чисто, но при всем желании я не мог придать изрытому и исковерканному асфальту блестящий вид.

— Я тебе говорил, чтоб пол блестел, как зеркало! — снова закричал отделенный. — Это что за пол!.. Возьми суконку!.. Три!..

Я схватываю из стельчака парашки пару суконки и, как был в широком и неуклюжем бушлате, сел на корточки и изо-всех сил стал тереть асфальт. Но удар ключами по спине неожиданно прервал мою работу.

— Не на корточках, а на коленях падо! — крикнул Богомолов. Опикинув меня ударом ноги, он сам стал на колени и принялся натирать суконкой место под койкой: по этому месту никто не ходит, асфальт был там почти не тронут, и у него вскоре, действительно, получились матовый блеск.

— Вот как падо, видны! — произнес он, вставая и швыряя мне в лицо пропитанную керосином суконку. — Я зайду через десять минут, и если весь пол не будет у тебя, как зеркало, я тебе морду расквашу!

Оставшись один, я скинул бушлат и принялся за дело. От постоянной ходьбы по полу асфальт делается корявым, и придать ему блеск было почти невозможно. Весь потный и мокрый, с опущенным боли в спине, шее и в ушах, я прислонился к койке.

«Что же будет дальше? — подумал я. — Нужно ли каждый день терпеть подобные визиты? Да и как предупредить эти? Кажется, и так уже согнулся до последней возможности... Или пойти на риск и на удар ответить ударом? Или объявить голодовку? Или в виде протеста сделать что-нибудь с собою? Повеситься, облить себя керосином?» — лихорадочно зашевелилось в голове. На сердце скребли кошки. Было гадко и противно. — «Эх, — подумал я вдруг с горечью, — надо было с самого же начала достойно ответить на первый удар. А то что же это за толпический, над которым какой-нибудь хулиган безнаказанно издевается!.. Но вот вопрос: как ведут себя здесь остальные товарищи? Ведь здесь находятся и такие бравые, которые на воле участвовали в предпринятиях, изумительных по своей смелости и отваге: неужели и они мирятся с таким режимом?» Подобные мысли беспокойно путались в воспаленном мозгу. Но нужно же найти какой-нибудь выход!

Мало-по-малу положение стало выясняться. В самом деле, объявить голодовку или покончить с собою всегда успеешь, — успокаивал я себя. Пока что необходимо ориентироваться, завязать сношения с остальными. Слева, в 25-й одиночке никого не было, а из 23-й, куда я попробовал стучать, никто не ответил: должно — быть, боптся ¹⁾. Остается, значит, поговорить с публикой на прогулке. Авось найдется достаточно охотников выступить с протестом. Но отчего это не выпускают меня на прогулку?.. Вот уже три дня, как я торчу в одиночке... Надо спросить дежурного, когда он откроет форточку при раздаче кипятку. Каково же было мое отчаяние, когда я узнал, что по здешним правилам все новоприбывшие *в течение целого месяца совершенно не выпускаются на двор*... Целый месяц! Целый месяц я буду один, не увижу никого из остальных каторжан, не сумею ни с кем поговорить и наметить себе линию поведения... Ловко же придумали, черт побери! Сразу оглушают человека, и чтоб еще больше обессилить его, утомить энергию и притупить чувство протеста, держат его столько времени изолированным...

«А вот опять кто-то кричит! — говорю я сам себе вслух, приближаясь к дверям. — Надзиратель похабно ругается... Опять... Упал на пол, гремя пепямп... Но как долго бьют его!.. Бух, бух, бух!.. «Ай-ай!.. караул!.. За что?.. Товарищи!.. Ой-ой!.. Помогите!» — неслось из какой-то одиночки недалеко от моей камеры. Крики эти ужасно расстраивают. Стоишь и чувствуешь, как все в тебе трепещет и кипит. Сердце вдруг нахлпает учащенно биться, в висках стучит, а голова, словно в нее колот сотнями булавок, испытывает невероятные боли.

Около моей одиночки раздавался чей-то продолжительный плач. Слышу, как называют мою фамилию. Кто-то посмотрел в глазок, и не успел я еще стать во фронт, как с шумом отворилась дверь, и дежурный надзиратель крикнул:

Фамилия?.. Имя?.. Ну, собирай свои вещи!.. Живей!.. Не копайся!..

Я на миг остолебел от радости. Что такое, — думаю, — неужели на этап?!.. Переводят в другую тюрьму?.. Я уже так привык кочевать по тюрьмам и централам, что подобное предложение казалось мне весьма вероятным. Сорвав с койки казенное одеяло, быстро завернув

¹⁾ Впоследствии я узнал, что перестукивание, ставшее обычным и узаконенным способом сношений в других тюрьмах, здесь строго преследуется. Так, тот же Богомолов избил за это с. - р. Матина: схватил его за голову, он бил его по стенке до тех пор, пока она не вслухла; семидневный карцер последовал, разумеется, сам собою.

в него соломенную подушку и сумку с хлебом, я торопливо устремился к выходу.

— Ку-у—да!.. Куда прешь, сволочь!.. Наверх ступай!! — заорал надзиратель.

У меня сердце упало. Оказывается, меня просто переводят в другую камеру. Этапы с вози приходили тогда очень часто, и их обыкновенно размещали в первом этаже, чтоб они всегда были под рукой у наших тюремных педагогов, так что внизу происходила постоянная перетасовка каторжан. На втором этаже, возле площадки я заметил фигуру нашего старшего.

— Сюда! — крикнул он, направляясь к 88-й одиначке. — Вот здесь сидеть будешь!.. Смотри, пол мне не запускай! — прибавил он, выпуская меня в камеру. Сказал он это довольно просто, без паглых ноток в голосе. «А что, если потялковать с ним относительно избитостей?» — подумал я мгновенно и с обычной своей экспансивностью тут же обратился к нему:

— Господин старший! Нельзя ли, чтоб меня здесь не трогали?.. Ведь вы сами видели, что меня били здесь зря, ни за что ни про что...

В ответ на мои слова последовало буквально следующее:

— Ах, так и рас-так... — заревел на весь коридор Калафут, ударив меня кулаком. Его зеленоватые глаза нмг потемнели, а лицо, и без того красное, совсем побагровело. Должно-быть, мои слова заключали в себе нечто, по его мнению, сверхвозмутительное. — Ишь, с какими просьбами ко мне обращается!.. Если ты, так и так твою... не будешь нести себя как следует, твоя морда сто раз в день в кровь будет... — С этими словами он еще раз ударил меня в лицо и вышел.

88-я камера производила гораздо лучшее впечатление, чем та, в которой я жил раньше. Койка, брезент, стол — все было цело и солидно, сделано из наилучшего материала. Свету было много, тепла тоже. Асфальтовый пол был ровен, как лист бумаги, и блестял, действительно, как зеркало. Насупротив паранки была прибита литографированная на жести икона с изображением Иисуса и надписью: «Заповедь новую даю вам: любите друг друга». Здесь, в орловской каторжной тюрьме, изречение это звучало кощунством и издевательством.

Два раза в месяц у нас можно было писать прошения. У меня в исковской тюрьме остались собственные книги, и я собирался выписать их оттуда.

— Ты кому писать будешь?.. О чем?.. Насчет каких таких собственных книг?.. — такими вопросами засыпал меня дежурный, отмечая на бумажке мою фамилию. Приблизительно через час кто-то спаружи открыл глазок и заговорил со мною. Я соскакиваю со

скамейки, на которой боясь испачкать блестящий пол, я сидел неподвижно целыми часами, и становлюсь возле нее во фронт. Отдохнувший — это был он — задал мне те же вопросы, но вдруг оборвал, с грохотом открыл дверь и, подходя ко мне поближе, начал бить в лицо.

— Сколько раз я тебя учить должен?! Я же тебе говорил: когда открывается глазок, надо становиться *возле стола*, а не возле скамейки... Вот здесь, — видишь!

Он ушел, а я так и остался стоять огорченный и ошеломленный.

* * *

Собственно говоря, пребывание в одиночке, взятое само по себе было мне весьма по вкусу. Общая камера с ее вечным шумом и гамом порядком расстраивает. Лишь в редких случаях, и то лишь при наличии большого числа политических, удается выработать нечто вроде камерной конституции, распределить время для занятий, для общих разговоров, для мопциона и т. д. Но даже и в этом случае почти не бываешь предоставлен самому себе. Ни серьезно заняться, ни сосредоточиться на чем-нибудь.

Один ходит по камере и без умолку гремит вандалами, другой о чем-то с хохотом рассказывает, третий, ругаясь, дуется азартно с кем-то в карты, тому вздумалось читать вслух, а эти затеяли бесконечный спор на какую-нибудь бесконечную тему. Тут еще неизбежная в общей камере грязь, вонь, курение махорки, война из-за форточек, вечные ссоры, дразни, шлетни.

Не то в одиночке, особенно для человека, склонного к обособленности.

Отсутствию внешних впечатлений создает обширный внутренний мир, который сам же населяешь обстановкой и живыми образами. Десятки и сотни раз пересматриваешь свое прошлое, углубляешься в самые отдаленные и потаенные его закоулки. Все, решительно все, что с тобою когда-то было, что делал и даже что собирался делать, передумываешь и переоцениваешь. Эти очные ставки с самим собою, со своею совестью, со своими убеждениями, это микроскопическое копанье в своей душе несомненно очищает ее. На этом, вероятно, и основывается отстаивание многими криминалистами системы одиночного заключения.

Зато система эта имеет и свои отрицательные стороны. Тут не только слух и впечатлительность развиваются до болезненности, и сны приобретают удивительную реалистичность, с поразительной правдоподобностью проявляя глубочайшие и интимнейшие свойства человека, но и появляется склонность к мечтательности и прожектированию. Не

знающан удержу фантазия совершает свои грандиозные полеты, по новому комбинирует и корректирует исторические события, смело переделывая все давнее и недавнее прошлое человечества. А гениальная «минус-материя» из «Красной Звезды» Богданова, — минус-материя, которая оспаривает универсальность закона о всеобщем притяжении, и при помощи которой, пользуясь силой отталкивания, социалисты с Марса еще в пятом году завели сношения с нашей планетой... Сколько мозговой энергии уходило на обдумывание планов социально-политических преобразований, связанных с открытием этой «минус-материи»!..

Или, бывало, читаешь что-нибудь и тотчас же воображаешь себя на месте героя, — иной раз дело доходит до форменных галлюцинаций, до разговоров с самим собою. Ходишь так по камере, подобрав кандалы, ораторствуешь, жестикулируешь, пока что-нибудь не остановит тебя. Тогда ловишь себя на этом и хохочешь. Но потом какой-нибудь отрывочный кусочек новости, полученной с воли, или какое-нибудь место из журнала или книги снова окрыляет твою фантазию, и ты снова незаметно втягиваешься в пряденье событий. Нередко погружаешься и в планы мести, самой злобной и утонченно-кровавой мести за все обиды и оскорбления...

Однажды, когда я, забывшись от тяжелой, как свинец, и тягучей как скука, безрадостной действительности, всецело погрузился в разрисовывание архитектурных подробностей одного из многочисленных своих воздушных замков, в ушах у меня прозвучало:

— Смирна - а!..

То кричал внизу сам старший. Команда эта раздавалась каждый раз, когда в одиночный корпус приходил кто-нибудь из начальства, хотя бы в коридоре, кроме надзирателей, не было ни одного арестанта. Теперь команда эта прозвучала как-то особенно торжественно. Можно было догадываться, что явилось лицо, стоящее еще выше начальника тюрьмы. Я насторожился. Вот слышу, как Калафутто подходит к моему рапорту, что, мол, в одиночном корпусе орловского исправительного отделения находится 283 человека, что никаких происшествий не случилось, и что все обстоит благополучно. Слышу, как чьи-то шаги поднимаются вверх по лестнице и направляются к моей камере.

Открывается дверь, и после нового ушпироздрательного «смирно» ко мне вошли два человека. За ними мелькнули фигуры надзирателей.

Один из вошедших, среднего роста, худой и тощий блондин, с маленьким лицом и лучистыми голубыми глазами, был сам губернский инспектор Николай Сербинов. Другой — очень высокий, с круглой, выдвинутой вперед грудью, с мелкими чертами помятого белобрысого

лица, в офицерской шинели и фуражке, был начальник нашей тюрьмы, поручик Михаил Сипайский. Я поспешил стать посредине камеры — только уж не рядом со скамейкой — упаси Боже! — а неподалеку от железного столика.

— Ты такой-то?.. Статья политическая?.. Из Пскова?.. А-а!.. Ну-с, как ты ведешь себя здесь? — начал сразу инспектор, и не давая ответить, продолжал: — Все вы, псковские, присланы сюда за голодовку и будете под моим непосредственным наблюдением... Я полагаю... я даже убежден, что здесь-то ты будешь вести себя спокойно... А каково его поведение? — обратился он не то к начальнику, не то к старшему.

— Пока ничего себе, впрочем... — громко отчеканил Калафут. Прозвонил маленькая замочка.

— Нет ли у тебя каких просьб, заявлений? — задал инспектор обычный в таких случаях вопрос.

«Не заявить ли ему обо всем, что тут делается? — мелькнуло у меня в голове. — Не возьмет ли он меня не только под свое непосредственное наблюдение, но и под свою непосредственную защиту от избиений?»

Обыкновенно очень быстрый на решения, я на этот раз почему-то уклонился от беседы с инспектором. Какое-то предчувствие, да и самый тон его обращения, подсказали мне, что Сербинкову и так все известно, и что за жалобу мне потом попадет еще больше. Впоследствии старожилы из политических одобрили эту мою осторожность и приводили подходящие тому примеры: уже одна судьба несчастного Бейдина, выпоротого по такому же поводу и умершего сумасшедшим — чего стоит!

— Ни просьб, ни заявлений у меня нет, — ответил я.

Постояв еще с минуту, инспектор повернулся к выходу. На дороге он остановился и сказал шедшему сзади начальнику:

— Смотреть за ним получше!.. Потом, дайте ему работу...

Вследствие ли этого визита или же потому, что из Москвы прибыли уже мои бумаги и местное начальство познакомилось с отзывами о моем «поведении», но дня через три после этого ко мне вдруг, перед самой вечерней проверкой неожиданно явились с обыском. Что они у меня искали? Из камеры меня никуда не пускали, прогулки не давали, а коридорные были у нас все из лягавых, и получить что-нибудь через них было невозможно.

Вошло ко мне три надзирателя. Один из них, к мужицкому лицу которого ужасно не шел мундир тюремного стража, стал рыться в стульчаке парашки и в вентилиационной отдушине; Калафут что-то

искал в ящике, где кроме пайка черного хлеба да медной солонки ничего не было, так как выписывать съестное мне, как новоприбывшему, еще не разрешено было. Моей особой занялся сам Богомолов. Я стою посредине камеры и смотрю вперед себя.

— Ты чего голову задра! — крикнул отделенный, ударил меня кулаком в затылок. — Стой как следует! — повторил он, ударя меня не сверху вниз, а снизу вверх в подбородок, да так, что треснуло все мои 32 зуба и я укусыл себе язык. — Складавай бушлат!.. Расстегивай штаны!.. Коты синими!

Я торопливо разделся, и Богомолов стал сцупывать меня. Из-рта от него шел гнилостный запах (он был сифилитик), его противное лицо так и мелькало пред моими глазами, а его твердые пальцы то и дело прохаживались по моему телу. Я с трудом подавлял в себе чувство гадливости и отвращения.

— Ты чего трясешься, так и так твою...! — произнес сзади Калафут над самым моим ухом, — или опять в морду захотел?.. Когда к тебе входит начальство, ты стой как вкопанный!..

Перерыв у меня все, что можно было перерить, надзиратели ушли, не найдя, разумеется, ничего предосудительного.

Вскоре после этого мне дали работу. Ведь известно, что тюремный труд должен исправлять арестантов. Однажды ко мне впустили какого-то высокого молодого каторжанина с желтовато-бледным лицом и отрубленным ухом. В руках он держал простыню с соломой, деревянной бутылкой и нитками. Без всяких предисловий, не здороваясь и не глядя на меня («не полагается»!), он подошел к моему столику и громким, нарочито деловитым голосом стал показывать мне работу: из припесенной им соломы нужно сплести колпачи для впитывающих бутылок.

Когда надзиратели куда-то позвали, арестант этот, волнуясь и заливаясь, ежесекундно оглядываясь, словно он совершает нечто рискованное и опасное, начал расспрашивать про новости с воли, про манифест (который будет лишь через год!) и т. д. При этом я узнал, что сам он п. п. с — ведь, что фамилия его — Казимирчук, что он был приговорен к смертной казни, что ухо ему отрубил казак во время демонстрации и, наконец, что здесь в Орле плохо, ой, как плохо.

Сама работа заключалась в следующем: заранее заготовленную на особых станках солому надевают на деревянную бутылку и специальной иглой обвивают низ и середину. Солома грязная, пыльная, каждый пучок приходится вертеть десятка два и на десяток разов, — в результате пол, стены, а также уши, нос, рот — все это полно перетертой соломенной пылью. В первые дни нас не очень торопили, но

потом Богомолов стал каждое утро обходить всех работающих, записывал число спитых колпаков, и если кто отставал от назначенной им нормы, того он наказывал похабною словесностью и побоями. Какой-то каторжанин Шкляр (меня уверяли, что он — политический), желая отличиться, однажды сработал штук на двадцать выше нормы и за это удостоился громкой на весь коридор похвалы. Зато многие другие (припоминаю социал-демократа Млрского и одного уголовного, Тернового, истощенного и прищезатого юношу), сработавшие меньше нормы, были жестоко избиты.

При Синайском эта противная работа начиналась с пяти часов утра, а летом, когда нас будили в 3 $\frac{1}{4}$ утра, еще раньше. Утренняя суматоха с ее беготней на оправку, звоном кандалов, руганью, поуканиями, хлопаньем дверей и форточек, колотушками и криками — благодаря этой работе делалась еще большею. Не успеешь проглотить последний кусок, как сейчас же принимаясь за соломенные колпаки, при этом страх отстать от нормы и быть избитым побуждал спешить и торопиться, так что после обеда не позволяешь себе и десяти-минутного отдыха.

У нас в Орловском центре заработка арестантов, вообще, были нищенские, на этой же работе *редко кто зарабатывал больше десяти копеек в месяц, да, да — в месяц...* Тюремная администрация настолько твердо верила в исправительное значение тюремной работы, что, когда кончился этот подряд, нас засадили за другую нелюбимую работу: *щипанье гусиных перьев*. Представьте себе здоровенных и пожилых мужчин, присужденных к *тяжким каторжным работам*, за этим занятием...

* * *

Как новоприбывший, я больше месяца просидел без выписки, без книг и переписки. Прогулка тоже не «полагалась» мне. Но не на много лучше чувствовал себя и старожилы. Регулярной и обязательной прогулки у нас не было. Главную роль играло тут усмотрение старших и отделенных надзирателей. До весны 1913 года не было ни одной недели, чтобы мы гуляли ежедневно. Даже бессрочные, которым свежий воздух нужен был больше, чем кому бы то ни было, выпускались не больше 2—3 раз в неделю. Бывали периоды, когда мы не оставляли камер *дней десять-двенадцать подряд*. То отделенному некогда возиться с таким пустячным делом, то ему кажется, что собирается дождь, то скоро должна начаться поперка.

На прогулку я возлагал много надежд. Мне до тошноты прискучило одиночество, захотелось пройтись на свежем воздухе, а главное — я рассчитывал поговорить кое-с-кем и ориентироваться в положении вещей.

Велика была моя радость, когда однажды—дней через 27 после моего прибытия в Орел—открылась дверь моей одиночки и надзиратель крикнул: — Бери шапку!.. Гони на низ!.. Живо!..

Внизу у левой стены стояла уже партия каторжан, выстроившихся в затылок по два человека. Стояли они не шелохнувшись, вытянув руки по швам и упорно глядя перед собою в одну точку. Стараясь не быть замеченным, я осторожно озирался по сторонам, приглядываясь к арестантам и высматривая кого-нибудь из знакомых. Давно найдено, что каждая историческая эпоха и каждая страна создает особый тип людей, отличающихся друг от друга даже по внешнему облику и по манерах,—сравните, например, простолюдника средневековой и современной Англии, или—американского фермера, которому никто не мешает попасть в губернаторы, и русского крестьянина, который дрожит перед ковардой урядника. Точно так же и каждая тюрьма вырабатывает свой особый тип арестанта.

Там, где порядки хоть сколько-нибудь похожи на человеческие, там и арестанты похожи на людей. В Орле же на всех лицах видишь выражение подавленности, отпечаток бесправности положения и безнадежности протеста. Не только уголовные, но и политические, не только случайно попавшие на каторгу, но и люди, много раз сидевшие в тюрьме, были какие-то привиженные и запуганные. Даже люди интеллигентные и самостоятельные, отважнейшие террористы и организаторы восстаний багдели и робели, напряженно стараясь угадать, как вести себя, чтобы предупредить каприз и рукоприкладство надзирателя. Припоминаю, например, старого партийного работника—Веселовского, арестованного на конференции профессиональных союзов и осужденного в каторгу за принадлежность к партии. Старик-инженер, живавший за границей, а до этого много лет введший в ссылке в мерзлом Верхонске, давнишний деятель революции, он перед нашими надзирателями становился во фронт, словно солдат перед генералом, почтительно отчеканивал «так точно» и «чего изволите», или страха ради делал выписку коридорным из лагавых, заведомым предателям и негодяям. Смотреть на это было и жалко и противно.

Всматриваясь в придавленные, а порой и угодливые физиономии арестантов, я с ужасом думал: «неужели и на твоём лице написано то же самое?..»

Возвращаясь к прогулке. Став кому-то в затылок, я приглядывался к тому, что кругом делалось. Отделенный важно расхаживал по коридору и отпускал пощечины тому или другому,—поводов для этого искать долго не приходилось: тот не так держит руки по швам, другой, спускаясь с лестницы, не придерживает кайдалов, третий на какой-то неожиданный

вопрос взял да и выпалил: «да», вместо: «так точно». Когда набралось человек сорок, отделенный заговорил своим хриповатым голосом:

На прогулке ходить по два человека!.. Расстояние—на вытянутую руку!.. Пара от пары—на три шага!.. Без разговоров!.. Слушайся команды!..

Держа руки в передних карманах брюк и величественно покачивая торсом, Богомолов гаркнул:

— На-а-кройсь!!..

Все сразу надели шапки. Выждав паузу, он снова закричал:

— На ле-е-во-оп!

• Все сразу и в такт позванивая кандалами повернули налево.

— Шэээгоом... — тянет господин отделенный, зорко оглядывая всю линию, и вдруг сразу выпаливает: — умерщ!

По команде «шагом марш!» все поворачивают к выходу.

— Раз, два, три, четыре... Левоу, левоу... Не отставать, так и так вашу мать!.. Ногу держи!.. Сволочь!.. Раз, два, три, четыре... Раз, два, три, четыре... — кричит надзиратель, когда мы проходим по длинному коридору. Вот мы уже на дворе. Посредине его имеется убитый шпьем круг, по которому, собственно, и совершается прогулка. Почти у самой стены, отделяющей одиночный корпус от общего, устроена высокая башня, на которой стоит надзиратель с ружьем, тут же имеется будка, возле которой рассказывает другой надзиратель с винтовкой. Кроме отделенного или старшего, нас сопровождает еще несколько дядек.

— Первые ряды на месте! — раздается новая команда, как только задняя пара вышла из коридора. — Дистанция!.. Не налезай!.. Помни расстояние!.. Шээгом умерщ!..

Начинается прогулка. Надзиратели все время следят за тем, чтоб арестанты ходили в ногу и в такт беспрерывно раздающейся команды, раз, два, три, четыре... левоу, левоу... Многие каторжане из числа недавно прибывших до того напуганы и расстроены, а ножные кандалы до того затрудняют движение, что они не успевают за командой и часто сбиваются. Особенно плохо старикам-инородцам, в большом количестве прибывающим к нам с Кавказа и Туркестана. Руки они держат как-то смешно, прижимая их вплотную к бокам и растопыривая пальцы, русского языка не знают и то и дело путают команду. За это тут же на месте следует немедленная расправа кулаками или связкой дверных ключей.

— Ты чего ногой болтаешь, как х — х в бутылке? — кричит сам Калафуту, употребляя свое любимое и довольно-таки бессмысленное, но зато прямо-похабное сравнение. — Ходи как следует!.. Короче шаг! Прямей держи!.. Не налезай... Раз, два, три, четыре... Левоу, левоу...

Все мы давно уже вспотели, ходим напряженные, стараясь не отставать и в то же время держа дистанцию, то меняем ногу, то задерживаем шаг. Вот кто-то спутал такт и за это сейчас же получает воздаяние. Шагаем мы так, шагаем, вдруг раздается команда:

— Кругом...

Тут наступило настоящее смятение. Пара ваторжан, шедших спереди, и некоторые из середины повернули кругом назад и столкнулись с другими, продолжавшими ходить вперед. Не понимая, что бы это значило, бледные и испуганные, боясь обратить на себя внимание надзирателя и в то же время не зная, что им делать, они отошли в сторону. Ряды расстроились, прогулка приостановилась.

— Ах, сукины сыны, так и так, рас-так и пере-так вашу... — ругается во-исю господим отделенный. — Сволочи!.. Бродяги!.. Не знаете, как ходить!..

Уснащая свою речь самой отборной похабной словесностью, он кричит на весь двор:

— Слушайся команды!.. Когда я говорю: кругом, — это значит готовься и жди, а когда я скажу: марш, — тогда только поворачивайся назад и ходи дальше вот так... — Стройся заново!.. Становись каждый где стоял... Дистанция, так вашу мать!.. Ну шэзгоом... ммерш! Раз, два, три, четыре... Левоу, левоу!..

Дав нам сделать круг, он крикнул:

— Кру-у-у-угом... все мы продолжаем ходить, — ммерш!

Тут каждый, как умел, повернул, стоя на одной ноге, назад. У нескольких человек что-то не ладилось. Богомолы выхватили их за шиворот из общих рядов и поставили отдельно около входных дверей, поручив другому надзирателю подучить их. Среди них как-то очутился и с.р. максималист Ал. Поддубовский, бледный и измученный, с вытянутой вперед шеей и выпученными в очках глазами. На лице у него написаны были негодование и ярость, стыд и смущение. Надзиратель подходит по-очереди к каждому из них и, держа за левую ногу, словно имеет дело с лошадками, топал ею по земле и все приговаривал

— Левоу, левоу, левоу, так вашу... Левоу, сволочи, левоу, левоу, левоу...

Было до слез смешно видеть взрослых и даже серьезных и интеллигентных (как, Поддубовский, например) людей над подобным детским занятием, и до слез больно смотреть, как над ними издеваются.

Промучившись таким вот образом минут 15, мы все очень обрадовались, когда вслед за командой: кругом марш! — раздалась новая команда: правое плечо вперед! — что означало приказание вернуться в камеры. Мечтая чуть ли не в течение месяца о прогулке, я рас-

считывал основательно поговорить с товарищами по волновавшим меня вопросам, обсудить сообща план борьбы за изменение режима. Но куда там... Не до обсуждения тут было.

При инспекторах фон-Кубе и Сербинове и начальниках Мациевиче и Синайском на эту шапестикку обращалось самое строгое внимание. Ходили под команду не только во время прогулки, но даже когда нас водили в баню, даже когда мы носили дрова в ночегарку, даже когда таскали огромные десятипудовые брезенты, наполненные целой горой сработанных соломенных колпаков. Ни кандалы на ногах, ни гризь и слякоть, ни глубокий снег — ничто не избавляло каторжан от этой церемонии.

* * *

Любопытно, что в этой же тюрьме и при том же почти составе администрации, но только в другое время — в период заседаний первых двух Дум — жилось, относительно говоря, довольно сносно. Зато с началом заседаний третьей Государственной Думы, вместе с установлением господства Пуришкевичей и Марковых, Бобринских и Гучковых пошла и расправа с заключенными в тюрьмах. И без того начальство готовилось брать реванш за вынужденные обстоятельствами послабления, а тут еще началось вполне определенное давление сверху. Деятельность Главного Тюремного Управления стала все явственнее принимать тенденциозно-мстительный характер, а местный губернатор Андреевский и губернский инспектор фон-Кубе настолько ретиво принялись за дело, что Орловский централ вскоре огласился стоном и скрежетом зубовым. Мытарства каторжан начинались тогда же по приходе с этапа. Вот что, например, рассказывал мне один старожил:

— Было это в апреле 1908 г. Отворяют ворота, и все мы гуськом подходим к конторе. Видим, оттуда выходит несколько помощников, а целая куча надзирателей поджидала нас на дворе.

— Смирно! Шапки долой! — скомандовал старший Захар Козленко. Мы сейчас же скинули. Помощник Анненков, должно-быть, дежурный в этот день, здоровается с нами. Мы ему отвечаем, как полагается, но он как закричит:

— Вы что ж это тихо отвечаете? Громче нужно, так и так вашу...

Мы стоим, выстроенные в шеренгу, и молчим. Подходит Анненков к кому-то с краю и спрашивает:

— Фамилия?

— Садовников.

— Ты кто: уголовный или политический?

— Политический.

— А, так и так твою... Свободы захотел! Против царя пошел. Власти не признаешь!.. Надзиратели, сюда! Дайте-ка ему!

Подскакивают стоявшие неподалеку надзиратели и начинают мять и бить Садовникова. Сам же Анненков подходит к другому.

— Фамелия?—спрашивает.

— Кудрявцев.

— За что осужден?

— За ограбление, хотя я вовсе не...

— Что там за «хотя»...—прерывает его Анненков.—Грабитель вдумай! Чужое добро похищать! «Экс-про-при-атор»... Собака!.. Надзиратели, дайте ему тоже...

Те подходят и к Кудрявцеву и тоже «дают» ему. Так вот обошли всех. Все до единого были избиты. Последних уже не спрашивали, за что они осуждены, а раскрывая им ворот рубашки, искали крест на шее: если креста не было, то били, приговаривая:

— Православный, а креста не носишь...

Если же крест имелся, то тоже колотили, только со словами:

— Крест носишь, а против царя пошел... Или ограбление сделал...

Мы стоим, дрожим со страху. Думаем, что-то будет дальше. Раздается команда:

— Отвести в главный корпус!.. На четвертое отделение!

Повели нас наверх, а там по обеим сторонам, вдоль всего коридора, стоят уже надзиратели и держат что-то в руках. Мы разделись и разулись для обыска. Совершенно голый, каждый из нас идет в другой конец коридора, и тут-то с обеих сторон начинают бить его толстыми резинами, да так, что кожа вздувается. Падающих топчут ногами. Добираемся как ошалевшие, быстро начинаем одеваться, тянем рубаху на ноги, брюки на руки, совсем растерялись и не видим, что делаем. Дрожим и плачем. В камеры нас загнал как собак, с криками, руганью и пинками. У всех спины сдулены. Кое-как прошла проверка. Мы торопимся улечься, но невозможно: спина ноет, бок болит, прямо мука.

В тот же вечер пришел другой этап. С ними проделали то же самое. Мы слышим их вой, плач, крики:

— За что?.. За что?.. Радп Бога, не бейте!.. Ой-ой-ой!..

Отворяется дверь, и избитые влетают к нам в камеру. На липках у них написан ужас, глаза горят как у сумасшедших. У некоторых синины окровавлены.

— Товарищи, что это значит?.. Со всеми ли так было?—начинают они расспрашивать. Но мы лежим, притворяемся, будто спим. Только что и они улеглись, как вдруг входит много надзирателей во главе с помощниками. Было уже поздно ночью.

— Кто из вас за террор сидит?—спрашивает помощник Батурин.

— А кто за принадлежность к партии?—задает вопрос другой помощник—граф Сонгайло.

— А кто из вас монеты, монеты делал?—кричит Анненков, ошупывая всех глазами. Мы молчим. Вопросы задаются еще раз. Мы опять молчим, потому боимся и рот открыть. Тогда они стали подходить к каждому в отдельности и спрашивать:

— За что попался?

Подходят гурьбой к какому-то пожилому арестанту. Анненков спрашивает:

— За что попал?

Тот молчит, только весь трясется.

— Ага, сволочь, это ты, значит, монеты подделывал?.. Из-за таких как ты, я раз десяти рублей лишился!.. Захарка, взять его!..

Подбегает старший, Захар Коленко, хватает того за шиворот, бьет в лицо и швыряет к остальным надзирателям. Те подхватывают его и тащат куда-то вон из камеры.

На другой день один больной не встал на утреннюю поверку. Его первым делом избили, а потом отравили в больницу. Затем оказалось, что в камере есть еще один больной. Ему тоже дали пару шлюх, именно за то, что он сам не заявил о своем нездоровье. После раздачи кипятку в камеру пришел фельдшер. Спрашивает: чем больны? Мы смотрим на пол, в сторону, и молчим. Да и как, в самом деле, сказать ему, что у нас спины вспухли от ударов резиной...

— Я знаю, знаю, что у вас болит,—говорит тогда сам фельдшер, перемигиваясь со старшим.—Я вам дам мазь такую, и вы будете один другого растирать. Кожа тогда засохнет. Только сперва гной будет, так вы не бойтесь...

Пощечины доставались нам каждый день. Выходим в коридор за вещами—бьют, вызывают нас для стрижки—тоже попадает в загравок. Не было дня, чтоб к нам не заходили два-три помощника с десятком надзирателей. Кобуры у них расстегнуты, лица злые. Достаточно малейшего предлога, чтоб у них затесались руки, а как они начнут потасовку, так только и знай, что бока подставляй. Разматывают нас по полу, словно ищут, всюду стоны и крики.

Потом ввели моду: ежедневно обыск. Разуваяют, раздевают догола, ищут всюду, а что они ищут, они и сами толком не знают. Осматривают брюки и бунлаты, а если у кого-нибудь порвалось что или пуговица болтается, то так отлупят, зададут такую взбучку, что долго не забудешь. Раз во время такого обыска нашли какую-то жестяную полоску, которой можно резать хлеб или селедку,—должно-быть, кто-

кабудь из прежних сидельцев оставил ее. Помощник Дурнев спрашивает чья она, но никто ее признается. Тогда он кричит:

— Всех их, всех их, сволочей, проучить надо!

Ну, и пошло чесать нас всех...

Нервы напрягались до того, что, казалось, вот-вот лопнут. И действительно, многие с ума сходили, делались настоящими маниаками. Раз на поверке некий Чекнов заявляет, будто арестанты хотят бросить его в клозет и утопить... Козленко спрашивает: «Вто, кто?»—и тот показывает на всех, кто попался ему на глаза. Человек пять тут же было избито, потом их вышорали и бросили в темный карцер. Когда же выяснилось, что все это один вздор, надзиратели принялись за самого Чекнова. Его перевезли в одиночку, изрядно поколотили, и вскоре он умер. Из тех пятерых двое—Аронов и Пивоваров—тоже вскоре умерли.

Вообще жизнь в тюрьме представляла тогда сплошную муку. Если, например, на одной скамейке сидело три—четыре человека, то говорить можно было только шепотом. Когда надзиратель открывал дверной глазок, то всем 30—40 человекам надо было подняться с места и становиться во фронт, даже во время обеда... В первое время парашки на день в камеру не давали, вносили лишь маленькую ряжку, из которой моются в бане, а на ночь ставили один чугунный ушат — и это на 40 человек! Сколько приходилось переносить из-за этого.

Из помощников больше всех идевался над нами Анненков. Когда-то он служил простым писарем при полиции, а теперь звание «его высокоблагородия», как у нас называли всех без исключения помощников, даже пепмевших никакого чина,—разнуздало его и без того дикую фантазию. Так, он любил, чтоб арестанты, выходящие на прогулку, провожали его глазами и смотрели ему прямо в зрачки. Если не успеешь или не захочешь сделать этого, он тут же залепит тебе пощечину, свалит пашкой и начнет рутаться хуже пьяной проститутки. Или на прогулке бывало командует:

— «Бе-е-гом!.. Собака собаку догоняй!.. Собака собаке ровняйся!»—и тогда всем приходится бежать по кругу, что есть сил.

В другой раз этот же Анненков под аккомпанемент обычной прогулочной команды: «раз, два, три, четыре... левой, левой...» бьет по очереди в физиономию всякого, кто проходит мимо него.

Питание при Мадиевиче было хуже северного. Арестанты у нас до того отошали, что многие из них рылись в свином корыте, в падежде вытти подходящую корку хлеба, предназначенную для свиней начальника. Зимой в камерах был ужасный холод. Дровами заведывал помощник граф Сонгайлло, ухитрившийся молодецки надуть комиссию

из губернского правления, которая приходила с ревизией. В баню пускали один раз в две недели, но времени на мытье давали так мало, что редко-редко израсходуешь больше одной—двух ведер воды. Не успеешь еще смыть грязь, как раздастся оглушительная команда: «Выходи!.. Выходи-п!...» и ты, как угорелый, часто с мылом на теле, бегом одеваешься. Навозочек к соломенным подушкам тогда не полагалось, а полотенца и портянки никогда не менялись. Отрого требовались «чистота и порядок», за малейшую пылинку на стене били кулаками, но действительной чистоты и порядка очень мало было в нашем центре.

Утром встанешь плохо выспавшись после дневной, утомительной (особенно на хлопках) работы, после побоев и терзаний, весь ты грязный, неумытый, голова трещит, во рту засохшая от пыли и духоты слюна, с нетерпением ждешь не дожدهшься, чтоб тебя наконец выпустили на opravку, а тут тебя заставляют громко во весь голос петь «Отче наш...» Вообще, при фон-Кубе и Мадневиче строго следили за соблюдением всех правил веры православной: за отказ от говения, исповеди и т. п. полагалась кулачная расправа (вспоминаю, например, случай с социал-демократом С. Часовенным). Иные каторжане (даже не из русских: я знаю такой случай с евреем Финшером), чтоб задобрить надзирателей, покупали в пользу церкви свечи. Иной раз дядька, по обязанности заботившийся о благолепии храма Божия, сам обходил арестантов и требовал деньги на свечи.

— У меня сейчас денег нет, господин отделенный...—ответит ему кто-нибудь.

— Ни х!.. (т.-е.: не беда!). Одсжи вот у него!—возразит находчивый надзиратель (в то время каторжане могли не только делать неограниченную выпisku, но, вопреки уставу, и списывать деньги с квитанции друг у друга). Каждый из арестантов, понятно, старался как можно реже попадаться на глаза начальству, и когда надзиратели выгоняли их в церковь, иные посылали вместо себя других, которым они давали за это чай и сахар, а другие отговаривались принадлежностью к сектантам, хотя на самом деле они числились православными.

— Ты чего в церковь не идешь, так и так твою..?—начнет кричать Захаря.

— Я сектант, господин старший: штундист...

— «Штундист»!.. Гм!.. Ну, а ты?—подходит он к другому.

— Я еврей, господин старший.

— Ишь, жидюга!.. Погибели на вас нет!.. Ну, а ты?—обращается он к третьему, к одному политическому, большому насмешнику.

— Я тоже сектант: *вегетарианец*, господня старший.

— Что ж это, так вапшу мать!—свирипеет Захар Козленко, отпуская ближе к нему стоящим пощечины,—куда же это православные девались!.. Сговорилсь, что ли!.. Скоро обедня, кого же я в церковь пошлю!.. Марш! Выходи десять человек, и без ниваих!.. Живо, сволочи!..

* * *

В первое время, когда мне частенько доставалось от надзирательских кулаков п языков, я склонен был думать, что право на избияния—это печальная привилегия именно *политических* каторжан. Преследовать бунтовщиков, не признающих Бога, идущих против царя, вообще восстающих против старых устоев,—это еще понятно, когда речь идет об обывателях—чиновниках и консерваторах-крестьянах, из которых и рекрутируется высшая и низшая тюремная администрация. Волна ограблений и террористических актов, направленных отчасти и против чинов тюремного ведомства, еще больше могла усугубить такое отношение.

Однако, бивже присмотревшись к орловским порядкам, я убедился в ошибочности моих предположений. Во всем, что касается побоев п оскорблений, наши администраторы придерживались принципа *равнительного распределения*. Политический или уголовный, рецидивист, осужденный за грабежи, или рядовой мужичок, попавший за убийство в драке, на всех их одинаково распространялась избивательная кампания.

— Пожадеть тебя здесь некому, а отлупить тебя всяк горазд!..—плавался раз один пожилой крестьянин, которого побили за неисполнение одного из сотни специфических орловских постановлений.

Было бы абсурдом утверждать, что *все* до единого тюремные надзиратели—это хулиганы вроде Богомолова, или любимца Мадяевича—Захара Козленко, или адъютанта Синайского—Степанова, или ставленника Козченко—Коробки. Нет, иной раз попадались и хорошие люди, надзиратели, которые даже передадут вам от соседа сахар п махорку, или (за деньги, правда) бросят письмо в почтовый ящик. Но как везде п всюду, так и в нашем центре происходил подбор п приспособление. Вновь поступающие надзиратели, люди склонные по характеру, поразительно быстро портились п зверели. Все дело в традиции данной тюрьмы, в ее руководящей тенденции. То же самое можно сказать и о помощниках начальства. Среди последних преобладала молодежь. Правда, молодежь эта воспитывалась не во времена очаковские и не в эпоху Николая I, когда дтани начальников «дантистского» типа выбивали зубы своим подчиненным, когда розги и

истязания были обычны и в деревне, и в семье, и в школе. И не симптоматично ли, и не наводит ли это на размышления далеко не радужного свойства, что именно эта современная молодежь, облакаясь в тюремные мундиры, выдвигает таких хулиганов, как Авеников, Александровский, Сонгайло, Грабовский и многие другие из орловских — да и одних ли орловских — администраторов?

«Человек!.. — говорит устами одного из своих героев наш романтик пролетариата, — че-ло-век!.. Это звучит гордо!..»

Да, да, т. Горький!.. Звучит очень гордо! Вспомните только, до чего гибка психика «человека» в направлении подлости и подхалимства, и каких только гадостей он не в состоянии оправдать во имя своего личного благополучия!

Мне часто приходилось читать о душевных качествах русского простолюдина, о его миролюбии, мягкосердечии, чуткости, непротивительности и так далее. Вероятно, любой патриот из любой нации наделяет свой народ кучей подобных добродетелей. Так Достоевский в своем мало читаемом, но крайне интересном и для него характерном «Дневнике писателя» уверяет, что русский человек «простодушен, чист, кроток, незлобив, широк умом, честен, искренен — и все это в самом привлекательном и гармоничном соединении». Даже слово «крестьянин» Достоевский склонен произвести от слова «христианин», из чего, мол, следует, что наше простонародье пропитано заповедями Евангелия.

Побывав во многих тюрьмах, я не мог без раздражения читать подобные хвастливые фразы. Я не знаю ничего более отвратительного, чем *самодур из низов*. Для него нет ничего сдерживающего — ни контроля воспитания, ни требований внешней культурности. Нахальный и заносчивый по отношению к тем, кого он считает стоящими ниже себя (скажем, к арестанту-каторжанину), он моментально меняет тон, даже самую физиономию, как только с ним заговорит тот, кого он считает стоящим выше себя: надменный бурбон в первом случае, он во втором становится робким и угодливым, чуткость его доходит даже до улавливания одних только намеков со стороны начальства. Ему даже не надо отдавать прямых приказаний!

Представьте себе, что какой-нибудь Кирьяк из Чеховских «Мужиков», избивающий и жену и детей, прошедший еще школу казармы с ее дисциплиной и субординацией, толкаемый безземельем и отсутствием «рукомерсла», идет на службу в тюрьму. Правда, служба эта отвратительная: жалованье ничтожное, все время на ногах в полутемном, вонючем коридоре, частое дежурство по почам с урезанным 4-5-часовым сном, хроническое недосыпание, переутомление, озлоблен-

ное нервничанье, зависимость от капризов не только высшего начальства, но и своего же брата-надзирателя, только званием чуть-чуть повыше... Но зато у него в перспективе систематическое увеличение жалованья вплоть до удвоения 25-30-рублевого оклада, а вдобав, после 25-летней беспорочной службы, улыбается и пенсия. У него, большей частью, и казенная квартира с отоплением и бесплатным кипятком, ему и одежду выдают из казенного депохгауза, ему и наградине обещаются, — словом, есть из-за чего постараться.

Пред надзирателем стоит не человек, а арестант, существо осужденное, оплеванное и ошельмованное, — частонепонятное и чуждое, если речь идет о политическом. Он и без всякого давления со стороны не прочь съездить по физиономии, «проучить» арестанта, а тут начальство еще поощряет это, а тут оно на каждом шагу подчеркивает его полное беспрание.

Из особенностей, отличающих наш централ от других каторжных тюрем, нужно упомянуть еще о коридорных, т.-е. об арестантах, убивающих коридоры, раздающих обед и т. д. Обыкновенно, согласно тюремной традиции, — это люди *блатные*, т.-е. спон, готовые где только возможно услужить арестанту и насолить общему врагу-начальству. Они и *ксиву* (записку) передадут, и *пермишко* (пожик) достанут, и про *шутер* (обман) предупредят, и с хорошим *ментом* (надзирателем) сношения завяжут.

Не то было в Орле, при Мациевиче и Синайском. При них коридорные назначались главным образом из отбросов уголовщины, из *лягавых*, провинившихся пред своими же собратьями, заключенных в шпионстве и предательстве. В других тюрьмах лягавых держат изолированно, собирают в особый *сучий нуток* или в *сучий департамент*. В Орле же они сидели в общих камерах и занимались доносами вполне открыто. Начальство поощряло их, брало вод свою бдительную опеку, а сами арестанты были настолько терроризованы, что господа лягавые чувствовали себя великоленно и делали свое дело совершенно безнаказанно.

У нас в одиночном корпусе выделялся в этом отношении некий Александр Сербулов, толковый и расторопный парень, одесский вор-ришка, сосланный в каторгу за ограбление с убийством. В Орел он приехал из владимирской каторжной тюрьмы вслед за Синайским, который, после того как Сербулов засынал какой-то побег, взял его под свое личное покровительство. Из других коридорных этого типа упомяну еще о Ванилове, молоденьком краснощеким каторжанине, который на воле служил в сыском отделении и вместе с другими сослуживцами осужден был за участие в ограблении; о Мохове, беззубом,

с оспенным лицом, до-нальз истощенном чертежнике, который получил 20 лет каторги за то, что с целью ограбления вырезал целую семью, и наконец о Савчуке, здоровенном крестьянине, попавшем на каторгу за разбойное нападение: ожидая смертной казни, он выдал своих двух второстепенников-сообщников, впоследствии повешенных.

Эта-то гнусная компания еще больше отравляла жизнь нашей братни. Похабную брань, пощечины и всяческие издевательства они практиковали не хуже самих надзирателей. Часто бывало, что отделенный или простой дядька впустит лягавого в одиночку к новопривышему, и коридорный, отвратительно ругаясь и расправляясь кулаками, преподает тому известную уже науку.

— Ты куда сумонку положи!..—кричит, бывало, в присутствии надзирателя Сербулов, ударяя по лицу стоящего навтыяжку арестанта.— А крошки от хлеба почему не убрал? А одеяло ка-а-к сложил?.. Ах ты, сводочь, разве господин дядька мало по твоей маске прохаживался? Или еще в морду захотел?!

Эти же коридорные-арестанты с ведома отделенного брали себе лишнее мясо из общего котла, обирали сумки новопривывших забирая оттуда чай, сахар и т. п.

Таковы институты, таковы нравы учреждения, именуемого орловским *исправительным* отделением...

* * *

Должно-быть, с целью европеизировать управление тюрьмами, высшее начальство ввело институт тюремных инспекторов. Можно было думать, что люди с высшим, специально-юридическим образованием будут стоять на страже так-называемой «законности» и постараются удерживать своих подчиненных от проявлений варварства. Но поведение целого ряда инспекторов, хотя бы того же фон-Кубе, вызвавшего своими действиями в Сибири целую трагедию¹⁾, говорит о неосновательности подобных ожиданий.

Излагая свои взгляды на способы исправления заключенных, наш инспектор так говорил надзирателям:

— Арестантов не распускать!.. В случае чего—в морду их!.. Бей и в хвост и в загривок,—я отвечаю.

Какой-то наивный и простодушный каторжанин пожаловался фон-Кубе на то, что его избивали. Вот его ответ:

¹⁾ В 1912 г. он был уже начальником Нерчинской каторги. В августе этого года он приказал-было выпороть розгами одного политического из кутомарской тюрьмы. В виде протеста трое каторжан зарезалось, десятеро приклали яд, а все остальные объявили голодовку.

— Вы, арестанты, хуже собак... У меня вон собачка есть, я с нею обедаю, а вы хуже, вы как клопы, вас выводить, уничтожать надо.

Кому же в таком случае жаловаться?.. У нас в Орле если пожалуешься на надзирателя начальнику, то будешь за это жестоко избит (таких случаев—десятки), а то и выпорот, как это было с социал-революционерами Киманом, Кудрявцевым и др. В этом отношении очень показательна судьба несчастного Саши Бейлина, анархиста, известного среди своих екатериноставских и северо-западных единомышленников под кличкой «Саша Шлумпер». В Орел он пришел с плохими отзывами, и наше начальство, особенно старший помощник Семашко, знавший его по Киеву, всячески преследовало его.

Однажды, когда Бейлин был дежурным по камере, надзиратель избил его, избил за то, что на стене, по которой он провёл рукой, была пыль. Бейлин поднял крик, его вытащили в коридор и там до того помаяли, что вывихнули ребро. Бейлин обратился к доктору Рыхлинскому, тот признал вывих и взял его на время в больницу. Встретив как-то инспектора Сербинова, Бейлин принес ему жалобу, на что Сербинов потребовал вторичного его освидетельствования. Рыхлинский, должно-быть, отлично понимавший, чего можно добывается инспектор, хотя и подтвердил факт вывиха ребра, но признал его давнишнего, якобы до-тюремного происхождения.

— Ага! Значит, ты врешь!—вознегодовал Сербинов на Бейлина, дерзнувшего оклеветать мягкосердечных в кротких орловских надзирателей.—Выпороть мерзавца!

Бейлина схватили и выпороли розгами. Приключенное это до того на него повлияло, что он *сошел с ума*, заболел буйной формой маниакального преследования. Уже сумасшедшим его били бесчисленное число раз («чтоб дурака не жалел, так и так твою мать»), множество раз в камере сажали и глумились над ним бесконечно. Но, несмотря на общее затемнение его сознания, могучий инстинкт жизни все еще властно говорил в нем: желая добиться более мягкого отношения, Бейлин раз пятнадцать объявлял голодовку, но тщетно. Держали его в одиночестве, изолированным, и по своему душевному состоянию он не в силах был ориентироваться в окружающем и найти какой-нибудь целесообразный выход. Окончательно измученный, Бейлин умер весной 1915 г., умер совсем молодым.

Его товарищ по убеждениям и по протестантскому духу, пекий Савдлер, чудесный по характеру и редкостный красавец, до того часто подвергался у нас побоям, что тоже не выдержал, зачах и умер.

Менее печально кончилась история с социал-революционером Дьяконовым, которого в течение недели систематически истязали, пока ве

добились своего: окончательно обессплели и упав духом, Дьяконов пошел навстречу желанию помощника инспектора Скрыбина и дал подписку в том, что в Орле избияния не практикуются...

В начала 1912 г. нашу тюрьму посетил какой-то крупный чиновник из Главного Тюремного Управления. Каторжанин Тимонин, парень смелый и правдивый, пожаловался ему на побои. Чиновник выслушал и не сказал ему ни слова, но присутствовавший при этом инспектор Сербинов уверил его:

— Даю тебе слово, Тимонин, что больше тебя бить уже не будут.

Едва начальство ушло в другое отделение, как к Тимонину прибегает Богомолов.

— Ах, так и так твою...!..—начал он.—Ты что же это жаловаться на меня вздумал!.. Ты болван, думаешь, что все, что я делаю, то без ведома господина начальника?.. Ты думаешь, это отделенный здесь такой?—тут Богомолов поднял руку на аршин от пола. — Нет, сволочь, отделенный здесь во какой!—тут он поднял руку вверх над своей головой.—Помни же!..

Через некоторое время Тимонин, спускаясь вниз с третьего этажа и будучи в кандалах, несколько отстал от своего уже раскованного сожителя. Надзиратели наши, во всем любившие порядок, требовали, чтоб арестанты из одной и той же одиночки, выходя на прогулку, шли вплотную один за другим, отделяясь таким образом от жильцов другой одиночки. Богомолов подсказывает к Тимонину и со словами:— «Ты что же это отстаешь»?..—бьет его кулаком в лицо. В другой раз тот же Тимонин, которого Сербинов уверял, что его больше бить не будут, как-то из-за дальности расстояния не расслышал слов, связанных ему надзирателем, и переспросил его:

— Что вы сказали?

— Не «что вы», а «чего изволите, господин отделевиный»—вог как надо связать!—заорал на него тот, отпуская ему пощечину.

В редчайших случаях наш централ посещал товарищ прокурора. При этом надзиратель или помощник начальника предварительно обходил арестантов и, уведомляя о приезде прокурора, требовал, чтоб те заранее выкладывались, на что именно они намерены жаловаться.

В августе 1912 г., после того, как с ведома и в присутствии Синайского и Сербинова было устроено небывалое в истории русской каторги истязание 14-ти шлисельбуржцев, присланных к нам на исправление, тюрьму посетил чиновник-юрист. В сопровождении того же Синайского, его помощников и целой вучи надзирателей, без всяких предупреждений о своем приезде, не говоря о том, кто он такой

и зачем он приехал, он обходит одиночки. После казарменного «здорово!» он вялым и безразличным голосом спрашивал:

— Ты на сколько осужден?.. За что?.. Когда срок кончаешь?

Получив ответ на эти ужасно важные вопросы, он поворачивался и уходил в следующую камеру. Это называется: «посетить тюрьму». Он даже не спрашивал, есть ли у заключенного какие-нибудь заявления и жалобы.

Зашел он и в 137-ю одиночку, к соц.-д. Янсону, сидевшему тогда с вышеупомянутым Тимониним. Не зная, кто такой этот чиновник, Янсон осведомляется, с кем, мол, он имеет честь говорить. Оказывается, это товарищ прокурора. Тогда Янсон и Тимонин, рискуя получить новую встряску, заявили ему о практикующейся у нас кулачной расправе.

— Что ж, жалуйтесь своему начальству, — мямлит в ответ товарищ прокурора, стоя на пороге и направляясь к выходу.

— Но начальство наше само дерется! — бросает ему вдогонку Тимонин.

Товарищ прокурора и Спичайский весело переглянулись между собою, усмехнулись и молча вышли из камеры. Через полчаса в 137-ю камеру прибегает Калафут, обругал их, как водпили, матерною бравью, торжественно обещал «всю морду искровянить», но пока-что ограничился тем, что развел Янсона и Тимонина по разным углам нашего длинного коридора.

Раз в три наш централ посетили совсем уже высокие особы. В 1909 году осенью в Оренбург приезжал начальник Главного Тюремного Управления Хрулев. В 14-й камере общего корпуса Седов и Драханов (два человека из 1.200 находившихся тогда в тюрьме) принесли ему жалобу. Хрулев только и сделал, что развел руками. На следующий день Седов и Драханов были, по приказанию Мадиевича, выпороты.

Года через четыре после этого приехал заместитель Хрулева — Гран. Многие, узнав об этом, готовились сделать ему ряд простран-ных заявлений, но г. начальник Главного Тюремного Управления изволил посетить лишь тех арестантов, к которым приводило его начальство. Когда же с.-р. Дм. Гуменский, много раз испытанный на собственном лице и на собственной спине удельный вес надзирательских кулаков, рассказал об этом Грану, Сербинов и начальник Колченко поспешили тут же уверить своего патрона в том, что Гуменский — сумасшедший... Хватило же у них смелости — или... беззащитности!

Однажды по тюрьме распространился сенсационный слух: прибудет сам министр внутренних дел Макаков. Началась невероятная суетня: чистили, скребли, полировали, наводили всюду лоск и блеск. Многим выдали свежие штаны и бушлаты, переменили соломенные подушки.

словом, приготовились честь-честью. Губернатор, инспектор, помощник инспектора, начальник, все помощники его, доктор, оба фальдшера долго-долго дожидались его, а дежурные надзиратели не сходили со своих постов, хотя время для смены давно прошло уже. Наконец, приехал его высокопревосходительство. Заглянул он в пару камер, затем в пару мастерских, посетил пару каторжан, сидевших в одиночке, — и уехал. Впечатление об орловской каторге он получил разве что на основании рапорта начальника тюрьмы.

Было это в среду, когда полагается постный обед. Ну и обед же был! Рыбы сколько!.. Картошкн!.. Все было в обильном количестве и со вкусом приготовлено. Следовательно, от приезда министра арестанты все-таки кое-что выиграли. Впрочем, целую неделю после этого обед представлял собою почти одну только водичку... Но нельзя же и баловать арестантов!..

* * *

Говоря об Орловском центрае, нельзя не упомянуть о нашем докторе Рыжлинском.

«Известно всем арестантам по всей России,—писал Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома»,—что самые сострадательные для них люди—это доктора. Они истинное прибежище для арестантов...» На основании своего личного опыта и наблюдений многих заключенных из других тюрем, я смею утверждать, что такая общая характеристика совершенно неприменима для нашего времени. Безразличное (а для врача это преступно-безразличное) отношение к больным, вазенный шаблон и холодный формализм, отправление своих обязанностей с такою же небрежностью, с какою средний чиновник, служащий исключительно жалованья ради, отправляет свою скучную работу, приспособление и подлаживание к требованиям и даже к капризам тюремщиков—такое впечатление производит большинство тюремных врачей, с которыми приходилось мне сталкиваться.

Конечно, во многом они стеснены, но до чего же низко должны они ставить свое личное достоинство и престиж своего сословия, если, например, они мнятся с тем, что при осмотре больных вне самой больницы за ними всюду по пятам ходит надзиратель, который смотрит им в рот и в руки, выслеживая, не скажет ли доктор или не передаст ли он что-нибудь «недозволенное»... Настоящий врач не мог бы с этим примириться. Точно так же настоящий врач многое мог бы сделать для улучшения того ужасного, порою превосходящего всякое воображение антисанитарного состояния большинства российских

тюрем, которое нашло себе подтверждение даже со стороны самого Главного Тюремного Управления.

Достоевский вот возмущается, что в палату к больным ставят на ночь парашку и не выпускают их в более подходящее место, но такие порядки далеко не исчезли и по сие время. Еще больше негодует он по поводу того, что с туберкулезных не снимают кандалов. Он вызывает в христианскому милосердию и убеждает власть имущих снимать цепи с арестантов хотя бы перед их смертью. — «Сами по себе, — пишет Достоевский, — кандалы не Бог весть какая тягость, весят они всего (...«исего!...») двенадцать фунтов, но для трудно-больного, для чахоточного, у которого и без того сохнут руки и ноги, всякая соломинка становится тяжела... Нельзя же усугублять наказание тому, кого уже и так коснулся перст Божий».

Для тех, к кому обращался и вызывал Достоевский, он, по своим политическим взглядам, был вполне своим человеком, а с тех пор, что он писал это, прошло уже целое полу столетие, а между тем пусть-ка Главное Тюремное Управление соберет подробную статистику каторжан, умерших с кандалами на ногах... А что туберкулезных подвергают всем тем ограничениям в отношении выписки, прогулок и т. п., которыми подвергаются и здоровые каторжане, что их как и в чем не бывало сажают в темный карцер на хлеб и на воду и даже *порют розгами*, — об этом и говорить нечего.

Про нашего Рыхлянского можно сказать с уверенностью, что от орловского вадзырателя он отличался разве тем, что носил пенсне, шикарно одевался, стриг бороду не в виде лопаты, а в виде эспаньолки, и курил не махорку, а дорогие папиросы. Правда, сам доктор никогда не дрался, но зато не прочь был иной раз выругаться по-матужки, часто топал на больных ногами, грозился розгами и т. д. Кошмарный режим, расстраивавший здоровье заключенных и массами сводивший их в могилу, его несколько не возмущал. Чахоточные, которых он даже не изолировал от здоровых, находились у него на самой обыкновенной арестантской баланде, и он даже не постарался выхлопотать для них хотя бы ежедневную прогулку; единственное, что он для них сделал — это разрешение войтоков для брезентовых воев.

Его отношение к больным, находившимся в лазарете, отдавало возмутительной халатностью, граничащей с преступностью, и действительно, смертность при Рыхлянском во много раз превосходила самые максимальные нормы. При нем больные не были даже гарантированы от побоев. Так, если вадзыратель заметит, что кто-нибудь курит в палате, он обязательно поволочит за это. Иной дядька вдруг возмутится тем, что больной рассказывает по палате.

— Здесь, сволочь, не бульвар тебе... Лежи, если больной!..

Само собою разумеется, что подобные сентенции лишь в редких случаях обходятся без кулачных комментариев. На подобные выходы Рыхлинский смотрел сквозь пальцы. Зато он и пользовался у нас всеобщей и глубокой ненавистью. Если о его заместителе Лисохине, докторе из местных евреев, гуманном и чутком человеке, все без исключения арестанты отзывались с любовью и уважением, то о Рыхлинском никто доброго слова не скажет. Встретился он наедине где-нибудь с каторжанином, то навряд ли ушел бы живым...

«Я совершенно человек темной как ночь и то я вижу Неpravду Аброзованных людей как у этого Доктора у Него Лвиная душа а сердца Тигриная,—писал мне мой сосед, Азаров, проживший в центре целых семь лет.—Наверно он для этого получал Аброзование чтоб как легча (легче) кровь пить с темнова человека. Веддой несчастный арестант пропаданть незачто как наскомая».

И действительно, у нас в Орле, где заключенных было более 1.200 человек, арестанты пропадали, как пасекомые. У меня сейчас нет под рукою официальных цифр, но, сопоставляя собственные наблюдения, показания многих больных, лазаретных служителей, надзирателей и мастера, изготовлявшего гробы, я утверждаю, что в Орловском центре за время 1908—1912 г. г. умирало не меньше 150—200 каторжан в год ¹⁾. Положительно не было недели, чтобы кто-нибудь не умер, и наоборот, бывали дни, когда умирало пять, шесть, а то и семь человек.

Необычайная цифра умерших от чахотки вызвала тревогу даже со стороны Главного Тюремного Управления: введены были периодические осмотры легочных больных *(без всякого, однако, улучшения их пищевого довольствия и обще-правового положения...)*, по всем камерам розданы были медные плевательницы с раствором марганцевого кали, а главное—всюду на стенах вывешены были правила о том, как уберечь себя от чахотки: не плевать на пол, почаще бывать на воздухе и получше питаться,—таковы были пахнущие издевательством наставления гигиенистов тюремного ведомства.

Измученный предварительным (еще до приговора) сидением, расстроенный режимом каторги, измочаленный арестант после нескольких основательных встрепок падал с ног. Если он человек впечатлительный, если у него, кроме того, слабые легкие, то—смотришь, через

¹⁾ В 1907 году в Париже на тысячу жителей умирало 19 чехов, в Петербурге—25; это считая и стариков и детей. Надо еще иметь в виду, что на каторге как и вообще в тюрьме, *преобладает самый цветущий возраст*, следовательно, нормально, процент смертности должен быть гораздо меньшим, чем в столичном городе.

некоторое время он уже обращается к фельдшеру, который и начинает пичкать его порохками и мачать подом. Потом его переводят, а то и переносят в больницу, а через несколько месяцев как-нибудь случайно узнаешь, что такой-то приказал долго жить...

В первое время такие случаи производили на меня странно угнетающее впечатление. Думая об этом молодяке, так печально кончившем дни свои на тюремной койке, вдали от родины и близких людей, среди тюремщиков, с холодным равнодушием смотревших на его предсмертные мучки, и, бывало, не находил себе места в одиночке. Образы, один кошмарнее другого, так и плодились в моем воображении. А когда в голову назойливо застучит мысль о том, что ведь и я сам могу испустить здесь свой последний вздох и замолкнуть навеки в казенном гробу, меня охватывала жуть и трезога...

Бывало и так, что избиваемый каторжанин умирал тут же на месте. Так, например, в 1911 году у политического Петра Мамонтова нашли во время обыска какие-то порошки.

— Зачем так много! — закричал на него отделенный. — Ты что это: больницу здесь заводишь, или аптекарский магазин открыть собрался?! Выходи!

Мамонтов вышел на коридор, надзиратель ударил его кулаком, он поднял крик, что еще больше разъярило дядьку. На помощь последнему подошли еще двое надзирателей, и Мамонтова били до тех пор, пока он не свалился с ног. У него из горла пошла кровь, послали за фельдшером (как и доктор, весьма подходившим к общему режиму центра), но пока он удосужился прийти в корпус, Мамонтов помер.

Непосредственно от избиваний и в самой ближайшей связи с ним у нас умирало немало каторжан. Так было, например, с Северюковым, Кудиновым, Цыгановым, Насоновым, Солодухиным, Сабуровым, Грековым, Кривцовым, Никулиным, Сандлером, Фудимом, Мельниковым, Редько, Литманом, Малыхиним, Жмненным, Ефремом Селивановым, Кононом Москальчуком, Багаудом, Мосиенко.

Немало также было у нас и самоубийств и покушений на таковые.

Политический *Мирошниченко*, которого, как и всех прибывших из Новочеркасска 14 мая 1909 г., страшно избили во время дежурства помощника Александровского, на следующий же день пытался повеситься. Его сняли с петли, но он вскоре умер. В своей одиночке сжег себя *Яковенко*; помощник Анненков, прибежав на тревогу, бия его лежачего и полубожьяемого; на третий день *Яковенко* умер. *Сергей Кудрявцев*, снятый с петли и потом сошедший с ума, а также и *Петр Лютиков*, накинувший на себя петлю и зверски избитый

за это,—умерли вскоре в больнице. Удачно повесились и сняты были с петли уже холодными трупами: петербургский студент социал-демократ *Сапожников*, *Маларчук*, *Грибанов*, *Курагин*, *Сикорский*, *Петр Судик* (ночью повесился в шестой камере четвертого отделения), *Степан Чередников* (надел на шею веревку и закрутил ее деревянной ложкой), *Бальцеровский*, *Фатеев*, *Михаил Новиков* (чахоточный, выпоротый за участие в обструкции), *Шубович*,—список этот далеко не полон. *Грабов* бросился с лестницы и разбился на смерть. *Зуев* и *Хинчук* сбросились с верхней площадки и сильно искалечили себя. Невинно-осужденный в бессрочную каторгу *А. Розен*, нещадно избиваемый, сбросился в июне 1909 г. через перила третьего этажа на асфальтовый пол, разбился, но остался жив. Он впал в тихое умопомешательство и через год умер, так и не приходя в сознание.

Если бы министерство юстиции пожелало своевременно произвести ревизию, то этот мартиролог был бы несомненно значительно удлинен. К нему пришлось бы прибавить и тех шесть каторжан, которых застрелили во время стычки потерявших терпение арестантов с надзирателем Ветровым, что было 9-го августа 1910 г.

* * *

«Бедные и несчастные мы Орестанты,—писал мне упоминаемый выше каторжанин Азаров в ответ на мою просьбу прислать свою тюремную биографию.—Как нам можно было жить в Орле как не умереть как не быть больному и Чехоточному. Бедный он и так убит Горем своим, а тут еще Верховная Власть навалилась как Сорочка. Как тут не повесится или не згореть или бросится куда-нибудь только лишь не мучится».

Азаров сидел рядом со мною, и мы с ним частенько тайком переписывались. Ему предстояло в скорости выйти на поселение, и я просил его описать самочувствие, с каким он оставляет Орел. Вот его ответ,—я только исправил орфографию. Слова этого простодушного, попавшего в тюрьму тихим и смиренным парнем и выходящего оттуда озлобленным и раздраженным, характерны во многих отношениях:

«Я до сего времени никого еще не грабил и не скуповал своих рук в чужой крови. А теперь буду даже жрать мясо человеческое. Вот до чего централ меня поправил. Я только для того и живу и ожидаю конца срока, чтоб выйти на волю и задушить всех врагов. Я буду купать в чужой крови руки до тех пор, пока чья-нибудь железная и властная рука меня самого задушит. В этом есть низкое чувство, чтоб я не отомстил сам за себя. Какой же я тогда буду человек, если сам не постою за себя. Хотя и смерть мне будет за это,

но я и так сейчас не живу, а только существую, как какая-нибудь мебель» («небедь» — стоит в оригинале).

Тут мысли моего корреспондента приняли своеобразное направление, и, толкаемый какой-то запутанной ассоциацией идей, он продолжает:

«Богатые и начальство только к тому и утятся, как человека темного оседлать надо и понукать и как бы на мужика надеть ярмо деспотизма (*«как бы надеть на его Ярмо бесплотизма»*, — пишет сам Азаров), и вези, мужик, не шевелись! Вот где ваши ученые интеллигенты, вот где у них чувство человеческое, вот где сожаленье к человеку, какой же тогда может быть Бог? Для мужиков еще монастыри строят, а сами идут в театры, рестораны, на ликахах разъезжают, вино пьют за вать рублей одна бутылка, на все это у них хватает тратить финансов. За что инспектор и начальник, и доктор, и все образованные господа денюжки получают? Нет, пузно стереть ихние законные правления и всех вырезать. Вот я восемь лет отбываю, но мои жертвы приближаются, не дам пощады никому, всех суду стирать, пока не лягу под пулю. Вот как исправил меня Орел, только я не могу вам красноречиво писать, а на душе у меня много кой-чего накоплено».

В лице Азарова Орловский централ нашел судью, взгляды и намерения которого являются прямым следствием господствовавшей у нас системы.

В этой-то адской кухне, где своим злопыхательством и жестокостью один печальный дух превосходит другого, где постоянно стоял стон и срезает зубовой, где личность заключенного, его честь, его здоровье коверкались и топтались в грязь, — здесь-то и должен был исправляться арестант, откуда-то он и должен был выйти человеком раскаявшимся, остепенившимся, примирившимся с тем обществом и с тем судом, которые с легким сердцем швырнули его в эту преисподнюю.

.....

.....

.....

.....

.....

Когда в сентябре 1915 г. я вышел из ворот нашего централа, мне казалось, что с плеч моих свалилось десять Монбланов.

Предстояла мне еще ссылка на поселение в далекую и чужую Сибирь, предстоял еще тяжелый и утомительный этап из Орла и Иркутск, да еще с перспективой провести зиму до навигации в Александровском центральном и ссылке куда-нибудь в глушь Кирепского уезда, — но когда за мной закрылась калитка тюрьмы и старший конвойный грубо заорал: — Стройся!.. По шесть человек!.. На вокзал!.. — слова эти прозвучали для меня, как нежная музыка...

Т р и п о б е г а.

I.

... Кончилось тем, что всю напуганную камеру посадили на карцерное положение.

— Освободить койки!.. Убрать скамейки!.. Вынести одеяла, подушки, книги, посуду!..,—командовал помощник начальника, заведующий нашим корпусом. Целая ватага надзирателей во главе со старшим и отделенным бросились паперерыв снимать с железных коек брезенты, вытаскивать столы и скамейки и выбрасывать в коридор все, что только попадало им под руки. После двадцати минут такой работы камера наша была очищена от всякой мебели, а сами мы раздеты и основательно обысканы. Железные рамы от коек выглядели как-то спротивно, грязь и неуют тюремной обстановки еще более бросались в глаза, а большая из котельного железа и окрашенная в пунцовый цвет параша еще больше подчеркивала уродливую неприглядность нашего жилища.

Теперь нам предстоит целую неделю провести в пустой камере, не делая, буквально, ни шагу из нее. Говорю: «буквально», потому что начальник «посадил нас на парашку», т. е. лишил нас права пользоваться клозетом; в течение всех семи суток ушат этот будет стоять у нас в камере... Раз в четыре дня карцерным полагается прогулка, но в нашем благоустроенном центре правило это не соблюдалось. Кормиться нам предстояло одним только черным хлебом да водой, и лишь на четвертые сутки нам выдадут обед и выпиток. Спать будем на голом асфальтовом полу, накрываясь своими короткими бушлатами. Портяжки и даже собственные носовые платки, а также кандалные ремни и подкандалники—все это от нас отобрали,—ходить по камере, влася цепи по полу, было крайне неудобно.

Хотя мы и ожидали такого исхода, но когда печальство оставило нас и мы очутились одни, многие из нас порядком приуныли. На несколько минут в камере воцарилось молчание. Первым очнулся с.-р.

Дубовской, один из наиболее симпатичных представителей политической каторги, всегда бодрый и деятельный. И на этот раз он раньше всех пришел в себя.

— Ну, что ж, товарищи! — начал он тихим голосом, обводя всех нас близорукими в очках глазами. — Надо что-нибудь придумать... Не скучать же нам всю неделю напроект... Может, у кого рефератик какой-нибудь готов?.. А то давайте по-очереди рассказывать о наиболее интересных побегах... Как думаете, товарищи?

Предложение Дубовского всем понравилось и принято с шумными одобрениями. Опросили присутствующих, и оказалось, что рассказов о побегах ваберется с дюжину. Некоторые из них, показавшиеся мне наиболее интересными, я и передаю ниже.

* * *

— Расскажу вам сначала про действующих лиц, — заговорил Кадошцев, боевик из уральских соц.-дем. Сначала он говорил довольно спокойно, но чем ближе он подходил к концу своего рассказа, тем заметнее стал дрожать его голос. Почти всех участников этого побега Кадошцев знал лично, да и самый побег происходил чуть ли не на его глазах.

— Итак. Главным героем у нас будет Конторович, известный также под именем «Павел Черный». Это был молодой бринец, с открытым лбом и красивыми глазами. Человек он весьма развитой и начитанный, отлично знает английский и французский языки: он долго жил за границей, а к нам в Уфу приехал прямо из Лондона. По профессии он сапожник и кормился своим ремеслом.

Как малый умный и симпатичный, Конторович быстро внушал к себе уважение. Кроме того, он обладал замечательным даром использовать людей и ставить каждого на наиболее подходящее для него место.

— На постройку здания идут не только целые кирпичи, но и обломки, — любил он говорить, намекая этим на необходимость и возможность употреблять для хорошего дела даже нехороших в общем людей, раз только в них есть хоть какой-нибудь плюс. По своим взглядам Павел Черный был анархист, но при этом выделялся широтой кругозора и терпимостью: так, он всегда рад был помогать даже эсдекам.

В Уфе он быстро zorganizовал группу единомышленников, издал несколько номеров гектографированного журнальчика, вообще повел дело толково и апергично. Первых своих сторонников он набирал из лагеря с.-р.: среди них шли тогда большие нелады, «низы» организации были недовольны с.-р.-скими «верхами», ну, да тут еще премя

было такое: немало социалистов переходило тогда к анархистам. Чтоб разжиться деньгами, они впятером сделали нападение на контору пивоваренного завода либерального купца Вольмута. Помню, было это 21 апреля 1907 г. Никого не убив и даже не ранив, они забрали тысячи две рублей. Спасаясь от погони, они скрылись в церкви. Толпа окружила их, но Конторовичу и еще двоим удалось уйти. Но один из них, некий Власов, молоденький слесарь, парень несамостоятельный и слабохарактерный, перешедший от эс-деков к эс-ерам, а от эс-еров к анархистам, благополучно, было, скрылся, но из-за любопытства снова вышел на улицу, стал шататься в толпе преследователей, был узнан и арестован.

Уж не помню, как именно прослежен был Конторович: забрали его на квартире, где найдены были компрометирующие письма, печать группы и т. п. Вместе с ним арестована была также и одна молоденькая, лет 17-ти анархистка, девчонка шустрая и бойкая. Не боясь того, что подобное показание бросает тень на ее репутацию, на самом деле вполне безукоризненную, она заявила на допросе, что, якобы, встретила Конторовича на бульваре и пошла к нему ночевать в качестве девицы легкого поведения. Ее скоро и выпустили. Зато в тюрьму посадили двух других участников этого экска: Павла Миловзорова, воспитанника землемерного училища, парнишку нервного и горячего, и Тулицына, серого и ординарного человека лет 27, служившего писарем в каком-то судебском учреждении.

За исключением Конторовича все они сидели в обычной арестантской одежде, но, задумав бежать, они заявили прокурору о своей принадлежности к анархистам, и им, как политическим, разрешили носить собственное платье. Всем им грозила—самое меньшее—долгосрочная каторга,—ничего удивительного, что с легкой руки богатого индустриального Конторовича они вскоре стали усиленно поговаривать о побеге.

— Кроме всего прочего,—так аргументировал Павел Черный,—сидя в тюрьме, приходится волей-неволей подчиняться заведенному режиму. Не к лицу это анархисту. Впереди же нас ждет каторга, а централь—это не губернская тюрьма...

Последними словами Конторович намекнул на случай, бывший с ним у нас в Уфе и сошедший ему безнаказанно: как-то к нему в одиночку пожаловал товарищ прокурора и довольно вежливо осведомился, нет ли у него просьб и заявлений. Не вставая с койки, на которой он лежал, Конторович крикнул ему:

— Выйдите из моей камеры!.. Я с вами и разговаривать не желаю...

* * *

— Уйти из нашей губернской тюрьмы посредством подкопа или перепилить решетку не представлялось тогда возможным. Оставалось — идти напролом и пробиться на волю силой. Вместе с анархистами согласились еще бежать Никита Никифоров, полуинтеллигентный парень, сидевший за пропаганду и уже в тюрьме перешедший от с.-р. к анархистам, и один с.-д.-ский боевик, ученик Саратовского технического училища, живший теперь нелегально под именем Литвинцева. Анархисты с воли, которых было там человек 30, обещали, конечно, всякое содействие. Посредством угроз они раздобыли более тысячи рублей у того самого заводчика Вольмута, которого ограбили еще раньше.

Достать кое-какое оружие с воли было не трудно, а приготовить бомбу я сумел бы и в тюрьме, было бы только из чего. Вскорости нашелся надзиратель, который согласился сделать для нас все, что ему прикажут. Это был хохол Гордеенко, здоровенный детина, страшно падкий на деньги. Он и раньше носил на волю записки, а когда уголовный Карпунин занялся изготовлением в одиночке трех-рублевых бумажек, то весьма охотно сбывал их. Однако, за последнее время, после того, как он поколотил Алексеева, отношения между политиками и Гордеенко испортились. Про Алексеева, помните, я вам уже рассказывал: это был двадцатилетний рабочий, организовавший нападение на Златоустовский арсенал, потом бежавший из тюрьмы в Уфу и безо всякой помощи от с.-р. комитета убивший тюремного инспектора Кольбе. За это его и повесили, хотя сам военный суд ходатайствовал о замене казни каторгой. В ожидании виселицы Алексей попробовал среди белого дня бежать через стенку и уже успел переписать кандалы. Когда он засыпался и его переводили в особое здание, где раньше жили помощники начальника, Гордеенко, усердия ради, несколько раз ударил Алексеева кулаком. Узнав об этом, наши анархисты пригрозили ему смертью и так напугали его, что он готов был чем угодно искупить свою вину.

И действительно, в посуде с медом Гордеенко принес нам с воли два браунинга, а в другой раз динамит, бикфордов шнур и финский нож. Из жестяных коробок от какао Жорж Бормана я им и приготовил две бомбы. Однако, кислоты достать не удалось, так что при метании нужно было зажечь бикфордов шнур обыкновенной спичкой или палпсрой.

У нас в Уфе был такой порядок, что политические, у которых кончилось следствие, могли собираться вместе, но не больше шести человек в одной одиночке. Вот одни заговаривают зубы надзирателям и

стражникам, а другие в это время помогают мне приготовить бомбы и припрятывают все нелегальное. Отношения с надзирателями у нас были чудесные, панибратские. Мы их частенько угощали папиросами и лакомствами, во всю агитировали, а то в шутку начинали с ними бороться и баловаться. Бывало и так, что с хохотом и прибаутками втолкаем их в малый коридорчик, запрем дверь на задвижку, а сами уйдем на двор гулять. Баловались иногда и с подворотничком надзирателем. Все шло как нельзя лучше. Которович прямо ликовал.

«Лишь черное знамя собой выражает
Идем рабочего люда...»—

напевал он, восторженно сверкая глазами в предвкушении близкой свободы. Решено было так: трое из этой шестерки, именно Никифоров, Власов и Милосворов, закроют дверь в одиночку и схватят надзирателя Сальникова, а остальные бросятся к главным воротам. Пока их не отпустят, первая партия не должна ни под каким видом двинуться с места. Затем, одна интеллигентка с воли обещала достать тройку лошадей и поджидать наших беглецов в определенные часы.

— Необходимо делать все решительно, — напутствовал своих Которович. — Каждый должен дать честное слово, что живым назад не вернется...

* * *

Настал день побега. Едва прогулка вернулась в корпус, как по данному Павлом сигналу первая партия бросилась на надзирателя, стоявшего у ворот следственного двора. Отобрав у него ключи и отперев их, трое наших кинулись к главным воротам. Навстречу им из конторы выходит старший Денисов и растерянно растопырил руки.

— Куда вы, куда?! — изумился он.

— Тата! — коротко и мягко щелкнул браунинг, и надзиратель, как будто сменив что-то, повалился на землю. Привратник бросился удирать, но его постиг один из беглецов и ударил ножом в бок.

— Ой-батюшки-и, убили! — заревел раненый. Между тем, та партия, которая должна была оставаться у одиночек и дожидаться, пока ворота не будут открыты, услышав выстрел, не выдержала, растерялась и преждевременно бросилась к выходу. Торопливость эта передалась и остальным, и вот все шестеро побежали на улице, обгоняя друг друга...

— Но где же лошади?.. Где тут лошади?! — с тревогой спрашивают они друг друга на бегу. Пробежали целый квартал, но лошадей нет как нет. Потом оказалось, что заведывавшая этим девица ждала их два дня подряд, а на этот раз что-то показалось ей подозрительным, и

она увела тройку, не дожидаясь выхода беглецов... Ну, что ж, пиши пропало...

Выбежав на улицу, наши держались кучей, двигались не в разбивку и чинно, как обыкновенные пешеходы, а мчались как на пожар и обращали на себя общее внимание. Уфимская толпа, надо правду сказать, была ужасно настроена против социалистов, террористов, экспроприаторов и вообще охотно помогала полиции потреть крамольников. То же самое можно сказать и про местных солдат. Так, например, помню, когда семнадцатого октября пятого года мы проходили мимо казарм с красными флагами, солдаты хотели наброситься на демонстрантов и разорвать их в куски. Самим офицерам пришлось тогда загонять их в ворота. Так и теперь, когда наши беглецы пробежали мимо казарм, расположенных недалеко от тюрьмы, какой-то солдатик выбежал и загородил им дорогу. Наши сделали выстрел и понеслись дальше. Услышав новый выстрел и крики раненого собрата, остальные солдаты схватили винтовки и вылетели на улицу. Началась ружейная трескотня.

Никитка Никифоров бежит с бомбой в руках. На ходу он потыкал в фитиль ее зажженной спичкой и бросает по направлению к стреляющим в него солдатам. Бомба не взорвалась, а сам он свалился на мостовую с простреленной головой. Тут же раздались отчаянные крики какого-то постороннего человека, случайно попавшего под солдатские пули. Вслед за Никиткой лег на пыльную дорогу Конторович. Он тоже бежал с бомбой в руках. Присев на момент на корточки, он зажег фитиль и сейчас же давай бог ноги. Но не успел он еще бросить бомбу, как сыпавшийся в него град пуль буквально изрешетил его. Он тут же истек кровью. За ним свернулся как-то боком и длинный Власов. Его солдаты застрелили как раз напротив казармы.

Из остальных Тупицын и Миловзоров успели пробежать несколько кварталов. Выбываясь из сил и задыхаясь, они заскочили в какой-то двор и устремились, куда глаза глядят. Тупицын бросился на сеновал и там зарылся, но солдаты настигли его и нанесли ему две огнестрельные и семнадцать штыковых ран. На другой день он умер. Миловзоров же забился в баню, но по чьему-то указанию гнавшийся за ним надзиратель нашел его.

— Сдавайся!.. Отдай револьверт, а не то убью!..—закричал он. Как только Миловзоров отдал свой браунинг и поднял руки вверх, Анохин выстрелил в него и ранил в щеку на вылет, потом выстрелил, еще, но промахнулся. Видя, что патронов больше нет, Анохин повертел, повертел револьвером и говорит Миловзорову:

— Ну, иди, я тебя больше не трону!

Едва солдаты увидели Миловзорова, они как остервенелые бросились на него, но бывший при этом офицер выхватил пистолет и закричал:

— Не трогать!.. Он арестован!.. первого, кто его ударит, зарублю!..

Солдаты посторонились, и облитого кровью Миловзорова привели в тюрьму. Ожидая повешения, он решил взять с собою на тот свет хоть кого-нибудь из тюремного начальства. На полученные от эс-деков 50 рублей ему достали через уголовных браунинг и семь патронов, — ставили это прямо из тюремной конторы... Старик-арестант из хожатых, т.-е. из коридорных был взят уголовными Иванами на испуг и передал все это Миловзорову в чайнике, но на всякий случай отнес один патрон в контору. Узнав от него всю подноготную, начальник поступил очень дипломатично. Несколько дней он совершенно не трогал Миловзорова, но потом приказал подстаршему Васильеву неожиданно ворваться к нему в одиночку и обезоружить его. Тот так и сделал, и весь этот номер не прошел. Ночью 2-го декабря 1907 г. Миловзорov был повешен. Когда его вели на виселицу, старший Денисов, раненный им тогда в ногу, жестоко избил его. Вот свотина!..

Из наших героев остался в живых один только бродяга Литвинцев. Он действовал умнее остальных. Как только те побежали, он, не желая следовать их примеру, перескочил через ближайший забор и, отыскав яму в саду, залег там. Когда солдаты обыскивали этот садик, он незаметно перебрался в другой, соседний, а когда те пришли сюда, он перескочил в первый. Так он весь вечер и провертелся, а вочью улизнул окончательно. Пропатавшись недели две в городе, он уехал в свою Самару, но месяца через два снова вернулся в Уфу за бомбами и оружием. Все пережитое им, как видите, несколько и ни в чем не разубедило его, и он остался таким же эс-деком и отчаянным большевиком, каким был и прежде. Отъехал он от Уфы пять-шесть станций, как его арестовали.

Выдал его Алешка Челябинский, немолодой уже литейщик, из с.-р., перешедший к с.-д., довольно деятельный боевик. Парень он был ничего себе, только ужасно жадный на деньги. Денег наша дружина набрала посредством эксов порядочно: не меньше 370 тысяч рублей, но все они ушли в Ц. К. и на другие крупные предприятия: на общероссийскую конференцию боевиков и военных организаций, на лабораторию, оружие, побег и т. п. Каждый боевик, если он работал на заводе и оставался легальным, денег не получал от нас, но если он был нелегальный, то ему выдавали по 25 рублей в месяц. Вообще, на этот счет у нас было строго, такой порчи и распушенности, как у вас в России, у нас на Урале не было. Но все это мало удовлетво-

ряло Алешку Челябинского, в оя поступил в охранку. Он-то и погубил нашего Литвинцева.

В ночь с 23 на 24 мая 1908 «Бродяга» был повешен вместе с другими эс-дсками из нашей боевки: с Михаилом Гузаковым, Кузнецовым и Лаптевым. На Урале тогда свирепствовал генерал Сандецкий, и вешали у нас направо и налево.

Из шести беглецов, пашедших вместо волевой волюшки пулю и веревку, мне особенно жаль Конторовича: славный и талантливый это был парень...

II.

...— Не знаю, есть ли еще где-нибудь такая халявная администрация, как наша тульская,—так начал свой рассказ Яров, тонкий и худой каторжанин из крестьян, умный и способный, только исковерканный волной контр-революции и эпидемией грабежей.—Чего-чего только не припосилось в нашу губернскую тюрьму,—продолжал он, подобрав свои кандалы и усаживаясь поудобнее на край железной рамы от пустой койки.—О водке, картах, нелегальной переписке и говорить нечего! А сколько ножей, пилки, браунингов и даже маузеров спрятано было по разным хавпрам! Однажды в сортире нашли даже бомбу.

А сколько у нас было попыток бежать! Еще в пятом году следственные, вывозившие за ограду нечистоты, бросили мента в глубокую выгребную яму и удрали. С помощью посторонних надзирателю удалось выкарабкаться, но через несколько дней он застрелился на посту, должно быть от сраму. Или, в восьмом году пытались бежать сразу шесть человек. Вышло так, что они засели в секретке и начали отстреливаться. Призвали солдат и целых два часа выбивали их из этой засады, но те не сдавались, пока их всех не перестреляли. В другой раз, три арестанта сделали пролом в стене, но не выгорело. Потом один бежал прямо через ограду и прямо с прогулки. Он дул на ура и успел уже бежать до кладбища, но был пойман. Месяца через два—опять такая попытка, только с прорезом решетки. Да и не припомнюсь сразу все попытки...

Бывали случаи и не совсем обыкновенные. Так, в одиннадцатом году одному ротскому, ходившему по камерам с ремонтом, поручили передать кому-то браунинг, три пачки патронов и винчал. Он же будучи пьян от валериановых капель, которых он выпил нарочно, совсем забыл об этом. Выходит он как-то за ограду набавать матрацы и говорит надзирателю:

— Знаешь, я сейчас убегу от тебя!.. Ха-ха!

Мент, зная, что ему осталось совсем мало сидеть, и полагая, что это он шутит, отвечает ему в том же тоне:

— Что ж, валяй, братец, авось пуля догонит...

Тогда пьяловатый арестант выхватывает браунинг, который он не успел еще сдать кому нужно, и хотел было выстрелить в надзирателя. Но браунинг был на предохранителе, и он, спьяну не зная, как поступить с ним, стал втупик. Дядька сперва тоже было опешил, но потом спохватился и сам выстрелил в упор в арестанта. На тревогу прибегает старший и видя, что раненый арестант хочет подняться с земли, бьет его ногой в грудь и пристреливает на смерть...

Вот какие дела бывали у нас!.. Да что! В Тульской тюрьме был даже свой плетный двор. Два арестанта, Абрамов и Засимов, шикарно выдаивали фальшивые рубли и преловко обывали их через надзирателей на волю. Когда кто-то засыпал их, у них отобрали ровно 975 рублей собственного изготовления!.. На первое время, после каждого такого происшествия начальство наше делается бдительным. Но потом опять через лыко на плетень все остается по-старому.

После этого вам, товарищи, неудивительным покажется, как это у нас бежало сразу четырнадцать человек. Ну, слушайте:

* * *

Тульская губернская тюрьма находится за заставой Кленской улицы. Ограда кирпичная, двухсаженная. Ворота одви, деревянные. По левую сторону помещается надзирательская казарма, а по правую—контора и квартиры высшей администрации. Саженях в ста от тюрьмы—винокуренный завод, затем идут летние стоянки солдат и кладбище. Посередине тюремного корпуса—церковь; дверями она выходит против главной винтовой лестницы, ведущей во двор, причем потолок церкви упирается как раз и под камеры верхнего, то-есть, третьего этажа. На втором этаже к церкви примыкает большая общая камера, а против нее такая же.

Вот из этих-то двух камер и был сделан нобет.

Засимов, который недавно помер здесь от чахотки, вы сами знаете. На воле он был хороший столяр, но любил покутить и сделался вором. По характеру он пустой самолюбец с маленькой душой. Кондрашкин—был смел и решителен; у него, можно сказать, настоящий дух обретается; умом не беден, но с большой долей деревенской простоты. Бузюков, который был старше его лет на пять, то-есть, имел за собой лет 30, был дерзок, впечатлителен и с пылкой душой. Шестаков, одних с ним лет, когда-то имел решительный характер и отважный дух, но долгое пребывание в неволе страшно его изуродо-

вало; в нем теперь осталось только ужаснейшее против всех одабление, а душа его так и плавает в море желчи.

Пятый из этой компании, Бурдаков, был мужик лет за сорок, ярым и отчаянным вор и забубенная головушка. Вся его жизнь прошла в опасных приключениях. На теле у него нигде нет живого места, везде изрублено и испорчено. Из него вышел бы чудеснейший атаман, или главарь компании авантюристов, или путешественник на северный полюс,—вообще, он был бы у места всюду, где нужна безумная смелость и охота рисковать. Сам он безграмотен, хотя и на-редкость любознателен, а по-ом сделался, когда еще был мальчонкой.

Но главным руководителем всей этой братии был Абрамов; под его-то началом все это дело и устроилось. Лет ему было около 33. наружность имел исказистую: среднего роста, лицо веспухатое, борода полу-рыжая, и только его широкий смуглый лоб, серые пронзительные глаза и тихий, замечательно приятный, почти щекоцущий голос обращали на себя внимание. Среди норов мало людей с такой твердой и закаленной душой. Не понади он с малолетства на этот путь, из него, ей-богу, вышла бы крупная фигура. Вся его жизнь прошла беспокойно и бурливо. Еще лет за десять до этого побега, когда он жил с женою на Кавказе, ему уже приходилось участвовать в разных рискованных затеях.

Приехав на родину в Тамбовскую губернию, он опять занялся разбоями да грабежами, за что и был арестован по доносу собственной жены: она спуталась с начальником станции и, чтоб отделаться от надоевшего ей Абрамона, взяла да и выдала его полицип... Вот сука!.. Абрамова забрали и наградил восемью годами каторги. Душа его заняла, затосковала, не могла, не могла примириться с наложенным на нее бременем неволи. Он стал обдумывать как бы вырваться на свет божий, на широкий простор. Еще в уездной тюрьме, в В.-городске, он неоднократно пыривался бежать, но все ему не удавалось. Показ теперь в губерйскую, он решил вырваться оттуда, нав же покончить все счеты с жизнью.

Он знал, что дня через три-четыре его поведут в окружный суд, где он должен будет выслушать окончательное чтение приговора. В Туле же прожинал один студент Ч., совершивший много крупных эксов и на этой почве подружившийся с Абрамовым. Ч. рассчитывал на него как на соотрудника в задуманном им ограблении одного уездного казначейства. Вот ему-то Абрамов и послал теперь через блатного надзирателя ксиву, сообщил о своем плане, просил приготовить оружие, а я такую-то почь ждать его и других возле тюрьмы с лошадьми. Все это было обещано и сделано. Возвращаясь из окружного

суда Абрамов, и в самом деле, принес спрятанный там Ч—х револьвер.

План был выработан вот какой: проломить стенку, примыкающую к церкви, через нее пробраться на коридор, связать постового надзирателя, зайти в одну секретку и освободить сидящих там четырех смертников, а затем выйти всем за ограду, где их будут уже дожидаться свои.

* * *

Было это в 1910 г. в ночь на третий день Пасхи. Снег на полях всюду стоял, и все-где проглядывала уже черная земля. Деревья стояли с набухшими почками, как бы готовыми по первому сигналу лопнуть и зацвести. Солнце стало греть ярче. В воздухе запахло весной,—этой самой мучительной порой для нашего брата. Делаешься непоседлив и беспокоен, внутри в тебе бушует и хлопочет, и как-то тягостнее чувствуется неволя и оторванность от всего, что движется, радуется и любит. И голубое небо с вудрявыми тучками, и свежий, пахучий воздух, и зеленая травка, и воркующие голуби, и надзирательская баба в пестром сарафане, которую мельком видел в церкви,—все это тебя волнует и раздражает, с острой болью напоминает, что ты арестант и лишен всего, что веселит и красит жизнь человека... В тюрьме везде пооткрывали окна, и арестанты с тоскою на сердце поглядывают через тюремные решетки на пробуждающуюся от зимней спячки природу.

Наши уже третий день работают над стеной, продавливая в ней дыру: полтора аршина ширины,—не шутка! Но вот Шестаков, который с долотом в руках орудовал там, вытаскивает, наконец, голову и говорит:

— На сегодня довольно... Остался только последний ряд...

Решили работу пока приостановить, а после проверки пробирать уж окончательно насквозь. Настроение у всех приподнятое. На лице у каждого воодушевление и решимость помереть за свою свободу. Но вскоре появились и разочарованные. Когда стали пробивать последний ряд, оказалось, что там не сквозник, а только дымоход, за которым следует такой же толщины слой, как и уже пробитый. Как тут быть?.. Времени страшно мало, а дело идет уже к полуночи, т.-е. к условленному для побега часу. С боли уже ждут тот студент-экспроприатор с приятелями и лошадьми, они с минуты на минуту ждут сигнала, а тут работы еще по горло.

Приуныли ребята, повесили свои буйные головы от такого неожиданного препятствия, а некоторые, у которых душа поживе, начинают уже подумывать как бы отделаться от всей этой истории. Зато более

решительные скоро оправились от напавшего на них уныния и горячо принялись сверлить остаток стены.

— Ребята! — говорит через некоторое время Бурдаков, глядя в окно, — с воды не вытерпели... вот они дают сигнал... снаружи момент, должно быть, удобный...

— Приготовьте свои факелы! — приказывает работавший теперь в дыре Абрамов, — я сейчас кончу.

И он принялся с удвоенной силой разворачивать последнюю пленку. Да тверда она оказалась, черт бы ее побрал! Целых три часа он бился над нею, пока его фомич не задвигался свободно в пустом пространстве. На дворе уже светло стало. Ждавшие на воле, видя, что никто не выходит, решили, что дело засыпалось, и разошлись во-свои-си. Но не для того было положено на это столько кровавого труда, чтобы опустить руки на пол-дороге. Скоро вольный дух затрепетал в груди, почуввав возможность вырваться на широкий простор.

— Ребята!.. Кто в бога верует, — за мной! — крикнул своим тихим, но твердым и внушительным голосом Абрамов. С револьвером в руке он первый бросился в сделанное им отверстие. Вслед за ним полезли еще некоторые, но не успели они еще подойти к дверям, как из коридора их заметил надзиратель и поднял тревогу. Но напих это не испугало. Сильным ударом фомки Бурдаков разбивает стеклянную дверь церкви, и Абрамов во главе всей шайки устремляется в винтовой лестнице. По пути он стреляет в мента, а Шестаков с заранее приготовленным ключом бежит в пятой камере, что насупротив ихней, отпирает дверь и выпускает других сообщников. Теперь вся эта орава катится вниз по лестнице на двор.

Из первоначально согласившихся на это дело сорока человек (многие уже и капады свои распилили) пошло только четырнадцать, остальные сдрейфили. Между прочими, отстал и один ларень, глухонемой, по фамилии Розан, высокий как жердь и с необыкновенно длинным носом. Он имеет хорошее образование, но специальности он механик, а в каторгу попал за ограбление почты. Не посмотрев на рассвет, он тоже сунулся было за беглецами, но сообразив, что поднялась тревога, сейчас же обратным манером, да — в дыру. Прилез назад в камеру, мычит, машет руками: дескать стоит ли рисковать?! В ответ мы поругиваем его за трусость и дразним, приставив растопыренные пальцы обеих рук к носу, вот так...

Внизу на лестнице беглецам хотели было преградить дорогу выбежавшие из конторы надзиратели, но когда Абрамов дал в них выстрел, а из четырнадцати здоровенных глоток раздался страшный рев: «Бей, бей их!», то все мелты разбежались, кто куда.

Попав на двор, наши ещё более орали и кричали, что кому в голову придет:

— Кидай бомбу!.. Разбивай контуру!.. Души!.. Души!.. Стреляй!.. Другую бомбу!..

От этого гвалта и от страха пред мнимыми бомбами вся тюремная администрация пришла в неопишемую панику. Стоявшие за оградой часовые покинули свои посты и пустились на утек к винокуренному заводу; придя немного в себя, они стали оттуда стрелять безо всякого толку, куда пошло. Ночной старший надзиратель и еще некоторые дежурные, едва услышали стрельбу и крики, подбегают к калитке и дрожащим голосом говорят привратнику:

— Отпирай!.. Убегай!.. Арестанты все вооружились и убивают нас!..

Но привратник не убежал, а хладнокровно вышел за калитку и стал придерживать ее плечом, не пуская напавших арестантов. Но те все-таки оттиснули его. Тогда он выхватывает револьвер и начинает палить.

— А-а, так твою мать, ты еще стрелять!.. Так вот тебе, вот тебе!—кричит Кондрашкин и бьет его в голову браслетом от ножных кандалов; надзиратель надаёт без чувств. Из наружной контуры и из надзирательской казармы жарят через окна залпами, но так суетливо, что успели ранить одного только Абрамова. Отбежав некоторое расстояние и чувствуя, что силы его покидают, Абрамов прикончил с собою выстрелом в рот. Не у всякого хватило бы на это смелости. Так и не увидев бедняга цели своей работы... Так и не удалось ему подышать вольным воздухом... Всю свою жизнь он рвался и метался, грабил и убивал, имел порою большие деньги, неоднократно вырывался на свободу, а в конце так и умер как собака в тюремном дворе...

Двое других беглецов, задыхаясь упали от изнеможения в трехстах саженях от ограды; их подняли и отнесли обратно в тюрьму. Четвертого, Гущина, поймали в квартире на Миллионной улице, где проживал в собственном, нажитом от эссов доме некий Б.—друг Ч. и Абрамова. Остальные же десять человек пустились во всю прыть своих ног, чтоб скорее уйти из опасного района. Пробежав верст двадцать, они расположились на отдых в одном небольшом лесочке.

* * *

Но и им не повезло. Какой-то железнодорожный будочник заметил их, сообразил, в чем дело, и дал знать по телефону полиции. Прискакал сам исправник на главе целого отряда стражников. Он поднял также на ноги всех мужиков из ближайшего села, наскоро вооружил их разным холодным и огнестрельным оружием и вместе с ними окружил беглецов.

Время уже клонилось к вечеру. Наши, не подозревая, что на них надвигается такая облава, бесечно запылись просушкой своего мокрого от беготни белья. Но вот один из них зачем-то пошел на опушку леса и нос к носу столкнулся с полпудейскими.

— Ребята, спасайся!!—крикнул он не своим голосом и, мгновенно оправившись от страху, бросился улепетывать от своих врагов. Услышав предостережение, все остальные тоже моментально рассыпались в разные стороны. В них стали палить. Но из бердалов, как вы знаете, делаться не очень удобно, так что все заряды, пуценные стражниками, пропадали почти даром. Зато мужики, вооруженные дробовиками, били, черти, без промаху. Вон, Кондрашкин уже валется с простреленной ногой, кричит, вопит и ругает всех и вся, и в бога и в Христа мать.

— Молчать!! Не выражаться!!—останавливает его исправник.

— Сука!! Отрава!! Масалка!! Стерва!! Так и так твою мать!!—не унимается Кондрашкин, выливая свою злобу.

— Связать ему руки!! Бросить в телегу!!—кричит исправник, но тот, хотя и скрученный веревками и водворенный на кодымагу, все еще кипит и беснуется.

Вон, какой-то молодой деревенский парень гонится за Бурдаковым, думая получить за его голову хорошую награду. Понимая, что ему не уйти от своего преследователя, Бурдаков решил вступить с ним в поединок. Пригнулся он этак за маленьким кустиком и стал дожидаться, когда тот подойдет к нему поближе. И плохо же пришлось бы тому парню, если бы его ружье очутилось в руках Бурдакова, но парень, очевидно, был не из ротозеев. На расстоянии пяти шагов Бурдаков кидается на него с намерением завладеть ружьем, но меткий выстрел в глаз уложил сто на пол-пути к цели.

Вон бежит павный и рябоватый Курьин. На плечах у него вместо плаща казенное одеяло. От сильного порыва ветра оно так и взвывается под небеса.

— Стой!! Сто-о-й!!—кричит ему исправник, между тем сам стреляя в него из браунинга. Но Курьин и слышать не хочет, наострил лыжи и жарит себе на всех парусах... Душ, товарищ!! Его наверно хранил сам бог, потому что вся серая свита на нем издырявлена была как решето, а он остался жив.

Ну, покороче говоря, всех их переловили и водворили на старое место. Труп Абрамова скоро приволокли в больницу. Курьин отделался лишь царапинами. Бурдаков так и остался на всю жизнь с одним глазом. Кондрашкин тоже залечил свою ногу.

Потом пошли допросы. Чтоб отомстить наиболее вредным ментам, они взяли с собою по делу двоих, показывая следователю, будто эти

надзиратели и принесли им оружие... Чудак-следователь, как настоящий фрайер, и не сообразил, что на блатного надзирателя арестант показывать, ведь, не ст. нет. Он поверил па-слово арестантской выдумке, и вот оба надзирателя были немедленно раздеты, обысканы, переодеты во все серое и посажены на положение следственных. Хотя властям и так все было ясно и очевидно, но под судом наши беглецы просидели целых полтора года. Потом был суд.

Надзирателя Плошай, того самого, который поднял тревогу и в которого Абрамов выстрелил из Нагана, присудили к шести годам каторги, якобы, как сообщника, в которого был сделан фиктивный выстрел. А он, разумеется, тут совершенно не причем. Другого надзирателя, Соловьева, которого арестанты, желая насолить, тоже выдали за своего сообщника, все-таки оправдали. Привратнику дали две недели аресту, а дежурившие в ту ночь помощник начальника и старший надзиратель поплатились увольнением со службы.

А что до самих беглецов, то к их прежним срокам суд прибавил еще по пятнадцать лет каторги каждому, и кроме того, по десять лет позных кандалов, считая срок со дня нового приговора... Так что Засимов, который до побега имел четыре года, получил теперь девятнадцать...

Да-с... так вот, значит, какие дела творятся: думали добыть себе свободу, а заработали вот что...

После этого побега в Тульской тюрьме пошли бо́льшие строгости. Но опять-таки не надолго. Русский человек уж так устроен: рассердится и навертит свою пружину, а посмотрит — и все опять у него распухнет и сам он размякнет, как пареная репа. Через некоторое время режим снова стал легким, и арестантики, если не те, так другие, а то и снова из прежних, опять начали отыскивать и проделывать себе лазейки. Так оно уж водится...

III.

— Ну-с, Макаров, слово за вами! — обратился Дубовской к исхудалому на вид, с впалыми щеками, арестанту, осужденному в каторгу за принадлежность к с. д. партви. Макаров выждал, пока улегся шум от разговоров и комментариев, вызванных рассказом Боярцова, и начал так:

Моя повесть будет о *Вьюге*, как звали у нас известного конокрада Ивана Паршинева. Среднего роста, широкоплечий, со смелыми голубыми глазами и густыми, нависшими черными бровями он ничем так не отличался, как своими крепкими ногами. Право, пная деревенская лошадь не обгонит его на расстоянии двух-трех верст. Бежит он,

бежит, и только покачивается из стороны в сторону, как будто его ветром шатает. Недаром же его и «Вьюгой» прозвали.

Уж не знаю, в который раз он был задержан с лошадьми. При аресте оказал сопротивление и за все вместе получает четыре года каторги. Такая лавочка не совсем пришлась ему по душе, и он стал искать случая избавиться от наложенного наказания.

— И от трех месяцев бежал, а теперь и подавно сидеть не буду, говаривал он, когда кто-нибудь спросит его об этом. И действительно, у него в прошлом масса побегов. Теперь он решил «открыть себе дело», т.-е. устроить так, чтоб само начальство перевело его в другую тюрьму, более подходящую для задуманного им побега. Не помню, сам ли он написал следователю покаянное прошение и раскрыл не раскрытое еще преступление, или же сделал так, что его приятель нарочно довес на него, — словом, клянуло. «Вьюгу» переводит в Одоев, в уездную тюрьму, порядки которой ему заранее хорошо известны.

Тюрьма в Одоеве небольшая, хотя и двухэтажная. Арестантов в ней редко бывает больше сотни, поэтому и состав тюремной администрации невелик. Стоит она за городом, на краю базарной площади. Дорогой из Тулы в Одоев Вьюга сходится на короткую ногу с двумя каторжанами, которые шли туда судиться по своим делам. В самой тюрьме он тоже застаёт некоторых старых знакомых, — оказывается, и они не прочь участвовать в *вязке*. Таким вот образом, согласных набралось человек семь.

Все они сидели на верхнем этаже, в двух камерах. Коридоры там глухие, так что дежурные надзиратели друг друга не видят. В *тишью*, т.-е. без нападения на стражу, бежать оттуда невозможно, поэтому и решено было сделать *вязку*. В зарнее назначенный день Вьюга передает в другую камеру, чтоб те позвали к себе под каким-нибудь *понтом* ¹⁾ надзирателя, и именно—старшего. Он же, Вьюга, в это время попросится из своей камеры на opravку, и как только те услышат его громкое покашливание, они сейчас же должны *взять на прихватку* своих ментов.

Так и сделали. Призвали старшего, и когда он начал осматривать якобы поломанный угол в стене, его и прихватили за горло. Детина он был здоровый и стал рваться да метаться, давая глухие звуки из искренно сжатого горла. Чтоб заглушить его крик, некоторые сейчас же начали плясать и ухаты, хлопать и ладоши и г, еметь панадами, а другие давай бить его по бокам. Наконец, господин стар-

¹⁾ Т.-е. под фиктивным предлогом. Кстати замечу, что арестантским жаргоном не пренебрегают и политические, долго находящиеся под замком.

ний, совершенно бесчувственный, связанный и с затынутым ртом, был брошен под лары. За ним туда же последовал и другой мент, своевременно прихваченный самим Вьюгой.

Отобрав у обоих надзирателей револьверы, беглецы всей ватагой, но все-таки соблюдая осторожность, тихонько и крадучись, паправляются на нижний этаж. Там они без особенных усилий снимают с поста дежурного и прячут его в безопасное место. Вооружившись тремя револьверами, они пробираются из корпуса на двор, оттуда—прямо в ковтору и легко перевязывают всех находившихся там надзирателей: при виде вооруженных арестантов у тех даже чашки с чаем выпыпадали из рук. Привратника они тоже сняли и на его месте поставили двух дюжих ребят из своих же, Анищенко и Папкова.

Теперь Вьюга вместе с Бубенковым бежит прямо в дом к начальнику. Его длинные волосы распекались, глаза горят как у волка. В руке у него револьвер. Начальник тюрьмы и раньше знал нашего Ивана. Теперь же, при виде такой фигуры, он остолбенел,—и как стоял возле стула, так и опустился на него от страха. Он и миг поблелел и только нашелся сказать:

— Ва-ва... Ваня!.. Ваня, пощади мне жизнь!..

Вьюга был польщен. Но убивать он его и не думал.

— Трогать я тебя не трону,—отвечает он ему с важностью,—но обыскать тебя придется... да и спрятать подальше...

Тут же он отбирает от него револьвер, кошелек с 175 рублями, по пути прихватывает и помертвевшую от страха супругу его и сажает их обоих в общую камеру к уголовным бабам. Немного погодя, в тюрьму по какому-то делу является письмоводитель судебного следователя. Двое «привратников» принимают его со всеми подобающими его сану почестями и отправляют... в карцер.

— Да раньше контора, кажется, не здесь была,—говорит удивленный письмоводитель, когда его повели в подвал.—Это только так... на время ремонта,—отвечают ему переодетые арестанты.

На дворе февраль месяц,—помню, как раз зима восьмого года была. Уже четыре часа. Начинает смеркаться. Вслед за писарем приходят два стражника, чтоб отстоять свое ночное дежурство. Этих двух *жан-глотов* встретила вся компания с разным оружием в руках. При виде арестантов, возбужденных и вооруженных, один из стражников понял сразу в чем дело и хотел было пустить в ход свою виштовку, но Вьюга сильным ударом спихивает его с ног, обезоруживает и вместе со вторым, которого остальные ребята тем временем приготовили так, что хоть на стол подавай,—бросают в карцер, к письмоводителю в компаньоны.

Приведи все в порядок, они подумали о лошадях, на которых можно было бы поскорее скрыться. Один из них оделся в форму надзирателя и вышел на поиски. Прошел он так с версту, видит — едут в город мужики. Знаком он подзывает их к себе и просит мимоходом заехать в тюрьму и отвезти, мол, вещи, за что, конечно, последует хороший могарыч. Простак ничего не подозревает и, конечно, попадает как кур во щи. На этих лошадях вся семерка и пускается в путь-дороженьку.

Заперев тщательно все двери и захватив с собою все оружие, какое только имелось в тюрьме, и все деньги, какие у кого были, они отобрали у начальника кроме наличных еще три государственных ренты, затем енотовую шубу начальника и еще кое-что, что плохо лежало, — всего тысячи на четыре. Да, я забыл: Вьюга забрал с собою еще и цыганку Анисью Шпшкову с ее ребенком: как только он пришел в тюрьму, то сейчас же закрутил любовь с этой уголовной арестанткой.

Дорогою вся компания заворачивает в одно село к цыганам, которые и купили у них обе ренты, за что, кстати, потом парилась в тюрьме около двух лет. От этих цыган все — опять — таки под руководством Вьюги — отправляются к одному богатому помещику Петрову, которого Иван давно уже задумал ограбить. Подъехав к имению, Вьюга вдвоем с Анищенко направляется к дому. Еще когда они въезжали в хутор, Петров случайно заметил их в окно и сразу заподозрил что-то неладное. Приготовив ружье, он стал дожидаться дорогих гостей. Когда те подошли к калитке и хотели отпереть ее, помещик спросил их:

— Вам что угодно?

Вьюга подумал, что это кто-нибудь из прислуги, и ответил: — Отопри! — и при этом назвался каким-то другом хозяина, явившимся, мол, по неосторожному делу. Но Петров прямо говорит им:

— Ребята! Вы разбойники! Уходите! Не то стрелять буду!

Чтоб поскорее отделаться от непрошенных гостей, он предлагает им через форточку сто рублей, лишь бы они оставили его в покое. Но те не довольствуются такой подачкой и начинают врываться силой. Анищенко, здоровяк и гигант, как налег на дверь, так и сорвал ее с петель, но зато вместе с нею и сам падает замертво к ногам Вьюги. За дверьми на лестнице стоял с заряженной централкой сам Петров. Едва раздался выстрел, Вьюга моментально поддается в сторону, так что другой выстрел пролетел мимо.

Остальные ребята сейчас же стали обстреливать дом. Но как они ни стреляли, все их заряды пропадали даром, — в самом деле, не пробить же им каменной стены пудами. Только и сделали, что ранили мать Петрова. Со стороны помещика, кроме Анищенко, убитого пер-

вым, был еще тяжело ранен Палков, который через неделю и умер в сторожке, куда приятели сдали его на лечение; был еще легко ранен Тамбовцев. Не пробив себе дорогу в дом, компания забирает из рабочего сарая тройку самых лучших лошадей и уезжает. Дорогого разбредается кто куда, каждый в свою сторону.

Однако, от тюрьмы далеко не уйдешь. Через некоторое время всех их, за исключением одного, переловили и присудили к смертной казни. Потом повешенные заменили бессрочной каторгой...

Вьюга же недаром «Вьюгой» зовется: вместе со своей новой любовницей Анисьей он так и остался непойманным. Как ни гонится за ним полиция, он все вертится между ее рук. Он продолжал и дальше делать отважные кражи и счастливо увертываться от опасностей. У него везде масса знакомых, которые охотно прячут его следы

— Та-а-а, попадаются ловкачи!—промолвил Галин, когда Макаров кончил свою повесть.—Не так гладко проходило с политиками в нашей тюрьме. Дело у нас обстояло вот как...

Но о том, что рассказывал Галин, как и о тех интересных побегах, повествования о которых продолжались почти до самого конца нашего карцерного сиденья, расскажу в другой раз.

В нарцере.

I.

Это было в начале 1911 г. Вслед за инспектором Ефимовым к нам в Вологду был переведен из того же Харькова на должность помощника начальника некий Господаренко или Господарев, как он любил подписываться, скрывая свое мажорусское происхождение. На вид это был совсем молодой человек с ласковой улыбкой и добрыми смеющимися глазами. В обращении он был вежлив, политикам говорил «вы» и вообще старался подчеркнуть, в отличие от иных тюремщиков, что хотя он в университете не бывал, все же человек он «интеллигентный» и «понимающий».

Однако таким Господарев являлся только в те моменты, когда забывал, что по должности он — «его благородие, господин помощник начальника Вологодской казенной тюрьмы». Как только он бывало вспомнит, что он не простой смертный, а лицо начальственное, он моментально меняется и тут же в разговоре, наплатом во-джентльменски, вдруг становится сухим и грубым, начинает «тыкать» и держаться вызывающе. При этом лицо его из румяного становится серым и бледным, нижняя губа некрасиво оттопыривается, а приятные голубые глаза как-то зеленеют и делаются злыми.

Когда по делу старшего помощника Меркурьева устранен был либеральный Андреев, его место занял Господарев. Между прочим, он принялся для чего-то ревизовать тюремную библиотеку. Как человек неразвитый, даже малограмотный (писал он крупным детским почерком с грубейшими этимологическими ошибками), Господарев долго возился с этим маленьким делом и около двух месяцев не выдавал нам книг не только взятых, но и наших собственных. Приходилось коротать время перечитыванием тех книжек, которые случайно остались у нас на руках. Их-то мы тайком и передавали друг другу, когда нас одиночных выпускали на общую прогулку.

Рядом со мною сидели в одной одиночке двое уголовных. Один из них, некий Кривенко, осужденный на 20 лет за несколько ограблений, был молодой крестьянин Курской губ., малый толковый, любознательный и друживший с политиками. Второй—железнодорожный сторож Стефанович, широкоплечий крепыш, получивший четыре года за содействие в ограблении купца, был очень религиозен и весьма консервативно настроен.

Кривенко, сочувствовавший анархистам и максималистам, которых он, разумеется, понимал довольно своеобразно, часто спорил и ссорился со Стефановичем, возмущаясь над его религиозностью.

— Вот дадут политикам амнистию,—уверял Кривенко,—и они всех попов и всех ваших ксендзов вырежут... всю буржуазию на тот свет отправят...

На этой почве у них происходили ссоры, однажды закончившиеся даже дракой.

Чтоб чем-нибудь развлечься, Кривенко и попросил у меня однажды несколько книжек приложений в «Ниве», которые застряли у меня в камере. Я ему вынес их, спрятав под полой бушлата. В Вологодском центре издавна был обычай, что всякий, выходящий куда бы то ни было из камеры и возвращавшийся обратно, обязательно обыскивался. На этот раз меня обыскали небрежно, и еще в коридоре я успел передать книжки Кривенко; зато, ощупывая его при возвращении с прогулки, надзиратель нашел у него за бушлатом переданные мною книжки.

То ли надзиратель сам догадался, что получить их Кривенко мог только от меня, или же Кривенко, испугавшись последствий, признал мою фамилию, но, когда меня неожиданно вызвали в контору к помощнику Господареву, я сразу сообразил, что причиной тому злочастные приложения к «Ниве».

Господарев сидел за столом и пил чай.

— Это что, *твои* книжки?—обратился он ко мне,—указывая глазами на лежавшую на столе пачку.

До сих пор он всегда говорил мне «вы». Это «тыканье» меня задело, и я ему ничего не ответил. Судя по тому, что с лица Господарева сбежал румянец, а в глазах поблескивал недобрый заносчивый огонек, можно было догадаться, что он сейчас находится в таком именно состоянии, когда очень хорошо помнит, что он не в простой человек, а помощник начальника каторжной тюрьмы.

— Ну!..—повторил он:—это чьи книжки?

— Моя.

— Как же они к нему попали? — продолжал он допрашивать, указывая на стоявшего тут же Кривенко.

— Я их дал ему... потому что у него читать нечего, а без книг в одиночке скучно,—добавил я сразу, чтобы предупредить дальнейшие вопросы и расспросы.

— Ишь благодетель какой нашелся!—сказал помощник криво усмехаясь.—Ты что же это себе позволяешь, а?!—повысил он тон, поднимаясь со стула.—Вот за это ты сейчас будешь наказан!

Какое это будет наказание — он не сказал. Вспомнив, что лишь на днях Меркурьев, заменивший теперь начальника, без всякого подходящего повода выпорот двух каторжан — Воротилова и Паслова, вспомнив вообще про тот режим, который процветал как раз в это смутное для нашего централизованного время, я с ужасом подумал: «Неужели он намекает на розги».

Опасение мое еще более усилилось, когда я увидел неожиданно появившегося Ивана Петровича, нашего тюремного фельдшера, как-то жалко улыбавшегося мне и потупившего глаза.

— Что бы теперь сделать?.. лпхорадочно заработал мой мозг.— Оказать сопротивление?.. Сейчас же ответить помощнику пощечинкой?..

— Ты чего же молчишь?—прервал меня Господарев.—«Читать Кривенко печего» — передразнил он. — Вот и почитаем тебе, как следует. Тебе уж достанется!..—не унимался он.

— Что вам еще надо?—сказал я, начиная раздражаться:—книжки дал я, делайте, что хотите!..

Господарев вскочил со стула и быстрым шагом пошел в кабинет к Меркурьеву. Через несколько минут он вышел с резолюцией: десять суток темного карцера.

Я облегченно вздохнул.

— Ну, ты ступай назад в камеру,—сказал Господарев, обращаясь к Кривенко,—а ты, Геняш, ступай с Воробьевым. Воробьев!—крикнул он надзирателя, очередного дежурного:—отведи его в карцер, а я сейчас приду.

Воробьев, лишь недавно возведенный в сан старшего надзирателя, из простого и добродушного малого очень скоро превратился в отъявленного мерзавца, стараясь грубым обращением и придирками оправдать в глазах начальства свое повышение по службе. Он отвел меня в подвальный этаж общего корпуса, где в особом коридорчике помещались карцера.

— Раздевайся! — гаркнул Воробьев над самым моим ухом, когда мы пришли на место.—Живое!.. Бушлат, штаны, коты... все скидывай!.. Носовой платок сюда... Ворочайся!.. Не копайся!..—орал он, сразу повысив голос, как только пришел Господарев.

Основательно ощупав меня, стоявшего перед ним в одном только расстегнутом белье, он велел надзирателю Коровкину освободить специально для меня занятый другим карцер. Коровкин торопливо несколькими ловкими и заученными движениями открыл крайнюю каморку.

— Козлов, выходи!.. Ну, живо!..—крикнул он.

Жмурясь от света и с шатающейся как у пьяного походкой вышел оттуда высокий каторжанин, волоча по полу кандалы. Его посадили в соседний, занятый уже кем-то карцер рядом, а меня водворили на его место. Минут через пять надзиратель бросил мне брюки, бушлат и шапку, а ремень, олучи и носовой платок остались у дежурного.

* * *

В отличие от карцеров других тюрем, где на асфальтовый пол нарочно кладут известку, нарочно напивают воду, или где они так уж устроены, что снизу дует холодный воздух, и где сырость выматывает все силы арестанта, в отличие от таких карцеров наши были довольно сносны.

Представьте себе очень низенькую и очень маленькую комнатенку в три шага в длину и два шага в ширину. Мебели решительно никакой; отсутствие окон разумеется само собой. Правый угол занимает часть печи, выходящей в коридор; возле дверей стоит маленькая и узенькая с нее прикрывающейся крышечкой параша. В другом углу деревянный жбан с холодной водой. Горячая пища и кипятки выдаются только один раз в четыре дня. Спать, разумеется, приходится на голом полу, без какой бы то ни было подстилки.

В карцере все время абсолютная темь. Печки еще не топили, и было довольно холодно, особенно ногам. Пробовал я пройтись, но едва по привычке сделал несколько быстрых шагов, как стукнулся лбом в обитую железом дверь и сейчас же отпрянул назад. В первый день я все еще держал глаза открытыми, изо всех сил распирая зрачки, надеясь что-нибудь увидеть, но толку в этом было мало. Впоследствии все передвижения я делал уже ощупью.

С самого утра я еще ничего не ел. Часа через два по приходе в карцер почувствовал сильный голод. Хотел было приняться за паек черного хлеба, но долго не мог его найти. Искал-искал, щупал всюду, пока на нашел возле квадратной вентиляционной отдушины в стене несколько корок: остальное успели съесть крысы, которых было множество.

От нечего делать принялся знакомиться с соседями. Надзиратель Коровкин обыкновенно уходил в общий коридор к остальным надзирателям, и мы легко могли переговариваться друг с другом.

Козлов, на место которого меня посадили и с которым я часто встречался впоследствии, был матрос, осужденный на 20 лет за ограбление с убийством. Недавно он вернулся в Вологду из какого-то маленького городка, куда сам же вызвался на судебное дело в надежде «уйти», т.-е. убежать по дороге. При проломе стены он был пойман, и начальник, не желая поднимать неудобную и для него самого историю, поторопился отправить его назад, наказав недельным карцером, который он и отбывал теперь по возвращении в Вологодский централ.

Козлов был на-редкость веселый и неугомонный парень. Он буквально минуту не мог провести спокойно: то он анекдот рассказывает, то песни поет; песен же он знал великое множество. У него превосходный тенор, и, распевая какую-нибудь частушку, он тут же своим собственным голосом аккомпанирует себе, очень ловко подражая звукам гармоники или балабайки. Пропев популярную среди арестантов «Трансваль, Трансваль, страна родная», перейдя затем к революционному маршу «Вихри враждебные воют над вами», он на втором куплете оборвал и почти без остановки затянул записавшую частушку, начинавшуюся словами «Мне не жалко всех людей»... При этом сидевший с ним в одном карцере хохол Гончарук пустился в пляс, отчаянно топая на одном месте запертыми в кандалы ногами и восторженно ухая своим визгливым голосом.

— Козел!.. Эй, Козел!.. — крикнули Козлову из противоположного карцера, — расскажи, брат, как ты в уезде любовь крутил с горничной начальнича.

Козлов, не долго думая, принялся сейчас же рассказывать, по обыкновению округляя факты, преувеличивая их, выдумывая подробности и моментально импровизируя то, чего вовсе не было. Но едва он начал завираться, как чей-то голос из соседнего карцера прервал его довольно оригинальным способом.

— До-ре-ми-фа-соль!.. — затянул тот, и сейчас же несколько голосов затянуло вслед за ним на мотив песни «Как по Питерской по Владимирской» и под аккомпанемент громкого, прямо гомерического хохота всех остальных:

Ой, не ври, добрый молодец,
Не учишь ты братья!..

Козлов, в первый момент несколько смутившись, сейчас же пришел в себя и при всеобщем, чисто детском, захлебывающемся и со взвизгиваниями смехе всех карцерных, принялся сам же петь вместе со всеми:

Ах, его вы не браните,
Его вы не ругайте,
А на поз повалите
И в спину поколотите...

...Рядом с Козловым сидел юноша Крамарж, варшавский еврей, осужденный на четыре года каторги за принадлежность к группе польских анархистов. Этот похожий на мальчика юноша, непосредственный и бойкий, пользовался всеобщей любовью, как хороший товарищ и умища. Во время бывшей в ноябре 1910 г. экзекуции он сам хотел подвергнуться наказанию, придерживаясь довольно странного взгляда на уравнительное пользование розгами.

— Раз товарищей истязают, пусть и меня порют, — кричал он, по доктор Важенцов не допустил до этого.

В карцер Крамарж попал за то, что по совету заменившего Важенцова доктора Шнейдера стал делать холодные обтирания. Едва он, выйдя на утреннюю opravку, стал обтирать грудь и руки, как его тотчас же сцапали и «за нарушение порядка» посадили в темную на семь суток.

Насупротив Крамаржа сидел арестант, приведенный к нам прямо из больницы. Он устроил скандал по поводу того, что надзиратель съедал белый хлеб и молоко, предназначенные для больных. «За грубое обращение с надзирателем» его посадили в карцер.

Холод, сплывший вместе с Козловым, попал в карцер на неделю за то, что, убирая снег на дворе, не успел спрятать шапку, когда мимо проходили одни из помощников. Анархист, из либавских соц.-дем., Шмидт утонул в темную за непотребное объяснение с помощником инспектора, у которого самодурство соперничает с глупостью. Из остальных карцерных, кто сидел за обругание надзирателя, кто за драку, кто за «перышко», т.-е. за самодельный ножик, кто за «ксиву», т.-е. за тайком переданную записку, кто, наконец, сидел за картежную игру, процветающую, несмотря на строгости, почти во всех тюрьмах.

Три арестанта, работавшие на кухне, попали в карцер за водку, которую принес им надзиратель, вместе с ними напившийся пьяным и засыпавший и себя и их. Они, должно быть, не совсем еще очухались от сивухи и, переговариваясь между собой, на чем свет стоит, отделывали самой отборной бранью всех, кто только попадался на неумытые их языки. Остальная братия как бы нарочно дразнила их и потешалась над ними, так что классически-простонародная «словесность», похабные глаголы и проч. барабанили воздух, словно пуди.

Перед самой проверкой привели в карцер какого-то бессрочного в ручных и ножных кандалах. Сколько мы ни вызывали его на беседу, как ни выкрикивали его фамилию, услышанную нами от надзирателя, сколько вопросов ни задавали ему, он был нем, как рыба. Латыш Шмидт, полагая, что он, быть может, еврей и не понимает по-русски, крикнул ему:

— Ингелз, редст пдыш?—но и на это не последовало ответа, пока он не заговорил с ним по-латышски.

Оказалось, что каторжанин этот, лишь на-днях пришедший из Риги, действительно ни слова не понимает по-русски, в карцер же его посадили за то, что во время вечернего осмотра кандалов он вышел из камеры в уборную, не желая воспользоваться только что внесенной парашкой... Надзиратель что-то крикнул ему вдогонку, но тот его не повял и за «неисполнение приказания» сейчас же был отведен в темную.

Насупротив меня сидел некий Лапин, высокий парень с большим темно-серым лицом, маленькими блестящими глазами, плоским носом и очень толстыми мясистыми губами, весь какой-то неотесанный и грубый. Я его еще раньше встречал в одиночном корпусе. При первом же знакомстве с ним, даже при первом взгляде на него, вы instinctивно настораживаетесь, чувствуя, что перед вами не человек, а нечто—животное и необузданное. Как я потом узнал, Лапин осужден был за «искусство», т. е. изваскивание денушки. В карцере он сидел уже несколько раз, главным образом, за игру в карты.

На этот раз он попался за драку. Так как в карцере с трудом отличишь день от ночи, да и сама обстановка (темнота, духота, вонь, абсолютное ничегонеделание) клонит ко сну, то всегда выходило так, что днем Лапин спал, растянувшись на голом полу и накрывшись бумплатом, задавая на весь коридор храповидного, а вечером и ночью без устали распевал песни. Да и песни у него были грубые, циничные, но не остроумно-циничные, как это иной раз бывает в арестантских песнях и присловьях, а тупо-похабные в плоске. Лапин мог, например, целыми часами тянуть одну и ту же песенку:

Жил на свете мужичок,
Маленький, горбатый.
Был он правый, престачок,
Но к..... тароватый....

и проч. в этом роде.

Со всеми Лапин был на ты и на каждом шагу ругался, смакуя похабные выражения.

В тот день дежурным по тюрьме был сам Меркурьев. Это был человек лет 35 с белым невыразительным лицом, тупым взглядом белесовато-синих глаз, с всегда оттопыренной нижней губой. До поступления в тюрьму он—алкоголик—одно время находился в психиатрической лечебнице. Выдвигнувшись из простых писарей, без связей и влиятельных знакомств, он устраивал свою карьеру тем, что

проявлял сугубую строгость к арестантам, смотрел на них как на личных врагов, в ответ на что арестанты платили ему несправедливостью и презрением. При начальнике Татарове Меркурьев оставался в тени, и арестанты просто игнорировали его, зато теперь, когда в угоду общественного мнения бесхарактерный начальник Воронец был устранен за то, что инспектор Ефимов устроил шумевшую на всю Россию экзекуцию, Меркурьев был назначен начальником.

Утром и вечером проверка в карцерах делалась так: отрывалась дверь, один надзиратель заходил в карцер с зажженной лампой, а вслед за ним—несколько надзирателей и дежурный помощник. Зайдут, осмотрят стены, пол и потолок, молча постоят немного и пойдут дальше.

Зайдя к Ланину, Меркурьев на этот раз счел нужным побеседовать с ним.

— Ты чего же это, Ланин! Опять подрался, а?... Этого-того, смотри у меня!.. Дратся!.. Что ж тебе делать больше печего?... Этого-того!..—затянул свою обычную канитель Меркурьев, в числе прочих своих достоинств имевший еще и то, что он и двух слов не мог сказать по-человечески, заппнаясь и усаппая свою речь приставками: «этого-того».

— Что вы ко мне пристап!—ве выдержал Ланин.—Подрался, ну, вот и в карцере сппжу!.. Чего пристапете?!

— Чтот?.. Чтот?!—закричал Меркурьев.—«Пристапете»!.. Этого-того, ты к кому так обращаешься, а?... Ведь я теперь за начальника и все могу с тобой сделать!.. «Пристапете»!.. Ах ты, сппкий сын!.. Ты думаешь, этого-того, что я спппжу тебе!.. Этого-того!..

Даже мне, постороннему слушателю, сделалось противно. «В самом деле, чего это Меркурьев увязался», подумал, я. Вдруг слышу, как Ланин, которому, должно быть, надоела галактные любезности его высокоблагородия, выпаливает своим громким и хриплым голосом, смакуя каждое слово:

— Да па-а-шел ты к такой-то!... Пристап, как баппный лист!..

Меркурьев ва момент оцепил, потом закричал, обращаясь к старшему надзирателю:

— Глушадкий! сюда!.. Этого-того!.. Завтра же розог!.. Тридцать розог!.. этого-того!.. Ах ты, Ланин, бродяга, хулиган!.. еще смеешь выражаться!.. Завтра ты свое получишь!.. этого-того!..

Дверь хлопнула, и Меркурьев со свитой ушел. Несколько минут после этого царило глубокое молчание, но вскоре началось громкое обсуждение происшедшего. Изнывающие от тоски и скуки арестанты обрадовались столь пикавтному пппциденту. Снова пошли разговоры и перекликивание.

— Лапин, а Лапин!—кричит ему из своего светлого карцера анархист Крамарж:—в хорошее место ты его послал!.. ха-ха-ха!..

— Ага, это ты Крамаржик!—сейчас же отозвался тот.—Да, так его и так!.. привалялся ко мне дьявол!.. «Этого-того, этого-того»—передразнил он Меркурьева...—А мне что! Выпят завтра горяченьких, зато из карцера освободят.

Эх, была-была девка я,
Была у меня.....

запел Лапин одну из любимых своих песенок, столь же нелепую, сколь и грязную.

Толки и перекрикивание по поводу происшедшего раздавались еще долго. Всем угодовным и некоторым из политических поступок Ланина очень понравился. Ожидавшее его наказание почти ни в ком не вызвало особого возмущения или хотя бы подобающих случаю гневных реплик. После ноябрьских событий порка потеряла для массового арестанта свою устрашающую силу, а некоторые из уголовных даже готовы были предпочесть подчасовое, хотя и причиняющее сильную боль наказание—недельному сидению в темном карцере.

На следующий день Лапин получил 30 ударов и был переведен в одиночный корпус, не досидев в карцере несколько дней.

* * *

На четвертые сутки карцерному полагаются: виценок, обед, пребывание в светлом помещении и прогулка. Наши обыкновенно старались использовать этот суточный перерыв также и для того, чтоб, предварительно сняв с стенке с прижимавшей к карцеру соседней общей камерой, получить от сидевших там спрятанные на прогулочном дворе «зайчика» и «травку», т.-е. махорку с бумагой и свечки.

Если надзиратель не злой, то в этот день можно получить обед, по количеству превосходивший обычную порцию—такова уже старинная арестантская традиция. После трехдневного полуголодания на одном хлебе и воде, здесь можно было кое-как подкрепиться и кроме того так следует насладиться светом.

На четвертый день я попал в светлый карцер, выходивший окном в переулок между оградой и зданием общего корпуса. Переходу сюда я очень обрадовался, но вот беда: верхний угол небольшого окна настолько треснул, что по камере все время гудит ветер, то и дело паносящий через скважину снег. У окна внутри висят ледяные сосульки; вся наружная стена совершенно мокра, и по ней струятся на пол зеленые змейки воды. Морозы в Вологде в это время

(в январе) стояли большие, а ходить, чтоб разогреться движением в этой крохотной клетушке, разумеется, невозможно. Стоишь так, пригнупившись к печке, дрожь — буквально дрожь от холоду, да постукиваешь зубами. Самочувствие отвратительное: руки и лицо спнеют, а мысли только тем и заняты, чтоб как-нибудь согреться, согреться и согреться.

Знай я это заранее, я совсем отказался бы от светлого карцера, хотя упорно мечтал о нем чуть ли не с первого вечера. Не попытаться ли теперь уйти обратно в темный? — подумал я.

Зову дежурного Коровкина. Долго стучу в дверь — никто не отзывается. Тогда другие приходят мне на помощь, и мы вместе начинаем бить в двери и кричать во весь голос:

— Де-жу-рный!.. Дежурный!.. Ка-ар-цер зовет!..

Минут через пять приходит Коровкин, отпирает дверь нашего коридорчика и подходит к светлому карцеру.

Об этом Коровкине стоит сказать несколько слов. Рыжеватый, плотный и как-то густо сбитый здоровяк, с полнокровным и свежим лицом, он производил впечатление чего-то стихийного и черноземного. С ним я познакомился еще раньше, когда лежал однажды в больнице. Из всех наших надзирателей это был самый большой любитель чтения. Он перечитал у нас много книг, в том числе и такие серьезные, как «История культуры» Липперта, «Половой вопрос» Фореля. Но особенно большой охотник был он разглагольствовать на темы о политике, о войнах, о разных дипломатических шагах и т. п. Поймают он какого-нибудь надзирателя и громким голосом, словно стоит на кафедре, начнет ораторствовать о Трансваале, об Англии, о войне России с Японией и т. д. При этом язык его не умолкает ни на минуту, а слушатель только то и знает, что подлакивает ему.

Другой характерной чертой Коровкина является его формализм, тупой, леденящий, порой возмутительный формализм. Это превосходный выученик царской казармы. Вот он добродушнейшим образом с азартом и увлечением толкует с вами на какую-нибудь высокую тему, но пусть через минуту кто-нибудь из начальства, безразлично кто: начальник, помощник или даже старший надзиратель, прикажет ему повесить вас, и он, ни на секунду не задумываясь, не дрогнув ни одним мускулом лица и руки, добросовестнейшим образом и по всем правилам палаческой науки возьмет и лишит вас жизни. Он вас повесит, отойдет в сторону, и если найдет подходящего собеседника, то тут же, указывая на ваш качающийся труп, начнет во весь голос тараторить:

— Видишь, Мигрич, человека повесили... А за что? — За пустяк!.. Ей-богу, за пустяк!.. Отнять у человека жизнь! Не шутка! В

писании что сказано?! Но что будешь делать?.. Приказывают. Я что... Я человек маленький... Слушаться должен,—потому дисциплина, служба, брат!..—и тут же пачует пространно философствовать по поводу необходимости и неизбежности дисциплины.

Люди из простонаредья, подобные Коровкину, будучи в общем смиренными и незлобивыми, способны на самые отвратительные жестокости. Такой Коровкин, находясь в казарме, ни на минуту не задумываясь, будет расстреливать и врагов внешних и врагов внутренних, будет пороть розгами и крестьян и арестантов—стоит ему только получить приказание от начальства.

— Что скажете?—спросил Коровкин, подходя наконец к моей каморке.

— Да вот, смотрите, сколько снега через щель надуло,—говорю я.—Вот и кипяток уже остыл, а я только что получил его... Адский холод!.. Переведите обратно в темную!..

— Да-а, это факт! Здесь не теплее, чем на дворе! 34 градуса сегодня, право слово!.. Ведь у нас, брат, север, северный край!.. Чай, учили географию... Вот сынок мой учебник Ячина проходит...

Я стою у дверей и буквально трясусь от холода.

— Вот-вот,—останавливаю я поток его красноречия,—сегодня действительно большой мороз. Переведите же меня в темную, она все равно пустая.

— Нет, брат, это уж позвольте оставить!.. Не имею на это никакого полного права. Во-первых...

— Но ведь я сам отказываюсь от льготы, ведь вы не поблажку мне сделаете, а наоборот...

— Да-а, понимаю, все понимаю, по раз не приказало...

— Что «не приказало»?!..—начинаю я злиться...—Неужели мне ночевать здесь при таком холоде!

Коровкин всецело соглашается с моими доводами, выражает мне свое соболезнование и спокойно уходит. Я знаю, с кем имею дело, и решаюсь ждать вечерней поверки. Дежурным в этот день был как раз Господарев. Излагаю ему, в чем дело, и указываю кстати, что темный карцер, откуда я сегодня перешел, как раз пустует.

— Да мало ли что пустует,—ответил мне г. помощник:—арестанту на четвертый день полагается светлый карцер, вот и все,—добавил он, явно издеваясь.

Мне так и пришлось всю ночь мерзнуть. Чтоб хоть сколько-нибудь разогреть застывшие члены, я чего-чего только не проделывал: топал ногами, размахивал руками, вертелся на одном месте, с

трудом побеждая сон. Едва дождавшись утра, я добился перевода в темную, откуда вышел лишь на одиннадцатый день.

Через несколько дней меня вместе с другими отправили на этап.

Уже находясь в петербургской пересылке, я узнал от одного вологжанина про дальнейшую судьбу Кривенко. Еще раньше, когда товарищи по карцеру узнали от меня некоторые подробности, они тотчас же решили, что засыпал меня сам Кривенко. Как я ни зацеплял его, доказывая, что он, быть может, здесь совершенно не причем,—все равно: падкая на сенсацию и легкомысленная всегда, когда дело идет о том, чтобы обвинить, опорочить кого-нибудь, наша арестантская публика решила единогласно, что Кривенко «провокаатор». Словечко это на тюремном жаргоне означает все, что угодно, и пользуется самым распространенным толкованием.

Через два-три дня по всей тюрьме стало известно, что Кривенко «засыпал» такого-то. Меня в это время в централье уже не было, и слух этот, никем не опровергаемый, пошел гулять по камерам, причем, побывав в устах разных кумушек мужского пола, он, словно ком снега, разросся в нечто крупное и значительное.

Кривенко, как опытный арестант, отлично понимал, до чего легко портится репутация каторжанина. Когда до него дошли толки о его персоне, он немедленно вызвался в контору и грубо потребовал, чтобы его тоже посадили в карцер. Начальство, конечно, с удовольствием исполнило его просьбу.

Репутация Кривенко в глазах арестантов была несколько спасена, но зато ему, бедняге, пришлось в первый же день угодить в тот самый светлый карцер, холодный и мерзлый, из которого я насилу удрал; все темные карцера и тот светлый карцер, где чуть-чуть теплее, были заняты.

Так-то вот мы оба «пострадали» из-за пары «литературных предложений» в журналу «Нива».

.....

II.

Года через два после этого мне снова пришлось погостить в темной.

Было это уже в Орловском централье в январе 1913 года. Избывательная кампания несколько приутихла, но зато наказание карцером практиковалось в гораздо больших, чем прежде, размерах. О том, что карцером наказывали за, так сказать, «нормальные» арестантские преступления, вроде игры в карты, участия в драке, обругания

(часто фиктивного) надзирателя—и говорить не приходится. Наказание это, никем и ничем не контролируемое, давно уже обратилось у нас в орудие произвола, безудержного, ни перед чем не останавливающегося произвола. Абсолютнейшее бесправие арестанта, его беззащитность, разназывали руки разным самодурам. Воспитанный на Домостроевских началах, привыкший раболепствовать и гнуть шею перед тем, кого он считает стоящим выше себя, такой самодур не прочь покуражиться над тем, кого он считает стоящим ниже себя. Угодливость и жестокость, пресмыкательство и тирания—это два полюса одного и того же явления, одного и того же психологического уклада.

И за что только не сажали у нас в карцер! Работая одно время на верхнем коридоре нашего одиночного корпуса (каждый день до и после обеда я натирал сушопками длиннейшую асфальтовую площадку коридора), я имел возможность прочитывать надписи на арестантских билетах, обмельовенно висевших на карцерах в конце каждого из шести коридоров. Припоминаю фамилию Абуладзе, грузина, ни слова не понимающего по-русски и работавшего на хлопках (на знаменитой канатотрепальне). Однажды, когда раздался свисток, означавший приход кого-то из начальства, он не спял шапки.

— Как фамилия? Ты чего шапки не спял!..—крикнул на него помощник.

Позаган почему-то, что это его спрашивают, когда именно он прибыл сюда, Абуладзе отвечает своим домашним языком:

— Моя сама ны знает. Двенадцатый год...

Его сейчас же отвели в карцер. Эта-то причина и повод для наказания Абуладзе прямо-таки и указана на его арестантском билете.

«Ссылко-каторжный такой-то,—читаю я на другом билете:—за переход во время работы к ткацкому станку своего соседа» попадает в темную на семь дней.

Некий Бородаев,—написано на третьем билете,—читал книгу после вечернего звонка. За это—его на педаль в карцер и на месяц в одиночку.

Знакомый мне каторжанин Андреевко, старый вор, страдающий чахоткой и размягченным мозгом или какой-то другой формой несомненнейшего душевного расстройства, человек, который, несмотря на свои 34 года, обладал чисто ребяческим по своей капризности и легкомысленности характером, словом, дегенерат, которому место разве что в санатории для душевно-больных, просидел в карцере более *ста суток*.

Но самую оригинальную надпись я собственными своими глазами прочел на билете соц.-рев. Карла Киймана: «приговаривается к двум

неделям карцера за настойчивое, дерзкое и грубое заявление о том, «что хлеб сырой». До какой степени безнаказанным чувствует себя тюремное начальство, если оно не стесняется заносить на бумагу подобные резолюции.

В первых числах января 1913 года у нас на третьем этаже стоял на посту надзиратель Исаев. В Орез он приехал вместе с М. Синайским, когда последнего перевели к нам из Владимирского централа. Своей грубостью, заносчивостью и бессердечием Исаев ни в чем не уступал местным аборигенам, хотя был гораздо грамотнее и развитее их. В то утро, о котором у нас идет речь, достаточно было взглянуть на его помятое и усталое лицо, чтобы понять, что господин дежурный сегодня в плохом настроении. И действительно, целых шесть часов простоять на ногах в полутемном вонючем коридоре; не знать настоящего сна и настоящей семейной жизни, в виду частых ночных дежурств—это может расстроить кого угодно.

Всегда выходило так, что от дурного настроения господ надзирателей в первую голову страдал наш брат арестант, к которому они придираются, ни за что случая разрядить на ком-нибудь накопившуюся злобу и раздражение. Особенно это бывает по утрам, перед тем, что надзиратель уходит со своего ночного дежурства.

Как всегда, проверка у нас кончилась еще до шести часов утра. Все арестанты были пересчитаны, дверные форточки снова закрыты, и у нас началась утренняя «оправка».

— Не наливай на пол!.. Живо мойся!.. Скорей!.. Не копайся!.. Шагом марш!.. — по обыкновению раздавались по всему коридору окрики Исаева, провожающего арестанта с парашкой в уборную, где находился также умывальник.

Убегаю туда и я, подсказываю к умывальнику и, убедившись, что в баке нет воды, не долго думая, взбираюсь на варниз умывальника и, найдя наверху кран, напустил в бак воды.

— Ты это что себе позволяешь?—закричал на меня Исаев.

— Как видите, напустил воду в бак...

— А позволения спрашивал?.. Это что за самовольство!.. Распустили вас, сволочей! В морду бить перестали!.. Бродяга, так и так твою мать!..—продолжал надзиратель.

Лицо у него было злое. В прежнее время он тут же на месте избил бы меня, но теперь ему приходилось маленько сдерживать себя, что еще больше разозлило его.

— Вы чего же ругаетесь?—не выдержал я.—Что же преступного я тут сделал?.. Умыться надо, воды нет, да вы еще сами торопите!

— А разрешение у меня спрашивал?

— Ну, еще разрешение на такой пустяк спрашивать!.. Длинная это будет история,—сказал я, усмехнувшись, и поспешил назад в свою одиночку.

Исаев же никак не мог успокоиться:

— Распустили их мерзавцев! Снолочи!.. Еще в лицо смеются!.. Самовольничают!..

Минут через двадцать отерывается дверь моей одиночки.

— Смирно!..—кричит дежурный, только что сменивший Исаева. Входит отделенный Бывших:

— Здорово!

— Здравия желаю, господин отделенный!

Постояв минуту на пороге и по привычке осмотрев всю камеру, дескать, не захватил ли меня врасплох на чем-нибудь предосудительном, он громко заговорил:

— Ты чего же это распространяешься, а? Дисциплину забыл!.. В первый день здесь, что ли!.. Или мало тебе здесь попадало?.. Гони вниз и стань около карцера!..

Спустившись вслед за мною на нижний этаж, отделенный подошел ко мне вплотную и пронзес:

— Равдайся!.. Разувайся!.. Ворочайся!.. Снимай штаны!.. Облечь надо...

Я разделся, оставшись в одном белье. Отделенный тщательно ощупал меня, осмотрел одежду и коты, отобрал носовой платок и портянки и, когда я, собрав в охапку бушлат, брюки и шапку, подошел к гостеприимно открытому карцеру, он впахнул меня туда и запер за мною тяжелую дверь.

Через несколько дней к дверям карцера был прибит листок с надписью: «арестант такой-то приговаривается к семи суткам темного карцера за грубое отношение к надзирателю и за смех»... Самого меня по этому делу никто (кроме отделенного) даже и не допрашивал.

.....

Как я уже говорил, в Орловской каторжной тюрьме карцера помещаются в одиночном корпусе, занимая оба крайние угла на каждом этаже. Таким образом, карцер представляет собой урезанный треугольник, одна сторона которого выходит в сени, ведущие на прогулочный двор, другая — в коридор, а третья примыкает к соседней

одиночке. Пол здесь везде асфальтовый. Отопления в самом карцере вовсе не имеется, даже зимой. Каменные стены всюду толстейшие — в аршии ширины — неудивительно, что в карцере всегда мучительный холод.

На полу, вплотную к стене, выходящей в холодные сени, устроен низенький, в несколько вершков вышины деревянный помост — это и есть ложе для сна. Матрац, подушка и одеяло принадлежат, конечно, к «вещам в себе», к ноуменам, а не к феноменам, и пользоваться ими можно только метафизически, в воображении. В углу возле дверей стоит маленькая «парашка», обыкновенно, по причине темноты, в которой приходится пользоваться ею, вся треснутая и протекающая; как следует ее никогда не промывают, и она насквозь пропитана ароматами, от которых делается тошно. На помосте лежит паек черного хлеба, рассыпано немного соли и тут же медная, позеленевшая и проржавевшая кружка с сырой холодной водой.

В карцере никогда не исчезающая сырость и затхлость. Воздух тяжелый, промозглый, везде грязно, заплесано, загажено, намочено. Когда зайдешь в этот темный и воюющий треугольник, сразу тебя охватывает сильнейшее головокружение, и в глазах пачинает мутиться.

Особенно плохо тем, кто закован в ручные и в ножные кандалы: ремень и подкандалники обязательно отбираются, и цепи приходится при малейшем движении влачить за собою по полу. Когда подумаешь, что иные каторжане проводили в карцерах в общем сотни суток (наприм., Шмидт при мне уже имел за собою 224 суток, а такие неукротимые протестанты, как саратовский с-р. Коротков, севастопольский матрос Конуп и др., будучи десятки раз наказаны, просидели в темной еще больше), то остается только удивляться их физической выносливости и душевной силе. Впрочем, таких героев, конечно, мало.

Для каторжанина, и без того истощенного и измученного, наказание карцером вещь убийственная. В деле окончательной и бесповоротной изоляции «преступника» от «порядочного» общества, в деле ускоренной отправки его на тот свет, наказание темным карцером на хлебе и на воде играет довольно большую роль.

Темно... Тошно... Дни тянутся с тоскливой медлительностью. Пожешь черный хлеб, заешь холодной и сырой, с противным запахом нечищенной меди водой, походишь немного, потом сядешь и станешь в тысячный раз думать о давно уже преддуманном. Когда надоест копаться в области фактов, пересказываешь в царство мечтаний, с причудливой нестротой начинаешь пряхть фантазии о том, чего никогда не было и никогда не будет; строишь так один воздушный

замок за другим, расцветиваешь их в радужные цвета своих желаний и... уносишься мыслями далеко-далеко от неприглядной действительности...

Или же, очнувшись от сна на яву, ошупью подползаешь к двери, приложишь ухо к какой-нибудь щелочке и станешь с лихорадочной жадностью ловить малейшие звуки, доходящие к тебе из коридора, стараясь по ним восстановить то, что сейчас творится за пределами карцера. Когда и это надоест, уложившись на досках, сожмешься в комочек и пробуешь уснуть, не то с нетерпением начнешь высчитывать, когда же тебя наконец переведут в светлую, дадут кипятку и обед, разрешат поспать хоть одну ночь на брезентовой койке. Всего этого ждешь, как чего-то необыкновенного и соблазнительного, заранее предвкушая предстоящее удовольствие. Но потом внезапно поймает себя на мысли об этом и сразу делаешься противным самому себе... Тоска по каше!.. — что за прозаические мечты!! Тоска по кипятку!.. — Что за пошлый материализм!!

На четвертый день полагается свет, горячая пища, прогулка. У нас в Орле прогулки карцерным совсем не дают, хотя бы он был приговорен на целый месяц (максимальный срок, к которому разрешается приговаривать в один прием). Специально приспособленных светлых карцеров при Синайском в Орле не было, так что на четвертые сутки меня перевели в обыкновенную одиночку. Оставленный мною карцер был немедленно занят каким-то Фидияновым, приговоренным к семи суткам за то, что, находясь в общей камере, он подошел к подоконнику и посмотрел в окно... Таким образом, когда мне нужно было перейти обратно в темный карцер, то такового уже не оказалось: все они заняты были новыми гостями.

Оставшиеся трое-четверо суток мне пришлось провести в светлом помещении. В камере имелась прикрепленная в стене и запертая на замок койка, правда без подушки и одеяла, но ни надзиратель, ни отделенный ни за что не соглашались отпереть ее.

— Не полагается!.. — был стереотипный ответ.

Не решаясь зимой спать на голом асфальтовом полу, я все эти четыре ночи провел в сидячем положении, устранившись на узенькой скамеечке, прибитой к стене подле железного столика возле парашки. Этот железный столик и служил мне вместо подушки.

Из карцера я вышел измученный, с воспаленными глазами и шатающейся походкой, еще более побледневший, весь грязный и растрепанный.

Без ужаса нельзя себе представить, как должны себя чувствовать те чахоточные, которых везде и всюду сажают в карцер за такие же «проступки» и на таких же основаниях, как и здоровых арестантов.

Три происшествия.

I.

Скучны и однообразны тюремные будни. Сегодня то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня. Нервы надорваны и устали, за долгие годы сидения чувства погрузились в дремоту. Ничего не делаешь, а между тем доходишь до изнеможения. Зато такая душевная спичка сразу нарушается, сам весь затрепещешь, как только в вялое течение арестантской жизни ворвется что-нибудь необычное, из ряду вон выходящее.

Редкая по своей разработанности и неслыханная по жестокости экзекуция, которой подвергнуты были 14 политических, присланных в Орел из Шлиссельбурга, обратила на себя внимание и Главного Тюремного Управления. «История» эта имела место 21 июля 1912 г., а месяцев через восемь от нас убрали начальника Синайского, за которым последовал инспектор Сербиннов. Весть об этом вызвала у всех вздох облегчения. Еще больше обрадовались мы слуху о назначении Синайского начальником заброшенной провинциальной тюрьмы где-то в Туркестане. Впрочем, Главное Тюремное Управление, руководители которого всегда, должно быть, преисполнены чувств милосердия и всепрощения, вскоре переменяло гнев на милость: Синайский получил еще большее повышение, — в его распоряжение отдана была одна из самых обширных тюрем в России, — Московская.

К нам же в Орел перевели из Николаева некоего Колченко, высокого блондина со стриженными усами и малороссийским выговором. Он сразу же начал с отмены порядков, дикость и нелепость которых бросалась в глаза. На прогулке можно было отпynie ходить просто по кругу без команды: раз... два... три... четыре... левой... левой; когда надзиратель посмотрит в глазок, можно было и не становиться во фронт: «здравие желаю» нужно было кричать только при входе в камеру высшей администрации и старшего надзирателя, — отделенные же

и простые надзиратели лишались этой чести; письма можно было писать у себя в одиночке, а не внизу в коридоре против kloзета; тетради не залеживались в конторе по восемь, по девять месяцев, а аспидные доски, которые при Синайском выдавались не иначе, как с особого разрешения и за особой подписью помощника начальника, стали выдаваться сейчас же после выпски. На пасхе Колченко накормил нас превосходным обедом и даже удостоил нас поздравления с праздником. Массовые избиения прекратились.

Новый инспектор Саевич, тщательно выбритый джентельмен с пушистым ртом и синеватыми глазами, тоже не похож был на своего предшественника. Он часто посещал тюрьму, заходил в камеры один без всякой свиты, избегал говорить «ты». Глядя на арестанта в упор через свои пенсы, Саевич подробно расспрашивал его о нашем арестантском житье-бытье, просил быть откровенным, а выходя из камеры говорил—факт, так и говорил:

— Ну-у-с, всего хорошего!

Однако, новые порядки вкороности стали все больше походить на старые. Реформаторского пылу хватило у Колченко не надолго. Хулигански-грубое обращение, наказание кнута по малейшему поводу и без повода, лишение обычной скидки с кандалного срока, что для многих являлось удлинением срока каторги на год-два, ухудшение пищи, и без того скудной и недостаточной, запрещение выписывать молоко на собственные средства—даже чахоточным!—наконец, все чаще повторяющиеся случаи отдельных избиений—не могли не раздражать арестантов.

Но если раньше террористический режим окончательно придавил каторжан, если их безропотное молчание обуславливалось, кроме всего прочего, еще надеждой на царский манифест, то теперь, когда ожидания эти оказались обманчивыми, приходилось подумать о том, чтоб сделать дальнейшую жизнь хоть сколько-нибудь сносною. Мысль о голодовке направлялась сама собою.

К чести некоторых каторжан (припоминаю с.-р. Павлова, Гуменского, Поддубовского и Фельдмана, с.-д. Часовенного и др.) нужно сказать, что с самого же начала своего прибытия в Орел они стали действовать в этом направлении. Но все время они оставались почти одиночками, и лишь после 21 февраля 1913 г. к их голосу стали несколько больше прислушиваться. По крайней мере воззвание, пущенное по рукам Поддубовским, произвело на публику большое впечатление.

Об этом Поддубовском стоит сказать несколько слов. Невысокого роста, худощавый, с вытянутой вперед шеей, с некогда свежим и румяным, а потом окончательно пожелтевшим и осунувшимся лицом, он

обращал на себя внимание какой-то особенной, глубоко-проникновенной серьезностью своею. Это был настоящий тюремный коновод.

«Коноводы,—писал много десятков лет тому назад Достоевский, наблюдавший этих людей в тогдашнем «Мертвом Доме»,—ковноводы—это особый тип, повсеместно между собою схожий. Это народ горячий, жаждущий справедливости, и самым наивным, самым честным образом уверенный в ее неперменной, а главное, немедленной возможности ее... Через горячку свою они проигрывают, но через горячку же они влияние имеют на массу, за ними, наконец, охотно идут. Их жар и честное негодование действуют на всех, и под конец, самые нерешительные к ним примыкают. Их слепая уверенность в успехе соблазняет даже самых закоренелых скептиков, несмотря на то, что уверенность эта имеет такие шаткие основания, что дивишься вчуже, как это за ними пошла. А главное то, что идут они первые и идут, ничего не боясь. В обыкновенной жизни это народ раздражительный и к другим нетерпимый»...

Под эту удивительно меткую характеристику вполне подходит и Поддубовский.

Еще будучи учеником гимназии, он примкнул к с.-р., но потом перешел к максималистам, перешел не столько потому, что разделял все их теоретические построения, сколько потому, что ему больше по душе была их питавшая террористическая деятельность, их повышенный активизм. По своему умонастроению Поддубовский был типичный заговорщик, глубоко убежденный, почти религиозно-верующий в абсолютную правильность своей платформы. Однажды сказав себе, что надо делать то-то и поступать так-то, Поддубовский уже до конца дней своих может придерживаться того, к чему он пришел когда-то. Как и большинство социалистов из интеллигентов (особенно относится это к выходцам из зажиточных классов), Поддубовский подошел к революции, стал на сторону рабочих и крестьян по побуждениям, главным образом, политического свойства. Вообще чисто политическая сторона движения более ему близка, больше его волнует, чем социально-экономическая.

Человек идейный в самом глубоком и широком смысле этого слова, Поддубовский был непреклонным принципиалистом. В своем поведении он, правда, руководствуется *кучей категорических императивов* и точек зрения, но в отличие от большинства принципиалистов этого рода, он совершенно *чужд книжной рассудочности*. Это тип исключительно полевой. Весь он порыв. В нем огромная душевная мощь, поразительная выдержка. Поддубовский способен на самые большие подвиги, ему ни почем и пытки и страдания, и при этом он чужд рисовки и самолюбования.

Среди заключенных Поддубовский пользовался большим влиянием. Везде и всюду он был в числе первых протестантов. И у Аракчеева (в Петербургской пересылке), и у Петрушки (в Псковском центре), и в Московских Бутырках, и у нас в Орле—он был на плохом счету у начальства. Много раз сидел он в карцере, а в Пскове полковник Петр Черленювский подверг его даже гнуснейшему из наказаний...

В голодовке, которая вспыхнула у нас в мае 1913 г., Поддубовский тоже играл самую главную роль.

* * *

Выступление это готовилось очень долго. После бесконечной переписки и сговоров удалось сформулировать требования: безусловную отмену избиений и возбуждение судебного преследования против всех повинных в них; прекращение порки розгами; отмена всякой казармышпы («так точно», хождение на прогулке под команду и т. д.); вежливое обращение; разбор проступков, влекущих за собой карцер, самым начальником; улучшение пищи; заботы о чахоточных (для них: больничная пища, увеличенные прогулки, освобождение от вредных работ, право днем ложиться на койку и т. д.); увеличение заработка; прекращение работы на канато-трепалье («на хлопках»), служивших ужасным очагом чахоточной эпидемии и т. д.

Нужно заметить, что после того, как смелливший Синайского Колченко сам начал вводить кой-какие облегчения,—прежний энтузиазм и отчаяние арестантов несколько улеглись. Препитствием к скорому объявлению голодовки служило еще и то обстоятельство, что подавляющее большинство каторжан из общего корпуса стояло в стороне от задуманного выступления, поэтому начало его много раз откладывалось. Все же «голодовочного» настроения и босвой энергии у многих накопилось настолько, что нужно было во что бы то ни стало разрядить его. Кроме того чувствовалась потребность пить, хотя бы и задним числом, реваши за все те издевательства, которые доселе переносились молча.

Однажды утром 5 мая 1913 г. с.-р. Иван Коротков, бурная натура, для которого возмущение и протесты нужны не менее, чем воздух и вода, вышел во время отправки на коридор и громким голосом провозгласил:

— Товарищи! Коротков объявляет голодовку!... Начпнайте!...

За слова эти Короткова (с ведома писектора Савевича) выпороли розгами. Его отвели в так-назыв. «крепость», раздели, разложили, причем число ударов считал сам Колченко. На 21 ударе он велел ему встать.

— Ну, что: будешь подчиняться режиму?—спросил он Короткова. Коротков только отрицательно качнул головой.

— Ах, так!.. Ну ложись! Еще 15! — крикнул начальник. Как и прежние эвэкуции Коротков перенес и эту эвэкуцию стойчески, зажал рукав рубашки в рот и не произнес ни единого звука и стога.

На призыв Короткова откликнулось несколько десятков человек в одиночном корпусе, и то не сразу. Сторонники же выступления из общего корпуса узнали о голодовке лишь перед самым концом ее. Неорганизованность, точнее, недостаточная организованность ее сказывалась еще в том, что одни голодали с водой, а другие не принимали ни еды, ни питья. К голодавшим Колченко явился лишь на четвертый день. Держался он довольно корректно: обещал прекратить избиения, позаботиться о больных, улучшить пищу, ввести вежливое обращение, разрешить книги и журналы.

После его ухода голодовка тотчас же прекратилась.

Однако победа эта была только видимая. Сообразив, что перед ним был штаб без армии — из 1200 арестантов голодали всего лишь полсотни — Колченко еще больше прижал тюрьму.

Если с интеллигентами из одиночного корпуса он во время объяснений вел себя хоть сколько-нибудь прилично, то совсем иначе он обошелся с теми девятью каторжанами из рабочих, которые находились в общем корпусе, и примкнули к голодовке лишь в последний день ее. Вначале помощник начальника уговаривал их «бросить волюнку», но слишком много натерпелись они в прошлом, слишком велик был в них гнев, и слишком сильно чувство товарищеской солидарности, чтоб поддаться уговорам.

Их перевели в одиночки. Было это 9 мая. К внесенному к ним обеду никто из них не притрагивался. Тогда надзиратели Калафуты и Бывших стали силой влихивать им в рот еду. Те сопротивляются, их хватают за горло, поднимается крик, начинается стук в двери.

К пожилому крестьянину Кожевникову вскакивает старший Коробка и отделенный Семенов, несколькими тумаками сваливают его на пол, бьют погамы и кулаками, и чтоб заглушить его крики, влихивают ему в рот полотенце. Помятого и окровавленного его тащат вниз в подвал, где его уже ждут Колченко, старший помощник Семашко и куча надзирателей.

— Ну, всыньте ему! — приказал начальник без всяких предисловий. Совершенно истерзанного Кожевникова снимают после этого с козел, поправляют штаны и, держа за обе руки, ставят перед начальством.

— Это ты всего десять розог получил, — сказал ему Колченко. — Отныне ты закажешь и себе и своим детям голодовку делать... Если теперь же не дашь слова, что больше не будешь, то опять повторю!.. Ну?!

— Ва-а-ше... ваше превосходительство..., — забормotal едва созиная, что он говорит, Кожевников, — больше... больше не буду...

— Ага! узнал теперь, что такое «ваше превосходительство», — засмеялся Колченко. — Посадите его обратно. Следующего!...

По-очереди привели и выпороли: севастопольского рабочего, бывш. с.-д., а теперь анархиста, Петра Харчевникова, рабочих Финмоненко, Родионченко, Медвинника и матроса Повелица.

— Обед примешь? — Голодовку прекратишь? — спрашивает последнего начальник.

— Нет! — отвечает Повелица твердо. — Удовлетворите требования товарищей...

— Тридцать!... — кричит Колченко, и Повелица получает 30 ударов розгами.

— Ну, что обед примешь? — повторяет свой вопрос начальник.

— Нинет!!! — рычит в ответ Повелица, весь корчась от боли и стыда.

— Еще десять! — командует снова Колченко.

На арестантских билетах, на обороте, где регистрируется поведение каторжанина, начальник велел написать, что эти шесть человек наказаны за то, что *«набросились на надзирателей»*

Таков был конец голодовки.

II.

Второе происшествие было не более веселое.

Сидел у нас с.-р. Борис Мельников, севастопольский артиллерист, участвовавший в восстании 1906 г., бежавший из-под ареста, и без санкции партийного комитета совершивший ограбление. Сидя в тюрьме, он снова бежал, уехал в Херсонскую губернию, опять совершил экспроприацию, снова бежал, вернулся в Севастополь и там, во время непосредственной подготовки к одному крупному террористическому акту, опять был арестован. Его судили и по совокупности приговорили к бессрочной каторге.

Человек он даровитый и сложный. На каторге много таких, далеко незаурядных натур, которые могли бы пострадать за что-нибудь более крупное и красивое, а между тем впадают они цепь и обречены томиться долгие годы за дела, которым грешь цена.

В Орловском центре Мельникову жилось как и всем, т.-е. северно. Когда в мае 1913 г. вспыхнула голодовка, он примкнул к ней одним из первых. Не то из-за слабости, не то из-за желания усугубить чем-нибудь свой протест, он на утренней поверке не встал с койки. Стар-

ший Калафутто, не долго думая, выбросил его на пол и немного поглотил. На другой день то же самое, а 7-го мая к нему пришел сам начальник и обругал площадной бранью, причем, заведывающий корпусом два раза толкнул его ногой.

На сей раз этим и кончилось.

Месяца через два после этого Мельникова посадили в карцер, посадили за то, что, когда надзиратель открыл форточку, чтоб сказать что-то его сожителю, Мельников продолжал сидеть на скамейке. Вальтася в кардере,—валтася на голых нарах в темноте и сырости, питаться одним хлебом и сырой водой—предстояло ему целую неделю. Кандалный ремень и подкандалники отобрали, на ногах волочатся, не висят, а именно волочатся кандалы, на руках тоже цепи. Ходить неудобно. Холодно, голодно. Сердце ноет, гложет тоска. Досадные мысли так и лезут в голову, вызывая приступы бессильной злобы. За что его посадили в темную, его, и без того измученного и истерзанного?... Доколе же он будет подчиняться, безропотно сносить оскорбления и издевательства?...

— Товарищи!... То-о-ва-а-рищи! закричал вдруг Мельников, подскрывая к дверям кардера. Очевидно толкали его к этому какие-то сильные внутренние импульсы. Голос у него громкий, говорит он плавно.—Товарищи!... Помните, за что меня во время той голодовки избивли? Так довольно же терпеть!... Нас здесь замучают! В могилу загонят!... Не ладо молчать! В борьбе обретишь ты право свое! Товарищи, протестуйте против нахальства произвола!...

Нужно посидеть в Орловском централье, чтоб понять удивление и изумление и арестантов, и надзирателей, когда раздались эти крики,—никогда ничего подобного у нас не было. Правда, из карцеров часто, даже очень часто доносились крики и стоны, но то кричали избиваемые. Иной раз громко, во весь голос несет какую-нибудь ахинею брошенный в карцер душевно-больной, но на этот раз лютственно слышна была разумная и толковая речь.

Арестанты прилипли ушами к дверям своих одиночек, а озадаченные надзиратели засуетились и вызвали по телефону дежурного помощника и кучу надзирателей. Помощник Аракчеев стал кричать на Мельникова и обругал его матерной бранью. Мельников ответил ему тем же, тогда возмущенные такой неслыханной дерзостью надзиратели Выхших, Палехин и еще один, словно остервенелые, бросились на него, схватили за горло и начали бить.

Едва раздались стоны избиваемого, как остальные арестанты, чутко и взволнованно прислушивавшиеся к тому, что творилось в карцере, сейчас же забарабанили в двери. Начало обструкции положил тап-

кентский с.-р. Николай Шванский, один из наиболее ярких представителей нашей арестантской польницы. В течение 15-20 минут по всему корпусу только и слышен был глухой стук в обитые железом двери: кто бил в них кулаками, кто железным замком от наручей, кто медным кувшином. Какофония царила ужасная.

— Молчать!... Не смей!... Отста-а-вить!... — кричал помощник, возившийся с Мельниковым, но его криги, сопровождаемые криками и стонами Мельникова, только еще раззадоривали каторжан. Трескотня и грохот долго не унимались.

— Записать!... Отмечать камеры мелом! — распорядился дежурный, и надзиратели принялись второпях ставить кресты на дверях тех камер, откуда, как им казалось, раздавался стук.

— Выходи в коридор! — крикнул Мельникову пришедший между тем старший помощник Семашко.

— Нет не пойду! — возразил тот, — вы опять начнете меня бить.

Тогда надзиратели вытолкали его из карцера и стали насильно одевать в сумашедшую рубашку. Им на помощь прибежали надзиратели Контилов, похожий на грека здоровяк, один из самых наглых хулиганов, затем — Палехин, сам по себе человек не злой, но дороживший своей должностью и потому отпускавший туманы и пляски направо и налево. Разбив Мельникову в кровь висок и заткнув ему рот тряпкой, они поволокли его по лестнице со второго этажа вниз.

Выслушавши доклад об этом происшествии, Колчешко распорядился так: шесть обструкционистов выпороть розгами (в том числе и самого Мельникова), человек 30 посадить на карцерное полотно, а расколовших, помимо этого спова заковать в позлые кандалы. Кое-кто из действительно участвовавших в обструкции уцелел от наказания, зато другие, которые в дверь вовсе не стучали, подверглись взысканиям — вплоть до лишения скидки и манифеста. Кожевников, тот самый, которого раньше выпороли за участие в голодовке, был вторично наказан розгами за участие в обструкции, в которой он вовсе не участвовал.

Из числа подвергнутых телесному наказанию брянский рабочий Михаил Новиков, кстати туберкулезный больной, впоследствии повесился. Сам Мельников и еще один политический, матрос Ушкин, худой и измученный каторжанин, после порки пытались покончить с собою: они раздобыли стеклышко и хотели перерезать себе сонную артерию, но никак не могли нащупать ее.

Мытарства Мельникова однако этим еще не кончились. Его перевели в помой, сырой и холодный корпус и посадили в огромную, пустую камеру. Совершенно изолированный, он и там не переставал «воплывать», а Колчешко ни переставал сажать его в темную на хлеб

и воду. Карцера в новом корпусе так устроены, что внизу возле нар из вентиляционной щели дует сильная струя холодного воздуха,—для сидящего в карцере—это настоящая пытка.

Чтоб добиться перевода в другой карцер, Мельников 25 декабря объявил голодовку. Заходит к нему старший Коробка и надзиратель Бондарев. Увидав своих ненавистных притеснителей, Мельников демонстративно сел и надел шапку. Его побили и добавили лишние 10 суток. Окончательно затравленный (даже в то время, когда он не находился в карцере, он лишен был книг, переписки и выписки), он решил совсем выйти из повиновения, и в виде протеста (в Орле это называлось «протестом») стал величать начальника и его помощников не «*ваше высокоблагородие*», а просто: «*господин начальник*» или «*господин помощник*». За это (или как отмечено на его арестантском билете: «За упорное неподчинение режиму и дерзко-вызывающее поведение») посетивший тюрьму товарищ прокурора, зайдя к нему в карцер, с своей стороны велел оставить его в карцере еще на 30 суток.

Все эти «волюны» порядком истрепали Мельникова. Он стал походить на скелет, к тому же пошатнулось и его умственное здоровье, все чаще его преследовали галлюцинации: когда он пагал по камере, то слышал отчаянно громкое кудактанье кур, но как только он сядет, слух его начинало терзать пиликанье гармоник.

В конце-концов, самому начальству надоела война с этим неисправимым бессрочником. Мельников был переведен из Орла в другой каторжный централ.

III.

Сидел у нас в одиночном корпусе некий Пивин, ваторжанин из уголовных, высокий, здоровенный малый с румяным лицом и горящими лихорадочным огнем глазами. Был он «обратник», т.е. вторично осужден в каторгу после того, как бежал с работ по постройке Амурской железной дороги.

Человек он нервный, вспыльчивый, и как-то по-детски легкомысленный. В разговоре с ним вас поражает его быстро-быстрая, совершенно беспорядочная и обрывистая речь. Мысли у него идут такими скачками, часто он несет такую чепуху, что только удивляешься его способности плодить химеры и с необыкновенной живостью и хвастливостью рассказывать о том, чего вовсе не было. Достаточно поговорить с ним и всмотреться в его глаза с расширенными зрачками, чтоб понять, что Пивин—человек *тронутый*.

Еще в декабре 1913 г. этот взбалмошный и неуживчивый парень поспорил с одним арестантом, бывшим в фаворе у старшего Семе-

нова. Было это по дороге в баню. В самой бане раздраженный Пикин позволил себе дерзко нарушить введенное после голодовки обязательное постановление: стоя у края и набирая себе воды, Пикин сказал что-то стоявшему с ним рядом каторжанину, между тем, как *разговаривать в бане тогда строжайше воспрещалось*. За это Семенов и посадил его в темный карцер. Пикин поднял шум, поругался с надзирателем и громко стал требовать для объяснений заведывающего корпусом.

— За что меня посадили? Что я такое сделал? Где здесь закон?!— кричал он, обращаясь к нему, когда тот явился в одиночный корпус, где помещались старые карцера.

— Молчать!.. Сволочь!.. Не разговаривать!.. Посадили,—так сиди!.. Ишь, так и так его мать!..—подавал ему реплики помощник начальника.

Пикин долго не унимался. В тот же день он по приказу Колченко был выпорот розгами. Вернувшись с экзекуции, Пикин сразу присмирел и затих, как-будто с ним ничего и не было.

Все уже забыли про этот инцидент. Но вот, месяца через четыре после этого Пикин снова попал за что-то в карцер. Выпоя утром парашку, он вдруг неожиданно и без всякого повода набросился на стоявшего тут коридорного, очень хорошего арестанта, к которому Пикин не имел и не мог иметь никаких претензий. Замахнувшись на него парашкой и ударив его несколько раз по лицу, Пикин вскочил к себе назад в камеру, и тоже без видимого повода, начал разбивать окно, койку и стол (карцер, в котором он сидел, был переделан из обыкновенной одиночки, так что прикрепленная к стене железная мебель осталась на месте).

Случайно находившийся в коридоре старший Коробка, маленький, похожий на гнома человек с большой бородой, выхватил пашку и стал бить ею Пикина. Пикин поднял отчаянный крик и плач.

Было это во время утренней оправки. Всех, находившихся в этот момент в коридоре, загнали назад в камеры, приостановили раздачу хлеба и кшпátku. Зазвенел телефон, тюрьма вся насторожилась. В тот же день мы узнали новость: по распоряжению Колченко Пикину дали 30 розог и заковали в ручные кандалы.

Прошло дня три. Пикин все еще в карцере. Вдруг, в глухую полночь среди мертвой тишины, когда вся тюрьма засыпает тяжелым тревожным сном, когда тягучее безмолвие нарушается только шагами надзирателей, на цыпочках подкрадывающихся к глазам и заглядывающих через них в камеры,—вдруг сразу и неожиданно, как будто задном, раздались громкие вопли и стоны.

— Ой-ой!.. Товарищи!..—ревел чей-то голос.—Помогите!.. За что?.. За что! Ой-ой, товарищи!..

Кричал Пикин. То ли от боли после наказания розгами, то ли во сне кошмар охватил его, то ли в его воспаленном мозгу с запоздалостью пронеслось чувство обиды на то, что никто из заключенных в свое время не заступился за него,—но завопил он таким надрывающим душу голосом, что все мы соскочили с коек как ужаленные. Прибежал дежурный помощник, раздался глухой топот надзирательских сапогов. Полагая, вероятно, что его сейчас начнут избивать, и испугавшись собственного голоса, Пикин разразился истерическими воплями:

— Караул!.. Товарищи!.. Ратуйте!.. Убивают!..

За несколько дней до этого, с.-р. Иван Коротков, тот самый многострадальный и неукротимый бунтарь, про которого мы упоминали выше, снова (уже не помню в который раз) призвал каторжан к голодовке и пропел несколько куплетов «Марсельезы»; на призыв Короткова никто не отозвался, а сам он был опять выпорот розгами. Теперь же некоторые из политических, разбуженные криками Пикина, решили, что это избивают Короткова. Поддубовский, крайне чувствительный к малейшему насилию над кем бы то ни было, начал стучать в дверь, к нему присоединились еще человек десять,—это из 260 каторжан, находившихся в одиночном корпусе.

Стены Пикина, между тем, долго еще не унимались. Было жутко. Сердце зампало от тоски. Стучишь так в дверь, но в то же время лихорадочное беспокойство, недоумение, необходимость что-нибудь еще предпринять, сознание своего бессилия,—все это путается вместе, туманит голову и оставляет на душе неприятно нудный осадок.

Вскоре Пикина выволокли из карцера и, как он был в пожных и ручных капдалах, куда-то увели. Арестанты улеглись спать, в тюрьме снова воцарилось гробовое молчание, нарушаемое только шопотом и шушуканьем дежурных надзирателей, но напряженные нервы, и без того развинченные, долго-долго не могли успокоиться.

На следующее утро Колчешко так распорядился: десять человек, стучавших в двери, он посадил на две недели в карцер, на хлеб и на воду, причем тронх из них он, с разрешения инспектора Саевича, выпорот розгами. Пикин же снова был подвергнут наказанию розгами,—но уже в количестве *сла ударов*,—максимум того, что начальник может дать в одив прием.

Казалось бы, что если взрослый человек ни с того, ни с сего начинает бесноваться, набрасывается на товарища, к которому он не может питать вражды, ломает мебель, ночью поднимает крик,—то первое, что должно явиться на ум, это предположение о ненормальности этого человека. И если от рядового тюремного начальника не

чего требовать гуманности и снисходительности, то от инспектора Саевича, универсанта, юриста, казалось, можно было ожидать кой-чего другого. Но...

Пикин, которого последняя сотня розг совершенно обесследила, притих недели на две, но потом с ним снова приключилось подобное же. Намереваясь покончить с собой, он облил себя керосином из лампочки и поджег, но огонь своевременно замечен был надзирателем. Лишь после этого Пикина отнесли в больницу.

При повом начальнике Пугавко, Пикина перевели в «Краков», как почему-то называлась у нас новая тюрьма, перестроенная из прежних мастерских. Помещен Пикин был в большую и пустую камеру. Там он окончательно сошел с ума. Его охватила маниа преследования. Он помешался на том, что его хотят отравить: каждый раз, когда ему приносили хлеб и обед, он настойчиво требовал, чтоб надзиратель перый пробовал пищу. Без он себя буйно: громко распева, отчаянно ругался, игнорировал все тюремные правила и распорядки, — словом «волныла».

Пугавко хотя и надевал на него сумасшедшую рубашку, но розгами его не наказывал и вообще репрессий к нему не применял. Зато никто (в том числе и тюремный врач) и не думал лечить его...

Не помню через сколько месяцев Пикин умер, умер сумасшедшим, у нас же в тюрьме.

* * *

Это третье «происшествие», эта «история» с Пикиным имела своим последствием гибель еще двух каторжан.

Андрей Шансков, высокий и стройный блондин, матрос из рабочих приговоренный к бессрочной каторге за касательство к предполагаемому в 1912 г. восставшему черноморскому флоту, едва услышал безумные вопли Пикина, вскочил полусонный с койки и принялся стучать в дверь. За это его посадили на 2 недели в темную. В это время к нему пришел Саевич.

— За что были Пикина?—вегудюще спрашивал его Шансков.

— Неправда,—возражает инспектор,—его никто не трогал, а кричал, ой потому, что на него «нашло»... Он психопат.

— Это великолепно!.. «Он психопат»!.. Так разве психопатов лечат розгами, г. Саевич?.. Неужели этому-то вас учили в университете?..—недоумевающе возразил Шансков.

Между прочим, Шансков заявил инспектору, что ни за что не ляжет под розги и скорее даст себя застрелить, чем подвергнется такому оскорблению. Его так и не поролом...

Наголодавшись вдоволь в карцере, Шансков, попав обратно в одиночку, с нетерпением стал дожидаться обеда. Ему, как обыкновенно, подали чашку с горячей водичкой, в которой плавали два кусочка мяса и немного капусты.

— Дайте, пожалуйста, погуще.. Я голоден.. Этой баланды не приму!—заявил он стоявшему тут же Семенову. В другое время старший стал бы убеждать его, что обед, мол, хороший, и тут же прибавил бы ему немного гущи. Но в данном случае надзиратель чisto интуитивно понял, что Шансков, в отличие от других избегнувший порки, представляет особый интерес для начальника. Вместо того, чтоб подлить Шанскову немного щей, Семенов побежал в контору с докладом о том, что Шансков, мол, отказывается от пищи и смущает остальных.

— Он из тех, кто *участвует*, ваше высочествоблагородие!.. — добавил он при этом. На языке нашего старшего слово «*участвовать*» является синонимом неподчинения, строптивости, буйства, крамолы, свободомыслия, вообще, всего того, что входит в понятие: «*плохое поведение*».

— Ты что же арестантов смущаешь! — накинулся на Шанскова начальник, едва тот вошел к нему в кабинет.—Опять буктовать вздумал!..

— Никого я не смущаю,—возразил Шансков.—Ведь я прямо из карцера... А что до обеда, то я требую только того, что полагается по закону.

— Что? «Требую»? Это что за слово?.. Арестант может только просить, а не требовать!.. «По закону»!.. Я здесь выведу, выведу крамолу!..—стал кричать Колченко и тут же велел посадить Шанскова в темный карцер опять на четырнадцать суток.

Обкрадывание арестантского пайка одна из самых выгодных статей «дохода» для тюремной администрации. В самом деле, если даже с каждого пайка одна лишь копейка застрянет в кармане начальства, то при 1200 заключенных это составит порядочную дневную порцию... Поэтому наше начальство страшно чувствительно было к отдаленному намеку на подобные темы ¹⁾.

Отбыв и эти 14 суток, Шансков еще более измученный возвращается в одиночку, но тут его снова ждет невзгода. Его соседу по

¹⁾ Так, например, начальник Псковского центра П. Черлепповский выпорол политического Бугаева за жалобу на плохой обед; начальник Смоленской тюрьмы М. Орлов, когда ему донесли, что кузепы отказались принять обед и в виде протеста опустили в неурочное время койку, велел выворотить розгами с.-д. Мейца и 6 человек посадить в карцер на три недели. У нас в Орле предшественник Колченко—М. Синайский наказал 2-х-подельным карцером с.-р. Кимана «за упрямые и настойчивые жалобы на сырой хлеб»,—как это я сам прочитал на обороте его карцерного листка.

намере вздумалось спросить его о чем-то по стенке, и как на-грех перестукивание это подслушал надзиратель. По распоряжению заведывающего корпусом Горошко, Шанского опять наказывают двумя неделями темного карцера. Таким образом, ему пришлось почти без перерыва пробыть в карцере 42 суток,—из них 30 суток—в темноте на одном лишь хлебе и воде, как это водится у нас в Орле, за все эти шесть недель Шансков ни разу не был выпущен на свежий воздух.

Вскоре после этого у него пошла кровь горлом. Доктор открыл у него чахотку, и Шанского, страшно исхудалого, пожелтевшего и еле-еле передвигавшего ногами, перевели в больницу — верный признак того, что Шансков скоро прикажет долго жить.

«История» с Пигиным имела своим последствием еще одно несчастье. В 179-ой одиночке находился бессрочный по фамилии Фадеев. Отчаянные крики и вопли Пигина, внезапно среди глухой ночи огласившие весь корпус, стук в двери, вообще, вся эта удручающая и паводящая канику кутерьма так повлияла на Фадеева, что он мгновенно сошел с ума. Не знаю, пробудилось ли в нем воспоминание о перенесенных им самим когда-то побоях и розгах, но он вдруг вскарабкался на окно своей камеры, и, хотя никто лично его и не думал трогать, стал кричать благим матом:

— Ратуйте!.. Ратуйте!.. Убивают!..

Несколько успокоившись, но все еще находясь в том же угнетенном и психопатическом состоянии, Фадеев тут же перерезал себе стеклышком артерию правой руки и *умер* от истечения крови.

Этим-то и закончилось третье происшествие в нашем Орловском центре...

Подвижник.

Карлу Ивановичу Грюнштейну —
борцу за социалистическую револю-
цию — посвящаю.

В своих материалах к биографии Гл. Успенского Н. А. Рубакин приводит легенду, рассказанную ему одним стариком-евреем. Вот она:

«...На земле нашей обитает группа так-называемых *«ла мед-вов-ников»*, т.-е. 36 человек, настолько благородных и честных, добрых и справедливых, что только из уважения к ним Господь Вседержитель оставляет в живых испорченный род людской. Не будь этих беспорочных праведников, население земного шара давно бы постигла та же лютая казнь, какой подверглись нечестивые граждане Содома и Гоморры. Праведники эти рассеяны по разным странам и ведут себя до того скромно и смиренно, что в лицо их никто не знает. Известно только, что они существуют, действуют, но кто они именно и как их зовут, про то ведает один лишь Вседущий и Всеведущий Творец вселенной».

Могу, однако, похвастаться, что одного из этих «тридцати шести» я знал лично. Правда, он не еврей, но дело от этого не меняется. То был молоденький офицер, бессрочный политический каторжанин Борис Ждановский.

На вид он совсем неказистый: должно быть, по конспиративным соображениям все эти праведники уж так устроены, чтобы наружность их не обращала на себя внимания. Маленького роста, худой и щуплый — он скорее походил на заморенного подростка, чем на офицера, которого обыкновенно представляешь себе высоким и сильным, с грудью колесом и ловкими хватками. Хороши в Ждановском только глаза — большие голубые, оттененные длинными-длинными ресницами и смотрящие на всех прямо, доверчиво и с какой-то умной ласковостью.

Много встречал я людей на свете, попадались мне и хорошие и сердечные, но такого чуткого и отзывчивого, простого и непритязательного человека, как Ждановский, я еще не видал. Чужое страдание и

горе глубоко его расстраивают, чужие слезы не дают ему покою. Готовый отдать ближнему, хотя бы и злодею из злодеев, свой последний кусок, заступиться за всякого обиженного судьбой или людьми, готовый на самые высокие подвиги, вплоть до жертвования своею жизнью, Ждановский чужд, совершенно чужд какой бы то ни было рисовки.

Все, что он говорит и делает, выходит у него до последней степени просто и безыскусственно. Рассудочные взвешивания и самоуготоваривания, колебания и принуждение себя—мало знакомы ему. Делать добро и совершать подвиги—это должно быть его естественная, чисто органическая потребность. В других людях он всегда и во всем склонен видеть одно только хорошее, бессознательно прескальзывая мимо всего того дурного и низкого, чем так и кипят людские отношения. Доверчивость его граничит с наивностью, но эти чисто детские черты как нельзя больше гармонируют со всем его характером—ровным и бесхитростным.

Когда наблюдаешь людей, душа которых полна противоречий и конфликтов, борьбы и сумятицы,* или когда, осматриваясь кругом, видишь, сколько везде зла и неправды, скотства и жестокости, то с наслаждением останавливаешься на таких людях, как наш подвижник.

— Значит,—говоришь себе:—есть еще порох в пороховницах!.. Значит, уже сейчас в наших рядах есть люди, являющиеся прообразом человека будущего...

* * *

Ждановский карьерист, сын офицера; воспитывался он в Полтавском кадетском корпусе и Петербургском военно-инженерном училище, по окончании которого поступил в Киевскую саперную роту. Военная карьера ему мало нравилась: он мечтал об академии, профессуре и на худой конец о профессии инженера. Но бурный 1905 год, кого только не втянувший в водоворот революционных событий, перевернул все намеченные им планы.

Еще в полку Ждановский стал обращать на себя внимание высшего начальства: с солдатами он обращался не как грубое и заносчивое «благородие», а просто, как добрый и сердечный наставник; говорил им вы, вместо нелепого «здорово», говорил им «здравствуйте», а на одном полковом празднике громко и отчетливо произнес тост не за здоровье генерала и присутствующих полковых дам, а за здоровье саперов солдат, о которых все забыли.

Еще в военно-инженерном училище Ждановский познакомился с учением марксизма. В Киев он приехал вместе с 7 другими только что окончившими офицерами, очень революционно настроенными. У всех

их было много энергии, все они горели желанием поскорее приступить за работу. Скоро все они вступили в кружок, которым руководил один офицер, меньшевик по своим официальным взглядам и принадлежности к организации, но пылкий фантазер-заговорщик, типичный «бланкист» по своим практическим действиям.

Когда в ноябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло восстание, киевская военная организация решила поддержать его и разработала план выступления. Но события развернулись, как бы не дожидаясь и не во всем подчиняясь планам руководителей.

18 ноября одна рота солдат отказалась идти в караул, потребовала новой одежды, устройства кухни при роте, замены командира капитана Смирнова поручиком Пилькевичем—одним из молодых социалистов. Когда же депутаты, ведущие переговоры с начальством, были арестованы, солдаты забунтовались, включили в свои требования пункт об Учредительном Собрании и передаче крестьянам земли и, совершенно не считаясь с соображениями военно-революционной организации, беспорядочной толпой, захватив винтовки и натроны, отправились «снимать» других солдат киевского гарнизона.

На призывы Ждановского и Пилькевича к организованности, раздался крик:

— Долой офицеров!.. Весь гарнизон с нами!..

Чтобы предупредить возможность погрома и привести вооруженную толпу в боеспособный порядок, Ждановский, не долго думая, стал во главе шествия. Однако, «весь гарнизон» не обнаружил готовности пристать к повстанцам. Из восьми полков пехоты к ним вышло всего несколько человек, казаки же пытались даже атаковать саперов, и только из одного завода вышли к ним тысячи две рабочих с красными флагами и двинулись вперед, идя впереди саперов.

При встрече с ними, учебная команда, не зная, что за рабочими идет до 1000 вооруженных саперов, открыла стрельбу. Толпа устремилась на тротуары и этим поставила саперов прямо под залпы пехоты. На момент Ждановскому удалось приостановить паническое бегство рабочих, но едва он отдал приказание открыть огонь, как суетившаяся и в горячке метавшаяся во все стороны толпа снова закрыла саперов, мешая им стрелять, сама же очутившись под выстрелами правительственных войск. Паника достигла апогея: рабочие бросились бежать, за ними повстанцы.

Не желая уйти с опасного места, Ждановский ухватился обеими руками за фонарный столб, до хрипоты выкрикивая командные приказания. Чтобы приостановить непрекращавшиеся между тем залпы пехоты в убегающих рабочих и саперов, Ждановский, как был один на

мостовой, так и пошел прямо навстречу выстрелам, надеясь, что, увидя офицера, правительственные солдаты прекратят стрельбу.

Но он ошибся: пуля в грудь заставила его упасть на землю. Какой-то еврей из публики бросился поднимать его и отнес на квартиру. Там нашел его после долгих поисков поручик Баранов—один из участников восстания—и отвез в больницу. Часа через четыре в больницу явились посланцы от С.-Д. комитета и увезли Ждановского на частную квартиру.

В течение сорока дней его прятали и перевозили с места на место, пока, наконец, рыскавшая всюду полиция не нашла его в пяти верстах от города на ферме Политехнического Института.

В 1906 г. Ждановского судили. Военный суд приговорил его к расстрелу, но генерал Сухоминов, от которого зависело утверждение приговора, заменил смертную казнь бессрочной каторгой. Под смертным приговором Ждановский находился несколько недель. Эти титанические дни, и особенно эти мучительные ночи, он коровал тем, что продолжал изучать английский язык и со свойственной ему усидчивостью, аккуратностью и спокойствием проходил выпуск за выпуском Туссена и Тангенштейда...

* * *

Из крепости Ждановского перевели в Лукьяновскую тюрьму. Когда он лежал в больнице, обходивший арестантов губернатор выразил готовность расковать его, но с условием, чтоб он дал слово, что не убежит. Снятие кандалов имело бы для его здоровья большое значение, но Ждановский не мог ручаться за себя, что не убежит, если представится к тому возможность, и дать слово отказался. Начальник тюрьмы старался поскорее сбыть с рук этого бессрочного, и Ждановского скоро отправили на этап. Отбывать каторгу он должен был в Смоленском центре.

По пути в Смоленск он встречается с каторжанами, идущими из Одессы. Так как Ждановский обладает природным свойством, без малейших нарочитых с своей стороны стараний внушать к себе чувства самой глубокой преданности и уважения, то достаточно было однодневного знакомства, чтобы сразу полюбившие его одесситы решили между собою устроить ему побег.

У одного из них была стальная пила, и пока часть остальных этапных загваривала конвойным зубы, он перепилил прут решетки ватонного окна. Один из каторжан, здоровенный детина, воспользовался подходящим моментом, взял Ждановского на руки и прямо всунул его в окно вагона. Ждановский повис в воздухе. Опасаясь приближавше-

гося встречного поезда, он оттолкнулся от вагона и на всем ходу поезда упал на землю с такой силой, что рассек себе лицо. Вслед за ним ему выбросили мешок, в котором находилась кой-какая сборная одежда и паспорт.

Дело было глубокой осенью. Очутился он в поле, в совершенно незнакомой местности, легко одетый и измученный. Итти приходилось (штангалы он снял еще в вагоне) по вспаханной земле, по колено в грязи. То, что ожидало его впереди, было темно и полно неизвестности. Тем не менее настроение у него было до того бодрое, что, очутившись на поле, он тут же в поле во весь голос запел «Марсельезу».

Вскоре он подошел к речке, но перейти ее не удалось: слой льда был слишком тонок. Несколько раз он проваливался, однажды по самую грудь. Промучившись часов восемь, весь обледеневший, он наконец добрался до деревни. Было это под Курском. Не успел он забраться в ригу, как был остановлен хозяином ее. Вспомнив про хождение земле-вольцев в народ, Ждановский попробовал заговорить с ним «народным» языком, но эта попытка еще более усилила подозрение.

Да и наружный вид его: офицерская тулупка без погон, штатская меховая шапка, кровавый блин вместо лица, и вся его фигура, после ныряний в реку превратившаяся в сплошную сосульку,—все это далеко не гонорило в его пользу... К тому же по паспорту, которым его снабдили товарищи по этапу, Ждановский числился кузнецом... Открытие это Ждановский сделал уже, находясь в клуне, куда он с разрешения крестьянина забрался, чтобы погреться.

Через некоторое время к клуне подошла целая толпа. Но едва показалась его странная фигура, как все они, особенно дети, рассыпались во все стороны, словно чорта увидали.

— Старики, подойдите сюда, мне с вами поговорить надо!—крикнул Ждановский.

Тон произвел действие: мало-по-малу вокруг него собралась куча народу. Ждановский самым откровенным образом рассказал им, кто он такой и как сюда попал, потом перешел на тему о положении народа и о требованиях социалистов. Говорил он убедительно; крестьяне все поддакивали.

— Итак, старики, прощайте!..—заклучил он.—Я пойду от вас: не хочу, чтоб вы меня прятали и чтоб вам потом от начальства досталось!..

Глаза всех впивлись в этого странного человека, одетого в столь странный костюм, обледенелого и дрожащего от холода. Крестьяне слушали его молча. Никто из них не предложил ему даже войти в хату обогреться. Зато, едва он вошел в клуню за своим мешком с вещами, как один из слушателей захлопнул за ним дверь на засов. В конце-

комцов в село нагрянула полиция и жандармерия, и Ждаловский был арестован.

Он очутился в Смоленской каторжной тюрьме. Но не просидел здесь и месяца, как в числе шести зачинщиков «голового бунта» был выслан вместе с Воропичиным, Гершковичем, Кярлиентейном, Контовичем и мною, в Шлиссельбург.

Высылали нас экстренно. Нигде не останавливаясь, в особом вагоне, в котором, кроме нас шестерых да конвойных солдат с офицером, никого не было. Поздней ночью мы приехали в Петербург. В специальных каретах нас под громадным конным конвоем отвезли в Выборгскую одиночную тюрьму и на ночь оставили в светлых карцерах. Рано утром заковали в ножные и ручные кандалы и в тех же закрытых каретах доставили на вокзал Ирпловской жел. дор. и оттуда прямо в Шлиссельбургскую крепость.

Выло это 11 января 1907 года.

* * *

Что везде, где затрагивались интересы и честь каторжан, Ждаловский был в числе первых защитников этой чести и этих интересов; что он сам по своей инициативе брал на себя множество хлопотливых дел, касавшихся заключенных одиночного корпуса; что в столкновенных с администрацией он, при всей своей корректности и нетребовательности там, где это касалось его лично, из чувства товарищеской солидарности всегда и всюду выступал решительным протестантом,—все это разумеется само собой. Точно так же он, вместе с Зелениным, брал на себя самые рискованные и граничащие с самопожертвованьем роли, когда разрабатывался проект массового побега из Шлиссельбургской крепости.

Относительно говоря, в Шлиссельбургской крепости, точнее говоря, в одиночном корпусе этой крепости, жилось в те годы (1907—1909) довольно сносно, зато в общих камерах режим был крайне суровый. Обращение—грубое, тыканье обязательное, в карцер сажали даже тахотных, карцера никогда не мылись и не проветривались, парашки выносились один раз в четыре дня, а в некоторых из них, в так-наз. «башенных» карцерах сидеть было так мучительно, что многие попадали из них прямо в больницу.

Питание было до того скверное, что некоторые даже отказывались раздавать обед по камерам, за что и попадали в карцер (например, петербургский рабочий Кондратенко, который сидел несколько месяцев за это в темной на хлебе и воде). Не лучше обстояло дело и со снятием кандалов и с досрочным освобождением: за такие «проступки»,

как неснимание шапки при встрече с начальством, арестанты лишились этих льгот.

Однажды какой-то больной замахнулся на фельдшера табуреткой. Его посадили в карцер, а на другой день во время поверки нашли повесившимся. Начальство уверило, что он покончил самоубийством; но среди арестантов пошел слух, что это его забили на смерть надзиратели с Пленкайтисом во главе. На этой почве объявлен был бойкот администрации. Всех бойкотистов переводили во второй корпус. Их держали в строгой изоляции и в наказание не выпускали ни на какие работы — страшное наказание для каторжников...

Из помощников начальника выделялись своей грубостью и хамством Агафонов — злой и жестокий самодур, заменивший довольно корректного и мягковердечного князя Турамова, и некий Любинецкий — молоденький франт, заносчивый и плутоватый человек, очень влюбленный в свою персону и в свой всегда щеголеватый тюремный мундир.

В этом своеобразном сборном пункте для арестантской вольницы и началась «история», введшая столь печальный для многих конец.

Помощник Любинецкий, делая наверху в первой камере и тыкая в арестантов своим огромным и необыкновенно толстым карандашом, закричал на одного из них:

— Ты что стан, как корова!...

— Тут коров нет! — обиделся тот.

— Не разговаривать!... Стань, как я вежлив!.. Ноги вместе, руки по швам! — распалился его благородие.

— Ага, вы кричать, ну, так я нарочно не стану иначе! — ответил арестант.

Его, разумеется, тотчас же посадили в темную. Тогда остальные товарищи вызывают для объяснений старшего помощника Агафонова, и в результате объяснений в карцер угоджают еще трое. Тогда все, в виде протеста, выходят в коридор и... сейчас же, конечно, распределяются по карцерам.

Оттуда они обращаются к остальным с просьбой о поддержке. В короткое время на карцерном положении очутился человек 50. Чтоб утешить арестантов, старший помощник Агафонов велел выносить максималиста Бузинова, солдата Куражева и молоденького бойкого парнишку Богданова. Поводом для наказания первых двух послужило то, что они не сняли шапок, проходя по двору и увидев кого-то из начальства.

Как только до Ждановского дошла весть обо всем этом, его чуткое сердце дрогнуло. Хотя он находился в другом корпусе, но оставаться в бездействии он уже не мог. Вместе с группой других товарищей

(какой-то бунтарь и неутомимый протестант доктор Н. Ф. Петров, студент Лихтенштадт, В. Шмидт, М. Трилиссер, Нейман и др.) он поднял деятельную агитацию за немедленное вмешательство. Финал тот же: все они попадают на карцерное положение все в тот же второй корпус.

Тем временем число протестантов дошло до 150 человек. Предъявлены были 32 требования, в том числе и такие пункты: отмена розог, снятие с бессрочных ручных кандалов, расковка в законный срок, вежливое обращение, улучшение пищи и выбор арестантских старост для контроля кухни, выдача кипятку и соли сидящим в карцере и т. д. и т. п.

Конца этой трагической для многих эпопеи ¹⁾ Ждановский не дождался. Главное Тюремное Управление распорядилось экстренно выслать 15 «зачинщиков» в Орловский централ. Среди них были: с-р.: неукротимый и неисправимый путачевед Коротков, Шейнсон, Некрасов; с-д.: К. Лукс, Илья Бернштейн-Номов, Виллибин; анархисты В. Шмидт, Купченко и Курочкин; севастопольские матросы Зах. Цюма и Антон Бонуд, студент Вл. Лихтенштадт, рабочий Тимошечкин и Бурков. Из них Лихтенштадт имел счастье (да, да, имел счастье) заболеть по дороге, и его оставили в Петербурге.

21 июня 1912 г. все 14 шлиссельбуржцев прибыли в Орел.

* * *

В нашем Орловском центре был такой обычай: всех приходящих с этапа пропускали сквозь чистилище надзирательских кулаков. Такой участи редко кто миновал из рядовых каторжан, что уж говорить об арестантах, присланных на «окончательное исправление», да еще с такими отзывами, какими их снабдил Зимберг — начальник Шлиссельбургской тюрьмы!..

В коридоре всех 14 человек разделили на две группы и стали по одному уводить в одиночку. Время тянулось убийственно медленно. Это нарочитое затягивание приема действовало удручающе. Последними остались Ждановский и Шмидт. Перед ними ходил взад и вперед начальник Михаил Синайский, беседуя с конвойным офицером. Как только офицер ушел, начальник подходит к Ждановскому с вопросом:

— Как твоя фамилия?.. Ты бессрочный?

¹⁾ В связи со всей этой «историей» умерли: Лявган, Куражев, Энгельгардт, Скоробумов, Буданов и Саложников (последнего расковали только тогда, когда он уже находился в агонии)...

Не знаю, для какой именно цели Синайский задал ему этот вопрос: его фамилию он знал из бумаг; о том же, что он бессрочный, красноречиво говорили его ручные кандалы.

— Да, — ответил Ждановский: — я бессрочный, только просил бы не тык...

Не успел он еще договорить последнего слова, как начальник собственноручно бьет его в лицо и кричит:

— Это что за «да»?! Разве ты не знаешь, что полагается отвечать «так точно»!..

После Шлиссельбургского темного карцера на хлебе и воде, после трехдневной езды в арестантском вагоне, да еще после прогулки в ножных и ручных кандалах с вокзала на край города, — прямо чудо, как Ждановский удержался на ногах. Едва он размахнулся, чтобы ответить тем же, как куча надзирателей набросились на него с ружейными прикладами и кулаками. Он был сбит с ног, на него посыпался град ударов, а один из надзирателей самым спокойнейшим образом стал бить его в грудь рукоятью палки. Бил он его с таким азартом, что сам Синайский, наконец, остановил его со словами:

— Зачем так сильно!.. ты с ума сошел!..

Ждановский потерял сознание. Очнулся он в темном карцере одиночного корпуса.

В этот же вечер — в памятный вечер 21 июня 1912 г. — было устроено форменное побоище; руководил им заведывавший одиночным корпусом помощник Ермаченко, высокий и плотный с некрасивым угреватом лицом и раскосыми глазами молодой человек. Тут же присутствовал, помимо Синайского, губернский тюремный инспектор Николай Сербинов.

В сопровождении ватаги надзирателей Ермаченко обходил по очереди всех прибывших из Шлиссельбурга. Ударом кулака их сбивали с ног, валили на пол, били каблуками в грудь и в бока, в спину, лицо и шею, связывали заранее приготовленными веревками руки назад к ногам, загибали белое, подымали в воздух и с размаху бросали на асфальтовый пол. Кто падал в обморок, тому надзиратель Якушев сейчас же давал нюхать нашатырный спирт, тоже заранее приготовленный. У кого отметки о прежнем поведении были наилучшие, тому попадало больше остальных.

В то время как надзиратели барабанили по голове и лицу арестанта, или когда они стягивали ему веревками пятки к шее, его высокородные г. Ермаченко приговаривал:

— А-а, сволочь, ты хотел вежливого обращения!.. вот тебе, вот тебе вежливое обращение!..

Избиваемые стонали, кричали:

— Товарищи!.. товарищи!.. убивают!.. спасайте!.. заступитесь!.. товарищи!.. — неслось по коридору. Вопли эти смешивались с топотом надзирательских ног, лязгом кандалов, глухими ударами тел, швыряемых об асфальтовый пол.

Когда Ждановский очнулся в карцере, к нему зашел помощник и объявил:

— За то, что ты хотел наброситься на начальника, тебе назначено сто розог.

Всю ночь Ждановский пролежал на полу, словно прикованный к месту, не будучи в силах шевельнуться. На следующий день в карцер приходили многие помощники, в присутствии и ради присутствия которых старшие Калафут и Вozуля пытались ставить его на ноги, но, не добившись этого (Ждановский окончательно обессилел и падал, как скошенный сноп), били его по голове и лицу. Дня через два ему переменяли одежду, которая была вся в крови.

Почти все избитые объявили голодовку. Ждановский, Пимидт и Коротков в течение 17, а Карл Лукс в течение 18 суток не принимали еды, ограничиваясь только сырой водой. На седьмой день голодовки Ждановского похумертвого отнесли в больницу. Лишь 8-го августа он стал принимать пищу, после чего был переведен в одиночку и наказан 20 сутками светлого карцера. Своей угрозы — выпороть — Синайский в исполнение не привел.

Сербинову и Синайскому впервые пришлось столкнуться с такими смелыми и решительными арестантами. Поэтому они торопились хотя бы половину их сбыть куда-нибудь в другие центры. Беринштейна-Ионова и Билибина отправили в Москву (там Билибин сошел с ума, заболел к тому же чахоткой), бессрочно Цюму выслали, кажется, в Николаевский централ. Куда сбыли остальных — не знаю.

В числе же тех семерых, что остались у нас в Орле, был и Ждановский.

* * *

Но, должно быть, чаша горечи не была еще испита им до дна. Начальство пользовалось малейшим поводом, чтобы кольнуть и уязвить его. Не снял шапку при встрече с помощником, — две недели темного карцера; объясняясь с товарищем прокурора, попросил вежливого обращения (тов. прокурора обратился к нему на ты) — слова недоля карцера и т. д. и т. п. От этого наказания его не спасала даже болезнь: простреленное в ноябре пятого года во время восстания легкое и туберкулез. Тюремный врач Рыхлинский не только не снимал с него поз-

ных и ручных кандалов (как то сделал смоленский доктор еще в 1907 г.), но, зная, что Ждановский на плохом счету у начальства, даже не выписывал ему больничной пицци.

Истязание 21 июля 1912 г. было устроено Синайским; но в дальнейшем он вел себя относительно джентельменски: видит, что Ждановский не желает с ним разговаривать, и оставил его в покое, предоставляя своим подчиненным самим расправляться.

Зато сменивший Синайского новый начальник Александр Колченко никак не мог примириться с мыслью о том, что Ждановский, в котором едва душа держится, ведет себя так самостоятельно и смело. Он прямо возненавидел его за это, — должно быть в силу контраста с собственным душевным укладом, полным рабства и подхалимства по отношению к тем, кто по рангу стоит выше его.

Как-то Колченко грубо оскорбил Ждановского, и тот стал бойкотировать его. Это окончательно взорвало начальника. Без малейшего повода со стороны Ждановского, Колченко лишил его книг, переписки и свиданий.

Зайдя однажды к нему в одиночку и не получив ответа на свое «здорово», начальник на момент смутился. Тут он случайно увидал на железном столике чай и баранки. При Синайском Ждановский, как и остальные пилиссельбуржцы, лишен был выписки продуктов в течение первых трех месяцев; потом пользовался такими же в этом отношении правами, как и прочие каторжане.

— Как! — удивился Колченко: — Ждановский делает выписку?.. Лишится!.. Отобраты!.. Пусть сидит на одной баланде!.. — закричал он в раздражении.

Мать Ждановского, не выдавшая его много лет и напуганная долгим молчанием сына, приехала в Орел на свидание; но Колченко не разрешил ему этого...

К сказанному нужно прибавить, что, как и Шмидт, Коротков, Конун и Лукс, Ждановский целых полтора года — полтора года! — в виде протеста против казарменной муштры отказывался выходить на прогулку, — другими словами, круглые сутки он не оставлял своей одиночки, томясь в ней абсолютно без книг, а потом и без выписки продуктов...

И как после этого не удивляться, не преклоняться пред тихим и углубленным геройством полуживого Ждановского.

Сидя в такой ужасной обстановке, он настолько сохранил душевную бодрость и свежесть, что вплоть до последнего дня нелегально поддерживал сношения с другими каторжанами (даже из общего корпуса), участвовал в обсуждении хронически замышляемых планов

борьбы с печальством, викал во все мелочи арестантского житья-бытья,—и никоим образом не думал унывать. Даже хулиганы коридорные, вроде Сербуюлова,—лягавая, помогавшая надзирателям преследовать и избивать арестантов,—даже и те не могли не относиться к нему с невольным уважением и помогали передавать ему «ксивы» и т. п.

Здесь невольно напрашивается одна параллель.

Борис Ждановский, не требовавший от тюремной администрации ничего, кроме минимальной порядочности, подвергался таким преследованиям, а вот другой офицер и тоже бессрочный, только осужденный не за участие в освободительном движении, а за участие в корыстном убийстве родного отца, цеский Романов, пользовался у нас множеством льгот и поблажек. Мать его была важная гранд-дам с влиятельными связями, часто приезжала к нему на свидания, сам же Романов не только беспрекословно подчинялся орловскому режиму, но унижался и пресмыкался перед простыми надзирателями. Этого гвардейского офицера—дворянина и богача, который, несмотря на эти качества, вел себя так «примерно», начальство всегда ставило нам в образец. Впоследствии мать Романова, съездив в Петербург, выхлопотала ему — отцеубийце — высочайшую милость: замену бессрочной каторги 15 годами...

Эта параллель между положением двух бессрочных в одной и той же тюрьме, в одно и то же время любопытна во многих отношениях.

В конце 1913 г. Ждановского неожиданно взяли на этап, — его переводили в Херсонский централ.

По дороге, именно в Курской тюрьме, с ним чуть было не произошла новая «история». Помощник Зуев возмущился его требованием вежливого обращения и замахнулся на него. Ждановский тоже замахнулся. Тот выхватывает пистолет, но Ждановский, скрестив руки на груди и, как был в ножных и ручных кандалах, вплотную подступает к Зуеву и посмотрел ему прямо в глаза упорным и укоризненным взглядом. Это обескуражило молодого тюремщика, и в смущении он вложил пистолет в ножны. Однако, узнав об этом инциденте, начальник тюрьмы посадил Ждановского на семь суток в темную...

Как жилось Ждановскому в Херсонском центре — не знаю . . .

Сибарит и монах.

I.

— Ну, что, собрал вещи?.. Все у тебя в порядке? — спросил «отделенный», открывая обитую железом форточку.

Я уже знал, что означает этот вопрос. В нашем одиночном корпусе уже целую неделю толковали про новое правило, введенное новым тюремным инспектором Ефимовым. До него каторжане размещались в Вологодском центре как попало: раскованные с закованными, малосрочные с бессрочными. Публика, особенно из политиков, могла группироваться между собой, руководствуясь взаимным знакомством, общностью убеждений, настроений и т. п. Теперь же приходилось устраиваться так, жить вместе с тем, как и с кем укажет начальство.

Собрав скудные пожитки (тощий соломенный тюфяк с такой же подушкой, серое арестантское одеяло, пачку книг, чайник с кружкой и деревянной ложкой, да сумку с оставшейся от последней выписки провизией), я распрощался с обоими товарищами, с которыми в течение многих месяцев делил одиночную камеру, и, подобрав кандалы, пошел вслед за надзирателем.

— Стой!.. Сюды! — крикнул он, останавливаясь возле одной одиночки.

Заглянув предварительно в замок, помещающийся над дверной форточкой, он быстрым движением отпер висятый замок, всунул в дверную скважину огромный ключ и открыл тяжелую, с обеих сторон обитую железом дверь.

— Принимай гостя! — крикнул надзиратель, обращаясь к недоуменно остановившемуся посредине камеры полному, хорошо сложенному, с густыми усами и аккуратно подстриженной бородкой арестанту.

То был максималист Ланской. Поздоровавшись с ним, я принялся устраиваться.

Про Ланского я слышал еще раньше. Особенно много рассказывали про него политики, пришедшие из Петербурга. Я рад был, что

попал к «своему» человеку, да еще к такому бывалому и общительному. Подвижной и разговорчивый, Ланской легко сходилась с людьми, и мы часто проводили с ним долгие часы за разговорами и спорами.

Сын виднейшего народовольца, которого, кстати сказать, он впервые увидел, будучи уже взрослым юношей, бывший московский студент, подолгу проживавший во многих городах России и заграницы, великолепно знакомый с миром политических и литературных деятелей, неутомимый полемист, порою очень остроумный, арестант, ведущий оживленную переписку с волей, имеющий при себе кучу новейших книг и даже периодических журналов,—Ланской был для меня, уже 6-ой год отрезанного от воли, приятной находкой.

...Среди нашей политической братии мне часто попадались люди, особенности характера, привычки, практические действия которых не только не совпадают, но даже весьма резко расходятся с их официальным, так сказать, мпровозвзрением и формальными взглядами.

Насквозь пропитанный житейским материализмом, Ланской в то же время не долюблял марксистов за «материалистическое» обоснование ими этики и философии; крайний революционер, террорист и экспроприатор, он вместе с тем возмущался склонностью иных социалистов признавать в насилии главнейший фактор при разрешении социально-политических вопросов: максималист и сторонник бойкота даже второй Государственной Думы, он всеми своими вкусами, направлением своих интересов, своей ориентированностью в разного рода политических комбинациях, версиях и сплетнях—удивительно напоминал как раз светливого деятеля парламентского типа...

Я не знаю подробно, в какой именно обстановке Ланской провел детство и юность, но я редко встречал революционера, столь приверженного к мелочам материального комфорта. Он утопченный эпикуреец, гастроном, эстет, почитатель декадентских стихов, подурно поет томные романсы, знает вкус в женщинах и энергично носстает против стеснений, налагаемых моногамией...

— Ох, и не люблю же я революционеров из святых!—говаривал часто Ланской с проницески-презрительной улыбкой, имея в виду, так сказать, классический тип революционера — полусаскета, полунодвижника, человека сурово-прямолинейного и не поддающегося соблазнам мира сего.

На воле Ланской большое и серьезное внимание уделял своему туалету, одеваясь по последней моде, в дорожке материи, обращая внимание на цвет галстука, на запах духов и пр. Даже превратившись в каторжанина, он много волновался и огорчался по поводу таких мелочей, которые арестанту не с сибаритскими вкусами кажутся сущими

пустышками. Так, будучи закован в ножные кандалы, он ни за что не хочет носить вполне приспособленные, но грубоватые казенные подкандалышки и заказал на воле собственные подкандалышки из дорогой кожи с фланелевой подкладкой.

После приговора и до отправки в Вологодский централ Ланской долго сидел в Петербургской пересылке, с начальником которой, известным среди столичных арестантов капитаном Аракчеевым, он находился в очень хороших отношениях. Несмотря на крайне суровый и жестокий режим, Ланской сумел поставить себя в такое положение, что в отличие от остальных пользовался многими льготами и поблажками. Опасаясь, как бы его вместе с другими не перевели в какой-нибудь Орловский централ, Ланской пустил в ход связи на воле и выхлопотал себе перевод в Володу, славившуюся своим сравнительно мягким, до назначения Ефимова, режимом. Как человек с большим житейским опытом, Ланской запасся также письмом к нашему тюремному инспектору.

Ехал Ланской из Петербурга тоже далеко не так, как едут этаком «простые» арестанты. На вокзале его провожали знакомые дамы и барышни, поднесшие ему цветы, много сладостей и деликатесов. На руках у Ланского были наличные деньги, а так как конвойные попались теплые ребята, то в арестантском вагоне он устроил вместе с ними маленькое жертвоприношение с возлиянием в честь столь популярного среди христиан язычника Бахуса...

Зато в самой Вологде Ланского ждали разочарования. Начальника Татарова заменил грубый бурболя Воронец. По наущению инспектора Ефимова каторжан стали «исправлять» репрессиями, парочито-грубым обращением и надоедливо-желчным придирками.

В первую же ночь своего прибытия к нам Ланской крупно поссорился со старшим надзирателем, который обращался с ним с обычной бесцеремонностью, говорил ему «ты» и т. д.

Неуютная и неприветливая одиночка, неуклюжая арестантская одежда тоже не пришлись Ланскому по вкусу и частенько выводили его из себя.

— И что это за бушлат!.. — возмущался он, обращаясь ко мне. — Посмотрите-ка, как сидят на мне брюки!.. А этот грязный блин, разве он похож на шапку?.. Ну, ну, порядки, обстановка, нечего сказать!.. А это что? — продолжал он возмущаться, указывая жестом на кривитые к стене изогнутые и корявые, с полустертой краской листы железа, изображавшие нашу мебель. — Разве это стол?.. разве это скамейка?.. Чорт знает, что такое!..

Спитый не по нем бушлат особенно раздражал и расстраивал его. Впоследствии удалось передать его в портняжную мастерскую, где ему

придали более подходящий вид и подшили белую подкладку. Однако во время одного из заведений новым начальником поголовных висящих обысков помощник Янушевский сделал это открытие и в присутствии всех надзирателей и арестантов закричал на него и велел немедленно содрать подкладку, пригрозив темным карцером. Ланской вынужден был молча выслушать этот грубый выговор, да еще по такому поводу.

С нашей вологодской администрацией Ланской при всех своих стараниях не мог никак уявиться. Воевал он с ней то из-за желанья иметь собственную бритву, то из-за желанья остаться в одиночке, когда его хотели перевести в общую камеру, то из-за требования предоставить ему собственную, на свой счет и отдельно от других изготавливаемую пищу. Здесь не помогали ни его бесконечные переговоры с начальством, ни его ссылки на какое-то особенное толкование таких-то и таких-то пунктов тюремного устава (едва ли уместное вообще в устах крайнего отрицателя), ни его указания на одолевавшие его болезни желудка, сердца, нервов и пр. На последнюю тему он имел длинное объяснение также и с помощником начальника Главного Тюремного Управления Боровитиновым, когда тот приехал с ревизией по гораздо более важному делу: расследовать учиненную Ефимовым экзекуцию, во время которой выпорото было розгами около ста каторжан. Пустяковый эпикуреизм до того занял нашего революционера, что он даже упустил из виду неуместность подобных заявлений в то время, когда вся тюрьма еще находилась под свежим впечатлением только что пережитых ужасов.

* * *

Несмотря на свою, порой даже излишнюю и безалаберную доброту и отзывчивость, на всегдашнюю готовность помочь первому встречному, на общительный и веселый нрав, Ланской не пользовался популярностью среди арестантов, точнее говоря, он пользовался популярностью отрицательного свойства. Маломужал, хронически нуждающаяся и постоянно притесняемая администрацией масса ни за что не могла простить ему и того, что жилось ему легче, чем другим, и того, что его в Петербургской, например, пересыльной не только не донимали карцером и проч., но всячески выделяли и представляли разные льготы. Особенно раздражало нашу братию то, что Ланской, как партийная фигура — человек довольно крупный, отнесился к начальству не как арестант, т.-е. сухо-враждебно или холодно-нейтрально, а всегда пытался установить отношения, выходящие за пределы чисто официальных.

Арестанты руководствуются здесь каким-то особенным чутьем в своих отношениях к начальству; и если при строгом и стеснительном режиме кто-нибудь устранивается несколько лучше, чем остальные, то большинство неизменно клеймит его званием подлипалы и карьериста. И хотя в подобных случаях про нелюбимого сотоварища распространяется много вздору, а то и злобных выдумок, но в основе отрицательного отношения тюремной среды к отдельным отщепенцам лежит несомненно правильное понимание своих групповых интересов. Эти групповые интересы вполне основательно в данном случае противопоставляются интересам и намерениям тюремщиков, которые часто не прочь поухаживать за политиками из «благородных» и «образованных» и этим внести раскол в общую арестантскую массу.

Однако, Ланской при всей своей впечатлительности настолько забронирован был от словесных уколов раздраженного арестантского плебса, что не прочь был добиваться привилегированного для себя лично положения даже тогда, когда тюремный режим давил всех лютой суровостью и жестокими репрессиями.

* * *

Однажды *«засыпалась»* моя записка, тайком переданная на волю, и начальство решило меня изолировать. Ланского неожиданно увели и посадили в одиночку, где уже сидел каторжанин из студентов же. Впоследствии, как-то по случаю ремонта моей камеры, меня на время перевели к ним.

Богословский — как звали сожителя Ланского — был переведен в наш централ из Бутырок, где заключенных приводил в трепет капитан Дружинин, изверг, заведывавший каторжным отделением центральной Московской пересылки.

У Богословского большие способности к мастерству, вообще к ремесленным искусствам; из него вышел бы замечательнейший техник, а может быть, и изобретатель. Но доброжелательные родители (отец — крупный судейский чиновник), как водится, совершенно не считались с наклонностями сына и отдали его в Ярославский Демидовский лицей, готовя к карьере правительственного служаки. Зато, когда Богословский вышел из-под родительской опеки, он бросил Ярославский лицей и перешел на естественный факультет Петербургского университета.

О своем прошлом Богословский не любил много распространяться, а прошлое это довольно оригинально. Тут и папашничество в далекий монастырь, тут и ссылка в Сибирь по политическому делу, тут и работа простым рабочим на механическом заводе. На каторгу он осужден по

многим делам: тут и принадлежность к социал-демократической организации, и причастность к какой-то экспроприации, и участие в освобождении из тюрьмы товарищей...

Теперь мысли Богословского очень далеки от какой бы то ни было общественной деятельности, хотя ему и нравится считать себя *анархистом*. Как и у очень многих из разочарованных и отставших товарищей каторжан, несколько путанный и сумбурный анархизм Богословского является для него скорее бессознательно выработавшимся прикрытием для более ровного и безмятежного отступления от прежних позиций в лоно обывательщины. Ему как раз предстояло вскоре выйти на поселение в Сибирь, и он заранее решил отойти от всякой общественной и партийной работы.

Он—большой любитель пения—был одним из аккуратнейших церковных певчих. По праздникам он, считавший себя анархистом и атеистом, с большим чувством читал в церкви Апостола...

Вот к ним-то в камеру мне и пришлось на время приютиться. Любопытство, что Ланской, так любивший изысканную и элегантную обстановку, жил в этой камере настоящим нигилистом. Потому ли, что в тюрьме не было паямного человека, который следил бы за чистотой, или потому, что тоска и апатия его заела, но во всей обстановке жилища был удивительный беспорядок. Турецкий табак, винные ягоды, зубной порошок, какао, остатки пирога с грибами, мочалка в виде рукавицы и пр. и пр. наряду с книгами, журналами, вылепленными из хлеба шахматными фигурами,—все это смешано и разбросано, покрыто пылью и пылью. По вечно сырому деревянному полу ползают мокрицы, в одиночку ужасно накурено...

Посмотрел я на Ланского и Богословского. Сидят они со скучными, унылыми лицами. Так и кажется, что каждый из этих вчерашних героев не одобряет сегодня своего прошлого, приведшего на каторгу. Звезда, раньше светившая впереди, как будто померкла. Позади «былое», о котором уже надоело вспоминать, в настоящем холод разочарования, тоска, усталость...

Революция, рабочий класс, трудовое крестьянство, демократическая республика, социализм... Ну да, они про все это читали, они про все это знают, но знают как-то рассудочно, головой только. В их полуопустошенных душах не чувствуется теперь ничего такого, что поддерживало бы огонь энтузиазма и бодрости.

— Хорошо еще, что жили они в годы революции и принадлежали к самому оппозиционному и легко возбуждающемуся слою интеллигенции... А кем и чем они были бы теперь на воле?—приходило мне на ум, когда я вспоминал о доходивших к нам в тюрьму (это было осенью

1910 г.) известиях о всеобщем распаде революционной общественности, о бегстве интеллигенции из социалистических партий и т. д.

Что же в них своего собственного, ими самими выработанного, и что привнесено тут извне—революционной бурей пятого года и положением студента при царизме? — думал я, уходя от них обратно в свою одиночку...

II.

Всегда, когда я вспоминаю Ланского, предо мной встает образ другого политического каторжанина. Нила Зеленина.

Если наш жизнерадостный сибарит даже на революцию смотрит с *эпикурейской* точки зрения, видит в ней источник интересных и острых переживаний, то противоположный ему во всем Нил Зеленин придерживается самых суровых, почти монашеских принципов.

Проникнутый сознанием *долга*, Зеленин считает смертным грехом малейший уклон от него, а к подражанию в чем-нибудь аристократии или буржуазии относится не иначе, как с самым резким порицанием. Если Ланской изящен и ловок, умеет вести приятный разговор и занимает собеседника, особенно собеседницу, остроумиями и шутками, то у Зеленина манеры неуклюжие, речь резкая, говорит он безо всяких инвентов и рубит прямо с плеча.

Среднего роста, безбородый и безусый, с круглым лицом, голубыми с синевой глазами, в очках, всегда сосредоточенный и задумчивый, Зеленин удивительно напоминал наружностью строгого кат лического патера. Внешность у него некрасивая, но лицо и особенно глаза дышат умом, глубочайшей честностью и искренностью, а очертания рта и плотно сжатых губ говорят о сильной неукротимой воле и энергии. Как лишь немногие из политических, которых я лично встречал на каторге, Зеленин сотворен из той именно глины, из которой боги лепят героев.

Какова была его профессия на воле—я в точности не знаю; но знаю, что человек он в полном смысле слова интеллигентный. Правда, у него нет университетского диплома, он, кажется, не имеет даже и аттестата зрелости, но по способности к критическому мышлению, по умению ко всему подходить самостоятельно, во всем ориентироваться основательно, по своей общей осведомленности, особенно в вопросах общественных, Зеленин стоит выше многих патентованных интеллигентов, в большинстве случаев не выходящих за пределы узенькой специальности и предпочитающих во всем идти торными путями. Читал Зеленин не очень много, но зато много думал, и все, что видел и слышал, читал и изучал, усвоено глубоко и прочно.

Зеленин играл довольно видную роль среди рижских социал-демократов, припавшая к малочисленной, но весьма деятельной меньшевистской группе. На каторгу попал вот каким образом.

В 1906 году рижская жандармерия и прокуратура состряпали огромный политический процесс с главными обвиняемыми в лице старого партийного работника, талантливого рабочего ткача Татарчукова (Ст. Захарова) и фармацевта Л. Рубинштейна («Наполеона»). С помощью шпионов и предателей, при содействии знаменитого пыточного застенка, которым руководил высокопробный патриот, истинно-русский немец *Грегус*, следственные власти нахватали со всех сторон юношей и девиц и сплели в одно целое множество людей, не только никогда не знававших друг друга, но даже имевших между собою мало общего со стороны идейной и партийной. Тут были и обвиняемые в принадлежности к с.-д. (и меньшев. и большев.) партии, и лица, которых пытались уличить в похищении 20 тысяч патронов и разграблении оружия и т. д.

Председателем суда был пользовавшийся черной популярностью в Прибалтике и не в одной семье прокливаемый генерал Кошелев, жестокий и свирепый вешатель. Остальные судьи были податливы Кошелеву. В отношении некоторых лиц смертный приговор был, в сущности, предрешен. Чтоб добиться пересмотра своего дела при другом составе судей, наиболее серьезные обвиняемые приняли в соответственных дозах яд и заболели, так что волей-неволей пришлось отложить все дело. Цели своей подсудимые добились: новый суд был гораздо мягче, высший приговор, вынесенный им, был 15 лет каторги.

В числе «пришпленных» к этому делу лиц был и Зеленин. За одну только принадлежность к с.-д. партии ему дали 4 года каторги. Между прочим, одной из улик послужило то обстоятельство, что по сведениям охранного отделения Зеленин такого-то числа уехал за границу по партийному делу. Используя этот факт, следственная комиссия перепутала числа, что очень пригодилось Зеленину впоследствии.

Года через два после осуждения, когда он уже находился в Шлиссельбургской крепости, его неожиданно привлекли по старому делу о нападении на рижскую тюрьму, что имело место еще осенью 1905 г. Это было в высшей степени смелое предприятие.

Группа молодежи, вооруженной браунингами и маузерами, взяла приступом огромную тюрьму, которую охраняла внутри многочисленная стража, а снаружи конные казаки, круглые сутки гарцовавшие вокруг ограды. Преодолев все препятствия, перебравшись при помощи лестницы через высокую стену, нападавшие, все время стреляя, проникли в коридор, добрались до одиночных камер и принялись освобождать последовательных политических. Но оказалось, что они не знали одной

мелочи: как открываются двери одиночных камер. Замки там были так устроены, что прежде, чем повернуть ключ направо, нужно предварительно повернуть его налево, а затем уже открыть поворотом направо... Пришлось поспешно ретироваться. Пропылая себе отступлен.е, револьверными выстрелами они убили и ранили 5 человек надзирателей и казаков.

Из нападавших арестовано было два человека, судилось же шестеро. Во время допроса кто-то из них, как на одного из видных наиболее участников этого предприятия, указал на Зеленина. Приезжавшему в Шлиссельбург следователю Зеленин, конечно, отказался давать какие бы то ни было показания. Через три с лишним года после нападения Зеленина судили, предварительно доставив в Ригу. На суде Зеленин очень кстати сослался на тот самый пункт обвинения по своему первому делу, о котором мы говорили выше.

Оказалось, что день, в который было совершено нападение на тюрьму, совпадал с тем временем, когда Зеленин, согласно первому обвинительному акту, находился за границей. Разобраться во всем у суда не было возможности, и он на всякий случай приговорил Зеленина к двум годам крепости, — это вместо долгосрочной каторги, которой Зеленин ожидал по этому новому делу. Для каторжанина два года крепости равносильны были оправданию.

В конце 1906 года Зеленин был отправлен в Смоленский центр. ал. Когда там вспыхнул так-называемый «голый бунт» — около 400 человек сбросили с себя казенное белье, выбросили из камер одежду и одеяла, — требуя целого ряда улучшений и в виде протеста разгуливая по камерам в костюме Адама, — Зеленин принял в этой «истории» самое энергичное участие. Весьма удачное в создавшейся обстановке предложение ознаменовать годовщину девятого января однодневной голодовкой всех 400—500 каторжан исходило из его камеры и, по всей вероятности, обязано было его именно инициативе.

Голодовка эта, прошедшая с большим эффектом, водела начала начавшееся было падать настроение арестантов и произвела ошеломляющее впечатление на тюремную администрацию. В тот же день вышел первый номер педурно составленного арестантского журнала, по всей тюрьме громко раздавались революционные песни, в камерах произносились речи, а вачальство до того растерялось, что смотрело на все это через решетчатые двери. Полетели телеграммы в Петербург, и 11 января 1907 года шестерых «защитников» экстренно выслали из Смоленска в Шлиссельбург. Вскоре Смоленская тюрьма была объявлена на военном положении и отдана на усмирительное попечение Псковского тюремщика подполковника Черлениовского.

В числе других «неисправимых» в Шлиссельбург отправлен был и Зеленин.

Посадили его не к нам, прибывшим с первой партией и размещенным в двухэтажном одиночном корпусе, построенном в 1884 г. специально для народовольцев, а в маленькую одноэтажную тюрьму, с незапамятных времен стоявшую отдельно в другом дворике той же крепости. Туда же посадили еще десятка полтора политических, присланных главным образом из Петербурга. Условия сидения были очень скверные, настроение у вновь прибывших очень приподнятое, неудивительно, что в течение нескольких месяцев подряд у заключенных в этом «сарая» шла непрерывная борьба с начальником тюрьмы Зимбергом. Зеленину тоже пришлось участвовать в нескольких изнурительных голодовках.

В наказание за это, т. е. в наказание за то, что ценою своего здоровья Зеленин добивался улучшения тягостного режима, вежливого обращения и т. п.,—в наказание за это Зеленина долго не расковыливали, несмотря на то, что кандалный срок у него давно встек. Крупно поговорив об этом с начальником и дождавшись назначенного им начальнику дня, Зеленин вместе с латышом Авг. Скуя, разбил свои оковы, пивырку их под койку и демонстративно вышел на прогулку без кандалов.

Во всех столкновениях с тюремной администрацией Зеленин был главным застрельщиком и деятельным участником. Едва назревает какой-нибудь конфликт, смотришь—у Зеленина уже готов план выступления, намечены требования, а сам он, как боевой конь, услышавший звуки сигнальной трубы, вот-вот первый ринется в схватку с врагами.

Когда с легкой руки с.-д. офицера Бориса Ждановского у нас пошли разговоры относительно «*вязки*» или, как почему-то, по почину с.-р. Бор. Друганова, у нас окрестили план напасть, обезоружить и связать надзирателей и всем сразу убежать из крепости,—относительно «*скустики*» Зеленин был одним из главных сторонников этой самой «*скустики*». Больше того: вместе с Ждановским он брал на себя самые опасные роли, рассчитывая уйти из крепости последним. Правда, как показала последующая попытка Сперанского и Ароновича, задержанных во дворе крепости, когда они ночью, перерезав решетку, накиннулись на часового,—план уйти из Шлиссельбурга связан был с почти непреодолимыми трудностями.

Но для таких людей, как Зеленин, у которых избыток смелости и отваги часто парализует вообще свойственную им практичность и трезвость,—все это нипочем... Препятствия и затруднения только распаляют его энергию, только усиливают его готовность во что бы то ни стало преодолеть их. Ведь впереди свобода... Есть же из-за чего рисковать...

* * *

Весь смысл своей жизни Зеленин только и видит, что в служении рабочему движению, и именно—в рядах социал-демократии. Это исходная точка, альфа и омега, начало и конец всех его помыслов и пристрастий. Ему даже странным кажется, как это люди могут думать иначе, отдавать столь много времени и внимания лично-интимной жизни или мыслям о карьере. Не понимал он также и тех, кто мог с увлечением отдаваться отвлеченной науке, далекому от запросов современности искусству, или даже исследованиям и изобретениям, от которых пока что в первую голову выплывает буржуазия, дьявольская ненавидимая им буржуазия.

Все это потом... Когда не будет голодных и несчастных, тогда и садитесь за пир жизни, предавайтесь разным утехам... Сейчас же думы и действия всех честных, благородных, мыслящих, передовых и т. д. и т. п. людей должны быть направлены в одну сторону: на свержение господства сперва самодержавия, а потом и капиталистического строя и всего, что даже в отдаленной степени поддерживает и укрепляет это господство. Это и есть тот Карфаген, который первым делом должен быть разрушен... Вот этому-то делу Зеленин и посвятил всю свою жизнь.

«Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает» — любил повторять он слова древнего еврея, рожденного Марией в Вифлееме в дни царя Ирода...

Потребности у Зеленина крайне невзыскательны. Ему ни почем ходить в отрепьях (не то что отчаиваться от того, что арестантский бушлат спит не в талию), питаться селодками с черным хлебом, спать как попало. Материальные лишения и неудобства мало его трогают и волнуют.

«Где сокровище ваше, там и сердце ваше» — цитировал он и другое изречение Иисуса. И действительно, думать много о хлебной карьере и денежных преуспениях или даже расстраиваться из-за неудачной любви Зеленину было бы просто стыдно. Он заранее очертил себе круг деятельности, и про все, что выходит за пределы этого круга, он ничего не знает и знать не хочет. Зато все, что лежит в пределах этого круга, он видит ясно и отчетливо.

По своему душевному складу Зеленин человек монашеского типа, но только не пассивно-созерцательного, бегущего от жизни и боящегося грехов и соблазнов, а действенного и воинствующего.

Жить — для него значит: бороться. Везде и всюду он прямо ищет, на что бы напасть, на кого бы обрушиться. Устраивать протесты против тюремных порядков, организовать голодовки и общие заявления-жалобы,

собирать материалы для корреспонденций в партийные газеты, вести полемику и споры со всеми думающими иначе,—вот его стихия, пока он находится в тюрьме. Тут и глаза его загораются, тут и щеки его, обыкновенно, как у всех каторжан, бледно-серые, покрываются румянцем, и весь он становится как-то гибче, тоньше и даже грациознее...

Строгий принципиалист, не признающий никаких компромиссов, даже «меньшевизму» своему придавший какой-то особенный, сугубо-боевой характер,—Зеленин удивительно прямолинеен и односторонен. Но односторонен так, как *односторонняя магнитная стрелка*, говоря словами Гейне.

Магнитная стрелка его социалистического компаса помогает ему не застревать в дебрях мечтанств, указывает ему путь, дает направление всей его жизни, делает ее, хотя и узкой и ограниченной, но зато цельной и концентрированной.

В 1910 г. Зеленин кончил срок каторги и был сослан на поселение в Сибирь. Активная и деятельная натура, он не мог долго засидеться на одном месте, да еще в сибирской глуши, где агитировать, пропагандировать и организовывать можно было разве что белых медведей и крестьян-челдонов,—и тех и других с одинаковым успехом. Рискуя заработать новую каторгу, Зеленин бежал за границу.

Где он и что с ним теперь ¹⁾?

¹⁾ Весь этот очерк написан в Орловском центрахе 1912 г. Впоследствии я про Лавского и Зеленина узнал следующее:

1) Лавской из максималиста сделался правым с.-р., попал в Учредительное Собрание, был рашительным и активным прагом максималистских же тенденций большевизма. Потом ушел в кооперацию.

2) Зеленина я встретил в 1921 г. Из с.-д. меньшевика он обратился в рядного коммуниста и играл весьма видную роль в качестве политического работника при Рев. Воен. Совете 5-ой армии.

Попутчики.

Меня всегда занимала параллель между солнцем с его спутниками и тем влиянием, какое компактные общественные массы оказывают на отдельных представителей из других классов. Хотя притягательная сила солнца настолько велика, что подчиняет себе планеты, но ряд других влияний мешает им окончательно слиться с ним. Так и с революционными классами: центростремительное воздействие их на отдельных выходцев из другой среды, очень сильное в одно время и при одних обстоятельствах, сменяется центробежным в другое время и при других обстоятельствах. Эти выходцы из чуждой среды, случайно втянутые в революционное движение, и являются теми попутчиками, которые вызывают сравнение их с спутниками крупных небесных светил. В годы реакции многие из них отошли в сторону. Не мало их попало и на каторгу. Попытаюсь лабросать несколько сплзетов каторжан из этой категории.

I.

Железное сердце.

...На вид Волыщеву лет 28—29. Его большие черные глаза говорят о посомненном уме, а маленький, всегда влотно сжатый рот свидетельствует об энергичи и силе воли. К тому же он очень смел и отважен. Во время ареста его чуть было не застрелили, а он и глазом не моргнул. Точно так же и во время суда он вел себя бурно и протестующе, хотя не мог не понимать, что этим он только приближает себя к уже маячащему вдали эшафоту. Волыщев несколько угрюм, сосредоточен и замкнут. Жизнь он провел довольно разнообразную и пеструю, но рассказывать о себе, о своем прошлом он никогда не любил.

— Остану я изливаться... Амикошество разводить...— говаривал он.

И действительно, Волыщев всегда предпочитал одиночество. От этого человека с *железным сердцем* всегда веяло гордостью и холодом.

Когда он говорит что-нибудь, то не просто говорит, а многозначительно нарекает, и не просто доказывает, а величественно декретирует. Вообще, он редко в чем сомневается, колеблется. Уравновешенность Волынцева, его неспособность увлечься чем-нибудь до забвения—поразительны. Единственно, чему он еще предавался с азартом—это охоте: в молодости он на целые недели уходил от людей и один с собакой бродил по лесам и болотам.

Волынец совершенно лишен был сколько-нибудь повышенной впечатлительности. Слов, занимающих такое огромное место в жизни арестанта, он никогда не видел. Недоумевал он также, как это хмурое и серое небо, покрытое пылыми свинцовыми тучами, или мелкий и бесконечный, уныло крапывающий осенний дождик могут вызвать скверное, безотрадное настроение.

— Что за сантименты... — замечал он в таких случаях, проницательно улыбаясь углами своих тонких губ.

Биография Волынцева такова. Родом он из офицерской семьи. Учился в гимназии, из которой был исключен за посещение одного полу-самообразовательного, полу-революционного кружка гимназистов и реалистов. Некоторое время Волынец продолжал заниматься дома, намереваясь сдать экзамен на аттестат зрелости экстерном, но потом бросил всю эту нудную для него учебу и уехал к своему старшему брату студенту, сосланному в одну из северных губерний. Вернулся оттуда Волынец уже готовым марксистом.

Едва он вступил в организацию, как был прослежен, арестован и посажен в тюрьму. Вместе с целой группой интеллигентов и несколькими передовыми рабочими он был привлечен за принадлежность к комитету партии. Улик против них было мало, но жандармам и прокуратуре хотелось создать процесс покрупнее, так что охота за новыми обвиняемыми продолжалась усиленно. Это очень затягивало дело: больше года арестованные сидели в тюрьме в совершенной неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы. Чтоб поскорее выбраться оттуда, Волынец вместе с остальными объявил голодовку, требуя или полного освобождения или высылки. В ответ на голодовку остроумное начальство приказало перевести их..... в психиатрическую больницу. Директор лечоницы, Грейденберг, очень хороший врач, но очень плохой гражданин, не нашел в себе достаточно мужества, чтоб воспротивиться этой дикой выходке жандармов, за что и был заклеен в особой прокламации комитета партии. Протестанты, однако, продолжали вести свою линию и в результате добились-таки высылки в Архангельскую губернию.

В то жестокое и суровое время, когда Россией верховодили наиболее типичные представители полицейской государственности—Сипягин

и фон-Плеве, молодых людей, обвинявшихся в принадлежности к социалистическим организациям, карали простой высылкой, подчас даже не на далекий север, а куда-нибудь в провинцию. Зато, когда Россия, слава богу, обзавелась конституцией, за одну лишь принадлежность к партии стали приговаривать социалистов к каторге вплоть до 12-летнего срока.

Волынец сослан был на три года в захудалый городишко. Отдохнув после сидения в тюрьме, он, как это практиковалось тогда в широких размерах, задумал было бежать за границу. С риском вновь попасться, даже с большой опасностью для жизни (ему пришлось ночью в ненастную погоду переправиться на худенькой лодочке через бурную реку), он добрался до соседнего города, долго прятался в подполье одной избы и, наконец, заgrimированный, уехал на пароходе под самым носом искавших его жандармов.

Переход через границу для партийных работников был тогда обставлен недурно, и Волынец после многих приключений благополучно прибыл в Мекку тогдашних революционеров — в Женеву.

Не один русский революционер мечтал хоть раз побывать в этом центре эмиграции. Там можно было отдохнуть от российской действительности, использовать богатые хранилища партийной литературы, побывать на многочисленных рефератах и полемических турнирах, лично познакомиться с партийными вождями, наконец послушаться всяких историй в кавычках и без кавычек и т. д.

* * *

Подготовка среднего пропагандиста того времени (1901—1905 г.г.) была не особенно сложна. Нелегальные прокламации, заграничные брошюры, Богдановский «Краткий курс экономической науки», замечательная по своему плану и языку книга, на которой воспиталось целое поколение рядовой социалистической интеллигенции и рабочих, сочин. Липперта, известные книги Бельтова и Ильина, легальные марксистские журналы, — вот, приблизительно, схема книжного развития среднего с.-д. пропагандиста. По рукам еще ходили подробно разработанные рукописные и гектографированные программы для научных занятий, но за отсутствием необходимых пособий польза от таких руководств была весьма проблематична. Частые провалы на границе и в самой России, почти всегда хромавший распределительный аппарат делали то, что даже такие классические вещи, как «Эрфуртская Программа», Бебелева «Женщина и социализм», Буржевский сборник «За сто лет», книга Туна, произведения Степняка и т. п. распространялись в крайне ограниченном количестве, давались по очереди и зачитывались до дыр.

Самым главным источником, откуда тогдашний пропагандист черпал все свои познания в области не только программы, тактики, практики, но даже и теории, были журналы «Искра» и отчасти «Заря», основанные членами «Лиги Революционной Соц.-Демократии» в противовес экономистскому «Рабочему Делу», которое продолжало записывать с некоторыми вариациями позицию, старой «Рабочей Мысли». Политическое возбуждение, параставшее в стране с каждым днем, сыграло на руку «искровцам» и свело на-нет «экономистов». Статьи искровцев, блестящие талантом, едкие и остроумные, часто бесцеремонно задорные, уловили потребность момента и производили огромное впечатление на своих читателей. Авторитет их был о того силен, что, если в ком-нибудь и возникали какие-нибудь сомнения в пригдвостности того или иного пункта или пунктика, то он сам же считал себя еретиком и старался поскорее отделаться от взушений лукавого.

Об изучении, в особенности, о самостоятельном изучении солидных трудов по общественным вопросам (не говоря уже о вопросах более общих) для рядового и активного с.-д. не могло быть и речи. И это не только потому, что до 1905 года солидные труды Каутского, Меринга, Лиссагара и т. п. отсутствовали в русском переводе. Подпольный характер партийной работы, связанный с огромной тратой сил и энергии, постоянная необходимость быть на-чеку в виду систематической охоты на революционеров,—не давали возможности сосредоточиться на чем-нибудь основательном. Сплошь и рядом не хватало даже времени и подходящего настроения для внимательного просмотра сколько-нибудь объемистой брошюры по текущим вопросам. С того момента, как активный марксист переходил на положение партийного профессионала, его дальнейшее самообразование почти совершенно останавливалось. Поэтому оно звучало чистейшей правдой когда Плеханов, Богданов и Юнкевич, полемизируя между собой, единодушно журили подобных практиков за то, что они были дабы по части отвлеченной философии. До философии им тут, если они не всегда тверды бывали даже в вопросах социально-экономических и исторических.. Лишь попадая в тюрьму, «практик» мог кое-как наверстать пробелы в своих знаниях.

Вполне понятно, что знакомство с соответствующей литературой ограничивалось только изданиями той партии или фракции, к которой принадлежало данное лицо. Знак миться с произведениями чужой партии казалось чуть ли не предосудительным делом. Если не говорить об отдельных исключениях, то сколько-нибудь *сознательный выбор* в общем и целом не имел тогда места. Чаще всего присоединение к данной партии и фракции решалось смотря по тому, где и какая из них начала раньше работать, где и когда у нее было больше средств.

литературы, больше внешнего обаяния и притягательного авторитета. Правда, общие условия социально-политического развития России обеспечили приоритет за марксистами, по раз и однажды примкнув к какой-нибудь фракции, член ее уже в силу консерватизма психики и своеобразного партийного патриотизма крепко держался ее.

Наскоро набравшись кое-каких знаний, юные интеллигенты, вроде начинавшего свою партийную карьеру Волинцева, житейски неопытные, даже несколько незнакомые с условиями быта рабочего класса, получали в свое распоряжение несколько кружков из пролетарских верхов, — широкая, серая, забитая и малограмотная масса рабочих обыкновенно стояла тогда в стороне от непосредственного партийного воздействия. На собраниях, на «дискуссиях» и на «массовках» часто выносились резолюции, которые потом отсылались в центральные органы и изображали собою общественное мнение того самого пролетариата, предтатителями которого юные Волинцевы вполне искренно себя считали. Но это было самообольщение, не лишнее романтики. Послушные им рабочие руководствовались в лучшем случае классовым инстинктом и чутьем больше, чем ясным и отчетливым сознанием.

Я так подробно остановился на характеристике партийной интеллигенции того времени потому, что отмеченные черты ее весьма типичны для тех понутчиков, о которых у нас идет речь.

* * *

Как человек молодой и жаждущий активной деятельности, Волинцев не застрял надолго в Женева. Раздобыв «фальшивку», т. е. подложный паспорт, он уехал обратно в Россию.

В Москве, наряду с давнишней и крепкой организацией большевиков, налаживалась также работа немногочисленной, но действительной меньшевистской группы. Раздобыв связи с рабочими, обзаведясь собственной «техникой», группа очень энергично повела работу, больше конкурируя, впрочем, со старой организацией, чем мобилизуя новые кадры среди обширного (и до 1905 г. весьма мало затронутого влиянием социалистов) рабочего населения Москвы.

Работа в нелегальной организации обязательно и неминуемо связана с периодическими разгромами ее. Огромный штат специально пасобачившихся агентов только тем и занят был, что прослеживал и вылавливал членов партии. В Москве лучше, чем где бы то ни было, орудовало тогда охранное отделение, агенты его были настоящими виртуозами по части вынюхивания крамольной дичи. Если обыкновенно партийная группа держалась без перерыва год—полтора, то в Москве

злесты следовали один за другим, и компоты проваливались так быстро, что порою с большим трудом сохранялась приемственность.

Таким образом, был прослежен и Волюнцев. Его на долгое время водворили в Таганскую тюрьму, и лишь по манифесту 21 октября 1905 года он был освобожден. Но недолго пришлось ему погулять на воле. Уехав на юг и приняв руководящее участие в одном крупнейшем революционном предприятии, он был снова арестован, около года сидел до суда и получил бессрочную каторгу.

В тюрьме мне часто приходилось заходить к Волюнцеву в камеру. В одиночке у него всегда был страшный беспорядок, всюду грязь, пыль и даже паутина. Медную посуду он чистил только в двенадцатый праздник, так что она у него всегда была темно-зеленого цвета. Соли он почему-то никогда не употреблял, превратив солонку в черпильницу, в которой разводил химический карандаш, когда надо было писать на волю нелегальные письма.

Удивительно умение Волюнцева распорядиться собою и своими привычками. Он не прочь, что-то называется, хорошо пожить, знает толк в гастрономии и кейфе, но вместе с тем может необыкновенно легко, без хрипянья и гримас, перейти от дорогих сардин и балыков к трехкопеечной селедке и от шестирублевого табаку к 32-копеечной махорке. Точно так же он не обращал никакого внимания на то, например, что в Вологодском центральном ему приходилось спать на полу на тухляком соломенном мешке или же, находясь в Шлиссельбурге, он даже не торопился так приспособить свои кавдалы, чтобы они на ночь снимались с ног, как это почти мы все делаем тайком в одиночном корпусе.

Попав в самом начале 1907 г. в Шлиссельбург, Волюнцев уверил себя, что до революции не так уж далеко.

— Через год-два, — рассуждал он, — правительство снова окажется банкротом; низы, просвещенные пережитым опытом, восстанут еще грознее, и тогда....

— Но ведь может быть и иначе, — возражали ему: — возможно, что правительство приспособится к новым требованиям, предпочитая согнуться, чем быть сломанным. Возможно, что прелюдия к новой революции примет длительный, затяжной характер...

Волюнцев выслушивал такие возражения так же, как и всякие другие. т.-е. снисходительно презрительной улыбкой и уверенностью в своей непогрешимости.

Когда же выяснилось, что до новой революции и до амнистии действительно далеко, Волюнцев преспокойно, ничуть не расстраиваясь и видимо несколько не волнуясь, принялся за академическое изучение философии, которая в его положении бессрочного каторжанина, да еще

едящего в одиночку, могла служить ему наиболее отвлекающим средством. Едва напьется он чаю или проглотит последнюю ложку каши, как сейчас же будтых на койку и окружает себя толстейшими фоллиантами и лексиконами. Он изучал тогда французских материалистов, увлекался в то же время российским «махизмом». Любил он еще запоем читать романы, вроде изданий Монтепена, Понсон-дю-Террайля и прочей бульварной галиматии с головокружительными интригами и дюжиной замысловатых убийств и отравлений в каждой главе. Судьба героев и героинь его совершенно не трогала, убиваемых персонажей ему вовсе не было жаль, содержание всех перипетий он сейчас же забывал, но проглатывал он все эти романы массами, должно быть, отдыха и развлечения ради.

В отношении тюремной администрации Волынецов всегда избегал столкновений и, как человек равнодушный ко всему внешнему, готов был сжаться до последней степени, не обращая внимания на всякие притеснения и незаконности. Это, конечно, не мешало ему часто поддерживать выступления арестантов против начальства но интересовался он ими очень мало, и если примыкал к голодовкам и обструкциям, то как бы для того, чтобы поскорее отмахнуться, отделаться от них: пассивно присоединится к тому, что затевают другие, и снова погрузится в свои книги, в свой собственный замкнутый мир интересов и переживаний. Шумно и энергично зато Волынецов реагировал в том случае, если дело касалось лично его, особенно если его задевали «тыканьем», личными оскорблениями и т. п.

По своим партийным взглядам Волынецов был меньшевик, только крайне правого оттенка, один из тех, кто, гонимый за ближайшими и непосредственными результатами, *предпочитает сегодняшнее яйцо завтрашней курице*. Как социал-демократ, Волынецов, казалось бы, должен был демократом раг excellence. И если каждая идеология предполагает в своих носителях определенные психологические черты, целый круг специфических отношений к людям, то диктаторские замашки Волынецова, его начальственный тон и генеральские приемы в обращении с рабочими, с «товарищами-рабочими», как-то не очень гармонично с ультра-демократическими тенденциями меньшевизма. С «простыми» политическими, т. е. с каторжанами из рабочих и крестьян, он вообще не любил являться.

Однако, и это всего любопытнее, такое со стороны Волынецова высокомерие многим импонировало. До того в пных еще силен раб, что, будучи даже «сознательным», они все же не прочь уважать того, кто готов ногою пнуть в них. По крайней мере, тако о было отношение многих из наших каторжан к Волынецову. Чем высокомернее он к ним

отвоялся, чем больше равнодушие он проявлял к ним, тем больше они ценили, когда он повзначай улыбнется или заговорит с ними. Его никто не любил, во многие побаивались его и даже-то невольно уважали. Даже тюрьменные надзиратели выделяли его из общей массы. То, что он сын полковника, и в особенности этот самоуверенный тон и повелительные манеры вызывали в них почтительную робость.

Как-то во время ремонта его одиночки Волынец перенел комнату.

— Дайте, пожалуйста, табуретку, — говорю я надзирателю: — а то одному из нас не на чем сидеть.

— Да-а-дно, привезу... — ответил тот. Проходит минут пятнадцать, а табуретки нет. Волынец рассердился.

— Эх, вы, — говорит он мне — а еще бывалый человек... Разве так с людьми разговаривают?.. «Двадцать четыре!» кричит он на весь коридор своим привычным басом, называя номер моей одиночки. Подходит тот же надзиратель.

— Чего?

— Как, «чего!» — передразнивает его Волынец, «та-бу-ре-т-ку», чтоб немедленно здесь была!.. Двадцать раз вам говорить надо!..

— Счас, счас! — залепетал рыжеватый дядька, виновато мигая своими голубыми глазами и переминяясь на месте ногами, обутом в валенки, — сию минутою будить, сию минутою!..

И действительно, сейчас же принес табуретку.

Волынец редкий тип сухого и чертового эгоцентрика. То ли он природы он уж такой, или же качество это он выработал в себе путем долгой и сознательной мунитровки, но он умеет сразу и окончательно определять свое отношение к людям и событиям. Разумочный процесс сведен им к чрезвычайной экономии, так сказать, сжатости. Весь огромный, сложный и пестрый человеческий мир разделен Волынецким на три категории: в первую входит люди, имеющие для него значение *плюс*; вторая включает в себе тех, значение которых он определяет *минусом*; к третьей принадлежат люди, имеющие в его глазах значение *нуля*.

Члены *первой* категории, т.е. 99% всех окружающих, его совершенно не интересуют. Мимо них он проходит равнодушно, не находя в своей душе ни малейшего отзвука на их радости или грусти. Он даже не интересуется ими как типами, как людьми с своеобразными переживаниями и особенностями. Людей *второй* категории, которые в том или ином отношении приносят или могут принести ему вред, людей с *минусом*, он или набегает, или борется, воюет с ними, как со своими личными недругами, или как с врагами того дела, которому он служит. Наконец, члены *третьей* группы, т.е. ничтожествов

процент всех сочеловеков, Волынец удостаивает своим положительным вниманием, да и то лишь постольку, поскольку они в самом узком смысле полезны ему в данную минуту. Как только он взял от них то, что ему было нужно, он немедленно же, ни на минуту не задумываясь, переводит их в обширный разряд людей *первого*, т.-е. *нулевого* класса.

Центром мира, универсальным критерием, точкой зрения, с которой оценивается все и вся, конечно, является он, Сергей Волынец.

С Волынцевым я прожил несколько лет в одних и тех же тюрьмах, а некоторое время в одной с ним камере. Припоминая довольно яркие особенности его душевного склада, я неоднократно задавал себе вопрос:

— Что именно влекло его в ряды социалистов?

Его общественное положение—сын полковника, его воспитание, привычки и взгляды той среды, в которой он вырос—все это ведь мало располагало к переходу «на точку зрения революционного пролетариата». Побуждения альтруистического свойства, любовь к меньшему брату и т. п.—ему почти чужды. Мало напоминал он также и те богато одаренные натуры, которые стоят на несколько голов выше своей среды и настолько понимают дух времени и тенденции эпохи, настолько проникнуты благородным энтузиазмом, что из рядов привилегированных переходят на сторону угнетенных, лишенных прав.

Нет, если что и толкало Волынцева в сторону протеста, то это развал современной семьи, который порождает столь многих отщепенцев, это атмосфера Делянова-Боголеновской средней школы с ее чисто арестантским режимом, это свойственная молодежи жажда подвигов, страсть к молодечеству, стремление к риску и красной опасности... Наконец, если люди из поколения Волынцева вплотную подошли к революции и социализму, то этим мы обязаны отсутствию политических партий с радикально-буржуазными программами, обязаны реакционной политике наших правящих кругов.

Подобно тому, как Боголенов и Сипягин как бы сами зарядили браунинги Карповича и Балмашова, а фон-Плеве как бы сам начал своей полаткой бомбу Сазонова, так и нестерпимый гнет самодержавия толкал на путь революции и социализма тех, кто при иных условиях очень далеко стоял бы и от пролетариата и от его революции...

II.

Б о м б и с т.

Времениамя обстановка Шлиссельбургской одиночки действовала на меня удручающе. Эта могильная тишина, эти огромные крепостные стены, эта железная мебель, наковец, сознание своей заброшенности и оторванности—страшно угнетали. Особенно тоскливо проходили

звуча. В коридоре ни звука, и только протяжный ветер рвется и бьется об окна решетки и бушует в вытяжной трубе, напевая свои могильные мелодии, такие заунывные и скорбные. Сердце ноет. Хочется простора, жизни, действия, хочется любви и ласки, а тут... Эх, лучше не думать, не бередить свои раны... Подскакиваешь к окну, задираешь высоко голову, но там только беспроектная темень. Ляжешь на койку, и вдруг до твоего слуха донесется отдаленное эхо гудка с Ирпновского вокзала. Живое представляешь себе маленькую железнодорожную станцию, лица и жесты отъезжающих, обычную суету, прощальные объятия, поцелуи...

Эти вокзальные гудки еще больше усиливали тоску, еще больше подчеркивали несносность положения «шлиссельбуржца». Встревоженный и возбужденный воспоминаниями и сравнениями, начинаешь быстро-быстро ходить по маленькой одиночке, а звон собственных кандалов до боли режет ухо. Изнываешь от грусти. К горлу подкатывается какой-то комок, на глазах навертываются слезы.

— Не надо распускать себя, — торопливо уговариваешь самого себя... Ведь ты здесь не один... Да и десять лет не такой уж большой срок... Надо чем-нибудь заняться, рассеяться...

Чтоб разогнать эту удручающую скуку, я пригласил в сожители с.р. Дубосарова, присланного в Шлиссельбург из далекой Одессы. Мое приглашение он принял очень охотно; и до и после меня он сживал со многими из наших, кто бы об этом его ни попросил: будь-то малоразвитый рабочий Мазил, толстый и добродушный литейщик, пожелавший пройти с ним русскую грамматику, матрос Дорофеев, сдержанный и себе на уме мужичок, заинтересовавшийся алгеброй, или же свой брат — интеллигент, которому пришлось сидеть одному — Дубосаров никому не откажет: по мягкости своего характера он вообще не умел отказывать, кто бы и о чем его ни попросил.

Общительный характер Дубосарова сделал то, что вскоре мы с ним очень подружились.

Дубосаров выходец из полупомещичьей, получиновничьей семьи; старший брат у него офицер, сестра замужем за крупным чиновником, один дядя, с которым он рос вместе, врач, втянувшийся в обывательщину еще больше, чем Чеховский Ионич, а другой — богатый финансист, чуть ли не миллионер, бывший профессор, заменявший кафедру на прилавок биржи. Эти несколько посторонние подробности не безынтересны для характеристики пестроты тех общественных кругов, из которых выходят пьющие политические каторжане.

Еще с раннего детства Дубосаров склонен был к меланхолии и мечтательности. Шумные детские игры, буйное забиячество, физиче-

ское удайство—все это было чуждо его натуре. Любил он уединенные прогулки или взберется бывало на высокое дерево и оттуда, скрытый от всех густой листвой, целыми часами глядит себе в пространство, любясь причудливыми, капризно меняющимися формами облаков, и грустит, сам не зная отчего. Любимым его чтением были описания путешествий и таинственных приключений где-нибудь далеко-далеко от его родины с ее молдаванами и евреями, с ее мамалыгой и брынзой. Отсюда, между прочим, его страсть к этиографии, которой он и впоследствии интересовался более, чем всем другим.

Будучи студентом, он некоторое время увлекался учением Толстого, очень подходившим к его натуре—мягкой и податливой и в то же время чуткой к неправде. Вместе с тем он вел не то агитационные, не то общепросветительные занятия в рабочих кругах. Смутные и распылчатые, несколько сентиментальные социалистические симпатии были уже тогда ему не чужды.

Когда вспыхнули студенческие волнения, Дубосаров не остался в стороне от них. За участие в «беспорядках» сотни студентов были посланы в Сибирь и отданы в солдаты, как бы для дальнейшего отправления своей функции революционных бацал. Многие из приятелей Дубосарова полатились высылкой в Якутскую область, ему же удалось отделаться только исключением из института и отправки на родину. Некоторое время ему еще пришлось посидеть в одной маленькой тюрьмышке, начальник которой относился к подобным арестантам за панибрата и предоставлял им такие льготы, от которых патентованные тюремщики после-революционной формации пришли бы в ужас⁴⁾.

Пора было подумать о дальнейшей карьере. У Дубосарова еще в ранней молодости обнаружилась серьезная склонность к рисованию. Так как доступ в какое-нибудь другое учебное заведение был для него теперь закрыт и высшие судебные власти сами же мешали его возвращению в прежние сложнотно-началенные и патриархально-освященные условия, то ему не оставалось ничего другого, как уехать за границу.

Вплоть до 1904 г. Дубосаров стоял в стороне от революционных гарсей. В нем бурлили какие-то порывы, хотелось чего-то яркого и

⁴⁾ Впрочем, я знаю, как несомненный факт, что в 1906 г., в памятом 1906 году, в другой провинциальной тюрьме—в Петропавловске—социал-демократы с воли ходили в гости к своим арестованным товарищам и, поговорившись вдоволь, возвращались как ни в чем не бывало к себе домой. Когда стали носиться слухи о предстоящих в городе арестах, решено было спрятать партийный архив... в тюрьму...

крупного, но ничего особенно его не привлекало. Когда же началась злобно-благотворительная война с Японией, Дубосаров не находил себе места на чужбине.

— Как там на полях Манчжурии мои русские братья проливают свою кровь, а ты торчи здесь над изучением какого-то дорического и коринфского стиля...—волновался он. Легко возбуждающийся и увлекающийся, он чуть было не поехал на театр военных действий с намерением поступить в санитары.

Между тем война с Японией, предпринятая отчасти с целью отвлечь внимание «общества» и «народа» от внутренних неурядиц, с расчетом на то, что даже маленькая победа на берегу Ялу предупредит большую революцию на берегу Невы,—война эта вызвала небывалую смуту в самой России.

Внешние неудачи необычайно ярко вскрыли внутреннюю слабость старой России. С каждым месяцем атмосфера стала все больше насыщаться революционным электричеством, чувствовалось приближение революционной бури. Благодаря этому общественному подъему, чувства и симпатии Дубосарова направились в другую сторону, точнее, приняли более определенную окраску. Как и на большинство тогдашней передовой интеллигенции, решающее влияние на него оказали трагические события 9 января 1905 г. Расстрелы рабочих, шедших с иконами, хоругвями и царскими портретами нести облогодений своей доли; последовавшие затем политические и экономические забастовки, прокатившиеся по всей России; близость революции, настоящей революции, о которой столь долго мечтало несколько поколений русской интеллигенции—вызывали небывалый наплыв агитаторов и пропагандистов на учащуюся молодежь. Студенты, курсистки, даже гимназисты торопились поскорее отдать свой энтузиазм и, правда, очень скудные познания на службу социалистическим партиям.

Точно так же многие и многие юноши и девушки, учившиеся за границей, бросали занятия и устремлялись домой. В России—так казалось по ту сторону Вержболово—все горит пожаром восстания. Не сегодня-завтра начнут строить баррикады с развевающимися на них красными знаменами, о чем с таким увлечением читалось в описаниях западно-европейских революций. Ну, а затем уже недалеко до полной победы народа, до созыва Учредительного Собрания. Что власть от царских министров перейдет прямо и непосредственно к ставленникам из победивших революционеров, что неограниченное самодержавие без всяких промежуточных переходов сменится полным народоправством—в этом никто из левых революционеров не сомневался тогда.



В сущности, радикально настроенному молодому человеку того времени, если он жаждал активной деятельности, только и оставалось, что примкнуть к одной из двух социалистических партий, поделивших между собою всю (если не считать мало влиятельных тогда анархистов) революционную молодежь. Соц.-демократы всегда пользовались антипатией Дубосарова, — он и вступил в партию социалистов-революционеров. Сложные и запутанные вопросы теории и тактики его не особенно занимали. Дубосаров специализировался на изготовлении взрывчатых снарядов, вообще на террористической деятельности.

Из всех отраслей партийной работы деятельность эта дает наиболее сильные переживания и как бы сталкивает революционера непосредственно лицом к лицу с представителями правительственной власти. Самому террористу этот способ борьбы кажется наиболее решющим. Наряду с другими стимулами, в этом именно обстоятельстве и лежит причина того обаяния, какое террористическая деятельность оказывала на пылкую молодежь; даже многие социал-демократы не могли устоять против этого обаяния и явно или тайно восторгались работой террориста.

Партийная карьера Дубосарова пошла вперед очень быстро. Это, вероятно, объясняется не столько чрезмерной доверчивостью и неконспиративностью заграничных конспираторов (на какой почве и распала впоследствии азефовщина), сколько тем, что симпатичная наружность вся личность Дубосарова весьма располагали к себе. В Швейцарии он руководил своего рода курсами динамитного производства, а для дальнейшего усовершенствования в этом деле получил специальную командировку к македонским партизанам.

Когда боевая организация партии с.-р. решила обзавестись в столице солидной динамитной лабораторией, устройство и заведывание ею поручено было Дубосарову, и еще двум революционеркам. Приехав из Швейцарии в Петербург, обе дамы наняли на подходящей улице подходящую квартиру и поселились под видом вдовствующей барыни с горничной. Через некоторое время «барыня» велела дворнику вывесить объявление о сдаче комнаты «с отдельным ходом и мебелью», но всем приходившим нанимать отказывала под разными предлогами и уступила ее одному лишь молодому, претенциозно и с шиком одетому художнику. То был, конечно, сам Дубосаров.

В Петербург он приехал под чужим именем, снабженный адресами, паролями и деньгами. Лаборатория приступила к работе. К ней, между прочим, имел касательство и Е. Азеф, этот генерал от револю-

нии, в то же время агент от правительства. Впоследствии, когда выяснилось, какой плменно «дуалистической» системы придерживался этот деятель, Дубосаров склонен был приписать Азефу то обстоятельство, что лаборатория их очень скоро провалилась. Быть может, виноваты были сами лаборанты своей неосторожностью, а быть может, роль сыграл какой-нибудь непредвиденный случай, так или иначе, но однажды к ним неожиданно нагрянула полиция во главе с Статновским—видным охранником.

На квартире было много динамиту. Еще до этого они решили в случае обыска взорвать все на воздух, но в решительный момент пожалели остальных жильцов дома и не поднесли роковой спички, иначе бы от шпиков и полицейских остались только туговицы... Третья революционерка так ловко и артистически разыграла роль горничной, что одурачила полицию и выскользнула из дому. Этим она избавилась от долгосрочной каторги.

Делавшие обыск, очевидно, не знали заранее, что заклад их ожидает, и на радостях так засуетились, что забыли осмотреть карманы пальто, в котором Дубосаров отвезен был в охранное отделение—в пальто этом лежал заряженный браунинг. По дороге Дубосаров чуть было не воспользовался этим неожиданным обстоятельством. И, действительно, выстрелить в везшего его околоточного, вызвать суматоху, соскочить с пролетки и скрыться среди уличной толпы—не представляло особенной трудности, тем более, что Дубосаров был хорошо одет и навряд ли был бы задержан гуляющей публикой. Во всяком случае, все это лежало в пределах вероятности, и упустить такой шанс человеку, которого ожидает, если не виселица, то несомненная каторга, было бы просто грешно по отношению к самому себе и к тому делу, которому служил.

Но... но, ведь, выстрелить из браунинга значит ранить или убить околоточного. А вдруг у него семья есть... Кто же станет кормить тогда вдову и сирот... Да, наконец, какое *нравственное право* имеет он, Дубосаров, ради личного спасения посягать на жизнь ближнего... Пусть это будет околоточный, но, во-первых, он только маленький винтик огромной машины, которою управляют совсем другие, а во-вторых, ведь как-никак, полицейский этот *личность*... самоцель... Жертвовать же им, сделать его средством для достижения своей собственной сугубо эгоистической цели—это ведь... это просто безнравственно...

И вот, пока наш организатор динамитной лаборатории и косвенный участник политических убийств предавался возвышенным философским размышлениям и подводил под различные точки зрения замысливаемый им поступок, самоцельная личность, облаченная в мун-

для полицейского надзирателя, благополучно доставила его в охранное отделение, откуда после допроса другая самоцельная личность, только облаченная в мундир жандармского офицера, доставила Дубосарова в Петропавловскую крепость.



И без того нервный Дубосаров в первое время сильно волновался и расстраивался в обстановке Петропавловского каземата с его мятным безмолвием, абсолютным одиночеством и постоянным нахождением под чьим-нибудь бдительным надзором: даже в бане приходилось мыться в присутствии крепостного жандарма. Зато Дубосаров почувствовал себя совсем другим человеком, когда его из этого склепа перевели в Дом Предварительного Заключения, где тогда (1906 г.) жилось довольно свободно. Администрация относилась к политическим в общем предупредительно и даже заботливо, смотрела сквозь пальцы на многое такое, что впоследствии не только строго возбранялось, но и жестоко каралось. В частных разговорах с наиболее именитыми заключенными начальство частенько фрондировало против правительства. Зато потом, когда ветер переменялся, эти же самые либеральничавшие тюремщики порою политических розгами и как бы брани рвали за свое вольное и невольное фрондирование.

Зимой 1906 г. Дубосарова судили. Суд был не военный, а обыкновенный, но, несмотря на это, он получил 15 лет каторжных работ. Закованный в кандалы, Дубосаров и был доставлен в Шлиссельбург. Приятной наружностью, добротой и отзывчивостью, какой-то деликатной чуткостью, он сразу же завоевал общее расположение. Всегда готов был хлопотать, устраивать, содействовать—таких компесий у него бывало множество.

Дубосаров решил заняться языками, освежить свои научные познания, приняться за перевод капитального труда по истории культуры. Как и у всякого повника-хаторянина, были у него и многие другие проекты. Но, то ли у него уж характер такой, то ли сказывалось влияние тюрьмы, измочающей человека и делающей его вялым и безвольным, но Дубосаров никак не мог засесть за что-нибудь систематическое, требующее напряжения и сосредоточенности.

В этом отношении, как и во многом другом, он являлся совершенной противоположностью Волыцеву, который, например, заинтересовавшись французскими материалистами 18-го века, основательнейшим образом изучил французский язык, выписывал из Парижа десятки томов сочинений Гольбаха, Гельвеция, Дидро и др., знаменитую

энциклопедию и т. п. и все это проштудировал с такой исчерпывающей полнотой, которой позавидовал бы любой специалист-профессор.

Единственное, чему Дубосаров отдавался с охотой и упованием, это этнографии народов экзотических и далеких. И, действительно, в особенностях быта племен, обитающих на реке Амазонке и на острове Целебесе, или в положении якутов и гилияков, вогулов и камчадалов он разбирался гораздо лучше, чем в условиях быта русского пролетариата или еще более близкого его симпатиям — крестьянства.

Между тем стали сказываться последствия сидения в Шлиссельбургской одиночке: начало показывать в боку, заболела грудь, в мокроту появились злоеющие бакиллы. Здоровье Дубосарова, и до этого не особенно завидное, совсем расстроилось. Он осунулся, согнулся, пожелтел, облысел. Тюремный доктор Шапошников, человек любезный и разговорчивый, множество раз уверявший нас в своем сочувствии, хотя и угощал Дубосарова собственными папиросами и здоровался с ним арестантом, на руку¹⁾, но лечил он его весьма небрежно, даже из рук воп плохо.

Мать Дубосарова, которая из далекого теплого юга переселилась в холодный и сырой Петербург специально для того, чтобы один раз в месяц побывать в Шлиссельбурге на свидании с сыном и поглядеть на него через двойную проводочную сетку, когда узнала о болезни, привилась хлопотать о переводе сына в Сибирь в так-назыв. «вольную команду». Доктор, резолюция которого имела в данном случае решающее значение, дал об этом деле такое заключение, что ходатайство Дубосаровой осталось неудовлетворенным. Сам Дубосаров склонен был объяснить это тем, что доктор остался недоволен его матерью. И в самом деле, старушка совершила ужасную бестактность... Несмотря на свой многолетний житийский опыт, несмотря на знакомство с некоторыми особенностями нашего отечественного быта, она совсем позабыла о существовании одного *истинно-русского* смазочного средства, которое на *истинно-турецком* наречии называется башмаш... Она позабыла, что *интендантской* точки зрения на сей предмет придерживаются далеко не одни только служащие в интендантском ведомстве...

* * *

Случай с околоточным, когда Дубосаров не решился выстрелить в него по рассудочно-правственным соображениям, очень характерен для него, для всего его душевного облика.

¹⁾ Впрочем, этой привилегией пользовались у нас только патентованные интеллигенты. Мы же, политические каторжане из рабочих, не удостоивались от доктора такой высокой чести.

Обыкновенно революционера-социалиста, да еще прикосновенного к террору, представляешь себе человеком решительным, с твердой волей, готовым пожертвовать сегодняшним во имя завтрашнего, «ближнего» во имя «дальних». Твердое знание того, чего он хочет, и смелое отрицание всех устоев и божков старого мира—таковы обязательные качества такого революционера. Но не то мы находим в Дубосарове. Крайне неустойчивый, легко поддающийся первому впечатлению, с постоянным разладом между головой и сердцем; сознающий свою развоенность и не могущий побороть ее; страдающий от кропотливого искания в своей душе и как бы любующийся этим страданием—Дубосаров интересный образчик размагиченного человека.

... «Толкуют о негодности и гнилости текущего общественного строя, но если подумать, то он не так уж плох, как его малюют.— часто думал вслух Дубосаров, когда мы с ним заговаривали на такие темы...

— Вот нападают на анархистов, но, по правде сказать, в их построениях больше, куда больше простора для независимости личности... Лучше ли будет при социализме—это еще вопрос... Придет плетей и начнет тобой командовать, в душе копать...

— Восстают против религии. «Духовный опну», «мистицизм»,— говорят. Но кто может окончательно решить такие вопросы? Крутом все так таинственно и непонятно... Но что всего возмутительнее, это когда в атеисты суется наша матрешка. Подумаешь, тоже отрицатели нашлись!.. Для образованного человека это еще туда-сюда, но мушкет... Сидел бы и не рпался... ворчал частенько Дубосаров, которому не чужд был налет утонченного скептически-цинического аристократизма.

От толстовства перейти к бомбизму, быть партийным социалистом и симпатизировать индивидуалистическому анархизму, считать себя человеком неверующим и в то же время иметь склонность к мистицизму—во всем этом мало гармонии и монистичности. Что сказал бы тургеневский Евгений Базаров, пращур наших нигилистов, если бы услышал из уст своего потомка этакие речи...

Продуманных и твердо отчеканенных взглядов по социально-политическим вопросам у Дубосарова не имеется. Но зато, когда он вспоминает, что он ведь с.-р., то обстоятельство это дает ему право с презрением относиться ко всем, кто не с.-р. Марксистов он просто не выносит.

— Классовая борьба да классовая борьба... Пролетарская точка зрения, буржуазная точка зрения—больше от них и не услышишь... Носятся они со своим пролетариатом.

Уже один вид с.-д. брошюрки или газеты вызывал в Дубосарове раздражение и гримасу отвращения. По всей вероятности здесь не малую

роль сыграло также и его пребывание в Женеве в самый разгар обостренных отношений между с.-д. и с.-р., когда первые обзывали последних «социал-реакционерами» (за их аграрную программу), «революционными авантюристами» (за проповедь террора), настаивали, чтобы их не допускали на съезды Интернационала и т. д. и т. п. (см. ст. Плеханова и Ленина в «Искре»). В неодобрительном отношении к кому-либо к марксистам, конечно, нет ничего ужасного, но меня удивляло, с какими это издевательствами он, например, рассказывал о виденном им в Германии майском празднике, устроенном с.-д., маршируя и вышучивая речи рабочих и т. д. Все это было странно в устах социалиста.

Нужна была разлитая среди образованного русского общества ненависть к старым порядкам и полицейской опеке, давившей своим сапогом все несогласное с видами начальства, ненависть к гнету над свободой слова и печати, которой лишены были не только низы, но и верхи, что уравнивало последних с первыми; нужен был весь тот ряд условий, благодаря которым просто оппозиционное студенчество ощутилось в роли чуть ли не общероссийского авангарда в борьбе за политическую свободу; наконец, нужна была русско-японская война со всеми ее многочисленными и разносторонними последствиями, чтобы такой человек, как Дубосаров, бросил небесное искусство и обратился к земной революции, чтобы он занялся тем делом, за которое он получил каторгу.

Живя он не в эти годы, или будь он не россиянином, а, скажем, англичанином или американцем, он *ко всем социалистам* относился бы так, как относится к одним только социал-демократам, т. е. сухо, безразлично и с оттенком враждебности...

* * *

Такими вспоминаются мне эти два наиболее типичных представителя тех «*попутчиков*» пролетариата и крестьянства, которых мне приходилось встречать на каторге.

Арестантская вольница.

Моясею Фельдмару, товарищу и
другу—посвящаю.

Люди из народа с высоко развитым чувством собственного достоинства, наделенные сильной волей, беспокойным характером, если только они попадали на каторгу, не могли не выделяться там своим поведением. И действительно, в любом центре находится несколько таких протестантов-вольничков, людей организически не могущих идти на компромиссы. Их держат лишнее время в кандалах, за каждую мелочь сажают в темный карцер, порой и розгами порют, но это их не только не пагубит, но за редким исключением, даже несколько не устрашает. Скорее наоборот: чем больше их жмут и притесняют, тем неукротимее они становятся.

Мой сопроцессник, севастопольский матрос Николай Симоненко был одним из типичных представителей этой арестантской вольницы.

Как сейчас вижу его: лет ему было за тридцать. Высокого роста, худощавый с маленьким ртом и тонкими губами, на которых всегда играла умная, но вместе с тем и насмешливая улыбка. Большой любитель музыки, он играл на нескольких инструментах и знал множество песен и романсов. Сам он—слесарь, до поступления на военную службу работал в Николаеве на одном из тамошних машино-строительных заводов. Симоненко уже кончил военную службу и должен был вот-вот выйти в запас, но когда в ноябре 1905 г. начались волнения в Севастополе, он, будучи машинистом на миноносце, санилировал команду и вместе с ней примкнул к восстанию. Как и остальные повстанцы, он почти целый год находился в заключении в ожидании суда.

Собственно говоря, судебное дело было закончено гораздо раньше, но, в виду ожидавшегося нового восстания, с.-р.-кая боевая организация решила оттянуть начало суда, и с этой целью путем вооруженного нападения похитила почти все огромное дело о севастопольском восстании. Судебным властям пришлось снова восстановить прежние показания свидетелей. Дело снова затягивалось, ожидаемое восстание, которое должно было бы освободить всех арестованных по процессу

лейтенанта Шмидта — все не наступало. Разумеется, это не могло не нервировать подсудимых. И без этого бурное настроение недовольства, которое всех их охватило, вылилось в форму бойкота суда, как только началась судебная процедура, точнее — судебная комедия.

Среди горячих сторонников бойкота одним из первых был, разумеется, Симоненко. На суд он явился прямо из лазарета, в желтом больничном халате и в туфлях. Мало смущаясь присутствием в зале суда некоторых офицеров, Симоненко, громко отстаивая необходимость сейчас же покинуть судебное заседание.

— Докажем драконам, — говорил он с перекосенным от испависти лицом стоявшей вокруг него толпе подсудимых, — докажем драконам, что не признаем ихнего суда, что не верим в ихнее правосудие... Ведь, кто они такие, эти судьи?.. Ведь судьи эти и есть те самые враги, против которых мы восстали... Как же они могут быть судьями в своем собственном деле?!. Да пошли они все к... тут у Симоненко последовал целый каскад специфически матросской словесности.

Его краткие отчеканенные реплики, умное мефистофельское лицо, привлекательная упрощенность доводов — производили на слушателей не малое впечатление. Из двухсот с чем-то подсудимых человек 150 еще заранее решило бойкотировать суд. Это, конечно, не мешало последнему сделать свое дело. Матрос Циома, сапер Барышев и фармацевт Конторович были приговорены к расстрелу, а Симоненко в числе некоторых других — к бессрочной каторге.

Он, собственно, и не ждал другого к себе отношения, со стороны «драконов» — чисто матросское обозначение офицерства. То, что ожидало Симоненко впереди, еще больше закаляло его характер. А характер у него был взрывчатый, вулканический, и я право не знаю, что именно могло бы ввести его в какие-нибудь границы, выровнять и отшлифовать его. Разумеется, не тюрьме сделать это. Она только сделала из него озлобленного бессимпста, лишь придала его настроению еще более метительный оттенок.

У Симоненко было свое собственное, им самим вытопченное мировоззрение.

— Куда ни посмотрим — везде ложь и насилие, везде слабый и бедный терпит обиду, влечит существование, полное лишений... Мечется человечество из стороны в сторону, и нигде не видно просвета. Все прогнило, вся жизнь поставлена уродливо... Возьмите высшие классы: как все у них исковеркано. Живут они как паразиты, ищут все более новых и острых наслаждений, во всем у них лицемерие и ханжество, во всех их порядках и обычаях они рабы нездоровых страстей, нездоровой моды, глупого тщеславия...

А народ—бохван, дурак—народ во всем подражает им, смотрит на них, как на образец... копирует даже их костюмы. Даже у многих из тех, которые доросли до борьбы с ними, в основе лежит только чувство зависти, в них видна всегданняя готовность поменаться с буржуазными местами... А среди революционеров, особенно интеллигентов—так их и так... мало ли таких, которые — демократы, пока их самих имеют, и социалисты, пока сами они ничего не имеют!..

К подобным формулам почти всегда сводились речи Симоненко. Интеллигентов, особенно марксистов (даже тогдашних большевиков). Симоненко очень не одобрял: лишь отчасти это можно объяснить неудачей севастьяпольского восстания, которым руководила именно социемократическая организация: в недоверии и ненависти Симоненко к интеллигенции сказывались черты, характерные для всей арестантской вольницы, гордой своим плебейским происхождением.

Вообще же, Симоненко пессимист и отрицатель. Он искал людей цельных, выдержанных, у которых слово и дело *никогда* не расходились бы между собой, искал людей стойких и последовательных, даже *в мелочах*, больше того — *именно в мелочах*. Но такие не очень-то часто встречаются в наше время, когда преобладают люди, признающие вполне искренно одно, а делающие и в силу тысячи нестро переплетающихся условий и влияний не могущие не делать другого.

— ... Но всем, что есть безобразного в жизни, — часто доказывал Симоненко, — виноваты один только буржуи, так их и так... Это они запоганили, все исковеркали, всех, даже рабочих, мужиков, интеллигенцию, заразили идом своих стремлений и вкусов... Всех, кто теперь задает тон, командует, приказывает—истребить надо... Не только отнять от них власть и силу — это что: пустяки... Херовина... Нет их самих надо изъять из списка живых... Истребить их надо с лица земли, выколоть с корнем... *Надо пройтись полосой по старому миру...* Перебить надо и помещиков, и фабрикантов, и крупных чиновников, и представителей небесных канцелярий, долгогривых обманщиков, так и так их... перетал их... Выколоть надо все, что пахнет аристократией и эксплуатацией, в том числе и тех интеллигентов, которые продают свой талант и знания угнетателям, потакают своим блудным языком власти имущим... Все это должно быть перебито и перестреляно... *Надо пройтись полосой, полосой...*

Я не знаю, что стал бы делать Симоненко, если бы из тюрьмы, озлобляющей человека, его сразу выпустили бы на волю и поставили бы в свосную обстановку. Вполне возможно, что от всей этой желчной и кровавой словесности и следа не осталось бы, так как, в сущности,

в глубине глубин своей души он большой добряк. Но тюрьма, бессрочная каторга только питали в нем хроническое раздражение...

Всегда и во всем самостоятельный, выше всего ценящий свободу, он решительно не выносил никакого гнета. Малейшее, хотя бы и отдаленное, посягательство на его личное достоинство выводило его из себя.

И вот, такой-то человек попадает в каторгу, где все регламентировано и специально рассчитано на подавление самостоятельности, где проявление своей личности считается преступлением и карается карцером и розгами.



В Севастопольском морском арестном доме (где мы, группа штатских вместе с матросами и солдатами, находились до отправки на этап) жилось нам довольно недурно. Пища была обычная матросская, свидания неограниченные, отношение надзора чуть ли не товарищеское. Хотя заведывающий арестным домом был известный в Севастополе самодур, капитан Гулидов, но большинство надзирателей были из матросов же, среди которых часто попадались совсем свои люди, главным образом из сочувствующих соц.-революционерам.

Из Севастополя всех нас выслали в Смоленскую каторжную тюрьму. Правда, относительно говоря, в сравнении с тем, что творилось в каторжных тюрьмах после роспуска второй Государственной Думы, в Смоленской тюрьме того времени (конец 1906 г.) режим был мягкий. Отвратительны были только: пища и белье. Но и время, и свежее еще настроение арестантов сделали то, что и в Смоленске вспыхнул *«Голый бунт»*.

Симоненко и положил начало этому бунту: его камера первая отказалась принять казенное белье, а вслед за ней человек 400 сделало то же самое. Предъявлял ряд требований, и до их удовлетворения все мы разгуливали по камерам почти голыми. После приезда в Смоленск усмирителя *Черлениовского*, Симоненко в числе других был выслан на исправление в Шлиссельбургскую крепость.

Начальником тюрьмы был в это время эстонец Зимберг, своей личной энергией, деловитостью и услужливостью выбившийся из скромных писарей в начальники перворазрядного централа. Это был типичный карьерист, наделенный замечательным нюхом. Ему не нужно было давать свыше буквальных, точно регламентированных указаний. Своим чутьем он сам улавливал, что именно в данное время угодно будет его хозяевам.

Но своим пребыванием в Шлиссельбург Симоненко порядочно «волянила», но Зимберг его не трогал и не принимал относительно его никаких репрессий. Точно также и в отношении всех нас остальных Зимберг держался довольно корректно. Но вот вторгал Государственная Дума была распущена, черная сила подняла еще выше свою голову, режим в тюрьме стал заметно ухудшаться.

Убитого с.-р-кой Рагозинниковой начальника Главного Тюремного Управления Максимовского, сравнительно мягкого и безлобивитого человека, заменил известный по своей прошлой и будущей деятельности *Иурлов*. Из чиновных сфер подул другой ветер, и Зимберг сразу же сообразил, что высшее тюремное начальство ничего бы не имело против какой-нибудь «тюремной истории».

Зимберг воспользовался пустынным инцидентом и за пение на прогулке «Марсельезы» посадил на карцерное положение всех находившихся тогда в одиночном корпусе. Затем он выхватил из нашей среды шесть человек «воляничков» и перевел их в тогда еще пустой общий корпус, так-называемый «зверинец» (переднюю стенку там закрывала сплошным во всю длину коридора железная решетка — отсюда и название корпуса). В числе этой шестерки был и Симоненко вместе со своим неразлучным спутником, тоже севастопольским матросом, здоровым кочегаром Антоном Конуп.

Отрезанные от нас и предоставленные самим себе шестеро каторжан имели ряд столкновений с начальником: не обошлось и без применения розог, правда не в отношении Симоненко.

Симоненко, и без того ненавидевший Зимберга, объявил ему решительный бойкот. Он к нему ни с чем и ни за чем не обращался, не отвечал на его вопросы, не вставал, когда тот входил в камеру, даже накрывал бушлатом голову, когда Зимберг хотя бы издали проходил мимо. Больше того: чтобы подчеркнуть презрение к начальству, Симоненко отказывался принимать что-либо из конторы, не подписывал денежных повесток, присылавшихся на его имя с воли, вообще всячески демонстрировал свое отношение к разным уставам и порядкам.

Начался голодовка: Зимберг морил его карцером, но Симоненко и не думал сдаваться. Как раз наоборот, каждая репрессия со стороны начальника только распаляла его мятежный дух. Так и завелось уже, что, едва отбыв месячный карцер, Симоненко через несколько дней опять попадал в темную. В общей камере Зимберг не решался держать его, перевести же его обратно в одиночку он тоже не соглашался, хотя и обещал одному из наших, с.-р. Кругликову, взявшемуся устроить это путем дипломатических переговоров.

В промежутки между сидениями в карцерах Симоненко содержался в особом изоляторе, маленькой комнатке при тюремной больнице; дверей там не было, и круглые сутки Симоненко был на виду у надзирателей.

Карцера скоро истощили его здоровье, и доктору Шапошникову приходилось волей-неволей часто переводить его в больницу. Симоненко до того ослабел, что едва держался на ногах, и только на его тонких губах попрежнему змеялась злобная улыбка, а черные глаза попрежнему сверкали глубокой несправедливостью и решимостью не сдаваться. Задетый за живое, Зимберг прилагал все усилия, чтобы сломить этого твердого, как камень, бессрочника. Тут столкнулись два самолюбия. Между начальником и арестантом пошла открытая борьба со взаимными уколами и подвохами.

Однако, сдаться пришлось именно начальнику. В то самое время, как Зимберг во словах обещал перевести Симоненко обратно в одиночный корпус, он отнесся в Главное Тюремное Управление с настойчивой просьбой убрать от него этого неукротимого и неисправного каторжанина.

* * *

В мае 1909 года Симоненко прибыл в Орел. Знали же руководители тюремного ведомства куда перевести его!

При приеме присутствовал старший помощник Батурин. Прочитав отзыв о его поведении, он сказал:

— У нас так: месяцев шесть посидишь в камере, потом пойдешь в больницу, ну, а оттуда прямая дорога на Троицкое... на кладбище т.-е.

— Ну, это еще посмотрим!..—ответил ему Симоненко.

На следующий же день к нему, как важному арестанту, пришел сам начальник Мацеевич, почти никогда не посещавший заключенных.

— Ты розги получал когда-нибудь?—спросил он без дальних предисловий.

— Нет...

И действительно, как ни сильно было искушение, но Зимберг, должно быть, боялся затронуть честь Симоненко, отлично понимая, что подобное издевательство тот не оставит без чрезвычайного, из ряда вон выходящего, протеста.

— Так знай же,—говорит ему Мацеевич,—что у меня ты, мало-мало, сто палок получишь...

Но, должно быть, даже самые бессердечные самодуры, ни во что не ставящие чувства другого человека, порою способны проникнуться тайным уважением к людям стойким и выдержанным. Действительно,

в то время, как кругом в Орловском центре творились невероятные безобразия, лично к Симоненко администрация относилась довольно снисходительно, а однажды Матеевич, зайдя к нему в одиночку и пораженный его болезненным видом, приказал даже перевести его на время в больницу (обыкновенно же доктор Рыхлинский переводил в больницу только таких, которым вот-вот предстоит умереть).

Весною 1911 г. Матеевича сменил Михаил Синайский, бывший до того начальником Владимирской каторжной тюрьмы.

Арестанты с дикорадочным интересом ждали каких-нибудь перемен к лучшему, по своей наивности усматривая в факте смены начальников неодобрение прежнего режима со стороны Главного Тюремного Управления. Особенно волновались бессрочные. Они стали между собой поговаривать о необходимости предпринять что-нибудь и добиться отмены хотя бы наиболее бессмысленных жестокостей и наиболее оскорбительных приемов исправления арестантов.

Симоненко решил взять на себя инициативу. Это было как раз в первый день Пасхи. Вопреки строжайшему запрету, он, выйдя на прогулку, стал громко разговаривать с товарищем, с которым ходил рядом. Старший надзиратель Загородный приказал ему замолчать, но он не послушался. На этот раз дело кончилось ничем. На следующий день Симоненко отказался принять пашк хлеба, плохо испеченного, сырого, да еще с примесью мелкого песка. Нужно сказать, что у Симоненко был давнишний катар желудка, и еще в Шлиссельбурге он поевал с доктором Нейманом из-за белого хлеба и больничной пищи.

Прибегает к нему старший помощник Батурин и, прочитав нотацию, многозначительно прибавляет:

— Смотри, Симоненко, плохо же тебе будет...

— Хуже худшего не бывает, — ответил тот. — Ну, нескольких убьете, и я буду первым из них... Вот что: я желаю видеть самого начальника...

Вместо Синайского к нему пришел другой помощник, Комаров, человек, заеденный канцелярщиной, с сердитым и неводержанным на язык. Начал он с довольно дружеских уговариваний «не волноваться», но потом, войдя в свою настоящую роль, разразился грубой бранью. Симоненко, сперва отделивавшийся молчанием, под конец не выдержал и тоже ответил ему резкостями.

В сущности говоря, в этих резкостях ничего особенного не было, но для его высокоблагородия (так у нас называлось всякое тюремное начальство, стоящее выше надзирателя) — привыкшего к чрезвычайному раболепству и колуйской угодливости, обыкновенная человеческая речь негодующего Симоненко должна была показаться сугубо оскорбительной.

После этого объяснения с Комаровым Симоненко не позволил гулять вместе с другими бессрочными. Выйдя на прогулку, Симоненко отказался маршировать под команду: *раз... два... три... четыре... левой... правой...*, а также не хотел гулять именно по кругу, словно лошадь на корде. Возмущенный таким нарушением субординации, старший надзиратель Кукулицкий крикнул ему:

— Ты что себе позволяешь?! Копчай прогулку...

— Мне полагается гулять 15 минут,—возразил ему Симоненко,—отгуляю их и сам уйду.

— Смотри у меня, так и так твою мать... выругался надзиратель, пригрозив браунингом.

— Ну что ж, валяй, стреляй... Что, храбрости не хватает?—ответил ему, смеясь, Симоненко, продолжая прогулку.

Надзиратель Кукулицкий побежал с рапортом в контору, а через полчаса Симоненко неожиданно отводят из одиночки в пустую баню. Там уже находились начальник Синайский, все его помощники и целая куча надзирателей. Сивайский объявляет ему:

— За дерзкое обращение с помощником и за отказ подчиниться требованию отделенного ты получишь сто розог... Если же сейчас вот в присутствии всех дашь мне честное слово, что впредь будешь всему подчиняться, то я тебе прощаю...

— Это неправда, будто я говорил дерзости помощнику,—возразил Симоненко.—Наоборот, он первый начал говорить грубости. Что же касается подчинения, то согласен подчиниться, поскольку это не будет унижением для моего человеческого достоинства...

— Ага! Ты вот как!.. у тебя еще есть «человеческое достоинство»,—крикнул рассвирепевший Синайский.—Снимай штаны!..

— Это дело рук палачей...—ответил Симоненко.

По приказанию начальника несколько надзирателей набросились на него, раздел, схватили за голову и за ноги и стали пороть розгами. До шестидесяти ударов Симоненко еще мог насчитать, но потом потерял сознание. После экзекуции его на руках отнесли из бани назад в одиночку и бросили, как он был, полурасдетый, на асфальтовый пол. В таком полубессознательном состоянии он пролежал три суток. Потом его подняли и положили на койку.

Нужно знать Симоненко, чтобы понять, как потрясло его это наказание. От первого потрясения он схватил паралич левой руки и ноги, а также паралич языка. Около месяца он не мог выговорить ни слова. Впоследствии речь к нему вернулась, но с парализованной рукой и ногой он так и остался навсегда.

* * *

Придя в себя, Симоненко, как он это практиковал уже в Шлиссельбурге, объявил решительный бойкот всем и вся. Он не только не подчинялся разным холуйским установлениям, но даже отказывался принимать лекарства. Так вел он себя до самого конца 1912 года.

Находясь одно время в тюремной больнице и наблюдая отвратительные и прямо невероятные для больницы порядки, Симоненко в виде протеста объявил голодовку. За это его перенесли обратно и посадили в 48 камеру. К нему приставлен был особый арестант, который за ним ухаживал, сам он круглые сутки лежал на койке без движения.

Наи «старший» Калофут нарочно приставлял к нему для ухаживания или инородцев, ни слова не знающих по-русски, или же таких негодяев из числа русских каторжан, которые, чтоб отличиться и выслужиться, донимали несчастного Симоненко мелкими шпильками, глумясь над его бессилием.

Синайского сменил Колченко — вполне достойный его преемник. Положение Симоненко несколько не улучшалось. Последняя надежда (получение скидки по манифесту 21 февраля 1913 г. и перспектива всякого рода перемен) — тоже рухнула.

Что ожидало его впереди?

Инвалид... бессрочник... расслабленный и физически и душевно... В прошлом — оскорбления, бесконечные темные карцера, розги, — эти проклятые, вливающиеся в тело и оставляющие занозы в душе, раны... Разочаровавшийся в возможности получить свободу «сверху» и потерявший надежду получить ее «снизу», — на что ему было рассчитывать?.. Чем, кроме постылого и беспроектного презабвения, может пагубить его ближайшее будущее!..

Единственную свою избавительницу Симоненко видел в смерти. Он решил умерить себя голодом.

В первые дни на него, разумеется, не обращали ни малейшего внимания: не прикасают еды, ну и пусть. Еще в 1907 г., при Курлове, Главное Тюремное Управление специальным циркуляром вменило в обязанность администрации игнорировать подобные случаи.

Однако, когда Колченко и доктор Рыхлинский убедились, что Симоненко затеивает что-то серьезное, они распорядились перенести его в больницу. Его стали кормить искусственно, но пока силы позволяли, Симоненко оказывал сопротивление.

... Это было осенью 1913 г. Помню, был мокрый и холодный день. Свинцовые тучи, такие унылые и скучные, тяжело носились по небу. Вскоре стал накрапывать мелкий, противный, надоедливый дождь.

Капли ударялись об окно больничной камеры и стекали на карниз холодными струйками. На дворе образовалась противная слякоть. Поднявшийся ветер, тоже такой унылый и однообразный, наводил на всех тоску и беспредельную скуку. Так и хотелось во что-нибудь зарыться и уснуть, уснуть надолго, надолго.

Симоненко лежал на койке и бился в предсмертных судорогах. Тело его, такое же бунтарское и мятежное, долго сопротивлялось натиску смерти. Но судьба его была предрешена.

Через несколько минут зашедший погреться надзиратель, недовольный тем, что приходится в такое ненастье бегать в контору, ворча и бранясь, набросал на себя шинель и пошел заказывать еще один гроб...

... Наиболее яркий представитель нашей *арестантской* полиции, наконец, успокоился, успокоился навеки...

Анархисты.

Я хочу рассказать о встречах с некоторыми каторжанами-анархистами прошлого десятилетия. Тема эта интересна хотя бы уже по одному тому, что в мировоззрении радикальной интеллигенции того времени специфически анархистские настроения и построения занимали далеко не последнее место, и отражения их в прямом или завуалированном виде можно было проследить и в практике наших социалистических партий.

В дальнейшем нам придется иметь дело главным образом с последователями того анархистского течения, которое называется *«безначалом»*. Поэтому я считаю не лишним предпослать моим воспоминаниям нечто вроде маленького введения. Оно, быть может, послужит фоном, на котором яснее выступят черты, свойственные течениям нашего черна.

... *Никаких начал!*—таков основной символ разбираемого нашего учения. Никаких принудительных институтов и норм. Так как *человек сам по себе* добр и гуманен, то все должно основываться исключительно на сознании и чувстве данного члена общины. Всякая ссылка на авторитет преступна. Какое бы то ни было вмешательство чуждой диктующей воли, даже давление общественного мнения самой коммуны, есть уже нарушение суверенных прав суверенной личности. Никаких регламентов и установлений! Никакого подчинения меньшинства большинству!

О безусловно отрицательном отношении «безначалия» ко всем формам государственности, хотя бы и ультра-демократическим, и какой бы то ни было политической действительности,—и говорить нечего. Максимумом требований доведен здесь до абсолютного предела: никакой, даже самой ускоренной, эволюции,—ни каких, даже самых последовательных, переходов от старого к новому. Один решительный акт—и все...

Отчасти поэтому «безначалие» и отвергает все профессиональное рабочее движение, как рассчитанное на ряд длительных и постепенных завоеваний. Профессиональное движение побуждает рабочего добиваться

мелочных улучшений, заражает его оппортунизмом и вовсе не выводит его по *ту сторону* современного общества. Все это надо оставить. Необходим самый решительный и беспощадный террор, а если уже устранивать экономические забастовки, то только буйные, с уничтожением фабричных зданий, ограблением съестных припасов, убийствами хозяев и их приспешников.

К тому же профессиональное движение мобилизует главным образом квалифицированных мастеровых, оставляя в стороне целые кадры lumpen-пролетариата. Если первые склонны к примиренчеству и по-степенности, то вторые, боссы, свободны от всяких обязательств и потому легче всего могут стать носителями идеи социальной революции.

Такова в самых общих чертах эта идеология *интеллигентской богемы* и *боссов* команды,—двух групп, мало связанных с производственными классами, много страдающих от безработицы и необеспеченности, распыленных и озабоченных, неспособных к организации и самодисциплине.

Последующие приверженцы безначалия, действовавшие в атмосфере российской контр-революции, столь способствовавшей преобладанию антиколлективистических и стихийных тенденций над общественными, еще больше усугубили эту особенность «безначалия»: приверженность к деклассированным lumpen-пролетариям.

В отличие от так-наз. «чернознаменцев» — они явно проповедывали, что «настоящий» анархист *не должен участвовать в производстве продуктов*, не должен своим трудом на фабрике и в мастерской создавать силу и укреплять позицию той самой буржуазии, которая подает ведь беспощадному истреблению. Удовлетворение же своих материальных потребностей «настоящий» анархист должен обеспечить посредством ограблений и похищений имущества богачей в свою личную пользу.

Логически и по духу к безначальцам примыкают так-наз. «*безмотивцы*», составляющие в то же время крайний фланг сторонников «пропаганды действием».

Чтоб пробудить рабочую массу и толкнуть ее на социальную революцию, нужны героические средства: не мирная повседневная агитация, не апеллирование к эволюции и объективной неизбежности нового строя, не выжидание событий, а непосредственные нападения на тех, кто виноват во всех бедствиях человечества.

И если с.-р. практиковали исключительно политический террор, то анархисты этого толка подчеркивали социально-экономическую сторону этого способа борьбы. И если сторонники пролетарского «прямого действия» имеют в виду *массовые выступления, массовый террор, массовый саботаж* и т. п., то «безмотивцы» не прочь осуществлять все это

отдельными группками, а то и просто каждый на свой риск и страх.

При этом месть должна распространяться не только на тех или иных выдающихся своей жестокостью хозяев и фабрикантов, но вообще на всех, кто так или иначе, хотя бы и в отдаленной степени живет чужим трудом, на всех владетелей ренты.

«Достаточно увидеть на человеке белые перчатки», — как крылато выразился один анархист, — чтоб признать в нем врага, достойного смерти. Винават не какой-то объективный строй общества, а каждый индивидуум, поддерживающий этот строй и пользующийся им в свою пользу. Конкретный повод к убийству безразличен, лишь бы агитационный и устрашающий эффект был налицо. Это и будет террор без мотива, точнее, без ближайшего и непосредственного мотива.

С именами студентов Таратуты и некоего «Кароля», впоследствии убитого в Лондоне во время нашествившей экспроприации, устроенной русскими эмигрантами, связаны первые выступления этих «безмотивцев». Оглушительные и со множеством жертв взрывы посредством бомб ресторана «Бристоль» в Варшаве и кафе Либава в Одессе и явились первыми их актами в самой России. На съезде их в Кишиневе наметилось даже течение, настаивавшее на том, чтобы придать этому делу общеевропейский характер. Лидером его был Вл. Стрига-Липидус, бывший с.-д., студент и выходец из богатой семьи, анархист, редкий по своей энергии и склонности все, начиная с мелочей, делать самому, ни на кого не полагаясь. Уехав в Париж, он собирался взорвать «буржуев», прогуливающих в Венсенском саду (говорили, что он, в частности, подстерегал немецкого банкира Мендельсона, еврея, субсидировавшего займами русское правительство в момент наивысшего расцвета его контр-революционной деятельности). Расхаживая с бомбой в руках, Липидус случайно споткнулся и был разорван ею на куски.

Нечто более трагическое произошло в том же году в Варшаве при генерал-губернаторе Скалоне, том самом администраторе, который грозил русским подданным немецким нашествием. Группа анархистов «Интернационал», совершившая, между прочим, много убийств и экспроприаций, занялась также делом подкупа под казармы известного своим черносотенством гвардейского волынского полка. Проектировали они также устроить на Маршалковской ул. фиктивную, но заряженную двумя минами и множеством осколков баррикаду, которая, при взятии ее войсками, автоматически разорвалась бы и произвела бы опустошение среди солдат и полиции. Получив об этом донесение от охранного отделения (при обыске у этих анархистов нашли четыре пуда динамита и 21 заряженную бомбу), ген.-губ. Скалон рассваренел

и своей собственной властью приказал повесить *шестнадцать* заподозренных анархистов, повесить *без всякого суда* ¹⁾.

Что очень характерно для анархистского движения прошлого десятилетия, это крайне низкий возрастной ценз активных его участников. Так, напр., в данном случае почти все повешенные (за исключением самого старшего из них 23-х-летнего Гольдштейна) были зеленая молодежь из учащих и мелких ремесленников, а двое из них, Скурджа и Шапиро, имели от роду 15 и 17 лет.

К этой же группе принадлежал и один молодой товарищ по фамилии Гольцман, по кличке «Варьят». Изготавливая у себя на квартире бомбы и опасаясь ареста, он скрылся из лаборатории, захватив с собой динамит и несколько снарядов. В другой раз, идя как-то по улице и заметив, как патруль ведет арестованного революционера, Гольцман, не долго думая, начинает стрелять из браунинга, ранит солдата и дает революционеру возможность бежать. При этом сам Гольцман был арестован и отведен на Алексеевский форт. Ожидая смертного приговора, он бежал оттуда, сломав себе ногу, и скрылся за границу. За участие в парижских группах анархистов Гольцман был выслан из Франции и уехал в Лондон. В 1909 г. он вернулся в Россию, самостоятельно устроил покушение на виленского ген.-губернатора Гершельмана, по ошибке ранив вместо него генерала Пенго, был арестован, судим и 13 января 1910 г. приговорен к повешению. Заступничество его защитника встретило грубый отказ со стороны Гершельмана: он не дал хода кассации и даже отказался выслушать ходатайство о смягчении участи. Не желая умереть от руки палача, Гольцман облил голову керосином и зажег себя. Умер он в ту же ночь, сгорев точно факел. По словам надзирателей и прибежавшего фальшера, он *не издал при этом ни одного стога*: до того сильна была воля в этом молодом рабочем, так и оставшимся неизвестным по фамилии для следственной и судебной власти...

Для психологии анархистов, по крайней мере большинства из них, любопытно еще отсутствие расхождения между словом и делом, а также отсутствие границ между (если можно так выразиться) «властью» законодательной и исполнительной. Если, напр., кто-нибудь из них теоретически приваивал террор и экспроприации, то он же сам практически и участвовал в их совершении, какой бы высокий «ранг» он ни занимал среди членов группы,—черта, которую не всегда отметили в отно-

¹⁾ Акт этот дважды обсуждался в Сенате, и по настоянию Щегловитова, генер. Скалон был оправдан. Подробнее об этом см. в журнале «Право» за 1906 г. №№ 4 и 18.

шени социалистов. Так, некий Борис Энгельсон, интеллигент, человек выдающийся по своему образованию и таланту, приезжает как-то из заграницы в Минск, участвует в экспроприации и, отстреливаясь, убивает городского. Его арестовали и в январе 1908 г. повесили в Вильне.

Точно так же анархист, известный под фамилией *Августа Ватерлооза* и под кличкой «Сентой», инженер по профессии, бельгиец по паспорту, немецкий еврей, кое-в-чем напоминавший русского Бакунина, восторженный и мессиянистически настроенный идеалист, автор нескольких изданных в Берлине сборников стихотворений;—Ватерлооз приезжает, по совету провокатора Абрама Гавенды, в Россию и при случае участвует не более и не менее, как в ограблении помещика... Будучи арестован в лесу крестьянами и казаками, Ватерлооз лег голым на траву и притворился больным, но его все-таки арестовали, ужасно избили и предали суду, который приговорил его к 15 годам каторги.

Столько же лет каторги он получил и в другой раз, когда в сентябре 1908 г. судился по делу о «федерации анархистов-коммунистов». Его сиденье в павильоне варшавской крепости, а затем в московских Вутырьках—это сплошной мартиролог страданий и мученичества. Подонец Ватерлооз—патура бурная и неуравновешенная—не выдержал каторжного режима с его бесконечным сидением в темном кардоре, куда десятки раз бросал его начальник московского центра К. Дряков,—заболел душевным расстройством и умер в сумасшедшем доме...

Какова же почва, на которой расцвет российский анархизм? Ответ может быть приблизительно такой.

Максималистские тенденции, которые, подобно протуберанцам на солнце, всплывают в раскаленной атмосфере крупных революций (вспомните хотя бы Бабефа), а у нас в России обусловлены были высоким подъемом революционной воли 1905—07 годов; неспособность части интеллигенции работать планомерно и систематически для целей, сознательно определяемых, как отдаленные и рассчитанные не на завтрашний день, а на целую эпоху; слабые успехи научной теории, что породило порывистый полет фантазии и чудовищную переоценку роли индивидуальной личности; слабость и поверхностность массового рабочего движения, тогда столь еще неопытного и молодого; отсутствие вынужденных результатов деятельности оппозиционно-демократических и революционно-социалистических партий, — все это вместе взятое и имело своим следствием предпочтение методов продуманно-систематическим методам бурно-хаотическим. А тут еще затяжная безработица, а тут еще беснующийся разгул столичный реакции...

Анархистские построения заговорщического толка полны противоречий. Между их *сегодня* (кровавый террор и ограбления) и их *завтра* (сентиментально-коммунистический строй общества) нельзя было уловить преемственной связи, точно так же, как не уловить связи между их барски презрительным неверием в способность толпы к самосознанию (и верой в способность этой же толпы перескочить сразу к высшим формам общественности).

Анархисты этого типа как-то совмещают в себе не знающий самокритики и граничащий с самодушеством индивидуализм с уверенными в своей приверженности к благу целого. В них очень много благородного поговования, еще больше в них желчного озлобления, весьма сильны они по части отрицания и отыскивания дефектов,— но и только...

Зато надо признать, что своим *скептицизмом*, той критикой, которой они подвергают теорию и практику социалистов, они приносят рабочему делу несомненную пользу, так как побуждают социалистов еще и еще раз пересматривать и корректировать положения своей программы и тактики.

Как это показывает история человечества, всякому течению, которому предстоит стать господствующим, грозит опасность потонуть в самодовольстве и застойной ограниченности, в педантизме и букванизме. Поскольку же анархисты играют роль бродячих элементов, поскольку они своими уколами не дают людям погружаться в состояние ортодоксальной инерции и кайфа,— поскольку деятельность их может быть учтена как нечто положительное.

Несомненно, что с дальнейшей эволюцией общества всякого рода авторитарные начала слабуют и теряют свое влияние. Являясь предтечами этой, пока еще далекой-далекой эпохи, анархисты и вносят свою лепту в великое дело освобождения человека.

* * *

И, конечно, весьма далека от намерения представлять здесь все российское анархистское движение. Далека я от этого хотя бы уже и по одному тому, что на каторге я лично встречался главным образом с анархистами из интеллигентов и очень мало с анархистами из рабочих, психология которых имеет много особенностей. Зато несомненно, что выводимые в этом очерке лица интересны сами по себе и кой-какие черты их носят типический характер.

Начнем с самого яркого из наших анархистов.

Каторжанин Битбеев довольно обращает на себе внимание уже при первом знакомстве с ним. Маленького роста, худой, с темно-

пергаментной кожей и черными на выкате глазами, он по своему темпераменту был необычайно подвижен, горяч и порывист. У нас в Шпассельбурге за ним установилась репутация острошлова, и, действительно, порою он бывал очень остроумен. Он даже считал как бы своим долгом отпускать калямбурь, и при этом сам же первый раздражался громким залихватым и визгливым смехом, комично дрыгав одной ногой и потряхивая своей неразлучной дюлькой.

Среди католиков, всегда толпившихся вокруг него на прогулке и заранее ожидавших, что вот-вот он скажет что-нибудь меткое и едкое, Битбеев пользовался большим уважением и любовью. Простота его характера, доступность, неназойчивый и рассудочно-книжный, а как-то прирожденный демократизм, искренность и чуткость, певольно к нему располагали. Нравился он еще своей всегдашней готовностью первым начать бунт против тюремного начальства и поддержать малейший (безразлично по какому поводу и какой важности) протест против прижимок и репрессий.

По своему общественному положению Битбеев — сын очень крупной землевладелицы и купчихи. Но, несмотря на богатое состояние, в доме у них всегда царила палящая скарденость. На него лично подобные семейные порядки действовали однако как раз в обратном направлении: все, что пахнет деньгой и материальным расчетом, было ему глубоко противно. Как бы в силу контраста и влекомый к другому, менее прозаическому миру отношений, он очень рано привязался к книгам, и даже его плохо развитый костяк отчасти объясняется тем, что с самого детства он просиживал над ними массу времени.

По окончании землемерного училища Битбеев переехал в Петербург и поступил в горный институт. В студенческом движении того времени (начало девяностых годов) он принимал довольно видное участие. По делу о напумевшем тогда инциденте с профессором Конаваловым Битбеев был арестован, посажен в «Кресты» и впоследствии выслан на родину. Получив от директора института письменное уведомление об исключении, он, пользуясь сходством своей настоящей фамилии с фамилией царя, отослал бумагу обратно с надписью: *«прочел с удовольствием. Романов»*.

Еще на студенческой скамье Битбеев со всем пылом своей неутомимой натуры примкнул к социал-демократии, которая в первое время концентрировала вокруг себя довольно разнородные элементы. Чтобы поближе сойтись с пролетариями, о которых он, проштудировав легальную и нелегальную марксистскую литературу, был самого восторженного представления, Битбеев решил воспользоваться своим случайным пребыванием в шахтах Донецкого бассейна. Однако, крайне забывая,

невежественная, мало культурная и, в лучшем случае, пьяно-буйная масса шахтеров того времени мало соответствовала тому суждению об авангарде человечества и строителях храма будущего, какое он составил себе на основании отвлеченно-теоретических рассуждений.

Это, хотя и кратковременное, но зато близкое и непосредственное знакомство с рабочим людом до-революционной эпохи произвело на Битбеева огромное впечатление. Тут-то в нем, должно быть, впервые и зародилось чувство, играющее на мой взгляд не малую роль в анархистских построениях заговорщического типа: *разочарование в массе*, в ее способности самой, даже в обстановке демократической государственности, завоевать новый строй общества.

Торопливо и с досадой констатируя это и в то же время горя нетерпеливым желанием добиться максимальных перемен в минимальный срок, такой дуг народа незаметно для себя приходит к выводам, отдающим заместительством и опекой. Масса, народ, вообще толпа умалывается до значения серого фона, на котором выделяется ярко расцветшая инициативная личность, в своем благородном порыве готовая даже своей собственной жизнью, облагодетельствовать весь род людской.

Через некоторое время Битбееву нужно было скрыться за границу. Переправился он туда через Болгарию. Со смехом и зубоскальством рассказывал он потом о своем столкновении с болгарским чиновником, который причислял себя к социалистам и в то же время занимал довольно высокий пост при полиции. О болгарской администрации, наводненной самым модным европейским лоском, но и весьма продажной и бессердечной, Битбеев не мог говорить без иронии и отвращения.

Из Болгарии он поехал в Париж. Зрелище тамошних порядков, вся муть, поднивавшаяся со дня общественно-политической жизни в связи с знаменитым дрейфусовским процессом; отчаянная конкуренция политических партий по числу надувательства своих избирателей и агентов; парламент, превратившийся в орудие господства финансовых дельцов; ловкий и беззастенчивый карьеризм и торговля фразами; свившие себе гнездо под флагом самых передовых идей и лозунгов; черствый индивидуализм, преобладающий в умонастроении высокоцивилизованного парижского общества; ужасающая нищета рядом с незнающей границ роскошью и мотовством; душные и вонючие мавсарды; во множестве раскинутые под крышами того самого города, в котором икеются дорогие стоящие и с комфортом обставленные кладбища не только для богатых буржуев, но и для их болонок и бульдогов,—словом, все то отрицательное, что, как в фокусе, концентрировалось в столице мира, произвело на Битбеева ошеломляющее впечатление.

В Париж он ехал с тем преувеличенно-идеалистическим взглядом на европейские, вообще, на демократически-республиканские порядки, который мог выработаться только у русского интеллигента, носившегося с идеями французских революций, но у себя дома жившего под прессом фоп-Шлеве и Победоносцевых. В силу реакции прежнее восторженное Западом переходит в разочарование и приводит на этот раз уже к безусловному и обобщенному отрицанию всего того, что раньше издали казалось столь заманчивым и хорошим.

— Парламентаризм... Республика... Всеобщее избирательное право... Массовые экономические выступления... Евронизация России... Да правда ли, что все это скоро и надежно приведет к цели, доставит торжество свободе и обеспечит независимость личности?

Такие вопросы настойчиво зашевелились теперь у Витбеева. Разочарование в социал-демократическом учении, смутно заговорившее в нем еще в России, здесь в Париже завершилось полным, окончательным отходом от всего, что напоминает марксизм. Он прикинул к образовавшемуся в то время в Париже кружку русских анархистов-коммунистов. Однако, учение Кропоткина, окрасившее в свет коллективизма и, сравнительно, миролюбивого просветительства, скоро потеряло авторитет в глазах нашего бунтара.

С присущей ему склонностью находить во всем черты смешного Витбеев рассказывал об отдельных представителях французского анархизма, рисуя их шаблонными гуманистами, благородными чудаками и чуть ли не маньяками...

Из тогдашних анархистских учений Витбеева целиком не могло захватить ни одно. В нем до огромных размеров развито чувство индивидуальности. Ему кажется, что не только государство, но даже *семья*, хотя бы и освобожденная от буржуазного мусора, как впрочем и вообще какое бы то ни было организованное учреждение, накладывают узду, держат в рабстве и связывают независимость человека. Скорее всего к нему подходил бы индивидуалистический анархизм Штирнера-Ницшеанского пошиба, если только считать Штирнера, этого недоношенного социалиста с пролетарскими тенденциями, — индивидуалистом, а Ницше, этого гипертрофированного аристократа и неадекватного демоса — анархистом.

И, действительно, Витбеев выработал себе собственное учение, назвав его «безначалием». Это как бы переходная ступень от того, что называют анархическим коммунизмом, к более последовательному и полному анархическому индивидуализму.

Переселившись из Парижа в Жюневу, он стал издавать собственный журнал, так и названный им «Безначалие». С помощью двух-трех

сотрудников он сам же и набирал свои статьи и брошюры. В одной из них, озаглавленной «*О казариенных добродетелях господ Тупорыльных*», он яростно нападает на социалистов, особенно на германских; в другом памфлете «*О Лумибере, Буте зла*» он с едким и искривленным остроумием ополчается против буржуазных добродетелей и прославляет врага всякой морали—смелый и прямолинейный лумиен-пролетариат¹⁾.

Передко Битбеев устраивал также и политические турниры с лидерами русских социалистов, громя их за измену делу свободы, за оппортунизм, за приверженность к государственности и т. д. Вызывая, прибегая он на какое-нибудь многолюдное собрание эмигрантов и студентов, взойдет на кафедру, так и не снимая пальто, шапки и кашош, и при общем шуме и протестах одних, одобренных и хохоте других начнет пускать свои стрелы, омытые ядом сарказма в против.

На подобных собраниях он сам же и продавал и распространял номера своего «Безначалье». При этом со свойственной ему склонностью осуждать не только других, но и самого себя, Битбеев выкрикивал своим громким визгивающим голосом:

— Граждане! Покупайте «Безначалье»!.. «Бестолковне»!.. «Безначалье—Бестолковне»!!

Когда в России разгорелись бурно-стремительные события 1905 г., Битбеев покинул Швейцарию и вернулся на родину. Не устроившись в Киве, он перебрался в столицу, где к тому времени стала складываться группа безначальцев. Начало ей положил кружок «махайцев», как называлось течение, получившее свое название от Махайского-Вольского, еще в 90-тых годах сосланного в Якутскую область.

Помню, зимою 1901—1902 г. г. мне попала в руки книга этого автора, «Учтенный Рабочий». Объемистая и напечатанная мимеографическим способом на толстой бумаге, она своим содержанием вызвала много споров. Причудливый випигрет из анти-бернштейнизма и антипарламентаризма; своеобразный тред-юнионизм, одобренный резкими выпадами на интеллигенцию, сочинившую, мол, социализм для уловления рабочих и использования их в своих целях,— весь этот претенциозный сумбур, пропагандируемый обижонным судьбой, хотя и даровитым плебеєм, казался странным и непонятным. Книга эта пользовалась большим успехом среди ремесленников из мелких мастерских, страдавших от безработицы, и некоторых группа допльно

¹⁾ «Битбеев» — один из псевдонимов нашего героя. Как мне объясняли некоторые, слово это означает (не то по-армянски, не то по-турецки) лумиен-пролетария, *стребляющего вши*... В том, что Битбеев набрал себе подобный псевдоним, есть что-то задыряное и вызывающее.

развитых фабричных пролетариев, раздраженных генеральскими замашками тогдашних (одесских в частности) соц.-дем. комитетчиков-интеллигентов. Побуждаемые смутным стремлением к самостоятельности, но в отличие от членов тоже оппозиционной, но все же соц.-дем. группы «Рабочая Воля», махаевцы эти совсем и окончательно отошли от марксистов и составили особую группу, сложившуюся впоследствии в анархистами.

Та же судьба ожидала и петербургский кружок махаевцев. Главными членами его состояли чуть ли не два человека: интеллигентка Гурари, старая «народоводка», проводшая восемь лет ссылки в Верхоянске и лично познававшая там с Махайским, и 17—18-летний рабочий Рафалович. Последний был сын зажиточного мелкого предпринимателя-ремесленника, бескорыстный и самоотверженный юноша, фантазер и энтузиаст, весьма капризный и неустойчивый по характеру и неспособный примириться со всем, что установлено не им самим, а другими.

Вместе со своей пожилой единомышленницей, Рафалович выступал на массовых собраниях, критикуя парламентарных социалистов и поругивая партийных интеллигентов. На одной из подобных массовок Гурари и Рафалович и познакомились с более чем они законченным анархистом. То был Дивногорский, известный также и под кличками «Толстой» и «Ростовцев».

Немолодой, уже лет за 30, уроженец Саратовской губ., сын чиновника, воспитание Харьковского университета, откуда он был исключен за участие в студенческих волнениях, Дивногорский, человек подвижной и непоседливый, имел характер непосредственный, темперамент сугубо-сангвинистический. Вечно он носился со множеством планов и проектов.

Пламенный грезовидец, он в то же время был и усердным тружеником, способным приложить массу самой бурной энергии и проявить много изворотливой смекалки, лишь бы осуществить какую-нибудь из своих идей, что очень редко в наш механически-прозаический век. Дивногорский отличался большой верой в силу отвлеченной идеи, раз только идея эта сама по себе возвышенна, благородна и подкрепляется личным примером.

По складу своей души искренний фанатик, отзывчивый добряк широким натурой, что называется, рубаха-парень, с очень некрасивым, но очень привлекательным лицом, Дивногорский всем своим сердцем влюблен был во все русское, и свои идеалы черпал из ее старины.

Еще на университетской скамье он увлекся учением Л. Н. Толстого. Как человек, принимающий все близко к сердцу, он немедленно же

приступил к практическому осуществлению своей новой веры: переоделся в мужицкое платье и лапти и двинулся в деревню пронагадировать царство Божие. Был сперва он народным учителем, потом попал табельщиком на фабрику. Возмущенный крайне антигигиенической, чуть ли не сарайной обстановкой фабричного помещения, в котором жили рабочие, Дивногорский, вопреки своим формальным взглядам, призывал рабочих к возмущению, подговаривая их просто-на-просто съесть все казармы.

В другой раз, проходя мимо огорода какого-то помещика и будучи очень голоден, он накопал себе картошек и совершенно открыто, ни от кого не таясь, развел костер, чтоб испечь их. Его поймали с полициным и побили. Возмущенный такой потасовкой, Дивногорский в ту же ночь поджег помещика.

Учение о непротiwлении злу пришлось ему не по вкусу. На его разочарование в толстовстве отчасти повлияло еще поведение его родственника, тоже толстовца по убеждениям: вопреки теории об опрощении, толстовец этот жил в роскошной обстановке и не пренебрегал эксплуатацией крестьян. Такой диссонанс порядком коробил нашего восторженного и чуткого бессребренника-демократа.

Утомленный душевно, со старыми порывами, но со смутными поисками чего-то нового, чего-нибудь такого, что оформило бы кипевшие в нем чувства и жажду деятельности, Дивногорский отправился теперь домой. По дороге в Тамбове его арестовали по подозрению в бродяжничестве. Он вспылал, наговорил дерзостей полиции, — затевалась крупная история. Хорошо еще, что в кармане у него имелся его дяковский паспорт, этот существенный атрибут, определяющий категорию россиянина, — и дело кончилось извинением со стороны пристава.

Тут же в Тамбове Дивногорский познакомился с некоторыми анархистами, и наконец обрел то, чего он так неудержимо искал. Из России он уехал в Париж и здесь еще теснее сблизился со своими новыми единомышленниками. Через некоторое время он, после множества самых пестрых приключений¹⁾ вернулся в Москву, а оттуда в Петербург. По дороге он разбрасывал из вагона им же написанные и им же напечатанные прокламации к рабочим и крестьянам.

Из заграницы Дивногорский привез с собою маленькую типографию и стереотип от прокламаций. Сформировавшаяся группа анархистов печатала их и распространяла по заводам и садам для гуляний

¹⁾ Так, будучи в Бельгии и зайдя в какое-то официальное учреждение, он категорически отказался снять шляпу, уверяя наущенных иностранцев, что в России, мол, не полагается обнажать голову. Границу он пересек, прижавшись прямо под вагоном к тормозе, — и т. д. и т. л.

в особых коробках-петардах, заряженных динамитными патронами: коробки с треском взрывались и, привлекая этим публику, целыми фонтами рассыпали воззвания и листки. Наряду с этим группа энергично распространяла среди рабочих рецепты изготовления македонских бомб, хотя, по правде сказать, многие, следовавшие этим рецептам, только калечили себя.

К концу 1905 г., когда в группу вступил сам Битбеев, в ней насчитывалось уже 12 человек: несколько студентов (один из них по кличке «Адмирал» погиб отом в Севастополе во время взрыва тюремной ограды), один заключенный семинарист, одна женщина-врач, три-четыре бывших гимназисток. У безначальцев были еще связи с рабочими и матросами, но главной популярностью они пользовались среди интеллигенции, особенно среди учащейся молодежи.

Им охотно давали и квартиры для собраний, и деньги, а когда они, под фиктивным предлогом убийства якобы Победоносцева, собрались на самом деле экспроприровать главную кассу Удельного Ведомства, и обратились за содействием к сочувствующим, им дали рублей 500 деньгами и предоставили в их распоряжение автомобиль. Затем из типографии одной вульгарно-радикальной газеты «Русь» безначальцам передавали шрифт для печатания прокламаций, а один из популярных журналов «Журнал для всех», в то время сильно накрепившийся в сторону самого махрового максимализма, обещал им у себя место для агитации и пропаганды анархистских лозунгов.

Но как раз накануне осуществления одного очень крупного предприятия почти все безначальцы были арестованы. Выдал их некий Дмитриев, анархист, оказавшийся потом форменным провокатором. Называл он себя машинистом, года два прожил в Париже, где и сошелся с безначальцами. Из-за границы он привез с собою нелегальную литературу, но в то же время провалил контрабандистский пост и белостокскую группу с тайной типографией. Для отвода глаз Дмитриев был арестован жандармами в Москве и по освобождении переселился в Петербург.

Это был ограниченный индивидуум, почти не разбиравшийся в том самом учении, за которое он с таким апломбом ратовал. Своим маленьким лбом, прищуренными глазами, да какой-то опасливой напряженностью всего своего существа Дмитриев производил неприятное впечатление. Чувствуя это, он горячее всех ораторствовал на собраниях, всегда отстаивал самые, с позволения сказать, «революционные» лозунги и приемы борьбы (вроде бросания бомб в театрах...), рвался на экспроприации, вообще симулировал кипучую деятельность. Со всеми он старался быть на «ты» и держаться за панибрата.

Странно, что никто из членов группы не раскусил своевременно этого субъекта. Нужно сознаться, что в революционной среде того времени часто давал себя чувствовать гипноз фразы: нередко пустословие, раз только оно услащено ярко-красными заглазниками, мешало разглядеть в данном риторе дрянного человека, а то и предателя. Нередко якобы революционное красноречие заменяло собою свидетельство о благонадежности и аттестат политической зрелости. Этим отчасти объясняется столь большое количество провокаторов в столь ограниченном количественно движении, как анархистское.

Как бы то ни было, такое легковерие со стороны петербургских анархистов было тем более страшно, что они обнаруживали подозрительность в таких случаях, когда она была вовсе неуместна ¹⁾.

Накануне ареста группы Дмитриев исчез. По странному капризу он не выдал никого из женщин, за исключением некоей Зильберман, жены Дивногорского. Последнего он боялся, как Мефистофель креста, и безопасности ради скрылся потом за границу. По указанию Дмитриева охранное отделение арестовало 13 человек, но семерых из них, действительно активных членов группы, Дмитриев знал мало, и их волеизъявлений пришлось выпустить. Дивногорский и Зильберман, посаженные в Петропавловскую крепость, заболели там душевным расстройством и на время отставлены были от дела. Зато к остальным подсудимым были присоединены еще два анархиста, Соколов и Сперанский.

* * *

Александр Соколов был молодой человек лет 26—27, сын священника. Он был невысокого роста, белокурый, со скуластым, землистого цвета лицом, тонким и резким голосом. Превосходный математик, знаток пяти-шести языков, Соколов обладал еще огромной начитанностью в общих вопросах. Как ученик с феноменальной памятью и усидчивостью, он шел в семинарии одним из первых, и учебное начальство прервало его в духовную академию. Но за участие в одном с.-ровском

¹⁾ Однажды с юга к ним приехал анархист с приглашением на конференцию. Посланец этот упорно добивался знакомства со всеми членами группы, указывая конспиративных квартир и т. д. Это показалось подозрительным, и после некоторого обсуждения решено было, что приехавший — провокатор. В таких случаях расправа коротка. Его отвели в лес и двумя выстрелами из браунинга уложили на месте. Сделавшие это подумали, что он ранен на-смерть, и ушли домой. Но через некоторое время прохожие подобрали его и отвезли в больницу, где его и вылечили. На допросе у следователя он категорически отказался назвать покушавшихся на его жизнь. Впоследствии он и сам попал на каторгу по политическому процессу. Оказалось, что это был безусловно честный товарищ, только очень бестолковый.

кружке Соколов был исключен из училища. Духовная карьера, как, впрочем, всякий проторенный путь, ему и раньше не нравилась и, сдав экзамен на аттестат зрелости, он поступил в университет. Но что-то не давало ему осесть на месте, гнало его из города в город. Менял он и факультеты, менял и университеты. Учился он и в Казани, и в Клеве, и в Москве, и в Томске.

Откровенный до грубости, при случае способный пустить вдобавку и кой-какие словечки весьма демократического, хотя и грязноватого происхождения, Соколов имел в то же время характер желчный и раздражительный. Порою он бывал очень импульсивен. Так однажды, когда на каком-то собрании до него дошел слух, будто в Тамбовской тюрьме изнасиловали девушку из политических, Соколов, не говоря ни слова, поднялся, достал браунинг и пошел убивать начальника тюрьмы. Хорошо еще, что по дороге он случайно встретил жену той девушки, от которого и узнал, что слух этот вздорен. В другой раз, на собрании с.-ровского кружка, кто-то обидел Соколова. Недолго думая, он вскакивает со стула, схватывает того за шею, мнет его, бросает на пол и молча уходит.

Проживая у отца в деревне, Соколов вел деятельную пропаганду среди крестьян. Примыкал он тогда к с.-р., но тогда под рукой оказывалась с.-д. литература, он со спокойной совестью распространял и ее. Одна комитетница, проконтролировав на месте его работу, пришла в неопишуемый ужас, как от того, что Соколов, будучи с.-р., распространял еретическую литературу, так и от того, что его устная агитация носила явно анархистский характер. Правоверная с.-р.-ка основательно распекала и отчитала его, а после такого нагоняя Соколову только и оставалось, что выйти из организации.

Под влиянием некоей Сперанской, той самой, которая обратила в анархизм и Дивногогорского, Соколов вернулся к безначальцам. Симпатии к этому течению давно уже и совершенно самостоятельно зарождались в нем. Теперь он стал добывать из-за границы анархистские брошюры, главным образом немецкого автора Нетлау, переводил их на русский язык и сам же печатал в устроенной им самим маленькой типографийке.

Однажды крестьяне, раздобывшие несколько сот винтовок, обратились к нему с предложением отдать их революционерам. Соколов написал об этом в Петербург, но Рафалович, которому очень понравился его оригинальный почерк, оставил письмо у себя на хранение, и оно было найдено во время обыска. На основании этого-то письма Соколов был как раз в то время, когда печатал прокламации, арестован. Из Тамбовской тюрьмы его перевели потом в Петербургскую.

Впоследствии на каторге Соколов стоял в стороне от всяких тюремных историй и дразг, хотя никогда, ни на секунду не задумываясь, поддерживал все и всякие выступления против начальства. Как и многие другие анархисты, он любил утверждать, что *человек всегда сильнее, когда он один* и свободен от всяких обязательств. Но на словах восставая против какого бы то ни было приспособления индивидуума к какому бы то ни было коллективу, Соколов на деле не только молчаливо и безропотно подчинялся решениям большинства, но во имя его интересов готов был принести всяческие жертвы.

В данном случае такое расхождение между словом и делом можно только приветствовать. Так, могучий и благородный социальный инстинкт берет верх над полурассудочными индивидуалистическими теориями ¹⁾.

К собственному удивлению Соколова, его расковали всего лишь месяца через два по истечении законного казального срока. Когда помощник заявил ему об этом, он сказал:

— Что же, дело ваше: хотите снимать—снимайте... Только знайте, что для меня кандалы это то же самое, что для вас медали и кресты...

Уступив больному с.-р. Бергу свою теплую камеру, он перебрался в самую холодную, мерзлую и сырую одиночку. В отличие от большинства каторжан, обычно нигилистически растрепанных и неряшливых, Соколов свою камеру держал в поразительной чистоте, устраивая скандал, если его случайный сожитель бросит на пол окурки папиросы или плюнет не туда, куда нужно. На прогулку, даже в самые лютые морозы, он выходил без шапки, и в оправдание этого приводил мудреные, маловразумительные доводы.

Свои потребности и траты Соколов доводил до крайнего минимума, расходуя почти все присылаемые ему деньги на книги. Обыкновенно он садился на железной скамейке у железного столпа, поджав

¹⁾ Конечно, далеко не так и не всегда бывает с другими. В этом отношении тюрьма консервирует человека, помогает ему сохранить в себе то лучшее, с чем он вступил на каторгу. Вообще же крайне характерно, что примыкающие к анархизму интеллигенты лишь редко удерживаются у границ коммунизма и мало-помалу договариваются до интеллигентского индивидуализма, ничего общего не имеющего с какой бы то ни было общественной работой. Так, напр., талантливейший представитель южно-русского анархо-синдикализма, Я. Кирилловский-Новомировский, из бывшего общественника раз эхсеелсе стал утонченным эппкурейцем, дэвдэ, который лишь в виде роскоши блэует себя религиозной и проч. мистикой, сочетаемой как-то с холодным скепсисом и разговорами о самоубийстве. Некогда на редкость энергичный и активный, Новомировский теперь (1916 г.) свысока и с усмешкой поглядывает на всех этих социалистов и даже анархо-коммунистов, которые где-то там внизу копошатся над переустройством общества...

ноги по-турецки и, окружив себя фоллиантами по логике и психологии, по целым дням не отходит от чтения.

Если Дивногоровский—человек сердца, сентименталист-романтик, то Соколов—человек мозга, рационалист-схоластик. Без десятка формально-логических обоснований, критических взвешиваний, принципиальных оценок, он и шагу не сделает. Так, между прочим, социализм не удовлетворяет его не только по понятным для анархиста основаниям, но еще и потому, что в истории нельзя, мол, ставить прогнозов, невозможно предвидеть будущее, ergo... ergo не стоит вообще бороться за новые формы этого будущего... Утверждая это, Соколов забывал, что то же самое, но еще в большей степени, можно ведь сказать и по поводу анархизма, и что суть дела не в деталях, а в основной тенденции, в общем и целом поддающейся и анализу и предвидению.

Впрочем, споры на подобные темы Соколов не любил доводить до конца, предпочитая отделяться какой-нибудь сакраментальной фразой, а то и просто отмахиваться молчаливым, но полным презрения жестом. И в самом деле: все это он уже знает, все это он уже пережил, ничто его больше не волнует и не увлекает. В этом отношении он напоминает и остальных своих товарищей, особенно Битбеева.

Современная жизнь, события за границей и в России, деятельность партий, заседания Государственной Думы, вообще все, что пахнет текущим моментом, не только не интересовало наших каторжан—анархистов, но прямо-таки раздражало их. Бывало, услышит, например, Битбеев только что полученные нелегально новости,—и сейчас же удирает со все лопатки куда-нибудь в сторону или же, попыавая своей трубкой, начнет острить на постороннюю тему, с гримасой косясь на тех, кто интересуется политическими новостями.

Такая боязнь действительности очень характерна для представителей направления, которое как бы само стоит вне жизнетворного потока истории. Они не делают тревожить себя вопросами и сомнениями, на которые—они это чувствуют инстинктом—они все равно не сумеют дать ответа ни себе, ни другим.

Так и с Соколовым. Весь он теперь изломан и издерган. И только порою его охватывает навязчивая идея—явление нередкое в обстановке одиночного сидения в каторжном центреде. То он начнет доказывать, что вместо бомб и браунингов лучше употреблять отравленные ядом стрелы, то влянется, что по выходе на волю (а срок каторги у него был 15-летний...) он непременно убьет короля Альфонса, чтоб отомстить ему за преследования им испанских анархистов.

Странно все это...

Во многом не таков был Ранский, студент, приехавший в столицу из провинции. Еще до поступления в университет, будучи в реальном училище, Ранский был одним из самых буйных забияк и протестантов. Как известно, школы пани, во многом напоминавшие арестантские роты, давали слишком много поводов для протеста.

Впрочем, когда я с ним встречался на каторге, он производил впечатление человека тихого, скромного и застенчивого, — при одном однако условии: если никто не затрагивал его и не выводил из состояния пассивности. Его добрая, чисто детская улыбка и слегка робкий взгляд больших темно-серых глаз производили удивительно приятное и, так сказать, примиряющее впечатление. Говорил он очень мало, а когда уж заговорит, то всегда тихим-тихим, едва слышимым голосом, делая при этом значительное лицо и восторженно сверкая глазами.

Его анархистские убеждения были просты, прямолинейны и увлекательно-наивны.

Пretензии на разные там «научные обоснования» или на практические пропихивания были ему почти что чужды. Усложнение нашей жизни, столь усиливающееся с каждым днем, все эти тысячи пестрых причин и влияний, сметающихся и перепутывающих людские отношения, — все это как-будто и не касается анархистов типа Ранского. Да и сам он был весь прост, ясен и прозрачен.

Анализировать, аргументировать, — Ранский очень не любил, предпочитая отмахнуться от всего, что не соответствует его взглядам. Доказано, что существующий строй никуда не годится; доказано, что анархизм обеспечивает максимум свободы и независимости всем и каждому; доказано, что социализм, не говоря уже о других, более умеренных системах — только лишняя и предная задержка на пути к идеалу, — чего же еще надо?!. Коротко и ясно. Кто думает иначе, тот враг свободы, испорченный буржуазней софист...

Такой человек, как Ранский, если только каторга не опустошит и не искалечит его души, может до самой смерти оставаться последователем раз-навсегда принятого им вероучения, хотя бы окружающие условия и обстоятельства в корне изменились.

Как товарищ, Ранский превосходен, в нем очень много отзывчивости и готовности постоять за других. Если отвлечься от той социально-политической обстановки, в которой складывалось мировоззрение Ранского, то остается только удивляться тому, что такой скромный, добрый и непритязательный юноша насыщенный был взглядами и построениями самого кровавого свойства.

Дальнейшая судьба Ранского отчасти связана была с другим анархистом Новичем.

Аронович был совсем юный парнишка. Шапка густых и длинных вьющихся волос, совершенно безусое круглое румяное лицо, красивые лучистые глаза и тонкий звонкий голос—придавали ему вид девушки. Его все так и звали у нас *Тамара*. Выходи на прогулку, Аронович обвязывал свои золотистые кудри носовым платком, что еще более делало его жепственным.

По своему характеру «Тамара» был капризен, ребячлив и беззаботно весел. Всегда-то он хохотал, прыгал, позвякивая кандалами, или возбужденно и громко разговаривал, картавя и слегка пришепегывая. У себя в одиночке он только и делал, что распевал арии из итальянских опер, которых он слышался в Одессе, или боевые революционные песни: по тогдашним порядкам (1907—1908) за подобное «поведение» у нас в одиночном корпусе не наказывали. Серьезного чтения и вообще всего, что требует вдумчивости — Аронович очень не любил.

До своего ареста он учился в электро-технической школе. В 1905 г., совсем еще мальчиком, он входил в боевую дружину бундовцев. Когда же в Одессе (как и по всей России) прокатилась волна экспроприаций и грабежей, Аронович применил к группе так-наз. «*Черных Воронов*», компании зеленых по возрасту разбойничьих, происхождения которых не лишены были цвета красной романтики.

Эти «Черные Вороны», выродившиеся вскоре в вульгарных грабителей, паводили тогда большую панику на богачей и доставляли не мало работы и хлопот полиции и прокурорам.

Атаманом этой компании был рабочий *Дмитрий Пих*, про которого впоследствии распространялись целые легенды. Лет 16—17 он стал получать нелегальную соц.-дем. литературу, приходя в сильное возбуждение от комитетских прокламаций и статей «Искры» и «Южного Рабочего». Едва сделавшись «сознательным», он стал уже добывать самой рискованной и эффектной работы, вроде разбрасывания прокламаций, участия в тайной типографии и т. д.

В 1905 г. Пих вступил в боевую дружину, примкнув ради этого к чуждому его польской национальности—бундовцам, у которых боевое дело обстояло тогда еще лучше, чем у местных с.-р.-ов. Однако, с соц.-демократами Пиха мало что связывало, и он перешел к анархистам. Самым подходящим мировоззрением для него было анархо-индивидуалистическое. Горячий сторонник партизанского террора и экспроприаций Пих вскоре и стал совершать ограбления, удивительные по своей смелости и ловкости. Не связанный ни с какой солидной (качественно и количественно) группой, наш «Черный Ворон» вскоре совсем эмансипировался от контроля и побуждений идейного свойства.

Его беспощадная буйная и жаждавшая сильных ощущений натура, до этого скрывавшаяся под скромной внешностью сапожного подмастерья — теперь развернулась во всю. Денег было много, время угарное, пуля преследователя или веревка палача — поджидали на каждый день — неудивительно, что пьяные кутежи, проститутки и карты занимали большое место в жизни юнцов, вроде Пиха и Новича.

Впоследствии Пих был арестован, бежал из тюрьмы, снова попался и был повешен. Аронович же отделался малосрочной каторгой. Сосланный в Смоленский централ, он переведен был оттуда к нам в Шлиссельбург после смоленского «голового бунта». С ним-то Рапский и устроил потом побег из крепости. Но об этом ниже.

* * *

Осенью 1906 г. все наши «безначальцы» предстали пред судом петербургской судебной палаты. Председательствовал известный по части борьбы с криминалом сенатор Крашенинников.

В столице это был первый процесс анархистов, и, чтобы отметить это, они на суде держались очень протестантски: отказывались вставать и отвечать на вопросы, обменивались резкими репликами с председателем, который грозил даже применить к ним силу и вывести их из залы суда.

— Это самое лучшее, что вы сделаете!.. — крикнул ему Битбеев.

Их действительно вывели, но потом снова привели.

— Признаете ли себя виновным? — спрашивает Крашенинников Рафаиловича.

Тот отводит глаза в сторону, отвечая на его слова презрительным молчаньем. На такой же вопрос Колосов громко крикнул:

— Вали суд — это комедия! Ведь приговор у вас в кармане!..

— А я с вами и разговаривать не желаю!.. — ответил председателю своим тихим голосом Рапский.

— Па-а-рдон, мосье, я с вами, кажись, не знаком!.. — крикнул насмешливо и преувеличенно галантно раскланиваясь Битбеев, когда Крашенинников обратился и к нему с соответствующим вопросом.

Получился скандал. Оскорбленные судьи взволновались и стали громко перешептываться между собой. Тут жандармы набрасываются на Битбеева. Он с визгом хватается за стоявший поблизости графин с водой и жестикულიруя одной рукой, другой размахивает графином в воздухе. Произошла свалка. Среди судей суматоха. Председатель что-то кричит, товарищи Битбеева что-то возмущенно ему возражают. Битбеева, наконец, вытаскивают из залы суда. Вслед за ними выводят и остальных подсудимых.

Всем им дали по 15 лет каторги. Ранскому и Рафаловичу, в виду их несовершеннолетия, сократили этот срок на одну треть. Отбывать каторгу они начали в Шлиссельбургской крепости, где я с ними и встретался.

Как бунтарь и протестант, Битбеев, разумеется, не мог ладить и с тюремной администрацией. И, действительно, как только он, в начале 1907 г., прибыл к нам в Шлиссельбург, у него сейчас же пошли столкновения с начальством. Особенно чувствителен был он к грубому обращению. А между тем по прямому указанию из Главного Тюремного Управления все надзиратели обязаны были обращаться с нами на «ты».

Битбеева это прямо выводило из себя. Он моментально поднимал бурю, начинал волноваться, топтать ногами, кричать и браниться. Оценивший надзиратель с недоумением и невольным страхом поглядывал в таких случаях на припавшего в неистовство и разбушевавшегося чернявого человечка, не понимая, как это можно так волноваться из-за такого пустяка, как «тыканье».

Когда Битбеев сидел еще в старой одноэтажной тюрьме, отделенной от нашего одиночного корпуса огромной пятисаженной стеной, у него шла почти непрерывная война с начальством. Множество раз приходилось ему также участвовать в голодовках-протестах.

И начальник — В. Зимберг и его помощник, князь Гурамов, которые знали его по петербургской предварилке, считали его человеком ненормальным, о чем сам Битбеев говорил с обычной для него насмешливостью. Впрочем, это было даже удобно в том смысле, что к нему меньше придирались и на многие его проступки смотрели сквозь пальцы.

К себе в одиночку Битбеев не любил впускать никого из начальства. На вечерних проверках никто к нему так и не заходил, довольствуясь заглядыванием в специально для этого открываемую форточку. Когда в крепость приезжал кто-нибудь из высшей администрации, камеру Битбеева всегда миновали, опасаясь какого-нибудь скандала. Как-то раз ожидался приезд губернатора. Князь обходил всех заключенных, расспрашивая, нет ли каких-нибудь заявлений и просьб.

— Ага!.. Заявления?.. Губернатору?... Что ж, пожалуй, найдется! — ответил ему Битбеев, вынимая изо рта вечно торчащую там люльку. — Мне вот швабра нужна, старая совсем истрепалась! — добавил он с невозмутимой серьезностью, и только в его черных глазах заблестал насмешливый огонек. Помощник недоуменно пожимает плечами, но вспомнив, с кем именно имеет дело, молча поворачивается к выходу.

Волчок у Битбеева всегда был закрыт изнутри бумагой, так что надзиратель не мог заглядывать к нему в камеру и следить за тем,

что он там делает. Долгое время Битбеев только тем и занят был, что, стоя на коленях на своей железной койке и попыхивая льюлой, написывал голые стены камеры цитатами из своих книг по истории Калдеи, Вавилона и фараонов, он в это время изучал Библию и вообще древнейшую историю, намереваясь проследить «с самого начала» возникновения и развитие власти одного человека над другим. Испешет он таким манером своим характерным нервным почерком целую стенку, сотрет, а потом возьмется за новые аршинные цитаты.

В сожителл Битбеев всегда выбирал себе людей простых, не умевающих и не многоплавающих. Дружил он также и с некоторыми уголовными, профессиональными разбойниками. Со своей стороны, они относились к нему с большим уважением, цени его доступность и искренность.

Однажды, после того, как от него ушли в общий корпус его приятеля, бессрочного Маклакова, старого рецидивиста, осужденного за убийство и разбой, Битбеев прямо с прогулки пустился во двор, где живет начальство, и оттуда направился в общий корпус. Надзиратель сначала не заметил этого, и Битбеев успел пройти порядочное расстояние. Очевидно, на него что-то пало. Зимберг отправил его за это в карцер. Битбеев объявляет голодовку, требует, чтобы его снова посадили вместе с Маклаковым. Начальник не соглашается, и Битбеев продолжает отказываться от еды.

Случайно в это время тюрьму посетил один из инспекторов Главного Тюремного Управления, барон фон-Мирбах, аристократ с плебейским лицом и развязно-циничными манерами. Он не только одобрил наложенное Зимбергом наказание, но и присутствии всех ругательно обругал начальника за слишком слабую, по его мнению, репрессию. Битбеев продолжал голодовку.

Тогда один из наших с.-р. Крутишков, находившийся в хороших отношениях и с Битбеевым и с начальником, человек бывалый и дипломатичный, с ведома и согласия начальника, симулировал проступок, за который будто его посадили в карцер и именно туда, где сидел Битбеев. Сделал он это, разумеется, в интересах самого Битбеева. Ему удалось убедить того прекратить голодовку. На одиннадцатый день Битбеев стал принимать пищу.

В июле 1909 г. его в числе 70 человек, бывших на плохом счету у начальства, перевели в Вологодский ваторжский централ. При начальнике Татарове и его помощнике Андрееве арестантам и особенно нам, политическим, жилось довольно хорошо, и Битбеев чувствовал себя тогда недурно. Зато с назначением инспектора Ефимова, режим значительно ухудшился. После устроенной там зимою 1910 г. массовой

эзекуции несколько десятков каторжан переслано было в Ярославский централ. Порка розгами за малейший пустяк, сажание в темный карцер и множество других прижимов и издевательств делали жизнь заключенных в высшей степени сиверной. Поводов для протестов и активных возмущений было тогда в Ярославле более чем достаточно. Но то ли Битбеев устал душой за пять лет сидения в тюрьме, израсходовав весь свой пыл и мятежность, то ли в нем властно заговорил инстинкт жизни — ибо для Битбеева быть выпоротым значит кончить после этого самоубийством — так или иначе, но он как-то подался и приземлел. От прежнего неистового и неукротимого Жака, как его звали в анархистских кругах, мало что осталось. Он посерел и потускнел.

По закону, Битбеева, как приговоренного в 1906 г. к 15 годам каторги, следовало расковать еще зимой 1908 г. Но, когда я уходил из Вологды в 1911 г., он все еще был в цепях. В Ярославском центре его тоже долго-долго не расковывали.

Жилось ему скверно. Питался он неравно, сидел почти на одной арестантской баланде, так как присылаемые ему с воли деньги он расходовал на других, в том числе и на уголовных. На малейшую обиду и страдания, — а таких обид и страданий в обстановке каторги ох, как много — Битбеев реагирует с чрезвычайной интенсивностью. Сам он худ и изможден, а между тем он и не думает болеть и свалиться!.. Откуда только сила берется!..

* * *

Скажем еще несколько слов о других «безначальцах», фигурирующих в нашем очерке.

Когда Дивногорский находился в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, он заболел и был переведен в психиатрическую больницу Николая Чудотворца. Оттуда бежал, перерезав решетку и спустившись с четвертого этажа. Скрывшись из Петербурга и побродив некоторое время по России, он уехал за границу.

Но там его неутомимой и предприимчивой натуре делать было нечего. Среди анархистов различных толков пошли споры, ссоры и скандалы; радужные ожидания поблекли; социальная революция оказалась делом не столь легким и быстрым, как это представлялось раньше; обстановка контр-революции и эмиграции с ее нуждой и лишениями заражала атмосферу ядом разочарования и взаимной вражды, Дивногорский рвался в Россию.

Мечтая о возвращении на родину, он думал показать себя на целом ряде крупных предприятий: между прочим, он намерен был осво-

бодить из Шлиссельбурга своих единомышленников и других заключенных. С этой целью он готовился даже поступить в тюремные надзиратели. Чтоб раздобыть нужные для отъезда и прочего деньги, он устроил экспроприацию банка в Монтре, в Швейцарии. Ограбление вышло неудачным. Ему пришлось отстреливаться, причем было убито и ранено пять человек. Собравшаяся толпа граждан чуть было не растерзала его на месте. Из Монтре его перевели в Лозанну. Швейцарский суд приговорил его к 30-ти годам тюрьмы. Находясь в заключении, он не подчинялся режиму и бывал избиваем. Оторванный от родины и друзей, имея в перспективе столь большой срок, много и чувствительно страдая от суровых тюремных порядков, Дивногорский не выдержал и умер от разрыва сердца... Соколов был в 1909 г. переведен из Шлиссельбурга в Нерчинскую каторжную тюрьму. Выпущенный в вольную команду, он пополнил с собой, бросившись в колодез. Передавали, будто он сделал это по причине неудачной любви; другие уверяли, что его душевное здоровье сильно расстроилось. Но скорее всего причина самоубийства коренится в другом. Соколов долго носился с теорией, что смерть—это родная сестра свободы. Свободным можно быть от чего-нибудь: от кандалов, от рабства, от произвола, от страха и т. д. Вот смерть и является свободой от жизни...

— Если я умру, то не как раб, подчиняющийся каким-то слепым законам природы, а как сын свободы... Буду сам себе хозяин... — говорил он. Возможно, впрочем, что неудачная любовь и причины патологического свойства, а также условия каторжной жизни ускорили это давнишнее решение Соколова.

Что касается Ранского, то, сидя в Шлиссельбурге, он сильно тосковал. Все его мечты, все надежды и планы сводились к одному: *воля, свобода...* Эта воля, такая эфемерная и зовущая, всегда стояла пред его, словно очарованным, взором. Он только и думал, что о побеге. Вместе со своим приятелем Новичем он был самым горячим сторонником волновавшего нас тогда плана побега всех шлиссельбуржцев.

Когда после продолжительных, с ссорами, дразнами, недоразумениями и взаимными обвинениями, — обсуждений по камерам и на прогулках намеченных планов, выяснилось, что дальнейшие разгonorов дело не пойдет, Ранский и Тамара решили одни устроить побег на свой риск.

Было это в декабре 1907 г. Перепилив решетку, сорвав с деревянной койки, на которой спал Нович, доску и приставив ее к высокому покатуному подоконнику, наковец, привязав заранее принесенный ими со двора большой булыжник к ремню от кандалов, оба они спустились во двор, около того места, где вляжна Дюндукова-Корсакова построена для народовольцев часовня.

Часовой, стоявший недалеко от будки, настолько убаюкан был однообразным всем декабрьской вьюги, что не слышал даже, как к нему подкрадывались Ранский и Нович. Очнулся он лишь тогда, когда Тамара стал бить его по голове булыжником, а Ранский выхватил у него из рук винтовку. Появ, в чем дело, часовой поднял отчаянный крик о помощи, а так как проходило это в трех-четыре шагах от входа в одиночный корпус, то неудивительно, что моментально сбежалась стража, и оба беглеца были задержаны почти на месте.

Они полагали, что им удастся обезоружить надзирателя, проникнуть на надзирательский двор и оттуда через заднюю калитку очутиться по ту сторону крепостных стен. Там возле одной из башен имеется полоска земли, отделяющая крепость от Ладожского озера. Дальше им пришлось бы в морозную ночь пройти по льду до берега, и потом... уж не знаю, что стали бы они делать в совершенно незнакомой местности, в арестантской одежде, без паспортов, без денег, окоченевшие от холода и преследуемые погоней.

Но все их дальнейшие планы пресеклись с первых же шагов. Оказалось, что маленькая дверь между кухней, где стояла надзирательская будка, и баней — повсе не вела во двор, как они почему-то думали: там просто был глухой чуланчик. Ранский и Нович очутились в тупике, откуда был один только выход — обратно в камеру...

В январе 1908 г. их судили у нас же в крепости. На суде выяснилось, что надзиратель, которого Нович бил по голове камнем и который был обмотан шарфом и толстым башлыком, отделался мелкими царапинами. Самый же план побега был до того ребячлив, что судьи ограничились прибавкой обоим по 8 лет каторги, аннулировав уже отсуженное ими время.

Этим, однако, не окончились злоключения наших анархистов. Через несколько месяцев после этого неудачного побега, тюрьму посетил Курлов, заменивший убитого с.-р-кой Рагозинниковой начальника Главного Тюремного Управления Максимовского. Сопровождал его, как водится, и начальник тюрьмы Зимберг. Ранский давно уже ненавидел его, а после того, как он выпорол уголовного Маклакова, и повсе перестал разговаривать с ним.

Когда высокое начальство входило в одиночку Ранского и Тамары, первый стоял возле железной койки, а второй поодаль, возле железного столба, привинченного к стене. Едва Ранский увидел Зимберга, как он затрясся и крикнул:

— Вон отсюда!.. вон!..

Этого достаточно было, чтобы спустя несколько недель (ждали распоряжения от петербургского губернатора Знозьева) Зимберг выпорол

розгами Ранского и заодно уже, хотя без непосредственного повода, и Новича...

Экзекуция была проделана не у нас, а в другом корпусе, так-называемом «зверинце», тогда пустовавшем. Весть эта произвела на нас ошеломляющее впечатление. Никто не мог тогда (весною 1908 г.) сразу поверить, чтоб политического каторжанца, да еще интеллигента, подвергли такому наказанию. Анархист Краснобродский, впоследствии убитый наповал за то, что стоял у огня одиночки и кормил хлебом голубей, — Краснобродский собирался покончить с собой и от неожиданного волнения впадал в обморочное состояние. Меншевик Антон Мазин, осужденный по процессу лейтенанта Шмидта, здоровенный литейщик, человек крайне впечатлительный и непосредственный, предлагал всем протестовать посредством массового самоубийства, и серьезнейшим образом готовился сжечь себя первым. Сопроцессники Ранского негодовали по тому поводу, что он не набросился на поровнявших его надзирателей или не покончил с собою.

До самоубийств дело, однако, не дошло. Мы послали на волю протест-воззвание «к обществу», а сидевшие у нас с.-р-ы Кругликов, Другаков и др., нелегально связанные со столицей, добились от боевой организации обещания убить Зимберга. Вскрывшаяся однако азефщина расстроила между прочим и это террористическое предприятие.

После порыв розгами жизнь Ранского и Тамары сделалась совсем невыносимой. Бесконечное сидение в темном carcere, всевозможные оскорбления и унижения (однажды во время потасовки целой группы карцерных с надзирателями, им пихали в рот кал, разбросанный по камере обезумевшими от раздражения и отчаяния арестантами¹⁾).

Покончить с собою у молодых, только что начавших жить анархистов, должно-быть, не хватало сил. Сидя однажды в carcere, Ранский добился все-таки того, что надзиратель, обороны ради, выстрелил в него из револьвера, но рана в ногу оказалась не настолько значительной, чтобы повлечь за собою смерть страдальца.

О дальнейшей судьбе Ранского не знаю; про Новича передавали, что он умер от чахотки.

Самый молодой из наших безначальцев — *Рафаилович* — благополучно кончил каторгу и вышел на поселение. Былой энтузиазм давно в нем остыл. Несмотря на молодые годы, он согнулся душевно, — картина далеко не редкая в ссылке. В теории попрежнему оставаясь

¹⁾ Дело в том, что мстительный Зимберг отказался выпускать карцерных, помещенных в большой светлой камере, в обычную убогую. В виде протеста, воспаленные мозги затравленных людей (несколько уголовных и трое политических) и придумали этот эксцентрический способ протеста...

анархистом, вообще на словах, и это безусловно пскренило, продолжая придерживаться прежних взглядов, Рафалович тем не менее навряд ли что-нибудь сделает в прежнем направлении. Что-то в нем надорвано, что-то мешает подняться ввысь, подалше от житейской прозы. Даже про либералов и социалистов, о деятельности которых он прежде не мог говорить без раздражения, теперь от него не услышишь сердитых реплик. Наполовину он уже потерял способность возмущаться чем бы то ни было.

Как и многие (увы, как и очень многие) из поселенцев-политиков, Рафалович мало-по-малу и незаметно для самого себя начинает занимать место в рядах многовечной армии обывателей.

Впрочем, было это до памятных дней февральской революции 1917 г.

Неугомонный.

...Во всех затеваемых политикмах *большинство* Салька Богданов принимал деятельное участие, но сам он был не из политических. Этот молоденький, лет 19 каторжник, высокий и худощавый, с совершенно бескровным лицом и маленькими серыми острыми глазами, парень общительный и жизнерадостный, был осужден за самое вульгарное ограбление.

Принадлежал он к тому полу-бунтовническому, полу-хулиганскому слою населения, которыми так изобилуют мешанины неслободки маленьких городков и предместья больших центров. Все, что до революции пятого года держало простолюдины в страхе и повиновении, давно уже распалось и потеряло свой авторитет. Особенно относится это к мужской молодежи. Если тот или иной представитель ее почему-либо не подпал под влияние рабочего союза, социалистической партии и т. д., то обыкновенно от все растущего влияния городского уклада он берет самое худшее—раннее знакомство с водкой и проституцией. Бурлящий где-то внутри дух протеста и жажда молодечества выливаются часто в драках, дебоширстве, а при случае и в мелкой уголовщине.

Беда, если случай толкнет в тюрьму. Сплошь и рядом это роковой момент в жизни такого молодца. Только что арестованный, он еще стыдится своего поступка, он еще не уверен в самом себе, робует, колеблется. Но вот попадает в тюремную камеру, в компанию опытных воров, закаленных в преступлениях и озлобленных против всего и вся. Мало-по-малу осваивается с воровскими нравами, приобретает самоуверенность и утверждает себя в правоте, допустимости и выгоды того дела, за которое попался.

Впервые арестованного юношу развращает не одно только пребывание в общей камере с рецидивистами. Обычные тюремные порядки, взятые сами по себе, достаточно развращают его: хроническое голодание, систематическое обкрадывание арестанта, безудержный проказ, почти непрерывное сидение взаперти в духоте, вонь и грязь... Его всячески шельмуют, муштруют, упорно убивают в нем проблески самостоятельности и чувства чести. Сплошь и рядом ему не дают

никакой работы и уж никогда не предоставляют ему разумных развлечений. Расслабленного физически и душевно, его выталкивают потом на волю, окружают всеобщим презрением, ставят на каждом шагу десятки рогаток, — и говорят:

— Будь добродетелен, живи по закону...

Прежде чем попасть на каторгу, Богданов отсидел три месяца в тюрьме за небольшую кражу, носившую скорее характер необдуманной шалости, чем серьезного преступления. За эти три месяца он, свежий и восприимчивый юноша, натура глубоко страстная и увлекающаяся, поддался влиянию тюрьмы больше, чем это могло бы случиться с иным взрослым за три года.

Однажды глубокой осенью с Богдановым приключилось следующее:

Возвращаясь с приятелем Михайловым, тоже молоденьким парнишкой, домой, они по дороге возле канавы натолкнулись на пьяного человека. Кругом него было наблевано, сам пьяница рыгал и что-то невнятно бормотал.

— Давай, Салька, спим с него пальто и часы, — предложил Михайлов.

Богданов не согласился, и они пошли дальше. Михайлов однако не успокоился и дорогой продолжал уговаривать Богданова:

— Слушай, Салька, ведь все равно кто-нибудь очистит его. Давай, вернемся!

Вернулись, сняли с пьяного пальто и часы, накрыли его пиджаком Богданова (чтоб он не замерз) и перенесли на более удобное и защищенное от ветра место, чтоб он не скатился в канаву. Индивидуум этот был мертвецки пьян и тому, что с ним делали Богданов и Михайлов, несколько не сопротивлялся, метал добродушно головой, рыгал и болтал что-то невнятное.

На следующий день Михайлов отправился на толкучку сбывать часы и пальто, но сразу же натолкнулся на вечно шнырявших там уголовных сыщиков. Они моментально раскусили, с кем имеют дело. Приторговывая будто пальто, один из сыщиков завлек его в трактир, вызвал на откровенность, позвал потом городского и арестовал. В участке Михайлова избил, и он выдал Богданова. Арестовали и этого, и обоих посадили в уездную тюрьму.

Преступление имело место в Шлиссельбурге, а так как вся губерния находилась в то время — в 1907 г. на положении чрезвычайной охраны, то дело передано было не в обыкновенный, а в военный суд. Разбиралось око уже зимой. Заседал суд у нас же, в здании каторжной тюрьмы: как раз в это же время судили за побег двух наших товарищей, анархистов Ранского и Новича.

Прокурор долго и пространно доказывал судьям, что почти мальчишеская проказа Богданова и Михайлова есть не что иное, как насильственное ограбление. Судьи, среди которых, кроме нескольких рядовых офицеров, было всего лишь два военных юриста, очень легко согласились с прокурором и приговорили обоих юношей к смертной казни через повешение.

Богданов, как услышал этот приговор, обомлел. Весь бледный, полный недоумения, заикающимся голосом он обращается к председателю суда на своем привычном жаргоне:

— Я пих... (пичего) не повижаю!.. Что такое?.. Меня повесить!!!

Председатель очень отчетливо и толково объяснил подсудимым: на основании таких-то и таких-то статей и параграфов Богданов и Михайлов приговариваются к смертной казни через повешение...

Однако судьи, должно быть, сами же считали свой приговор слишком уж чудовищным. А быть может, они прониклись жалостью к судьбе юнцов. Посоветовавшись, они заменили им смертную казнь... четырьмя годами каторги.

Вместе со своим сопроцессником Богданов стал отбывать каторгу в нашем же центре.

* * *

Как человек самобытный и крайне свободолюбивый Богданов не мог сразу поддаться той обезличивающей муштровке, которая положена в основу системы «исправления» арестантов. Попади он в такой центр, как, например, Орловский, его в самом непродолжительном времени забили бы на смерть: людей менее строптивых и более покладистых, чем Богданов, кулаки орловских надзирателей форсированным маршем переправляли на владбашню. В Шлиссельбурге же дело ограничивалось только карцерами да сверхурочным содержанием в ножных кандалах.

Нелады и столкновения Богданова с начальством начались чуть ли не с первого же дня. Но в том то и дело, что создан он из такого материала, что чем больше по нем бьют, тем более он твердеет и закаляется. Придирки и репрессии только раздражали его и приводили к результатам, совершенно противоположным тем, какие себе ставил смотритель тюрьмы Зимберг.

Озлобленный и не имея других способов отстоять свою неприкосновенность, Богданов изощрял ум на то, чтоб донять, хоть чем-нибудь насолить своим притеснителям. Сидя в карцере в совершенной темноте, ваяясь на голом полу, не имея ничего при себе, он взял однажды да и перепилил кольцо от своих кандалов.

— Это что такое! — удивился надзиратель, увидев его, при переводе в другой карцер, без кандалов: — ты как это сделал?.. Обмыкать!!

Обыскали тщательно весь карцер, раздели до-нага самого Богданова, но не нашли ничего такого, что открывало бы секрет. Богданова заковали в новые кандалы, прибавили к прежнему наказанию еще неделю карцера и снова посадили в темную. Но когда его через три дня переводили в светлый карцер, оказалось, что кольцо опять перепилено. Дав ему отдых в несколько дней, его опять переводят в карцер, на хлеб и воду, но на этот раз уже на целый месяц.

— Ага, вы так, вы мучить меня будете, так вот вам!.. решает Богданов и снова перепиливает кольцо, соединяющее в центре обе цепи, к которым прикованы обручи. Едва он отбыл этот месяц, как его через несколько дней опять сажают в темную. Обончательно рас-свирепевший Богданов не унывает, а Зимберг ломает голову, недо-умевая, откуда же это он пытку достает.

— Как же это вы ухитрились делать? — спросил я Богданова, когда, лежа рядом на больничной койке, он мне рассказывал эту повесть.

— А так, — ответил он, гордо, с чисто детской улыбкой: — поз в карцере цементный, вот и п тру об него всю ночь напролет кан-дальное кольцо... Трень, трень, ну и перетрень... Помучил я таки их немного!..

Когда вновь построенные и перестроенные одиночные корпуса стали наполняться ваторжанами, пришедшими из Петербурга и из других мест, многие политические отказывались кричать при входе начальства *«здравия желаем ваше высокоблагородие»*, что упорно добивалось Главное Тюремное Управление, и за несоблюдение чего Зим-берг упорно наказывал карцером. Находились и такие выдержанные протестанты, которых ничто не могло сломить. Богданов словно ожил, попал в компанию столь смелых и неукротимых арестантов. Когда же севастопольский матрос Филипп Калашников организовал специальную группу для борьбы с тюремным режимом, Богданов, разумеется, одним из первых примкнул к ней.

Участие в подобных выступлениях Богданова, малограмотного парня, ничего общего не имеющего с патентованными политиками, особенно раздражало Зимберга. Несчастный юноша опять стал попа-дать в темную. Живя только на одном арестантском найке, без всякой поддержки с воли, Богданов в конце-концов до того разболелся, что после каждого сидения в карцере его волей-неволей приходилось отправлять в больницу.

* * *

Было это летом 1909 года. По распоряжению Главного Тюремного Управления решено было перевести человек 70 каторжан из Шлиссельбурга в Вологду. Пересылались главным образом каторжане, которые пользовались репутацией неисправных протестантов. Всех нас снова перековали, несмотря на сильнейшую июньскую жару, переодели в отвратительную, рваную, из толстого войлочного сукна одежду, и согнали в отдельное помещение, где дожидался конвой.

Ах, какие у всех были тогда лица... Темножелтые, бескровные, с лихорадочно блестящими глазами и кругами под ними. У многих волосы сильно поредели, некоторые совсем облысели, все истощенные, изможденные. И все это молодежь, не достигшая еще и 30 лет... Некоторых привели сюда прямо из карцера. Гляжу я на вышеупомянутого Филю Калашникова, тоже только что пришедшего из темной, и не узнаю его. Этот всегда цветущий и краснощекий богатырь был похож теперь на привидение... даже печать интеллигентности исчезла со многих лиц. Вот, например, молодой с.-р. Третьяков. От сидения в карцере он до того распух, лицо его сделалось до того испитым и вульгарным, что по виду он походил скорее на типичного тюремного старожилу из уголовных, чем на интеллигента, лишь недавно прибывшего в Шлиссельбург.

Наши вещи, книги, письма и проч. давно уже были осмотрены; нас самих давно уже разместили на специальном пароходике Финляндского общества, конвой с нетерпением переминался с места на место; все уже готово к отплытию. Машинист только и ждал приказа тронуться. Но чего-то все ждали.

На берег у ворот крепости высыпали надзирательские жены и ребятишки, а немного поодаль, как бы подчеркивая свое отличие от плебса, стояли главный врач губернского управления Фехнер и наш тюремный доктор Шапошников со своей толстой супругой. У Шапошникова в руках был фотографический аппарат. Всюду чувствовалось необыкновенное для этой местности оживление. Вероятно с тех пор, как крепость была превращена в государственную тюрьму, из нее ни разу еще не выпускали в один прием такое, сравнительно, большое количество заключенных.

Погода стояла роскошная. Солнце отражалось ослепительным блеском в зеленоватой воде. Дул прохладный ветерок, слегка рябивший мелкие волны. С берега вырисовывались силуэты дач с их зеленой листвой. Крутом царил тишина, изредка нарушаемая отдаленным эхом паровозного свистка да восторженными восклицаниями арестантов.

уж столько времени не выдавших ничего, кроме огромных и высоких стен крепости.

Вдруг среди каторжан, сидевших на палубе, послышался ропот. Головы всех повернулись по направлению к воротам. На лицах тревога, сменявшаяся возмущением.

Смотрю: двое конвойных ведут, точнее тащут за руки какого-то молодого человека, то и дело поддерживающего свои падающие брюки. Грязный и засаленный бушлат расстегнут, блинообразная суконная шапка надвинута на затылок, сам он еле передвигает ноги. Если бы не кандалы, его можно было принять за выходца с того света. Лицо до последней степени истощенное, бледновато-воскового цвета, губы почернели, спеклись и треснули; полужамуренные от ослепительного солнечного света глаза, качающийся и даже падающий походка говорили о крайней усталости и изможденности. Даже, когда юноша этот, войдя с помощью конвойных на пароход, сел на скамью, его приходилось поддерживать с боков, чтобы он не свалился на пол. На лице была гримаса страдания и недоумения. В первые минуты он не мог произнести ни единого слова, издавая странный стон.

То был Александр Богданов.

Оказалось вот что. За полчаса до отъезда этана Богданова вывели из темного карцера и, не говоря ни слова, выпороли. Пороли его с ведома и согласия доктора Шапошникова, который все время его лечил и знал, что он человек больной. Приказание пороть исходило от начальника тюрьмы, Василия Ивановича Зимберга. *Ближайшего повода к этому не было абсолютно никакого.*

— Это тебе в знак памяти от меня!.. — сказал Богданову на прощанье начальник.

. Голубое небо, такое высокое-высокое, было изборозжено несущимися по нем барашками; лучи солнца играли в набегавших друг на дружку и о чем-то шепчущихся волнах. Кругом все цвело и сияло, говорило о жизни и наслаждении, а тут рядом

* * *

По прибытии в Вологодский централ Богданов сразу попал в больницу. Но надорванный организм его уже не мог быть восстановлен — да еще небрежным и неумелым лечением фельдшера Ивана Петровича и вечно пьяного доктора Смирнова. Богданов превратился в какую-то мумию. Лежал он в больнице в кандалах: ни туберкулез, ни давнишнее истечение кандалного срока не могли убедить начальство в необходимости расковки.

Однажды Богданов, вслед за родственным ему по духу бунтарем Ив. Цедзп.ским, питерским соц.-рев. из рабочих, заявил против чего-то протест. и его, и без того дышавшего на ладон, перепесали на простыне из больницы в сырую и полутемную одиночку.

Очень не любивший, чтоб безнадежные каторжани умирали у него в тюрьме, ловкий доктор Шнейдер включил Богданова в список тех кандидатов на тот св-т, которых сп отправлял «на юг», т.-е. в Николаевскую каторжную тюрьму. И если только этот полумертвый юноша не умер в пути во время этапа из Вологды в Николаев, то его наверно очень скоро снесли на арестантское кладбище, обогреваемое «южным» солнцем и поливаемое «южным» дождем. Только там и мог успокоиться этот неутомный, несомненно даровитый и способный юноша, одна из жертв российской действительности.

Его приятель и сопропесник, тихий и смиренный, как рыба, Михайлов, еще в Шлиссельбурге заболел чахоткой. В Вологде я всегда видел его обмотанного марлей и ватой—помимо туберкулеза он схватил еще какую-то сложную горловую болезнь. Вскоре он тоже умер.

Изъятие их из списка живых, на чем в свое время так горячо настаивал прокурор, когда судил их за похищение пальто и часов, все-таки настигло их, хотя и с опозданием на несколько лет. . . .

Так или иначе, — порок наказан!.. Правосудие восторжествовало!.. Да здравствует же правосудие!!

Не выдержал.

Янкель Шубович был очень популярен среди арестантов. Публика частенько подтрунивала над его смешными ужимками и над тою деловитостью и серьезностью, с какой он отвечал на явно иронические вопросы, касавшиеся его прошлого.

Был он очень маленького, почти карликового роста, а густая мочального цвета борода придавала ему вид гнома. Серые, покрытые густыми бровями глаза смотрели на все и на всех испытующе и недоверчиво. Весь он был какой-то высушенный и придавленный, словно ожидающий отовсюду неожиданной напасти.

В первый раз, когда я после месячного «карантина» вышел наконец на прогулку и увидел среди остальных Шубовича, то при всей горечи, уже накопившейся у меня от прелестей Орловского режима, я не мог удержаться от смеха: очень уже комичен был этот сорокалетний человечек, отчаянно размахивающий руками и молодцевато отбивавший такт под беспрерывно раздававшуюся команду:

— Раз. . . два. . . три. . . четыре! . . . Левой! . . . правой! . . . Раз. . . два! . . .

Впоследствии мне удалось познакомиться с Шубовичем поближе. На каторгу попал он вот за что. Знакомый попросился у него ночевать. Шубович принял его, и через некоторое время был арестован. Оказалось, что переночевавший у него человек скрывался от суда, как участник политического убийства. Знал ли Шубович, что его знакомый скрывается от полиции, мне неизвестно. Знаю только, что за укрывательство преступника он получил 12 лет каторги.

К своему несчастью он был сослан в Орловскую каторжную тюрьму, да еще в самый разгар издевательной кампании, когда инспекторами были попеременно фон-Кубе и Сербинков, а начальниками Мацеевич и Синайский. Надзирательские кулаки непрестанно были в ходу, нередко и пахучие длани господ помощников, а то и самого Мацеевича прохаживались по физиономиям арестантов. Издевательствам, побоям, циничному обкрадыванию, казалось, не будет предела. Кормили на-ред

ность плохо. За работу платили гроши. В первое время рабочих книжек совсем не было, но и после их введения расценки оставались нищенские.

Больше всего донимали арестантов работой на так-называемых «хлопках», попросту на канатотрепальне, принадлежавшей подрядчику из города Раевского. Работа урочная: по 12 пудов пакли на машину. Один арестант вертит огромный и тяжелый барабан, снабженный железными зубьями; другой подает старые гнилые канаты; третий прибирает, четвертый вытряхивает, пятый треплет палками и т. д. При этом пыль поднимается такая, что буквально невозможно дышать: рот, нос, уши наполняются вонючей едкой пылью. Этот убийственный труд оплачивался так, что редко кто из арестантов зарабатывал на «хлопках» *больше одной копейки в день*. Из чудовищно низкой платы, которую ловкий, оборотистый подрядчик вносил в казну, 90% оставалось в пользу тюремного ведомства и только 10 копеек с заработанного рубля доставалось арестанту; а тому же, из своего заработка арестант мог сразу расходовать только половину этой микроскопической суммы, другая же половина выдавалась лишь по окончании всего срока каторги. . . .

Этих «хлопков» каторжане боялись, как чумы. Судьба товарищей, которые назначались на эту работу и целымидесятьми заболели чахоткой, говорила достаточно красноречиво. Каждый старался избежать «хлопков» или по крайней мере как можно реже попадать в очередную смену. Находились и такие смельчаки, которые категорически отказывались от этой работы и просили занятий менее вредных. Но в ответ следовали репрессии, так сказать, «законные» репрессии, не говоря уже о домашних мерах исправления. Припоминаю рабочего с.-р. Кострицу: двухнедельный темный карцер, вторичная заковка в ножные кандалы на год и перевод в одиночную камеру, где Кострица—слесарь по профессии, содержался уже без всяких работ—вот что следовало за его отказом работать на «хлопках». Через несколько месяцев Кострица умер от чахотки.

Беда, если кто-нибудь из каторжан не понравится любимцу начальника тюрьмы, старшему надзирателю Степанову, потому и арестанту и подобострастно угодливому к своему патрону.

— Ты, сволочь, на хлопках у меня издохнешь!.. говорил в таких случаях «господин старший». И действительно, таких «издохавших» было у нас много.

Шубович знал и видел, что делают с теми, кто отказывается от этой работы: с.-р. Клява был даже выпорот розгами за подобный отказ. Да и вообще в Орловском центре лишь в редких случаях кто-нибудь позволял себе роскошь ослушания приказа начальства, даже самого низшего. Но вот к удивлению надзирателей и арестантов

Шубович, после того, как он проработал несколько дней на напатотрепальные, набрался смелости и заявил кому следует:

— Чтоб я здесь от чахотки умер, да еще за одну копейку в день? Ни за что! Хотя убейте, но ни за что! Давайте другую работу. . . . Мне и самому не охота без дела сидеть, но губить себя не хочу!..

Ах, сколько у нас бил Шубовича! Как его преследовали, как над ним измывались! Бряд ли кому-нибудь выпало на долю так много побоев, так много оскорблений. Его долго и сверх срока в кандалах держали, целое число раз и в карцер сажали, — а он все упорствует на своем:

— Не пойду на хлоньи, давайте другую работу!..

Нужно самому побывать в положении орловского каторжанина того времени (1908—1913 г.г.), чтоб проникнуться удивлением и восхищением перед стойкостью и выдержкой такого маленького и слабосильного человека, такого забитого на вид своя. При этом, на поддержку и заступничество со стороны остальных арестантов Шубовичу нечего было рассчитывать: каждый дрожал за себя и за свою жизнь; последнее выражение не хлесткая фраза, ибо бывали случаи, когда пных протестантов забивали прямо на-смерть...

Кончилось тем, что начальству надоело возиться с упорным и живучим Шубовичем, тем более, что из провинциальных тюрем приходили новые этапы, все новый материал для «исправления». Дав Шубовичу на прощание усиленную порцию тумаков, его перенесли в одиночку и оставили в покое.

* * *

Единственно, что поддерживало в Шубовиче жизнеспособность — это надежда на всеми ожидавшийся тогда манифест 21 февраля 1913 года. Арестант не может не жить какими-нибудь надеждами, хотя бы на поверку, при более критическом отношении надежды эти оказывались чистейшими химерами. В 1906—1907 г.г., когда еще не исчезла вера в близость новой и притом победоносной революции, заключенные всех тюрем ждали освобождения снизу. Когда же эти надежды лопнули, арестанты стали темнить себя утешениями на счет того, что если «не поможет» кбилей отечественной войны, то наверно дадут скидку по случаю якобы проектируемого бракосочетания царской дочери (все предстоящие кбилей и торжества в царской семье заранее высчитывались). Среди уголовных, главным образом патающихся такими упованиями,езде и всюду находились фантазеры, тсердо верившие сами и уверявшие других, что вот в таком-то году и по такому-то поводу непременно жди манифеста.

На этот раз всеобщие (в том числе и политиков) ожидания были более, чем когда-либо, основательны. Приходившие с воли товарищи все в один голос передавали со слов газет массу новостей и вариантов этого рода. Само тюремное начальство не сомневалось в этом и, предвидя массовое освобождение каторжан, на время настроилось более либерально.

Что касается Шубовича, то он уже десятки и сотни раз высчитывал заранее, когда выйдет на волю в случае, если сбросят половину или три четверти срока, что будет делать дальше, как устроит свою жизнь в Сибири, и т. д.

Наступило наконец 21 февраля 1913 г. Надзиратель торопливо отерывал дверь наших одиночек и, не объясняя, в чем дело, выкрикивает:

— Выходи!.. Становись около церкви!..

Помню, как Шубович с дикорадостно блестящими глазами и покрасневшим лицом не пошел, а прямо побежал в конец коридора, где около церковной площадки стояла уже толпа каторжан, срочных и бессрочных. По одной стороне площадки находились арестанты в своей темно-серой уродливого покроя одежде, в ножных (а бессрочные и в ручных) кандалах, с серо-желтыми изможденными, бескровными лицами, нервные и волнующиеся, с сверкающими особенным огнем глазами. Немного поодаль от них за железными перилами стояла высшая тюремная администрация: помощник инспектора, начальник тюрьмы и его помощники. Внизу же на коридоре первого этажа собрано было человек 50 надзирателей с раскрытыми кобурами. Они весело между собою переговаривались.

Среди арестантов, хотя поминивших, что в присутствии начальства нужно стоять молча и смирно, все время шло глухое и суетливое перешептывание. Даже скептики из политиков, все время смеявшиеся над теми, кто ожидал чего-то хорошего, даже они на момент усомнились в своем скептицизме: до того всем хотелось верить в то, о чем так сильно мечталось. Глаза всех были обращены на маленького, тщедушного товарища прокурора, который стоял рядом с помощником инспектора и держал в руках бумагу.

Воцарилась мертвая тишина. Сердца учащенно забились, а настроившееся ухо готовилось услышать радостную весть, если не о полном освобождении, то хоть о сокращении срока. Каждый мысленно переживал и одно мгновение протекшие годы тюремного сидения, все эти мучительные обиды, это пудное, надрывающее душу томление, всю эту жизнь в неволе, с ее тусклым однообразием и безысходной тоской... Каждый с ужасом думал: «неужели завтра будет то же, что и сегодня»...

Неужели вот и сейчас, через минуту истрадававшемуся арестанту не будет сказано слово облегчения...

— Смирна — а-а!.. — крикнул отделенный Бывших, получив соответствующий знак от Сивайского.

Привыкшие к механическому исполнению приказаний, арестанты моментально прекратили разговоры, опустили руки по швам и впились глазами в товарища прокурора. Как будто чего-то стыдясь, кашлянул несколько раз и часто запынаясь, товарищ прокурора огласил текст высочайшего указа правительствующему сенату.

Чем больше мы вслушивались в его чтение, тем больше росло наше изумление. Оказалось, что кроме осужденных за изнасилование жевшиц, за изготовление фальшивых монет, за мошенничество и за простые убийства, никто из каторжан не получит никакой скидки. О политических, даже если они имеют бессрочную, не было сказано ни слова.

Если бы Шубович совершил какое-либо из упомянутых преступлений, то ему сбросили бы по манифесту одну треть срока. Но он ведь совершил нечто худшее и более ужасное, нечто такое, что говорит о его нравственной испорченности, склонности ко всему антиобщественному и антиморальному... Так как Шубович повинен в умышленном убийстве человека, спасавшегося от каторги, то пусть он и сгинет на каторге...

То, что манифест его совершенно не коснулся, повлияло на него подавляющим образом. Исчезло единственное, что поддерживало бодрость и жизнеспособность. Поцупла пружинка, какая-то центральная точка опоры. Лицо его, и без того бледно-желтое, стало почти совсем мертвым. Как и многие другие, особенно из долгосрочных, оставшихся на прежнем положении, Шубович сразу опустился, обессилел, стал часто прихварывать, редко оставлял одиночку, а когда и выходил на прогулку, то был настолько слаб, что не мог маршировать под команду: раз... два... три... четыре... Проникшись к нему жалостью, старший Калофута на свой риск разрешил ему гулять отдельно вдоль стены, а не вместе с нами по кругу.

Мне хотелось чем-нибудь помочь Шубовичу. Зная, что он до крайности самолюбив и застенчив, что, несмотря на сильную нужду, он никогда ни у кого из заключенных ничего не попросит, я решил преподнести ему маленький сюрприз.

Как раз перед Пасхой я в своем очередном письме к родным попросил прислать непосредственно Шубовичу немного денег на праздник и кроме того устроить так, чтоб он и впредь получал хоть маленькую, но регулярную субсидию.

Дней через десять после сдачи письма в контору меня неожиданно вызывают вниз в телефонную камеру, где помещался кабинет старшего надзирателя одиночного корпуса. Там за столом, покрытым серым арестантским одеялом, сидел заведывающий корпусом помощник начальника Плетнев, высокий молодой человек с большим скучным лицом, длинным слегка вздернутым носом и унылым взглядом больших невыразительных черных глаз. До поступления в тюремные помощники он был студентом. К нам прибыл из Харькова.

Вхожу, становлюсь во фронт и жду, что будет дальше. Пред ним на столе лежит кучка почтовых марок, вырезанных из конвертов. Я сразу соображаю, что это от конфискованных им писем.

— Фамилия?..—спрашивает Плетнев, не оборачиваясь. Я назва-

— Ага... скажи, Щубовича знаешь?..

— Знаю. Он сидит на третьем этаже рядом со мною через камеру.

— Он что ж, родственник твой, брат, сват?—произнес помощник, повышая голос и все еще не удерживая меня взглядом.

— Не брат и не родственник,—возражаю я, догадываясь уже, в чем дело:—а просто больной и несчастный человек.

— А ты здесь кто?.. Адвокат?.. Тебе какое до него дело... Ты здесь первый раз?.. Не знаешь, как письма писать?.. Ишь расфило-софствовался... Торчи над его письмом!..—не унимался его высокоблагородие, уснащая свою речь площадной бранью.

После маленькой паузы наш бывший студент, весь раскрасневшись и злой, поднялся со стула и прокричал мне, на этот раз, глядя прямо в лицо:

— Слушай... так и так твою мать... твоё письмо я разорвал, а если еще раз, то и вовсе линию переписки... понял... Ступай!..

Здесь требуется маленькое пояснение. Дело в том, что по правилам, выработанным Главным Тюремным Управлением, каторжанин может переписываться и получать письма и деньги только от самых близких кровных и притом законных родственников. Однако в действительности распоряжение это на местах не везде и не всегда соблюдается, и деньги, пересылаемые каторжанину в тюрьму, принимаются не от одних только законных родственников. Вообще же соблюдение этого правила, как и всех других распоряжений высшего начальства, зависит всецело от того, человек или же только тюремщик—тот помощник начальника, который заведывает данным отделом. Иной сразу же передаст их по назначению, а иной бессовестно-добросовестный служака, получив с почты повестку, с неподходящей фамилией отправителя, предпримет расследование, а то и просто отошлет повестку обратно, не уведомляя заинтересованного арестанта.

Плетнев и оказался таким служакой. Благодаря его усердию, я лишился письма (больше одного раза в месяц и больше чем на одном листочке писать не полагалось), а Шубович лишился возможной поддержки, столь необходимой ему. Нелегальной переписки с волей у меня тогда не было, и устроить это небольшое дело как-нибудь иначе я не мог.

* * *

В мае 1913 г. Шубович почти каждый день вызывал фельдшера. У него быстро развивался туберкулез, а доктор только то и делал, что кормил порошками да поил каплями. Шубович требовал улучшенной пищи, просился в больницу, но так как нельзя было с уверенностью решить, что он умрет в скором времени, то его в больницу не брали. На этой почве происходили частые пререкания с фельдшером, грубым и ворчливым стариком, прошедшим курс медицины в солдатском лазарете чуть ли еще не во времена очаковские.

Однажды днем Шубович вызвал отделенного надзирателя Бывших. О чем у них шел разговор, не знаю, только из своей одиночки я услышал обычную похабную брань тюремного дятла, а затем и столь же обычные у нас звуки удара по щеке. Вечером дежурным по тюрьме был старший помощник начальника Семашко, типичный администратор орловской формации: грубый, надменный, всегда смотревший зверем, собственноручно бивший арестантов, а в качестве заведывающего всеми мастерскими беззастенчиво обрабатывавший арестантов-мастеровых.

В одиночном корпусе поперка обыкновенно делается через форточку, но на этот раз Семашко вышел к Шубовичу прямо в камеру. Шубович долго, громко и возбужденно на что-то жаловался и под конец разрыдался. В чем было дело, я не мог разобрать, как ни прислушивался: Шубович говорил торопливо и захлебывался. В результате он очутился в карцере. Никто, ни его ближайшие соседи, ни всеведущие коридорщики не могли объяснить толком, за что Семашко посадил его в темную.

Для через два на утренней поверке произошла маленькая заминка. Открывается дверь первого карцера. Отделенный Бывших по обыкновению кричит: «Смирно-о... Одно...» и хочет уже пройти к следующему карцеру, но остановился, зашел в темную и заорал:

— Ты чего лежишь... Сво-о-лочь!.. Не слышишь, что поверка идет?! Вставай!.. Тебе говорят!..

Но Шубович не вставал. Тогда в карцер заходит помощник и сопровождающие его, как всегда, старший Калофутто и дежурный по

тюрьме надзиратель. Через несколько минут все они выходят и, как ни чем не бывало, продолжают свое дело.

— Одип... Два... Три... Пять... Семь...— снова раздался голос отделения, считавшего арестантов.

Не встал же Шубович на поверку потому, что был мертв.

Обыкновенно перед тем, как посадить каторжанина в карцер, у него отнимают не только ремень от кандалов, но даже носовой платок и портфель. Не знаю, чем именно обосновывают это правило ученые теоретики тюремного дела: желанием ли усугубить наказание или намерением предупредить возможность самоубийства. Если последним, то цель этим не достигается, так как арестант, дошедший до такого состояния, что хочет лишить себя жизни, всегда найдет способ к этому ¹⁾.

Случаев, подобных описанным выше в примечании, можно было бы привести еще больше.

В наших же орловских карцерах, кроме ничем не прикрытых низенького деревянного помоста на асфальтовом полу, навсвязь провешенной парашей да медной кружки с сырой водой—нет ничего другого. Раздобыть что-нибудь вроде веревки, так же, как и пригнать к чему-нибудь петлю, там решительно невозможно. Остается предположить, что Шубович оторвал доску своей арестантской рубашки, сделал из него петлю и задушил себя собственными руками...

До какой степени отчаяния должен был дойти этот человек, до чего он должен был упасть духом! Но, в то же время, до чего должна быть у него сильная воля, чтобы таким образом лишить себя жизни!..

¹⁾ Мне вспоминается декабрист Сухинов, приговоренный к 400 ударов кнутом и к расстрелу за попытку устроить грандиозный побег всех своих товарищей по каторге. В ночь перед экзекуцией он привязал ремень от кандалов к деревянному колу под нарами и почти в лежачем положении удавился...

Не мало таких случаев было с арестантами и в наши годы. Мне, например, рассказывали про молоденькую лет 18 курянку Доросеву, посаженную в 1906 году в Петропавловскую крепость по делу петроградских с.-р. максималистов. Узнав о казни своего мужа студента—она сперва впала в забытие, а очнувшись, устроила подставку из четырех расшитых томов объемистой «Истории Искусств» П. Гаврича, подобралась к форточке высокого окна каземата и повесилась на собственной косе...

В апреле 1907 г. политический Шахов, сидевший в губернской тюрьме в Москве, повесился на веревке, сделанной из ниток—выдернутых из белья.—Другой заключенный, Бердягин, в том же году перерезал себе горло посредством отточенной чайной ложечки—В Рязи политический Заявляковский зарезался жестялкой от коробки из-под килек. В Нижнем-Новгороде в октябре 1908 г. пекий Вдруков проколол себе сердце самодельной железкой.—В Тамбове в марте 1909 г. уголовный перерезал себе артерии на обеих руках посредством отточенного ковшика стального пера.—В том же году в Киеве один арестант повесился на тюремной решетке, привязав к ней свой кандалый ремень...

Многострадаальный.

... На вокзал меня привели прямо из Подольской тюрьмы. Было еще очень рано. На вокзале никого не было, если не считать заспанного, оборванного мальчишки, которого выгонял высокий и здоровенный жандарм,—да человек пять железнодорожных рабочих и их жен. Мой вид: кандалы, арестантская одежда, большая пачка книг—не мог не обратить на себя внимания. Находившаяся на станции публика подошла ко мне почти вплотную и с любопытством разглядывала. Одна из женщин, подумав немного, вынула кошелек и через конвойного подала мне серебряный гривенник. Вслед за нею пожилой рабочий сделал то же, подарив четвертак. Я был очень тронут их вниманием и, не желая обидеть их, принял обе монеты.

Раздался звонок: приближался поезд. Меня вывели на платформу. С помощью конвойного я взобрался на высокую подножку арестантского вагона и чуть было не упал из-за своих кандалов. В вагоне этом было до того густо набито народом, что я долго не находил места ни себе, ни своим вещам. Даже разуться для осмотра кандалов мне пришлось чуть ли не стоя. Потом, кое-как пристроив свои вещи, я притулился к одной группе пересыльных, в которой шел оживленный разговор. Молодой конвойный, на вид очень симпатичный, рассказывал окружающим про дело крестьянина Пыльных, — депутата Второй Государственной Думы, обвинявшегося по делу так-назв. Курской республики и вместе со своим сыном приговоренного судом к смертной казни. Сочувствие конвойного и окружающих было всецело на стороне осужденных.

Обращался конвойный, главным образом, к молодому человеку, густоволосому брюнету в очках, одетому в штатское с форменной фуражкой на голове. С этим студентом я вскоре познакомился. За принадлежность к с.-р. организации он получил два года крепости и после долгих ходатайств добился перевода из Орловской губернской тюрьмы, где он начал отбывать наказание, в Петербургскую.

Рядом с этим кудрявым «крепостником» сидел пожилой человек, молчаливый и угрюмый, одетый в лохмотья: на голове у него был совершенно полинялый котелок, на ногах, обмотанных тряпками, одни лишь глубокие валошны. Держался он солидно, отвечал степенно и довольно литературно. От конвойных я узнал, что это босняк из сипавишских прибалтийских баронов. Сейчас его отпращивали из Ростова на Дону в Ригу. Возле него на самом краю скамейки сидел обтрепанный слезливый мальчик с худеньким и старческим лицом. Высылался он на родину в Тверскую губернию за попрошайничество. На мой вопрос о родителях, он только ответил:

— Есть мамка... Она все дерется и отбирает у меня копейки... Я и убежал от нее... а когда забрали в часть, то сказал, что паспорта не имею.

Когда мы прибыли в Московскую пересылку, я видел, как этого мальчика посадили в особую камеру, предназначенную специально для пересылаемых малолетних. Но по правде сказать, эти малолетние, большею частью мелкие воришки, еще больше испорчены, чем взрослые, и проделывают они такие гадости, на которые не всегда способен пожилой арестант. В этих «изоляторах», будь то специальная пересыльная камера или неправительственное заведение, малолетние еще больше развращают друг друга.

Против этой группы, то и дело перебрасываясь словечками с пересыльными женщинами, должно быть, проститутками, сидело два здоровеннейших хохла в светлых свитках и в высоких смушковых шапках; оба с огромными руками, с корявыми пальцами и крепкими, ровными, ослепительно белыми, зубами. Шли они из Полтавской губернии в Архангельскую по приговору крестьянского общества. Высылали их сход за то, что они «держали руку панов», т. е. не примкнули к забастовке, устроенной на одной из тамошних помещичьих экономий.

К сожалению, я не успел расспросить подробнее об этом чисто анекдотическом случае, как я не успел хорошенько рассмотреть остальную публику, переполнявшую душный, грязный и вонючий арестантский вагон: я спешил вдоволь наговориться с вышеупомянутым «крепостником». От него я хотел узнать побольше восточных политических, партийных, литературных, недоступных мне, как каторжанину. Между прочим он подробно передавал мне содержание сборника «Вехи», много шумевшего в свое время и вызвавшего даже, по его словам, целую литературу. «Крепостник» шумливо и многословно поругивал всех «социалистов-фресеров», — как он называл Струве, Изгоева и других авторов сборника.

— Но кто меня особенно удивляет из «веховцев», — громко ораторствовал он, — так это Гершензон. Как же! Подумайте! Еврей по

происхождению и чуть ли не славянофил по симпатиям!... Ему бы бердичевский «маюфес» танцевать, а он вот-вот истинно-русскую камаринскую запляшет... А Изгоев!.. Он ведь вовсе не из «гоев», а крещеный еврей!.. Факт!.. Удивительная нация эти евреи!—не унимался мой собеседник, вдохновляясь все больше и больше—очевидно, он давно уже не имел такого подходящего слушателя. К чему только евреи не приспособляются. Возьмите за границу: и Лассаль—виднейший социалист, и Ласкер—виднейший либерал, и профессор Шталь—виднейший реакционер—все это евреи!.. Беру это я энциклопедию Ефрона или Граната, читаю: «Неандер—выдающийся историк христианской церкви—родом еврей»... Как это вам нравится, а... Даже знаменитый католический инквизитор Торресемада, ведь он тоже из евреев!.. Факт! Я вам говорю... Ну, и нация!.. Что за глупая психика! Вот уж действительно «избранный народ»! Ей-Богу, женюсь на еврейке!—сострил он после небольшой паузы и первый же громко и раскатисто рассмеется.

— Да, у жидков котелок работает, хл-и-трый, башковитый пародец!..—подтвердил молодой конвойный, тот самый, который рассказывал про дело трудовика Пьяных.

— А вы, товарищ, вспомните еще Алтокольского, Левитала, Надсона, или моего земляка Шейна—сест такой исследователь великорусского быта,—обратился к «крепостнику» арестант в кандалах, прислушивавшийся к разговору из-за перегородки соседнего купе,—все они по происхождению евреи, а по творчеству более русские, чем многие из истинно - русских...

Я с удивлением посмотрел на говорившего. Никак я не ожидал, чтобы такие внижные слова исходили от этого похожего на бродягу парня.

Представьте себе молодого человека лет 26 - 27. На ногах у него тяжелые кандалы, невероятно грязные, запятанные арестантские штаны с разрезами по обе стороны и двумя рядами разных цветов и размеров пуговиц. На голове плоская блинообразная засаленная шапка, то и дело наезавшая на глаза. Длинный халат с двумя тузами на спине—очевидно, халату этому много лет—и полушубок коричневого цвета дополняют костюм. По халату и полушубку ползали большие, жирные, темноватые вши, но тот, чью кровь они пили, казалось, мало обращал на это внимания!.. Этаких, особенно идущих из глухой провинции, вообще снаряжают в дорогу как попало, выбирают для них самую завалявшуюся рвань, но этот арестант был одет чересчур уж скверно и безобразно.

Но чем он особенно обращал на себя внимание, так это не своим темно-серым лицом, малокровным, с бледными деснами, не своими, видно, давно уже немтыми, руками с длинными грязными ногтями,

не грязнейшей шеей—картина эта слишком знакома всякому, кто часто находился в этапе,—а своими глазами, горевшими каким-то лихорадочным блеском. В глазах этих застыл недоуменный страдальческий взгляд, который говорит о большом пережитом горе. Эти жалобные, чего-то просящие глаза еще и сейчас стоят передо мной.

Погруженный в разглядывание этой фигуры, я уже не слушал перестававшего громко ораторствовать «крепостника».

— Это что за каторжанин? — шепнул я ему, кивнув в сторону арестанта в кандалах.

— Это пока еще не каторжанин... Это будущий каторжанин... Он с.р., идет из Киева в Архангельск. Потолкуйте с ним, любопытный тип. Вы с ним дойдете до Вологды...

— Ну, готовься!.. Одевайся!.. Собирай вещи!..—прервал наш разговор громкий голос конвойного.

От Подольска до Москвы несколько часов езды, но конвойные чуть ли не за час до прибытия на место предупреждают об этом.

— Вот мы и в Москве подъезжаем. Скоро будем в Бутырьках. Надо готовиться,—сказал мне «крепостник», вытаскивая из-под скамьи огромный узел с вещами. Надев высокий и тесный двойной воротничек и мажеты, переменяя очки на пенсне, он стал расчесывать свои на-редкость густые кудри, то и дело с удовлетворением поглядывая в маленькое зеркальце. Поймав мой удивленный взгляд, он немного смущился и промолвил:

— Знаете, как ни говорите, а внешний вид много значит... По одежде встречают, по одежде и провожают. Факт!.. Мне с тюремщиками иметь дело придется, а им фасон подавай...—Тут же он посоветовал мне, встать, вытащить мои книги из мешка и на улицах Москвы идти с ними в первом ряду, громче позванивая кандалами.

— Пусть публика видит,—добавил он:—это создает впечатление...

* * *

В Москве в Бутырьках мы пробыли дней пять, после чего через Ярославль двинулись на Вологду. За это время я успел коротко сойтись с Пандурским, как звали моего нового знакомого в кандалах и арестантской одежде.

На вид он мне показался лет 26, но в действительности ему было не больше 20. Будучи воспитанником Могилевского земледельческого училища, он входил в один из с.р-ских кружков. Между прочим, молодые с.р., выполняя поручения городского комитета, прятали в училищном саду и огороде оболочки от бомб и оружие; и то время (1906 г.) террористическое настроение крепко владело умами револю-

ционной молодежи. Полиция пронюхала о хранящемся в училище оружии и арестовала несколько человек, в том числе и Пандурского. Серьезных улик против него, однако, не было, и он отделался простой ссылкой в Архангельскую губернию.

Среди политических ссыльных того медвежьего уголка, куда судьба или рок, олицетворенный у нас полицейским усмотрением, загнул Пандурского, проживала, между прочим, учительница латышка, административно высланная из Митавы. Колония политических позоревала ее в сношениях с полицией. Собрав справки и убедившись в своих предположениях, коллектив колонии решил «излить» ее из своей среды. Убить ее взялся Пандурский.

Покушение сделано было не совсем удачно: револьвер был старый, и Пандурский только ранил ее. Опасаясь ареста и суда, он бежал из ссылки. Покитавшись по разным городам, потерпевшись голоду и холоду, не зная, за что взялся, он с большими трудностями и приключениями добрался наконец до отчего дома. Очень трогательно, с дрожащим от волнения голосом рассказывал мне Пандурский, как поздно ночью, постучавши в окно, и, чтобы не производить шума, не назвавши своего настоящего имени, он попросил ночлега. Его устроили на сеновале (отец его арендовал небольшой почтовый тракт в уездной группе Могилевской губ.), а на утро мать, не знаяшая еще, кто он, послала к нему младшего сына с молоком и хлебом. Посадив к себе на колени братишку, давно не видавшего и не узнавшего его, Пандурский стал расспрашивать об отце, находившемся в отъезде, и об остальных братьях, учившихся в городе. Долгие месяцы тюрьмы, утомительное и изнурительное страствование по этапу из Могилева в Архангельск, наконец, еще большие мытарства и лишения, которые ему пришлось пережить на обратном пути, настолько изменили его наружность, что его, обросшего бородой, даже мать не сразу узнала.

У родных Пандурский прожил не долго. Полиция, предупрежденная из места ссылки, стала следить за квартирой Пандурских и в конце-концов поймала беглеца. Ему пришлось теперь вторично начать шествие в далекий Архангельск, опять пошел тюрьмы, этапы, пересылки. По прибытии на место ссылки, его сразу же посадили в тюрьму. То, что его ожидала каторга, весьма его тревожило, и с помощью товарищей с воли и подкупленного надзирателя он счастливо бежал из тюрьмы. Запасшись надлежащими явками, он направил свой путь в один из ссыльных пунктов Архангельской губернии.

Он рассчитывал отдохнуть с месяц у товарища, а затем двинуться дальше в Россию, а если удастся, то еще и дальше — за границу. Остановился он в Тотме, уездном городишке Вологодской гу-

беряги, но не успел еще устроиться там, как сразу же обратил на себя внимание полиции, быть может, получившей какие-нибудь инструкции из Архангельска. Допрошенный исправником и запутавшись в показаниях, он только возбудил против себя целый ряд подозрений и был арестован.

Отправляя его в губернский город, исправник совершил промах; сдал его конвойным, не заковав его в кандалы и не переоден в арестантский костюм.

Вологодская пересыльная тюрьма совершенно отделена от губернской тюрьмы, помещающейся, как обыкновенно, на окраине города. В виду того, что через Вологду проходили целые тысячи политических ссыльных, тюремное начальство кое-как приспособило под пересылку частный дом в самом городе. Окна этого дома выходят прямо на улицу. В этой пересылке всегда масса народу, отдельных камер почти нет, все категории и возрасты между собой перепутаны, так что арестант, одетый даже во все казенное, может найти способ дать тягу. Во всяком случае, бежать оттуда гораздо легче, чем из обыкновенной, «настоящей» тюрьмы. Пандурский и воспользовался первым подходящим случаем.

Как-то вечером, незадолго до проверки, надзиратель подошел к решетчатой двери и крикнул, стараясь перекрычать шум и гам, назвавшийся камеру.

— Эй, тише там!.. Беря двое парашку и несп сюда! Двое за ужином! Одни за кипятком!..

Пандурский и еще один парень первыми ухватались за большой и широкий деревянный упат, круглые сутки стоявший в камере. Надзиратель, не зная, кто такой Пандурский, полагая, быть может, что это обыкновенный «кутыркада» или простой беспаспортный, молча простил их на двор, указав, куда надо вылить содержимое парашки, а сам остался поджидать их на лестнице.

— Живо там!.. Не копайся, — крикнул он им вдогонку.

Но Пандурский и не думал «копаться». Выйдя на двор и, взобравшись с помощью второго парня на деревянный забор соседнего дома, он очень «живо» спустился в садик, затем перескочил через частокол в другой двор и, как ни в чем не бывало, вышел на людную (по местному масштабу) улицу. Одетый в собственное платье и не вызывая ни к кому подозрения, он присоединился к пешеходам и исчез из виду.

Было это около шести часов вечера. Обнаружив исчезновение Пандурского, надзиратель, едва дождавшись смены, побежал на вокзал, подняв на ноги всех станционных жандармов. Но поиски их ни к чему не привели: Пандурского нигде не оказалось.

Пандурский между тем, очутившись в совершенно незнакомом городе, растерялся. Итти на вокзал рискованно. У него имелся адрес одного студента, тоже политического ссыльного, хорошо устроившегося. Дождавшись, пока окончательно стемнеет, Пандурский с трудом и опаской добрался до нужной ему квартиры. Но тут ему не повезло. Горничная, отворившая ему дверь, наотрез отказалась впустить его.

— Барина дома нет... Велели сказать, что никого нет дома!—все твердила она. Между тем из дальних комнат доносилось пение молодых мужских голосов, кто-то играл на пианино, слышен был звонкий женский смех. Своей настойчивостью Пандурский все-таки добился свидания с «барином», но товарищ этот, выслушав наскоро его торопливый рассказ, ответил ему категорически:

— Я вас, к сожалению, не знаю, ничего для вас сделать не могу. Извините, но ничем не могу помочь вам,—повторил он, глядя в сторону и нетерпеливо дожидаясь, чтобы тот поскорей ушел.

— Поверите, я чуть не заплакал от обиды и досады,—прибавил Пандурский, рассказывая мне об этом.—Тоже «товарищ» называется!

Но делать нечего. Не в тюрьму же обратно итти. Пандурский кое-как прилепился на вокзал. Денег у него было с собой очень мало. Ехать «зайцем» в его положении было невозможно. Тогда он, минуя освещенную станцию, лавируя между вагонами, пробрался к готовому уже двинуться паровозу. Не имея решительно никакого иного выхода, побуждаемый отчаянием, Пандурский пошел на риск и обратился за помощью к возникшемуся у топки машинисту.

Гладкая речь, искренний тон и умоляющий взгляд больших черных глаз, должно быть, убедили машиниста, что пред ним действительно беглый политический. Не долго думая, он взял его к себе на паровоз, надел на него запатканную машинным маслом блузу и в таком виде благополучно довез до конца своего маршрута. При прощании он дал из своих собственных денег пять рублей и порекомендовал его другому знакомому машинисту. Этот передал его потом третьему.

Перебираясь таким образом со станции на станцию, делая зигзаги и повороты, Пандурский добрался до Урала. От своего последнего проводника-машиниста он получил некоторые адреса и, очутившись в Екатеринбурге, остановился у железнодорожного рабочего. Планы у него были такие: достать паспорт, найти хоть какую бы то ни было работу и некоторое время прожить как можно тише. Но обстоятельства сложились иначе.

С рабочими он сошелся очень скоро. Узнав, что несколько молодых рабочих, уволенных с железнодорожных мастерских и долго сви-

тавшихся без дела, решили «сделать экс», Пандурский, который временами и сам подумывал о таком способе выйти из затруднительного денежного положения, охотно присоединился к ним. Имея надежные предварительные сведения, они вчетвером ограбили железнодорожную кассу на маленькой и глухой станции. Без большого шума, без единого выстрела, никого не убив и не ранив, они забрали пять тысяч рублей и благополучно ушли.

Получив на свой паёк около тысячи рублей, Пандурский оделся поприличнее и, купив билет первого класса, все еще без паспорта, поехал в родные палестинки.

У него имелись связи в Кневе, и там-то он решил сделать длительную остановку. Долгое время он удачно скрывался, ночуя то у одного, то у другого. Но по легкомыслию или любопытства ради, ему вздумалось пойти со своими знакомыми на партийное собрание. Как известно, человек предполагает, а полиция располагает. Собрание было прослежено, и вместе с остальными в участок попал и Пандурский.

Паспорта нет... за спиной два побега, покушение на убийство, маленький экс... А тут еще в шиджаке деньги защиты, — тоже подозрение вызовет... Как же быть?... — лихорадочно заработал его мозг, пока его вели на извозчике в участок. В нескольких энергичных выражениях он предложил вещему его околодочному почти все бывшие при нем деньги. Околодочный не устоял от искушения получить сумму—равную чуть ли не его годовому жалованью, и почти у ворот участка Пандурский получает свободу. Не медля ни секунды, он отправляется на вокзал и с мучительным нетерпением ожидает прихода поезда. Но не успел он напиться чаю, как его неожиданно потребовали прямо из буфета в жандармскую комнату и učinили допрос.

То ли околодочного выдал кто-нибудь из городских, присутствовавших при аресте, или и дело вмешалось новое обстоятельство, но когда Пандурского привели обратно в полицию, с него уже сняли два допроса: первый—по поводу собрания,—на котором он был арестован, а другой—по делу околодочного надзирателя, уличенного в взяточничестве и содействии побегу арестованного.

Теперь Пандурского держат уже покрепче. Он хотя и назвался чужим именем и придумал на-спех какое-то объяснение по поводу оказавшихся у него семисот рублей, но его не выпускали до тех пор, пока все не открылось. С особыми предписаниями, с кандалами на ногах, в рваном и грязном этапном наряде, измученный и обобщивший, он теперь и пересылается обратно в Архангельск. Тут-то на станции Подольск, возле Москвы, в поезде, идущем из Курска, а с ним и встретился.

* * *

Не пужно иметь особенно богатое воображение, чтобы понять, что скрывается под моим кратким и сухим рассказом, сколько страданий и горя, сколько страхов и волнений пришлось пережить этому несчастному юноше. Недаром он кажется лет на пять старше своего действительного возраста, не даром в его глазах застыли усталость и мука, а ведь то, что ему еще предстоит пережить, гораздо хуже того, что уже осталось позади.

— Эх, найти бы теперь лазейку, — вздыхал он: — уж не попался бы как кур во щи!.. И дернул меня чорт на собрание пойти!.. как будто я не знал разницу между максималистами и анархистами!..

— А что бы вы сделали, если бы удалось уйти теперь? — спросил я.

— Укатил бы куда-нибудь в глушь, в Сибирь, на Алтай или на Амур, все равно, лишь бы подальше, раздобыл бы себе подходящий паспорт и занялся бы каким-нибудь делом — огородничеством, — например. Политику и партию бросил бы совершенно. Зажил бы как все... Довольно!.. Надоело все это!.. И с.р., и большевики, и анархисты!..

— Зачем так строго, — возразил я. — Ну, отдохнули бы немного, а там опять за какую-нибудь общественную работу. Что это за жизнь без общественности?.. Волого, обывательщина!..

— Да ну ее к чорту, эту вашу общественность!.. — перебил меня Пандурский, неожиданно и грубовато огрызаясь и делая сердитый жест рукой: — она разбила всю мою жизнь, всего меня искалечила, эта политика!.. Подумайте ка, мне лишь 21 год, а сколько я уж по тюрьмам патаюсь?! А впереди?.. На что уйдет моя молодость?.. Главное, кому я всем этим пользу принесу?.. Пролетариату?.. крестьянству?.. революции... Смешно!.. Ну скажите, кому все это нужно, кому?? Нет, вы скажите! — повторял Пандурский с истерическими нотками в голосе.

Он закурил губы и отвернул голову в сторону. На глазах у него блеснули слезы.

Я тоже был взволнован. Те сухие и рассудочные возражения, которые я бы мог ему сделать, были, я чувствовал это, совершенно неуместны и излишни. Я замолчал и, подобрав кандалы, зашагал по камере

Когда мы стали подъезжать к Вологде, Пандурский встрепенулся. Дело в том, что он опасался, как бы его не узнали в этапном помещении и не стали бы бить.

— При теперешнем своем настроении,— говорил он:—я не могу за себя поручиться: на удар ответчу ударом... будь что будет!.. пусть потом повесят!—прибавил он истерически.

— Вот что, предложил я: — я не отойду от вас ни на шаг, и, если вас начнут бить, я подниму шум и крик... скандал устрою...

Пришли в Вологду. Привели нас в ту самую импровизированную пересылку, из которой Пандурский в свое время бежал. Как будто нарочно, этап принимает тот самый помощник Исполатов и тот самый отделенный Панфилов, во время дежурства которых Пандурский ушел, взявшись вынести парашку. Выстроили нас в узеньком совершенно темном коридоре, и конвойный писарь, разложив на столе бумаги, стал выкликать арестантов, начиная, как всегда, с ваторжан и поселенцев. Услышав фамилию Пандурского, помощник Исполатов чуть не вскочил от радости. Подойдя вплотную к Пандурскому, он стал смотреть ему в лицо.

— Ага, Пандурский, Пандурский!.. Ну-ка, покажись, покажись, молодчик!.. Ну, да, это он и есть!.. Ну, что, молодчик, попался! Думал, далеко от нас уйдешь? Не-ет, брат, шалишь, шалишь, молодчик. В;емена не те!..

Вслед за Исполатовым к Пандурскому подскочил надзиратель Панфилов. Глаза сверкают, зубы оскалены, сам он от злобы рычит. Сжавши кулаки, он устремился на мертвенно-бледного Пандурского:

— Из-за тебя, сволоча этакого, меня оштрафовали, чуть с места не спихнули... Я с тобой еще рассчитаюсь... Постой ты у меня!..

— Вас значит напрасно оштрафовали! — вмешался я, чтобы отвлечь внимание от Пандурского. — Ведь виноваты не вы, а те, кто прислал его к вам без кандалов и в собственной одежде. Ведь вы же не знали, что он за птица. Ираво, вас напрасно оштрафовали,—симулировал я сочувствие потерпевшему.

— Вот это и верно! — сказал молчавший все время конвойный писарь, худощавый брюнет с вдумчивым лицом и удивительно умными глазами.—Присылают человека и без особых предписаний, а ты и отвечаешь за это!..

— Пожалуй, что и так, — буркнул помощник и торопливо принялся громко перечислять казенные вещи Пандурского.

Столкновение было предупреждено. Через полчаса нас обоих и еще одного пожилого арестанта-аграрника, шедшего на суд за побег из арестантских рот, отвели прямо в губернскую тюрьму: из всего этапа только мы трое были в кандалах, и Исполатов не решился оставить нас на ночь в этой пересылке.

У меня в конторе было три рубля собственных денег, и я хотел передать их Пандурскому, у которого не было ни куска сахара и

которому предстояло еще ждать этапа в Архангельск, однако начальство ни за что не разрешило этого:

— Не подлагается!..—был ответ.—Да еще Пандурскому! Его, прохвоста, выпороть бы надо, а не то что сахаром кормить!..

На следующий день я с Пандурским расстался. Пришли двое конвойных солдат и отвели меня в каторжный централ....

БЫВШИЙ БОЕВИК.

Викентий Болеславский, как звали моего соседа по одиночке, был молодой, лет 26-ти человек, черномазый, черноволосый, слегка сутулый, с печатью усталости, страдания и озлобленного упорства на лице. Осужден он был за несколько ограблений, теперь же ему предстояло судиться за совершенные им, отчаянные по замыслу побеги.

Парень он впечатлительный и отзывчивый, с долей самостоятельности; если его и не назовешь героем, то все же он далеко не трус, способен на многие нештучные поступки, хорошо сознавая все их последствия. Он очень обидчив, излишне тщеславен и порою мелочно самолюбив, крайне распушен в своих желаниях и прихотях,—отбора им никогда не делает. Отсюда его способность настойчиво и с жертвами добиваться осуществления любого каприза.

Прошлое Болеславского необычайно богато и пестро. Начал он с активного участия в социалистической организации, а кончил чуть ли не профессиональным бандитом. Такое превращение характерно для целой категории каторжан из рабочей молодежи. В этом смысле в биографии и эволюции Болеславского много черт в высшей степени типических.

Вот его исповедь.

* * *

Я совсем еще молод, а как вспомню свое прошлое, то кажется, я прожил уж Бог знает, как долго.

Вспоминаю родных: семья у нас большая—отец, мать, сестренка и пятеро братишек, один другого меньше. Отец, человек тихий и добрый, был убежденный социалист и входил в партию п. п. с. Вся семья кормилась его трудом. Не жалея сил, он работал, можно сказать, день и ночь, сторбизвшись над столярным верстаком. Я же зимою ходил в городское училище, а летом иногда помогал ему по работе. Много он, бывало, рассказывал в такие часы о пережитых горестях и радо-

стих. Говорил со мною, точно со взрослым, и посвящал во все уголки жизненной мудрости.

— Живи, учись и будь человеком!—так всегда оканчивал он свои рассказы, обладая меня долгим взглядом больших, грустных глаз.

Не стану говорить, как велика была моя к нему любовь. Достаточно бывало одного его слова, чтоб из упрямого и буйного я сразу стал тихим и послушным. Вот уж пять лет прошло, как он помер, и часто-часто я мучительно срадаю, как подумаю: что бы он сказал, если бы знал, по какой дороге я сватился... Но ничего не поделаешь!

Отец часто приносил нелегальную литературу. Я ее читал с большим интересом и быстро загорался нетерпеливым желанием поскорее пустить свой пыл в действие. Мне нужны были какие-нибудь слушатели,—и вот я ходил с этими брошюрами к знакомому сапожнику и там читал все вслух. Однажды, это было в 1904 г., во время такого чтения входит пожилой мужчина. Я оборвал на полуслове и из осторожности загорелся книжку рукой.

— Ничего, ничего не бойся, это свой,—успокоил меня хозяин.

— А что это вы почитываете?—заговорил вошедший.

Потолковали о том, о сем. Узнав, что мне очень хотелось бы не только брошюрки читать, но и что-нибудь делать, он предложил мне вступить в партию и дал адрес своей квартиры.

Дли через два, вечером, часов в семь, я вышел из дому, не сказав отцу, для какой цели, потому что боялся, чтоб он не помешал, в виду моей молодости.

Бутрым,—так звали моего нового руководителя,—был дома, когда я спустился к нему в подвальный этаж. Он сейчас же накинул пальто и, не дав мне оглядеться, вывел меня на улицу. По дороге зашел в трактир, купил сотку волки, которую мы выпили пополам. Всю дорогу он расхваливал значение своей партии, а другие партии корил и зорюгивал.

— и. п. с.—это шапка шарлатанов... Это убийцы, грабители,—пронически критиковал он другую организацию, враждебную его убеждениям.—Если там и есть что хорошее,—продолжал он, понижая голос и наклоняясь к самому моему уху,—так это только такие молодяки, как вы, неопытные и доверчивые...

Мы свернули в переулок и вошли в большой дом.

— Здесь собрание,—пояснил Бутрым:—я вас нарочно подгадал прийти в такой день. Это для первого знакомства очень хорошо.

Не без любопытства и некоторой доли торжественной важности в душе вошел я в большую и высокую комнату, наваленную членами организации. Тут были пожилые мужчины, парни, девушки; кто сидел,

кто стоял; а иные, собравшись вучей в уголок, горячо о чем-то спорили. Мне никогда еще не приходилось бывать на таких тайных собраниях. Отец, в виду моей молодости, не доверял мне; а мать прямо говорила, что молоко на губах еще не обсохло, а тоже в партию суется. Теперь я не мог не торжествовать в душе, что вот буду считаться наравне с взрослыми, и осуществлять мои давнишние мечты действовать против обидчиков народа.

На душе было радостно и весело, как в праздник какой. Открылась совсем другая жизнь, жизнь не в стенах дома, а полная чего-то таинственного и заманчивого. В.т. Вутрым подводит меня к молодому мужчине по кличке «Чос».

— Новелький...—рекомендует он.

— Сидитесь, товарищ,—запросто обращается ко мне Чос, пожимая руку.

Разговаривались. Он спрашивает, чем занимаюсь, знаю ли какое мастерство. Из болзни прослыть шалопаем, я назвался столяром.

— Ах, вы столяр!—обрадовался Чос:—значит вы должны быть знакомы с фабрикой Карманского!

— Там м.й отец 12 лет работал,—ответил я;—я ее хорошо знаю.

— Не можете ли вы завести сношения? А то от наших там ни одного представителя.

— Это я сделаю,—ответил я с уверенностью.—Там работал мой дядя, и через него я надеялся все устроить.

Как я узнал потом, Чос давно уже стремился связаться с фабрикой Карманского, где очень сильны были п. п. с-овцы. Тут же Чос окрестил меня кличкой «квасак», достал книгу п.окламаций и, прощаясь, пожелал полного успеха. Точно пьяный, вышел я на улицу. В голове проносились картины одна заманчивее другой.

«Накопец-то дорога открыта,—думал я с радостью.—Сколько впереди ожидает меня опасностей и всяких приключений!.. Совершу в пользу партии много хорошего, товарищи будут смотреть на меня с уважением... А как у них все просто и доступно!—вспоминал я о собрании.—Все так радушно смотрят на тебя, никто и намека не дает, что ты еще так молод».

Радостно возбужденный, я забыл спросить, как их партия называется, какие у нее дальнейшие планы. Да, впрочем, это тогда для меня и не так важно было.

В тот же вечер я, захватив с собою литературу, направился к дяде. Из домашних пока никто ничего не знал. Дядя с удовольствием взялся быть посредником, познакомил меня с хлопцами, и я мог иметь сношения с рабочими Карманского и без него. На моей обязан-

ности лежало доставление туда нелегальной литературы и свежих прокламаций, собрание взносов, назначение собраний и т. п. Скоро многие рабочие перешли от п. п. с. в соц.-дем., причем не обходилось без горячих и бурных споров. Среди демократов Чос отличался искусством настоящего оратора. Это был человек, всей душой преданный социал-демократическим убеждениям. Сам он был каменщик и работал старшим мастером на постройках. Его горячие и страстные слова всегда находили отклик в сердцах рабочих. Многие переходили от п. п. с. к соц.-демократам только благодаря его убежденному слову. Ни к кому я не имел такой доверчивости и привязанности, как к Чосу. Ах, что это был за человек! В нем, если сказать это научно, было воплощение всего гуманного социализма: добрый товарищ, нервный и отзывчивый.

Про мое вступление в партию отец долго ничего не знал. Лишь месяцев через пять, когда понадобилась наша квартира для собрания, я решил открыться ему. Было неловко пред ним за скрытность.

— Отец,—обратился я к нему виновато:—не будешь на меня сердиться? Я уже давно нахожусь в партии, а тебе ничего не говорил. Теперь ребята хотят собрание устроить, а негде. Можно у вас?..

В комнате находились я, отец да маленький братишка, ползавший по полу. Отец сидел за столом и рассматривал рисунки из прейскуранта столпного искусства. На его добром и откровенном лице я не заметил и тени неудовольствия.

— Комната у нас большая, собраться, конечно, можно,—ответил он просто, поднимая с пола подползшего к его ногам братишку и сажая его к себе на колени,—а в партию я и сам собирался тебя определить, только думал, что рановато...

— Значит, ты на меня не сердишься,—с облегчением проговорил я, сядя с ним рядом и обнимая его за шею.

Вот с этих пор я на собрания ходил открыто, не стесняясь даже и матери, которая скоро тоже примирилась с этим. Между тем могущественно с.-д. росло с каждым днем. 20 апреля было большое собрание; обсуждали, как праздновать первое мая. Со всех фабрик, заводов и мастерских присутствовали здесь представители. Чос и другие настаивали, что пора как следует отпраздновать этот рабочий праздник и показать правительству, насколько мы сильны. Решено было устроить всеобщую забастовку. За пять дней до первого мая начали выпускать множество прокламаций с призывом бросать работу и не подчиняться полиции. Назначено было собраться всем на Воронью улицу, откуда направиться на Иерусалимскую.

В день праздника я встал рано утром. Нам, человекам сорока молодых ребят, поручено было останавливать конки и извозчиков. День был солнечный и теплый. На улицах везде тихо и торжественно-спокойно. Не слышно ни одного фабричного свистка и гудка. Все точно вымерло. Часов в восемь начали было выезжать конки и навозчики, но мы, кого словами, кого силою, загоняли их обратно. Скоро на Воронью улицу толпами стали собираться демонстранты. У некоторых в руках развевались красные знамена. Часа через три Воронья, Простая и Панская были заполнены народом. Полиция была вся на ногах. Патрули казаков и драгуны то и дело сновали молча мимо собравшихся, не принимая никаких мер. Ораторы, поднятые на руках, неустойно пропалосили зажигательные речи. Вот передние ряды развернули большое красное знамя, и сорокатысячная процессия с пеннем «Марсельезы» двинулась к Иерусалимской аллее. Ничто не действует так внушительно на душу, как такое величественное шествие. Я в то время находился в буйном вихре ликования. В эти минуты для меня не существовали никакие препятствия. Я бы пошел на все, на все.

Мы прошли Панскую, Железную, Грибную, остается еще одна, и будет Иерусалимская. В этот момент по толпе прошел слух, будто на Иерусалимской устроена засада из драгун и казаков. Передние ряды остановились в нерешительности. Некоторые ораторы, как, напр., Чос и др., стали говорить, чтоб во избежание кровопролития направиться не на Иерусалимскую, а на побочную ул., на Золотую. Но тут выступил пред демонстрантами молодой человек, представительный и красивый, и стал громко убеждать не бояться драгун и казаков. Фамилия этого оратора Улянецкий.

— Вперед!.. Идем вперед!..—загудели демонстранты, воодушевленные его словами.

Чос на всякий случай поставил впереди человек 200 молодежи, вооруженной револьверами, убеждая всеми силами избежать столкновения с полицией и казаками. Все были построены в шеренги по десять человек и ряд. Было уже часа два после обеда. Все окна, балконы и даже крыши заполнены зрителями. Отовсюду раздавались приветствия, у многих в руках развевались красные флажки. Было что-то неописуемое в этом ликовании народных сердец. Я мало что соображал, весь купаюсь в этом бурном экстазе.

Иерусалимская Аллея находилась близ окраины города. Это широкая и длинная улица; восточная ее половина застроена деревянными и угольными складами, а другая—обыкновенными домами. В центре ее и промежду домов, построек и складов упирается небольшая улица Теодор. Здесь-то и была устроена засада казаков, драгун и пехоты.

Когда демонстранты показались с одной стороны улицы, то с другой навстречу им пошли солдаты. Увидя это, передние ряды заколебались и в нерешительности остановились.

— Товарищи, не бойтесь!—послышались одобрительные голоса.— Освободим им половину улицы и пойдем вперед смело!

Я шел в десятом ряду среди вооруженной дружины, на душе было попрежнему радостно и торжественно. Нисколько не беспокоила встреча с солдатами. Я в то время и мысли не допускал, что они станут стрелять. «Хотят только напугать»—подумал я.

Но вот расстояние между нами и солдатами уменьшилось до какой-нибудь сотни саженей. Впереди солдат шел офицер. Пройдя еще несколько шагов и миновав Теодоровскую улицу, он, не останавливаясь, отдал солдатам какой-то приказ. Те сейчас же защелкали затворами и со злобным видом стали заряжать ружья. По передним рядам снова пробежало колебание.

— Товарищи! Смело вперед,—снова послышался голос Ульянецкого. В эту же минуту раздался по солдатам револьверный выстрел.

— Всю полицию!.. Смерть солдатам!..—не уставал кричать все тот же Ульянецкий.

Не успели еще замереть его слова, как со стороны солдат раздался залп. В ту же секунду из Теодоровской улицы выехали казаки и драгуны и врезались в середину демонстрантов, давя лошадьми и рубя пашками всех, кто попадался под руку. Народ дрогнул и в смятении бросился кто куда. Одни лезли через заборы, другие выбивали из оград доски, а иные просто бежали по улице, как сумасшедшие, сами не зная куда.

— Провокация!.. Провокация!.. Нам предали!—то и дело раздавались отчаянные вопли убегающих.

Вооруженная дружина начала было стрелять в войска, но скоро должна была уступить силе и искать спасения в бегстве. Я и еще человек двадцать дружинников оказались притиснутыми к воротам деревянного склада. Отчаянным натиском мы сорвали их с петель, бросились во двор, забрались на крышу и давай стрелять оттуда в неистовствующих на улице казаков. В голове у меня все мутилось, точно от хмельного напитка. Зрелище было страшное. Мужчины, женщины, дети—так и падали под ударами сабель и палок. В пробитые нами ворота протескивались спасающиеся. Стон, крики, вопли, залпы пехоты—все это смешалось в один хаос.—Целься, ребята, лучше!—приговаривал один из нашей дружины, выпуская пулю за пулей из своего браунинга.—Полиция долго не соображала, откуда в нее стреляют, и только когда на улице возле нашего места почти все очистились,

лось, некоторые из усмирителей, повстыв немного от охватившего их кровавого опьянения, увидели нас на крыше. Точно истреб за добычей, бросились они преследовать нас, без перерыва стреляя. Мы поспешно слезли с крыши и перебрались на другую улицу. Всюду было пусто и тихо; только издалека доносились эхо выстрелов. До самой полуночи полиция собирала трупы убитых и отвозила их на колыматах.

Так печально кончилась эта, устроенная социал-демократами, демонстрация, одна из самых больших, когда-либо бывших в Варшаве. п. и. с-овцы негодовали на эс-деков, как на виновников пролитой крови. В тот же день в девять часов вечера около дворца Варшавско-Венской ж. д. по Маршалковской ул. была брошена бомба в казачий патруль. Бомбист—п. и. с-вец благополучно скрылся, но впоследствии был выдан провокатором. Первого мая был расстрел, второго состоялись грандиозные похороны, третьего мая—продолжающиеся похороны—все три дня не прекращалась всеобщая забастовка.

* * *

Кровавое первое мая усилило подпольную работу. Прокламации десятками тысяч распространялись по городу, призывая народ к восстанию. Было что-то захватывающее в этой работе. Со дня на день, с месяца на месяц ждешь, что вот-вот все зашевелится и завертится точно ураган. Моя жизнь в эти месяцы шла деятельно и разнообразно. С самого утра я выходил из дому и возвращался поздно ночью. Иногда несколько дней сряду и совсем домой не приходил, всюду бегая и исполняя партийные поручения. Среди своих сверстников я пользовался большим доверием.

После той маевки соц.-дем. партия устроила боевую организацию. На ее обязанности лежало убийство провокаторов и, в крайнем случае, самозащита при аресте. Я тоже вошел в боевку и оставался в ней до самого ухода своего из партии. Инструктором был Шлифер, как звали некоего Зимницкого или Тиминского, — молодой еще парень, лет 20, высокий, с черными пронзительными глазами, малый энергичный и отважный.

Однажды нам, дружинникам, отдан был приказ явиться на собрание. Шлифер объявил, что вечером пойдем убивать пять главных организаторов черной сотни, которые должны собраться на улице Тамке, в кв. № 20 и обсудить устройство погрома. Еще раньше инструктор сходил на это место и осмотрел все входы и выходы.

Вечером небольшими группками мы направились туда. Накрапывал маленький дождь. На улицах было ещелюдно. Когда подошли к дому, Шлифер пятерых оставил на улице, а вместе с остальными 14 вошел

во двор. Дом каменный, двухэтажный, с подвалом, и имел два выхода. Расставив людей у выходов, Шлифер с некоторыми стал у черного хода, а я отправился к парадному. Все это делали тихо и осторожно, чтобы не возбудить ничьего внимания. План был такой. Если Шлифера не впустят в квартиру добровольно, то он начнет стрелять и пробьется силой, а мы тем временем неожиданно нагрянем с тылу. Так и сделали. Стоим у дверей и ждем. Скоро изнутри послышался стук и чьи-то громкие голоса. Мы схватились за револьверы, переглянулись, ожидая с истерпением сигнала. Через несколько секунд затрещали выстрелы. Раздался голос Шлифера:

— Начинать!..

Трое моментально сорвали дверь с внутреннего замка, и все мы шестеро с шумом и криком, держа в руках револьверы, направились туда, откуда послышался выстрел. Погромщики не ожидали, что на них могут напасть также и с другой стороны, поэтому они все собрались в большом кабинете, куда и толкнулся Шлифер со своими ребятами. Из кабинета один из черносотенцев дал выстрел в дверь, а другой торопливо куда-то зателефонировал, очевидно, вызывая полицию. Они были так возбуждены и разгорячены, что даже не оглянулись при нашем появлении. Залпами прямо в спины мы их и перестреляли. Нашли и застрелили и того, кто телефонировал, отперли Шлиферу дверь, и все вместе бросились искать бумаг, особенно таких, которые устанавливают связь презких погромщиков с местной высшей властью. Но где было в такой кутерьме найти что-нибудь? Везде на столах и в шкапах целые кипы бумаг, по углам стоят ящики с револьверами и патронами, только и забрали сторука, что попадало под руку.

Лишь только мы вышли на улицу и зашли за перекресток, смотрим, к дому подкатили на извозчиках городовые и переодетые агенты.

Между тем агитация продолжала делать свое дело. До октября среди всех трех социалистических партий шла усиленная подготовка к всеобщей забастовке. Соц.-дем. партия к этому времени успела вырасти до огромных размеров; не было той фабрики или завода, где бы она не имела отдела. Вся Варшава была разделена на шесть «*вельниц*»; каждая имела свой комитет. Не было того дня, чтобы не происходило собрания с горячими, возбуждающими речами и спорами. В воздухе чувствовалось, что вся эта грозная туча вот-вот разразится страшным ливнем.

К третьему октября были выпущены воззвания ко всем рабочим и приказчикам с предложением прекратить работы. Полиция принялась энергично пресекать забастовку, но ничего у нее не выходило. К шестому октября город стал неузнаваем. Тихо, точно пустыня.

Ни свистка фабричного, ни стука пролетов и трамваев—все приостановилось. Кто не хотел бастовать добровольно, того заставляли силой. Нас, человек 400 вооруженной молодежи, было послано для этой цели, и не у одного извозчика мы порезали обрзу, и не один трамвайный вагон был опрокинут, а то и сожжен нами. Скоро весь город совсем замер, и только один лишь толпы рабочих с красными знаменами и революционными песнями оживляли его. Полиция была ошеломлена и не знала, что делать. Несколько дней она совершенно не вмешивалась в то, что творилось.

Я чувствовал себя, как рыба в воде. Я жил в двойном виде, в действительности и в воображении. Исполняя партийные поручения, я воображал себя то гладиатором Спартаксом, то Костюшко, то Гарибальди. Все, что кругом творилось, поддерживало во мне такое состояние, и я был как в лихорадке.

В разгаре забастовки нашу боевку разбили на две части: одна была откомандирована разносить денежную помощь нуждающимся рабочим, а другую отрядили в окрестности забирать у помещиков, добром или силой, хлеб, муку, мясо и привозить все это в Варшаву. Шлифер с частью дружины даже ходил от имени партии по домам капиталистов и требовал денег на подмогу организации и голодающим рабочим.

У каждого из нас имелась особая книжка, где все записывалось, подписывалось и потом относилось в комитет для контроля и отчета. Конечно, дело не обходилось без утаек. Некоторые из боевиков больше оставляли у себя в кармане, чем отдавали нуждающимся забастовщикам. Мне самому тоже приходилось иногда урывать по несколько рублей себе лично, хотя все мы, дружинники, получали на жизнь из комитета. Но за подобные штуки жестоко наказывали. Всякого, уличенного в этом, немедленно приговаривали к смертной казни. На моих глазах пять человек расстреляли за такие хищения. Но что же поделаешь, один другого чутьем чует, что он грешит, и, глядя на него, и сам соблазняется, тем более, когда деньги так легко достаются.

Тут вдруг был объявлен манифест 17 октября. Все сразу, точно по волшебству, остановилось в нерешительности, на подороже. Никто не знал, что делать дальше и к чему обратиться. Одни стали говорить, что надо делать то, другие—что надо подождать, когда требования народа будут удовлетворены на деле, а третьи стояли просто за прекращение забастовки. Большинство эс-деков тоже так думало. «Чего,—говорили они,—зря силы тратить, раз наши желания и нужды могут быть по ipsum удовлетворены».—Лишь одни п. п. с-овцы настаивали на продлении забастовки. Они не верили в царский манифест и называли его хитрой ловушкой. А скоро один случай еще больше запутал дело.

На Театральной площади возле ратуши, где жил полицеймейстер, собралась толпа рабочих и стала требовать освобождения заключенных. В этой же ратуше сидели следственные по политическим делам. Полицеймейстер выпустил человек двадцать, а про остальных сказал, что это не от него зависит. Рабочие не удовлетворились таким ответом, страдали депутатов и, повторив свои требования, стали делать угрозы и бросать в окна камни.

Тут из ворот ратуши выскакивают конные казаки, бросаются на толпу и начинают стрелять и рубить.

— Что ж это, или у нас совсем ума нет?—негодовали п. п. с-овцы на демократов, указывая на эту резню:—разве вы не видите, какая такая свобода нас ожидает!

С утра до темной ночи шли в концертном доме «Филармония» бурные и горячие споры. Демократы утверждали, что дальше выдерживать борьбу не хватит сил у рабочих, что надобно передышка, да и в российских городах все приостановилось. Но п. п. с-овцы словами и силой продолжали убеждать не прекращать забастовку. Каждый день происходили между ними стычки, иной раз и настоящие драки и побоища. Среди членов одной и той же партии тоже пошли разногласия. Одни идут на работу, другие выгоняют их, и эта неурядица длилась долго. Когда в России опять началась забастовка, помните, протест против казни матросов и военного положения в Польше, у нас стали снова призывать к действиям, но было уже поздно. Полиция воспользовалась раздорами, стала делать массовые аресты, завела провокацию. Кроме того, в обе партии пролезло много буржуев, которые тоже тормозили и вносили путаницу.

Целых полтора года был я у эс-деков. Пред моим уходом силы их очень ослабели; они уже не проявляли такой деятельности, как прежде.

Свободного времени у меня оставалось много. Физической работой я не занимался, да она как-то и не манила меня после всего того, что я пережил. Иной раз возьмусь помогать отцу, больше для успокоения совести, но скоро бросаю. У нас на дому стояли квартиранты. Некоторые из них, молодые ребята, принадлежали к п. п. с. Не раз заходил я к ним и целые часы проводил, толкуя и споря. Иногда на столе появлялась водка, и время летело незаметно.

— Переходи к нам в организацию,—предлагали они мне в таких случаях.—Чего ты там у демократов коптеть будешь! Ведь у этих де-мо-кратов от одной скуки помереть можно... Все у них как по книжке. Дождись, пока они там всех сагиитруют и всеобщее восстание подготовят... Тебя тут убивают, раз двадцать арестовать могут, а ты и в полицию стрелять не смей!..

Иной раз и моя мать к ним зайдет, и уж не знаю, откуда это у нее взялось, она ведь простая себе женщина, тоже осмеивала демократов и называла п. п. с-овцев молодцами. Да и действительно, п. п. с. в это время своими действиями наводили ужас на всю буржуазию и власть. Не было ни одного важного администратора, раз только он чем-нибудь выделится при подавлении народа, чтоб он долго удержался на месте. Уж на что воинственны и отчаянны казаки, и те растерялись.

А паша эс-дековская боювка почти бездействовала. На мою долю редко выпадало такое поручение, которое захватило бы меня всего и весь мой досуг. Иной раз пойдешь участвовать в разборе жалоб рабочих на фабрикантов или помещиков. Если обиженные доставляли факты, то Ц. К. посылал дружинников принудить обидчика расплатиться как следует. Большею частью на такие экскурсии ходил ваш Шлифер, один или с другими. Его чуть ли не весь город знал. Впоследствии все жалобщики обращались уж прямо к нему, и иной раз мы с ним производили следствия на свой риск, без ведома Ц. К. Иные господа отказываются от уняты, выставляют свидетелей, происходит разбор, суд, начинается целая катавасия. Приходилось и нам, боевикам, делать нечестные поступки, марать честь партии. Притискиваешь к стенке какого-нибудь буржуя и даешь ему понять разными намеками и застраиваниями, что, если он хочет, чтоб душа у него была спокойна, то пусть не пожалеет всунуть нам что-нибудь в руку...

Но, скажите, что же это за работа для боевика?.. На партийных собраниях я тоже редко присутствовал. Придешь, послушаешь немного, тут голова разболится от всех теоретических споров и разговоров. Начнешь незаметно зевать или смотреть на присутствующих девушек, пошутюкаешься с соседом, еще раз зевнешь, и, немного покраснев, возьмешь да уйдешь. Другие боевики тоже так поступали.

— Чего мы здесь зря носом тыкать будем!—скажет ваш Шлифер, который ужас до чего не любил такие собрания.—Дела никакого, а только языками чешут... Пойдем ко мне на квартиру,—толплет он меня незаметно:—там у нас веселей будет...

Забираем с собой и других и всей гурьбой двигаемся к нему на дом. Жил он с матерью да с младшим братишкой. Раньше Шлифер работал слесарем на фабрике Норблина, но после забастовки всецело отдался организации и получал поддержку от комитета. Любил он порою хорошо кутнуть. Лишь только ввалимся, бывало, к нему в хату, он сейчас же заторопит мать насчет закуски, а сам ударится добывать водки. Гармония и хоровые песни сопровождают нашу пирушку. Мусатов, один из наших боевиков, молодой парень, по духу брат

Шлифера, зашаривает на двухрядке, другие дружно вторят ему, подхватывая какую-нибудь народную песенку.

Ты лейся, песня удалая,
Лети, кручина злая, прочь! —

запоеет Шлифер, поднимая вверх полный стакан водки и поводя им над головами бражников и потом пускаясь в пляс. Приходилось другой раз собираться и у нас на-дому. Устраиваем настоящую вечеринку, приглашаем знакомых девушек, молодых женщин, парней. Многие притащат с собою скрипки, балалайки, и до самой полуночи идет у нас веселое гулянье.

* * *

Однажды Шлифер велел мне прийти вечером в ресторан. Такие свидания между нами, членами боевки, бывали часто. Я и пошел туда, нисколько не сомневаясь, что нужен ему по партийному делу.

Шлифер уже сидел в зале за столиком среди бутылок пива. С ним были Мусатов, Варьят и еще шесть ребят, все хороших знакомых.

— Вот в чем дело, товарищи,—проговорил Шлифер, когда мы уселись вокруг стола. У него была привычка никогда не выкладывать своей мысли сразу, если он еще не был вполне уверен в своих расчетах. Так и теперь, судя по тому, что он подходил к делу издали и с осторожностью, можно было сообразить, что он еще сомневался в нас.

— Работать из нас никто не работает,—продолжал он, медленно выдавливая из себя слова и пытливо заглядывая нам в лицо, как бы читая наши мысли.—Все мы молоды... Жить нам хочется во-всю... А партия слишком бедна, чтоб мы могли рассчитывать на нее. Да и за что платить ей нам столько, чтоб нам на все хватало?..

По лицам Мусатова и Варьята я заметил, что они знают причину нашего собрания. В то время как Шлифер говорил, они спокойно опоражнивали бутылку.

— Поэтому,—продолжал Шлифер,—я думаю, что никто из вас не откажется получить на свою долю... так, тысяч пятьдесят, что ли...

— Ого! — подшутил я, все еще плохо соображая, куда же это он клонит.—Это такие деньги, от которых никто не откажется!

Другие, однако, обиделись, почувств недоверие к себе со стороны Шлифера, и сказали ему прямо:

— Говори без кривляний, а если не доверяешь, то зачем собрал нас сюда?

— Я и хотел было все сразу сказать,—возразил Шлифер,—но я не уверен был, согласятся ли все без подготовки идти на ограбление...

— Куда?.. Что?!. Как ты сказал?..—воскликнули мы все сразу, услышав это слово.

— На ограбление Промыслового банка,—ответил он без запинки.

Каждый из нас был порядочный гудяка. Настоящих социалистических убеждений, по правде сказать, мало у кого из нас было, если не считать за убеждения ненависть к полиции и к буржуям. Жизнь же дает себя чувствовать, кровь кипит в жилах, хочется разгуляться, как следует; воля требует простора да разгульного раздолья; хочется побольше сладкого и острого, а тут партийные узы связывают. Хотя мы все и удивились предложению Шлифера, но на самом деле как будто его слов только нам и не хватало. Каждый из нас задумался.

— А сколько нас будет участвовать?—спросил я, и все начали обсуждать это дело, как будто давно уж готовились к нему.

— Вот все здесь налицо, — десять человек,—ответил Шлифер.— Я знаю, нас маловато, но я взял всех, на кого можно положиться... В организации,—добавил он, подумав,—никто не должен знать о вашей затее. Все должно остаться скрыто между нами. Давайте потолкуем подробно...

Заказав еще дюжину пива и перейдя в отдельный кабинет, мы стали сговариваться.

Банк этот находится в центре города на оживленной улице Эгода. То было большое трехэтажное здание. Поднявшись ступень на шесть по каменной лестнице, встречаешь большую с резными рамами дверь, за нею внутри стоит швейцар, далее через 3—4 ступеньки по мраморной лестнице идет другая дверь, а за нею второй швейцар. Тут же в коридорчике маленькая телефонная комнатка. Вторая дверь ведет в громадный зал, по обеим сторонам занималось человек 50 бухгалтеров и конторщиков. Посередине находились две несгораемые кассы, а напротив дверей кабинет, должно быть, директора банка. В свободных местах расставлены кресла и сиденья для посетителей.

Шлифер заранее уже все осмотрел. Как он заметил, главная касса большей частью заперта, а на ежедневные расходы берут оттуда сразу нужные сотни тысяч. Вот на эти-то деньги мы и рассчитывали.

На следующий день, часов в девять утра мы парами, там, чтоб не было заметно, направились на улицу Эгода. Все мы были одеты в хорошие пальто и в шляпах. Четверо из нас держали под мышкой портфели. Каждый имел при себе по два партийных браунинга и пачек по двадцать патронов, а у некоторых были еще вексельные бланки, тоже заранее приготовленные Шлифером. Я должен был остаться в коридорчике, где телефон, а они все—отправиться во внутрь. Когда оттуда послышится сигнал, я должен буду арестовать всех, кто окажется в коридоре, и никого не выпускать на улицу. Так и сделали.

— Вам что будет угодно!—спросил меня швейцар, видя, что я без дела стою возле телефонной комнатки.

— А вот дожидаться, когда телефон освободится, — отвечаю, но не успел я договорить последнего слова, как раздался глухой треск выстрелов, затем послышались испуганные крики и стоны, а выстрелы, точно из пулеметов, зачастили раз за разом, смешиваясь с отчаянными воплями кричавших.

— Рюкзаки вверх!—машинально скомандовал я швейцарам, направляя на них револьвер и загоняя их в угол.

Не прошло и пяти минут, как дверь из конторы вдруг с треском растворилась, и весь коридор огласился каким-то хаотическим шумом ужаса, нахлынувшего точно из открытых ворот ада. Швейцары задрожали и затряслись от страха; один из них даже закрыл лицо руками. На пороге показались бледные и возбужденные Шлиффер и Варьят. Глаза у них горели, руки были в крови. Они вели, почти несли, под руки раненого Мусатова. Мои глаза невольно устремились на дверь. Не без некоторого содрогания в душе смотрю: на полу кровь, валяются трупы убитых и раненых, которые стонут и корчатся от боли. Везде под стойками, креслами и по всем углам забились обезумевшие от ужаса клиенты банка и выли на разные голоса. А оставшиеся еще там наши ребята без перерыва палят себе в окошки кабинета директоров, отступая сами постепенно к выходу. Рука моя, вооруженная браунингом и все еще направленная на швейцаров, невольно опустилась.

— Квасок, не теряйся!—крикнул на меня Шлиффер, сам стреляя свободной рукой в бегущего к паружным дверям швейцара, который, заметив мою оплошность, от страха или по другим каким соображениям хотел выбежать на улицу. Я моментально очнувшись и тремя выстрелами подстрелил швейцара у самих дверей. Выбежав на улицу, мы с Шлиффером и Варьятом взяли первого стоявшего тут извозчика, посадили Мусатова и покатали по Железной улице.

Оказалось, дело происходило вот как. Публики в банке было человек 60—70. Одни сидели, другие стояли гуськом, дожидаясь очереди у касс. Наши ребята все рассеялись среди посетителей, занимая нужные места и стараясь быть поближе к кассам. Один из них стал у дверей, а кабинет директора упустил из виду. Когда Шлиффер дал знак к нападению, публика, испугавшись выстрелов, попала со страху на пол. В это же время из окошка директорского кабинета раздался выстрел в наших. Мусатов упал. Все остальные растерялись. Тогда некоторые из посетителей стали кричать:

— Бей их, бей их, грабителей!

Наши, никого и ничего не разбирая, начинают стрелять в публику и в окошко кабинета, паля туда, куда только рука направлялась. Таким вот образом они и пробили себе дорогу на улицу. Мусатов, между тем, оказался тяжело ранен—три пули застряли у него в животе. Мы же, вместо того, чтобы спрятать его где-нибудь на надежной квартире и там лечить, не рассудили толком, взяли да и отвезли его в госпиталь. Весь город был взволнован таким событием, тем более, что убитых было в банке человек двадцать. Вся полиция и охранка поднялись на ноги в поисках за преступниками. Мусатов, конечно, не миновал ее рук, о чем мы узнали только из газет. Мы сейчас же вооружились и направились к госпиталю, чтобы отбить Мусатова, когда полиция будет отвозить его в тюрьму. Но в конвойры к нему отрядили 50 казаков с берданками, и мы девять человек не решились напасть на такой сильный отряд. Впоследствии Мусатова судили и повесили. Настоящая его фамилия была Домбровский.

Когда соц.-демокр. комитет узнал о нападении на банк и об аресте Мусатова, он сейчас же заподозрил Шлифера и его сообщественников. Хорошо известно было, что если Мусатов был в числе нападавших, то значит это подстроено было не им самим, а инструктором дружины. Для через три после ограбления созвано было специальное собрание, на которое пригласили Шлифера. Дело касалось и меня, поэтому и тоже пошел туда послушать.

Собрание происходило в большой комнате. За столом сидел член Ц. К. по кличке «Бурак». Пред ним на столе чернильница, бумага и ручка.

— Это вы, Шлифер, ограбили Хандловый банк на улице Эгода?—прямо обратился он к нему, когда заседание было объявлено открытым.

На этом собрании народу было мало, собрались только представители от всех районных комитетов. Шлифер стоял недалеко от стола, прислонившись плечом к стене. Пальто на нем было распахнуто, левая рука спущена за пояс рубашки.

— Шлифер, это вы ограбили Промысловый банк?—повторил свой вопрос Бурак.

— Я,—просто ответил тот.

— А кто с вами еще был?—задал ему Бурак второй вопрос, записывая его показания.

— Я сказал, что я был... чего еще надо вам?—отрывнулся он.

— Ну, ладно!—проговорил Бурак, не решаясь вступать в спор.— Нам пока и этого достаточно. Да мы и так знаем, что вы все там были. Вот Квасек был,—сказал он, указывая на меча:—был и Варьят, и Павелек, и еще вот такие-то.

— Ну, раз знаете, так чего же еще спрашиваете?—нетерпеливо перебил его Шлифер.

Под конец собрания Шлиферу объявили, что через два дня он и его соучастники будут судиться партийным судом. В польской соц.-дем. партии к смертной казни приговаривали лишь в тех случаях, когда кто кладет пядь на всю организацию. Нас непременно расстреляли бы, если бы мы действовали от имени партии, или, если бы мы утаили в свою личную пользу партийные суммы. Но за дела вроде нашего, организация ограничилась бы только исключением нас из партии с обязательным опубликованием об этом в партийном журнале «Червоный Штандарт».

Но суду над нами не суждено было состояться. Шлиферу не понравилось, что его и наши клички будут объявлены на всеобщий позор. Вот он, сговорившись еще с пятью обвиняемыми, вооружился и ворвался прямо на заседание судебного трибунала.

— Руки вверх!—закричал он, направив в присутствующих свой браунинг.

То же сделали и Павелек с Варнатом и другие. Члены комитета никак не ожидали этого. Не то со страху, не то от неожиданности, они делали все, что приказывал им Шлифер. Их обыскали каждого в отдельности, отобрали из карманов револьверы и на прощание сказали:

— Если вы ставете судить нас так, как это вам вздумается, то знайте, что вы будете иметь дело с нами...

Шлифера хорошо знал каждый, кто был в организации, начиная с членов Ц. К. и кончая простым массовиком. Такие люди, как он и его соратники, были самыми смелыми потчающими. Поэтому партийные генералы с ними считались.

— Кого из нас исключить захотите, того и исключайте,—сказал им напоследок Шлифер,—только не печатайте о нас в газете, не то...

Суд уступил его требованиям. Все ушли из партии. Один только я, по настоянию Чоса, остался.

— Не сделай Шлифер такого хулиганского поступка,—говорили многие из главных членов комитета,—мы бы их всех простили, как простили Квасэпа.

Но их прощение мне содано доставалось. Прежнее ко мне доверие и уважение улетучилось, как дым. Везде на собраниях меня как будто и замечать перестали, а другие не стеснялись и вслух говорить:

— Смотрите, пан Квасэк и не думает раскаиваться. Придется, пожалуй, еще у него прощения просить...

Пребывание у эс-деков стало все больше тяготить меня. Сколько раз я порывался бросить все и уйти, куда и на что заблагорассудится, но всякий раз отступал от своего намерения, как только вспоминал милого и славного Чоса. Ужасно неловко было порвать с ним так вдруг и сразу. Но тут один случай развязал руки. Чоса перевели в дельницу, где были одни только каменщики, так что мне, как боевику, делать там совершенно нечего было.

Я облегченно вздохнул и на другой день считал себя вольным от всяких партийных обязанностей. С месяц прожил дома, ничего не делая и ни с кем не связываясь. Никуда не ходил, не считая визитов к Казимиру, своей невесте, с которой познакомился еще тогда, когда во время забастовки разносил нуждающимся деньги. У Казимиры я проводил целые вечера, все больше и больше сближаясь с нею.

Порою, по старой привычке, заходил и в Шлиферу. Он в это время буйствовал по всему городу. У него уже была собственная боевая дружина, человек в 200, под названием «Змова Работяча», т.-е. «Рабочий Заговор». Это были не то социалисты, не то анархисты, отчаянные сторонники террора и ограблений, причем буржуев они ненавидели, пожалуй, меньше, чем партийную интеллигенцию. Дружина эта увеличивалась с каждым днем, пополнялась охотниками со всех сторон и без всякого разбору. Боевики эс-деки, бывшие раньше под началом Шлифера, теперь все перешли к нему.

— Я устрою такую боюшку, — говорил он с восхищением, — какой мир еще не видал. Все сокрушу... Все разверну и перетасую... Пусть же наши головешки не зря пропадают...

И, действительно, словно сказочные разбойники, наводила эта «Змова Работяча» ужас на полицию. По всей окрестности, где жила и бродил Шлифер, в течение нескольких месяцев ни один полицейский долго не удерживался на посту. Почти весь шестой участок на Твердой ул. был повыбит. Район этот стал открыт для всякого свободного действия; убийства властей и ограбления совершались здесь в открытую. Начальство пробовало давать городовым на подмогу солдат, но сподвижники Шлифера отбирали у них винтовки, сопротивлявшихся убивали, а сами раскашивали группами с этими самыми винтовками, делая из них салюты и вообще проказничая. А эс-деки сколько они надевали, — и не перечесть!

* * *

Остаться в бездействии мне надоело. Сброд, который набрал себе Шлифер, был мне не по вкусу; я вошел тогда в дружину.
п. п. с.

П. п. с. была очень могущественна. Везде и всюду были у нее свои представители. Кроме обыкновенной милиции, она имела еще огромную боювку, в которую входило человек 400, — это в одной Варшаве. Дружина каждой дельницы разбивалась на небольшие отряды в пять, десять и двадцать человек, во главе которых стояли «пятник», «десятник» и инструктор. Каждый боевик, кроме клочки, имел еще особый номер. Скажем, нужно убить какого-нибудь пристава. Известно, что в такое-то время он должен идти по такой-то улице, — вот на эту улицу и идет пять человек вместе со своим начальником. Сам он стоит в стороне и распоряжается посредством условных знаков. Пятёрка расставлена по улице в шеренгу на небольшом расстоянии друг от друга. Номер третий всегда находится в середине, он всегда стреляет первым. Если же у него получилась неудача, то он не бежит, нет, это дело берет на себя номер четвертый и пятый или же второй и первый, сам он старается только скрыться тут же.

У п. п. с. в боевую дружину принимали только вполне надежных с хорошей аттестацией от старых боевиков. Меня рекомендовали наши квартиранты, а также и другие знакомые.

— Ага, Квасэк! Тебе давно пора перейти к нам! — гонорили они, трепля меня по плечу.

Со мною вместе было принято еще несколько охотников, и из нас составилась отдельный пяток. Нам вычитали устав. Всех пунктов было, кажется, 15, и за нарушение чуть ли не каждого из них грозила смертная казнь.

— Согласны ли подчиниться всем этим правилам? — спросил нас член собрания, закончив чтение.

— Согласны!.. Согласны! — отвечали мы.

Над нами назначено было два начальника: один «пятник» по кличке «Спокойный», пьяница и трус, — и десятник по прозвищу «Самсон», смелый и откровенный малый. Всех нас отрядили в Вольскую дельницу.

«Вот так дисциплина! — подумал я. — Еще строже, чем в казарме»...

И в самом деле, это давало себя чувствовать с первого же дня. Так и казалось, что чьи-то невидимые железные руки держали всех на привязи, да и пункты устава были написаны не в шутку. В нашей дельнице боевиков было человек сорок. Два раза в неделю мы собирались на сходки, упражнялись в стрельбе, разбирали и собирали по частям оружие. Пропаганды и вообще таких занятий, которые вырабатывали бы из нас социалистов, никто не вел. Все мы были только вроде одушевленных и сознательных браунингов и маузеров. Дружина состояла, главным образом из 17—18-летних парней, и голос каждого

боевика имел такое же значение, как голос бабы в доме полновластного хозяина, т.-е. почти никакого. Кроме своей части, мы ничего не знали, все было скрыто и недоступно. Конфискованные нами деньги отдавались в руки начальников, те отдавали в комитет, — про дальнейшее мы уже ничего не знали, и отчетов никто нам не давал.

Три месяца прожил я в отряде этой дельницы. Жизнь шла хотя и рискованная, но в общем веселая и беззаботная. После каждого собрания многие уходили в ресторан, устраивали ширушку, некоторые засиживали за карты, а все потом дингаемся гурьбой к излюбленным проституткам. Никто не работал, деньги доставались легко, — ведь при каждой экспроприации, как вы знаете, был устав, редко кто не положит себе в карман пару десятков, а то и сотен рублей. Конечно, большинство боевиков были честные, как святые, но многих избаловала такая привольная жизнь. Хорошо еще, что права кутнуть у нас не отнимали. Весь отряд сошелся по характеру. Никто не думал о завтрашнем дне. Сегодня живи, а завтра увидишь, что будет, — так вертелось у каждого в голове.

Конечно, можно было и удержаться от всего этого, но для чего же было удерживаться? Ведь все равно, умрешь ли завтра от палача на виселице, или от природы у себя дома, — конец для всех один и тот же — могила. Пропагандистских собраний мы не посещали, к театру не привыкли, возьмешься за книгу и зевать начнешь, вот и выходило, что не было в Варшаве ни одного публичного дома, где бы девки нас не знали. Главари п. п. с. смотрели на все это сквозь пальцы. Кутили больше такие головы, которыми боевка дорожила. Дружина покорна, ну и ладно. Да и попробуй они нам проповеди читать! Мы сразу взбунтовались бы!

Зато их раздражало, если боевик вздумает упрекать их в несправедливостях, критиковать и требовать объяснений. И не одни смеялись платился за это головой. Если не найдут таких обвинительных причин, чтоб убить открыто, то убьют тайно. «Убиг», а кем, за что и почему — никто не знает. Занималась этим особая «списковая боевка», куда подбирали людей, слепо преданных и дисциплинированных¹⁾. Вот теперь инструктор «Самсон» с зубов не сходит. «Самсон» был малый умный и хотя из крестьян, но со средним образованием. Среди дружинников все его уважали за честность и справедливость. Зато к главарям он относился резко, требовал, чтоб они во всем вели себя по-демократи-

¹⁾ Многие члены п. п. с., просмотревшие «Исповедь» Болеславского, находят эти его рассуждения преувеличенными, но очень характерными для боевиков его типа.

чески, вообще был язвителен, склонен к обличениям и делал многое на свой риск.

По правде сказать, такие трення усилились потом; вначале же между главарями и нами отношения были довольно теплые и товарищеские. Всех объединяла ненависть к правительству и особенно к полиции.

Однажды среди боевиков прошел слух, что в Ц. К. каждый день происходят какие-то тайные заседания. Через Самсона мы узнали, что готовится что-то такое, чего Варшава еще не видала. Наш инструктор получил приказ усилить среди боевиков занятия по стрельбе и метанию бомб. За несколько дней до ожидаемого события к нам каждый день являлись комитетские ораторы и произносили зажигательные речи, возбуждая и без того на все готовые буйные головы.

— Полиция жестока, хитра, коварна, — говорили они, — народу не дадут собираться, тюрьмы заполняются борцами за свободу, не падают ни женщин, ни стариков. Так неужели мы не сумеем отомстить за себя, за всех сосланных в Сибирь, за всех убитых и изувеченных?!

Шумные возгласы дружинников покрывали голос оратора, руки потрясали в воздухе оружием.

— Месть!.. Месть!.. Да сгинет враг!.. — долго не утихали голоса воодушевленных боевиков.

Помню, как сейчас: было это в среду 2 июля 1906 г. На небе ни тучки. Тихо, и только слабый ветерок шелестит полотна развевающихся на домах флагов — был какой-то официальный праздник. Дружина до восхода солнца собралась в условленном доме. Нас человек десять, то-есть два «пятка», отрядили в окрестность, обнимающую 5—6 улиц, именно в район 7-го полицейского участка. Нашими «пятками» руководили теперь смелый и энергичный «Хлопек» и «Настенный», лет 33-х мужчина, которого я раньше не знал. Мы получили инструкцию убивать всех городских и вообще охранителей порядка, которые попадутся по пути.

Наш участок находился на Холодной улице, которая вместе с четырьмя другими улицами составляла как бы обширный круг. Когда наш пяток убил городского, из полицейской части сейчас же выехал небольшой отряд во главе с помощником пристава. Толпа с любопытством рассматривала убитого, а наш пяток во главе с Настенным, как ни в чем не бывало, стоял среди публики. Все напряженно ожидало приближения полиции. Как обывковенно, она сейчас же окружила всю толпу кольцом; но едва пристав сошел с пролетки, как тут же свалился замертво вместе с другими городскими.

Публика от неожиданности и страха рассыпалась в разные стороны; вместе с ней и мы ушли благополучно.

То же самое происходило и во всех других районах. Полиция долго не могла сообразить, что же это такое, и лишь когда из всех частей города заработали телефоны, тревожно передавая друг другу печальные вести, — все стало ясно. В этот день одних только городских было убито 56 человек. К обеду вся «*работа*» была окончена. Многие боевики немедленно уехали из города, вообще, со стороны революционеров в этот день пострадавших не было. Зато обывателям пришлось плохо. Войска стали стрелять прямо по улицам, давая залпы во всех, кто только попадался им на глаза. Началось это в тот же день, в эту же «*кровавую среду*». Палили в народ без предупреждения, не удивительно, что убитые и раненые насчитывались сотнями.

Интеллигенция и часть рабочих отнеслась к поступку п. п. с. несочувственно, а эс-деки прямо негодовали: «п. п. с. своими безумствами только тормозит движение», — говорили их ораторы и газеты. Таким путем мы только восстановили против себя войска, оттолкнув народ, и. т. д.

Некоторые из убитых полицейских были сознательные и даже входили в с.-д. организацию.

Долго эта «*кровавая среда*», устроенная революционерами, наравне с кровавым маем, устроенным полицией, будет памятна жителям Варшавы. Она послужила как бы толчком к еще большему кровопролитию. После этого жизнь человеческая не имела никакой цены. Генерал-губернатор Скалон получил от царя власть диктатора. Были введены военные строгости. После восьми часов вечера ни один житель не мог выходить на улицу. Днем по городу бродили отряды казаков и солдат. Оскорбления, придирки, колотушки — всем попадало. Особенно отличался гвардейский Волынский полк, — они арестовывали, калечили, а то и убивали. Под ударами прикладов многие боевики, попав в участок или в охранку, не выдерживали и в страхе выдавали своих товарищей. Среди дружинников появился дух предательства, уносивший наших на каторгу и на виселицу целыми десятками.

* * *

Как-то, проходя через Саксонский сад, я встретил у южных ворот боевиков Смелого, Януша, Гурата и Мстислава, которые стояли кучой и о чем-то тихо переговаривались. Я им рассказал про арест Шлиффера и Варьята, которым, как и Мусатову, предстояла смертная казнь. Шлиффера выдал один из участников «Змовы Роботничей», некий Родак.

по кличке «Ястреб». Варьят отстреливался при аресте, но был изрешетен пулями. Его подозревали в участии в нападении на Промысловый Банк и в 10-м павильоне ему устроили очную ставку с Мусатовым.

— Вы знаете его? — спросил Мусатова следователь, указывая на израненного и перевязанного бинтами Варьята.

Мусатов посмотрел на него, зашатался, стиснул зубы, чтоб не разрыдаться от такого неожиданного свидания, но овладел собой и ответил, что не знает. Варьят не хотел умереть от руки палача, нарочно содрал ночью свои перевязки и тут же в одиночке 10-го павильона истек кровью. Вскороosti повесили и Шлифера с Мусатовым. Так сложили они свои буйные головушки.

От Мстислава я, в свою очередь, узнал о таинственной смерти инструктора Самсона. Смелый прямо сказал, что это убили его заправилы революционной фракции п. п. с. Убили его на Вороньей улице, без всякого суда, даже не допрашивая, предлог был обвинение в провокации... Факт этот очень не понравился остальным боевикам, и многие открыто протестовали. Ц. К. отстаивал свою правоту, но дело это так и осталось темным.

Говорю я так с ребятами о том, о сем, но вижу, что они чем-то встревожены и все время нетерпеливо ерзают на месте.

— Но вы кого-то ждете? — спрашиваю я у ребят.

— Чумбара из Вольской дельницы, — не подумавши, ответил за всех Януш.

— Какого Чумбара? — удивился я: — ведь он сидит в цитадели!..

— Януш ошибся, — поправился за него Смелый, не глядя на меня и тыкая в мерзлую землю палкой. — Он хотел сказать: Хлопека ждем.

— Но Хлопек сейчас на охране и банке Вавельберга! — не мог я не удивиться. — Вы не Хлопека ждете, а не то убить, не то ограбить хотите кого-то.

— Что это тебе на ум взбрело! — засмеялись они громко. Мстислав стоял, вознув голову, и неловко ухмылялся. — Ну, на нас ты бы еще мог подумать, но тут ведь Мстислав!

Они думали обмануть меня авторитетом Мстислава. Он и вправду был парень славный, умный, смелый, простой в обращении, осторожный в действиях, нравственный и поведении, к тому же с хорошим образованием. У. п. п. с. он пользовался большим влиянием. Когда-то он действительно считал бы за святотатство идти на экс без разрешения партии. Но за последнее время все его устои стали колебаться и расшатываться. Раньше Мстислав не курил, не пил, был целомудрен, потом поддался влиянию других боевиков и пустился в путьжи. «Смелый»

не раз жуужжал ему в уши и смеялся над его скромностью; но теперь по всему видно было, что смеяться ему уже не над чем.

— Ну, да ладно, — проговорил я с некоторой досадой в голосе, видя, что они мне не совсем доверяют. — Я сейчас пойду в банк и от Хлопека всю правду узнаю.

— Квасяк! Не ходи, там никакого Хлопека нету, — остановил меня Мстислав, переглянувшись с ребятами. Подумав немного, он вдруг добавил: — А револьвер у тебя есть?

— Нету, — сказал я, едва в силах сдержать улыбку.

— Так вот тебе браунинг. Здесь в саду будете делать нападение... Ты с ними будешь четвертый.

— Ну вот, давно бы так! — сказал я примирительно, сам удивляясь тому, что так легко согласился на участие в этом акте.

В Саксонском саду по обыкновению былолюдно. Скоро мы увидели, как из дверей банка вышли два молодых еврея, а вслед за ними показались Кмициц, боевик из милиции Матея, охранявший банк от нападения бандитов. Кмициц кивнул нам головой на вышедших из банка, и едва те, пройдя главную аллею, поровнялись с нами, как двое схватили их за руки и, пригрозив револьверами, потребовали денег. Публика ахнула. Но напуганная похождениями экс-советников, поторопилась поскорей уйти от беды. Все сделано было тихо и быстро. Мы отобрали четыре тысячи рублей и благополучно скрылись. На мою долю досталось рублей восемьсот. Половину я отдал отцу, а остальное оставил для себя и для Казимиры. Ну, и покутили же мы!

Однажды, это уже было, кажется, в марте 1907 г., меня по телефону вызвали в Промысловый банк, где поджидали Жюль, Хлопек, Бурмистр и Лысый, как звали Мстислава.

Оказалось вот что: накануне к директору банка явился какой-то молодой мужчина, назвал себя членом боевой дружины, предъявил квитанцию с партийной печатью и потребовал в пользу п. н. с. три тысячи рублей. Директор был озадачен и заподозрил нелепое, но на всякий случай дал незнакомцу обещание внести деньги завтра. Сам же он экстренно вызвал Матея, который был главным организатором милиционной дружины, расставленной, между прочим, и по банкам. Узнав, в чем дело, Матей собрал нас, спрятал за портьерами кабинета и приказал ваять вымогателя на прихватку, кто бы он ни был. Сам же остался в кабинете вместе с директором.

Вот является незнакомец. Директор выдает деньги, получает от него квитанцию с партийной печатью, — все честь честью. Но едва тот вался за ручку дверей, как мы тут как тут. Хлопек и еще один

приставляют ему к голове револьверы, а другие хватают за обе руки.

— Что это?.. Переодетая полиция?!..— произнес он, страшно побледнев.

Мы молча потащили его в соседнюю комнату, окно которой выходило на двор, обыскали, отобрали браунинг, полученные от директора деньги, а также несколько штук партийных квитанций. Сейчас же к нам явился Матей.

— Вы, что, полиция? — намеренно громко крикнул незнакомец.

— Если вы будете так возвышать голос, — пригрозил ему Матей, то с вами стесняться не будут. Лучше добром отвечайте на мои вопросы.

— Ага! — протянул незнакомец, стараясь не выдать волнения и меняя тактику. — Я, значит, попал в руки черносотенцев...

— А вы кто? — не хулиган разве? — ответил ему Матей.

— Я член п. д. с., — быстро ответил тот.

— Чем же вы можете удостоверить это?

— Отобранными у меня партийными квитанциями.

— Этого мало. Кого вы знаете из организации?

— Вацлава, Ясека, Мазалу... — начал он перечислять боевиков, из которых одни были уже убиты, другие сидели в тюрьме. — Круль тоже хорошо знает меня, — добавил он.

Круль был дружинник из Повонзговской дельницы. Матей немедленно распорядился втихомолку, чтоб его призвали сюда. Наш пленник об этом не знал. По его лицу видно было, что он начинает оправляться от испуга. Мы стали ближе к нему присматриваться. Это был молодой, лет 27-ми мужчина, красивый, с черными глазами и очень интеллигентным выражением лица. Мы угощали его папиросами, он курил, казалось, со спокойным видом, и порою тихо усмехался.

Вот, наконец, пришел Круль. Матей встретил его еще на лестнице и рассказал, в чем дело.

— О!!..— крикнул Круль, остодбенев от удивления, едва он увидел нашего пленника. — Да ведь это Улянецкий!!.. Улянецкий!!..

Мы все тоже вытаращили глаза. Улянецкого в лицо никто из нас не знал, но слышал про него всякий и каждый.

— Да не может быть! — воскликнул Матей.

— Я Улянецкого как свои пять пальцев знаю, — подтвердил свои слова Круль: — мы с ним в одной дельнице работали...

Улянецкий сразу сделался бледнее полотна. Он все еще надеялся, что какой-нибудь случай поможет ему.

— Что вы... я вас совершенно не знаю, вы не тот Круль вовсе, — хотел было он отпереться от своего знакомства.

— Слушайте, пап, — обратился к нему Матей, — сознавайтесь лучше во всем... Вас все равно не отпустят без расследования. Вы — Улянецкий?.. Говорите!..

Тот на минуту задумался. Видно по лицу, что он что-то соображает. Он был уверен, что здесь в банке его убивать не станут; а поведут в другое место. Между тем, когда шел в банк, он поставил на страже двух сообщников, служивших в то же время сыщиками при охране.

— Да, это я, — наконец сознался Улянецкий. — А что вы намерены сделать со мною? — спросил он, пытливо поглядывая на всех.

— Вас поведут в Иерусалимскую дельницу на суд, — ответил Матей.

Утопающий за что только не ухватится! Так и Улянецкий ухватился за это. Очевидно, он надеялся, что дорогою даст знать сообщникам о своем положении и через них получит помощь.

— Хорошо, — сказал он, ведите на суд!

— А пока что, ответьте на некоторые вопросы. В пятом году это вы выдали полиции склад оружия? — спросил Матей.

— Я, — спокойно ответил Улянецкий, несколько не смущаясь и не стыдясь пред бывшими товарищами. При этих словах у Лысого правая рука так и скалась в кулак.

— А это вы предали таких-то вот боевиков? — спросил его Мстислав, прерывая Матей и называя знакомые и мне клички.

Улянецкий отрицательно качнул головой.

А кто сировоцировал демонстрацию первого мая? — задав ему вопрос Матей. — Вызвали рабочих вперед, потом сделали выстрел в солдат, и началась бойня... Отвечайте.

Улянецкий ответил так же коротко и определенно. Сомнений никаких не могло быть. Пред нами гадина — провокатор, поступивший в охранку и вздумавший еще вымогать деньги от имени и. п. с. Матей и Мстислав удалились в другую комнату.

Они решили в ближайшей аптеке достать маску с хлороформом, усыпить Улянецкого, вывести его за город и там пристрелить, как собаку. Мазур и Жюль были на всякий случай поставлены часовыми на улице, а Бурмистр скоро прибежал с маской и хлороформом — в ближайшей аптеке как раз работал знакомый Матею фармацевт. С маской в руках подхожу я к Улянецкому. Но едва я приложил ее к его носу, как он энергично запротивился. Он сразу понял, что именно с ним хотят сделать. Все его надежды на спасение могли бы тогда рухнуть.

— Вы можете меня хоть сейчас же убить, но усыпить я вам не дамся... — произнес он с необыкновенной твердостью, отпихивая меня обеими руками.

Голос человека это передаточный ток его души. По голосу Улянецкого я понял, что он ни за что не допустит, чтоб его усыпили. Начать с ним борьбу — опасно, крик его может вызвать неудобную для нас тревогу. Между тем и времени терять невозможно. Стоявшие у банка на часах Жюль и Мазур прибежали на момент и сообщили, что те двое шпионов, сотрудники Улянецкого, куда-то исчезли. С минуты на минуту можно ждать полицию.

Улянецкий не спускал с нас глаз. По выражению лица Мазура он понял, что его положение улучшится. Надежда на спасение еще раз вспыхнула в его глазах. Когда я предложил ему следовать за нами на улицу, где нас ожидала карета, следовать без маски, он и от этого отказался.

— Со всеми вами я не поеду, — захныкал он. — Везите меня двое, и то без оружия...

В это время вбегает Жюль и говорит, что к банку подъезжает полиция.

— Лысый, ведем его!.. шепнул я Мстиславу, — не торговаться же с ним здесь...

Мы схватили Улянецкого за руки.

— Не хочу!.. Не хочу!.. запротестовал он, брыкаясь. — У вас в кармане браунинг.

— Улянецкий! — сказал я ему взволнованно, еще крепче сжимая ему руки, — Улянецкий! На что бы ты ни надеялся, но живым я тебя не выпущу... Идем!

Недалеко от комнаты, в глухом коридоре, находился клозет.

— Сюда!.. Ину!! — крикнул я Улянецкому, когда мы поровнялись с этим местом.

— Не хочу!.. Не хочу!.. — зашептал он могильным голосом. На лице его показались крупные капли пота. Черные глаза расширились. Из них глядел безумный ужас. Весь он трепетал и трясся. — Не хочу... не хочу!! — кричал он, впившись в меня тонкими пальцами, да так крепко, что, казалось, они прилипли к моей одежде.

Между тем, снизу до нас доносился шум шагов по мраморной лестнице. — А вдруг это полиция? — шепнул мне Мстислав. Тут я рванул к себе Улянецкого, выхватил из-за пояса браунинг и выстрелил ему прямо в глаз. Глаз этот все время раздражал меня взглядом, в котором смешивались недоумение, молюба, надежда. Я хотел скорее покончить со всем этим.

Улянецкий без стопа свалился. Голова стукнулась о дверь клозета. Мы выскочили задним ходом на улицу и ушли.

* * *

Месяца через два после убийства Улянецкого губернатор объявил всем частным банкирам, что для охраны они должны брать только тех лиц, которых он укажет. В банки были поставлены настоящие сыщики. Охранявшая эти банки «милиция», собранная Матеем из боевиков п. п. с-овцев, была теперь распущена, и осенью 1907 года я перешел в Повонзковскую дельницу. Из тамошних боевиков выделялся умом, смелостью и кровавыми убеждениями инструктор «Чтос». Особенно много труда положил он на охоту за Сапьевским, как звали бывшего боевика, который изменил п. п. с. и теперь был видным деятелем охранки.

Не довольствуясь тем, что он сам сделался провокатором, Санковский расплодил многих провокаторов из боевцев же.

Аппетиты у наших дружкинников сделались большие. Иной бывший рабочий привык уже жить на широкую ногу; денег нет, «эсксы» не всегда удаются и связаны с риском — вот, кто был поподлее, тот и поступал на жалованье к Санковскому, оставаясь попрежнему в боевке.

Собственно говоря, участь Санковского давно уже была решена, на него бомб не жалели, но он был хитер и целый год увертывался.

Однажды на него пошло шесть боевиков, но все были выданы и попали в руки самого Санковского. К тому же он был замечательный стрелок и никогда не делал промахов.

Получив приказание от комитета, Чтос надумал убить Санковского в ресторане, надеясь заманить его туда под подходящим предлогом. Дело было осенью, помнится, в среду. Погода стояла пасмурная. На дело назначено было двадцать человек. Среди нас находится и боевик «Студент». Мне он с первого раза не понравился. Говорил он как-то сладко, но маслянистое его лицо и особенно его черные, не выдерживающие чужого пристального взгляда, глаза вызывали нехорошее чувство.

О нападении на Санковского нам было объявлено за день до этого. Собрались мы в доме на Воронней улице и занялись обсуждением подробностей. Было уже четыре часа вечера, когда вышли из дому и хотели направиться в ресторан. Выходили по два человека, впереди всех Молный и Муляш. Едва несколько человек вышло на улицу, как послышались выстрелы. Кто-то кричит: — Товарищи, полиция!...

Мы все на минуту растерялись. Некоторые попятились назад.

— Стройся четырёхугольником! — скомандовал нерастерявшийся Чтос.

Этой команде нас еще раньше обучали, и мы моментально выстроились, держа в руках браунинги.

— Вперед, за мной! — крикнул Чтос и первый выбежал из калитки на улицу.

Мы все за ним. Выскочил и я. Смотрю, на тротуаре лежат уже трупы убитых Муляша и Молного. Я вздрогнул: неужели и со мною это будет? Кругом полиция. Везде густой цепью стоят городовые с околодочными. Мы четырёхугольниками в полном порядке устремились на них с гиком и криками.

— Вперед!.. Смелей!.. За мною! — кричал Чтос; а мы, охваченные отчаянием, стреляли без перерыва. Нашего натиска полиция не выдержала, ряды ее расступились. Мы ринулись на Простую улицу, все еще отстреливаясь. Полиция немного замешкалась, а мы тем временем, пользуясь темнотой, успели скрыться в парикмахерской, куда заранее условлено было всем собраться. Многие были ранены, кто в ногу, кто в грудь, но серьезных ран не было. У меня из-под подбородка кровь сочилась, но скоро ее приостановили.

Студента между нами не было. Только минут через 20 он явился, запыхавшийся и взволнованный.

— Где ты был, Студент? — спросили некоторые, когда он со вздохом сел на стул и начал платком вытирать потный лоб.

— Чуть-чуть не попался! — проговорил он и стал рассказывать, как еще по выходе из дому он отстал от всех и один пробивался сквозь полицию. Искусственный тон его рассказа и беспокойное ерзанье на стуле повзвали к нам подозрительными. — Шестидесят патронов выпустил, — докончил свой рассказ Студент.

Мы занялись чисткой револьверов. У каждого дуло нахло гарью и было закопчено. Студент вынул свой браунинг и тоже стал чистить его.

— Пойдите, Студент, — остановил его один боевик, — у вас браунинг и так чист. Что же это?.. Вы совсем не стреляли или...

— Ну что, я врать тебе буду! — накинуся тот, поспешно беря у соседа шомпол с намерением погрузить его в дуло и тем положить конец всяким сомнениям.

— Смотри! — завертел он дуло перед глазами недоверчивого боевика, — чист он или нет!

— Ну, дайте же я посмотрю, — сказал Чтос, протягивая руку.

Чтосу отказать Студент уже не мог. Краска залила его лицо. Всем стало ясно, что спасся он каким-то другим способом. На него пало подозрение, но ясно подумать, что он именно и выдал нас, никто не решался, хотя каждый про себя подумал, что здесь дело не без предательства.

Но так или иначе Сапковский избежал гибели, а мы потеряли двоих боевиков. Стали придумывать другую для него западню. Чтос

узнал достоверно, что сестра Санковского в следующее воскресенье будет венчаться в церкви св. Флориана, что в Пражском предместье. Не было сомнения, что на свадьбе Санковский непременно будет. Вот Чтос и повел нас десять человек в эту церковь. Студента с нами не было, он и не знал о нашем замысле. Зато в курсе дела, как говорится, был некто Маньковский, который должен был оказать нам большую услугу. Он знал, что Студент тоже боевик, и, разговорившись, рассказал ему про готовящееся покушение.

Мы уже стояли в церкви и дожидались приезда молодых. Вдруг два дружинника, караулившие у паперти, вбежали и дали нам знать, что едет Санковский, но не один, а с целой свитой полиции и сыщиков. Мы поспешно выбрались из церкви и скрылись. Остался один только Чтос посмотреть, что будет дальше. Револьвер мы у него отобрали сами. Как только свадебный поезд остановился у церкви, соскочившие с пролетов охранники сейчас же оруджили всех присутствующих. Делать обыск в самой церкви было неудобно, вот и попросили всех на паперть и обыскивали каждого по-очередно. Чтос уцелел, но уцелел и Санковский.

Когда потом разговорились с Маньковским и узнали о его разговоре о предстоящем покушении со Студентом, все решили, что Студент и есть провокатор. Постановили убить его. Его подстерегли, стреляли, ранили в плечо и руку, но легко, так что он успел добежать до охранного отделения. Там он и остался. Больше мы его не встречали.

Чтос поклялся убить Санковского во что бы то ни стало. Это удалось сделать, благодаря содействию агента охранного отделения, бывшего раньше членом п. п. с.-ской бювки. Фамилия его была Дырч. Вместе с Санковским он засыпал многих членов партии; оба они же и создали нашумевшее в свое время дело 68 боевиков.

Решено было захватить Санковского на Варецкой площади — одном из самых людных центров города. Недалеко от нее находится главная почта. Тут же и войска и полиция, всюду масса военных. Место это Чтос выбрал с целью, чтоб хитрый и опытный Санковский не мог подумать о какой-нибудь западне. Дырч передал Санковскому, что он будто познакомился с царнем, который желает выдать склад оружия, но только намерен объясняться с одним им, Санковским. Этот согласился и назначил день и час.

Мы вшестером сидели в ресторане. Дырч, в ожидании Санковского, сидел за другим столиком, немного поодаль. Он все поглядывал на нас и усмехался какой-то искаженной улыбкой. Он попал в омут и теперь сам не знал, как выбраться. Изменил партии, теперь изме-

няет охранке. Что его ждет дальше? Он плохо верил в то, что партия его простит, хотя и старался уверить себя в этом.

Было 12 часов дня, когда к ресторану подъехал на велосипеде Санковский и еще незнакомый индик. На столе у нас стояли бутылки с пивом, вином и закусками. Каждый наливал себе стаканы и пил хмельное, но глаза у всех блестели недобрым огоньком. Чтоса передернуло, когда он заметил в окно подъезжавшего к ресторану Санковского. Санковский даже во сне ему снился, и он мог почувствовать себя хорошо только тогда, когда узнал бы, что его нет в живых... Да и все мы были взволнованы.

Санковский был высокого роста, стройный, с правильными чертами лица и пропидательными глазами. Появившись у дверей, он пристально посмотрел на нашу компанию. Может, он и заподозрил бы нас, но его успокоил Дырч, ножавший ему руку и что-то шепнувший ему. Втроем они сели за стол. Одет Санковский был в тужурке, в шляпе, черных па выпуск брюках и штиблетах.

— Ну, что ж, — услышали мы голос Санковского, — где же тот?..

Дырч был бледен. Он чуть слышно ответил:

— Сейчас, наверно, придет.

Голова его, то и дело, помимо его воли, поворачивалась в нашу сторону. Это не ускользнуло от Санковского. Но не ускользнуло и от нас. Чтос подозревал лакея, чтобы расплатиться по счету.

— Пора, — пропизнес он тихо, так что мы одни слышали его.

Подшел лакей. Мы все полезли в карманы, как будто за деньгами. У умных охранников, должно быть, есть какое-то особое предчувствие. Правая рука Санковского, как будто сама по себе, быстро опустилась за борт тужурки, но было уже поздно.

Не медля ни секунды и угадывая его намерение, мы тут же дали по нем залп из браунингов. Он так и свалился с засунутой за борт тужуры рукой. Вслед за ним был застрелен и его проводник-сыщик. Та же участь постигла и Дырча. Его убили потому, что в него никто не верил. Быть может, он и взаправду раскаялся и всем сердцем желал опять сделаться прежним Дырчем, но в таких тонкостях и вообще в чужой душевной психологии мало кто из нас разбирался. Каждый думал поверхностно: раз уже был предатель, то почему он и на этот раз не мог быть таким, — а за Санковского, в случае чего, нам всем грозила веревка. Так уж лучше сразу пресечь все сомнения..

.....

.....

.....



Убийство Санковского и Дырча, двух п. н. с.-цев, которые сделались злостными провокаторами и опустошали наши дружины, было последним делом, в котором я участвовал. После этого боевка наша перестала быть прежней сплоченной и многочисленной боевкой. Аресты и измена подорвали ее, среди самих боевиков было не мало таких, которые получали жалование в охранке. А сколько было сослано в Сибирь, на каторгу, перевешено — и не сочтешь!.. Иной раз ходишь себе по улице, и так и ждешь, что вот-вот тебя схватят, приберут к рукам, раскопают твои прежние грехи, а там, смотри, и вздернут.

Вольская дельница почти вся опустела. Из дельницы Шрудмества и Повонковской, куда я потом перешел, ряды боевцев тоже поредели. Вся наша веселая компания разбрелась, точно ее и не было. Смелый и Кминцц уже давно были исключены из организации за устройство экспроприаций, Жюль был арестован и сослан, Мазур сидел в тюрьме, некоторые были убиты, другие удрали за границу, кое-кто женился и совсем забыл про партийную работу. Вскоре арестован был и Матей, впрочем выпущенный под залог в восемь тысяч рублей. Из прежней компании остался почти что только Метислав да я.

Во мне что-то давно уже остыло и оборвалось. Работа в боевке стала казаться серой и обыкновенной. Все уже было знакомо и надоело хуже горькой редьки. Теории и разные там пропаганды меня и раньше мало занимали. Притом жалование дружинника уже не удовлетворяло — я привык ко многому такому, что обходится в хорошую копейку. Делать же эсксы и оставаться в партии рискованно. Хорошо, что до сих пор все сходило гладко, но кто мог поручиться за дальнейшее? А ведь, в случае засылки мне может грозить, пожалуй, и лишение жизни.

Вот думая таким манером, я все больше отдалялся от партии, редко стал ходить на собрания, а иногда уклонялся даже от партийных поручений. Под конец и совсем все оставил. Было это уже в декабре 1907 г.

— Слушай, Болея, хочешь, я познакомя тебя с Риттером? Он как раз теперь новую шайку набирает...—сказал мне однажды Герман, мой приятель с детства, давно уже сделавшийся настоящим бандитом.

Про шайку Риттера я и раньше многое слышал. Испытание было слишком велико, и я согласился. Когда я пришел в назначенный

для свидания ресторан, там сидела компания, которая шумно пиновала за бутылками.

— Ты что это, пан, без дела? — обратился ко мне Риттер, пожамал руку и сажая за стол рядом с собою. Риттер, молодой, лет под тридцать, голубоглазый, хвастливый и грубоватый, сразу понравился мне своей детской простотой и откровенностью. Он был весь на распашку. — У меня, брат, без работы не засидишься. Вот через неделю на разбой едем... ксендз есть богатый... хочешь?

Я обещал подумать. На другой день зашел к Мстиславу. С Лысым жил очень дружно, и хотелось бы, чтоб и он пошел на это новое для меня дело: так легче как-то. Мстислав очень нуждался и не прочь был принять участие, если только люди эти сумеют держать язык за зубами.

Дня через три мы вдвоем катили в вагоне, направляясь в фольварк недалеко от Ломжи. На душе было весело. Я ехал точно на гулянье. Так легко было чувствовать, что нет над тобою никакой дисциплины и уставов, что ни пред кем и ни в чем стесняться не надо, не надо постоянно думать, что вот это можно, а этого нельзя.

С этого дня у меня и пошла новая жизнь. Про нее, а также и про мои побег (один побег я затеял вместе с графом Роникером из следственной тюрьмы, другой раз бежал прямо из арестантского вагона), про все это расскажу в следующих главах.

* * *

Тут я прерываю исповедь. Каторжане этого типа встречались мне почти во всех каторжных централах, в которых приходилось побывать. Для характеристики целой категории бунтарски настроенной рабочей молодежи периода революции 1905—1907 г. г. исповедь Болеславского, на мой взгляд, представляет небезыңтересный документ.

Воры с тенденцией.

После событий 1905 — 1907 г.г., когда тюрьмы стали быстро наполняться представителями (чуть ли не) всех слоев населения, людьми самого различного положения и умонастроения, появилась новая разновидность уголовных арестантов.

Если прежний вор совершал свои ограбления просто и не мудрствуя, во всяком случае, не возводя своих поступков в теорию, то теперь нередко попадаются и такие, которые чувствуют потребность подвести под свои действия какой-нибудь фундамент, связать их в нечто цельное, что удовлетворило бы, по крайней мере, их самих. Склонность *aus der Noth eine Tugend machen* — *из нужды делать добродетель*, свойственная людям всех времен и народов, — в этом проявляется даже одна из коренных особенностей человеческой психики. Но «принципиальные» воры, норы, которые, если как следует с ними разговориться, претендуют на руководство соответствующими «точками зрения», — навряд ли попадались раньше.

Само по себе явление это весьма симптоматично и любопытно. С одной стороны, оно — косвенный результат распада революции, а с другой — оно свидетельствует, как-никак, о росте сознательности и способности к обобщениям среди пэзов, из которых, недь, главным образом, и рекрутируется «мир отверженных».

Попробую остановиться на двух таких «ворах с тенденцией».

I.

— Вы кто же будете? — спросил я Кирсанова после того, как он разложил свои вещи и устроился у меня на одиночке. Мне давно уже надоело сидеть одному и я рад был этому новому своему сожителю. Обыкновенно такие вопросы не задаются так прямо, и отвечают на них тоже не совсем охотно. Но глядя на его чистое и симпатичное лицо, хорошую улыбку и ясные, синие глаза (под которыми не было обычных у уголовных темноватых крутов), я принял его за своего и ждал, что он подробнее определит свою партийность.

— Я вор... уголовный я... — ответил он твердо и отчеканенно, посмотрев мне прямо в лицо своими немигающими глазами. В его тоне послышались даже вызывающие нотки. Я был несколько озадачен и в первые дни не знал, как мне держаться. Я уже опасался, что между нами пойдут нелады, но Кирсанов оказался человеком очень уживчивым, к срывавшимся у меня во время споров резкостям относился просто и спокойно, и лишь в редких случаях отвечал мне тем же. В общем мы жили с ним довольно ладно. Чтоб скорее проходило до ужаса тягучее, специфически тюремное время, я часто вызывал его на откровенные беседы и расспрашивал про его прошлое. Кирсанов очень заинтересовал меня. К тому же, благодаря таким беседам и возникавшим у нас спорам, работа — мы тогда заняты были шитьем соломенных колпаков для винных бутылок — спорилась куда лучше.

Свое раннее детство Кирсанов провел в деревне, а 13-14-летним мальчиком отведен был в город и отдан в столярную мастерскую. С этих пор он и начал переходить от хозяина к хозяину. Живал он во многих городах Поволжья, воевал по Донской области, бывал и на Кавказе. С места на место гнала его не столько погоня за заработком, сколько жажда разнообразия и смены впечатлений. И люди, и обстановка скоро ему приедались, как только он присмотрелся к ним и перестал находить в них что-нибудь новое. В это время у него и выработались новые привычки, желания и вкус. Тут и хороший обед с вином или с пивом, тут и модный костюм из дорогой материи, и интересная книжка и занятный спектакль и экскурсия в какое-нибудь достопримечательное место.

— Свою столярную работу я знаю и люблю, — говаривал Кирсанов, — но работать с утра до вечера, быть в зависимости от хозяина, выслушивать грубости, — нет, слуга покорный, не желаю... Торчи и потеи целый день за каких-нибудь рубль и двадцать копеек... Проведешь иной раз вечер у знакомых, или в театре, прилетишься домой поздней ночью, а тут изволь подниматься чуть свет и беги в мастерскую.

Эта необходимость вставать рано утром очень тяготила и раздражала Кирсанова, особенно, когда дело происходило после воскресенья: слишком ярок был контраст между возможностью свободно распоряжаться своим временем и обязанностью снова втянуться в скучную и томительную лампу.

— Поймите, что все это было со мною, молодым, холостым, ни-чем и ничем серьезно не связанным... На худой конец, я мог и пропущать денек-другой и не так гнаться за лишним гривенником... Но тут мне в голову лезли такие думы: а что будет потом, когда

обзаведешься семьей, когда придется работать и на жену и на детей, что будет, если как-нибудь заболеешь?.. Да мало ли что может случиться!.. И так живи день за днем!.. Из года в год трудись на чужого!..

Мысли эти давно уже беспокоили Кирсанова.

— Родные и знакомые мне говорили: обзаведись собственной мастерской, а там, Бог даст, и в люди выйдешь, хозяином будешь— продолжал рассказывать Кирсанов во время наших частых бесед на эту тему.— Но для этого, ведь, нужны средства!.. А где их возьмешь? Потом: без чужих рабочих не обойдешься, но стоять над их шеей, торопить, пот выжимать—совестно, не такой у меня характер. Относиться же к ним как товарищ, это значит, работать больше всех и обязательно прогореть да в трубу вылететь... Это уж как дважды два... Правда, можно еще работать самому, одиночкой, но—это значит быть привязанным и к месту и к верстаку. Забот больше, а больше ли наработаешь при теперешней конкуренции, это еще вопрос... Но что же делать?—спрашивал я себя. А живи, пока живется, а там видно будет!— успокаивал меня какой-то внутренний голос. И так я несколько лет тянул эту канитель...

* * *

К религии, т.-е. к тому, что в общественности называют религией, к церкви и ее обрядам, к вере в возмездие на том или на сем свете, Кирсанов давно уже относился совершенно отрицательно. Толчком к такому неверию послужили частые беседы его отца, любознательного крестьянина, с сельским псаломщиком. Как это ни странно, этот не окончивший курса семинарист был заедлым атеистом и втихомолку издевался над обрядами, иконами, учением о загробной жизни и т. п.

— Ну, я-то служу всему этому, потому что жрать надо, но ты-то как признавать все это можешь?!—товарищевал этот неверующий церковник отцу Кирсанова, зубоскаля и хихикая. Мальчик Кирсанов присутствовал при этих беседах на правах взрослого. Как и у очень многих из рабочей молодежи безразличное вначале отношение к церкви современем сменилось у него резко враждебным.

Несколько больше заинтересовала Кирсанова деятельность социалистических партий. Когда он работал в Балахове, сын его хозяина, деятельный с.-д., убитый потом черносотенцами, давал ему прокламации, нелегальные брошюры, газету «Искра». Вообще, Кирсанов много читал, долго вращался среди «созвездной» мастеровщины и в отношении развития мало чем уступит провинциальному рабочему из настоящих партийных. Рассуждает он смело, умеет толково слушать и уместно задавать вопросы. Начал он «разливаться» на с.-д. литера-

туре, но теперь к революционерам он относится почти безразлично, причем, если уж говорить об оттенках этого безразличия, то анархисты нравятся ему больше, чем с.-р., а с.-р. больше, чем с.-д. К последним, особенно к с.-д-кой интеллигенции он относится проницательно-презрительно.

В программах разных партий Кирсанов разбирается довольно сносно, но захватить его целиком не могла ни одна из них. Ему все хотелось чего-то такого, что не только удовлетворило бы его *общие* запросы, разрешало бы положение рабочих в массе, как класса, скажем, во и давало бы *полное*, а главное, *немедленное* удовлетворение всем его *частным и личным* потребностям и желаниям.

— Я, конечно, не отказывался от забастовок, — иллюстрировал свою мысль Кирсанов, — но много ли в них толку, скажите по совести! Сколько хлопот и возни, пока агитируешь свою публику, а потом, а потом-то что?! Ну, сократят работу на какой-нибудь час, да двутри-вещный в день прибавят... Много ли в этом толку?.. Подумаешь: «ако-но-ми-че-ска-я борьба»... «Э-мап-си-па-ци-я рабочего класса»...

Меня вначале коробили эти иронические замечания, и я выступал с пространными возражениями. Завязывался спор, порою довольно бурный.

— Знаю, знаю, что вы скажете, — прерывал меня Кирсанов, — на то вы и эсдек, чтоб говорить все, что «полагается»... «Борись, добивайся экономических улучшений, политических прав, завоевывай социализм» — говорите вы... Но, дяденька, пока всего этого добьешься, от твоих косточек и следа не останется... Так во имя чего же терпеть мне, страдать, попадать в тюрьму, на каторгу, а то и на нереволок по-ви нуть?!.. Положим, что внукам моих внуков, или даже, скажем, просто моим внукам, будет житья лучше. Допустим. Но *мне-то*, мне, Гавриилу Кирсанову, что до этого?.. «Идея рабочего сословия, идея человечества в целом» — говорят ваши интеллигенты. Но я вам уже сказал: *Я сам по себе, а рабочий класс — сам по себе*. Пускай он себе борется на здоровье. Для меня лично во всем этом мало проку. От того, что пятипудовая ноша облегчится на пару фунтиков, мне легче не станет... Вот и выходит: раз мне не дают жить, как мне хочется, то пусть так и будет: я беру себе все, что мне нужно, силой, беру обманом, беру хитростью, смотря где и как...

Спорили мы часто и много, но Кирсанов всегда упорно оставался при своем, хотя очень легко, спокойно и как-то безразлично допускал, что другие могут думать иначе, и по этим же самым вопросам держаться мнений, противоположных его собственным. «*Я сам по себе, а другие тоже сами по себе*», любил он повторять в таких случаях. Единственное, с чем он соглашался, так это с тем, что в по-

давляющем большинстве случаев воровское дело оказывается *невыгодным*, что и полиция и судебные власти так хорошо охраняют собственность богатых, что, в конце-концов, редкий вор умирает на воле. Но все-таки, «принципиально» Кирсанов отстаивал свою правоту в выборе, в созвательном и обдуманном выборе себе воровской карьеры. В этом именно Кирсанов и отличался от большинства остальных уголовных, действующих непосредственно и импульсивно.

— Главное—это достать себе денег, как можно больше денег,— развивал свои мысли Кирсанов.—Конечно, самое лучшее было бы записаться монетамп... Вы говорите: это безнравственно... Другие говорят: это преступно... Но почему? Попадутся на нпг бедняки, потеряют свои деньги, да еще в участок угодят?... Так, что ли? Ну, а если *мои* деньги выйдут такими чистенькими, что их и не отличишь от настоящих? Ведь, если я прибавлю к меди немного урану и хорошенько позолочу монету, то она по тяжести смело сойдет за настоящую, золотую... Или, я вот читал где-то, что посредством жидкого воздуха можно сделать ртуть твердой и свинец звонким, — позолотите такую штуку, и вот вам конкуренция с монетным двором!..

— Но так рассуждать возмутительно!.., — пробую я остановить фантазирующего Кирсанова.—Да и вообще, возмутительно присваивать себе продукты чужого труда, да еще в таком размере...

— Вот как!.. Но, скажите, господин ездэк, если я куплю лотерейный билет за 200 рублей и выиграю на нем двести тысяч... Или, скажем так: я играю на бирже и нажил состояние, или, положим, какой-нибудь дядюшка оставил мне громадное наследство... Ведь, никто не возмутится этим? Хотя и тут без всякого труда я буду пользоваться продуктами чужой работы, как вы говорите...

Подобные софизмы, очень характерные для того опустошения, до которого он дошел, Кирсанов выкладывал с неподражаемой самоуверенностью.

— Но, по правде сказать, — комментировал он свои выводы, — с монетами возиться канитель большая, да и влопаться не так уж трудно, как это я думал вначале. Значит, надо ждать случая обворовать или ограбить кого-нибудь на большую сумму.

— Но рабочий класс в целом не может же заняться кражами да грабежами, — возражаю я, желая направить разговор на другую тему.

— Ах, вы опять свое: рабочий класс, да рабочий класс. Но мне-то, *мне* что до этого за дело! Я сам по себе. Вы вот лучше укажите мне такой способ, который *сегодня же*, вот сейчас же, ну, по крайней мере, до моей смерти, дал бы мне все, что мне надо,—и тогда я весь ваш.

— Ну, мало ли что вам захочется... А если вам нравится обед из фазанов, или захотите спать на перине из гагачьего пуху...

— Нет, зачем же... Я человек маленький. Я не кутила, не картежница, не развратница. Пил мало, а проститутток знал меньше, чем любой из ваших интеллигентов... Для себя я требую гораздо меньше того, чем теперь пользуется любой буржуй, но зато мне нужно гораздо больше того, что имеет простой столяр... Возможно, что при социализме вам мне жилось бы недурно. Допустим. Но ждать до следующего... хе-хе-хе—до следующего геологического периода, нет, дяденька, на это я не пойдусь, этим вы меня не купите...

* * *

Когда Кирсанов проживал в Ростове на-Дону, он был еще, что называется, честным человеком, — обыкновенным рабочим, только весьма предрасположенным внутренне к тому, чем он стал впоследствии.

В том городе и в то время (1909 г.) очень буйствовали черносотенцы, которые, пользуясь покровительством властей, приставали к прохожим с оскорблениями, а то и вымогательствами. Как и многие другие из рабочей молодежи, Кирсанов на всякий случай носил при себе револьвер. Однажды был обыск у жилища той квартиры, в которой и он занимал комнату. Исходя из истинно-русского представления о неприкосновенности личности и жилища, полиция за одно уж делает обыск и у Кирсанова, находит у него револьвер и приговаривает в трех месяцах тюрьмы с последующей высылкой на родину.

В деревне, куда Кирсанов прибыл по этапу, прибыл оборванным, грязным, голодным—ему делать совершенно нечего было. Дома он не был уже много лет, в земледельческой работе он всегда мало смыслил, а тут и родственники поглядывали на него косо, а тут и весь уклад деревенской жизни показался ему чуждым и враждебным. Приходилось опять уезжать в какой-нибудь город, опять искать работу, эту опротивевшую ему столярную работу, опять ломать голову над докучливым вопросом:

— Что же будет дальше? Когда же кончится эта мука? Когда же, наконец, он заживет так, как ему нравится?

Мысли о скором и моментальном обогащении давно уже преследовали его и сделались чем-то вроде мании: думал ли он об обеспеченной жизни, о комфорте и сытости, думал ли он о женитьбе на девушке, которая ему нравилась, всегда он приходил к одному и тому же выводу. *Ищите и обряцете*, — сказано, и вот Кирсанов, находит себе, наконец, подходящее дело.

В одной церкви, отстоявшей недалеко от его села, имелся большой, серебряный с золотом потир—чаша, подаренная еще в далекие времена каким-то графом из местных помещиков. Этот-то потир Кирсанов и решил похитить. Религиозные соображения его, конечно, несколько и ни на минуту не останавливали.

— Да и кому нужна такая дорогая чаша?—высказывался он при мне.—Богу?.. Попам?.. Мужичкам-прихожанам?.. Не беда, обойдутся и без этой вещицы. Зато вот, если я продам ее ювелиру, то получу, самое меньшее, тысячи две... Две тысячи рублей: подумайте-ка! Это значит: целых два, а то и три года, живи себе без забот, без возни и хлопот, ешь, пей и веселись!..

Искушение было слишком велико, а само дело казалось ему слишком легким. Найдя себе сотрудника в лице одного молоденького парнишки, Кирсанов пробрался с ним ночью в церковь, взломал что нужно и забрал графский подарок. Кража скоро отерлась, дано было знать полиции, начались розыски. По подозрению взят был молоденький сообщник Кирсанова и, сильно избитый в участке, он выдал моего сожителя. После долгого сиденья под следствием, Кирсанов получил восемь лет каторги.

К нам он прибыл из Тамбовской тюрьмы, начальником которой был техник Иванов, фигура очень характерная для начальников старого типа, начинающего исчезать теперь при европеизации русского тюремного быта. При нем арестанты обворовывались самым наглым образом, они ходили оборвышами, недоедали, получали смешные гроши за работу; зато те, у которых имелись деньги, могли жить и одеваться как угодно, даже в том случае, если они каторжане. Между начальником и арестантами установился своего рода молчаливый договор: арестанты не препятствовали Иванову перекладывать к себе в карман предназначенные для них деньги, а он им предоставлял за это массу льгот: даже бессрочные каторжане ходили у него без кандалов и в собственной одежде, выпускались на огородную работу; сношения между заключенными разных корпусов, даже и с женским, были очень свободные, нелегальная почта действовала регулярно, побегов и попыток к побегам было множество, карточная игра действовала во-всю, водка проносилась аккуратно, не обходилось и без изготовления в тюрьме же фальшивых монет, а в довершение всего—*сам начальник Иванов играл с арестантами в карты*. Все это запротоколированные факты.

Даже при начальнике Чеховском многие из Ивановских порядков оставались в силе. Так, Кирсанов, задолго до истечения своего кандалного срока был, раскован, а в качестве столярного мастера он

ходил в город покупать лак, политуру, гвозди и т. д. Правда, его сопровождал надзиратель, но оба они не упускали случая заходить в пивную и распить вместе бутылку-другую: однажды Кирсанов привез в тюрьму на извозчике своего наспиртованного провожателя.

Как-то вместе с целой партией других арестантов Кирсанов отправлен был, или, вернее, сам вызвался, на работу при лесной пристани. Воспользовавшись подходящим моментом, он засыпал глаза надзирателю вухательным табаком и пустился на утек. Было это средь белого дня. Находившаяся поблизости частная публика с азартом пустилась за ним в погоню. Кирсанов был задержан, отведен в тюрьму и вторично закован. За попытку к побегу суд добавил ему еще два года каторги, причем отсуженное им время пропало даром.

Весной 1912 г. с ним случилось новое несчастье: он был отправлен в Орловский централ. Тягостный режим порядком доконал его. Когда я с ним расстался, он из свежего и румяного парня обратился уже в исхудалого и пожелтевшего арестанта.

II.

Хотя Кирсанов со спокойной убежденностью, даже с некоторой бравадой отстаивал карьеру вора в стиле *moderne*, но в тоне его возражений порою, нет-нет, да и проскользнут нотки сомнения, неуверенности. Смешивать его с профессиональным вором обычного типа, нет, конечно, оснований, хотя сам Кирсанов навряд ли по своей охоте вернется теперь к своему столярному мастерству, как к источнику пропитания. Подобные нотки сомнения, при всем показном апломбе, еще явственнее слышались мне в аргументации другого «вора с тенденцией», которого я встретил в Вологодской губернской тюрьме.

Дело было так. До перевода в местный централ, меня посадили в камеру, в которой сидели одни лишь каторжане. Оглядывая публику, я не мог не заметить одного арестанта, в ножных кандалах: своей крайней истощенностью, воспаленным взором, глубокими темно-синими кругами под глазами он резко отличался от всех остальных, большею частью, простых мужичков. Мне казалось, что это старый рецидивист, типичный тюремный житель. Когда я разговаривал с одним знакомым, парень этот то подходил к вам вплотную, то отходил в сторону, то присаживался, то снова вставал, видимо с интересом прислушиваясь к нашей беседе, но не решался вмешаться в нее. Вскоре нас познакомили. Он начал расспрашивать про местную каторжную тюрьму и некоторых своих приятелей, затем незаметно перешел на более общие вопросы. Постепенно разговор наш перешел в спор, и мы втроем просидели, таким образом, до двух часов ночи.

И ошибся, приняв Ленцевича за старого вора, с изматетства шатающегося по тюрьмам. Он оказался бывшим столичным рабочим, ткачем, одно время входившим в соц.-дем. организацию. Опасаясь как-то ареста, он перешел на нелегальное положение и по подложному паспорту проживал в студенческом общежитии Петербургского Политехникума. Когда это неуверенное положение стало его тяготить, он уехал к себе на родину, в деревню северо-западного края. Революционное возбуждение далеко не улеглось еще, и Ленцевич, считавший себя «передовым», сейчас же втянулся в агитационную деятельность. Пред ним было почти невозделанное еще поле. Темнота и заботность, неизмеримая тупость и покорность глубоко сидели в каждом из его земляков. У них не только отсутствовали элементарнейшие понятия о политических и социальных проблемах, но даже о шумной и яркой деятельности Первой Государственной Думы у них были самые смутные и путанные представления. Там, в столицах, социалисты спорили между собою и ссорились из-за формы будущей крыши, а тут нет еще и намека на фундамент здания.

Почти все свои годы Ленцевич провел в большом фабричном центре и, вернувшись из шумного и бурлившего города в тихую и сонную деревню, он долго не мог освоиться с новой для него обстановкой. Возбужденный и припороженный, он снова уехал в столицу и, хотя числился в большевиках, набрал где только мог агитационной литературы, и с.-д., и с.-р., и анархистской, и даже кадетской, — «лишь бы она правду говорила и глаза открывала». Однако, не успел он еще вернуться домой, как был арестован и отведен в стан. За ним числились еще кой-какие дела по Петербургу, и он в лучшем случае мог ожидать административной высылки в Сибирь. Неудивительно, что через несколько дней Ленцевич скрылся из плохо охраняемой волоостной каталажки.

Бежал он вместе с одним мелким воров. Денег не было ни у того, ни у другого. Поэтому, когда спутник Ленцевича сказал ему, что он сейчас ограбит вон того пешехода, который подвигается к ним навстречу, голодный Ленцевич, начав со слабой попытки отговорить его от этого, кончил тем, что явился молчаливым свидетелем маленькой уголовщины. Поздно вечером они прибыли в соседний городишко. Знакомых он здесь не имел, рассчитывать же в захолустном городке на какую-нибудь другую случайную работу тоже нечего было. Ленцевичу поневоле пришлось устроиться на квартире приятеля, того самого вора, с которым он бежал из стапа.

Даже и на закаленного и устойчивого человека подобное положение влияет деморализующе. Поддержки ниоткуда, ни материальной, ни моральной; из столицы, куда он написал прежним своим товарищам, —

никакого ответа: кто выслаив в места столь и не столь отдаленные, кто сидит в тюрьме, кто сам ходит без работы. Подуголодное прозябание, рискованное в его положении скитальчество, да новый круг знакомых, с которыми он столь неожиданно для самого себя сошелся,—все это стало его тяготить. Выбраться же из этой дыры у него буквально не на что было. В моде тогда были экспроприаторские похождения, и мысли Ленцевича невольно направились в эту сторону.

Было это уже в 1908 г. Везде, и в крупных центрах и в провинции, революционные организации таяли с каждым днем, а тут еще полицейские репрессии и драконовские приговоры военных и не военных судов. Всюду среди социалистов воцарилась апатия, уныние. Разошлись по домам не только попутчики, случайные пришельцы, гастролеры и аматеры революции, временно «ставшие на точку зрения» пролетариата или крестьянства, но и «настоящие» комитетчики, старые и испытанные бойцы. Кто ушел в семью, узаконял свои брачные отношения и занялся разрешением приятной задачи увеличения народонаселения; кто поспешно закалчивал университет и подумывал об обеспеченном и приличном заработке. Даже многие и многие из активно-партийных рабочих, смущенные развалом организаций, отливом интеллигенции, пуганные черным террором, усталые и разочарованные, тоже отошли в сторону. Публике, прикосновенной в той или иной степени к общественному подъему 1905—1907 г.г., захотелось дать отдых напряженным нервам и как бы вознаградить себя за недавнее увлечение сугобо-общественными вопросами и теориями. Все лихорадочно спешили повеселиться, позабавиться, пожуировать...

Вот и Ленцевич, под влиянием своего личного положения и всего того, что творилось тогда вокруг него, решил сделать «*солидный экс*», как он выразился. Но чтобы «экс» этот вышел удачным и стоил риска, нужно было выждать момент, раздобыть револьвер, и пока что как-нибудь жить и кормиться. И вот наш вчерашний эсдек мало-по-малу растеривает свой духовный багаж и все дальше и дальше уходит от старого.

* * *

В виде подготовки к своему «солидному» эксу Ленцевич вместе с приютившими его ворами совершает несколько маленьких «так себе» ограблений. Облюбовал, наконец, одну винную лавку и собрав нужные сведения, он еще с двумя нагрянул на монополюку и проделав, все, что полагается в таких случаях, пачиная с грозного «руки вверх!!», очутился после деловки, с несколькими сотнями рублей в кармане. На радостях он закутил.

Когда Ленцевич вращался среди партийной молодежи, он, быть может, старался так или иначе, вести себя как это подобает «сознательному пролетарию». Тогда он, вероятно, считал зазорным посещать публичные дома, вообще, за деньги покупать так-наз. «любовь» полу-пьяной и полу-гнилой самки, именуемой проституткой. Но теперь всякие там «точки зрения» и соображения иных «узких» и «сучных» социалистов, вроде голоса совести, чувства самоуважения, чувства эстетики и т. п., — потеряли для него всякое значение. Покопавшись в своей душе, он к своему большому облегчению нашел, что от прежнего в нем почти ничего уже не осталось, что он, как «свободная личность», может ни с кем и ни с чем не считаться и волен делать все, что ему в данный момент захочется. Как и многие из «индивидуалистов», как аристократического, так и плебейского происхождения, Ленцевич, воображавший себя абсолютно свободным, был в сущности рабом своих капризов и во всем следовал за большинством.

После долгого воздержания и вольного или невольного аскетизма, Ленцевич, очутившись сразу с такими большими деньгами, пустился во все тяжкие, запил и загулял. Вскоре он обратил на себя внимание мелкой шпионской сошки, должно быть, торчащей в подобных притонах. Взятый в нетрезвом виде по простому подозрению в незаконности происхождения прокучиваемых им денег, Ленцевич своими сбивчивыми ответами еще более усилил подозрение полиции. Поставленный на ощую ставку с сидельцем винной лавки он был уличен и посажен в тюрьму.

Теперь ему угрожает каторга. Надо вырваться на волю. Остается или бежать из данной тюрьмы, или же перевестись в какую-нибудь другую тюрьму и сделать это оттуда, если только не удастся бежать с дороги. Третий исход, которым часто пользовались когда-то — смена с каким-нибудь простоватым арестантом — теперь навряд ли где применяется. Ленцевич сделал попытку бежать с прогулочного двора, но «засыпался» и поплатился долгим карцером. За ним стали следить построже. Тогда он, чтоб побудить начальство перевести его в другую тюрьму, решил взять на себя чужое дело. В таких случаях, заинтересованный арестант пишет следователю прошение, сознаваясь в якобы совершенном им там-то, тогда-то и при таких-то обстоятельствах ограблении. Или же кто-нибудь из его друзей, получив от него соответствующую инструкцию, идет в контору и доносит начальнику, что вот, мол, сидя в камере, он подслушал, как такой-то бахвалился совершенным им преступлением.

Судебные следователи и прокуроры обыкновенно легко поддаются на такую удочку и действуют по плану, в сущности, начертанному

самим арестантом. А этот ведет себя уж артистически: на допросе немножко смущается, немножко пугает, чуть-чуть признается и тут же начинает неуклюже отступать и вилать, — словом делает так, чтоб у следователя сложилось убеждение в его действительной виновности. Задуманное Ленцевичем предприятие кончилось удачно: на Ковенской губернии его переслали в Тотемский уезд Вологодской губ., где и имело место то самое дело, которое он «с *понто*м» взял на себя. Во время всех этих передыток и злоключений он до того сжился с новой средой и до того усвоил взгляды, вкусы и привычки подлинных уголовных, что мог теперь радоваться и возмущаться всем тем, что радует и возмущает настоящего вора. Вышло так, что когда какой-то арестант что-то или кого-то «засыпал», т.е. предал начальству, Ленцевич и взял на себя роль мстителя. Вооружившись сапожным ножом, он в бане нанес ему несколько смертельных ран.

Возникло новое дело. Его и без того ожидала каторга, и держать его в слабо охраняемой уездной тюрьмешке начальник не решился. Он свесил с советником Губернского Правления (тюремной инспекции в Вологде тогда еще не было) и с его разрешения заковал Ленцевича — до суда — в ножные кандалы и отправил его в губернскую тюрьму. Тут мы с ним и встретились.

* * *

Что меня особенно заинтересовало в Ленцевиче, — так это его упорная склонность подвести все свое поведение под какую-нибудь теоретическую основу, да непременно так, чтобы оно помудренее выглядело. В эти годы, когда не только серьезные и продуманные идеологи, но и даже самые вздорные и легкомысленные *теории-поделки* ридились в пышную тогу ми-ро-воз-зрения, Ленцевичу, как-никак, а бывшему эсдеку, не совсем удобно щеголять пред людьми безо всякого прикрытия...

— Я *анархист-индивидуалист*, — повторял он не без гордости, хотя, признаться, правильнее было бы назвать его *анархистом-грундистом*, — до того путанно его «мировоззрение». В голове у него ужасный сумбур, какой-то плохо переваренный винигрет из отрывочных мыслей и фраз из различных кляжек и брошюр. При этом, своим «учителем» Ленцевич считал... кого бы вы подумали? — а вот, своим учителем он считает... Штирпера...

— Я, — так аргументировал он, — я — личность, следовательно свободен от всяких заповедей, законов, обычаев, вообще от чужих постановлений... Что хочу, то и делаю, как хочу, так и живу... Если я силен физически, или, скажем, хитер, умен, то и овладеваю тем, что мне нужно, но что сейчас находится у другого... К бедному я не

пойду, потому — я его жалею, да и не хера нет у него. Ну, а если то буржуй, — так и душа из него воет!.. В праве я это делать уже по одному тому, что я в силе это сделать... Все, что существует, это для меня средство, и только я сам для себя — цель... Всякие там нравственности, интересы общества, государства — просто брехня, придуманная теми, кто сам так же делает, только хочет другим очки втереть... Но я теперь не такой дурак. В загробную жизнь не верю, мучений ада не боюсь, ну, а от земных судей постараюсь уйти, улизнуть... Кто может запретить мне делать, что я хочу?... Еще Штирнер доказал, что раз у человека есть свобода воли...

Ленцевич так и сказал: «свобода воли». Я невольно улыбнулся, услышав такую неожиданную и своеобразную трактовку этой ветхой дедовской философской проблемы. Бедный Макс Штирнер! Думал ли он когда-нибудь, что в чуждой ему России «Единственный и его собственность» будет экспроприрован и сделается собственностью далеко не единственного экспроприатора казенной собственности! Макс Штирнер и опустившийся арестант! Вот уж действительно: «о, времена, о, нравы!»...

Не знаю, плохой ли Ленцевич слорщик, или же все эти его «убеждения» лишь лаком прикрывают совсем другие доводы, слишком тонкие, чтоб не разорваться, но мне не трудно было разбить все его «штирнерианство». Он часто становился втупик, то и дело нерескакивал с предмета на предмет, сбивался и путался, а временами смотрел на меня каким-то пронзительным взглядом. Видно было, что, несмотря на все, он не чувствовал себя совсем на месте в новом для него кругу профессиональной уголовщины.

Мне стало его очень жаль. В самом деле, кто его знает, не смог бы ли он возродиться, если бы снова попал в очищающую и облагораживающую среду идейных рабочих, если бы он снова нашел прочный и регулярный заработок на фабрике или на заводе... Тогда из паразита-преступника он стал бы полезным членом общества, деятельным участником пролетарской организации...

Но куда ему! Ждет его теперь долгосрочная каторга, предстоит ему еще много-много мытарств по тюрьмам, а он уже и сейчас выглядит полу-мертвецом.

* * *

Наши беседы и споры затянулись далеко за полночь. Режим в Вологодской губернской тюрьме был тогда (до назначения инспектора Ефимова) довольно сносный, так что надзиратель ограничился только невинными репликами вроде:

— Будет вам чудить-то... Ишь спанился... Спать пора...

Я был прямо с этапа, утомлен, разбит; по дороге у меня развязался подкандалник, и я до крови натер себе ногу кандалным обручем; в арестантском вагоне я простудил себе горло, а тут еще трехчасовой разговор. Меня сильно клонило ко сну. Но где было устроиться? Все койки уже заняты. Из новоприбывших один разлегся на обеденном столе; двое других — прямо на грязном, заляпанном полу возле парашки, — матрацов и одеял нам, как пересыльным, не давали, конечно. Мне пришлось бы, как и в прошлый раз, вытянуться на той же узенькой скамье, на которой мы сидели, накрыться серым халатом, а под голову положить пачку книг, которые я вез с собою.

Но тут наш штирнерианец, хотя и признающий, что все человечество для него только средство, великодушно уступил мне свою койку, одеяло и соломенную подушку, и менее чем через минуту я заснул тяжелым кошмарным сном.

Тот же преступник...

Что такое Орловский централ, Мальцев узнал в первый же день своего прибытия к нам. Принимал этап помощник Дурнев.

Держа в руках, так-наз., «открытый лист», всегда сопровождающий пересыльного арестанта, его высокоблагородие спрашивает:

— За что судился?

— За укрывательство,—отвечает Мальцев.

— Врешь, сукин сын! В бумагах написано: судился за укрывательство в связи с ограблением. Ты чего же это врешь?.. В карцер мерзавца!..—крикнул Дурнев.

Стоявший тут же надзиратель Лаплин (кстати, тот самый ловкач, который с одного маху перебил барабанную перепопку с.-р. Койфману), немедленно хватает Мальцева за шиворот и отводит его в темную.

— Живи тут!..—сказал он при этом.

Когда Мальцев через семь суток попал, наконец, в одиночку, то оказалось, что из 10 фунтов сахара, привезенного им с собою, ему выдали только 5 фунтов, остальное украли коридорные из лягавых: пользуясь покровительством надзирателей, это «скрывающееся» королевское отребье проделывало подобные штуки безнаказанно. Мальцев заявил об этом отделенному Богомолову.

— Не морочь голову, так и так твою!..—крикнул на него отделенный,—сколько принес, столько и есть! Ступай!—При этом он ударил Мальцева связкой ключей по спине. Это было перед вечером. Дождавшись поверки, Мальцев пожаловался дежурному помощнику.

— А ну-ка, разденься, покажи!—говорит ему помощник. Посмотрев в полутемноте на его спину, он кричит:

— Сивяков не видно... Значит, врешь, сволочь... За клевету— в карцер!..

Мальцев снова попадает в темный карцер «за предъявленные неосновательной жалобой»,—как сказано было в резолюции помощника.

Какой-то арестант, с которым Мальцев пришел в Орел из Могилева, должен был ему 30 копеек. Податая, что здесь такие же патри-

архавные порядки как у него на родине, Мальцев, вернувшись из карцера, зовет надзирателя и просит передать тому арестанту записку с напоминанием о долге. Надзиратель, возмущенный «дерзостью» Мальцева, открывает дверь камеры и угощает его пощечиной, приговаривая:

— Ты что: смеешься надо мной, не знаешь, куда попал!..

Избитый Мальцев снова жалуется дежурному помощнику, только не прежнему, а другому. Этот оказался строгим законником: не обратив ни малейшего внимания на поступок надзирателя, он сажает Мальцева в карцер за подачу жалобы *не в законном порядке*: Мальцев, оказывается, должен был заявить свою жалобу сперва отделенному, тот должен был передать ее старшему, а этот уже должен был ему, помощнику.

К счастью для Мальцева, в Орле в это время ожидалось прибытие новых этапов, понадобились свободные одиночки, и его, по выходе из карцера, перевели, наконец, в общую камеру.

Это было еще при пачальнике Мацевиче. Каторжан донимали работой на знаменитых «хлопках», заработки были грошевые, пища — ниже всякой критики, а строгостям и притеснениям, самым невероятным и бессмысленным, не было конца. Между прочим, одно время почему-то возбранялось иметь при себе письменные принадлежности, — таким путем начальство думало прекратить сношения арестантов друг с другом и с волей.

Кто-то все-таки провалялся с запиской. Начальство решило еще больше усилить строгости.

В камеру, где находился и Мальцев, входит однажды старший Козменко и провозглашает громогласно:

— У кого-то из вас карандаш имеется! Смотрите, так и так вашу... Если найду, всем рожи расквашу!.. Лучше сознавайся!..

Арестанты по опыту знали, что это не простая угроза. Тогда некий Андрейков, подсмотревший, как Мальцев прячет в корешке Евангелия кусочек карандаша, донес об этом кому следует. Надзиратель отобрал у Мальцева Евангелие, вытряхнул оттуда кусочек грифеля, побил Мальцева и, по приказанию старшего, отвел его в карцер.

Просматривая его арестантский билет, помощник начальника обратил внимание на количество наказаний карцером, числившихся за Мальцевым, — обратил внимание сам и задумал еще обратить на это внимание нового пачальника тюрьмы Синайского. Последний, даже не заинтересовавшись вызвать к себе Мальцева, на основании одних только бумажных записей, решил, что перед ним опасный бунтарь.

Не ограничиваясь наказанием карцером десять суток, Сивайский велел заковать Мальцева в ручные кандалы, «впредь до исправления».

Наручни спаял с него спустя три с половиной месяца, в ножных же кандалах Мальцев держал более года сверх того срока, который полагался ему по закону.

Правда, десять суток карцера Мальцев на этот раз так и не отбыл полностью: в ближайшее воскресенье в тюремной церкви служил архиерей, и по этому поводу всех наказанных выпустили из карцера, — но и после этого Мальцеву несколько раз пришлось побывать в темной, а количеству оплеух, выпадавших на его долю, и числа нет.

* * *

Совершенно напрасно было бы думать, что все эти злоключения Мальцев претерпевал потому, что действительно был человек пенокорный и строптивый. Ничего подобного! Ему просто не везло, как не везло сотням других каторжан, попавших в Орловский централ. Сам Мальцев всегда старался встать себе тигре воды, вишне травы, а когда заходила речь о массовых протестах и требованиях, он неизменно приговаривал:

— Мы должны тихонечко просить, а не требовать. Не надо забывать, что мы все-таки арестанты...

Да и все прошлое Мальцева, вся обстановка, в которой он жил до последнего ареста, способствовала выработке в нем какого-то пришибленного взгляда на жизнь и на людские отношения. Я редко встречал такого покладистого, готового смириться и согнуться, человека как Мальцев.

Трудиться над куском хлеба он начал еще мальчишкой. После до седьмого поту, он во всю свою жизнь преследовал лишь одну цель, как бы прокормить себя и семью, как бы раздобыть лишний рубль, этот все дающий, все привлекающий и все спасающий рубль. После женитьбы он продолжал жить в общем с родителями доме. Дома у них шли постоянные нелады. Между всеми членами семьи не прекращались ссоры, взаимные подсиживания, злобное соперничество. Каждый старался свалить работу на плечи другого, подозревал его в намерении перевести отцовское добро в свою личную собственность и т. д., и наперерыв соперничал с остальными в заискивании пред самодуром отцом. Это, впрочем, была черта, общая всей их деревне: между крестьянами у них процветали злопыхательство, зависть, поедание друг друга. Каждый жил в своей конуре, дрожал за завтрашний день и весьма далек был от всего, что напоминает солидарность, коллективность, взаимопомощь.

В семье Мальцева старшие братья брали перевес, его же держали в черном теле. Отношения у них были до того обостренные, что часто дело доходило до драк, а один раз чуть-чуть не до убийства.

Наконец, Мальцев выделился и зажил отдельно. Работал он, не покладая рук. Летом он плотничал, нанимал для сельскохозяйственных работ батрака. Деревня его находилась в семи верстах от города, и ему приходилось вставать чуть ли не в три часа утра, чтобы к пяти уже быть на постройке. Возвращаясь поздно вечером домой, он все еще возился у себя в усадьбе.

— Поверьте ли, даже дружить с кем некогда было! — рассказывал он.

Но как Мальцев ни старался и ни изворачивался, он едва сводил концы с концами. А семейство его все увеличивалось. Обстоятельство это очень тревожило его, и он с женой даже радовались, когда новорожденный умирал:

— Все же обузы меньше!

Заказывая однажды какое-то лекарство для больной жены, он случайно разговорился с аптекарем о своем «несчастье», т. е. о плодovitости своей супруги, и узнал от него о кой-каких средствах и способах, чему несказанно обрадовался. С тех пор Мальцев стал горячим и восторженным сторонником неомальтузианства.

— Эх, кабы я раньше знал обо всем этом, — говаривал он. — А то на кой чорт плодить нам лишних, создавать для буржуев работников!..

Но вот, сравнительно мирное и однообразное житье Мальцева внезапно нарушилось. С тех пор и пошла у него длинная вереница страданий.

Его, отца многочисленного семейства, призвали из запаса на службу по случаю войны с Японией. Забрали его при этом как раз в такое время, когда он крайне необходим был дома. Когда его перевозили из Гомеля в Поневеж, он бросил винтовку и уехал к себе в деревню: надо было косить сено, а дома некому... Его, разумеется, арестовали и посадили на гауптвахту. Потом его перевели в Ригу, где его и должны были судить за самовольную отлучку.

За время сидения под замком Мальцев, между прочим, близко сошелся с арестованными по политическим делам матросами и солдатами. В тюрьме он несколько пообтерелся, научился складно выражаться, набрался иностранных слов и почитал газет и брошюр, свободно попадавших тогда (в 1905 г.) и за тюремные решетки. Больше того, с тех пор, он стал даже смотреть на остальных мужиков несколько свысока и полупрезрительно.

— Потолкуйте-ка с ним (т.-е. с простым мужиком) о рациональном режиме или об экономии труда,—говаривал Мальцев,—и он только уши развесит. Одним словом, некультурность и примитивный прогресс!

Тут же в тюрьме Мальцев прочел несколько популярных книжек об удобрении, о севообороте, об усовершенствованной культуре овощей и т. п. До этого Мальцев ни о чем подобном и не слышал!

Не правда ли, как это характерно: в двадцатом столетии в земледельческой стране человек, живущий в нескольких верстах от большого города, весьма толковый, жаждущий знаний крестьянин *только в тюрьме* узнает о том, что больше всего для него нужно...

Как человек энергичный, Мальцев, вернувшись в деревню, немедленно пустился в дело добытые им из книжек сведения и указания. Собрал он в поле кости палых лошадей, сжег их и полученной золой удобрил часть своей земли. Это вызвало не мало насмешек и издевательств со стороны его соседей. Затем, следуя совету одной брошюрки он разбил у себя сад и начал рыть какие-то отмоки, намереваясь устроить у себя искусственный рыбный садок. Предполагал он также приобрести через землеустроительную комиссию немного земельки, носился еще с разными планами насчет подрастающего сына. Как видно, чисто случайное (через посредство тюрьмы) и довольно поверхностное приобщение его к культуре вызвало в нем большой подъем энергии, пробудило его инициативу и способности, дотоле дремавшие.

Однако, все его затеи так и остались неосуществленными, благодаря его новому аресту, но уже по совсем другому поводу.

* * *

Как раз в это время известный бунтарь Савицкий, смелый и восторженный юноша, исключенный из реального училища за принадлежность к революционной организации, перенес свою напумовшую на всю Россию разбойно-филантропическую деятельность из Черниговской губернии в Могилевскую. После целого ряда удачных террористических актов и экспроприаций, он в сопровождении четырех своих сподвижников делает вооруженное нападение на контору богатого арендатора под Гомелем, но вместо многих тысяч, на которые они рассчитывали, забрали всего-навсего сто с чем-то рублей.

Забираемые у богатей деньги Савицкий обыкновенно раздавал нуждающимся крестьянам, что и создало ему по всей окрестности (и даже далеко за пределами ее) необычайную популярность. Крестьяне повсюду охотно укрывали его и, вообще, всячески содействовали его похождениям. Почти целых три года полиция, напрягавшая для этого все силы, ловила его, но не могла задержать. Зато все те, пре

которых (основательно или неосновательно) известно стало, что они оказывали Савицкому хотя бы самую пустую услугу, арестовывались, избивались и потом приговаривались к каторге. Таких вот осужденных «по делу Савицкого» мужичков я встречал и в Вологде, и в Пскове, и в Орле,—у всех их были долги сроки, некоторые даже имели бессрочную.

И на этот раз гомельская полиция вся была поставлена на ноги, вынюхивая и выискивая след этого удальца-могодца. Чтобы найти для укрывающихся убежище понадежнее, один из помощников Савицкого, некий Кабков, направился в знакомую деревню и устроил их в амбаре одного мужика, оказавшегося соседом Мальцева. Отчасти из сочувствия к анти-помощицкой «работе» Савицкого, а, быть может, и в надежде современем получить от Савицкого денежную помощь, Мальцев несколько раз приносил ему в амбар хлеб и молоко.

Все розыски полиции оказывались напрасными до тех пор, пока она не напала на упомянутого Кабкова. Это был молодой крестьянин, большой алкоголик и бывший вор. То обстоятельство, что подобный индивидуум входил в одну компанию с такими плейными «экспроприаторами», как Савицкий, очень характерно для той деморализации и сумбурной неразберихи, которая в то время овладела частью революционной молодежи.

Кабков давно был на подозрении у полиции. Арестованный и представленный на очную ставку с ограбленным арендатором, Кабков был тотчас же узник и уличен. Полиция получила от губернатора приказание изловить шайку Савицкого *во что бы то ни стало*, принялась нещадно избивать Кабкова, требуя от него соответствующих показаний. Его били до крови, даже пытали, забивая под ногти гвозди. Кабков не выдержал и выдал все, что знал.

По его указанию был окружен и обстрелян тот самый амбар, в котором скрывались Савицкий и его молоденькие сподвижники. Видя, что спасение немислимо, осаждаемые бросились с браунингами в руках прямо напролом. Их встретил град пуль. Савицкий, буквально изрешетенный, пал тут же замертво.

По указанию Кабкова, был, конечно, арестован и хозяин амбара. Когда стали допрашивать его домашних, то они назвали Мальцева, как причастного якобы к укрывательству Савицкого. Про Мальцева их даже никто и не спрашивал, никакой злобы против него они не имели. Выдали же его *просто так*, по своей тупости и болтливости, потому только, что оно к слову пришлось. Если бы не эти добрые соседи (да еще родственники!)—Мальцев не был бы и на каторге, так как сам Кабков признал его лишь после того, как их свели на очную ставку.

Мальцев пытался было выставить в свою пользу некоторых свидетелей, но и следователь и судьи были до того озлоблены против дружины Савицкого, наводившей ужас на помещиков и полицию, что из стараний Мальцева ничего не вышло. Чтобы долго не возиться над тонкостями и установлением оттенков индивидуальной виновности, суд дал каждому из мало-мальски причастных к укрывательству Савицкого по 15 лет каторги.

Кабков был приговорен к смертной казни. Но тем, что он подвел под пуди Савицкого, он заработал себе в глазах судей право на жизнь: сам суд заменил ему повешение бессрочной каторгой. Однако, умереть своею смертью Кабкову не пришлось; в могилевской тюрьме один, совершенно посторонний всему этому делу, уголовный арестант Борженко, «привидниалист», пожелавший поддержать авторитет арестантской этики, отомстил Кабкову за его предательство, зарезав его на смерть стамеской.

Столь большой срок (15 лет!), полученный Мальцевым, привел его в совершенное отчаяние. Он даже боялся, что с ума сойдет. Особенно тревожило его и расстраивало положение его семейства: куда оно денется, что с ним будет? Находясь в могилевской тюрьме, Мальцев надумал послать на высочайшее имя прошение, в котором умолял царя приказать повесить его, но с тем, чтобы семье его сразу выданы были все кормовые деньги, стоимость расходов на одежду, на обувь и на прочее, что должно будет пойти на него от казны в течение 15 летнего срока. Это эксцентрическое прошение Мальцева долго разгуживало по всем встанциям и канцеляриям, и лишь по прибытии в Орел Мальцев получил от царя серьезный ответ: прошение оставляется без последствий.

В то время, когда я познакомился с Мальцевым, он снова сидел в одиночке. Все думы его заняты были семьей. Ему по что бы то ни стало хотелось, чтоб она снялась с места и поселилась на Алтае или на Амуре. Для этой цели он писал прошения в Переселенческое Управление, рассиранивал «обратнянков», побывавших в Сибири, знакомился с учебниками географии, выискивал в старых журналах («Нива» и «Родина») соответствующие сведения и т. д. и т. п. В своих письмах к жене он настаивал, чтоб она продала усадьбу, забрала с собою сына и четырех дочерей и вместе с четырьмя чужими сиротами мальчиками переселилась в Сибирь. Там, по его уверениям, им дадут по 15 десятин на мужскую душу. Для обработки земли пусть жена наймет батраков, сама пусть займется и деревне торговлей, именно, скучкой кож, шерсти и т. п., а что касается чужих мальчиков-сирот, то они будут жить у них в семье с таким расчетом, что когда оны подрастут, то четыре дочки Мальцева будут иметь

готовых, выращенных дома женхов и мужей, снабженных уже земельным наделом...

Планы эти Мальцев самым подробным образом разрабатывал на грифельной доске, на листочках курительной бумаги, исправлял, дополнял, заново комбинировал и в окончательном виде переписывал в толстую тетрадь, откуда уже выкладывал в своих очередных письмах.

Все, что непосредственно не относилось к самому Мальцеву и к тем делеческим проектам, которые он многократно, но безрезультатно навязывал в своих письмах семье,—все остальное его ни малейшим образом не интересовало. Он даже удивлялся, как это других людей могут занимать вопросы, лично для них безразличные. Просматривая взятые из тюремной библиотеки учебники и книги по географии, Мальцев даже не заглядывал в отделы, не касающиеся того района Сибири, куда он думал переселить свою семью.

— Для чего мне читать о каком-то Приозерном крае, или про какую-то Австралию, раз я там никогда не буду?—говаривал он.

Точно так же относился он и к другим книгам, которые он иногда от нечего делать брал у меня и перелистывал.

— «Дворянское гнездо» Тургенева... «Китай-город» Боборыкина... чего я буду читать эти книжицы, раз и дворяне и коммерческие советники для меня люди чужие и жить среди них я никогда не буду!... комментировал он.

— «Из чего состоит солнце», «есть ли на луне воздух», «каково прошлое земли»,—ворчал он, передавал вслух оглавление одной моей книжки.—Подумаешь, людям больше делать нечего, как только о таких пустяках писать... только даром бумагу переводят... Впрочем,—успокаивал он себя,—они ведь за это деньги получают...

На политических каторжан, особенно из интеллигентов, т.-е. по его представлению, выходцев почему-то непременно из богатых семей, Мальцев смотрел с легкой иронией:

— Чего они суются, жертвуют собой!.. Конечно, дело их справедливое, но когда-то оно выйдет, а пока пропадай в тюрьме!.. Да и стоят ли этого мужички наши? Охота прать на рожон и класть свои головы... Чудаки, ей-богу!

К тюремным событиям, ко всем этим «особенностям» Орловского централа, Мальцев очень скоро стал относиться с поразительным безразличием. Я думаю, что здесь роль играла не столько привычка к раздающимся кругом стонам и крикам, сколько черствая ограниченность этого человека, замуровавшегося в своей раковине улитки. Даже, когда я, бывало, получал нелегальные записки от товарищей из других камер, Мальцев делал вид, будто не замечает этого, как бы подчеркивая

— Это меня не касается... Я, Мальцев, *малыми* делами не занимаюсь... В случае чего,—я за это не отвечаю...

Иной раз меня прямо раздражала эта его готовность самозащититься, как бы молчаливо оправдать самые дрянные выходы и поступки других людей.

— Всяк за себя. Своя рубашка ближе к телу... Надеждамущий народ... Кто к чему приставлен,—неизменно прибавил он в таких случаях.

Все это он «понимает». «Понимает» он и ловкого подрывника-хозяйчика, и взяточника-чиновника, и молодого студента, жеманящегося на покойной родине «с прошлым» назем ее приданного,—и молодца, который не задумываясь, пускается преступными. Все это он «понимает».

Его старухин сын, ослепленный, записавшись в «Солдаты Русского Народа», записавшись на войну, что соответствует черносотенцам, и пошел. Но это удобен: страдания не предпринимает, а в случае чего—генеральский охотнее пошел. Мальцев черносотенцев этого считает криминалами. Но своего земляка он «понимает», т. е. косвенно санкционирует его практичность и умение приспособиться.

Понимает он и того шлохика, в пользу которого,—зависо это было,—Мальцев давал важное показание на суде, когда разбирались дела о политическом терроре.

Это, конечно, не хорошо участвовать в терроре, но ведь невозможно сразу убивать и прощать, зато, как-никак, поронител чужимую в руки, ну там сахаринная конфеткой или чашечка фруктов выпить... Вот и каждый свой интерес имеет...

«Понимает» он и тех бравошники-нахлебателей, которые с о такого великодушности и которых он—в минуты слабости—на словах не прочь был простить... Когда же Мальцев бывал в беде, так спавать, нормальным преступлении, то готов с ним разговаривать.

— Что же, ситуация такая... Ничего, брат, не гонимый... Известно им приказывает, что судить делаться. Кто к чему приставлен... Это факт...

* * *

Раньше, до того как Мальцева перевели ко мне в камеру, он рекомендовал себя сочувствующим с.р-ам, и даже подкупал на сл.мн за их приверженность к «мирному» пути. Но и думаю, что товарищам с.р-ам очень не по вкусу придутся сочувствующие вроде Мальцева.

Земельную программу партии социал-революционеров Мальцев представлял себе так, что вся отобранная у помещиков земля будет *разделена* между крестьянами *исровну*, и *непреласно* с *чужую*

собственность. Мне стоило немалого труда убедить его, что с.-р-ы вовсе не так смотрят на дело. Заодно я уже подробно изложил ему аграрные программы с.-р-ов, с.-д. и к.-д. На подобные темы мы часто с ним беседовали и спорили.

«Социализацию земель» он с первого разу восторженно одобрил.

— Ну да,—формулировал он вслух свое понимание этого пункта,— ну да, бери земли сколько обработать сможешь, и никто тебе не хозяин! Живи сам по себе и никому не вреди! Только вот с нашим братом мужиком этого не добьешься. Каждый будет тянуть в свою сторону, пойдут ссоры да драки. Но само по себе дело это хорошее, даже очень хорошее.

— Вы, кажется, не совсем меня поняли,—пояснил я снова.—Вы еще имейте в виду, что пользоваться наемным трудом тогда уж нельзя будет. О батраках, даже о девках для полки огорода, и думать забудьте.

— Как так,—изумился Мальцев,—а если я им хорошую плату давать буду?

— «Хорошую плату»,—передразниваю я,—но ведь сколько бы вы батраку ни платили, не дадите же вы ему всего, что он наработает. Что-нибудь себе да оставите. Значит, вы будете его эксплуатировать, а это по «социализации земель» не полагается.

— Какая же это эксплуатация, раз я хорошую цену платить буду!—не унимался Мальцев.—Нет, тут что-нибудь не так. От одного с.-р-а я иначе слышал. Ну да ладно, валяйте дальше. Говорите про своих эдеков.

С.-д-скую «муниципализацию» и «национализацию» Мальцев сразу постигнуть не мог.

— Что же это?.. Значит, мы будем вроде как арендаторы, а земство или правительство, вроде как хозяева!.. И не больше?!.. Так на кой ляд нам и революция вся?!..

Я подробно разъяснил ему его недоумения: земство и вообще — государство будут тогда самые демократические, распоряжаться всем будет сам народ в лице своих выборных: весь доход от аренды пойдет на культурные нужды; хотите, устраивайтесь на началах с.-р-ской социализации, хотите, обрабатывайте землю в одиночку, хотите, нанимайте батраков, которые будут иметь такие же права в земстве, как и вы. Земля будет общая, муниципальная, а форма пользования ею будет смотря по району, по местным условиям, смотря по сознательности и организованности вашего же брата...

В конце-концов, Мальцев понять-то меня понял, возразить как сразу будто ничего не имел, но вся эта муниципализация и национализа-

ния осталась для него чем-то далеким, отвлеченным, смутным и неосознаваемым.

Более всего ему понравилась программа к.-д.

— Ага, значит, прирезка помещичьей земли с выкупом на счет казны... Вот это я понимаю! И земельку получишь, и хозяином остаешься, и платить ничего не надо.

— Как так: «не надо»? — возражаю я. — Подумайте, какая уйма миллионов уйдет на этот выкуп! «На счет казны». А казна откуда деньги возьмет? С вашего же брата сдерет! А за что платить помещикам? Не за то ли, что они дали себе труд родиться дворянами?

— Эх, батенька, — прервал меня Мальцев, — да мало ли с нашего брата налогов дерут. Не на это, так на другое, на третье, но нас все равно опичают. А тут все дело сразу бы прикончили. Мужики свое получили бы, а помещики свое, и дело бы обошлось бы тихо, мирно и... (тут Мазынев загнулся, но потом выговорил твердо) и все обошлось бы *без левых крайностей*. Поймите: экономия труда! — добавил он многозначительно, употребляя свое любимое словечко.

Иногда Мальцев сам заводил длинные разговоры на общественные темы. Но странным образом разговоры эти всегда оканчивались у него такими выводами:

— Если кто не дурак и не лентяй, то может хорошо прожить на свете. Пусть только правительство нам, мужикам, не мешает; пусть дадут нам вздохнуть, земли прибавят и в покое оставят...

Будь сам по себе, но другим не вреди, — философствовал часто Мальцев. — О людях думай поменьше, потому что никто о тебе думать не будет... Всем ты не поможешь, а одному помогать не стоит... — и прочее в этом роде.

Вообще мне кажется, что весь революционизм, которым по временам бывает одержим Мальцев, сидит в нем не очень-то глубоко. Все это случайный продукт случайного события: жестокого судебного приговора и сурового тюремного режима. Если внимательно прислушаться к его рассуждениям, особенно к его хозяйственным мечтам и планам, то нельзя не заметить его удивительной склонности к примирению и уступкам там, где дело лахнет реальными, вот-вот осуществимыми выгодами.

В сущности, если как следует поскрести Мальцева, то пред нами предстанет обыкновенный хозяйственный мужичек с сильно выраженным деловескими и коммерческими наклонностями. *Какой он красомышник! Какой он преступник!* И, право, как слепы вожацующие берки, если они творят себе врагов из людей, которые могли бы быть их друзьями.

В самом деле. Если бы дать Мальцевым возможность увеличить и округлить свой клочек земли и завести хоть сколько-нибудь рациональное хозяйство; если наделить их всеми правами и не мешать им подниматься вверх по социальной лестнице, то они современем стали бы такими консерваторами, такими «сильными и крепкими», такой опорой «порядка», что и сам покойный П. А. Столыпин не пожелал бы ничего лучшего, когда мечтал из крестьянских хуторов создать питатели для обстрела социалистов...

* * *

Это было в сентябре 1913 года.

Как-то после обеда неожиданно открывается дверь нашей олички, на пороге появляется надзиратель и кричит зычным голосом, обращаясь к Мальцеву:

— Собирайся на этап! Живо... Не идешь в Сибирь, на Амурскую железную дорогу!

Для человека, прожившего несколько лет в Орловской тюрьме, *пойти на этап* — это величайшее счастье. Арестанты, отправляемые на этап, т. е. почти на свободу, беснуются от радости. Но Мальцев и здесь селатся верен себе. Услышав, что его отправляют в числе некоторых других на постройку железной дороги, он прежде всего подумал вслух:

— Эх, если бы моя баба раньше в Сибирь переселилась. Иначе бы поближе к железной дороге, она могла продавать молоко арестантам... А если бы устроила там харчевню или съестную лавку... Эх, сколько я писал ей об этом!..

— Ну-с, господни мечтатель, пропевайте, — сказал он, обращаясь ко мне. — Идите от меня кенву...

Рецидивист.

...Наконец-то, я добился своего: старый обратник, Панас Холоденко, обещал обстоятельно рассказать мне свою биографию. Я уже давно искал случая заполучить такого рода документ,—а Панас Холоденко человек грамотный, много лет уже ведущий дружбу с полицией, переписавший массу романов из нашей городской библиотеки, способный к некоторому самоанализу.—Был весьма приятным субъектом для выполнения этой задачи.

От роду ему было лет за 40. Побывал он во множестве тюрем—русских и зарубежных, однажды был сослан даже на Сибирь. По профессии—вор и грабитель, убийств у него было не меньше десяти. Самая большая сумма, похищенная им в один прием—это 22,000 рублей, самая меньшая—20 копеек, найденные им у убитого им с товарищем мужчины, у которого они рассчитывали забрать рублей 600. Наконец у Холоденко водились деньги, забавляло его и время, он давал жене выгуливать, а не имеет даже ни табаку ни сахара.

Манеры у Холоденко жилища не имели, он умел, когда нужно одерживать себя, сдерживать чувства и инстинкты, вдерживать язык, делать соответствующими решениями и поступками, но в то же время не упускать из виду своей цели.—раздобыть, так или иначе, некоторый капитал—или же обеспечить на смерть, если вы ботом инстинкт на этот, и сделать это обителем его заключения. Со своими же—с родственными—Холоденко держит себя, хотя и несколько свысока, но как самый обыкновенный и суровый в р. диник и любитель похвальной славы.

В каждом деле, в каждой профессии имеется своя манера, и для таких, как Холоденко, человекоубийство—это простое телодвижение, вызываемое соображениями целесообразности: предупредить «засынку», воров кражи, арест.

— Говорят, будто убитые по ночам снятся, будто запах крови беспокоит,—говаривал он.—Не верьте, это брехня; убил и кончено. Рас у меня на деле хозяйский ребенок заплакал. Все могло бы заскучать. Ну и задумал...

Холоденко очень самолюбив, но и очень назойлив. Крайне чувствительный к самому тонкому намеку на презрение, он в то же время

способен унижаться и заискивать, просить и выклянчивать. Бульгарный сибарит и капризный себялюбец, слабовольный неврастеник, не знавший других интересов и удовольствий, кроме проституток, вина и разгульного картежничества, Холоденко, тем не менее, не чужд удачи, страсти к молодечеству и других проявлений широких натур.

Душевно изуродованный всем прошлым, ошельмованный всеобщим презрением, озлобленный и мстительный, в каждом не-воре видящий — или «фраера», которого можно ограбить, или врага, которого нужно уничтожить, — профессиональный рецидивист представляет интересный материал для психонатолога. В Холоденко, например, удивительно совмещаются и слабость и сила воли, и сила и слабость задерживающих центров. Так, он не сумеет побороть в себе искушение, когда ему захочется чего-нибудь сладкого, щекочущего, возбуждающего; как маняк, он к этому потянется, даже не думая подавить в себе это желание, — и в то же время, когда что-нибудь уже очень ему захочется, или даже просто закапризится, он в состоянии проявить огромную волю, массу вытерпши, настойчивости и самообладания. Лишь бы добился того, что ему захотелось.

За последнее время этот молодой человек сразу и неожиданно для самого себя подался в отношении здоровья: стал хворать и худеть. Может быть, это сказывается какая-нибудь застарелая, скрытая болезнь, оставленная в дни разгульной молодости. Оттого ли, что неожиданное физическое недомогание вызвало неожиданный переворот в близость могилы пробудила дремавшие доселе чувства раскаяния и самообличения, или же Холоденко просто раскуется и кокетничает, но во многих наших беседах поразжает чуждая рецидивистам способность к самоценке и самоанализу.

Тем не менее на мой вопрос:

— Если бы вам, Холоденко, лет 25 тому назад показали бы в волшебном зеркале все ваше будущее: и сидение по тюрьмам, и хождение по этапам, и жизнь без семьи, то вы, как: отказались бы от воровской карьеры или нет?..

На вопрос этот Холоденко ответил искренно и твердо:

— Нет, все-таки пошел бы по этой дорожке. Видно, уж так мне на роду написано. Да и то сказать: не жить же мне голодным дураком и на других работать!..

* * *

Предложение рассказать свою биографию — очень понравилось ему.

— Только многого вы от меня не требуйте, — прибавил он при этом, — ведь я энциклопедический словарь не читал!..

Часть нижеизложенного представляет собственное жизнеописание нашего рецидивиста. Местами Холоденко старается выражаться поумреннее и писать пограмотнее, но увлекшись темой, переходит на более свойственную и подходящую для него речь, и тогда грамматические ошибки пестрят в каждой фразе. Кое-где я привожу его слова буквально. Писав пару тетрадок, Холоденко бросил начатую им письменную работу и перешел на устный рассказ.

Тетради он разрисовал выцветшими, снабдил отглавлениями, а самый рассказ заглавлял так: «Биографический журнал одного несчастного страдальца известного Павла Холоденко».

Вот что он там пишет:

...Любил я жизнь привольную. Любил я девую красоту. Любил я пить и похляпать, и вот попал в тюрьму опять. Не хотел себя тиранить, бедным жизнь проводить, опустился я в паровоз, только б деньги раздобыть. Мне сей металл презренный долго в руки не давался, но я этим не испугался и продолжал свой труд почтенный. Штан, и много начудил, кровью весь себя покрыл. Хоть я золота нашел, зато на Сахалин забрел. Теперь же совесть мне твердит: перестань ты это творить. Сколько крови ты пролил, а покоя не находишь...

Товарищ, вот вам мои стихи! В погоню за богатством!! Стихотворение это слабое и бедное, но простите, я не юрист!!

А теперь, вот моя биография.

Отец мой, Андрей Холоденко, был матрос Черноморского флота. Женился он до службы. А по уходе на службу оставил нас, двух мальчишек. Вскоре после его ухода мать умерла и оставила нас на попечение своего отца. А спустя два года после смерти матери умер и отец, так же на службе.

Детства не был настолько богат, чтобы мог дать нам хорошее образование, и мы росли на воле, как дети, не знаящие ни теста, ни страха! Посмотреть на нас со стороны, то сразу можно было видеть, что эти мальчишки готовятся в будущие арестанты.

Поместили нас в городское четырехклассное училище, откуда я и был изгнан через два года за баловство и буйство. По изгнании из училища я стал баловаться до-нельзя. Узнал, что такое пьянство, девок и игра в карты, и на все это, конечно, надо было денег, а к сожалению, их то у меня и не было. Но я уже свознал все эти радости жизни и стал подумывать о знакомстве с подходящими людьми, что, конечно, удалось без труда.

До 17 лет я жил буйным ветром и не думал ни разу, что меня ждет тюрьма и позор на всю жизнь и вечная нищета. Истрепал молодость в тюрьме, остался от меня лишь прах, бродил я вечно в тем-

ноте и вот зачах. Спужу в тюрьме ортовой, дождался Пасхи Христовой. Нет мне радости от ней, слезы льются из очей. Когда-то был богат и я, теперь же нема денег у меня, в одиночье я сижу, на сумаш пустые гляжу и чай без сахару пью. Это вы, товарищи злодеи, тюрьмой меня съели. Знаком я с жизнью воровскою, но не знаю я покою: каждый день и каждый час я все тоскую.

Теперь воротился туда, где я познакомился с ворами, и вот тут-то я и узнал, как добывать деньги для вина, девки и карт. Это мне по суровости несколько раз и удалось. А потом и далее зашел. Конечно, за все это время никому и в голову не приходило, что я так глубоко уже порочен! Чем, конечно, я пользовался доверием людей, знающих меня, как честного сиротку-мальчика. Перед тем, как я имел понасть в тюрьму, я пошел к одному товарищу по училищу и попер у них из комода золотые часы, браслет и два колечка, и тут мне пришлось впервые узнать хитрость дома Романовых.—мне дали четыре месяца тюрьмы.

А по выходе из тюрьмы я стал опытный вор в полном смысле этого слова. Затем попал еще раз в тюрьму, а из тюрьмы прямо к военному начальству.

Военский начальник определил меня в крепостную артиллерию. Здесь я опять мог бы быть человеком. Но посмотрел, что там безумники требуют от меня подчинения всеяному артиллеру, и сказал себе: «ступайте, я такой-то матери с вашей дисциплиной!»—и ушел. И вот с того времени и до настоящего началась жизнь со всеми приключениями. Сколько раз в тюрьме сидел! А в карцере! В первый раз я ушел на Сахалин в 1897 г. двадцати четырех лет. А второй раз пошел в Забайкалье, в Иерчинскую каторгу в 1904 г. А теперь уже в третий раз.

— Вот вам и вся моя биография. Я надеюсь, что вы меня поняли, почему я пошел по такой дороге. Но когда я стал понимать, что все это низко до-нельзя, то какой-то внутренний голос сказал мне: если ты бросишь воровать, то сделаешься добровольным рабом какого-нибудь хозяина, и будут тебя весь век попускать как лошадь. От честного труда будешь ходить оборванный и голодный, а от воровства я жил на широкую ногу, не был гол и голодным и еще сам держал женскую прислугу для своей подруги жизни. Бывало в кругу порядочных людей или честных подлецов по настоящему ихнему званию. Никто не спрашивал, откуда у меня деньги, лишь были бы деньги.

«Вот тут я еще увидел, что всему сила золото, а его у меня нема. Тогда другой голос, тоже внутренний, сказал мне, что не бросаю этого своего ремесла и добывай золото всевозможными насильями, как-то: убийством, грабежами и—не жалей никого, потому никто тебя не пожалеет».

* * *

Освободился я как-то из тюрьмы города Алашьева, где просидел ровно год и четыре месяца за кражу мануфактурных товаров из магазина Лейзеровича. А по выходе на свободу задумал ехать к брату в местечко Грайворово. Наскоро спелел пакеты в чемодан, рассчитался за номер, взял повозника и поехал на станцию Жеребково. Чемодан был дорогой и красивый, обшитый с посеребренными пряжками и гвоздиками, а там внутри зоревской инструмент первого сорта лежал. Одет я очень прилично, запасе ножи на господина.

Зашел я в зал первого класса. Здесь потребовал стакан чаю и газету. Уткнулся так в газету, будто телеграммы читаю, а на самом деле рассматриваю пассажиров. Выглядываю эконома, у кого брюки пошито да шарман потянулось. Вот слышу, один — фу подзывает к себе. Сидит, дает ему деньги и говорит:

— Возьми мне билет второго класса до Одессы.

А я себе и думаю: до Одессы билет второго класса. Хорошо, приглянулся. Вместе и поеду.

Через час, авось ~~рубли~~ не замечу, и все дело будет в шляпе. И вот, когда ладик прилепился к билету, я вижу, он кладет его в бумажник. В бумажнике уже лежат билеты государственного достоинства. Но не моего еще пред глазами, как-то чуждо постыдно у меня замирает, потому что то, что лежало еще у него в кармане. Я, конечно сейчас же сообразил, что мне делать. Подозвал того же самого ладка, и ему десять рублей и говорит:

— Возьмите мне билет второго класса до станции «Раздельная».

Ладка мне надо только до станции «Веселый Кут», но это слышит у меня. Подошел ладок, тот взял свой ручной чемодан и вышел на перрон, а я конечно, следом за ним, на некотором отдалении. Вдруг он подходит к кондуктору и что-то сказал ему, показывая билет. Кондуктор повел его в вагон второго класса. Я обождал, пока кондуктор вышел назад, тут же подошел к нему со словами: «Будьте добры, укажите мне место» и протянул ему свой билет. Он посмотрел на него и пригласил меня следовать за ним. И что же вы думаете, он уводит меня как раз туда, где моя жертва.

Когда я зашел, то, конечно, в вежливой форме поклонился ему. Великосветские формулы мне отлично знакомы, и по уходе кондуктора я представился и отрекомендовался, кто я, что я и чем торгую. Он тоже сделал это, откуда я и узнал, что имею честь видеть пред собой пельковника в отставке, который живет в собственном имении. Теперь он из имения едет в Одессу по личному делу.

— Ну вот, мы и поехали!—сказал он и перекрестился. Я, конечно, последовал его примеру и тоже перекрестился. Он сделал крестное знамение, чтобы спасло его от несчастья, а я сделал крестное знамение и подумал, чтоб помогло оно мне перевести его деньги в мой карман. Кому Бог помог, увидите потом сами.

Но вот, сколько мы ни ехали, а он и не думает спать ложиться. Я жду, чтобы он заснул и уже держу наготове хлорал-гидрат. Вижу, что скоро будет станция «Веселый Кут», мне надо будет слезать, является затруднительное положение. Я—то, другое, предлагаю ему пипросу с сонным порошком, но он не берет, а лезет со своими собственными угощать меня.

Времени терять нечего, остается *принять* его на другой манер. Задумываться у меня рука не вздрогнет. Убийство—так убийство. Одно больше, одно меньше—не все ли равно. Делов тут не куча, лишь бы было удачно и чтобы деньги ваши скорее стали наши, а там хоть трава не расти. У меня в чемодане кроме *книжечки* и пипросов был еще стальной *шабер*, раздвижной, только обернут он в газетную бумагу. Я его вынимаю из чемодана, кладу в карман и захожу в вагон-клозет. Там я его свилитил вместе и возвращаюсь в купе к моему *фраеру*, Петру Ивановичу Чусеву. Он, конечно, ничего не подозревает. Я набрался духу, оглянулся, вижу: никого лет и с одного разу по башке ему—трах!.. Он только хрюкнул и повалился на пол. Я сейчас же за его карман да за чемодан. Нашел три тысячи пятьсот наличными, не считая мелочи рублей 18, да два золотых кольца, да часики такие же золотые, стоимостью в 95 рублей. Паспорт и еще кое-что я ему оставил, чтоб, когда он прибудет в Одессу, его не арестовали как бродягу. Все же рук полиции, впрочем, так он и не минул, да и приемный покой отдавал. Но, довольно о нем. Вечная ему память и вечный покой сволочи такой.

Товарищ, прошу вас не зовите меня злодеем. Я и сам хорошо знаю, что я против честных и хороших людей недобрый есть. Но знайте и вы, что и среди людей, пользующихся всеми правами носить имя честных, есть в высшей степени негодяи!.. Вот самый *блатеркан*, по нашему, скупщик краденого, которому я обман золотые вещи Чусева дал мне за ничтожную плату, а сам он от нас дом нажил. Вот какой он подлец, всегда обвегоривал нашего брата. А когда меня однажды судили, смотрю, он сидит среди присяжных заседателей, сидит так и осторожно мигает мне одним глазом. Чтоб я не видел свободу, если я вам вру!!!

Так что нам и удивляться нечего, что мы стали подонками добропорядочных подлицов. Я уверен, что много есть таких воров, что мундир носят, но их мундир покрывает все неправды.

Товарищ, я больше не в силах описывать, т. - е. не хватает у меня смысла для такой работы, как писать для вас свою биографию. Я сначала думал, что это дело легкое, которое оспарить ни хера не стоит. А теперь я вижу, что это труд не по мне, что я не скучаю.

Но так и быть. Раз обещался я вам, то должен исполнить, чтобы вы не думали, что Нанас Холоденко только языком дергает.

Ну, что ж, отобрал я у Чуева деньги и остальное, тут же выскочил из вагона на всем ходу поезда, добежал задалм до станции Ивановка, нанял в деревню подводу и приехал в местечко Грайворово. И все сошло как нельзя лучше. Чуев ехал в Одессу и думал—жесткий человек—в Гранд-Отеле свеженьких девочек попробовать, а Господь вон и наказал его за такие мысли.

А теперь вот вам одна песня, наш воровской труд воспет в стихах:

Гляжу я через решетку в туманную даль,
Пылое сердце терзает печаль.
Когда я был любитель чужого добра,
Младую девчонку любил я тогда.

С ней я распрощался и двинул скорей,
Пустые карманы набить поплотней.
Приехал в Одессу, инструмент со мной.
Выдры, отмычки и шабер стальной.

Иду раз под вечер, заметал я скок.
Реснул я по фарту, не найду ли там прок.
Нагнулся, пристроил отмычку в щел.
Лишь одна минута и был я у цели.

Что мне надо было, удалось все найти,
Вдруг слышу чей-то голос: как смеи сюды зайти?
Не успел я оглянуться и уйти поскорей.
Как два *мешка и четверть* стоят уж у дверей.

— Постой-ка, голубчик, неудача тебе,
За это преступление ты будешь в тюрьме.
Мой зор помутился, остыла моя кровь,
Пропала свобода, пропала любовь.

Про воров вы знаете,—разделяются они на несколько классов, и каждый класс имеет свое название: пиниферы, скокеры, стонаришки, грантовщики, мокрушинки. Это всё первоклассные воры и каждый знает свое дело тонко. Пинифер крадет из жилого помещения. Он должен ночью открыть окошко или дверь, но так ловко, чтобы не

было никакого шума. потом он должен пробраться во внутрь, отпереть своими отмычками шкаф, конторку, сундук. А книжал из рук или из зубов не выпускай, на всякий случай для самозащиты.

Я совершу двадцать краж и не попадусь, а на двадцать первой обязательно засыплюсь, благодаря своей опрометчивости, или потому, что кланят поднимет шум, но вообще мои преступления сходили гладко. За много моих дел понесли наказание совсем другие люди, некоторых даже повесили.

Но все-таки как ни хитер я был, но однажды сделал глупость, которая довела меня сначала до каталажки, а потом и на Сахалин. Дело было такого рода.

От одного нашего *ангелбера*, т.-е. от одного жидка, который высматривал для воров подходящие квартиры, узнавал, сколько где денег и все ценное лежит, мы получили два дела, а ему, как водится, обещали порядочный процент. Одно дело было у еврейки, у которой был винный погреб, а другое у богатого раввина.

Сперва пошли до еврейки. Вошло нас двое через окно. Порешагнул мы через спавшую кухарку, обшарили карманы спавших в других комнатах. Посредством отмычек и шабера открыли комод и шкатулки. набрали кое-чего драгоценнее и тихонечко пошли назад. Но тут кухарка, молодая кидовка, зовет и просится, курва. Когда она увидела двух незнакомых кавалеров с чемоданами, она от удивления, как была в одной рубашке, вошла в спальню на кровать. Я сначала думал спрятаться, но потом, когда этот номер не прошел, колыхнулась к ней и говорю ей:

— Можется, ложитесь, прилагуется.

Я в таких случаях всегда вел себя вежливо и воспитанно. Но она поняла, что мы за гуси, и закричала во весь голос:

- А ганеф! А ганеф! Караул! т.-е. вор! зор!

Я тогда шихнул ее в грудь, перевернул задом вверх, накрыл одеялом и подушкой, обвязал кое-как. Думали мы уйти тихую, но она, блядь, перевернулась и закричала еще громче. Все, кто был в квартире, проснулся. Что тут делать? И ее сейчас же книжалом в грудь, а из остальных *пришлись* козлаву и одного еврея приказчика, пришлось так, не то задержали бы.

На этой квартире мы заработали всего рублей на триста деньгами, да драгоценностей рублей на двести. Вот досада: наш *ангелбер* говорил, что там будет куда больше.

Тогда мы в ту же ночь пошли до раввина. Вошли в один двор, перепрыгнули через соседний забор, подошли к дверям, а на *стреме* никого не поставили, потому что не с улицы, а с пустого двора. Смотрим, двери закрыты изнутри на задвижку. Достаю бурав, делаю

одну дырку, другую, выломал кусок, просунул руку, отпер. Попали мы в кухню. Подходим к другой двери, тоже заперта. Достал из кухни столовый нож и тихо вынул створку. Заходим прямо в спальню. С нами фонарик. Ну что тут долго растабаривать. Дунуть — так возня, еще шум поднимают. Подошли это мы к равиншу, старику такой. с пейсами, борода длинная и белая. Вац его по башке и готово!.. В другой комнате спал какой-то молодец, ваще лег на спячейке его одежда и цинес, знаете, штучки такие жидки носят, вроде жилета с кисточками. Трах! — и его к такой-то матери. Тут же, только на другой кровати — какая-то молодая бабенка. Непит, раскинув руки, тибки боковые, крупные, одна нога заплета, сама она гладкая, подобная такая, жидковатая — ох, заглядываю... Ну, мы ведь не за этим пришли, у нас дела посерьезней, вот и ее тоже в рай огораздили... К такой-то матери!.. Осталось еще балабуста, козайка, т.-е. равнина жена. Ее-то нам и надо.

Вот подходим к ней оба, хватаем за горло, держим, не выпускаем — Гейбор, курва, где деньги лежат?

Она так вскрикнула:

— Ой, иди, газлуниш, гвалт! — то по-ихнему: ой, сврав, воры пришли!

— А, собака я правь, ты еще кричать! Смотри, — и мы ей показываем топор. — Скажешь, где деньги, и тебя не тронем и остальных. А не то...

Что ж, хоть и старуха, а жизнь ей тоже охота. Все показала. Тогда еще не было этой дурацкой революции. Это теперь каждый сбежав: бегут, спешит отвести деньги в банк, а тогда в малейших городках и местечках деньги дома все держали, любовались ими. Равно и был богатый, а, может, то состояние у него было деньги. Словом, забрали мы тысячи ины бумажники, золотых и серебром и большие серебряные подсвечники. Уложили все, как следует. Потом подходим к той дядовке, а старая все еще за плечку ее держит.

— Ну, говорю, спасибо, спасибо, что все показала.

А она так лежит, глаза выпучила, трясется вся, сказать что-то хочет, но не может.

— Ну, говорю, — чтоб своему балабусту не было скучно из темноты, ступай за нами!

Хлоп ее топором по затылку, по башке т.-е. — и готово!..

Работу сделали мы чисто, как нельзя лучше.

Носко этой удачи я совсем сдурих. Закутил во всю Иваловскую. По целым ночам нянствовал, разъезжал на тройках, бросал деньги направо и налево. Бабенку свою обрядил в шелка и браслеты. Все

это видят, и на меня падает подозрение, а я вместо того, чтоб сейчас огнестрельные вещи *к калитке*, к скупщице т.-е., а самому сейчас же задать лататы, да подальше, — взял и оставил все это дома.

От вина и кутежей у меня в голове ветер заходил, и я сам не знал, что делаю. Вот приходит полиция с обыском, забирает эти драгоценности, а заодно и мои собственные, предъявляют эти вещи родным *усопшим*, а они, блосовы дети, все уличают. Мои собственные драгоценности тоже признают будто ихние. Ну, меня отправляют к судебному следователю в местечко Петроверовка.

Оттуда я, конечно, бежал. До самого утра все ходил и бежал, пока добежал до станицы Затиньшье. Ехать как следует у меня было не на что, в кармане было всего 52 копейки. Так что я ехал зайцем. Никак не добрался до Могилева. В Могилеве у меня был знакомый еврейчик, Ворзеса Выкрест. Он снабдил меня *линьковой ксивой* и поехал за моей женой. Как только она приехала, я сою же минутой уехал на станцию Жмеринку, там сделал пересадку на Киев, но до Киева не доехал и слез на станции Казатин, а здесь опять сделал пересадку, все это для того, чтобы замести следы. Метил я в город Луцк. Денег на имя жены было довольно, я и думал пристроиться в Луцке потише, чтобы на время все забыли про меня.

В вагоне мне пришлось познакомиться с одним чудаком немцем, Андреем Штильке. Ехал он с какой-то гулящей девкой. *Наговорил он мне семь верст до небес и все лесом да тайгой*. Из его разговора я понял, что он немец *теплый* и что недурно бы сделать ревизию его карманам.

Мы с ним стоворились взять в Луцке один семейный номер и вместе погулять во всю Ивановскую. Конечно, это он так думал, как честный немец, а я вовсе думал другое. Я припоминал все его разговоры, как он мне говорил, что продаст землю за 13 тысяч и уже половину прогулял, как ездил за границу и всюду сорил деньгами. Вот я и подумал, надо прибрать к рукам остальные деньги, а то ты и их прогуляешь.

Приехали в Луцк, взяли извозчика и велели везти нас в номера. Это было уже ночью. В номерах все уже спал, за исключением заспанной девушки, отворившей нам двери. Купать и пить у нас было что, да при том мы и не были голодны. Здесь мы разошлись по своим местам, наскоро разделлись и положились спать, он на одной кровати со своей *лахудрой*, а я на другой — со своей *шваброй*.

Когда они вснули, я встал и велел своей *кутоне* немедленно одеться и как можно потише. Взял в руки книжечку, подошел к ципочках к Штильке и, как он спал лицом вверх, то я в чет

секунды *перехватила ему горло* и тут же его курве воткнул и вжал прямо в рот. По окончании этой *гнусной операции* я принялся за очищение ихних чемоданов и карманов и сдиранье колец с ихних пальцев.

Но какое же было мое удивление, когда вместо шести тысяч я нашел у него только семнадцать рублей с копейками. Забрал я еще себе серебрянных часов. Недолго думая, я открыл ставню, затем и окошко египетных чемодан, ссадил свою *машину*, и пошли мы с ней прямо на станцию, где только что пришел новый поезд. На станции мы взяли извозчика и обратили манером едем в гостиницу, только в другую, в «Метрополь». Вышло так, будто мы с женой пассажиры и прямо с поезда, будто в город едем.

Утром слышу *очень печальную новость*, что в номерах «Биржа» произошло убийство и преступники сбежали, но что полиция приняла меры для розыска преступников, а я лежу себе преспокойно в кровати в гостинице «Метрополь», и жену свою..., а также и хитрую полицию...

За убийство у яловки и у раввина мне грозит Сахатни, за дело с Штильке тоже не поладят, значит надо остинуть. Устроился я в Житомире и для близуры стал торговать салом, колбасой и другой дрянью для чревоутодния!! Иногда уезжал *на хорошие дела*, понемногу скупал все, что приносили здеинные маравихеры и шкиферы.

Я мог бы себе прожить здесь долго, но меня моя *марица* сгубила, а как она сгубила, напишу вам завтра.

Пока вот вам арестантский стишок:

Пришла моей жизни кончина,
Напишу письмо я в край родной,
Что больше я дома не буду,
Отхожу я на вечный покой.

Пропали лета молодые,
Не слушал я добрых родных,
Очень рано ведь я их покинул,
Далеко ушел я от них.

Посещал я трактиры, бильярды
И часто я в карты играл,
Грабежи совершал без разбору,
Все чужое добро забирая.

Совершал я порою убийства,
Из револьвера часто стрелял,
А теперь я наказан судьбою,
Тем, что от выстрела сам пострадал.

Лежу я сейчас в лазарете,
Пулю вынули мне из груди.
Всяк имеет меня на примете,
Что разбойник я был на пути.

А теперь вы, друзья, посудите:
Хорошо ли прожил я свой век?
Уже пахнет могпла корою.
А как будто и не жил человек.

* * *

Когда я устроился в Итиохиро, я начал баловаться чужими бабками, что мне моей не понравилось и за что выколоты у нас с полдюжины бурные слезы до-попы! За это она и решила мне отомстить, т. е. за правонарушение супружеской верности. Да и при том она начала свучать со руганью, которого ни оставил у себя этот.

Вот, в одно прекрасное время, когда я стоял на улице, на перекрестке из одного *«челювек»* вышел баба, она собралась в рынок и своей матерью, а приедуте сказала, что едет по мне в Рюкю. Она была и из потребовал телеграммой. Я приехал через два дня домой и за то что жена не вышла меня встречать. Я спрашиваю прелесть:

— Что, барыня Сольная?

Она делает удивленную гримасу на своем лице и говорит:

— Барыня пошла к маме... Разве вы разлучались?

Я сразу сообразил, в чем дело, что жена свою угрозу убила за меня прелесть в исполнение, и не стал более разговаривать с прелестью об этом и перевел разговор совсем на посторонние предметы. Но вот мы и живем в раслуке. Я ждал, ждал, она не возвращается. ... Конечно, первым делом *подкатилась* к своей служанке, а она конфушка мисс-денежка, вкусенькая такая, ну и позабыла про нее все на свете. А когда, когда уснула, то оставила мне письмо, в котором много всякого писала и все организовала свою торговую долю, что мне у нее понравилась, и закончила тем, что я я недели не прожил без нее. Но она далеко ошиблась в своих расчетах. Я прожил без нее три месяца, а вот она мне и пишет милый, приезжай и возьми меня к себе, я за тобою соскучился, и тут же прибавляет, что и снопочек паша случает за милым палочкой!

Видите, товарищ, как это баба коварная! А есть еще такие, что за них заступаются. Я вот в «Ниве» читал статью с портретом Шабашовой, что надо дать полное образование и полное права этим друж...ным тварям! Но зачем бабам образование? *Чтоб они могли*

с офицерами разговаривать и по научному глазки строить! Сколько я перечитал романов и даже очень хороших, то все образованные двустолбы своим мужским рога наставляли. Это называется по интеллигентному. А подисправно им зачем? Бабы и так зеревки вьют из нашего брата, пританут и вертят как хочут. Знаю, знаю я эту цыравую команду. Сколько сам я по замужним бабешкам прохаживался...

На письмо жены я ответил презренным молчанием, а она повторила второй раз, третий раз, но я все не отвечал. Тогда она, сволочь, не выдерживает, приезжает сама, привозит ребенка и сейчас же пустила в ход свое оружие, слезы и клятвы с уверениями никогда не позволю себе уезжать от мужа самовольно.

Все бы это еще ничего. Но вот увидел ее у отца пристава и догадался, что она едет ко мне. Недолго думая, он взялся за старика, моего тестюшку и грозит ему, что если он не скажет, куда и в какой город уехала его дочь, то его привлекут к ответственности за укрывательство преступника—заян. Старик испугался и указал, что я проживаю в городе Житомире, а под каким именем, он не знает.

Но приставу довольно было и этого, чтобы разыскать меня. Вот он командирует урядника, который хорошо знал меня в лицо. Урядник переселся в цивильное, т.-е. вольное платье, приехал в Житомир, пошел в полицию, предъявил нужные бумаги и начал преспокойным образом свое коварное действие. Я торговал в мясном ряду, и он на другой же день начал плыться по городу, и, что вы думаете? — нашел меня.

Взял он человек шесть городских и одного околоточного, расставил их поодаль, а сам, собачья его душа, вошел покупать у меня колбас. Покуда я ему отвечивал, он начал со мною разговаривать в такой форме, хорошо ли мы, колбасники, зарабатываем на своей торговле. Я ему ответил, что не особенно хорошо, но ему этого и знать не надо было, ему надо было только слышать мой голос, чтобы звать, что он не оплошал. Вот он берет колбасу, отходит на десять шагов от моей лавочки, вынимает свой курянский свисток, засвистел, и в сию же минуту барбосы окружили мою лавку с револьверами в руках.

Подходит ко мне поближе околоточный и говорит:

— Вы имеем закона арестованные. Мне надо учинить обыск.

Я смиренно повиновался. Потом подходит урядник и говорит:

— Вы меня, конечно, не узнали, а я урядник Семенковский.

Я посмотрел на него и говорю:

— Что же вы хорошего сделали, что арестовали меня?

Он отвечает:

— Служба заставляет добросовестно исполнять закон.

— Но вы будете жестоко наказаны за это, — и говорю.

— Что ж, двум смертям не бывать, одной не мновать, он говорит.

В тот же день меня отвели в тюрьму, заковали в кандалы, а через две недели я уже сидел в тираспольской тюрьме, потому мои главные преступления были в Тираспольском уезде. Оттуда я и понес на Сахалин 12 лет работ. Но так как дело было до манифеста, и даже не одного, а двух, первого в 1894, а второго в 1896, то я пользовался как тем, так и другим.

Из Сахалина я перебрался в Никольско-Уссурийский край, а оттуда уехал в Харбин, а из Харбина в Ляоян, а из Ляояна в Манчжурию, а из Манчжурии поехал в Приамурский край в город Благовещенск по *весьма важному делу*, оттуда пароходом прямо в Сретенск, а из Сретенска в Читу Забайкальской губернии, где я прожил более года.

Но где бы я ни был, я всюду сеял одно только зло, а именно, какое зло, так вот какое, всюду я похищал человеческие сбережения и вместе с ихним золотом и ихнюю жизнь.

Вспоминаю, что тогда я был богатый арестант. Денег жена мне и присылала больше, чем надо было, выписка, табачек, водочка, а то и бабеночка, всего этого на Сахалине у меня было вдоволь. В тюрьме я жил себе как пан, а не так как теперь, когда одну воду пью и песню такую пою:

Ах, ты, ветка бедная,
Ты куда плывешь?
Берегись, несчастная,
В море попадешь!

Там тебе не справиться
С бурною волной,
Как спотке бедному
С хитростью людскою.

Одолеет лютая,
Как ты ни крепишь,
Далеко умчит тебя.
Ветка, берегись!

— Для чего берегись мне,
Ветка был ответ,—
Я уже иссохшая,
Во мне жизни нет.

От родного дерева
Ветер оторвал.
Пусть теперь несет меня,
Куда хочет вал.

Я уж не противлюся,
Мне нечего желать.
Мне с родным деревцом
Не расстись опять.

Теперь, товарищ, пришлите еще бумаги и карандаш. А если есть, то и табачку немного. Бумаги шлите побольше, а то осталось место для одного только стишка. Вот эта арестантская песня:

В одесском я саду гулял,
Красоткой любовался.
Тяжелые кандалы достал
Вот и достарался.

Отец мой старый слезы льет,
А мать про то не знает,
Что сын ее в Сибирь идет,
Он родину бросает.

Мы котелки с собой возьмем,
Конвой пойдет за нами.
Мы кандалный марш споем
С торклыми слезами.

И до Сибири не дойдем
Про все мы разузнаем,
Опять на родину придем,
С друзьями погуляем.

* * *

Вы спрашиваете, сколько я всего кругом просидел в тюрьмах? И другие вопросы задаете. Я об этом не думал, но вот теперь я насилу припоминаю, где я все время шлялся.

Вот вам выписка из жизни некоего журнала моей скитальческой жизни!.. Родился в 1873 г. до 17-летнего возраста я не был знаком с тюрьмами. В 1891 году сидел в тюрьме четыре месяца. В 1892 г.—на свободе. В 1893 г. сидел один год и четыре месяца. В 1894 г.—на свободе. В 1895 попался, но бежал. В 1896 был на свободе, а потом снова в тюрьме. В 1897 г. в тюрьме и немножко на Сахалине. С 1898 по 1901—на Сахалине. В 1902 г. делал дела в Сибири. В 1903 г. жил в России, тоже в 1904. В 1905 г. отсидел восемь месяцев в Варшаве, где сидел за то, что в вагоне, в котором наклеивал одно выгодное дельце, кто-то раздавал прокламации. В 1906 г. сидел в тюрьме в Москве по делу об ограблении с убийством; дело

открылось благодаря собаке (настоящей собаке из сыскного отделения), 1907 и 1908 г.г. провел на каторге в Забайкалье. В 1909 г. сидел в тюрьме уже в России, но бежал. В 1911 г. опять попал в тюрьму, а в 1912 г. получил новую каторгу.

И вот в общем итоге получается тюрьмы более 16 лет, не считая того, что сидел по полицейским участкам и пересыльным и неоднократно этапом ходил, что тоже наберется с год. Вот вам жизнь зорев, почти весь век проходит в стенах тюрьмы в вечной рабской подчиненности и угнетении. А теперь—скоро я с вами расстанусь, и земле в утробу ворочусь и хоть держусь еще рукой, но сердце шепчет: на покой! Довольно тюрьмы посещать. Дай костям ты полежать. Время жизни с себя свергнешь и лишь в могиле отдохнешь.

Большинство нашей братии и околевает в тюрьме. Я как вспоминаю, что молодость моя проходит, т. - е. прошла уже, то сердце у меня кровью обливается. Но что делать, кончаешь срок и выходишь на свободу в чужой стороне, безо всяких материальных источников, да еще и голый, т. - е. во всем арестантском. Не только добрые люди не хотят на тебя смотреть, но и собаки ихние на тебя таркают как на волка. Ну, в конце-концов, найдешь работу у крестьянина-символического чалдона. Это мурло какой-нибудь, который даже бабу свою изводит на работе, а себя считает только для приплоду... Но не подумайте, что за свой труд у него много разживешься. Чуть петухи пропели, чалдон уже толкает тебя ногой в бок, как собаку.

Ну-ка, паря, подымайся, варнак! Ступай в гумно молотить ценом.

Ну терпит, терпит бедный посселепец, бросает все и идет опять поровнять, а то, если не терпения выйдет, то и чалдона ограбит и убьет, и чалдонку и всех маленьких чалдонят, байстрюков ихних.

Но вот, и скажем, украл хорошие деньги. Но сколько он натерпелся до этого всякой горечи и нужды, теперь он хочет за все наверстать, и как примется наверстывать, то смотришь, все деньги и прокутит. То на бабенку потратится—это уж первым делом, то в картишки прокудет, или на водочку, ну а без нее уж ни одно дело не делается. Известно. Теперь надо идти доставать другие деньги, а тут тебя как раз за *жому ба и в мешок*. Вот и тлишь опять лямку в тюрьме. Но вот тебе опять пофартило, и ты снова бежал. Ты в арестантском халате, без копейки денег, без крова, без куска настоящего хлеба и нет у тебя здесь ни *роду*, ни *плоду*, ни *жолы*, ни *двора*. Хорошо еще, если дело летом, *летом каждый кустик почивать пустит*, но что он должен зимой делать? Идти к чалдону работать, но ведь зимой и сам он не имеет другой работы, как только греть свою бабу.

Так бьется, бьется наш брат и идет искать, где лучше, и вот он рыскает, рыскает как голодный волк, и пускается на новое преступление. Совершил он преступление и, скажем, не засыпался, но на его горячий след находят других. И вот их арестовывают.

— Кто вы такие будете?

— Мы, говорят,—ссылные поселенцы.

— А, так это вы совершили преступление с убийством,—кричит полиция и сразу заматывает их. Поселенцу и лишенному прав совсем нет веры. Клянусь вам свободой и прахом моей матери во гробе, что из ста поселенцев, сидящих в тюрьме, половина будет безвинная, спит за чужие дела.

Вот почему мы и убиваем общество при всяком удобном случае. Оно довело нас до позорной жизни и убивает нас без всякой жалости. Как убивают собак, что без ярлыка ходят. Сии—ниги, а мы—их. Но пропадать, то—мы пропадаем. Вот я теперь—весь слать в централь!

Ну, будет об этом. Все это меня порядком раздражило, да и не могу я долго сидеть за одной думкой, сейчас бабка начнет трещать. Сиверно, товарищ.

С свободой на век я востился, в Орловской тюрьме и сизку. Семья и родных я лишился, а теперь как безумный хожу. Неужель судьба позарюсь я? Разбит мой семейный очаг. В сырой одиночке томлюсь я, в Сибири жить будет мой прах. Там, где солнышко не светит, там не всходит где заря. Знать придется мне погибнуть и засохнуть как трава. И не гнался за чинами, некал я денег и любовь. А теперь тремлю цепями и в могилу идти готов.

Нет, товарищ, в Сибирских централах жилось лучше, тогда еще не было революции этой, и к нашему брату по-иному относились. В Горном Зерентусе, напр., можно было в прежние годы попросить, зерно потребовать, от доктора, чтоб он выписал в главную центральную больницу такую-то каторжанку из мальцевской тюрьмы, где баб сидит несколько сот.

Доктор трусит, боится, а, может, и входит в положение нашего брата, ну и выписывает под предлогом якобы большая ту, которую просишь. Ну она и арестанткам, которые для этого в больницу пробираются, угодит, и сама немножко подзаработает. Довольно!

Вот одна из этих каторжанок научила меня такой песне, тоже арестантская, может и понравится.

Соловей малюточка,
Чего рано не встаешь?
Повеси ты головушку
И зернушек не клещешь.

— Клевал бы я и зернушек,
Но когда волюшки нет.
Запел бы я и песенку,
Но некому, мой свет.

Железная решетуха
Меня не веселит,
Железная решетуха
Мне сердце все крушит.

— Лети, лети ты, пташечка,
В родную сторону.

Да скажи ты, пташечка,
Что по воле я хожу,
Не говори, соловушка,
Что в неволе я сижу.

А теперь на прощанье вот еще одна песня, известная всем. Кто побывал в Сибири. Слова такие:

Далеко в земле сибирской
Меж крутых скалистых гор
Обнесен стеной высокой
Чисто выметенный двор.

Чистота кругом большая,
И пылинки не найдешь.
Подметайлов штук по десять
В каждой камере найдешь.

Над крыльцом чисто дубовым
Больша вывеска стоит,
А на ней орел двуглавый
Раззолоченный висит.

По дороге тройка мчалась,
Валунный барин в ней скакал.
Поровнявшись с подметайлой
— Эй, постой!— он закричал.

— Ты скажи-ка, брат голубчик,
Что за дом такой стоит?
Кто владелец тому дому,
Как фамилия гласит?

— Это, барин, дом казенный,
Александровский централ.
Вот уже седьмое лето
Как и я сюда попал.

— А скажи-ка, брат голубчик,
Кто, за что же здесь сидит?
— Это, барин, трудно помнить:
Есть и вор здесь и бандит.

Есть за кражи и убийства,
За подделку векселей,
За кредитные билеты...
Много разных штукварей.

Есть за правду за народну.
Кто в шестом году восстал,
Тот начальством был отправлен
В Александровский централ.

Я вам обещался описать Сахалин и еще то дело в Благовещенске, где мы взяли ювелирный магазин, пришили четырех человек и где вместо вас других повесили, но теперь больше о себе писать ничего не буду, еще поговорить лишнего, а потом выпутывайся. Я и так два раза хотел перестать, но потом мне сделалось ужасно стыдно, что я сам обещал писать свою биографию и вдруг скрутил, то-есть раздумал. Будьте здоровеньки. Прошу ответ. Известный вам Панаас Холоденко.»

* * *

На этом кончаются подлинные записки нашего героя. Воздерживаясь от комментариев к ним, я остановлюсь только вкратце на вопросе. *Как быть, что делать с подобными рецидивистами?*

...Из четырех мотивов, которые обыкновенно лежат в основе современной¹⁾ системы наказания (т.-е.—мечь, устрашение, исправление, изоляция) мы в отношении рецидивистов признаем действительных только *четвертый*.

Если случайных убийц нужно как можно меньше держать в тюрьме, если для впервые понавшегося ворышки, которого надо всеми силами и безусловно отделать от рецидивистов, тюрьма должна быть превращена в педагогически-ремесленный институт; если к ним надо применять в максимальной степени и условное осуждение и досрочное

¹⁾ Писано до революции 1917 г.

освобождение, то рецидивистов надо держать взаперти подольше и покрепче. Это зачумленные и обреченные.

«От родного дерева ветер оторвал» — говорится в приведенной Холодеко песенке про ветку. И, действительно, раз оторвавшись от нормальной жизни, ей, иссохшей... с родным деревцем не срастись опять...

Разумеется, несколько утопичны надежды устранив рецидивистов регрессиями или исправить их трудом¹⁾, постольку же беспочвенны и жестоки все те меры, которые в чем бы то ни было направлены против рецидивиста, уже сидящего в тюрьме. Не только кандалы, ограничения в расходовании собственных денег на пищу, нарочито грубое и оскорбительное обращение, но и более мягкие лишения иprivation не должны иметь места.

Наличие целого класса подобных преступников свидетельствует о том, что в общественном организме не все ладно. Эти жертвы общего нестроения громко вопиют о необходимости это нестроение устранить и исправить.

Решаясь на такую меру, как изоляция — даже пожизненная — законченных преступников, общество руководствуется своим несомненным правом — *трасом на самооборону*.

Искупить же эту свою невольную жестокость оно может только усиленной и ускоренной деятельностью на поприще радикального преобразования всех основ своего социально-экономического и социально-психологического быта.

¹⁾ В севастопольской тюрьме я знал одного старика, хорошего рыбака по профессии, который при мне сидел в тюрьме *семнадцать раз*. Между тем выпустите его сегодня на свободу, и вы не можете быть уверены, что завтра же он не попадет в тюрьму в *восемнадцатый раз*. Опытный психопатолог мог бы найти много таких субъектов среди наших рецидивистов.

Конечно, не у всех эта патологическая сторона выражена с достаточной яркостью и далеко не все рецидивисты сознают, насколько их душевные качества уклонились от более или менее нормальных. В этом отношении весьма интересна самохарактеристика одного рецидивиста, приводимая С. В. Максимовым в его «Сбывь и каторга».

«Был я вор отпетый, и каковы на мастера все наши, а я был лучше всех. Много выворюг, он и отстает, а мне и розги что с гуся вода. Сделал во мне воробант чорт, самый и сильный и такой притом, что никакого мне ладу с ним не было. Увижу что чужое, сейчас у меня заболит брюхо и такой таскун в нем нападет, что глаз не сомкну, куска не съем, покаль чужая вещь перестанет есть глаза и руки останут чесаться. А таскал я все, что под руку подвернется, и не подобна яная вещь, да силен чорт внутри садит: что ни ядлет из чужого, все подавай!»

У Б И Й Ц Ы.

Категория случайных убийц, не принадлежащих к профессиональным ворах, занимает довольно большое место среди населения тюрьмы и лагерей.

Отличительной чертой этих случайных убийц является отсутствие грубо материальных и корыстолюбивых мотивов, в качестве непосредственных и ближайших к преступлению стимулов. В такого рода преступлениях мы, по всей вероятности, имеем дело с особым патологическим состоянием, когда человек спонтанно теряет рассудок, освобождается от задерживающих центров и находится весь под влиянием одного чувства, всецело охватывающего все его существо: чувства злобы, мести, ревности...

Всякий вдумчивый человек легко согласится с утверждением, что подобные житейски-бытовые преступления вызваны, в конечном счете, ненормальными социально-психологическими условиями, в которых проходит личная и семейная жизнь людей наших поколений. Огромнейшую роль здесь часто играет опьянение алкоголем.

Теперь надлежит ли пойдутся люди, которые станут доказывать, что душа человека ведет такое замкнутое изолированное существование, что здоровая или больная обстановка, хорошее или плохое воспитание, то или иное состояние социального организма — на нее несколько не влияют.

И глубоко неправ потому тот романтик самодержавия и православия, который в своем «Дневнике писателя» утверждал, что «никакой муравейник¹⁾, никакое торжество» «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а, следовательно, от виновности и преступности. Исно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве

¹⁾ «Муравейником» Достоевский называет строй общества, которого добиваются социалсты, столь ненавистные этому писателю, причудливо совмещавшему в себе фаталистскую приверженность к реакции с искреннейшей проповедью братства людей — восторженный христианизм с апофеозом милитаризма.

глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и *грех* исходят из нее самой... и т. д.

Достоевский, повторяем, глубоко не прав.

В частности, наши личные наблюдения лишней раз убеждают в колоссальном, часто всепоглощающем влиянии социальных условий на поведение человека, убивающего ближнего.

Даже черты, несущие явно патологический оттенок, в большинстве случаев расцветают и проявляются только при наличии определенных условий общественно-бытового характера. При другом общественном укладе — понимая это выражение в самом широком смысле — множество трагедий, например, на любовной почве, трагедий, протекающих в обстановке нашей нездоровой жизни, — не имело бы места, и во всяком случае не влекло бы за собою такое множество жертв, как теперь.

“ “ “

В феврале 1910 года, при возвращении обратно в централ, мне пришлось прожить некоторое время в вологодской губернской тюрьме, тюрьме старпщиной постройки с башнями по углам и подвальный этажом. Камера, куда меня посадили, предназначалась для 12 человек, но еще до моего прихода туда напихали 20 арестантов, уже несколько недель ждавших перевода в каторжный централ. Пол в камере не асфальтовый, а деревянный, окна с прямым и деревянным, а не покатым и цементным подоконником. Зато воздух был промозглый, кислородный, какой-то одуряющий; всюду невероятная грязь и вонь, по углам висела паутина, клопы во множестве ползали по обшарпанным стенам и койкам, а арестантская одежда и белье так и вшивали вшами, жирными, темно-серыми вшами, на которых арестанты то и дело совершали карательные экспедиции.

Дело было к вечеру, и я с беспокойством стал озираться вокруг, подумывая о ночном ложе. Не только все брезентовые койки, рваные, грязные и засаленные, давно уже были заняты, но даже места на длинном обеденном столе и на грязнейшем полу возле печки были захвачены другими.

Благодаря любезности одного арестанта, я эту ночь проспал на койке, зато последующие 5—6 ночей приходилось устраиваться на узенькой скамейке. Одеждой мне служил мой дорожный арестантский халат, а подушкой — годовой экземпляр «Нивы» да несколько томов Жуковского, валявшихся на столе.

За неделю пребывания в одной и той же камере я успел как следует познакомиться с сожителями.

Любимцем камеры был татарин Малай, маленький и щуплый человек. Был он когда-то матросом, служил в Порт-Артуре и участвовал в сражениях с японцами. Весь паралетный припадезь, он долго лежал в лазарете и домой вернулся с исцалеченными ногами. Своими ужасками и манерами он ужасно напоминает обезьяну. Раздражительность и вспыльчивость у него чисто зверинные. Обыкновенно тихий и добродушный, он становится страшен, если что-нибудь или кто-нибудь рассердит его. Малай удивительно неутомим: по целым дням он бродит по камере, еле передвигая словно деревянными и прямыми, как палки, ногами, бормоча что-то на своем наречии. Или же подойдет то к одному, то к другому арестанту, учинит неожиданно трескующую комическую обструкцию, скажет: «здесь место свято!» — и зайдет своим странным с взглядыми постанами смехом.

Каторгу Малай получил за убийство урядника, на которого набросился с ножом, когда тот сказал что-то оскорбительное по адресу его, Малай, жены. Чтобы избавиться от последствий приговора, он несколько раз симулировал припадки, выбирая моменты, когда в камеру заходил кто-нибудь из высшего начальства. Он настолько умело владел собою, что в нужный момент падал на пол, начинал метаться и биться в судорогах, лицо его в это время покрывалось мертвенной бледностью, а изо рта текла пена. Не знаю, возможно, что он и на самом деле больной. Однако, из всех его попыток избавиться от каторги ничего не выходило. С него только сняли кожанные кандалы.

Совсем в другом роде был *Кузьма Панасюк*, крестьянин Возынской губернии, красивый старик, лысый, с большими мешками под глазами, всегда печальный и тоскливый. На всех он производил неприятное впечатление, которое усиливалось тем, что Панасюк был ханжа, по пятницам обязательно постился, часто вставал с койки и клал поклоны перед иконой. Арестанты, даже самые простые, очень не долюбивают таких людей, чутьем и инстинктом угадывая, где таится глубокая и искренняя вера, и где — показное фарисейство, вошедшее в неискоренимую привычку.

К арестантам, а в том числе и к политическим, Панасюк относился с недоверчивостью и плохо скрытой враждебностью. Зато в разговоре с начальством, хотя бы то был простой надзиратель, он запевшающе стибал спину и унижающе, с жалкой гримасой, улыбался. Попав в тюрьму, Панасюк из всех сил старался расположить к себе административную и не только вел себя просто «как следует», т. е. лебезил перед помощниками и старшинами, ломал перед ними шапку и т. п., но при случае занимался также мелкими доносами на остальных каторжан.

На каторгу Панасюк попал вот за что.

Зять его, молодой деревенский парень, сильно пьянствовал, и, как это водится, частенько избивал свою супругу. С тестем у него тоже были нелады, большей частью денежного свойства. Между ними часто происходили споры и ссоры, один раз даже закончившиеся крупной всеобщей потасовкой, в которой участвовала вся семья.

И вот, чтобы избавить дочь от такого мужа, пьяницы и лентяя, и заодно уже чтобы отомстить ему за многочисленные обиды, Панасюк раздобыл стрихнину, вознал его в воду и угостил зятя. Молодая, конечно, от угощения не отказалась, выпила залпом целый стакан и через час умер. Однако, как только ему сделалось дурно и обещалось соседи, он еще успел сказать, что водку принес тесть.

Призвали полицию, связали Панасюка — и в кутузку. Месяцев через восемь Панасюка судили. Уличенный всеми обстоятельствами дела, Панасюк все-таки с каким-то непонятным и тупым упорством продолжал отрицать вину. Суд дал ему 18 лет каторжных работ.

Преступление Панасюка принадлежит к категории тех преступлений, возможность устранения которых могут отрицать только истинные врады Достоевского, т. е. люди, хотя и выдающиеся, но ослепленные предвзятой идеей. Здесь не требуется даже окончательное торжество просвещенного социалистами «четвертого состава», чего с таким страхом и содроганием боялся Ф. М. Достоевский. Облегчите развод, внесите хоть немного света и культуры в забитую и невежественную, монополизированную помещиками и копами Волынь, и все дело Панасюка могло бы кончиться совсем по-иному... *Много ли для этого надо?.....*

С третьим убийцей, армянином Агаджановым, я часто потом встречался в централье. Это был плотный, с брюшком и большими черными глазами, человек, несмотря на свои пожилые годы, подвижной и экспансивный. Сам он коммерсант, родом из Баку. Еще лет тринадцать назад он сошелся с русской женщиной, жил с нею хорошо, мирно и тихо.

Заболев однажды тифом, Агаджанов, на всякий случай, перешел на имя сожительницы весь товар из магазина, деньги, лежавшие в банке, и пр. Тем временем жена сошлась с капитаном, окончательно прибрала себе все имущество Агаджанова, а когда он выздоровел и вернулся домой, прогнала его. Чтобы совсем от него отделаться, она решила выдать полиции склад оружия, принадлежавший революционерам-дашнакцутюнам, которым, как она знала, помогал и Агаджанов.

Оскорбленный ее неожиданной, после тринадцатилетней совместной жизни, изменой, очутившись в таком неприятном положении

именно тогда, когда он больше, чем когда-либо нуждался в уходе и попечении, Агаджанов рассвирепел и, после короткого объяснения с измывавшей, собственноручно заковал ее в кандалы.

В убийстве он несколько не раскаивается. Во всем он считает себя правым и о подробностях убийства рассказывает с каменным равнодушием.

— Кликая у меня хоро-о-ний был, турецкай... Я ей в сердце — раз... В бок — два... и убит старуху...

Совершив это дело, Агаджанов сам явился в полицию. На суде он во всем чистосердечно сознался. Приговорили его к десяти годам. Любопытно еще то, что он считает одинаково правым и себя, совершившего убийство, и общество, в лице суда, создавшего его на каторгу. Ни тени раздражения по адресу судей.

— Свои десять лет я заработал... Не оставлять же таких, как я, на воле! — говорил он... — Но зато и той суре отомстил... По крайней мере успокоился, смыл обиду!..

С товарищами по тюрьме Агаджанов был весел, выписывая им махорку и сахар, вообще, чувствовал себя недурно.

Рядом с этим армяннином помещался огромнейшего роста и необыкновенно широкоплечий мужик, которого я мог рассмотреть только на следующий день. Почти без перерыва лежал он личком на койке, брелки кандалами при каждом повороте. Вставал он только к обеду и ужину. Наскоро похлебав бодады, он сейчас же — опять на койку. Фамилия его — Кулаков. Руки у него колоссальные, пальцы толстые и пухлые, лицо одутловатое, словно чем-то налитое, а маленькие, серые, мутные, поразительно ничего не говорящие глаза смотрят на все и всех тупо и безразлично.

Одет Кулаков был во все арестантское, причем бушлат и арестантские брюки были на нем далеко не по его гигантскому росту, а кожаные подкандалышки оставались не прикрытыми цыколки пот. Его мохнатые, пепельного цвета, нечесанные волосы, густые кустистые брови, — все это в связи с мало вразумительной и несвязною речью производило тяжелое впечатление чего-то животного.

Этот беспорядочно и неопрятно одетый, всегда дурно пахнущий медведеобразный гигант осужден был на восемь лет каторги за убийство жены. Почему именно он убил ее, как он это сделал, Кулаков и сам не знает, как не знает толком, он и на самом деле убил ее. По словам знавшего его односельца, находившегося в нашей же камере, мужик он был, хотя и работящий, но очень много выпивал, угрюмо, в одиночку и без скандалов. Его большой семье приходилось временами очень туго. С женой жил не в ладу, хотя никогда ее не бил.

Однажды в понедельник Кулаков проснулся в кутузке. Из слов охранявших его стражников он узнал, что в воскресенье после обеда он топором зарубил на смерть свою бабу.

Тупость, неразвитость и болезненное, полудурное состояние Кулакова, не умеющего и двух слов связать; безразличное и чисто бумажное отношение к делу со стороны судей; халатность и безучастность казенного защитника, не рассчитывавшего получить с Кулакова гонорар и потому мало интересовавшегося его судьбой, — все это привело к тому, что вместо психиатрической больницы Кулаков очутился в тюрьме, в звании каторжника.

После бывшего здесь недавно припадка его повели к тюремному доктору Бессонову, кстати сказать, весьма мало обращавшему внимания на больных. Осмотрев наскоро Кулакова, доктор написал бумагу, которая пошла гулять по канцеляриям. Кулаков же, грязный и вшивый, лечно воняющий, продолжал валяться в этой трупобойной камере, с кандалами на ногах.

Казалось бы, холодный и суровый климат северных губерний не должен располагать к пылкости чувств, темпераментности и чрезмерной экспансивности, между тем на каторге даже я лично встречал многие десятки деревенских парней и мужиков из Вологодской и соседних губерний, осужденных за драки с убийствами.

В камере нашей ожидали перевода в централ четыре человека, осужденных по одному и тому же делу.

В праздник встретились две толпы подвыпивших мужичков и парней, жителей двух соседних деревень. Началось с пререканий по поводу того, что парни из одной деревни вздумали ухаживать за девушками из другой. Кто-то кому-то давно уже грозил «расквасить» за это «морду». Возник спор. Спор перешел в ссору, ссора в драку, драка — в форменное побоище: обе стороны вооружились камнями, схватились за топоры, на помощь прибежали другие, и в результате — несколько человек убитых и раненых. Некоторые из паспортованных участников этой баталии поплатились тюрьмой и арестантскими ротами, а те, которых я здесь встретил, имели каждый по четыре года каторги.

Один из них, по фамилии Мезенцев, был молодой, лет 23, детина, здоровенный и неуклюжий, с бесцветными глазами и наивной, доброй улыбкой. С самого дня ареста он ходит как будто в тумане и до сих пор никак не может осмыслить того, что с ним произошло: простой и безобидный человечек, ужасно боявшийся одного вида городского или тюремного замка, он теперь влечит цепи и томится в столь непризывной для него обстановке ничего неделания, недоедания, скуки и

зтесненный. После приговора жена дала ему на руки рубль серебром, но он пропил его вместе с конвойными, и теперь вот уже месяца четыре, как не имеет даже мыла, чтобы умыть лицо. Жена его, по настоянию родных, собирается теперь выйти замуж за вдовца, и это обстоятельство тоже не мало волнует Мезенцева.

С его товарищем и однодеревенцем Вахрамеевым, маленьким, кругленьким, мужичком лет 30-ти, с огненного цвета густыми рыжими волосами, с красивыми синими глазами и ярко-пухляком маленьким ртом, я не успел, как следует, познакомиться. Знаю только, что этот удивительно веселый и жизнерадостный малый, любивший рассказывать анекдоты и постоянно что-то напевавший, судился за убийство уже второй раз. В первый раз, благодаря небрежности следователя и ложным показаниям выставленных им свидетелей, он был оправдан, хотя убийство совершено было им и тоже во время драки. Вахрамеев — это первый и единственный случай *рецидивиста не вора и не грабителя*, который я лично встречал в тюрьмах. Обыкновенно рецидивистов дает исключительно среда профессиональных воров и разбойников.

Третий из этой компании — Голицын, плотный мужик с лысиной во всю голову, имел оригинальную привычку: по целым дням он просиживал над решением задач, ребусов и загадок, которые он отыскивал в «Литературных приложениях» к журналу «Нива». При этом за неимением тетради и асфидной доски, он неписывал малейший кусок бумаги, какой только попадался ему на глаза. Приняв меня за студента (я вез с собой несколько иностранных книжек, зубную щетку и кусок туалетного мыла), он в первый же вечер знакомства засадил меня за проверку замысловатой задачи, для чего вытащил из кармана пух: бумажек из-под чая, от сахарных кулечков и махорочных оберток.

Про четвертого их компаньона можно сказать только, что он туп и глуп, любит щеголять перенатытыми им в обтяжку арестантскими брюками, целыми часами смотрит в маленькое зеркальце с приделанной к нему щоточкой и расчесывает густые льняные волосы. Не будь он во время драки пьян и не считай он нужным поддерживать своих приятелей забляк, этот пустой и легкомысленный индивидуум никогда в жизни не узнал бы что такое преступление, тюрьма, кандалы.

Процент преступлений, в которых решающее значение — помимо общей некультурности — имеет опьянение водкой, прямо колоссален. Когда читаешь об этом в книжках и журналах, то хотя и негодуешь, но не с такой силой и огорчением, как в тех случаях, когда своими собственными глазами видишь гибнущих на каторге людей, которые могли бы жить спокойно на воле, не будь мэзги их в определенный момент пропитаны спиртом.

За исключением одного-двух, все обитатели нашей камеры возле не выходили на прогулку и оставляли камеру только для того, чтобы один раз в две недели пройтись по двору в баню. Выходить на прогулку начальство прямо не приказывает, ну, а сами они настолько поддались апатии и лени, настолько уже размякли, что предпочитают плесневеть в темной и вонючей камере без всякого движения.

Эти спячка души и тела, эта тягучая, ленивая болтовня на пустые темы, разбавляемая перебега сплетничан, машинными ссорами, картежной игрой на коловых веревках — одно из самых гибельных последствий тюремного быта.

* * *

Это было в другой тюрьме — в московской пересылке, где в ожидании этапа каторжане порой раз задерживаются неделями.

В самом углу камеры, возле задней стенки, устроились два арестанта, еще в вагоне меня заинтересовавшие: один из них колоковский старик лет за 50, а другой — молодой крестьянин лет 28.

Старик Аксенов, со своим свежим румянцем на щеках, живыми, полными блеска глазами, спокойными и плавными манерами и медлительной караснев речью производил довольно приятное впечатление. Сосредоточенный и грустный, он часто вздыхал втихомолку, и тогда по лицу его проходила болезненная гримаса, на лбу появлялось множество мелких морщин, и весь он казался тогда постаревшим на десятилетие. Осужден Аксенов за убийство родного сына.

Из того, что он рассказал об этом, можно было понять, что жена его, чувственная и похотливая баба, множество раз изменяла ему, когда могла еще правиться другим мужчинам; она даже «принесла» в дом ребенка от чужого, когда он, Аксенов, уехал в город на заработки. Но непосильный труд в поле и дома, эта каторжная работа, на которую обречена любая крестьянка, рождение ею целой семерки детей, вечные заботы и тревоги — рано состарили ее. Основательно или без оснований, но она с своей стороны сильно ревновала своего крепкого еще и свежего во всех отношениях мужа.

В последнее время ей стали казаться подозрительными отношения мужа с женой их сына, бойкой и веселой молодухой. На этой почве у стариков шла постоянная, то явная, то скрытая вражда. Старуха то и дело подзуживала сына, напештывая ему, чтобы он подлише смотрел за молодкой, потому что старик, такой-сякой, будто на все виды имеет. Эти напештывания вызвали много ссор. По наущению ревнивой матери, молодой Аксенов, в конце-концов, выгнал отца из дома.

Однажды, когда старик спал в риге, сын, бывший по случаю воскресенья, пьян, затеял с ним спор все на ту же тему.

— Ты чего на мою бабу заглядываешься, снохач этакий! — кричал он. Слово за словом — дело дошло до драки. Схватив лежавший возле него топор, молодой Аксенов стал набрасываться на отца. Обороняясь, последний вооружился оглоблей, и, размахивая ею, несколькими ударами по голове уложил сына на смерть.

Его судили и приговорили к 15 годам каторги.

Во всем он винит теперь жену.

— Ну вот, — говорил он, — добились: сын в земле, баба его осталась одна с детьми, хозяйство все в прах пошло... а я все равно что похоронен: не выдержать мне такого срока...

Вот она — власть тьмы деревенской!..

Другой арестант, все время дежавшийся с ним вместе, Грядков, был среднего роста, крепкий и коренастый малый, удивительно мускулистый и ловкий. Он буквально ни одной минуты не мог сидеть без дела. То он ножиком перекраивал и перешивал халат, то примеривал суконную подкладку к кожаным подкандалникам, то передевывал пелюшную блинобразную арестантскую шапку, то из тряпенок шивал носки. В общепитии он был необыкновенно молчалив, миролюбив, со всеми жил в ладу и делился всем, что имел съестного.

— За что ему каторгу дали? — спросил я старика.

— Да так... *За почетницу*, — ответил он.

Оказывается, что этот тихий и серьезный молодой крестьянин пошел на каторгу за убийство своей любовницы, или «почетницы», по здешнему определению.

Дело было так:

Еще до поступления на военную службу Грядков любил девушку однопольчанку. По хозяйственным соображениям ее родные были решительно против брака, поэтому парень с девушкой стали жить вместе «так». Перед тем как идти в солдаты Грядков имел со своей Аграфеной крупный разговор и взял с нее честное слово терпеливо и целомудренно дожидаться его возвращения. Однако, обстоятельства сложились иначе. Когда он вернулся со службы, она уже была законной женой его соседа, хотя в душе продолжала попрежнему любить любовника.

Муж ее был не то безалаберен и придурковат, не то человек чересчур уж терпимый и уступчивый.

Во всяком случае он как будто не обращал никакого внимания на долгие и уединенные свидания его жены с Грядковым, равно как и не придавал особенного значения тому обстоятельству, что родившийся у них потом ребенок до подозрительности походил на его соперника.

Самому Грядкову ничто не мешало устроить семейную жизнь по-иному, но он не хотел даже и подумать о других женщинах, до того сильна была его привязанность к предмету первой страсти. Не считаясь со сплетнями и срамом, он, в конце-концов, и совсем переселился в избу к Аграфене. А ее «маланхоличный», как сам Грядков выразился, законный супруг как будто ничего против этого не имел, довольствуясь теми крохами «любви», которые выпадали на его долю.

Так прошло несколько лет. О разводе, не только хлопотливой и дорогой затее, но и страшной для деревенского жителя уже одной своей необычайностью, не думали ни Аграфена, ни Грядков. Бросить совсем своего мужа и поселиться отдельно тоже многое ей мешало. Привычка и халатность сделали свое дело, и мало-по-малу и они сами и окружающие перестали обращать внимание на странность связи. Правда, временами Грядков задумывался над своим положением.

— Не то муж. не то полюбившик... народна уже пару детей. посящих чужую фамилию... Жениться на другой он уж теперь не может, не только потому, что любит свою Аграфену, но еще и потому, что скомпрометирован в общественном мнении. Да и все счастье его как бы ворованное...

В минуту подобных размышлений он очень злился на свою «почетницу», которая законным браком с тем чудачком спутала все расчеты. Ничего попрежнему не предпринимая, Грядков искал утешения в водке.

Однажды по случаю храмового праздника в доме шла пирушка. Появлялись гости, пели, плясали, и, конечно, выпили. Грядков, чтобы не ронять престиж мужчины, не отставал от других и был даже нынче всех. Вдруг среди песен и шумных разговоров ему показалось, что гости смеются над его двусмысленным положением в доме, переминиваются и шушукаются по его адресу. С пьяных глаз показалось ему также, что муж его жены как-то особенно смотрит на него и делает знаки брюхатой Аграфене. После этого Аграфена вдруг (так ему причудилось) поднялась с места и придвинула к себе большой столовый нож.

Долго и постепенно накопившееся в Грядкове озлобление сразу вспыхнуло. В пьяной голове внезапно появились подозрения.

— Как! — подумал он, — из-за тебя я свою молодость потубил, ты меня совсем околдовала, из меня дурака сделала... а теперь еще резать меня хочешь!..

И, едва сознавая, что делает, Грядков схватил лежавший возле Аграфены нож и пырнул им прямо в огромный и угловатый живот беременной от него же женщины.

Вот за это-то ему дали 15 лет каторги.

Теперь Грядков невыносимо мучается. Раскаяние грызет и жжет его. Убил любимую женщину, загубил свою собственную жизнь, — а что будет с детьми, которых Аграфена от него же и родила?.. Свое преступление он, несомненно, давно уже выстрадал, выстрадал совершенно независимо от всяких причитаний и упреков родственников, независимо от следовательских допросов и прокурорских речей, независимо от судебного приговора. И те 15 лет каторги, которыми наградил его жаждущее возмездия общество, решительно ничего не составляют для него в смысле побуждения к раскаянию и исправлению. Формальное ли оправдание, год ли простой тюрьмы, или же бессрочная каторга — все это не имеет почти никакого отношения к той огненной буре, которую Грядков сам стал переживать в глубине души, как только протрезвился и с колючей очевидностью понял, что наделал...

О своем преступлении рассказывал мне сам Грядков, рассказывал в кругу собравшихся возле нар остальных жильцов камеры. Рассказывал он с глубочайшей серьезностью, надрылающимся от волнения голосом, порою останавливаясь и тяжело вздыхая. С мучительной болью переживая все происшедшее, Грядков как бы все больше углублялся в его роковой смысл и значение.

Интересно еще отметить отношение большинства остальных слушателей к отдельным эпизодам этой печальной повести. Над одураченным мужем Грядковой «почетницы» они издевались, со смехом вставляя реплики вроде:

— Вот дурак! Дергай бабу!.. Наяривай!.. Пусть он (т. е. законный муж) не будет такой малахольный!..

Самое Аграфену тоже ободряли, особенно за то, что ловко своп любовные даты облеживала:

— Одиав прискучит, под другим ляжет!.. И все шшто - крыто!.. Молодец бабочка!.. — раздавались голоса, между прочим весьма корыбавшие самого Грядкова своей неуместной насмешливостью и циничностью.

— Ну, а если б вапа жена кем-нибудь увлеклась, что бы вы с ней сдежали? — спросил и одного молодого крестьянина, который больше всех сынал репликам.

— Убил бы сволочь! — ответил он, не заминаясь и мгновенно делаясь серьезным.

— Почему так? — продолжал я, — ведь вы сами не прочь чужой бабой воспользоваться... Сами давеча рассказывали о таком случае...

— Я — другое дело!.. Раз плохо лежит!.. На то я и мужик, мужчина!.. А жена что: я на нее работай, а она мне в дом чужих детей приносить будет!.. Зврезал бы такую!..

* * *

Это было в Орле зимой 1915 года.

... Недавно у нас на прогулке появился совсем молоденький каторжанин, — на вид лет 19, не больше. Неуклюжий арестантский костюм, брюки с пришитыми вдоль обеих штанин пуговицами, и, особенно, капшала на ногах, как-то не подходили к этому краснощекому, с звонким голосом, наивной улыбкой и детскими манерами юноше.

К нам в одиночный корпус Федюшкин попал из общей камеры, где его вовлекли в картонную игру. Он уже успел проиграть семь рублей, которые обязался выплатить и несколько прямов выпечной продуктой. В последний раз игра «засыпалась», надзиратель избил его, а старший, по фамилии Коробка, дав ему вдогонку несколько подзатыльников, посадил его в одиночку.

Этот розовый и по-детски улыбающийся мальчишка ничем не напоминал «настоящего» уголовного, и, действительно, осужден он за убийство без ограбления.

Заинтересованный его делом, я в ближайший же раз при выходе на прогулку на несколько минут задержался в своей одиночке и на прогулке очутился в одной с ним паре.

— Расскажите, Федюшкин, что у вас за дело? — обратился я к нему шепотом, после того как мы сделали круг по прогулочному двору.

— А дело-то вот какое было!... — прозвенел словоохотливо Федюшкин и начал было рассказывать о своем деле, но его громкий голос и игнорирование некоторых мер предосторожности сейчас же обратил на нас внимание господина отделенного.

— Без разговоров!... Ходи, как следует!... Дистанцию держи!... Или быть может, в карцер захотел?! — закричал отделенный, багровея и делая такое злое лицо, как будто мы с Федюшкиным в самом деле совершили нечто ужасное и для него, надзирателя, лично оскорбительное.

Мы сейчас же замолчали, отошли друг от друга на расстояние протянутой руки и уже «как следует» продолжали прогулку по кругу. На этот раз нам так и не удалось поговорить. Но, к счастью, отделенный этот вскорости уехал в недельный отпуск, и, когда нас в течение нескольких дней выпускали на двор убирать снег, то приставленный к нам надзиратель, неопытный цовичек, не мешал нам с Федюшкиным вдоволь наговориться.

— Сам я здешний орловский, но с самого детства проживал в Екатеринославской губернии, — рассказывал Федюшкин; — там много наших, и когда я вырос, то стал работать в Шубинских рудниках в шахте номер первая. Жил там до 17 лет, работал в кузнице, хорошо

зарабатывал, с ребятами гулял. Весело было. Да. Захотелось повидать, наконец, родных. Прикопил денег и приехал. Проживал спокойно дома. Тут подходит Покров, праздник престольный у нас. Да. Я иду гулять с девками, а по-вашему, с барышнями. Выхожу на базар, встречаю знакомого, сел к нему на тарантас и играю себе на гармонии. Ну, ладно. Проезжаю мимо нашего дома, глядь, бежит какой-то человек, в солдатской одежде и кричит:

— Стой, ни с места!...

Я пляжу.

— Кто такой?—спрашиваю у товарища.

— А это,—говорит,—твоего отца брат, твой дядя, значит. Со службы в отпуск приехал. Смотри, наизалел, как стелька.

А он, дядя-то, и в самом деле пьян-пьянехонек.

— Тебе чего надо,—говорю я ему. А он:

— А ты что за... (тут пьяный солдат обозвал Федюшина словом женского рода крайне неприличным и обидным для мужского самолюбия).

— Мне очень прискорбно было слушать это, а здесь еще девушки. Да. Обида меня взяла. А сам я еще утром того-с (тут Федюшина за-жмурил правый глаз, щелкнул пальцем в шею и прищелкнул языком),—шнапс, значит.

— Ты чего?—говорю ему,—выражаешься?...

А он, хулиган, говорит:

— Я вас, таких мадавох, мало понимаю! Я,—говорит,—и не таких видал!...

Тут я еще больше рассерчал.

— Замолчи,—говорю,—свинья негодная!

Он меня хватил за грудь. Я слезываю с тарантаса, подхожу к нему и говорю:

— Дядя!

А он:—Чего?

— Зачем ты так выражаешься?—это я говорю.

А он:—Разве закажешь?

Я:—Конечно.

А он все держит меня за грудь и трясет так. А тут люди кругом, смотрят, думают, я трус. Да. А со мною револьвер был и кинжал, еще с рудников привез, там у хлопцов оружия много. Я тогда тихонько так расстегиваю пальто, достаю револьвер и вдаряю его в грудь... Он стоит. Я—в другой раз, и он упал... Потом он встал, прет на меня и опять обозвал нехорошим словом. Я тогда достаю кинжал и говорю мужикам:

— Вы, старики, видали, кто прав, кто виноват?

А им и интересно, думают—будет драка, потеха.

— А что же с ним ты делать станешь? — говорят и так посмеиваются. А я:

— А вот увидим, что со свиньями делают! — И давай его кинжалом вдарять в грудь. Ну и зарезал, на смерть, значит. С тем дело и кончилось.

— Ну, а дальше что? — спрашиваю я Федюшину.

А дальше вот что: я как понял, что случилось, сейчас же давай стрелять. Добежал до последнего дома и шмыг на сеновал. Полежал там маленько, вдруг кто-то хватил меня за ногу. Смотрю — урядник, и еще кто-то.

— Здесь кто? — спрашивают.

— Это я, Федюшин! — отвечаю.

— Ну, я вижу — у тебя кинжал, — говорит, — не полагается, отдай сюда!

— Я говорю: Кинжал всегда ношу с собою, а вам он на что?

— Как на что? — говорит урядник, — вот солдат убит, не ты ли это сделал?

— Ну, и душа из его вон, — говорю. — Лучше не трожьте меня, а то и вам плохо будет!...

С урядником был еще староста и сотский, они и стали о чем-то шептаться. А я опять кричу им сверху:

— Ну, подходи, кому жить неохота!...

Да. Тут урядник стащил меня и давай бить шапкой. Здорово отрубасил. Я влезал ему в руку, тут сотский меня так долбанул, что я аж перевернулся. Меня зло взяло. Я как вскочу, да как вцепившись в урядника, да как стал размахивать кинжалом, всего его порезал. Сбежался народ; менил, конечно, спалили, да в холодную. Потом в тюрьму. Да.

Приезжал следователь, потом меня таскали к доктору. Чрез месяц на комиссию, все доктора были. Комиссия меня осматривала, по груди царапала, в коленки вдаряла и смотрела в глаза. Потом стали записывать и все спрашивать, нет ли у нас в роду сумасшедших и как мол родители насчет воды. Ну, с тем и оставили.

Чрез полгода судили. Адвокат у меня был хороший, триста рублей заплатили, здо-о-рово говорил. Суд посоветался и дал мне всего десять лет, да за несовершеннолетие сбросил треть срока.

Эх, черт, не будь того урядника, я бы теперь на воле гулял, уехал бы в шубинские рудники — и делу бы конец... Вот, выйду на свободу, непременно урядника того зарезу...



— ...В баню, живо!... Не задерживайся!...—крикнул надзиратель, с шумом отрывая дверь одиночки. Схватив заранее приготовленную мочалку, полотенце и мыло, я спустился вниз, очутившись рядом с Еремеенко. Я давно уже искал случая сойтись с ним поближе.

Это был невысокий, лет 23 молодой человек, с белыми усами, небрежно свисающими в углах рта, и с выражением недоумения на лице. Ходил он так, как будто сади кто-то подталкивал его. Часто он оглядывался по сторонам ничем непонимающим взором, не то уставится в одну точку, смотрит, смотрит, потом вдруг встряхнется, покачает головой и начинает глядеть на всех таким взглядом, как будто он только что впервые их увидел. По всему ясно было, что он не успел еще ориентироваться, что внутри, в душе у него хаос и сумятица.

Наметавшись в арестантских физиономиях, я сразу определил, что этот хохлатого вида каторжник—не политический и не вор. Впоследствии мне удалось познакомиться с ним поближе и вызвать доверие к себе. В бане я оговорился с ним о способе переписки,—и в результате вот его коротенькая повесть о самом себе, присланная на маленьких листочках курительной махорочной бумаги.

.....

— ...Зовут меня Стефан Еремеенко. Сам я из Черниговской губернии, учился в родном селе Конашевке, Борзенского уезда, где окончил сельскохозяйственную школу. Лет 20 поступил садоводом в имение господ Завистовских, недалеко от станции Ливны, Орловской губернии. У этого помещика работала домашняя портниха Аннушка. Она была красивая, стройная такая, свежая и румяная. Как только ее глаза впервые остановились на мне, меня как будто кто ипшитком обдал. И весь отдался этим милым глазкам.

Скоро я с ней познакомился как следует. Она была сиротка, без отца и без матери, которые померли, когда ей было года три. Другие ее родные жили в городе. В это время ей было лет семнадцать, и мы полюбили друг друга. Через некоторое время мы решили вступить в законный брак. Дело было такое, что надо было спешить. Написал я домой начет метрического свидетельства, и, когда получил его, отправился в село Новотроицкое, недалеко от имения; там жил священник отец Алексей Покровский, который и должен был переписать нас.

Прихожу. Он принял меня в сенях. Я этому сначала удивился, но потом узнал, что он не пускал никого в дом вот уже 12 лет, после того как померла его супруга. Странный это был поп: молчаливый,

утрюмый и жадный на деньги,—об этом все кругом говорили. Вручаю я ему мое и Анпушки метрпческие свидетельства и даю полтора рубля задатку. Когда же он узнал, что я садовник, то просил притти в свободное время и посмотреть его цветы, что я и сделал дня через три. Был я у него после этого еще раза два. Последнее было роковое.

...Когда моя невеста поехала в Ливны сообщить своим родственникам, что она замуж выходит, то те очень настояли, чтоб венчанье происходило в ихнем городе, а не у нас в селе. С двумя женщинами, которые называются свахами, я поехал к Анпушкиным родным, чтобы, как говорят, их посмотреть и себя показать. Там же оковчательно решили, что венчаться мы будем в Ливнах, чтобы они могли присутствовать.

Нужно было, значит, забрать обратно у отца Алексея документы и деньги. Вот, часов в девять вечера я прибыл к нему в Новотропцкое. Он опять был в сенах и кормил свиней, которых было здесь штук двенадцать и которых он кормил сам, потому что не имел никакой прислуги. Загнавши свиней в сарай, мы отправились в столовую, где уже кипел самовар. За чаем я и сказал ему о цели своего прихода. Он мне ответил, что задатка в 1 р. 50 к. назад я не получу, а еще должен буду додать ему пять рублей, тогда только получу метрики.

— Это потому,—добавил он,—что уже сделаны оклики, оглашения и свидетели записаны в церковные книги.

— Ну, это не имеет никакого значения,—сказал я.

— Нет, имеет... Вы в этом деле ничего не понимаете!—начал он доказывать свое. Я давай опровергать это. Там у нас зашел спор очень крупный.

— Вы не так делаете, как священник, а как сребролюбивый Иуда!—начал я выражаться.

— А вы—дурак! невежа и дурак!—закричал он.

— А вы—жадная свинья!... —сказал я. — Все вы долгогривые—жадные свиньи!...

Он начал браниться, кричать, и я начал браниться и кричать. Оба мы так горячимся, а чай пить перестали еще на первом стакане. После этого я поднялся уходить и говорю:

— Ну, так завтра, паплатый чорт, ты мне принесешь все это в зубах, как носят собаки вещь своему хозяину!...

Когда я уже встал за ручку двери и сделал шаг за порог, отец Алексей толкнул меня в плечи и сказал:

— Уходи, свинья, уходи к чорту!...

Меня это заело. Я был гоюден и устал, ходил к нему со станции пешком верст 25. Скорее венчаться надо, дело и так затянулось, а тут

еще новая задержка. Я не вытерпел, что он меня толкнул, оборотился и ударил его кулаком в лицо со словами:

— У нас по-казацки не так дерутся, а вот как!...

Тогда он схватил меня за грудь, я его тоже, и пошла у нас хворменная драка. Тут же на столике лежал нож, я его схватил и, не глядя, что делаю, стал им размахивать. Он меня за руку, я вырвался и давай бить ножом по голове отца Покровского. Долго ли мы так дрались, не могу сказать, но когда я бросил и начал искать свою фуражку, то отец Алексей лежал уже на полу без движения. Лежит он так, а карман у него весь оттопырился. Я уже собрался улепетнуть, но тут вдруг вспомнил, как на селе у нас болтали, будто отец Покровский богат, и что деньги у него всегда дома лежат.

О таких вещах у меня раньше никогда и думки в голове не было, но тут вот его толстый карман напомнил мне эти слухи. Тогда, сам не зная почему, у меня в момент вскочила мысль забрать у него деньги. В комнате у него было пудов двадцать печеного хлеба, от которого шел сильный запах гнили. Я бросился к выходу, но когда опять посмотрел на этот несчастный карман, то сразу вырвал его из брюк, переложил из него деньги к себе и давай скорее бежать. Потом узнал, что забранных денег было всего 15 рублей с копейками.

Прибежал к себе в имение и забрал прямо в пустую баню. Тут на меня напал страх, я подумал: «что я наделал», и только переступил порог бани, как упал без чувств, даже не закрыл двери, а дело было зимой. Прележал как мертвец до самого утра, а на утро меня разбудил мой помощник, но я не помню, что я с ним говорил, и тотчас же полез на чердак бани и все еще не понимал, что это я делаю. Лег я там на соломенные щиты и опять уснул. Потом все это приснилось, и как будто яничего не было и не случилось, и я отправился пешком в Ливны, куда прибыл через восемь часов.

Часа в четыре после обеда кто-то пришел к священнику ребеньга крестить, а он лежит мертвый. Далл знать в экономя, сделался шум, приехал урядник. Подозрение сразу пало на меня. Послали двух верховых в Ливны, где меня и задержали и доставили в полицию. Эх, теперь вижу, как легко я мог сбиться, но что ж, если б я занимался такими делами, а то я ничего не понимал, да и по правде вам сказать, у меня все время в голове туман стоял.

На первом же допросе я во всем сознался и рассказал все чисто, как было. Потом уже на суде я узнал, что отец Алексей умер не через меня, а от разрыва сердца, с испугу, что ли, или от волнения—так признал доктор. Да и старик он был уже. Наяес я ему девятнадцать ран на верхних конечностях тела, но не смертельных, а легких, так царяины одни.

Это было 9 октября, а пока меня судили в последний раз, прошло два года с месяцем. В первый раз дело отложили, чтобы испытать мое душевное здоровье. Защитник Черняковский доказывал, что я был невменяемый, 27 июня меня осматривала комиссия в слепком окружном суде. Она признала, что я не психический, а только действовал в раздражении и запальчивости.

9 ноября 1913 года назначен был новый суд. Защитник был тоже назначен, только барон Врайгель, и так себе, плоховатый.

Против меня не было ни одного свидетеля, а все свидетели из имения говорили про меня только одно хорошее. Прокурор Евреиннов говорил долго и все доказывал, будто я вступил так со священником с заранее обдуманном намерением и с целью грабежа. Я смотрю на этого прокурора и все думаю: «зачем это он брешет, что я ему такого сделал, что он старается меня закопать?...» Присяжные вынесли обвинительный вердикт: да, виновен во всем этом, но заслуживает снисхождения. Но суд с своей стороны не дал снисхождения, а дал мне срок в 20 лет по 4 пункту 1453 статьи.

Да, дурак я был: если бы я не оставил на месте вырванный карман, никто бы и не узнал, что я ограбил отца Покровского и 15 рублей забрал. Сам суд узнал про это только из моих чистосердечных показаний. Вот и вляпался: пошел и пошу за метриками, а ушел с каторгой.

Но лихо изведга не приходит одно. Когда я сидел в ливенском полицейском правлении, ко мне пустили на свиданку мою невесту Анну, которой были первые слова:

— Степа, тебя ли я вижу за железной решеткой правосудия?...

Я вам, товарищи, должен сознаться, что она была уже от меня в тяжелом положении. Потому-то и торопился повенчаться. И вот она теперь плачет и говорит:

— Что мне делать, что мне делать?... Куда мне теперь мою головку девать?... Степа, что со мной будет?...

Эх, горе! Поговорили мы с ней и решили, чтоб она приехала к моей мамаше. Я тут же написал ей письмо, в этом письме описал все случившееся несчастье и просил мамашу принять сострадательно эту несчастную девушку, как родную дочь, которую я сильно любил и которая должна ей скоро принести первого внука. Тут мы с Анной и расстались.

Но вот через месяц, когда я уже сидел в слепкой тюрьме, я получаю от ее брата письмо, где он пишет, что Анна на днях вышла замуж за помощника машиниста, что выходила из-под неволи, даже с сильными побоями от дяди и тетки. Но в это еще не все. Накануне суда приехал ко мне брат Луза и передает, что Анна убежала от мужа

лесте с ребенком, которого она родила весной после венчания с этим машинистом. Муж возненавидел ее, стал каждый день бить и прогонять и называть ребенка байстрюком и сыном каторжного разбойника.

Где теперь Анна и что случилось с новорожденным мальчиком, и чем она кормится—я ничего не знаю. Никто мне не пишет и что у нас дома делается, я тоже не знаю. Теперь я отрезанный ломоть и должен здесь пропадать»

* * *

Таими словами заканчивается краткая автобиография Еремеевко.

Однажды в глухую зимнюю полночь, когда весь корпус погружен был в сон, в 128 одиночке, в которой находился Еремеевко, что-то произошло. Надзиратель поднял тревогу, вызвал телефон, прибежал дежурный фельдшер, и Еремеевко сейчас же отнесли в больницу. Что с ним было, я не мог узнать. Одни говорили, что его сняли с петли, другие, что у него вдруг кровь пошла из горла. Так или иначе, но дня через два я узнал, что Еремеевко похоронили вместе с четырьмя другими арестантами, умершими в тот день.

...Конечно, было бы очень несправедливо делать обобщения и на основании сурового приговора над Стефаном Еремеевко приходить к заключению, что всегда и везде судьи наши в таких случаях так поступают. Нет! Бывало, конечно, иначе.

В наше время, когда дело идет о безработном мастеровом, ограбившем винную лавку, или о каком-нибудь юнце, захваченном эпидемией экспроприаций и пошедшем на «экс», думая при этом, что совершает подвиг во имя идеи,—слоном везде, где дело пахнет покушением на основы теперешних экономических (а также и политических) порядков, судьи так и сыплют суровыми приговорами ¹⁾.

Зато эти же судьи оказываются очень чуткими, милостивыми, обнаруживают много понимания и снисходительности там, где речь идет о лицах из их собственного круга, там, где им понятны и близки мотивы преступления. В этом отношении любопытна история одного дворянчика, убившего мать. Мне о нем рассказывали товарищи, сидевшие с ним впоследствии в Александровском центре ²⁾.

Дело было зимой 1908 года в час ночи. Героем преступления является гвардейский офицер, поручик Ивков. Кутила и картежник, прожигатель родительских капиталов, он до того запутался, что уни-

¹⁾ Писано в 1916 г. Речь идет о периоде 1906—1914 г. г.

²⁾ Просматривая уже на воле журнал «Право» за 1909 г. (№ 45), я нашел подробное изложение этого судебного процесса.

жался до денежных займов у рестораниного официанта. Чтобы воссоздать репутацию и упрочить свое положение в глазах товарищей по полку, Ивков готов был пуститься во все тяжкие, и в одном своем письме прямо заявил, что, «если он не достанет денег, то убьет, украдет, а все-таки добьется своего».

Привыкнув еще с военного училища жить не по средствам, Ивков наделал много долгов, постоянно требовал у матери больших сумм денег, но все, что могла дать мать, не удовлетворяло юного гвардейца. Особенно большими были его траты за последний год, когда он, по протекции, был прикомандирован к гвардейскому полку и проходил «испытание». В конце-концов, у Ивкова образовались долги, часть которых требовала немедленного погашения, иначе ему грозил «суд чести» и исключение из полка. Между тем мать, исчерпав все возможности, нигде не могла достать денег.

Что именно произошло в ту роковую ночь между Ивковым и его матерью неизвестно, но, возвращаясь с нею домой, он выстрелил в нее из браунинга в затылок в тот момент, когда она, стоя у парадного хода, позвонила прислуге. После этого Ивков сделал несколько добавочных выстрелов в воздух и прострелил рукав пальто, легко ранив себя в руку.

Будучи арестован, Ивков заявил следователю, будто в него стрелял неизвестный молодой человек, «вероятно, член какой-нибудь революционной организации», от каковых он и офицеры его полка получали, мол, и письма со смертными приговорами за участие в карательных экспедициях. Мнимый революционер в фуражке ученика средне-учебного заведения, будто, был им ранен и с криком: «ай, ай» скрылся.

На суде, однако, вся эта фантастика опровергалась как показаниями свидетелей, так и заключением медиков - экспертов.

Казалось бы, что, в сравнении с Ивковым, наш Еремеевко сущий ангел. Но смотрите:

Суд, хотя и признает его, согласно вердикту присяжных заседателей, виновным, но дает ему всего 12 лет каторги. Сидел Ивков до суда не целых два года, а только десять месяцев, защищал его не казенный адвокат «так себе, плоховатый», а сам светило адвокатского мира, присяжный поверенный Карабчевский, который с усердием и пафосом, напрягая все свое умение и весь свой талант, обещая несомненного повода, внушал суду, что «дело это настолько серьезное, что каждый пыльник, каждый волосок не должны оставаться без рассмотрения и разбор их должен сопровождаться величайшей осторожностью и заботливостью».

Там Еремеевко, 22-летний деревенский парень стоит перед судьями. как затравленный и окруженный недругами, один-одинешенек, и потом доходит до такого отчаяния, что кончает самоубийством, а тут присяжные заседатели признают Ивкова, хотя и виновным в убийстве матери, но заслуживающим снисхождения и просят суд передать их ходатайство пред царем *о полном помиловании преступника...*

При мотивации ходатайства произошел такой диалог:

— Дурное воспитание. — говорит кто-то из присяжных заседателей.

— Легкомыслие, — говорит другой.

— Может быть, *военные заслуги*, — подсказывает им услужливый председательствующий, очевидно намекая на участие Ивкова в карательных против революционеров экспедициях.

— Да, и военные заслуги...

— Стесненные обстоятельства... понятия среды... раздаются еще голоса.

Суд постановил представить ходатайство присяжных заседателей через министра юстиции на благоволение государя императора.

И не знаю, что стало потом с Ивковым, но навряд ли у него будет такой конец, какой постиг Еремеевко, не говоря уже о несчастной Анне с ребенком, которых неизвестно какая судьба впереди ожидает.

Да, «суд скорый, равный и милостивый»...

Два «турна».

«Турками» орловские надзиратели называли всех без различия кавказцев, особенно тех из них, кто не умел говорить по-русски. Очень слабые по части этнографии, наши дядьки смешивали в одно грузин и татар, армян и лезгинов, чеченцев и сартов.

— Эй, турок, кипыиш, так и так твою!... — обыкновенно приговаривал надзиратель, обращаясь к закавказскому или закаспийскому аборигену.

В Орловский централ их присылали целыми сотнями. Вообще же каторжан Кавказ доставлял целые тысячи; не удивительно, что выходцы из этой окраины попадали чуть ли не во все каторжные тюрьмы, — вплоть до сибирских. Непривычный для них климат, грубая пища с черным хлебом, которого они не знали на родине, и в особенности суровое обращение уводили их в могилу массамп. Попадая в централ из векультурной и примитивной Азии, эти инородцы сразу приходят в соприкосновение с совершенно чуждыми им условиями быта, с чужими для них людьми, с обязанностями, которых они не понимают, с запрещениями, в которых они не привыкли. Все это сбивает их с толку, давит. Они сразу теряют душевное равновесие и начинают испытывать хроническое беспокойство.

— Вот так история! — Не мог я удержаться от восклицания, когда увидел входящего ко мне в одиночку каторжанина, по всем видимостям, похожего на такого именно «турка». За несколько минут до этого от меня неожиданно увел с.р. Фельдмана, и я немало беспокоился, гадая о том, кого судьба пошлет в сожители: в виду переполнения тюрьмы в каждой одиночке сидело, большей частью, по два человека.

Вошел старик лет за пятьдесят, высокый, худощавый, жилистый, с тонким с горбинкой носом и тускло-черными глазами. Устроил свои скудные пожитки, связал в круг и поставил в угол одиночки матрац, — толстый мешок с соломой — и помаленьку разговорился: в отличие от 99% остальных «турок» этот недурно говорил по-русски. Мы потом сошлись с ним на короткую ногу.

— Я — Камбар Джафар-Оглы... Я обратник... стар арестант... — заявил он с самого начала.

«Обратниками» называются арестанты, побывавшие в каторге, бежавшие оттуда и вновь пойманные.

Действительно, Камбар Джафар еще в девятых годах сослан был в Сибирь за разбойные нападения. Каторгу он отбывал в алтаинском остроге. Несколько царских манифестов (в то время, до революции применявшихся не к меньшинству, как потом, а к большинству заключенных) значительно сократили срок, и он вышел на поселение. Оставалось немного времени, чтобы получить крестьянский паспорт и право повсеместного жительства; но он не выдержал разлуки с родными и с той непрактичностью и скоропалительностью, которая иногда проявляется даже у практичных и осторожных арестантов, Джафар бежал с поселения.

По профессии Камбар Джафар разбойник и занимался он, главным образом, ограблением караванов и купцов, отбиванием стад скота и т. п. Приехав домой, хотя и потрепанный каторгой и ссылкой, он первым делом женился на девушке, которой годился в отцы. Снова принявшись за прежнее ремесло, Камбар Джафар, в качестве предводителя большой разбойничьей шайки, делал довольно хорошие дела. На кочевке у него никогда не переводились бараны, а в палатке всегда было изобилие ковров, ценного оружия, дорогой одежды.

— Эх, брат, приезжай к нам... — заканчивал Джафар каждый раз повествование о своем житье-бытье до последнего ареста. — У нас хорошо... рису много... винограду много... кишмишу много... мерлушек много... Вода хорошая... ключевая... бабы хорошие... — продолжал он, прижимая глаза и как-то особенно улыбаясь: — а надоела какая, вишь, брат, развод, другую берн... Семь жен у нас иметь можно...

— Это у магометан-то? — переспрашиваю я. — А вот у турецкого султана не семь, а, может, семьдесят жен...

— Эх, какой ты умный... — отвечает мне Камбар Джафар с полупрезрительной, полуснисходительной улыбкой: — Квижи читаешь, а ничего не понимаешь... «Турецкий султан»... У турецкого султана *харчей* много, оттого и баб много...

С деревенским начальством Джафар был в превосходных отношениях, — оно получало от него порядочный бакшиш. Все его разбойные похождения, особенно те, которые он совершал на границах Персии и Турции, легко сходили с рук. Однако после того, как в другом уезде, далеко от родного селения, Камбар совершил нападение с убийством, он был арестован. Тут же выяснилось, что он бывший каторжанин, бежавший с поселения.

Дело, за которое Джафар теперь осужден, заключается в следующем. Он должен был сто рублей купца, с которым был в ссоре и про которого знал, что у него должны быть большие на местный масштаб деньги. Сгноившись с двумя приятелями, Джафар подстерег купца ночью в поле, отобрал кошелек с деньгами, револьвер и золотые часы, а самого купца придушил и повесил на дереве. Через несколько дней один из участников этого убийства был взят по подозрению. В полиции его жестоко избивли и добились выдачи сообщников. Вся эта компания находится сейчас в центральном. Камбар Джафар получил двадцать лет каторги, а те двое — по пятнадцати.

Глядя на этих на вид столь робких и забытых людей, безропотно выносивших здесь и побои и издевательства, как-то не верится, что это и есть герои разбойничьих походов и отчаянных по выполнению убийств.

С особенностями орловского режима Камбар Джафар познакомился в первый же день. Как водится, его прямо с этапа посадили в одиночку.

Тюрьма отстоит от вокзала на большом расстоянии, причем в одном месте приходится подниматься по довольно крутой горе. Устав с дороги (старик к тому же был в волочных кандалах) и никогда в жизни не сидевший в одиночке, Джафар, не видя в этом ничего преступного, прикурился на скамейке, положив голову на железный столик. Надзиратель, одна из обязанностей которого рассказывать по коридору да поглядывать в глазок, заглянул в одиночку Камбара. Но этот, вместо того, чтоб немедленно вскочить, стать во фронт и стоять, держа руки по швам до тех пор, пока волчок не закроется, продолжал сидеть с опущенной головой и закрытыми глазами.

— Ты чего это, сволочь, спишь!.. Так и так твою!.. — закричал на него надзиратель, открывая форточку. — Разве днем полагается... Ах, старый порт, поди-ка у меня...

Услышав этот разговор, отделенный поднялся наверх и несколькими ударами в лицо и в бок подтвердил опешившему старику, что днем спать, действительно, не полагается.

Камбар Джафар, когда рассказывал об этом, весь трясся от негодования.

— За что ж это?.. Скажи, брат, за что он меня побил?.. — повторял он несколько раз.

В утешенье я мог только оказать ему, что из 1200 арестантов централа редко кто не испробовал надзирательских кулаков.

Не меньше обидело моего сожителя и отношение к нему тюремного доктора Рыжковского. У старика катар желудка, а сырой, плохо выпеченный, тяжелый, как свинец, черный хлеб да обед, состоявший

из горячей водички с капусткой и двумя миниатюрными кусочками бычачьего уха или коровьей губы, только расстраивали его. Сидя со мною, Джафар лишь изредка брал баланду, ограничиваясь чаем да тем, что я давал ему из своих припасов. Он просил перевода в больницу или хотя бы выдачи больничной пищи в одиночку.

— Больничная пища в камеру не полагается...— ответил ему доктор,— а в больницу возьмем тебя, когда с места не встанешь. Попля! Ступай!..

Вместо улучшенной пиши, фельдшер выдал ему бутылочку с аппетитными каплями, которые Джафар, вдыхая и ругаясь, тотчас же выпил в парашку.

— Ох, я здесь помираю!..— жаловался он неоднократно. — Не буду я уже в Эривани, не увижу больше ни Фатмы, ни Сайгак, ни Али, — горевал он, имея в виду свою молоденькую жену, дочку и сына.

Весьма возможно, даже несомненно, что в *прежние времена*, находясь в какой-нибудь сибирской тюрьме, Камбар Джафар не сидел бы со своим большим желудком на одной арестантской баланде. Как это ни странно, но в *прежние времена*, до того, что каторга стала пересполняться политическими и экспроприаторами, высшее начальство относилось ко всем арестантам без особой мстительности; а тюремным докторам не возбранялось относиться к ним по-человечески. По своему праву нации уголовные профессионалы и рецидивисты, когда утверждают, что после революции жизнь в тюрьмах стала гораздо хуже.

Зато и попадало же от Джафара нашему эскулапу. Впрочем, о современной медицине, и в особенности о русских врачах, Камбар вообще был невысокого мнения.

— Русский дохтур ни х... (ничего) не понимает, — так заканчивал он каждый раз свои воспоминания о них, особенно, когда речь шла о хирургической операции. — Нога сломалъ, рука сломалъ, живот сломалъ, — а русский дохтур сейчас резить, ре-зи-ть...

При этом слово «резать» Джафар произносил с наглядным жестом и с непередаваемым презрением в голосе. Зато сам он не прочь прибегнуть к таким средствам лечения, которые навряд ли одобрит любой и не «русский дохтур». Так, однажды, жалуюсь на сильную боль в животе, Камбар, недолго думая, хватает лампу, выливает в стакан весь керосин и залпом выпивает его.

Как уже сказано, по своей профессии Джафар — разбойник. Но промышлял он разбоями не одной только выгоды ради, по также и из-за любви к этому опасному искусству.

Здесь чувствовал он себя на месте; что-нибудь другое навряд ли удовлетворяло бы его. Притом он исходил из странного

убеждения, что профессия его не заключает в себе ничего предосудительного:

— Один человек занимается этим, другой тем; один пахнет землей, другой торгует, третий разбойничает, четвертый судит. Все это просто, понятно, неизбежно... С древнейших времен уж так водится...

О своих похождениях Камбар часто любил рассказывать; при этом он очень далек был от хвастовства и преувеличений, так же, как не скрывал своих промахов и ошибок. Когда он бывало перебирал вслух свое прошлое, он преображался. Старчески-тусклые глаза загорались юношеским блеском. Весь он выпрямлялся, становился тоньше и стройней. Прищурит один глаз, приложит к плечу швабру, изображающую его дорогую, обитую чеканным серебром «турецки виндог» (т.-е. турецкую винтовку), и показывает, как он, бывало, отстреливался от погони.

В стычках с конной полицией он проявлял необыкновенную смелость и находчивость. Так однажды на периодической границе его преследовали шесть стражников. Находясь в голой степи и предвидя неминуемую гибель, Джафар, заметив в поле большой камень, притупился за ним и поочередно, одного за другим, уложил из своего хваленного турецкого «виндога» всех шестерых.

— А зачем вы такими делами занимаетесь? — спросил я, желая вызвать его на разговор: — Ведь нехорошо быть разбойником... грабить и убивать... людей...

— Кушать надо, — отвечает он коротко и энергично.

— Работать надо, — возражаю я в тон.

— Эх, брат, работай будишь, бедный будишь, только три мерлушки иметь будешь... — следует его ответ.

— Ну, вот, — не унимаюсь я, — представьте, что у вас всего три мерлушки, а приходит разбойник и отнимает их... хорошо ли это будет, скажите...

— А нехай отнимай, — отвечает Камбар Джафар со спокойствием и невозмутимостью в голосе. — Он у меня три мерлушки отнимайт, а я у него потом десять отберу. Нехай возьмет, я не боюсь...

«Принципиальной» постановки вопроса Камбар Джафар никак не мог усвоить.

Для Камбара Джафара убийство человека это просто — телодвижение, простой жест. Я удивлялся, с каким спокойствием и хладнокровием он рассказывал о том, как убивал (или «резать» как он выражается) сопротивлявшихся купцов, пастухов или доносчиков. Вообще, слово «резать» имеет у него всеобъемлющее значение. Если иначе нельзя кого-либо ограбить или если кто тебя обидел, то его

надо «резать»... Жену, если она изменит, надо «резать». Армян всех надо «резать»...

— А армян почему резать надо? — удивляюсь я.

— А потому, что работать не хотят, все торгуют, все торгуют... Они людей обманывают... а потом хотят еще царя убить и своего поставит... Тогда всем магометанам беда будет...

— Вот ерунда! Кто это вам сказал? 53 года вам, а такой глупости поверили!... — пробую я разуверить его.

— Как это: кто сказал? — возражает Камбар с легкой обидой в голосе. — Я сам от старшины слышал... Русский царь разрешил три дня грабить армян и убивать. Ну и «резали же мы этих армян»...

Тут Джафар с увлечением начинает рассказывать, как у них в Эриванской губернии нафанатизированные и натравленные орды туземцев расправлялись с армянами.

Русский разбойник, вообще говоря, настроен очень анти-монархически, вообще анти-правительственно, но Камбар Джафар, хотя инородец, мусульманин, к удивлению моему, обнаружил совсем другие симпатии.

— Эх, ты, политический, — говаривал он часто: — зачем царя не любишь?!. Что он тебе делал?!. Нехорошо, брат. Грех... Большой грех...

Теперешними тюремными порядками Камбар Джафар положительно недоволен. То ли дело раньше в Сибири... В Алгачах, например, где он отбывал срок, арестанты с утрешней до вечерней проверки находились на дворе, на свежем воздухе; на кухне могли варить все, что угодно, лишь бы деньги были; в свиданиях, выпаске и переписке не было таких ограничений и строгостей, как теперь; пожилых калечат никто не носил, — лежали они себе под нарами и только, когда приходило высшее начальство, их надевали, употребляя даже веревочки вместо железных заклепок. Иные в тюрьме же печатали фальшивые деньги. А что до работы, то работа в рудниках или корчевка леса вовсе уж не была такая тяжелая и хорошо оплачивалась. Если и гнали на Амурскую колесную дорогу, то не везде и не всем было так уж плохо: ему лично, например, жилось даже довольно хорошо, — так идеализировал он прошлое.

— А теперь, что это за жизнь, что это за работа!... — указывал Джафар с презрением на вашу работу, на соломенные колпаки для бутылок, на шитье которых можно было зарабатывать целых семь-восемь копеек в месяц... — У нас и бабы это делать не станут!... — ворчал он: — тоже каторжная работа называется...

Но лучше всего он отзывался о турецких тюрьмах; персидские — в которых ему тоже приходилось сидеть, не нравились ему. В турец-

кой тюрьме порядки совсем особенные. Там можно, в сопровождении надзирателя, ходить на базар и самому покупать все, что надо, даже барана и мерлушку. По большим праздникам давалась амнистия и сокращение срока. По утрам, как только встанешь, надзиратель сейчас же кричит громким голосом, обходя все камеры:

— Эй, кого ночью чорт обманул... Воду забирай, не то хлеба не получишь!

Жили мы очень дружно. Я его насколько мог подкармливал, подбадривал. Скоро по прибытии он несколько оживился от умиления и перестал причитывать и охать. Когда же бывал в соответствующем настроении, то напевал ужасно монотонную и безнотную песенку, причем слова тут же сочинял. Станет у окна или сядет на сомнительный мешок и начнет музицировать и импровизировать на тему о том, например, что вот там птичка летит... там девки на огороде работают... вот надзиратель на кого-то кричит... арестант плачет... я книгу читаю... вину обед раздают... отделенный обещал ему, Джафору, новые коты выдать... скоро сестра письмо ему пришлет... а царь свободу в тринадцатом году даст... и т. п. Все это поет старческим дребезжащим голосом, то и дело следя за тем, не подкрадывается ли надзиратель и не услышит ли его певно через волчек.

Когда Камбар Джафара переводили в общий корпус, я отдал ему сахар и пару фунтов баранок. Обещал также послать от его имени письмо его сестре и жене. Камбар долго и с чувством тряс мою руку и все приговаривал:

— Ты мой брат, ты мой отец, ты моя мать, ты моя сестра, ты мой сын, ты моя дочь... Никогда тебя не забуду... к нам в Эривань... Самую лучшую мерлушку для тебя зарежу... кипятищем утоплю... белым чаем напою... винограду сколько хочешь... Ты мой сын, ты мой брат и т. д.

После этого я Камбара Джафара больше не видел. Все свои надежды он возлагал на предстоящий манифест 21 февраля 1913 года. Но скидки он так и не получил, — статья не подходила. Имел 52 года от роду, расшатанный организм и непочатых еще 19 лет каторги — это может свести в могилу не одного только Джафара. Недаром он все причитывал:

— Не видеть мне больше Фатымы и маленького Али. Ох, и здесь помирайть...

* * *

Летом 1912 года этапы приходили почти каждые три-четыре дня, так что в одиночном корпусе происходила постоянная перетасовка: одних уводили в общий корпус, других пересаживали в другие оди-

точки, а ваторжан, почти не уходивших из одиночек, заново комбинировали и группировали. Поэтому я и не удивился, когда дня через два после ухода Джафара ко мне посадили другого каторжанина, тоже «турка».

— Сюда... Стой!..—услышал я голос отделенного, остановившегося у дверей камеры. Открылась дверь, раздалось обычное «смир-и-о», и на пороге появился черный как жук арестант в кандалах и с сумкой в одной и матрацем в другой руках.

— Принимай гостя!..—крикнул отделенный и запер дверь.

— Ну, что ж, здравствуйте!..—сказал я «гостю».—Устраивайтесь!..

Я подаю ему руку и жестом указал на стульчак парашки, приглашая положить туда на время вещи. Тот с недоумением посмотрел на меня, что-то забормотал на неизвестном языке, подумал и, осклабившись, неуклюже всунул мне свою большую, очень твердую, всю в волосах, плотную и с длинными грязными ногтями руку.

— Как вас зовут?.. На сколько вы осуждены?..—продолжал я. Но в ответ тот только показывает крупные и неровные желтоватые зубы и качает головой: дескать, не понимаю вопроса. Я указываю на кандалы, делаю знаки пальцами и спрашиваю:

— Срок-то у вас какой?

— А-а! сароку?!—Питвасит!—т.е. он имеет срок каторги в 15 лет. Кое-как я узнал от него еще, что он из «Эриван-губерна», и что зовут его *Али-Гусейн*. Хотел было я еще узнать, за что ему дали эти 15 лет каторги, но кроме, слов:

— Отець вар?.. — да частых восклицаний вроде: — «Напрасно!.. На-а-прасно! Алла! Бох! Напрасно!..»—кроме этих слов, сопровождавшихся оживленными жестами и вращениями желтоватых белков, я ничего не мог добиться.

Лишь впоследствии, когда я разговорился в бане с товарищем, пришедшим вместе с ним из Тифлиса, я узнал, что Али, такой скромный и смиренный на вид, осужден за убийство родного отца. Рассказывавший об этом арестант долго сидел с Али в одной камере и уверял, что в этом преступлении Али вовсе не виновен, что 15 лет каторги ему дали *напрасно*, что все дело подстроила мачеха, которая вместе со своим будущим мужем и отравила на тот свет надоевшего старика. Вину ей удалось взвалить на робкого и забитого пасынка. Слова его «*Отець вар?*», с которыми Али часто обращался ко мне — означали: «*есть у меня отец?*» — очевидно, мысль об отце не выходила у него из головы.

Вполне возможно, что Али-Гусейн, действительно, невинно осужденный. Положение инородца, ни слова не знающего по-русски, до

нелепости сверху, когда ему приходится у себя же дома предстать пред чуждым ему парским правосудием. Для казенных судей, присылаемых из чужих местностей, вовсе не обязательно знать язык и нравы того населения, над которым они будут чинить суд и расправу. Вся следственная и судебная процедура ведется через переводчика, который, в сущности, и решает дело. Представляю себе, сколько совершенно невинных или не по действительной заслуге наказанных найдется среди всех этих грузин, чеченцев, сартов, армян и т. д.

Устроив Али-Гусейна, я попробовал вклиниться в курс здешних распоряжков и правил.

Жестами я объяснил ему, как надо натирать пол, который *«должен блестеть, как зеркало»*; как чистить медную посуду, которая *«должна гореть, как огонь»*, как по звонку открывать и закрывать окна и т. п.

* * *

Однако, мне сейчас же пришлось раскаяться. Имея в прошлом дело разве что с быками да с сохой, этот неуклюжий и громоздкий человек, своими огромными ножницами, обутыми в боты с толстыми, широкими гвоздями, так усердно принялся за дело, что сейчас же стер лоск с асфальтового пола, с таким трудом мною наведенный; медную же посуду он только вдавливал своими корявыми, железными пальцами.

Мне только и осталось, что усадить его на прикрепленную к стене скамейку и самому привести все в порядок. Тут же я растолковал ему, что за чистотой камеры я сам буду следить, а он пусть только не мешает.

— Яхчи, яхчи! — отвечал он, скаля зубы и жестикулируя. За это он в тот же день угостил меня чаем. Видя, что я пью один эппляток, Али взял грязными пальцами из еще более грязного мешочка несколько щепоток чаю и со словами:

— Поджалуста! куш, куш!.. — сопровождавшимся гримасами и вращением белков, прямо всыпал его в чайник. Чтобы не обидеть его, пришлось выпить эту грязную бурду.

Вообще, Али во многом напоминал дикаря. Мыла, например, он совсем не признает. Я разделил на две части кусок серого мыла; один из них отдал ему и говорю:

— Вот будете этим умываться...

А он посмотрел, сделал гримасу, что-то пробормотал и, хотя своего мыла у него совсем не было, тем не менее за все время ни разу до него не дотрогивался. Лицо и руки у него были всегда до-нельзя

грязные. Портяпок, насквозь пропотевших и проонявших, он, лежась спать, совсем не снимал. Также не спинал на ночь шапки и кожаных подкандальников. Ночью ужасно храпел, с переливами и перекатами, захлебываясь и мурлыча. Днем же так и не сходил с места, глядя безразлично в одну точку, чем производил впечатление предмета, быть может, и одушевленного, но навряд ли мыслящего...

Когда же я жестами объяснял, как надо следить за порядком в камере, Али-Гусейн указывал на свои щеки и спину, как бы желая сказать, что за эту самую науку отделенный много раз был его. Да я и сам видел и слышал это, так как до перехода ко мне, Али-Гусейн сидел как раз насупротив моей одиночки. Особенно ему попадало за «окна» и за «здоровья желаю».

При начальнике Синайском окна открывались и запирались летом не тогда, когда арестанту захочется, а когда господину надзирателю угодно будет дать соответствующий сигнальный звонок. Обыкновенно, утром, во время уборки раздавался звонок, по которому мгновенно открывались окна во всех одиночках (180) корпуса. Минут через 10 раздавался второй звонок, означавший приказание закрыть окна. Потом, перед обедом — опять звонок, открыть окна, и затем, новый звонок — закрыть их. Иной раз вдруг приказание: всю ночь держать окна открытыми; а если кто-нибудь из чахоточных, а тем паче и здоровых каторжан не сделает этого, то немедленно следовали ругань, похабная брань и угрозы карпером. Бывало и наоборот: в душный вечер, когда задыхаешься вдвоем в маленькой камерке, под железной крышней, накаленной солнцем, без разрешения надзирателя не смей открыть хотя бы одну из двух-оконных рам.

Кроме звонков, означавших подобные приказания, были еще следующие регулярные звонки: 1) в три и три четверти утра — вставать и убирать койки; 2) спустя минут двадцать — становиться на поверку; 3) перед обедом приостановить заготовку соломенных колачков для винных бутылок, — работа, которая давалась нам в то время; 4) то же самое перед ужином; 5) становиться на вечернюю поверку; 6) ложиться спать; 7) часов в 9 вечера зажечь лампу; 8) часа в два или три ночи — встать с постели и тушить ее, потом — в четыре часа утра новый звонок — встать с койки и т. д.

Разобраться во всех этих регулярных и нерегулярных звонках для непривычного человека, вещь трудная. После каждого из этих многочисленных сигналов дежурные надзиратели обходили глазами одиночных камер, и если кто не так быстро исполнил, что «подагается» по данному звонку, то немедленно следовали любезности, вроде:

— Ах, ты, сволочь, так и так твою...—звонюк слышал? Или хочешь, чтоб я тебе морду набил!.. Сукни сын, бродяга!..

Особенно плохо приходилось извержкам вроде Али. Такой несчастный только что пришел с этапа; он еще не успел освоиться с премудростями и распоряжениями Синайского и его сподвижников, как его оглушают уже криками и бранью.

Всякому приходилось читать о природных качествах русского простоянина, о его добродушии и кезлобливости. Но каким черствым и жестоким человеком надо быть, чтобы избивать вот за такие «проступки» взрослого и без того несчастного человека, *к тому же ни слова не понимающего по-русски!*..

Однажды в субботу вечером, когда обыкновенно приходили этапы с юга, я слышу, как надзиратель Андреев ходил из камеры в камеру и с отерзательной руганью раздавал новопривывшим пощечины и тумаки.

— Ты как стоишь, — и слышался его визгливый голос — стань на место, так и так твою... А ты, чего ланку не снял?.. Сволочь!..

Я недоумевал:

— Наверно боевые ребята пришли, не хотят сразу подчиниться режиму... — строю я вслух предположение. Потом оказалось, дело обстояло проще и пресачнее: то пришел этап с грузинками, для которых не только орловские порядки, но и сама русская речь была вещь недоступная.

Али-Гусейн в первое время тоже никак не понимал, почему, например, нельзя открыть окно, когда в камере так жарко и душно, тем более, что его, как и каждого новопривывшего, вот уже скоро месяц, как не выпускают на прогулку... Ему сейчас же это втолковали посредством кулаков.

Еще больше попадало ему за неумение *«здороваться как следует»*.

Известно, сколько труда и энергии положило Главное Тюремное Управление на то, чтобы привить арестантам нравла казарменного почитания. При этом, когда инспекторами были ученые юристы фон-Кубе и Сербинов, а начальниками Мадеевич и Синайский, строжайше *запрещалось* отвечать на вопросы словами: «да», «нет», а только: «так точно», «никак нет», «не могу знать», «чего позволите»...

Али-Гусейн, разумеется, не мог сразу усвоить всю эту паку. Открывается, например, дверь, на пороге появляется отделенный Богомолон или Вышинх. Дежурный надзиратель громко на весь коридор орет:

— Смерна!..

— Здорово! — кричит отделенный.

Али, полагая, что это его спрашивают, здоров ли он, и польщенный таким вниманием к его особе, кивает головой, улыбается, обнажая свои большие желтые зубы, размахивает руками и отвечает:

— Якчи, якчи!.. т.-е. хорошо, мол, я здоров..

Но каково же его изумление, когда тут же он получает сильный удар в лицо. Оказывается, что Али-Гусейн должен немедленно стать во фронт по середине камеры, и отвечать громко отнюдь не параспев, а быстро и отчеканенно:

— *Здравия желаю, господин отделенный!*..

Если же войдет кто-нибудь из высшего начальства, смотритель тюрьмы или его помощник, то он должен ответить еще более молодцевато:

— *Здравия желаю, ваше высокоблагородие!*..

— Ну, отвечай! — кричит снова отделенный. — *Здорово!*..

Кожеркая слова и плотная слога, весь потный от напряжения, со свежими следами пальцев на лице, Али старается ответить «как следует». За малейший промах, тут же на месте следует расправа. Если же арестант начнет плакать и вопить, то господин отделенный еще больше разъярится, окончательно свирепеет и бьет без счету. То же самое бывает, если асфальтовый пол или медная посуда не так ярко начищены, или если арестантское одеяло разложено не койке не вдоль, а поперек...

Я очень опасался, как бы теперь в моем присутствии опять не повторилось с Али-Гусейном что-нибудь подобное. Быть свидетелем такой отвратительной сцены и не быть в состоянии прекратить ее, или хотя бы выступить с ясным негодованием и протеста, — что может быть мучительнее!..

Я начал сам дополнительно просвещать Али. Возился с ним долго, причем возникали сомнения из-за самых простых слов.

— Ну, например, — говорю я ему (подражая голосу надзирателя, открывающего дверь), — я буду отделенный... Смирно-о!..

Али сейчас же становится по середине камеры на расстоянии полустага от железного столика, держит руки по швам, ноги вместе — и ждет. Это он уже знает.

— Здорово! — кричу я.

— *Здруф эшлуж, каспадимь делени!* — отвечает Али параспев и расклапывавсь.

— Не надо расклапываться... — поправляю я его. — Когда отвечаете, стойте вот так... — видите... И не параспев... И не «делени», а «отделенный»... Только скорее надо. Ну, теперь, скажем, я буду помощник или начальник, — указываю я рукой на лоб и на плечи, т.-е. как бы на кокарду и погоны. — Итак, слушайте:

— Здорово!..

— Здруф жлуф ваша високбалгалрод! — отвечает Али, стоя уже прямо, но очень тихим голосом, тогда как требуется кричать во всю глотку, особенно, когда речь идет о приходе высшего начальства.

— Ах, Али, Али... Развѣ так отвечают?! Или мало вас били за это! Нужно вот так... Притом надо громче, громче—понимаете?..

— Яхчи, яхчи, моя пошмай! — кричит он жестикულირუз и гримасничая. Но на мое: «Здорожо» он опять отвечает по-старому, т.-е. тихо и медленно, зато в нескверканному ны титулу начальника прибавляет слова: «кромчи, кромчи».

Обрадовавшись своей сообразительности, он скалит желтые зубы и что-то оживленно говорит на своем наречии. Я громко хохочу, до того смешно все это выходит. Но тут же вспоминаю, что не до смеху дело; что если он так будет отвечать, то одиженный избьет его до крови. С большим трудом я втолковал ему, что слово «громче» это не часть титула и что отвечать надо—не так тихо,—а вот так — громко, громче...

Столько же трудов стоило втолковать Али-Гусейну значение каждого из сигнальных звонков. Особенно трудно далась ему наука о том, как надо ходить на прогулке под команду: раз... два... три... четыре... как поворачиваться кругом марш и т. д. Как я уже говорил, на все эти смешные и возмутительные пустяки у нас обращалось самое строгое внимание. Малейшее несоблюдение установленного писмешторами или начальниками этикета каралось карцером, пощечинами, подзатыльниками, похабною бранью и т. д.

После бани нас часто, вместо прогулки, выпускали на двор выбивать одеяла, подушки и мешки с соломой, именуемые здесь «матрацами». Так как все, что у нас делается, делается второпях, быстро, бегом, словно на пожаре, то я в соответствующий день заранее сам сложил матрац, подушку и одеяло сожителя и говорю ему:

— Когда откроется дверь и нас будут выпускать на двор, вы возьмете все это и пойдете за мной.

— Яхчи, яхчи,—ответил Али, вращая белками и размахивая руками. Вот отрывается дверь; я хватаю одеяло и подушку, киваю Али головой и бегу с 3-го этажа вниз, где уже стоят неподвижно выстроившиеся пары каторжан. На площадке второго этажа как раз дежурил в это время красавец, сплач и хулигап, надзиратель Бубисевский, молчаливый и свирепый «далтист», не одну сотню раз дававший «в зубы» арестантам. Бегу я так вниз; вдруг слышу звуки пощечины, матерную брань и в то же время знакомые мне гортанные крики Али-Гусейна.

Оглядываясь, и вижу: Али тащит с собою не только постельные принадлежности, но и медный бачек и кувшин, сумку с хлебом, чай-

ник, деревянную ложку, полотенце, и, гремя кандалами, несется вслед за мною по железной лестнице. Очевидно, он решил, что, как это было с ним один раз, его переводят в другую камеру или в другой корпус; поэтому он и забрал с собою все, что полагается в том случае.

— Ты куда?.. Ты это что?.. Сзолочь, так и так твою!..—закричал на него Бубиновский и, закатив нощечину, принялся тут же взбивать его связкой тяжелых железных ключей.

Услышав вопли Али-Гусейна, я моментально сдаю ему свое одеяло, выхватываю у него лишние вещи, стремглав, во всю быстроту ног, возвращаюсь назад в камеру и потом снова бегу вниз.

Сознаюсь, несколько недель совместной с Али-Гусейном жизни пришлось мне не по вкусу и препортили не мало крови. Кроме всего прочего не особенно-то приятно жить в одной камере с торчащим у тебя на глазах круглые сутки человеком, с которым не можешь обмолвиться и парой слов. Поэтому, я был чрезвычайно рад, когда однажды после обеда открылась дверь, и на пороге появился отделенный с арестантским билетом в руках: значит, моего сожителя переводят в общий корпус,—решил я.

Мы оба, как это полагается, сразу становимся по фронт посредине одиночки и ждем, когда господин отделенный соизволит с нами поздороваться.

— Здорово!—раздается, наконец, его голос. Я отвечаю как следует. Но Али совсем не в унисон со мною бормочет свое:

— Здруф-жлуф, каспадин делени!..—и по привычке разводит и такт руками, кланаясь всем корпусом. Выходит до-нельзя смешно, но улыбнуться нельзя. Я уже опасался, что вот-вот Али попадет за такой ответ; но к счастью, господин падзвратель был сегодня в хорошем расположении духа и только крикнул:

— Иш, сзолочь!.. Турецкая твоя морда!.. Ну, кшмиш, собирай свои вещи!.. В корпус пойдешь!..

Али-Гусейн испуганно смотрит на меня. По лицу его видно, что он не понял слов падзврателя. Вспомнив мой урок относительно того, что надо отвечать громче, он сразу спохватывается и снова орет, по уже на весь корпус.

— Здав-жлуф, каспадин делени!..

Видя же, что я молчу, Али смущается еще больше и моментально бледнеет. Его охватывает сторонь, поджилки трясутся мелкой дрожью.словно затравленный зверь, он начинает быстро шмырять глазами и ждет беды. Я же стою весь напряженный, еле сдерживая себя. Не выдержав, я вмешался в разговор и указав Али, что надо делать.

Через несколько минут его увели.

З а ч т о?..

Весной 1908 г. в одиночном корпусе шлиссельбургской каторжной тюрьмы возле камеры, в которой помещалась у нас столярная мастерская, появилась неожиданно обширная инструкция, подписанная министром юстиции И. Щегловитовым. В ней строгойше воспрещалось арестантам вести переговоры с *прохожими на улице* и выбрасывать через ограду какие бы то ни было предметы. Часовые обязывались бдительно следить за арестантами и, в случае неповиновения их, громким голосом или свистком призывать ближайшего над собою начальника, а в крайнем случае и пускать в ход имеющееся у них огнестрельное оружие.

Циркуляр этот был очень многословен, изложен довольно туманно и двусмысленно. Скрытой его целью было, несомненно, терроризировать заключенных, ибо к чему, в самом деле, эти назойливые напоминания и пережевывания элементарнейших правил, и без того известных всякому тюремному надзирателю и караульному часовому. Стоит только вспомнить, сколько десятков заключенных было застрелено в то именно время и за такие именно проступки («смотрел в окно» и т. п.), чтобы убедиться, что в подобных напоминаниях и подстрекательствах никто не нуждался.

* * *

Во всяком случае, к шлиссельбургской крепости, особенно же к нашему одиночному корпусу, циркуляр этот никакого отношения не имел и иметь не мог.

В самом деле. Крепость находится на острове и со всех сторон окружена водой. Тюрьма наша помещалась на заднем дворе, отделенном от воли пятисаженной стеной. Днем по самой стене, шириной в целую сажень, а ночью под стеной и за стеной ходит часовой, — какие же тут мыслимы переговоры с посторонними лицами?!

Мы, человек пятьдесят каторжан, хотя и сидели по одиночкам, имели между собою неограниченные сношения: на прогулку нас выпу-

скажи человек по 15 сразу, причем, благодаря стараниям А. Н. Кругликова, очередь на прогулку для обитателей разных одиночек составлялась нами же; хлеб, обед и ужин раздавали мы сами, а разливая кипяток, мы входили с большими медными чайниками прямо в камеры.

Таким образом, надобности в нелегальных сношениях и переговорах между самими заключенными тоже никакой не было.

В описываемое время мы часто и подолгу сидели и стояли на окнах, и начальство в этом никакой беды не усматривало. Наша изолированность и оторванность от мира, от улицы, от посторонней публики, как и невозможность удачных побегов, — все это было слишком ясно и palpably даже и для такого бдительного и осторожного начальника, каким был смотритель крепости В. Зинберг.

И вдруг такой циркуляр. Наши тихие и смирные надзиратели, до сих пор жившие с нами, в общем, довольно дружно, стали теперь покривлять на нас, чуть кто появится у окна. Но, по правде сказать, наведи на нас берданки, они делали это без серьезных намерений застрелить нас, а так просто, больше для очистки совести.

Чтобы предупредить возможные несчастья, один из нас вызвал помощника начальника клякса Турамова (самого начальника, после смерти уголовного Махлакова и политических Сперанского и Ароновича, мы бойкотировали) и изложил ему свои соображения о неприменимости в Шлиссельбурге Цегловитовской инструкции.

Помощник доложил об этом начальнику, который и прислал ответ:

— Не мое дело критиковать распоряжения начальства. Возможно, что циркуляр прислан сюда не по адресу... Что же, пишите прошение министру юстиции или в Главное Тюремное Управление.

Обращаться в эти инстанции никто, конечно, не стал.

* * *

Одно время у нас дежурил часовой некий Потапов, высокий, здоровенный детина с неуклюжими медвежьими ухватками, грубым и топорным, словно недоделанным лицом, маленьким лбом и узенькими раскосыми глазами. Этот, очевидно, безземельный и бесхозяйственный мужик поступил к нам в тюрьму надзирателем прямо с военной службы, так что дух казармы еще крепко сидел в нем.

С удивлением смотрел он на нас, молодых, закованных в цепи, одетых во все арестантское и постоянно сидящих над книгами, порой раз впечатанными даже неизвестными ему буквами. Видя, что начальство относится к нам, политическим, вежливо и предупредительно,

Потапов тоже обращался с нами не так, как «настоящий» надзиратель должен обращаться с арестантами.

Бывало, спросишь его:

— Какой сегодня день? — или попросишь принести каталог тюремной библиотеки, или захочешь передать что-нибудь соседу по оди-почке, как Потапов неизменно громко, вытягиваясь и становясь во фронт, отвечал на вопросы, открывал глаза:

— Так точно!.. Никак нет!.. Чего изволите!..

Или, бывало, откроет он дверную форточку и тихим почтительным, с оттенком подострастия голосом, кашлянув предварительно в руку, выкладывает:

— Маргозин велели передать вам, что книгу они пришлют завтра...

— Ладно, — отвечает ему, оставаясь лежать на койке, — тогда я подожду.

— Слушаюсь! — говорит Потапов, почему-то как бы из вежливости осторожно закрывая форточку, и на цыпочках свешивает передатчик ответа Марголину.

И Марголин и я, — оба каторжане, арестанты...

И вот на долю этого-то добродушного и безобиднейшего пептюха и вышло первым применить на деле Щеловитовский циркуляр.

Собрав надзирателей и прочитав им инструкцию, начальник тюрьмы Зимберг добавил, гипнотизируя их холодным и внушительным взглядом своих строгих серо-голубых глаз:

— Смотрите же... Глядите в оба... Как кто появится в окно... словом, помните, для чего каждый поставлен, для чего ему берданка дана... Не то... Поняли?!

* * *

Среди немногочисленной семьи каторжан, населивших наш оди-ночный корпус, во многом выделялся высокий, худощавый, с маленьким лицом и большими грустными черными глазами арестант. То был анархист Краснородский, приговоренный к восьми годам каторги.

Арестован он был в Одессе и привлекался по делу большой группы анархистов, во главе которой стоял приехавший из Лондона Лев Гершкович. Группа эта, состоявшая преимущественно из рабочей и полунинтеллигентской молодежи, имела в своем распоряжении большую дипломатическую лабораторию и типографию, организовывала ряд террористических актов и экспроприаций, вела пропаганду, часто выступая также и против социалистов, и т. д.

Еще за несколько лет до ареста Краснобродский, не желая служить в солдатах, бежал за границу. Был он тогда соц.-дем., правда, весьма радикально настроенным. Как и все соц.-демократы начала девяностых годов, Краснобродский, находясь дома всецело под впечатлением безрадостной отечественной действительности, с преувеличенным восторгом и очарованием относился к заграничным порядкам. Когда же он поближе присмотрелся к тому, что издалека казалось ему столь заманчивым, в особенности, когда ему пришлось вдоволь набедствовать и голодать в богатом и перегруженном роскошью Париже, Краснобродский разочаровался в западно-европейских порядках. Постепенно он от соц.-дем. отошел к анархистам. С помощью своих новых единомышленников ему удалось пристроиться корректором в одной французской типографии, а после того, как в России грянули события памятного 1905 года, он вернулся домой на юг России.

Краснобродский принадлежал к редкому в наше время ожесточенной и истребительной борьбы типу людей, пропитанных мягким, даже сентиментальным гуманизмом. Формально и официально он придерживается очень воинственных взглядов, безусловно отвергает какие бы то ни было мирные способы борьбы с монархией и буржуазией. Он даже сторонник самого решительного террора, ибо *враг* должен быть уничтожен не только как господствующий класс, но и как собрание отдельных индивидуумов.

Однако такого тихого, кроткого, уступчивого и миролюбивого человека, неприязнательного и всепрощающего, каким был во всем Краснобродский, я редко встречал не только среди каторжан—людей раздражительных и озлобленных, но и на воле.

В своих отношениях к людям, будь то близкий товарищ или тюремный надзиратель, политический или уголовный, единомышленник или противник, Краснобродский был неизменно добр, предупредителен и как-то женственно деликатен. В общем и целом, по своим знаниям, по своему партийному стажу человек рядовой, Краснобродский в отношении характера и душевных качеств был одним из тех благородных идеалистов, которые встречаются, главным образом, — в *новых* общественных течениях, намечающих себе относительно *далекие* идеалы и на первое время отбирающих себе материал *лишь первого сорта*.

Щепетливый ригорист и принципиалист, Краснобродский считал даже оскорбительным для себя требовать, например, чтоб начальство сняло с него по истечении законного срока ножные кандалы.

— Подобным требованием, — доказывал он, когда товарищи удивлялись его поведению, — как бы санкционируется судебный приговор

с его глупостями и подразделениями, как бы становиться на точку зрения тех, чьи принципы сам ведь осуждаешь...

С кандалами Красноброедский расстался лишь тогда, когда они уже не могли мешать ему...

* * *

У Красноброедского была привычка кормить голубей хлебом. Станет он у окна, накрошит мякоти из своего пайка и с умиленьем и благодушной улыбкой смотрит, как голуби, о чем-то щебеча на своем птичьем наречии, вертятся, покачивая своими грациозными шейками и взмахивая крыльями, поедают его крошки.

До сих пор никто не усматривал в этом ничего ужасного.

Но вот однажды днем 20 мая 1908 г. надзиратель Потапов, дожуривший как раз на наружном посту, увидел Красноброедского за этим занятием и вспомнив, что у сына стоять арестанту *«не полагается»*, крикнул ему:

— Отойди от окна!

— Сейчас! — ответил Красноброедский. — Вот этот кусочек накрошу и уйду.

— Слазь, тебе говорят!!!

— Да что вы такой сердитый: подождите немножечко, сейчас кончу.

— Сказано, не полагается! — продолжал кричать Потапов. — Ну Я кому говорю!!!

Потапов не на шутку рассердился, опасаясь, быть может, доноса на него со стороны остальных двух надзирателей, находившихся в это время на дворе и следивших за гулявшими каторжанами.

Не успев еще Красноброедский соскочить с табуретки, как Потапов, стоявший на крепостной стене как раз против открытого окна его одиночки, крикнул в третий раз:

— Отойди! — и тут же выстрелил из берданки.

Я как раз в это время вместе с Ефимовским занят был разбором книг тюремной библиотеки. Выстрелы часто раздавались за стеной крепости, но бывало это осенью, когда производилась охота на уток, в большом изобилии водившихся в окрестных болотах. Но теперь лето, май месяц...

Удивленный, я вскарабкался на железный столик, прибитый к стене возле окна, выглянул через решетку на двор и как-раз успел заметить, как Потапов, подняв с земли медную гильзу и вставив в ружье новый патрон, как ни в чем не бывало продолжал расхаживать по обширной крепостной стене.

На дворе в это время прогуливалась группа каторжан матросов, державшаяся в стороне от остальных политических, особенно интеллигентов. Они, казалось, ничем не реагировали на раздавшийся выстрел, в только с.-д. из Риги Ст. Захаров, старый партийный деятель из интеллигентных рабочих, начал громко кричать:

— Товарищи!.. Красноброедского убийи!!.

Взволнованные этим возгласом, мы с Кдановским немедленно оставили камеру, в которой работали, и поспешили наверх. По дороге у винтовой лестницы встречаем нашего тюремного врача Шапошникова, спускавшегося вниз от Красноброедского.

— Ну, что?.. Ну, что?..— спрашиваем его.

— Да ничего особенного!— отвечал он с какой-то кривой улыбкой, избегая нашего взгляда. — Он жив, здоров... Так себе, пустяшная рана..

На коридоре второго этажа стояло уже много надзирателей, экстренно по сигнальному звонку вызванных из своих квартир. Кобуры у всех были расстегнуты. Тут уже расхаживал и старший помощник Гурамов, весь бледный и встревоженный. Начальник крепости опасался буйного, из ряда вон выходящего протеста со стороны каторжан и поторопился мобилизовать всю свободную от дежурств стражу.

Я подбегая к камере Красноброедского, открывая железную крышечку от дверного глазка, — смотрю: волчек кем-то закрыт уже изнутри бумагой.

— Красноброедский!! — кричу я громко, поверив словам доктора. — Товарищ Красноброедский!! Отзовитесь!!.

Ответа не последовало... Красноброедский лежал на полу без всяких признаков жизни...

Начальник сейчас же должен об этом происшествии в Петербург. Приехал следователь и снял кой-с-кого допрос. Через день, поздно ночью, когда весь корпус спал непробудным сном, надзиратели, раскрыв предварительно все выходные двери и, чтобы не произвести шума, одетые в валенки, вынесли за ограду труп Красноброедского. Где-то за стеной крепости уже была приготовлена яма, наполовину залитая водой...

...Дышать он сразу перестал,
Вздрыгнув в цепях своих,
Он навеки замолчал
И ужасно вдруг затих.
В глубине тюремной мглы
Они, сняв с трупа кандалы,

Его без гроба погребли
В холодном лопе той земли,
На коей он невольник был...

(Байрон. «Шильонский Узник»).

Начальник опасался было шумных протестов и возмущений со стороны каторжан, но... Одним словом, все обошлось «тихо и спокойно».

* * *

Несомненно, что даже с казенной, не говоря уж об обыкновенной, человеческой, точки зрения, надзиратель Потапов без всякого извинительного повода совершил убийство. То, что среди белого дня на виду у кучи надзирателей, делал Краснобродский (крошил хлеб на подоконнике), вовсе не представляло чего-либо опасного для самого надзирателя. Точно так же не может быть здесь и речи о перепиливании решетки или о какой-нибудь другой попытке к побегу, — разве что Краснобродский проскользнул бы через двухвершковое расстояние между оконными прутьями и мигом поднялся бы на воздух...

Подожди Потапов еще момент, и Краснобродский ушел бы сам. Строго придерживаясь инструкции, Потапов, прежде чем стрелять, должен был заявить и неповиновении арестанта стоявшим тут же на дворе двум прогулочным надзирателям, дать тревожный свисток, наконец, выстрелить в воздух...

Но Потапов убил каторжанина, да еще политического, да еще «жида»! Стоит ли об этом беспокоиться следователю или начальнику? Не станут же они усердствовать, порочить тюремное ведомство, вступать в конфликт с высшим начальством и вместе с тем портить себе карьеру!..

Потапов не только не был отстранен от должности, но даже не был переведен на другой пост...

На следующий после убийства день мы выходим на прогулку, смотрим, Потапов рассказывает себе попрежнему по широкой крепостной стене. Такая наглость со стороны Зимберга всех нас возмутила. Не обмолвившись между собой ни одним словом, мы немедленно все повернули назад в свои одиночки. Так же поступила и следующая, а затем и третья прогулка. И вот, почти не сговариваясь, заключенные нашего корпуса около года не выходили на прогулку в те часы, когда дежурным стоял Потапов. Самого Потапова это несколько, конечно, ни в малейшей степени не смущало и не беспокоило. Я убежден, что он и вовсе не подумывал в то злодеяние, которое совершил.

— «Приказано!.. Дисциплина!.. Я человек служащий!.. Должен же повиноваться начальству!..» — наверно говорил он сам себе, если только вообще думал об этом.

Начальник Зимберг, быть может, и убрал бы его именно с этого поста, но ведь это означало бы, что он пасует пред арестантами, считается с их чувствами и настроениями. По истечении нескольких месяцев сам начальник предложил такой компромисс: один раз, один только раз выйти всем на прогулку в дежурство Потапова, и на следующий день он будет заменен другим надзирателем. Но большинство на это не согласилось. Лишь в 1909 г. Зимберг, наконец, сдался и перевел Потапова на другой пост в вновь перестроенный общий корпус.

Однако, как везет начальству! Положительно, само провидение печется об его спокойствии и доброй славе...

Как раз за день до убийства Краснобродского нашу крепость посетил корреспондент «Times» — большой лондонской газеты. Сопровождал его бойкий и развязный барон фон-Мирбах, инспектор Главного Тюремного Управления. Обходя с ним наши одиночки, барон все время шептал по-английски и ловко прерывал корреспондента, сив тот пробовал поговорить на своем ломаном русском языке с кем-нибудь из заключенных. Относительно опрятная обстановка тех именин одиночек, куда предусмотрительно Зимберг нарочно вводил его; блестящие бляхи, чистые мундиры и благовоспитанные, почти джентльменские манеры тюремных надзирателей, отдававших ему честь; маленькая столярная и переплетная мастерские; коллекция минералов, собранная каторжанином Захаровым во дворе крепости; деревянные изделия резчика по дереву бессрочного Киршенштейна; разбитые во дворе тюрьмы цветочные клумбы, — все это произвело на корреспондента прекрасное впечатление, и он все время приговаривал:

— Уэлл!.. Ол райг!.. Верн уэлл!..

Показали ему еще действительно образцовую большую механическую прачечную с усовершенствованными аппаратами для стирки, выжимания, сушки и катания драных и вшивых арестантских рубаш и портянок. Под ковец корреспондента угостили в конторе хорошей закуской. Вечером этот представитель «шестой державы» вместе с представителем тюремного ведомства, уехал назад в Петербург и, паверно, сейчас же поведал английским газетам, что в плиссальбургской крепости не каторга, а рай настоящий...

* * *

...Вспоминаешь Краснобродского, с его тихим голосом, застенчивой улыбкой, такого скромного и деликатного, и невольно спрашиваешь:

— За что убили человека?

Один из многих.

Санька Бородков во многих отношениях фигура весьма характерная для теперешней каторги.

В первый раз он попал в тюрьму 19-летним деревенским парнем. Успел он уже побывать во многих тюрьмах, даже за пределами Тамбовской губ., откуда он родом. Благодаря долгому пребыванию в заключении, общению с городской молодежью и партийной интеллигенцией, этот малограмотный и малоразвитый парень несколько пообтерся и приобрел лоск культурного человека.

Сам очень неразборчивый в выражениях, особенно, когда он на и духе и не следит за собой, — Бородков тем не менее очень любит проявление изысканной вежливости и изящного этикета.

— Судя я это со студентами, — рассказывал он, — вот вежливые господа!.. Наступит тебе на ногу и сейчас же: «ах, извините, пожалуйста, извините»!.. Или дашь ему закурить, а он: «мисси вам». Да-а, вот какой народ! Не то, что наш брат мужик. Конечно, который человек образованный, тот знает, как обращаться, ну, а который ни-х... не понимает, с того что возьмешь?

Не прочь Бородков щегольнуть и книжными выражениями, вроде: «принимая во внимание», «исходя из того факта», «с точки зрения» и т. п., вообще любит показать, что и он не лыком шит, даром что вроде не учился.

— Ведь знаете, — доказывал он мне как-то в связи не помню уж с каким разговором, — ведь знаете, 120 лет назад была сначала французская революция, а потом уже французская резолюция...

Но что это за французская резолюция, наступившая после французской революции, Бородков так и не сумел растолковать мне.

Как и у подавляющего большинства мелких террористов и грабителей с чуть-чуть идейной подкладкой, взгляды Бородкова на общественно-политические вопросы довольно несложны.

...Правительство, начиная с царя и первых министров и кончая последним стражником, вообще все, кто носит погоны и кокарды — это,

конечно, обманщики народа. Господа, и в особенности помещики, конечно, только о том и думают, чтобы обобрать простого человека и прикарманить денежки мужика; ну, а духовенство запыто специально сочувстванием православных... Всех перебить надо, а деньги их и имущество *раздать* бедным.

Это начало и конец всей платформы Бородкова и многих других латоржан из сходной с ним категории: в бурные годы революции рабочая и в особенности крестьянская молодежь, только-что примкнувшая к революционерам, набралась больше поверхностной и эффективной «агитации», чем глубже и дальше идущей «пропаганды».

— Это мы только мужики малахольные какие-то, — доказывал мне Бородков, — а правительство наше хи-и-трое... Ведь с нас *даже за ветер деньги берут!*

— Как так за ветер? — спрашиваю я с удивлением.

— А так. Мой дядя Вася построил себе мельницу-ветрянку, а с него казна 28 рублей налогу потребовала. За что же деньги спрашивается! Не плаче, как за ветер!..

До чего пал авторитет всякого рода властей среди простолюдины, видно из того, например, что Бородков (да и не один он) пресерьезно уверил меня, что какие-то одежды, пожертвованные в 1904 г. фабрикантом Морозовым в пользу раненых на войне с Японией, были украдены и тайком проданы великим князем Сергеем Александровичем. московским генерал-губернатором.

— Ну, что вы, — пробовал я его разуверить, — станет великий князь заниматься такими делами! Крупнейший помещик и миллионер будет возиться с какими-то одедами. Если их кто и украд, то наверное простые интенданты.

— «Интенданты», «простые интенданты», — передразнил меня Бородков, — а вот нижегородский губернатор Фредерикс вором оказался. Сам читал... Да какой же вы революционер, что царя дядю защищаете!

* * *

Среди волновавшихся в 1904--1907 гг. губерний тамбовская занимала, вероятно, одно из первых мест. Это наиболее типичный для помещичьего землевладения район, с крупными латифундиями в тысячи и десятки тысяч десятин, с очень слабо развитой промышленностью, недостаточными падежами у крестьян, высокими арендными ценами и кабальными условиями труда у помещиков. Между помещиками и крестьянами все время шла глухая вражда, усугубляемая жестокими вытодками и прижимками со стороны некоторых из землевладельцев. Неудивительно, что аграрных беспорядков и волнений там было мно-

жество, точно так же, как и ограблений и убийств. По крайней мере, каторжан тамбовская губерния дала большой процент.

Кроме обычной картины разграбления и поджогов помещичьих усадеб, происходили там также и сельскохозяйственные забастовки, именно у тех помещиков, которые вели сложное хозяйство с дорогими машинами. У некоторых забастовщики требовали чудовищной по местным условиям дневной платы. Как я мог заключить из рассказов Бородкова, в подобных, часто несуразных, требованиях сказывалось не столько намерение и надежда действительно добиться таких небывалых расценок, сколько озлобленная ненависть крестьян к помещикам и желание так или иначе выкурить господ из насиженных гнезд.

В аграрных волнениях Бородков принимал самое горячее участие. Еще до этого ему доставляло удовольствие всячески вредить помещикам: испортить какое-нибудь зубчатое колесо в машине, подложить огурец под шкив передаточного ремня от локомобиля и т. д. В разграблении же усадеб он участвовал с наслаждением. Обыкновенно это делалось так: мужская молодежь брала приступом жилые помещения, девки шныряли по комнатам, забирая все, что попадется под руку; мужчины ломали амбары и кладовые, а старики вместе с бабами нагружали хлеб на телеги.

Разгромы эти кончались обычной историей: из города приезжали власти с солдатами или казаками, начинались избиения прикладами или нагайками, издевательства и насилие, а затем отбиралось не только все награбленное, но и много из того, что составляло собственность самих крестьян.

После приезда усмирителей следовали допросы крестьян, которые сами же друг друга оговаривали и уличали; тюрьма, арестантские роты, каторга, а в лучшем случае административная высылка—таков обыкновенно бывал эпилог этих стихийно и примитивно разыгранных драм и трагедий.

Во время одного из таких допросов кто-то указал на Бородкова, и он поспешил удрать из дому.

* * *

Собственно говоря, как в этих, так и в будущих похождениях Бородкова, бедность и крайняя нужда не играли никакой роли. У отца его было десятин десять собственной земли; в свободное от сельскохозяйственных работ время оба они занимались бочарным ремеслом, и сами же продавали свои изделия на базарах,—жили они зажиточно. Большой жалости к людям, даже к своим же землякам, у Бородкова тоже не было,—человек он был скорее злой и мстительный. Так еще

в детстве он подпалил и пустил по миру одного соседа, который несправедливо мобил его; в другой раз он бросил в трубу топившейся пещки и сжег живьем соседскую собаченку за то, что она—так и так же...—встречала его лаем каждый раз, когда он проходил мимо. У нас в Орле Бородков часто сидел в карцере за драки, причем каждый раз наступательную роль играл он сам.

На мой взгляд в похождениях Бородкова им руководила, главным образом, чисто стихийная и инстинктивная ненависть к помещикам, их приспешникам и ко всему, что пахнет казней и начальством, а в особенности *страсть к молодечеству*. На этом последнем мотиве я особенно настаиваю. По моим многочисленным наблюдениям этот именно мотив лежит в основе многих и многих «преступлений» этого рода.

Нужно было только видеть, с каким захлебывающимся восторгом Бородков рассказывал, например, о том, как пред ним, простым и неопытным деревенским парнем, дрожали важные бары, всесильные помещики, когда, вооруженный браунингом, а то и более усовершенствованным *парабеллумом*¹⁾, он вместе с другими вливался в их квартиры и гаркнет:

— Ррруки вверх! Ни с места!..

Лица у господ выги искажаются страхом и мольбой, на него они смотрят, как на человека, от которого зависит их жизнь или смерть. А он стоит себе с вытянутым вперед оружием и отдаст приказания, которые беспрекословно исполняются.

— Вот времячко-то было! — говаривал Бородков много раз, веселясь при этих воспоминаниях: — задали мы им страху-то! Будут они помнить нашего брата!..

Точно так же одна только ненависть к богачам да удачество и побудили Бородкова сделать то дело, за которое он, главным образом, попал в каторгу.

* * *

Однажды, после разгона первой Государственной Думы, у них в селе состоялся большой митинг. Оглашено было «Выборгское позванье», выступали с речами. В числе ораторов были и отец Бородкова и сам он.

Напился, конечно, допосыпчик (этиотр церкви, богатый крестьянин-колесник и третий—полуинный мужичонка, искренний патриот и монархист): они доложили земскому, что Бородковы, мол, призывают народ

¹⁾ Бородков никак не мог выговорить этого слова, у него все выходило как-то «*парабеллум*» или «*парабеллум*». Зато он действительно хорошо знал устройство этого ручного пулемета.

не платить податей, не давать солдат, а про царя говорили, что «этот Берендей в пастухи не годится, до того он дурак».

Последовал арест, а месяцев через семь и суд: обоих приговорили к двум годам крепости. Как несовершеннолетний, Александр Бородаков, однако, не досидел до конца этого срока, освободившись на восемь месяцев раньше отца. В тюрьме он еще больше набрался, как он выражается, революционного духу. Вернувшись домой, он напал там полное разорение.

Обышал он знакомых и оказывается: тот в тюрьме, другой очутился почему-то в Архангельской губ., третий на поселении в Сибири, четвертый ждет каторги за «экс». Всюду недовольство, озлобление.

Еще в тюрьме Бородаков много наслушался рассказов про личные дела и подвиги террористов-партизанов и экспроприаторов, а все, что он встретил дома, еще больше наэлектризовало его. Он и пристал к одной группе, в которую входили уплевшие от ареста члены прежних боевых дружин. Руководителем этой группы был некий Соломов, механик по профессии, содержавший еще недавно мастерскую, в которой работало человек пятнадцать мастеровых. Из простого «сочувствующего» Соломов стал активным революционером, а так как обстановка 1908 г. и его собственные вкусы и темперамент больше располагали к террористической и экспроприаторской деятельности, он покинул семью, совершенно забросил мастерскую и, вместо молотка, взял в руки браунинг.

С ним-то близко и сошелся Бородаков.

Один из местных эс-эр-ских деятелей, молодой земский врач, предложил дружине Соломова похитить и уничтожить крестьянские векселя, находившиеся у некоторых помещиков, и дал боевикам подробное указание относительно расположения комнат, входов и выходов.

Дружина с большим удовольствием взялась за столь необыкновенное дело. Вооружившись как следует, расставив всюду, где нужно, «часовых», она неожиданно ворвалась и соответствующим лицам тщательно обыскала все комнаты, перерыла все сундуки, комоды и шкапули, отобрала векселя, заемные письма и тут же, в присутствии хозяев, сожгла их. Попадавшиеся им под руку драгоценности, золотую и серебряную утварь они оставляли нетронутыми, а из найденных в большом количестве наличных денег, они взяли себе и то под расписку, только 700 руб. на текущие расходы. Вообще в этом отношении они выгодно отличались от многих и многих других своих братьев по званию. Всего они сожгли векселей тысяч на 75 или, как выражается сам Бородаков, «на семьдесят на пять тысяч».

До суда Бородкин сидел года полтора в Борисоглебской тюрьме. Порядки, пища и проч. были тогда в этой тюрьме довольно сносны, но в Бородке было еще очень много пыла и воинственного настроения. Все время он не переставал «волнынить», ссорился с начальником, доносил его жалобами, писал на него насмешливые стишки. Неоднократно приходилось Бородке сидеть в темном карцере. В большинстве случаев попадал он туда за вздорные пустяки,—такой у него уже характер, чтобы возпороваться и кипятиваться.

К предстоящему суду Бородкин долго и тщательно готовился: выучивал наизусть речи, которые собирался произнести на суде, обдумывал все ответы, которые придется давать, и с помощью Соломова устраивал форхемные ренетции. При этом он заботился не столько об оправдании или об уменьшении срока каторги, сколько о том, чтобы создать впечатление и заставить о себе говорить.

Дело разбиралось при открытых дверях. Бородке очень льстили (он мне рассказывал об этом раз пять), что среди публики были и «настоящие дамы и барышни в шляпах и с ридикюлями»; они указывали на него глазами и шушукались между собой. Среди свидетелей (дело о покушении на побег разбиралось в один день с другими их делами) был и начальник тюрьмы.

— А, друг соломенный, ты уже здесь!—громко своим пискливым голосом сказал Бородке начальник.

Тот смутился и покраснел от такого бесцеремонного обращения с ним, героем, на которого указывают глазами сидящие здесь барышни с ридикюлями, но он сейчас же нашелся и так же громко ответил:

— Теперь я друг соломенный, а вот подожди, буду и металлический...

Последними словами Бородкин хотел намекнуть, что, мол, со временем отомстит начальнику тюрьмы металлической пулей.

— Барышни в шляпах переголаживались между собой, поджалитубы и враз мне ухлыбнулись,—добавил Бородкин, рассказывая об этом. Так же приятно ему было и то, что про их дело много писали в местных газетах.

— Понимаешь (мне Бородкин говорил то *ты*, то *вы*), понимаешь, так и писали: «нашумевшая шайка разбойников, среди которых выделяется Александр Иванович Бородкин» — эту фразу мой сожитель произносил важным, степенным басом и с пресерьезным лицом.

С помощью адвокатов (платных, а не казенных) им удалось совсем выгородить несколько парней, в действительности участвовавших в их похождениях. Самому Бородке суд вынес приговор в 12 лет каторги.

* * *

Настоящий эликоросс по происхождению, Бородков тем не менее был неутомим, как итальянец. Сидя с ним в одной одиночке, я пробовал его засадить за арифметику и грамматику, но из этого ничего не вышло. Пробовал я приучить его к чтению и для начала дал «Мертвые души», «Дубровского», «Анну Каренину». «Мертвые души» ему совсем не понравились, и он бросил книгу, даже не дочитав ее.

— Что он этим хотит доказать?.. Что он этим хотит доказать?.. — все приговаривал Бородков недоумевающе.

Зато «Дубровский» произвел на него большое впечатление: разбойничьи похождения героя, его пылкий нрав и романтическая любовь очень подходили к его собственным склонностям.

В романе Л. Толстого Бородков восхищался описаниями природы, полевых работ, охоты и т. п., вообще обнаружил недурной вкус.

— Вот это черно, правильно... Точь-в-точь!.. Вот-те и граф, почище мужика все знает,—приговаривал Бородков.

Зато героиню романа он возненавидел от всей души и уверял меня, что и сам Толстой смотрит на Анну Каренину не иначе. К мужу—Каренину Бородков отнесся с презрением.

— Вот дурак!—то я дело поругивал он его за то, что тот примирился с изменой жены.—Я бы ей задал! Я бы ей показал!.. Ах ты! Одного мужа тебе мало!.. Свербит у тебя?.. Я бы тебя пристрелил!.. —приговаривал он вслух, читая книгу и громко радуясь всем злоключениям и несчастьям Анны.

Любил Бородков еще рассказывать различные эпизоды из своего, действительно богатого всевозможными приключениями, прошлого. При этом он порою выказывал недюжинную память и меткую наблюдательность. Знал он также множество частушек и песен, которые иногда переделывал на свой лад, вставляя собственного сочинения куплеты.

Никто травушку не косит,
Никто даром не возьмет,
Никто девушку не любит,
Никто замуж не берет—

бывало начнет он напевать, предварительно убедившись, что издиратель ушел в другой конец коридора.

Много рассказов знает он также про волшебника и сочинителя календаря Брюсса, в которого верит настолько твердо, что--все мои насмешки ничуть не повлияли на него.

О политических партиях Бородкин имеет самые смутные и сбивчивые представления. На воле он считал себя эс.-эр.-ом. Но теперь его симпатиими пользуются анархисты.

— Вот это—да! Вот это, я понимаю, ребята духовые!..— часто говаривал он, рассказывая про какое-нибудь удачное ограбление или убийство. — Собрать бы несколько больших шаек таких анархистов и поработать во-всю, вот лафа была бы! Министры и богачи сразу все сдались бы! А социалисты ваши, — что? — только языки ворочать умеют, да херовину разводят... Митинги эти да брошюрки!.. Ты мне дело делай, а не балакай!..

К соц.-дем. Бородкин относился к каким-то презрительным недоуменкам.

— Ну, почему же это нельзя убить министра, раз он такой-сякой?!.. Почему не ограбить помещика или фабриканта, раз партии нужны деньги?.. Разве лучше требовать с рабочих, у которых и так денег нет?.. А вы еще «рабочей партией» называетесь!..

Ко всем доводам против экспроприаций и террора Бородкин оставался совершенно глух. Доводы этого рода просто никак не укладывались в его голову.

— Ну, вот ты эс-дек,—говаривал он мне, когда у нас заходили разговоры на подобные темы,—а что бы ты сделал, если бы на воле встретил Богомолова?

Богомолов—это один из самых свирепых орловских надзирателей.

— Что бы я сделал, если бы мог отомстить Богомолову?.. Кто его знает?—ответил я, скрывая шутку и делая серьезное лицо.—Я, быть может, объявил бы ему даже бойкот...

— Даже бойкот?!.. Ах, так и так вас, всех эс-деков,—рассвирепел Бородкин,—вас самих перебить надо, а то тоже революционеры называетесь!.. Бойкот...! Да я бы его на куски разорвал, некромсал бы кивжалом и послал бы их по почте в тюремное управление Хрулеву и нашему инспектору... Так и так их, растав их всех...

Любопытно еще отношение Бородкина к минимым преимуществам, так-наз., интеллигентного труда пред физическим, отношение, часто наблюдавшееся мною даже у более развитых выходцев из крестьян.

— Знавал я одну копторщицу на вокзале,—рассказывал Бородкин,—придет, поздоровается, повертит хвостом, кемного пощелкает на счетах, ерунду навишест... Туда-сюда, тра-та-та, смотришь, уже 3 часа, и ей пора домой идти... И за это плати ей 40 руб. в месяц, 40 рублей! А учителя, инженеры!.. Что они делают?.. Разговаривают или бумаги чертят!.. А жалованье какое получают! И все это в манжетах, манжиках, чистенько так, аккуратноенько... А наш

брат, мужик, копайся в навозе да работай так, что ребро за ребро заходит...

— Работа у вас, конечно, тяжелая,—пробую я возразить,—но зато, посмотрите, какие мужики и девки все здоровые, крепкие... Свежий воздух, полезный труд. Недаром поэты восхваляют деревенскую жизнь, природу...

— Отчего же это ваши интеллигенты в крестьянке не уходят,—прервал меня Бородаков. — Все мужиков восхваляют, и в стихах, и в романах, а сами только и норовят, чтоб подальше от мужицкой работы уйти. Да я знаю, для чего это интеллигенты делают...

— Для чего же?

— А вот: хотят нас к земле и к навозу прикрепить, а то некому кормить их будет. А сами сидят себе в манжетах да дурака валяют... Зна-ем, понима-а-ем...

* * *

Жить с Бородаковым в одной одиночке порою бывало довольно тяжело. У него совершенно отсутствует чувство такта. Когда ему хочется поболтать, он, несколько не стесняясь тем, что вы заняты, углублены в книгу или явно не расположены слушать его в данный момент, готов прервать вас и настойчиво требует, чтобы вы сейчас же, немедленно, вступили с ним в беседу. Однако делает он это с такой напущенностью и непосредственностью, что и сориться на него нельзя.

Единственно, чем он охотно в камере занимался, это писанием русских слов латинскими буквами. Таким образом он переписывал целые книжечки напироевой бумаги, заставляя меня проверять и исправлять его опыты. Это странное занятие нравилось ему тем, что даст ему возможность, когда он освободится и вернется в свою деревню, поразить всех своей ученостью.

— Ай да, Бородаков,—скажут тогда с изумлением все Нюрки, Фекалушки и Петьки,—ведь вот до чего дошел, по-латынски пишет!

Работы в одиночном корпусе в то время не было никакой, так что у Бородакова было достаточно времени, чтобы расстраивать себя различными воспоминаниями из прошлого и думами о будущем. Или вдруг он начнет ругаться по поводу того, что некоторые из товарищей не признают его политическим.

— Да мало ли что статья у меня уголовная,—ворчал он,—кто ж тогда будет политический?—Кто брошюры раздает, прокламации разбрасывает или на митинге речь говорит? А попробовали бы они с парале... парале... бомб, тыфу, чорт, и не выговорить...

— С парабеллумом? — подсказываю я, еле удерживаясь от смеха. Бородаков очень любил поиграть знакомством с этим оружием. Но никак не мог сразу выговорить этого слова.

— Вот-вот... Попробовали бы он с па-ра-беллум-ом на эхсы ходить или от стражиников отстреливаться... А то кличку прочел, попал в крепость и политическим заделался!..

В ожидании манифеста по случаю юбилея дома Романовых Бородаков много фантазировал о своем будущем, строя различные планы и варьировал их на разные лады. Как только он выйдет на волю, он первым делом отомстит всем, на кого имеет зуб. Тут и мужики, которые против него на суде показывали, тут и присяжные заседатели, которые вынесли ему обвинительный приговор, тут и жена, которая изменила ему, выйдя за другого, тут и сам этот «другой», — крестьянин, который осмелился жениться на его Дуне.

— Ну, а его-то за что же застрелите? — спрашиваю я.

— А вот пусть знает, что значит жениться на жене экспроприатора...

— Но если вы его убьете, то он и знать ничего не будет!

— А, так! Ну так я его раню в ногу, пусть помучается, — решает тут же Бородаков.

Другой вид его планов-мечтаний заключается в следующем: Как только он выйдет на волю, он сейчас же соберет подходящую компанию и сделает налет на давно облюбованный им богатый женский монастырь. Там живет монашенкой сестра его приятеля, давно уже предлагавшая дружине Соломова нагрянуть на монастырь «с экс-ом» как раз в то время, когда в сундуке игуменьи накаплиются большие деньги. О, тогда он, Бородаков, заживет во-сю!.. Нужды никакой знати не будет, обед будет у него из 4-х блюд с фруктами — даже зимой! — а за обедом у него будет не простая подза из монополец, а какал-тотемская или тотинская, — вообще устроится он так, как тот помещик, в доме которого он однажды чинил кадлушки.

Подумаю немного и желая вызвать мое сочувствие, Бородаков прибавляет:

— Ну и библиотеку хорошую заведу себе, первым делом всего Толстого куплю, потом самую большую всемирную историю, чтоб все в ней чисто было — от создания мира до последнего года... Как думаешь, сколько такая история может стоить, а? Только переплеты чтоб у меня были знаменитые, с золочеными корешками...

Если же «взять» монастырь не удастся, то он пристанет к шайке Медвед-хана, известного в то время кавказского разбойника, про легендарные подвиги которого Бородаков знает очень много рассказов.

и о котором отзывается с восхищением. Вот тогда он проучит всех неправников, помещиков и поведет на всю Россию такую лапшу, что долго-долго будут помнить, что такой был Санька Бородкин.

Иногда, впрочем, мечты Бородкина носили более спокойный и благонамеренный, — и, увы, более прозаический характер. Выйдет он в Сибирь на поселение, займется земледелием, изготовлением кадучек, и будет себе мирно поживать. В революционеры он уж больше не запишется. «Нс-е т, довольно! будет с меня! Пусть другие этим займутся! На воле сколько у меня товарищей было, а теперь все про меня забыли, даже на махорку денег не пришлют. И так жалко, что втянул я в это дело и все деньги от эсов в комитет отдавал... Дурак был...»

* * *

Так рассуждал Бородкин вслух, когда бывал особенно раздражен и озлоблен. Однако, нужны бы были особенные условия, чтобы этот горячий и неугомонный человек, очутившись на воле, не втянулся бы в деятельность какой-нибудь партийной или экспроприаторской группы и снова *заделался* бы простым пахарем и бондарем.

Хотя... чего только тюрьма не делает из человека...

Невинно-осужденные.

Когда мне приходилось читать или слышать о невинно-осужденных, я всегда недоумевал:

— Как это взрослый и толковый человек не мог доказать судьям, что в такое-то время его не было там-то, или что того-то он потому-то не мог даже совершить... Ведь как бы отрицательно ни относиться к современному суду, не из драконов же, в самом деле, состоит он. Какой интерес судьям населять тюрьмы и каторгу, тем более вешать заведомо-невинных людей?

Так я думал долгое время. Однако, дальнейшие наблюдения и более обстоятельное знакомство с подробностями многих процессов заставили меня отказаться от моего недоверчивого отношения к рассказам о невинно-осужденных.

Даже по одному со мною делу приговорены были к десяти годам каторги Александр Львович Волченко и Борис Михайлович Берг, не имевшие ни малейшего касательства к севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. Первый — далекий тогда от всяких революций наборщик — был арестован в казарме морского экипажа, куда он вместе с толпой рабочих вбежал, спасаясь от раздававшихся кругом выстрелов. Второй — зеленый юнец из учащихся, был предан суду на основании перехваченного на почте письма его к одной барышне, в котором он в хвастливом тоне разглазывал о деятельности повстанцев, с лейтенантом Шмидтом во главе. Выставленных обоним свидетелей на суд даже не вызвали... Процесс был военный, и всякий «штатский» нужен был суду как громоздков.

Вообще же нужно иметь в виду, что огромное число процессов 1906—1910 г.г. разбиралось военными судами, которые уже по своему составу, по своей чрезвычайной роли, разыгрываемой в чрезвычайной обстановке революции и контр-революции, слишком склонны были рассуждать по формуле: арестован — значит виновен. Руководствовались они, главным образом, чувствами панического страха и слепой классовой мести, особенно там, где затрагивались имущественные интересы

и политические привилегии господствующих сословий. Расследования: многих и многих дел и вынесенные по ним приговоры по своей нарочитой тенденциозности и холодной жестокости, по игнорированию: соображений хоть сколько-нибудь нормального правосудия, по склонности идти не от улик и обвиняемому, а как раз наоборот,—поразительно напоминают судебные дела средних веков. Иной раз знакомившись с каким-нибудь делом и так и кажется, что пред тобою не что иное, как модернизированное положение «Собора Парижской Богоматери» Гюго. Как будто забыто изречение Екатерины II, и многие судьи предпочитают скорее осудить десять невиновных, чем оправдать одного виновного.

«Эта тяжелая задача подвести итоги революции выпала на долю наших судебных учреждений, которым до известной степени приходилось таким образом *быть судьей в своем собственном деле*. Суды втянуты были в политическую борьбу и вышли из нее с окончательно разрушенным и совершенно разбитым авторитетом. Такого явного сервилизма, такого беззастенчивого угождения видам правительства трудно было ожидать даже от нашего суда, приучившего нас, особенно в Муравьевское время, пачему же удивляться». Так говорит солидный и лояльный юридический журнал, руководителями которого являются профессора, т.-е. те же учителя наших прокуроров и судей (см. «Право» 1907 г. № 1).

И стоит ли возмущаться приговорами *военного* суда, в состав которого входят простые подполковники из пехоты и кавалерии, если с судьями, получившими специальное юридическое образование, приключился, например, следующий характерный казус:

С.-петербургский окружной суд в первом заседании без участия присяжных заседателей рассматривал дело Н. Ф. Анненского и Вл. Королевко. Председателем был Чубилов, членами суда—Бучинский и Пороховщиков, обвинил тов. прокурора Карнович по 1034 статье Уложения о наказаниях. Из речи защитника О. О. Грузенберга выяснилась грубая юридическая ошибка, в которой повинна сама судебная палата, увувившая из виду, что 1034 статья Уложения о наказаниях, на которую она ссылается, уже *более не существует*... (см. «Право» 1907 г. № 21).

*

Расскажу о случаях осуждения невиновных людей, о случаях, которые стали мне досконально известны за время моего скитания по тюрьмам.

В Севастополе проживал одно время молодой, лет 23-х, рабочий Никита Скрипиченко. Он входил в местную эс.-эр. организацию, и про-

славился целым рядом террористических актов. Это был человек буйного темперамента, смелый и находчивый партизан и ловкий конспиратор. Он долго оставался неприкосновенным, пока его не выдал некто Кабанов. Как-то за ним гналась полиция, он пустил в ход свой браунинг и, в конце-концов, был задержан. За вооруженное сопротивление военно-морской суд (делу дали скорый ход и даже не дождались заседаний выездной сессии военно-окружного суда) приговорил его к смертной казни. Летом 1908 г. — всего через неделю после ареста — его повесили. На суде он откровенно и с вызывающей гордостью перечислил все свои покушения и убийства. Это было ново тем более, что по делам, им совершенным, частенько арестовывались и осуждались люди совершенно посторонние. Припоминаю, наприм., Макара Дерябина и Ивана Спицкого.

Макар Григорьевич Дерябин, едва вступив в организацию эс.-эр., был арестован за хранение литературы. Донес на него рабочий Михаил Шелухин, заявивший следователю, что Дерябин и является убийцей надзирателя севастопольского порта Комаровского. Убийство это было совершено еще в марте 1907 г., и совершил его по постановлению эс.-эр. комитета один только Скрипниченко, Дерябин же был арестован зимой 1908 г. Несмотря на то, что десятка два свидетелей единодушно показывали, что по время убийства Комаровского Дерябин сидел дома с гостями, одного только показания Шелухина было достаточно для обвинения и приговора Дерябина к смертной казни. Возможно, что суд сам не был уверен в основательности своего приговора, потому что сам же он ходатайствовал о замене повешения пожизненной каторгой. Свой срок Дерябин начал отбывать в каторжном отделении московской пересылки.

Однажды Никита Скрипниченко смертельно ранил городского. Случайно был задержан в этом месте Иван Спицкий, парень пивестный, как пьяница и игрок на бильярде. Помощник пристава Жиров доставил его в больницу, и городской, являвшийся при смерти, признал в нем стрелявшего. Спицкого (кстати — несовершеннолетнего) повесили.

В том же Севастополе судился екатеринодарский рабочий Голиков, член эс.-эр. организации, устроивший в Керчи экспроприацию банка на 60 тысяч рублей. Случилось так, что в то время, как за ним шла погоня, в районе горы Митридат прятался некий Исаак Зайчик, обыкновенный нор-хармашик, только что освободившийся из арестантских рот и никакого отношения к этой экспроприации не имевший. Околоточный и двое городских задержали его. В экспроприации участвовало несколько человек, в том числе три бронека, Зайчик был

тоже брешет,—и вот он попадает на скамью подсудимых. На суде Голиков, конечно, отрицал всякое с ним знакомство. Голикова повесили, а Зайчику, тоже приговоренному к смертной казни, адмирал Вострем, от которого зависела конфирмация приговора, заменил казнь беззачетной каторгой. Под смертным приговором Зайчик просидел педаль три.

В сентябре 1907 г. один молодой эс.-эр. убил рабочего, занимавшегося, между прочим, и шпионством. Убийца служил конторщиком на том же судостроительном заводе, и так как он остался неузнанным, то назовем его, скажем, Чернилиным.

Весть об этом убийстве скоро распространилась среди всех жителей портового района и вызвала общее ликование: подобного рода акты всегда сочувствуют даже и принципиальные противники террора. В том же порту работал соц.-дем. *Владимир Кремлянский*. Войдя на следующий день в свою мастерскую, он обратился к кучке прихвостней администрации:

— Походите, мерзавцы, вам всем такая участь будет!—кричал он. Один из этой кучки донос об этом кому следует, и вечером Кремлянский был арестован у себя на квартире. Его обвинили в убийстве, совершенном, в действительности, Чернилиным.

Среди севастопольских рабочих того времени террор был в большом фаворе, и предатель Кремлянского был вскоре убит, причем мститель так и остался неразысканным. Стали хватать подозрительных для полиции лиц. Тут-то и обратили внимание на то, что Чернилин, до этого носивший длинные волосы, явился на занятие в контору короткоостриженным и стал держаться как-то с опаской. К убийству допосылка, который выдал Кремлянского, Чернилин отношения не имел.

Судьба, часто творящая такие замысловатые штуки, какие не всегда придумает и фантазер-беллетрист, угодно было, чтоб и Кремлянский, арестованный вместо Чернилина, и Чернилин, арестованный уже по новому, для него чужому делу, очутились в одной одиночке. Разобрав, в чем дело, они оба порешили действовать так: если Чернилин будет судиться первым и его приговорят к смертной казни, то он возьмет на себя действительно совершенное им первое убийство и облегчит положение невинного Кремлянского. Если же Чернилина приговорят только к каторге, то в своей действительной виновности он должен умолчать: располагая свидетельством многих лиц, Кремлянский рассчитывал на оправдание.

Вышло так, что первым судили Чернилина. Против него показывал городской и какой-то мальчик. Защищавший Чернилина адвокат так умело допросил мальчика, что тот расплакался и сознался, что

показывать против Черняпина научил его городской. Последний тоже сбился в своих показаниях, и Черняпин вышел из суда совершенно оправданным. Наступила очередь за Кремлянским. В свою пользу он выставил человек тридцать свидетелей, но то, что действительный убийца ускользнул из рук правосудия, и в особенности то, что выдававший Кремлянского доносчик был убит, сыграло решающую роль. Против него показывали четыре человека, лично против него озлобленных и смещивавших его, быть может, вполне искренно с похожим на него Черняпиным.

Кремлянский был приговорен к казни и повешен.

Очевидцы уверяли, что труп его был зарыт на свалке за городом. Вскоре свиньи, роясь в мусоре, раскопали его тело и изгрызли его. Когда об этом узнала мать Кремлянского, она впала в буйное помешательство и через месяц умерла.

В 1907 г. из севастопольской организации партии эс.-эр. выделилась почти вся боевая дружина и под руководством бывшего вольноопределяющегося Ростовского полка Афанасьева-Мартовского, осужденного на бессрочную каторгу за участие в декабрьском восстании и бежавшего во дороге в Сибирь, и бывшего соц.-дем. Богдалова-Андреева, составила новую группу террористов-экспроприаторов. Эта скорее анархистская, чем социалистическая группа, называлась «Свобода внутри нас».

15 октября пять человек из дружины выехали из Севастополя в Балаклаву с намерением экспроприировать тамошнее почтовое отделение. В посылки верстах от города они столкнулись с ехавшими в экипаже приставом Гвоздевичем и вахмистром Доброшинским. Гвоздевич заподозрил их в чем-то, остановил и потребовал паспорта, но те в ответ дали залп в него из своих браунингов: пристав оказался пристреленным на смерть, а жандарм спасся только тем, что, будучи легко ранен, притворился мертвым.

Не совершив задуманного ограбления, боевики сейчас же разъехались, но через два-три месяца некоторые из них были арестованы по предательству их же товарища Григория Голубева. Одного из группы, Михаила Кучерова, сейчас же судили и повесили, а остальные судились потом, в августе 1909 г.

Среди них очутился и Петр Ткаченко, сын зажиточных мещан, никогда ни к каким революционным группам не имевший никакого отношения. По подозрению он был арестован, а наружность его показала до того знакомой вахмистру Доброшинскому, что он признал в нем нехватавшего для комплекта боевика. В действительности, во время стычки с приставом и жандармом, Ткаченко находился в Феодосии и собирался в гости к своей тетке, но ее показания военный суд

не дал вероятия, и Ткаченко, приговоренный к смертной казни, уходит в Херсонский централ с бессрочной каторгой.

Еще до этого, в декабре 1908 г., по делу той же «Свободы внутри нас», привлекалось 17 человек,—из них четверо получили каторгу ни за что ни про что. Когда полиция арестовывала в гостинице действительного члена этой группы Рожановского, она заслоно прихватила и некоего Федора Саютина, случайно находившегося в другом номере этой же гостиницы. Он был знаком с Рожановским, следовательно есть основание обвинить его в принадлежности к той группе. С Саютиным я лично потом встречался на поселении в с. Знаменском, Верхотурского у., и могу с полной категоричностью утверждать, что членом «Свобода внутри нас» он не состоял.

Попав в тюрьму, Саютин завел нелегальную переписку со своими приятелями по воле — *Афанасием Пенковым* и *Мирошниченко*. Набравшись уже в тюрьме революционного духу, Саютин в письмах к ним, между прочим, поругивал правительство, сообщал тюремные новости и т. п. Письма эти попадают в руки полиции, и Пенков вместе с Мирошниченко привлекаются, как члены все той же группы, в которую они вовсе и не входили.

К этому же делу притянули еще и молоденького военного музыканта Георгия Гизера, первоначально арестованного по одному со мною делу о севастопольском восстании в ноябре 1905 г. Отбывая срок наказания, он бежал из тюрьмы во время массового (со взрывом наружной стены) побега оттуда. Пробыв на свободе ровно три дня, он был арестован на хуторе вместе с вышеупомянутым Афанасьевым-Мартовским. Деятельность группы «Свобода внутри нас» развивалась как раз в то время, когда Гизер сидел в тюрьме...

Мартовскому, как и без того бессрочному, заменили обычные восемь лет кандалного срока восемнадцатью годами, да еще ста сутками карцера; невинные Саютин и Пенков получают по шесть лет каторги, которые они и отбыли в Херсонском центральном; Мирошниченко, человека пожилого, наградили четырьмя годами и сослали в Никольский централ, а Гизеру, имевшему раньше три года простой тюрьмы, дали по совокупности (за побег и за «участие» в группе) девять лет, которые он и отбыл в Московском центральном.

Торопливость, с какой военные суды выносили смертные и каторжные приговоры, носила прямо-таки пстернический характер.

Когда вспоминаешь, что по делу о московском вооруженном восстании суду пришлось оправдать 78 человек; что по делу о люботин-

зсех (за Харьковом) восстании оправдано три четверти всего числа подсудимых; что много шумевшее дело о, так-называемой, Новороссийской Республике разбиралось три раза, причем иной приговор варьировался от четырех месяцев тюрьмы до смертной казни (напр., по отношению к учителю Бодлянскому); что шести колонистам Одесского уезда, избившим полицейского Слепака, который в пьяном виде приставал к их женам, *смертная казнь* («бунт!») была при новом разборе заменена *двухнедельным арестом*,—или наконец, что военный суд, заседавший в Екатеринбурге, приговорил к повешению Мартемьянова, Вольчермана, Людянова и Лукашенко, обвинявшихся в экспроприации артельщика, а другой суд, заседавший в Тюмени, и, на основании кассации, вторично разбиравший это же дело, всех четверых *оправдал*,—когда вспоминаешь подобные факты, то поневоле соглашаешься с утверждением известного московского юриста г. Тесленко, который квалифицировал работу нашего следственно-обвинительного механизма как *«продукт товарного и фабричного производства»*.

В статьях Вл. Короленко («Бытовое явление» и «Черты военного правосудия»), доктора Д. Жбанкова (в «Совр. Мире» за 1911 г.) и особенно в хронике журнала «Право», который мне удалось просмотреть уже в ссылке, будущий историк найдет обильнейший материал на эту тему. Такие дела, как шумевшая на всю Россию казнь невинного еврея Глускера, повешенного в 1907 г. за убийство купца Быховского, которого в действительности убила разбойничья шайка, орудовавшая в Черниговской губ. и впоследствии (в мае 1910 г.) осужденная за это же самое дело к повешению же; или смертный приговор над Кузнецовым, приостановленный ¹⁾ лишь на основании:

¹⁾ К несчастью, не всегда смертные приговоры приостанавливались. Так, напр., 19 января 1907 г. по делу о вооруженном сопротивлении были повешены в Одессе четыре человека: два брата Трегеры (18 и 20 лет), Оренбах и Зейгерман. Потом выяснилось, что они пали жертвой ужасной судебной ошибки. Мать Трегеров впадала в буйное помешательство и несколько раз пыталась покончить с собой. В газете «Речь» (20 августа 1908 г.) мне случайно попалась заметка, в которой сообщалось, что в Самаре повешены были три человека, а через два часа после казни появилось распоряжение отсрочить казнь... Может быть, и эта троица была невинна!..

Но если прокуроры торопятся вешать, то они и не думают бороться в тех случаях, когда им приходится объявить отмену повешения. Так, напр., 5 июля 1910 г., в самарской губернской тюрьме некий Нефедов, будучи приговорен к смертной казни и не желая умереть на виселице, поджог матрац и пытался сброситься с лестницы. Когда об этом сообщили прокурору, оказалось, что у него в канцелярии уже несколько дней имеется распоряжение об отмене Нефедову смертной казни...

тревожной телеграммы его защитников, на имя министра с клятвенным уверением в невинности Кузнецова в убийстве городского или такое дело, как смертный приговор, вынесенный одесским военным судом в отношении ученика зубо-врачебной школы *Переца* Айзенберга, обвиненного (весной 1908 г.) в ограблении артельщика Сорокина; Сорокина на самом деле ограбил старый вор-рецидивист *Лейба* Айзенберг, опознанный по карточке в сыском отделении, но впопыхах полиция арестовала не его, а однофамильца его — *Переца* Айзенберга, — такого рода дела надолго останутся памятниками Щегловитовского правосудия. Таких дел, между тем, было десятки, а то и сотни.

Не меньшим украшением этого сорта правосудия являются и такие следователи, как прогремевший по всему лицу земли русской *Лыжин*, дошедший до форменных подлогов в громком процессе армянской революционной партии «*Дашнакцутюн*», или екатеринославский следователь *Шпиганович*, у которого была манья стряпать грандиозные процессы с сотнями подсудимых и свидетелей. Так он состряпал в Екатеринославе дело 102 анархистов. Тут были и действительно идейные люди, и интеллигентная молодежь, свихнувшаяся на путь вульгарных ограблений, и, наконец, ворышки-рецидивисты, никогда и во сне не думавшие, что когда-нибудь окажутся «принятыми» к процессу анархистов.

В числе последних неожиданно для себя очутились два карманника — *Жан* и *Кодраш*: первый угодил на 20 лет, а второму досталась бессрочная каторга, за мнимое участие в одном из дел, приписывавшихся этим 102 анархистам — за участие в ограблении банка.

Попались они так:

На вокзале они вытащили из чьего-то кармана бумажник с 2500 руб. и на радостях закутили, пригласив особу, бывшую любовницей полнейшего пристава. Особа эта и чем-то не поладила с ними и довела на них своему представу.

Как раз в то время нужен был людской материал для подготовляемого *Шпигановичем* громкого процесса, и вот пара воров, всегда сознательно избегавших экспроприаций, зная, что самая пустяковая экспроприация карается строже хотя бы и крупной кражи, была втянута в одну компанию с анархистами... И *Жан* и *Кодраш* отбывали каторгу в Херсонском центре.

Характерен также и тот факт, что множество показаний и признаний вынуждается посредством избиений и истязаний. Хропика этих экспроприаций, собранная в одно целое, производит ошеломляющее впечатление, а между тем экспроприации эти зарегистрированы документально, —

вспомните хотя бы пытку в рижском застенке под руководством Грегуса, продолжавшего свои подвиги даже в 1916 г. в Харькове, где он, немец родом, обратился в Марковского.

Вот один из многих случаев этого рода. Записал я его в Орле.

Девятого июня 1907 г. на кассира стеклянного завода села Ивота, Брянского уезда, Орловской губ., было совершено разбойное нападение. Из двух стражинок, сопровождавших кассира, один был убит, а другой ранен. Ранена была и лошадь кассира, которая сторяча увезла его вместе с деньгами. Все мало-мальски подозрительные люди арестовывались.

В таких случаях в категорию «подозрительных» попадают все известные полиции воры, или даже простой обыватель, сидевший в тюрьме, а то и партийный рабочий, скрывающийся от полиции, хотя бы по соображениям, ничего общего с данным ограблением не имеющим. Полиция и сыщикам ведь не до тонкостей, сантиментальничать с российскими гражданами им не к лицу. Знают они, что многие бывшие и настоящие революционеры из партийной молодежи попадались на «эсках», вот и забирают всякого, кто кажется им «подходящим».

Через несколько дней после неудавшегося ограбления полиция арестовывает рабочего Карпова, проживавшего в тридцати верстах от станции Ивота. Во время допроса помощник пристава второго стола Брянского уезда Мотин страшно избил его. Чтоб прекратить истязания, Карпов крикнул:

— Сознаюсь!.. Это я, я ограбил!..

— Ага! Наконец-то! Говори, кто еще участвовал? — обрадовался Мотин.

Но Карпов сам к этому делу не был причастен и назвать кого бы то ни было, разумеется, не мог. Тогда стражиныки принялись еще сильнее избивать его и при этом стали подсказывать некоторые фамилии. Назвали ему каких-то Бузова и Владимира Павлова. Карпов поспешил признать их своими соучастниками, после чего избивание прекратилось. Тех двоих немедленно арестовывают, причем когда забирали Павлова, он бросился бежать, но кто-то подставил ему ногу, и он упал. Видя, что арест неминуем, он выхватил из кармана браунинг и швырнул его в сторону.

На допросе у следователя Карпов отказался от своих прежних показаний и заявил, что сам он в ограблении не участвовал, что Бузова и Павлова он назвал только для того, чтобы его скорее отвели в тюрьму. На суде документально, выписями из книг и таблиц, установлено было, что в момент ограбления Бузов находился совсем в дру-

том месте, а именно на заводе, где работал, а Влад. Павлов... а Влад. Павлов лежал в это время больной в лечебнице. Военный суд обоих оправдал, а Карпова все-таки повесили 14 декабря 1907 г. Но он невинен: в нашем Орловском центре некоторые каторжане знали действительных участников ограбления, все они остались на воле..

Во всяком случае, в отношении Бузова и Павлова полиция дала маху, потерпела фиаско. Но это ведь ее компрометирует. Надо, следовательно, взять реванш. И вот она поднимает новое дело против Павлова: она теперь обвиняет его в том, что во время ареста он не просто швырнул свой брауниг в сторону, а якобы целился в жандарма. Об этом обстоятельстве при первом разборе дела *не было сказано ни одного слова*. Теперь Влад. Павлова, уже выпущенного было на волю, снова арестовывают и «за вооруженное сопротивление при аресте» приговаривают к казни. В марте 1908 г. его повесили в орловской тюрьме.

Знакомясь с иными невинно-осужденными, видишь, как забитость, неразвитость и бестолковость русского обывателя, особенно крестьянина, часто служит причиной тому, что такой безъязычный русский обыватель зря попадает на каторгу. Необычная для простодушна обстановка суда, слабое сознание своих прав сковывают такого податливого, осуждают его на пассивность и чисто рабский фатализм: в лучшем случае он у следователя и на суде воет и божится в своей невинности, не будучи в силах толково и убедительно доказать ее. Мне думается, что в Англии или в Америке неоправданный в приписываемом ему преступлении простодушный не дал бы себя в таких случаях поучить.

В Орловском центре сидел со мною рядом Егор Талалаев, служивший кондуктором на Варшаво - Венской железной дороге. Когда чиновник, заведывавший бригадой, скверно обращавшийся с подчиненными, был убит одним эс.-эр., благополучно скрывшимся, то, в качестве обвиняемого, привлечен был Талалаев, как-то в присутствии других выразивший по этому поводу:

— Собаке собачья и смерть...

Во время убийства Талалаев находился у себя дома; с убитым чиновником лично у него не было никаких столкновений; ни в каких партийных группах он не принадлежал; по характеру он человек тихий, уступчивый и безбидный,—но все это не мешало ему получить 17 лет каторги. По манифесту 21 февраля 1913 г. ему сбросили одну треть срока, но это не спасло его от роковой участи, на которую обречено большинство долгосрочных: заболев чахоткой, Талалаев умер в следующем 1914 году.

В той же тюрьме находился Иван Пахомов, крестьянин Воронежской губ., робкий и богомольный мужиченка. Какие-то парни, отпраздняясь на ограбление, зашли к нему по дороге купить молока. Потом они были пойманы, судимы и повешены,—ограбление было с убийством. Пахомову же, не имевшему никакого представления ни о них, ни об их замыслах, суд дал 15 лет каторги, якобы, как «соучастнику».

В одной с ним камере жил крестьянин Киевской губ. Павел Карнаухов. Как-то он подрался со своим земляком, человеком мелочным и метильным. Когда поблизости случилось ограбление и преступник скрылся, однодеревенец Карнаухова донес на него полиции, и даже на суде оговаривал его. Неотесанному и неумеющему связать пары слов, но абсолютно невинному Карнаухову дают четыре года каторги. Находясь уже в нашем централье, он получил письмо от своего погубителя буквально следующего содержания: «Я на тебя навраал. Я думал, что тебя продержат немного и выпустят, а оно вышло не так. Я ходил к батюшке, и он сказал, что это я сделал грех непростительный, и Бог меня накажет. Прости и скажи, что теперь делаю, я готов хоть сам сесть на твоё место, потому—совесть мучает».

Родные Карнаухова ходили к адвокату вместе с этим свидетелем. Но за хлопоты по ведению столь сложного дела адвокат потребовал двести рублей,—и те махнули на все рукой.

Случай в роде приведенного выше с одесситом Перцем Айзенбергом, приключился и с одним нашим бессрочным каторжаннином Павлом Солодовниковым, жителем деревни неподалеку от станции Злынка, Черниговской губ. Какой-то Александр Солодовников, до этого проживавший в Клеве и направлявшийся в поисках за работой в Черниговскую губ., по дороге ограбил енрейку и скрылся. Потом он совершил другое преступление в другом месте, и получил за него 20 л. каторги. Придя в Орел, он очень удивился, когда узнал, что там сидит еще один Павел Солодовников, осужденный на бессрочную каторгу за дело, которое совершил он сам, Александр Солодовников. Переменить свои 20 л. на бессрочную, ему очень не хотелось, и сто злослучный однофамилец продолжал ни за что, ни про что тянуть каторжную лямку.

* * *

Весьма характерным в отношении бытовой обстановки, но и весьма ужасным в отношении последствий является дело, подробности которого мне досконально известны.

В ночь с четвертого на пятое сентября 1907 г. на контору бутылочной фабрики в селе Звеберь, Брянского уезда, Орловской губ. было совершенно вооруженное нападение. Перерезав телефонную проволоку, соединявшую контору с полицейским станом, двое грабителей, обвязав лица тряпками, ворвались в комнату, где занимались конторщики, и крикнули:

— Руки вверх!.. Ни с места...

Один из них держал револьвер над головой испугавшихся служащих, а второй стал разбивать ломиком денежный ящик. Не сумев справиться с этим, он вышел в сени, позвал стоящего там третьего соучастника, и вдвоем они сделали все, что нужно. Забрав деньги и лежащие в ящике конфеты, экспроприаторы скрылись, сделав при этом выстрел в потолок.

Конторские служащие от неожиданности и испуга долго еще боялись говорить, но, придя в себя, дали знать фабричной администрации, а потом стали звонить в телефон. Когда ответа не получилось, некоторые поехали на дрезине до первого полустанка и оттуда уже сообщили с приставом. На место происшествия последний приехал лишь к семи часам утра следующего дня.

Тут же при фабрике жил конторский мальчик и писарек Федор Сергеев. Квартыровал он у Кривцова, и с его 19-летним сыном водил дружбу. Сам он был парень нервный и впечатлительный, робкий и обыкновенно боявшийся даже спать один. И на этот раз ночь с 4-го на 5-ое сентября он провел вместе с Иваном Кривцовым. Большой трус, Сергеев тем не менее любил корчить из себя героя, и, услышав про чью-нибудь отчаянную выходку или смелый поступок, он полусерьезно, полуплути уверял всех, что то-то и то-то дело его рук. Участвовавшие в это время и особенно в их фабрично-заводском районе грабежи и экспроприации давали обильную пищу фантазии этого юнца, он долго и часто бахвалился подвигами, совершенными совсем другими. В семье Кривцовых знали про эту его слабость, часто подсмеивались над ним, или же, шутки ради, кто-нибудь из них бывало стукнет в окно и грозно спросит:

— А где здесь живет Федор Сергеев, известный террорист и экспроприатор?.. Именем закона арестуем его...

Услышав это, Сергеев начинал всерьез плакать, а присутствовавших при этой сцене это еще больше забавляло. Даже впоследствии, сидя в тюрьме, Сергеев любил рассказывать арестантам о якобы совершенных им ограблениях и убийствах, о которых он знал с чужих слов, а то и просто сочинял экспромты. При этом он так путал обстоятельства времени и места, что товарищи скоро решили,

что он «меланхоличный», и вовсе перестали прислушиваться к его болтовне.

Предоставляю специалистам-психиатрам определить сущность и форму душевной болезни этого юнши.

Утром пятого сентября Сергеев пришел в контору и тут *впервые* узнал о героическом, по его мнению, происшествии, имевшем место накануне ночью. Когда он пошел домой завтракать, он по дороге рассказал знакомому лесничему про местную повесть дня.

— Вот, дядя,—пробавил он при этом,—и я скоро приду к вам и скомадную: «Пр-руки вверх!.. Деньги—или бомба!.. Вот будет потеха!»

— Приходи, приходи, братец,—отвечал ему лесничий:—у меня для таких молодцов свиновые орехи приготовлены.

Разговорившись как-то с приставом Золотовым, лесничий, между прочим, передал ему и свой разговор с Сергеевым: дескать, какая молодежь нынче пошла, что у нее на уме лежит!.. Золотов призывает к себе Сергеева и спрашивает:

— Знаешь ли что-нибудь про это дело?

— Как же!—отвечает тот, не задумываясь.—Ведь, «эсе»-то я и сделал!

— Ты?!—удивляется Золотов.—Ну, а еще кто был с тобой?

Сергеев начал сыпать фамилиями знакомых рабочих, какие только пришли ему в голову. Конторщики видели троих грабителей. Сергеев же назвал не более и не менее, как восемнадцать человек участников. Всех их тотчас же арестовали, строго допросили, но оказалось, что в ту ночь они все до одного не отлучались из мастерских, где находились на ночной смене. Их, разумеется, выпустили, но самого Сергеева пристав на всякий случай задержал.

Когда стали соединять прерванную телефонную проволоку, то неподалеку нашли какую-то фотографическую карточку, запачканную, погустертую и, очевидно, давно уже лежавшую в грязи. У пристава явилось подозрение, не грабителям ли она принадлежит? Правда, это, должно быть, совсем уже особенные грабители, которые идут «на дело» с photographиями в кармане, но Золотов, предположив, что она могла быть утеряна грабителями случайно, начал расспросы, пока не установил, что один из двух изображенных на фотографии юношей есть Константин *Тимошков*.

Жил он в семи верстах от Знебери, в селе Стари. Являются к нему с обыском, допрашивают, и он показывает, что другой сытый с ним на фотографии—это *Алексей Кудрявцев*, живший в том же селе и работавший слесарем на Мальцевской фабрике. Двинулись и к Кудрявцеву. У него на квартире нашли конфеты и отвертку, кото-

рой выпинают гвозди. Возможность своего участия в ограблении Кудрявцев категорически опроверг: весь вечер и всю ночь с 4-го на 5-ое сентября он провел у себя дома, т.-е. в семи верстах от Знеберя; подтвердить это могут все соседи, а также некий Николай Салов, проводивший эту ночь в доме Кудрявцевых. Идут арестовывать Салова. Золотов разыскал его в другом месте, и он, не зная, в чем дело, сейчас же подтвердил слова Кудрявцева. На всякий случай пристав задержал и Тимошкова, и Кудрявцева с Саловым.

По подозрению взяты были еще: Иван Щетинин, дней за 15 до ограбления поступивший на бутылочный завод, и известный приставу, как член эс.-эр. организации, затем Дмитрий Нефедов, Семен Маслов и дочь заводского служащего Мария Евсютина. У Щетинина на квартире нашли марлевые бинты и тут же вспомнили, что грабители были с обвязанными лицами. Были конфискованы также и его ботинки. Золотов примерил их к следам возле конторы и признал, что это следы именно от ботинок Щетинина.

У Нефедова нашли патрон от револьвера Смит-Вессон 320 калибра. Нефедов был известен, как очень энергичный и деятельный эс.-дем., тем более, что он уже отсидел в тюрьме восемь месяцев за агитацию среди крестьян. Золотов давно уже точил зубы на этого неспокойного рабочего и воспользовался первым подходящим случаем, чтобы арестовать его.

Когда пристав вторично допросил Сергеева, тот снова заявил, что ограбление совершил он и его приятель Иван Кривцов. Их обоих, вместе со всеми вновь арестованными, свезли в стан, причем в течение целого часа стражники избивали Щетинина, Маслова и Кривцова, требуя от них признания. После допроса в стане, Золотов освободил Маслова, Евсютину, которую знал лично, и Тимошкова, сына лавочника, снятого на одной карточке с Кудрявцевым. Сергеева же пристав держал на своей собственной квартире, отдельно от остальных. Своими соучастниками Сергеев теперь признал, кроме Кривцова, и всех остальных, в том числе и тех, которых Золотов отпустил на свободу.

В действительности же Сергеев никогда и в глаза не видал Нефедова, Тимошкина, Кудрявцева и Салова. Когда пристав назвал ему последних двух, он стал кутать, то признавая их своими знакомыми, то нет; когда же Кудрявцев потребовал, чтобы Сергеев тут же указал в лицо, кто именно Кудрявцев и кто именно Нефедов, то Сергеев не мог сделать этого.

Должно быть, сам пристав не очень-то верил Сергееву, и всех арестованных держал при стане совершенно свободно. Дням они могли уходить куда угодно, и только на ночь должны были возвращаться

назад в стан. Им легко было скрыться, но они этого не делали, полагая, что и сам пристав освободит их. В таком положении они находились дней десять, после чего все шестеро были отправлены в брянскую тюрьму, когда дня через два следователь допросил Сергеева, последний начал пороть всякий вздор: Нефедов и Щетинин ломали ящик, а он, Сергеев, держал револьвер... (самое эффектное он себе взял), Кудрявцев будто бы стоял где-то на улице, а Садов, мол, хотел участвовать в «эксе», но не успел прийти во время.

— Ну, ваше высококородие, теперь отпустите меня домой,—я ведь вам все сказал,—добавил Сергеев, но следователь, конечно, отказал ему. Выйдя от него в переднюю, Сергеев сказал конвоировавшему их городовому:

— Дядя, а что, если я все неправду сказал, мне хуже будет?

— Ну, да,—ответил тот:—надо правду говорить.

Услышав это, Сергеев заплакал и просил, чтобы его опять пустили к следователю. На этот раз он показал, что на ограблении он вовсе не был, и назвал свидетелей, которые могут доказать, что в ту ночь он спал дома, вместе с Кривцовым. Потом Сергеев то уверял, что оговорил остальных арестованных по наущению пристава, который обещал выпустить его за это на свободу, то божился, что сделал это, не подозревая, что из этого может получиться столь хлопотливая история.

Из тюрьмы он писал прокурору о своей и всех других непричастности к делу. Еще в участке пристав спросил его, куда он девал револьвер, которым был вооружен один из грабителей. Сергеев указал одно место и чьем-то огороде; стали копать и рыть там, но решительно ничего не нашли.

Сергеева осматривали врачи, которые и нашли, что он душевно здоров. *Странно...* ¹⁾.

Несомненно, что произошли все это не в такое тревожное время и разбирайся не в военном, а в обыкновенном суде, все эти юноши,

¹⁾ Я, конечно, не берусь судить об основательности этого заключения. Но до чего иной раз бывают несовершенны психиатрические экспертизы, вот тому пример. В 1913 г. некто А. Головач, кончивший гимназию, похитил у товарища паспорт, по которому пытался получить с почты 100 р., и кроме того составил и отпечатал указ на свое имя о том, что великий князь Николай Николаевич возводит его в звание придворного камергера. У следственной власти возникло подозрение в его душевном здоровье. Врачи первой психиатрической больницы (Винницкой, в которую его поместили сначала, признали его здоровым, зато психиатры Киевской и Харьковской лечебниц, куда он попал для вторичного исследования, нашли, что он страдал и страдает тяжким душевным недугом. Суду его все-таки передали, но присяжные вынесли оправдательный вердикт и собрали для него 11 руб.

наже если бы не были освобождены до суда, то были бы оправданы на самом суде, а пристав Золотов и судебный следователь получили бы нагоняй за свое чрезмерное усердие и за свой слишком уже неумеренный административный восторг. Ведь был же случай («Правда» 1907 г. № 11), что полтавский военно-окружной суд, пред которым прошла ужасная картина полицейского донесения, оправдал пятерых подсудимых по статье, которая угрожала им смертной казнью, — и это, несмотря на то, что обвиняемые «сознались» в том, чего они вовсе не делали.

В данном случае суд, вероятно, был затинговизирован совпадением целого ряда обстоятельств: фотографическая карточка недалеко от места происшествия, конфеты и отвертка у Кудрявцева, патрон у Нефедова, блины у Щетинина, показания заправшегося и запугавшегося психопата Сергеева...

При разборе дела выяснилось, что фотографической карточки у самого Кудрявцева не было; в Знеберн он ни разу не был, так что не мог даже обронять ее; Тимошков, которого пристав освободил и который снят вместе с Кудрявцевым, был любитель-фотограф, и на прилавках отцовского магазина у него всегда валялись карточки, виды и т. п.; по всей вероятности, кто-нибудь из покупателей в лавке Тимошковых случайно забрал ее, а потом уронил или бросил, что могло произойти задолго до ограбления, так как доставленная приставу фотография была довольно истерта; возможно еще, хотя и менее вероятно, что снимок этот как-нибудь попал к жившим в этом районе участникам ограбления, и они, чтобы отвлечь внимание, нарочно подбросили ее недалеко от места происшествия ¹⁾.

¹⁾ Мне известен один действительный случай в этом, приблизительно, роде, когда на каторгу угодила женщина, ни в чем неповинная. Случай этот тем более возмутителен, что некрасивую роль сыграл тут человек, претендовавший на звание идейного. Неккий Захар Дори организовал из молодежи учеников уфимского ремесленного училища кружок анархистов и вместе с двумя юнцами совершил зимой 1907 г. экспроприацию каких-то торговых бань. Забрали они всего рублей восемь, много, впрочем, не убив и не ранив. Одного из павших, 17-летнего Кулагина, арестовали по свежим следам и основательно избили в сыском отделении.

Еще до этого Дори условился с ним, чтобы в случае ареста, если уж неизбежно будет назвать кого-нибудь, он назвал бы своим соучастником некоего Боголюбова, нормально похожего на самого Дори. Кулагин так и сделал. Петерлевский и свидетели чистосердечно приняли одного за другого, и Боголюбов, имевший чужацкого отношения к делу, приговаривается, вместе с Кулагиним, к смертной казни... Губернатор Костяк, главнокомандующий казанским округом, заменил им поешенные каторгой: Кулагину десятью, а Боголюбову двенадцатью годами.

По дороге в Сибирь Кулагин был убит арестантами: ему отомстили за то, что, слушаясь Дори, он погубил невинного человека.

Отобранные у Кудрявцева конфеты кассир не признал своими: похищенные у него были другого сорта и другой фабрики. Простая отвертка от гвоздей, которую суд, поверив эксперту, признал орудием, подходящим для взлома *женского* ящика, — вещь самая обыкновенная в доме, особенно у фабричного слесаря.

Патрон, найденный у Нефедова, был 320 калибра, тогда как выпущенная грабителями пуля была 380 калибра. Орудованье револьвером Сергеев приписывал лично себе, следовательно, сам Нефедов тут не причем, тем более, что патрон, лежавший у него в кармане жилетки, был выстрелен им еще в марте, т.-е. за полгода до ограбления, и оставлен им у себя для тросточки. Да и что это за грабитель, который, сделав выстрел в потолок конторы, прячет патрон в жилет и держит его вплоть до ареста?.. Происхождение бинтов, найденных у Щетинина, последний объяснил тем, что брат его фельдшер, а сам он, как слесарь, держал их у себя, чтоб перевязывать порезанный палец и т. д. Что касается следов от его башмаков, то, начиная с двенадцати часов ночи, когда совершено было нападение, вплоть до того времени, когда пристав, приехавший на место (лишь на следующий день), сделал примерку, там ступали десятки ног, и имелись сотни следов.

У Салова и Кривцова ничего подозрительного найдено не было, и судились они исключительно поговору Сергеева. Сам Сергеев на суде рыдал, как ребенок, но показания его носили тот же сумбурный и вздорный характер, что и прежде. Конторские служащие не признали *никого* из подсудимых, не признали даже Сергеева, одно время величавшего самого себя главным участником ограбления.

Военный суд (председателем был генерал Милин, а прокурором полковник Железов) вынес следующую резолюцию: 1) Федора Сергеева приговорить к смертной казни, но в виду его чистосердечных показаний, замедлить повешение 20-тью годами каторги; 2) Дмитрия Нефедова, Ивана Щетинина, Алексея Кудрявцева и Ивана Кривцова приговорить к смертной казни; 3) Николая Салова — к двум годам крепости. Кудрявцеву и Кривцову, в виду их несовершеннолетия, повешение заменить двадцатью годами каторги.

Адвокаты, в особенности один из них, г. Афонский, все время ставили подсудимым на вид, что они имеют дело с военными судьями, раздраженными совершающимися кругом убийствами и ограблениями и не любящими вникать в сложные подробности подобных дел, — поэтому, мол, лучше и проще всего всем признать себя во всем виновными, просить снисхождения, остаться в живых, а потом уже ходатайствовать о пересмотре дела. Но наши юноши, наименее и просто-

сердечные, никак не могли согласиться наклепать на себе напраслину.

Кассацию приговора они не подавали. Адвокаты, должно быть, привыкшие к порядкам военного правосудия, относились к делу халатно, а подходящих связей и денег у подсудимых, рядовых рабочих, тоже не было. До приведения приговора в исполнение защитники два раза приезжали в тюрьму и убеждали Нефедова и Щетинина послать телеграмму на имя царя с просьбой о помиловании. Но те не согласились на это. Да и не верилось им, чтобы все это всерьез было: ведь еще до перевода их в тюрьму пристав Золотов держал их так свободно, что они могли бы легко скрыться.

В ночь с 14-го на 15-ое марта 1908 г. Дмитрий Нефедов и Иван Щетинин были повешены.

Сергеев, Кудрявцев и Кривцов были отправлены в нашу орловскую каторжную тюрьму. Салов отбыл свои два года крепости, но, сидя в тюрьме, заболел чахоткой и через месяц по выходе на волю умер. Кривцов, кстати, в отличие от остальных, ярый монархист. парень тихий и богомольный, до ареста разъезжавший с матерью по монастырям и никогда не знавшийся ни с революционерами, ни с экспроприаторами, не вынес всех этих тревожений. По приходе в централ, он вместе с остальными был страшно избит кулаками и резинками, таков был у нас порядок при инспекторах фон-Кубе и Сербиллове и начальниках Мадневиче и Синайском. То же было и с Кудрявцевым, которого Синайский даже выпорол розгами за протест против избиений. Кривцов по целым дням плакал, плакал, зачах и умер. Кудрявцев, на редкость честный и искренний, целомудренный телом и душой, стройный и крепкий юноша, попал в централ цветущим и румяным, схватил туберкулез и, будучи на плохом счету у начальства, был переведен в херсонскую каторжную тюрьму.

Читатель, быть может, спросит: какова же похищенная сумма, из-за которой погибло столько юных жизней?

А вот: по бухгалтерским книгам из денежного ящика было забрано грабителями 40 р., *сорок рублей*. Из них 12 рублей грабители уронили в конторе же. Следовательно, на двоих повешенных, двоих умерших и двоих, томящихся на каторге, приходится около 28 рубл., по 4 рубля 70 коп. на душу человеческую. Как будто дешево...

* * *

Не менее трагично было положение п. п. с-вца Рогова и с.-д. Барциковского, осужденных по делам, которых они не могли сделать уже по одним принципиальным соображениям.

В 1908 г. некоторые члены радомского окружного комитета: п. п. с. Шенк, Гарбовский, Мушальский и Доманский были привлечены к суду за вынесение террористических приговоров. Их несколько раз судили за это, но за полным отсутствием фактических улик приходилось их оправдывать, и только после убийства жандармского офицера в Радоме их приговорили к казни, замененной потом *бессрочной каторгой*¹⁾.

Членом окружного комитета п. п. с. состоял, между прочим, и один типограф еврей Герш Рогов (кличка «Густав»), очень образованный и серьезный, в высшей степени преданный делу социалист, идеалист, каких мало. Через год после осуждения его товарищей он был арестован вместе с Пекарским (кличка «Гриб»), инструктором босвой организации, действительным террористом, совершавшим прямо легендарные подвиги. Рогов не только не имел отношения к убийству жандармского офицера, но *все время энергично восставал против террористической практики п. п. с.*

Все это дело носило лубочно-тенденционный характер, но уж одно нахождение на одной скамье с Роговым известного террориста Пекарского решило его участь. Обоих приговорили к повешению. 5 июня 1909 г. Рогова и Пекарского повесили в варшавской птадели.

До самого последнего момента Рогов держался с удивительным самообладанием. Однажды ночью жандарм открыл дверь их паземата и объявил им, будто к ним пришел адвокат, ожидающий, мол, их в конторе. Они сообразили, что это значит. Пекарский, несмотря на обычную для него храбрость, выдержку и стойкость, растерялся, но Рогов взял его под руку и вместе с ним направился к эшафоту. До этого он оставил прощальное письмо с призывом не прекращать борьбы за политическое и социальное освобождение рабочего класса. Жена Рогова, жившая в то время в Париже, узнав подробности казни мужа, сошла с ума.

В Царстве Польском при генерал-губернаторе Сялонке так уже велось, что если где-нибудь происходило убийство на политической почве и непосредственный виновник не оказывался под руками, то так или иначе, но кто-нибудь из его, хотя бы самых отдаленных единомышленников, должен был непременно пострадать за это. Тут

¹⁾ Из них Гарбовский — талантливый человек и почти идеальный правовец — отбыл каторгу в Орле. После амнистии 1917 г. он, как мне передавали, покончил самоубийством...

практиковалась своеобразная круговая порука. Жертвой этой системы и пал Рогов ¹⁾.

Не лучше обстояло дело и с Александром Барциковским.

В 1907 г. аптекарский ученик, по фамилии Копейка, член эс.-эр. организации гор. Ровно, убил охолоточного надзирателя Калиновича. Убийство это произошло вечером в цирке. Молодому террористу удалось скрыться и бежать в Америку. Были произведены массовые обыски, забрали и эс.-эр., и с.-д., вообще всех, кто наиболее известен был полиции. Однако, из 18 человек арестованных, 17 пришлось освободить—слишком уже очевидна была несомненная их непричастность к этому делу.

Зато арестованный вместе с ними Барциковский, бывший прапорщик, уволенный из полка по подозрению в сочувствии социалистам, за немнем более подходящих, был оставлен на пожизн. Сестра убитого Калиновича и ее жених (тоже полицейский надзиратель), знавшие Барциковского как революционера, были почему-то уверены в том, что он знает местонахождение настоящего виновника, и вообще имеет касательство к делу.

Барциковского предали суду. В пользу его совершенной непричастности показывали многие свидетели, против него говорили только сестра Калиновича и ее жених. Но в числе судей было три пехотных офицера из того самого полка, из которого исключили Барциковского; они были заранее предубеждены против него, как против ермольника, а считаться, например, с тем, что Барциковский, убежденнейший социал-демократ, не мог участвовать в террористическом акте,—у них не было ни желания, ни умения. Защищал Барциковского присяжный поверенный Марголин из Киева. На суде он, между прочим, хотел было прочесть официальное заявление, вынужденное комитетом парт. соц.-револ. и категорически удостоверившее, что Калиновича убил член партии Копейка. Но председатель суда, генерал Антонов стал кричать на адвоката, грозил лишить его слова и так и не дал ему прочитать вслух этот документ.

Барциковский был приговорен к бессрочной каторге и отправлен в Орловский централ, где я с ним лично и встречался.

¹⁾ В фабрикации таких дел особенно отличался *Вонсяцкий*, умный и изобретательный инквизитор из жандармских офицеров. Особенно любил он плодить провокаторов, улавливая в свои сети слабодушных революционеров, и за соответствующие услуги освобождал их даже от виселицы,—среди военных судей имя Вонсяцкого пользовалось огромным весом и авторитетом. Однако, в конце-концов, он пал от руки своих же агентов—«откровеников»: козенник *Плютковский* и ж.-дор. рабочий *Сталеневич*—оба члены и. п. с.,—«проработав» некоторое время у Вонсяцкого, рассказали, во всем сознались своим бывшим товарищам, и по их постановлению, 3-го июля 1910 г. убили Вонсяцкого у него же в кабинете, после чего тут же оба покончили с собою из браунингов...

* * *

По случаю ремонта моей одиночки мне пришлось прожить некоторое время с каторжанином Мефодием Никулиным. Это был здоровенный и плотный, лет 33, мужчина, с черными волосами и туповатым исподлобья взглядом. Всегда молчаливый и угрюмый, он и на прогулке ходил с опущенной головой, смотря вперед себя в одну точку. Он совершенно безграмотен, удивительно неразвит и туг на понимание чего-либо отвлеченного.

На воле у него остались жена и ребенок. Одного брата, осужденного за ограбление и сосланного в наш же централ, забили здесь на смерть. Другой его брат, как и очень многие из рабочей молодежи того времени, «*вдарился о эсы*», как выражался Никулин. Однажды, после неудачного ограбления, он, будучи ранен, прибежал к Мефодию и через несколько дней умер. Сам Мефодий ни в каких экспроприациях отношения не имел, но под влиянием паняки, наведенной деятельностью военных судов, он, во избежание ареста и других осложнений (брат его оставил на квартире несколько оболочек от бомб), переселился в далекую Сибирь, где и устроился монтером на золотых приисках. Он уже собирался выписать к себе свою семью, как вдруг его арестовали. Дело было в следующем.

Еще 17 мая 1907 г. в одном руднике, отстоящем верст на 17 от того места, где в это время находился Никулин, был убит инженер Шарыгин, очень скверно обращавшийся с рабочими. Что во время убийства Никулин находился далеко от того места, было установлено впоследствии табелью и конторскими записями. О самом инженере Шарыгине Никулин ничего не знал, а подробности убийства стали ему известны лишь от других лиц, и то лишь тогда, когда он года через три попал в екатеринославскую тюрьму. Следствием было установлено, что в убийстве Шарыгина участвовал какой-то Никулин, а так как Мефодий обратил на себя внимание полиции своим внезапным исчезновением после смерти брата-экспроприатора, то его и стали усиленно разыскивать. Затем, где-то под Луганском одной группой эс.-эр. организовано было нападение на конвой, с целью освобождения арестованных. В качестве соучастника в этом деле тоже заподозрен был все тот же Никулин.

Узнав, где находится Мефодий Никулин, полиция распорядилась арестовать его. Из дремучей сибирской тайги он был доставлен этапным порядком в Екатеринбург. Уже сидя в тюрьме, Никулин узнал, что в соседней камере готовится побег, и что, если все сойдет благополучно, то, быть может, открыты будут и другие камеры. Ни-

кулин, на всякий случай, перешил свои кандалы (в виду серьезности обвинения его держали закованным). Однако, до побега не дошло: один уголовный донес обо всем начальству. Стали ходить по камерам, делать обыски. На том основании, что у Никулина тоже порезаны кандалы, его тоже «припаяли» к делу о побеге, и вплоть до суда держали изолированным рядом со смертниками.

Привлекли еще Мефодия Никулина и за принадлежность к партии соц.-рев., о каковой партии он даже и теперь имеет самые смутные и обивчивые представления.

— Если бы я такими делами занимался, — говорил он мне, — тогда другое дело, а то, какой из меня партийный, когда я грамоте не умею и когда я — человек семейный...

Дело об убийстве инженера Шарыгина, имевшем место в 1907 г., разбиралось лишь в 1911 г.

Мефодия Никулина обвиняли: 1) в укрывательстве брата, забавлявшего к нему с оболочками от бомб в руках; 2) в участии в убийстве Шарыгина; 3) в нападении на конвой под Луганском; 4) в принадлежности к партии с.-р.; 5) в покушении на побег из екатеринославской тюрьмы.

Небрежность судопроизводства — поразительная. Такие наглядные несообразности и противоречия могли иметь место только в такое время, когда классовая подоплека современного правосудия выступала с наиболее выпуклой обвращенностью.

Тот Никулин, который, действительно, участвовал и в партии эс.-эр., и в убийстве Шарыгина, был по показанию свидетелей *блондин*, и звали его *Абрам*, и он давно уже успел скрыться за границу. Наш же Никулин черен, как жук, и зовут его Мефодий. Дальше. Каким-то образом на скамье подсудимых очутился и приятель нашего Никулина, рабочий Степанов. Это был человек пожилой, забитый, обремененный большой семьей, никогда не имевший никакого касательства ни к каким крамольным затеям, даже избегавший участвовать в простых забастовках. Выступавшие на суде свидетели *со стороны полиции*, указывая пальцем на блондина Степанова, называли его тем блондином Никулиным, которого власти так безуспешно разыскивали. При этом Мефодий Никулин сидит тут же, а агенты сыскаго отделения не говорят про него ничего ни слова ¹⁾.

¹⁾ Что такого рода трагически забавные недоразумения далеко не единичны показывает, например, разбор дела газеты «Рабочий Голос». Обвиняемыми были М. Горшков, Петр Васильев и М. Шапиро. Судила их 19 июля 1907 г. петербургская судебная палата.

— Подсудимый Васильев,—обращается председатель,—встаньте. Встают двое.

— Кто же из вас Васильев?

— Я!—отвечает один, светлый блондин.

— Я!—отвечает и другой, смуглый брюнет.

— Петр Васильевич Васильев?—продолжает председатель.

— Я!—отвечают оба сразу.

Председатель в недоумении. Начинаются расспросы, осмотр документов. В конце-концов недоразумение выясняется: настоящий обвиняемый—брюнет, коломенский мещанин, а другой—московский, который попал в тюрьму исключительно из-за несчастного совпадения имен. Судебная палата дело отложила.

Еще более разнотельный случай зарегистрирован в «Праве» (№ 6 за 1913 г.): 30 января 1913 г. в закрытом заседании того же екатеринославского суда должно было слушаться дело о вооруженном захвате станции Алмазная и Ясиноватая. Это осколок большого дела о вооруженном захвате в 1905 г. Екатеринославской дороги, вызвавшем приговор с 48 подлежащими повешению. Из двух подсудимых один, Бурдуд, не явился по старой в екатеринославской тюрьме причине—он заболел тифом. Второй—Борисенко первым делом заявил, что он не имеет ни малейшего отношения к делу, что у него имя и отчество другие и что принадлежит он к другому сословию. Чтобы понять эффект такого заявления, надо иметь в виду, что Борисенко привлекался по 1 п. 100 ст., которая ведет прямо к виселице. В эти годы усмирительный пыл военных судей значительно остыл, и суду ничего не оставалось делать, как объявить Борисенко свободным.

Кончилось тем, что одного из подсудимых повесили, пятерым (в том числе и вс.-ар-у Борису Карпову, инженеру из бывших гвардейских офицеров, переведенному потом в наш же Орловский централ), дали бессрочную, а Мефодию Нивулину назначили 18 лет каторги.

Если бы суд был твердо уверен в его виновности, он получил бы не менее бессрочной; сравнительно с другими сроками, 18 л. каторги означали мягкий приговор, и навряд ли мягкость эта объясняется тем, что сам Никулин вел себя на суде некрасиво и трусливо.

У нас в Орле Никулин почти все время сидел в одиночке. Начальник Колченко, узнав, что он когда-то в Екатеринославе был не прочь бежать из тюрьмы, распорядился никого не сажать к нему в сожители. А при приеме Колченко—Пугавко, когда каторжане ходили настоящими оборванцами, Нивулину пришлось объявить трехдневную голодовку, чтобы добиться котов и брюк.

Все пережитое этим несчастным человеком, несомненно, расстроило его психику. Самочувствие у него все время подавленное, он часто впадает в форменную меланхолию. Срок у него большой (18 л. каторги), а манифест 21 февраля 1913 г. его, как политического, не коснулся вовсе...

.....
.....
.....

Недешево же обошлись народу эти несколько лет контр-революции.

..

.....

СОДЕРЖАНИЕ.

Севастопольское восстание	3
В Севастопольской тюрьме	24
Смоленский централ	41
Шлиссельбургский централ	47
Вологодский централ	57
По этапу	83
Псковский централ	113
Орловский централ	137
Три побега	176
В кардере	195
Три происшествия	212
Подвижник	226
Сибарит и монах	238
Попутчики	250
Арестантская вольница	268
Анархисты	278
Неугомонный	305
Не выдержал	312
Многострадальный	320
Бывший боевик	331
Воры с тенденцией	363
Тотже преступник	377
Рецидивист	389
Убийцы	409
Два тура	430
За что?	444
Один из многих	452
Неизменно-осужденные	463